4

Галина Серебрякова

Галина Серебрякова

4


ИХЛ

Галина Серебрякова

собрание сочинений в шести томах

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Галина Серебрякова

собрание сочинений
том четвертый

ВЕРШИНЫ ЖИЗНИ
ПРЕДШЕСТВИЕ

РОМАНЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Р 2
С 32

Оформление художника
И. САЛЬНИКОВОЙ

С $\frac{70302\text{-}340}{028(01)\text{-}79}$ подписное

Вершины жизни

роман

Глава первая

Я РАБОТАЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Женни Маркс отложила шитье и откинулась в высоком кресле, обитом желтым репсом. Сумерки незаметно подкрались, окутали прилегающий к дому небольшой тенистый сад, проникли в комнату. Весенняя сырая прохлада стала ощутимее, тишина глубже.

Мысли Женни были легки, неопределенны. Она отдыхала. Взошла серая в дымке тумана луна. На пальце Женни блеснул старинный, в резьбе, золотой наперсток. Им некогда пользовалась и покойная баронесса Каролина фон Вестфален. Женни внезапно стало грустно. Она всегда нежно любила мать, радовалась, когда могла послать ей подарки, навестить, посидеть, как в детстве, у ее кресла на маленьком бархатном пуфе, вспоминая прошлое.

Женни самой было уже за пятьдесят. Она принадлежала к поколению, которое вступало в старость, и пытливо вглядывалась в себя, ища ее зловещих примет. Нет, их не было. Память и работоспособность не изменили, дух был бодр, она еще более пылко любила жизнь во всех ее проявлениях, даже в чередовании радости и печали, в равной мере наслаждалась восходом солнца и сумерками, светлым днем и туманами. Ей казалось, что с годами духовный мир человека становится шире, устойчивее.

Ларошфуко писал, что старость — ад женщин. Это, однако, относится к тем, у кого не было ничего, кроме молодости и красоты, блекнущей с годами. Мысль человеческая безмерно обогащается с возрастом. Может быть,

Женни так спокойно встречала приближавшийся закат и потому, что всю долгую жизнь была в броне, которой явилась для нее любовь Карла. Женщины подчас боятся увяданья, чтобы не остаться одинокими. Они не всегда защищены всепоглощающим делом, любимой профессией, стремлением к высокой цели.

Женни находила преимущества в той поре жизни, которую открыло ей время. Пришло понимание незначительности многого, что раньше тревожило ее впечатлительное сердце. Она спокойнее переносила материальные невзгоды, радовалась, что еще есть у нее силы и здоровье и, главное, с нею Карл, дети и друзья. Две ее дочери стали красивыми девушками, младшая, десятилетняя Элеонора, прозванная в семье Тусси, благодаря постоянному общению со старшими сестрами и родителями, развивалась быстро и удивляла всех своеобразным, стремительным характером.

Вспомнив о своих девочках, Женни легко поднялась с кресла. Она была все еще очень стройна, движения исполнены живости и изящества. Женни зажгла круглую керосиновую лампу под темно-голубым стеклянным абажуром. На плюшевой скатерти лежал раскроенный кусок плотного шелка, из которого она собиралась сделать платье старшей дочери Женнихен — к ее приближающемуся совершеннолетию. Женни снова перелистала журнал мод. На одной из картинок ей особенно понравилась пышная юбка и обтянутый лиф, отделанный рюшем. Женни любила шить. В детстве она терпеливо наряжала в самодельные платьица кукол, позднее, когда нужда зажала в своих тисках ее семью, начала, не без успеха, обшивать своих детей. У нее был прирожденный вкус и редкое умение сочетать цвета. Ей доставляло удовольствие после большой и важной работы по переписке рукописей Маркса, ответов на письма соратников, разъездов по издательствам отправиться в лавку, чтобы в ворохе нагроможденных на прилавке тканей отобрать красивые и недорогие отрезы. Особенно любила она материи синего цвета.

В редкие свободные часы Женни допоздна кроила на большом столе. Елена Демут, неразлучный друг и домоправительница в семье Маркса, сняв с себя глухой фартук и белый чепец, помогала Женни в примерке.

— Как хорошо думается, когда в руках игла,— признавалась Женни своей постоянной советчице.

Ленхен слыла очень требовательным критиком. Иногда между ними возникали горячие споры из-за складок или оборок, сопровождавшиеся веселым смехом и шутками. Зато Карл, которому нравилось все, что бы ни создали руки его жены, по мнению Женни, оценивал ее работу слишком пристрастно и чрезмерно снисходительно.

Для себя Женни шила очень неохотно, и только настояния мужа и Ленхен заставляли ее заняться и своими нарядами. Обычно даже желанная обнова приносила ей только разочарование.

— Очевидно,— поясняла она,— мне нравится сама работа, но, когда пришит последний крючок, пропадает всякий интерес к сделанному.

Часто Женни с шитьем в руках приходила в кабинет мужа, садилась на кушетку, и между ними завязывалась оживленная беседа. В эту пору их обоих поглощало все, что происходило в недавно созданном Международном Товариществе Рабочих. Маркс посвящал ему очень много времени и сил.

Представители буржуазных партий постепенно отошли от Международного Товарищества, испуганные его революционным размахом и чисто пролетарской сущностью. По настоянию Маркса, Генсовет запретил почетное членство, ввел обязательное посещение заседаний и предварительное обсуждение кандидатур новых членов. Хотя ни для кого не было тайной, что Маркс стал ведущей силой Интернационала, сам он решительно пресекал всякие попытки возвеличения его личности и требовал, чтобы вся деятельность Международного Товарищества опиралась на строгую демократию.

— Как все же сильны еще в человеческой породе рабские чувства преклонения, потребность угождать, восхвалять, а порой и пресмыкаться,— сказал Карл с раздражением и протянул жене только что полученное из Германии письмо, в котором один из его последователей рассыпался в приторном славословии.

— С этим надо бороться беспощадно, Чарли. Нет ничего более унизительного, нежели льстить и принимать лесть,— отвечала Женни.— Человеческое достоинство — лучшее из того, что хранится в наших душах. Похвала, как солнечный луч, необходима. Иначе можно замерзнуть. Но заискиванье и угодничество — мерзость, ничего общего не имеющая с уважением к человеку.

— Да, мне всегда казалось,— заметил Маркс, продолжая ходить из угла в угол комнаты,— что на свете нет чувства более бездушного и недолговечного, чем показное восхищение. Оно обычно лживо и расчетливо и незаметно приводит к суеверному и весьма опасному поклонению. Языческая потребность в божках.

— Особенно свойственная рабам. Когда мы искренне чтим кого-либо, то меньше всего склонны курить ему словесный фимиам. Почитанье, как любовь, почти что святое чувство, и ему присущи скромность и самоотверженность.

— Ты права. Я сурово отчитываю всякого, кто пытается превозносить меня, объявляя какими-то особыми заслугами то, что, по существу, является смыслом всей моей жизни.

Карл докурил сигару. Он отдыхал, усевшись в кресло, наблюдая, как шьет Женни.

Старшие дочери Маркса одевались почти одинаково, разнились лишь отделки, цветы на шляпках, косыночки, так как волосы и глаза Лауры были значительно светлее, нежели у ее сестры. Девушек украшал цвет лица. Женнихен была смуглянкой, Лаура унаследовала от матери зеленовато-карие с золотистым отливом глаза и светлую кожу. На щеках ее при малейшем волнении и радости вспыхивал легкий румянец, начинавшийся на висках. Лицо маленькой Тусси было белоснежным, особенно выделялись на нем большие, блестящие, очень черные глаза.

Покуда Женни шила, ее дочери находились в маленькой оранжерее, всегда полной растений, выращенных страстным цветоводом Женнихен. Она осенью посадила луковицы тюльпанов, полученные от родственников отца из Голландии, и вот уже они превратились в неправдоподобно красивые цветы.

— Точно раскрашенный восковой колокольчик,— воскликнула Тусси и слегка прикоснулась пальчиком к тугому пунцовому лепестку.

— Цветы не любят прикосновения человека. Ты не ветер и не капля дождя,— обеспокоенно сказала Женнихен.

Она поливала из зеленой лейки выстроившиеся в ряд вазоны. Маленький фонарь, поставленный прямо на земляном полу, скупо освещал стеклянный домик и деревянную, плохо обструганную низкую скамью, на которой си-

дела Лаура, подперев голову руками. Ее каштановые локоны небрежно рассыпались по плечам.

— Что лучше, любить самой или знать, что ты любима? — спросила она вдруг, встряхнув пышными волосами.

— Любить,— не размышляя ответила Женнихен.

— О нет! Я предпочла бы верить, что меня крепко, на всю жизнь любят,— уверенно ответила ей сестра.

— А по-моему, лучше всего на свете быть моряком и, как капитан Марриет, пережить несколько кораблекрушений, затем высадиться на острове, где живут людоеды,— вмешалась в беседу старших сестер Элеонора.

— Но не быть съеденным ими, как это случилось с бедным храбрым моряком Куком,— напомнила Женнихен.— Кстати, иди-ка, Тусси, домой, тебя, верно, уже ищет Ленхен. Да захвати вот эти семена розовой азалии. Их надо послать дяде Энгельсу. Он обещал мне рассаду редких орхидей лилового цвета с белыми крапинками.

— Кто же из вас лучший цветовод? — спросила Тусси, которой очень не хотелось уходить из теплицы.

— Конечно, дядя Фред, я только его ученица.

— Надобно превзойти тех, кто нас учит, не правда ли, Готтентот? — важно изрекла Элеонора.

— Не знаю, может быть, и так,— рассеянно ответила ей Лаура.— Ну, иди же домой, беби. Тебе пора уже спать.

— Вам хочется выпроводить меня, чтобы снова болтать о любви,— хитро сощурившись, сказала Тусси.

Она приподняла пышную юбочку, из-под которой до щиколоток спускались панталончики в оборочках, юлой закружилась на одном месте и пропела:

Любовь что такое?
Что такое любовь?
Это чувство такое,
Что сушит кровь!

Распевая, девочка вприпрыжку выбежала из оранжереи и тут же исчезла в темном саду.

— Ах ты бесенок! — бросила ей вдогонку Женнихен.

Вдоволь посмеявшись над шустрой Тусси, сестры замолчали. Женнихен закончила поливку и срезала несколько красивых гиацинтов, чтобы поставить в вазу на рабочем столе отца.

— Как удивительно пахнут эти странные цветы. Я читала, что Магомет превыше всего на свете любил благовония. Он был прав.

— Надеюсь, ты не собираешься принять из-за этого магометанство,— пошутила Лаура.

— Атеизм объемлет в себе все религии, чтобы затем их опровергнуть. Но если бы я искала земное воплощение божества, то нашла бы его только в цветах — они предел красоты. Напиши об этом поэму, Какаду. Ты ведь у нас поэтесса.

За пристрастие к нарядам и умение красиво одеваться Лауру в семье прозвали мастер Какаду, по имени модного портного из старинного романа.

— Стихи для меня то же, что для тебя цветы,— ответила Лаура.

— Нравится ли тебе легенда о том, что двое возлюбленных созданы из одного куска материи? Они всю жизнь ищут друг друга. Необъяснимая тоска гонит их по свету. Они единое целое и, чтобы быть счастливыми, должны соединиться,— спросила Женнихен.

— Очевидно, наша мэмхен и Мавр сделаны из одной штуки этого божественного атласа,— усмехнулась Лаура.— Впрочем, я больше не люблю сказок. Они нас обманывают. В действительности все совсем по-другому.

— Жизнь немыслима без грез,— возразила Женнихен.— Посмотри, как загадочны эти цикламены. Знаешь ли ты, что в Италии их называют пармскими фиалками?

— Любить можно многое на свете: родителей, детей, сласти, веселье, наряды...— не отвечая сестре и продолжая мыслить вслух, сказала Лаура.

— И для каждой любви, как пишут сентиментальные поэты, свой бутон на цветущей ветке. И все-таки, что ни говори, это поистине волшебство — встреча среди миллионов людей с тем единственным, кто станет твоим вторым я,— заметила Женнихен.

— Ты романтик, а вот я боюсь, что не сумею любить, как Джульетта Ромео. Мне нравится побеждать. Это тщеславие, и только. Затем приходит скука.

— Ты думаешь о Чарлзе Маннинге?

— Он пока еще не говорил мне о любви.

— Лаура, береги цельность своего сердца, чтобы испытать чувство настоящей любви.

— Я хочу быть любимой.

— Зачем тебе чужая любовь, если ты ее не разделяешь?

— Мы с тобой разные, Женнихен.

— Для нас все только начинается.

— Я могу полюбить лишь выдающегося человека. Он должен хоть чем-нибудь походить на Мавра или на дядю Энгельса,— сказала Лаура.— Я еще не встречала такого. Чарлз Маннинг заносчив. Он унаследовал вспыльчивость от матери-испанки и тяжелодумье от отца-англичанина. Его мысль никогда не парит, а ползет по земле. Он пригибает меня книзу. Кроме того, он влюблен как-то очень смешно. А ведь это чувство должно быть героическим. Не правда ли? Я могла бы простить ему сумасшедшие поступки в любви, но только не глупость.

— Ты действительно к нему совершенно безразлична, Лаура. Мне кажется, хотя я еще никого не любила, что достоинства в любимом человеке являются только поводом, внешним оправданием любви, но не всегда ее причиной. Мы так часто говорим об этом, что могли бы написать с тобой еще один трактат о любви, дополнив Шекспира, Шелли, Бальзака, Стендаля и разных других поэтов и писателей,— смеясь, добавила Женнихен.

Она сложила садовые ножи, поставила лейку и, взяв фонарь, пошла к выходу. Лаура нехотя последовала за ней. У двери их ждал небольшой, лохматый щенок Виски. Женни ласково погладила его густую шерсть. Недавно Женнихен и Тусси нашли его, горестно визжавшего, на дороге, ведущей к Хэмпстедским холмам. Пес пылко привязался ко всем обитателям Модена-вилла.

Луна глядела сквозь решетку из черных ветвей. Лондон готовился ко сну. Сестры прошли на верхний этаж. Женнихен отправилась к отцу, чтобы отнести ему букет цветов. Виски лег на свою подстилку в углу коридора и сразу почувствовал себя сторожем на посту. Вскоре Женнихен вернулась в свою спаленку и, прежде чем лечь, порывшись в книгах, отобрала «Историю Ирландии» и тоненькую брошюрку Мери Вулстонкрафт о борьбе женщин за равноправие, чтобы почитать перед сном. Она жадно отыскивала в густой чаще истории имена выдающихся женщин разных веков и стран и торопилась познакомиться с их судьбами и творениями.

Маркс упорно проработал весь вечер над «Капиталом», первый том которого готовил к печати, и только

после полуночи прошел в комнату жены. Они заговорили о дочерях.

— Женнихен и Лаура начинают свой путь по неизведанным дорогам чувств и мыслей,— сказала Женни задумчиво.— Мне немного страшно за них.

— Никто не может заменить их в этом путешествии,— ответил ей Карл. Глаза его добродушно улыбались.

— Не кажется ли тебе, Мавр, что они мало подготовлены к жизни?

— Я не понимаю тебя, родная. Вряд ли много в Лондоне девушек, столь хорошо образованных, воспитанных, правдивых и смелых, а вместе с тем неизбалованных и так часто видевших нужду и лишения с самого детства.

— Все это так, но они привыкли к высоким запросам, к духовной пище самой изысканной. Они знают о пошлости, обмане только по книгам и театру. Девочки беззащитны. Хорошо, если жизнь будет к ним благосклонна, как была к нам, послав людей, столь замечательных, как Энгельс, Вольф, Вейдемейер, Лесснер, Веерт, Либкнехт и многие другие. А если нет? Я боюсь за всех троих. Быть молодым тоже очень трудно.

Карл задумался. Жена была права.

— Я читала на днях в «Таймсе» о маленьком, недавно открытом острове близ Гаити. Это подлинный земной рай, и, однако, жители его быстро вымирают.

— Почему же?

— Воздух там настолько чист и лишен всяческих бактерий, что, когда к берегу пристал европейский корабль, люди, жившие на этой идеальной земле, никогда не хворавшие, начали вымирать от неведомых им ранее болезней. Они оказались лишенными какой бы то ни было сопротивляемости тому, что не причиняло уже вреда морякам.

— Будем надеяться, что наши девочки все же защищены. Жизнь была им суровой нянькой.

— Я призываю себе на помощь мой девиз: «Никогда не отчаиваться», да еще преждевременно. Во всяком случае, дети счастливы в одном — они обладают пока что завидным здоровьем. Однако я не могу избавиться от тревоги за их будущее.

— Милая, ты сама часто шутишь, что особенностью твоего характера является повышенная чувствительность и способность пугать себя, рисуя черта на стене.

— Да, Мавр, без тебя я давно была бы смята такой жизнью.

Маркс подошел к жене и почтительно поцеловал ей руку.

— Мы оба, в равной мере, необходимы друг другу,— сказал он нежно.

Работая в Интернационале, Маркс показывал пример точности и деловитости. В любую погоду он отправлялся на тихую и непримечательную Грик-стрит, Сохо, где в двухэтажном доме находилось небольшое помещение, снятое Международным Товариществом. Только тяжелая болезнь могла задержать Маркса дома.

Генеральный секретарь плотник Кример ревностно наблюдал за тем, чтобы члены Генсовета не пропускали заседаний. На разлинованном в клетку темными чернилами листе бумаги против имени каждого руководящего деятеля Интернационала он проставлял либо плюсы, либо минусы. Наибольшее число крестиков пришлось на долю Маркса, который был самым аккуратным из членов Генсовета. Очень редко отсутствовал также портной Эккариус.

Заседания Генерального Совета происходили еженедельно по вторникам в восемь часов вечера. По субботам собирался Подкомитет, членом которого также состоял Маркс. Там сосредоточилась вскоре вся повседневная работа Интернационала, составлялись руководящие документы, отчеты и воззвания.

Деятельность членов Генерального Совета и Подкомитета была не только совершенно безвозмездной, но, напротив того, Маркс и его товарищи сами давали деньги на оплату помещения, освещения, почты, печатных изданий.

«Чего не хватает нашей партии, так это денег...» — писал Карл Маркс Энгельсу.

Однако постепенно стали расти поступления от секций. Незначительные, но обязательные членские взносы несколько пополнили кассу Товарищества.

Руководители Генерального Совета были по преимуществу рабочие. Они приходили на заседание прямо с фабрик или из мастерских после десятичасового, а то и четырнадцатичасового трудового дня.

Председатель Оджер, сапожник, весьма начитанный, осторожный, немолодой, лысый человек с круглым улыбчивым лицом и выпяченной нижней губой, ко времени избрания в Генеральный Совет секретарствовал в Лондонском совете тред-юнионов. Заместителем Оджера был немецкий изгнанник, портной Эккариус, живший в постоянной нужде, человек с пытливым умом, склонным к философским обобщениям. Однако недостаток глубоких знаний нередко приводил его к политическим ошибкам. Маркс уделял Эккариусу много внимания, стараясь расширить его кругозор, так как ценил в нем одаренность и преданность революционному делу.

Кример также принадлежал к видным деятелям тред-юнионистского движения и был типичным представителем обуржуазившегося пролетариата. Он основал Объединенное общество плотников и столяров. Крайне педантичный, деловой, он обладал красивым почерком и завидной памятью. Книга протоколов Генерального Совета, которую Кример вел в течение нескольких лет, казалась ему священной, и он тратил немало часов на то, чтобы она содержалась в безукоризненном порядке. Это была большая конторская книга в черном клеенчатом переплете. Обычно в начале каждого заседания Кример оглашал не торопясь протокол всего происходившего в предыдущий вторник и требовал, если не было поправок или возражений, подписи у председателя. Затем он медленно, старательно расписывался сам. Нередко Кример вклеивал в протокольную книгу вырезки из газет с различными сообщениями о заседаниях Генсовета и некоторые напечатанные документы.

Постепенно книга эта стала летописью дней и трудов Международного Товарищества и запечатлела нетленным прошлое. Так застывшая лава хранит в себе отпечатки былой жизни.

Генеральный Совет занимался организационными, политическими, теоретическими делами. Еженедельно несколько членов Совета посещали различные рабочие общества, чтобы предложить им присоединиться к Международному Товариществу.

Вскоре в Интернационале насчитывалось уже четырнадцать тысяч членов. К нему примкнули влиятельные многолюдные союзы сапожников и каменщиков. Была основана и газета Интернационала в Англии, названная

«Защитник рабочих». Генеральный Совет основал Общество борьбы за всеобщее избирательное право.

Началась упорная борьба с сектантскими воззрениями прудонистов и последователей лассальянцев, пытавшихся приспособить рабочее движение к интересам богачей предпринимателей.

Давнишний друг Маркса портной Фридрих Лесснер сообщил ему, что из Италии в Лондон приехал Бакунин. Карл решил сам навестить беглеца из Сибири. Шестнадцать лет, с 1848 года, Маркс и Бакунин не видались. Михаил Александрович перешагнул за пятьдесят, но выглядел моложе своих лет. Полнота придавала его мощной, атлетической фигуре величавость. Седина легким пепельным налетом легла на его курчавые волосы, смягчив их грубый рыжеватый оттенок. Но борода и бакенбарды остались по-прежнему светло-русого цвета. Из-за очков, с которыми он редко теперь расставался, задорно глядели маленькие, обесцвеченные временем глаза. Говорил он много, уверенно, резко и как-то обидно равнодушно слушал собеседника. Но для Маркса он сделал исключение и встретил его почтительно, с изъявлениями симпатии.

Карл Маркс казался в эту пору более утомленным, нежели Бакунин, хотя был на четыре года моложе его. Маркса особенно изнурял непрекращающийся карбункулез, нередко опасной формы. Несмотря на строгие запрещения врачей и уговоры родных и Энгельса, он по-прежнему продолжал работать по ночам над «Капиталом». Дела в Международном Товариществе Рабочих требовали от него все больше и больше энергии.

Густая шевелюра на величавой голове Маркса была снежно-белой, но в окладистой бороде и в усах оставалось еще много иссиня-черных волос, оттенявших оливково-смуглую кожу лица. Глубокие, продолговатые, необычайно яркие черные глаза приковывали к себе каждого, на кого устремлялись, неповторимым выражением проникновенного ума, сосредоточенной решительности и тонкой иронии. Они словно приоткрывали сложность и гениальность его духовного мира. Частые болезни век не отразились на них, и они сохраняли живость молодости и излучали волны внутреннего света и силы.

Зрение Маркса, однако, ослабело от непомерного труда, и он пользовался очками, а в обществе — обычно

моноклем, который на черной тесьме постоянно висел поверх его сюртука.

В то время как Бакунин был одет нарочито пестро, наглухо застегнутый черный сюртук Маркса из мягкого сукна отличался строгостью, опрятностью и элегантностью. Молоды и красивы были его узкие руки с тонкими пальцами.

— Я рад, очень рад снова видеть вас,— сказал Маркс, с дружелюбным чувством вглядываясь в большое лицо Бакунина,— это чудо, что ни прусской, ни австрийской, ни русской монархии не удалось...

— Вздернуть меня на виселицу,— прервал, смеясь, Бакунин.— Я сделал все, чтобы помочь им в этом, но...— он широко раскинул руки,— кисмет, судьба, очевидно. Были часы, когда я уже считал, что никогда не увижу ни свободы, ни вас, Маркс.

Он принялся с деланной скромностью рассказывать о том, что называл восхождением на Голгофу: о Шлиссельбургской крепости, Сибири, скитаниях.

После благополучного побега из России Бакунин нашел приют у Герцена. От него он услышал, будто бы Маркс в английской прессе назвал его шпионом. В действительности статья с такими утверждениями появилась за подписью «Г. Маркс». Автором ее был не Карл Маркс, а неведомый ему однофамилец — Генрих Маркс. Недоразумение это, естественно, разъяснилось, но, видимо, в угоду Герцену Бакунин в то время так и не повидался с Марксом. Вскоре из Иркутска приехала его жена, Антония Ксаверьевна, и Бакунины решили переселиться в Италию, где не затихала революционная борьба, манило южное солнце и повседневная жизнь была очень дешева по сравнению с Англией. Незадолго до отъезда во Флоренцию Бакунин перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии». При этом он исказил текст великого документа. Бакунин предпослал ему столь хитрое предисловие, что можно было усомниться в авторстве Маркса и Энгельса. Читатель волен был предположить, что «Манифест» написан самим Бакуниным.

Во время второго пребывания Бакунина в Лондоне, в пору зарождения Интернационала, Маркс сам решил возобновить отношения с русским революционером.

Рассказывая о прошлом, Михаил Александрович, конечно, ни единым словом не упомянул о своей исповеди

перед царем. Он понравился в эту встречу Марксу значительно больше, чем когда бы то ни было раньше. Ему даже показалось, что суровые испытания, которые Бакунин выдержал, закалили его душу.

— Теперь,— твердо заявил Бакунин Марксу,— после польского восстания, я буду участвовать исключительно в социалистическом мировом движении.

Маркс не скрыл своего удовольствия при этих словах Бакунина.

— Хорошо,— сказал он тепло,— очень хорошо. Давно пора нам бороться вместе.

Бакунин, распрямив богатырские плечи, откинулся в кресле и, поглаживая бороду, громко заговорил о героических польских повстанцах. По его мнению, русскому правительству были на руку революционные события в Польше. Это стало необходимым, чтобы удержать в спокойствии самое Россию, но царь не рассчитывал встретить столь упорное сопротивление поляков. Борьба длилась целых восемнадцать месяцев.

— Царское правительство спровоцировало польское восстание,— утверждал Бакунин.— Польша потерпела неудачу по двум причинам: из-за коварства Бонапарта и из-за того, что польская аристократия с самого начала медлила с ясным и недвусмысленным провозглашением крестьянского социализма.

Карл в свою очередь подробно рассказал Бакунину о том, как и для чего создано Международное Товарищество Рабочих.

— Я приветствую его рождение,— повторил несколько раз Бакунин,— я хочу тотчас же приняться за работу рука об руку с вами, Карл.

После долгой и весьма откровенной беседы Маркс простился с Бакуниным, который уже на другой день должен был выехать в Италию.

Вернувшись домой, Маркс тотчас же написал большое письмо Энгельсу, в котором, наряду с другими новостями, подробно описал свое впечатление от возобновленных отношений с Бакуниным.

«*Бакунин* просит тебе кланяться... Он очень справлялся о тебе и о Люпусе,— писал Маркс другу.— Когда я сообщил ему о смерти последнего, он сразу же сказал, что движение потеряло незаменимого человека».

Вскоре после этой встречи вышли в свет отдельной брошюрой «Учредительный манифест» и «Временный устав» Международного Товарищества Рабочих, и Маркс тотчас же отправил Бакунину в Италию несколько экземпляров. Он просил переслать один из них Джузеппе Гарибальди.

Этой же осенью, насыщенной событиями и делами, Маркс и Энгельс дали согласие одному из руководителей Всеобщего германского союза, Швейцеру, на участие в созданной им газете «Социал-демократ». В своем письме в Лондон Швейцер подчеркивал, что Маркс явился фактическим основателем Германской рабочей партии и ее передовым бойцом.

В проспекте газеты совершенно отсутствовали обычные лассальянские лозунги, столь осуждаемые Марксом. Поэтому он и Энгельс надеялись, что новая газета сможет послужить делу пропаганды идей Интернационала в Германии. Маркс послал в «Социал-демократ» «Учредительный манифест» Интернационала, который Швейцер тут же напечатал. Однако первые же номера «Социал-демократа» вызвали у Маркса и Энгельса беспокойство, так как в них отчетливо выявились лассальянские традиции. Газета откровенно пыталась угодить помещичьему правительству Бисмарка.

Когда в середине января 1865 года умер Прудон, и редактор «Социал-демократа» упросил Маркса написать о нем статью для газеты, Маркс ответил Швейцеру письмом, в котором резко высказался против каких бы то ни было компромиссов с существующей властью. Он справедливо назвал постоянные заигрывания Прудона с Луи Бонапартом «подлостью».

Прудон скончался, но прудонизм, мелкобуржуазное учение, опутывал не одно человеческое сознание и вредил борьбе рабочего класса. Маркс понимал это. В своем письме, опубликованном в «Социал-демократе», он был попрежнему суров к памяти этого человека. По мнению Маркса, Прудон, склонный к диалектике, никогда не сумел понять ее и не пошел дальше софистики. Мелкий буржуа — воплощенное противоречие. «А если при этом, подобно Прудону,— писал Маркс,— он человек остроумный, то он быстро привыкает жонглировать своими соб-

ственными противоречиями и превращать их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, подчас скандальные, подчас блестящие парадоксы. Шарлатанство в науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны с такой точкой зрения. У подобных субъектов остается лишь один побудительный мотив — их *тщеславие;* подобно всем тщеславным людям, они заботятся лишь о минутном успехе, о сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, Руссо от всякого, хотя бы только кажущегося компромисса с существующей властью.

Быть может, потомство, характеризуя этот недавний период французской истории, скажет, что Луи Бонапарт был его Наполеоном, а Прудон — его Руссо-Вольтером.

А теперь я всецело возлагаю на Вас ответственность за то, что Вы так скоро после смерти этого человека навязали мне роль его посмертного судьи».

Чувствительные удары Маркса, направленные против «насквозь *мещанской* фантазии» Прудона, попали также и в последователей покойного Лассаля. Говоря о свойственном мелкому буржуа шарлатанстве в науке и политическом приспособленчестве, Маркс имел в виду именно Фердинанда Лассаля.

В свою очередь Энгельс направил в «Социал-демократ» старинную датскую народную песню, переведенную им на немецкий язык, и специально указал в комментарии к ней, в противовес лассальянцам, на огромное революционное значение борьбы крестьянства против помещиков. Последователи же Лассаля, исходя из его теории о «единой реакционной массе», отрицали революционную роль крестьянства.

Песня, рассказывающая о смелых крестьянах из Сюдерхарда, которые во время средневековой войны расправились по-своему с жестоким помещиком Тидманом, заканчивается такими строфами:

«Сюдерхардцы, стойте крепко все стеной,
Чтобы Тидман не ушел от нас живой!»
И старик ему дал первый кулаком,—
Это любят сюдерхардцы.

. . . .

Вот лежит он, барин Тидман, кровь вокруг;
Но свободно в черноземе ходит плуг,
И свободно свиньи кормятся в лесу.
Это любят сюдерхардцы.

«В такой стране, как Германия,— писал Энгельс,— где имущие классы включают в себя столько же феодального дворянства, сколько и буржуазии, а пролетариат состоит из такого же или даже большего количества сельскохозяйственных пролетариев, как и промышленных рабочих,— старая бодрая крестьянская песня как раз к месту».

Время шло, но тщетно Маркс и Энгельс пытались изменить все отчетливее обозначавшуюся королевско-прусскую линию газеты. «Социал-демократ» шел по стопам Лассаля и все чаще льстил политике Бисмарка. Тогда, видя обман Швейцера, Маркс и Энгельс сделали заявление о своем выходе из состава сотрудников ввиду невыполнения их требований. Они писали, что борьба с министерством Бисмарка и феодально-абсолютистской партией должна вестись, по крайней мере, столь же решительно, как и против буржуазии.

После разрыва с «Социал-демократом» Энгельс выступил с подробной критикой лассальянцев. Он издал в Гамбурге брошюру «Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия». И Маркс и Энгельс не раз подозревали, что «Социал-демократ» попросту подкуплен Бисмарком. В действительности так оно и было. Все новые и новые факты раскрывали истинную сущность не только лассальянца Швейцера и его последователей, но и самого Лассаля. Энгельс писал об этом из Манчестера в Лондон Марксу в январе 1865 года:

«Благородный Лассаль разоблачается все в большей и большей степени как самый обыкновенный прохвост. В оценке людей мы никогда не исходили из того, какими они сами себе представлялись, а из того, какими они были в действительности, и я не вижу, почему для покойного Итцига мы должны сделать исключение. Субъективно его тщеславие могло ему представить дело приемлемым, объективно это было подлостью, предательством всего рабочего движения в пользу пруссаков. При этом глупый паяц, по-видимому, даже не выговорил со стороны Бисмарка какой-либо компенсации, чего-либо определенного, не говоря уже о гарантиях; он, очевидно, просто полагался на то, что *непременно* надует Бисмарка, точно так же, как на то, что не может не застрелить Раковица».

Наступил конец зимы. В Лондоне не прекращались туманы. Маркс болел. Тело его покрылось нарывами вследствие тяжелого, многолетнего нервного истощения. Несмотря на острую боль, невозможность сидеть и двигаться, забинтованный и лихорадящий, он не унывал и огорчался, лишь когда родные принуждали его хоть на время отложить работу. Однако стоило ему почувствовать себя сколько-нибудь сносно, и он снова принимался за рукопись «Капитала». Однажды большой фурункул появился у него на правой руке. Кисть распухла и побагровела. Обеспокоенная Женни наложила ему повязку. Маркс хотел использовать время, потерянное для работы над рукописью, и заняться чтением. Жар, однако, все усиливался, нестерпимо ныло плечо. Он вынужден был отложить научные книги, и только давно знакомые ему романы Вальтера Скотта «Веверлей» и «Пуритане» оказались отличным отвлекающим средством.

Утром Карл почувствовал себя несколько лучше. В окно его кабинета заглянуло не частое в последнем месяце зимы солнце, и он принялся за работу. В полдень Ленхен ввела к нему молодого человека лет двадцати трех, высокого, мускулистого, с очень смуглым, матовым лицом и великолепной темной шапкой волос. Немного выпуклые большие черные глаза, крупный нос и сильный рот были очень красивы, они словно отражали порывистый, волевой, неукротимый характер и живой, впечатлительный ум. Маркс невольно удивился внезапно вспыхнувшему в нем чувству симпатии, которое пробудил юноша. Карл любил молодежь, но, много испытав, относился настороженно к каждому незнакомому человеку.

— Меня зовут Поль Лафарг,— начал гость звучным, низким голосом и протянул Марксу письмо от гравера Толена, члена французской секции Интернационала.— Я обещал, что побываю у вас, доктор Маркс, и выполняю поручение,— холодно добавил молодой человек и хотел откланяться.

Лафарг был сторонником Прудона и только из вежливости, по просьбе Толена, посетил Маркса. Однако эта встреча решила многое в его жизни.

Рекомендация Толена, о котором ходили слухи как о неверном человеке, из-за чего он был отстранен только что от работы секретаря-корреспондента Франции в Генеральном Совете Международного Товарищества Рабочих,

не могла в глазах Маркса особенно украсить Лафарга. Но обаяние молодого человека было столь велико, что развеяло всякие сомнения. Маркс заинтересовался пришедшим. Он задал французу несколько вопросов. Поль Лафарг рассказал об успехах, достигнутых во Франции организацией Интернационала.

Члёны Международного Товарищества Рабочих собирались по вечерам в центре столицы, на улице Гравилье, в полутемной каморке, четыре метра в длину и три в ширину.

— Помещение, откровенно говоря, у нас прескверное, особенно досадно, что оно в глубине двора, притом зловонного. Париж еще очень богат такими трущобами,— рассказывал Лафарг.— Эжен Сю их обессмертил. Но мы наглухо закрываем окна, и табачный дым очень скоро перебивает все запахи нищеты. Толен принес нам изрядно разбитую печку, и когда она топится, то чертовски дымит. Мебель в нашем импровизированном клубе весьма проста. Белый деревянный стол, на котором днем раскладывает свои холсты декоратор Фрибур,— эта комнатенка является его мастерской,— вечером служит нам канцелярской конторкой или трибуной, в зависимости от надобности. Два ненадежных табурета и несколько весьма причудливых стульев, найденных на чердаке среди рухляди,— вот и вся обстановка. Но разве в этом дело! Мы обсуждаем величайшие социальные вопросы и шумим иногда до пробуждения Главного рынка, куда можно отправиться позавтракать у медонских молочниц. Изредка к нам заходят бланкисты. Мы их в нашу секцию пока не принимаем. Вот тут-то и начинается настоящее словесное побоище. Они умелые спорщики, эти последователи нестареющего великого драчуна Бланки, но, поверьте, и мы, прудонисты, не остаемся в долгу. Право, это стоит парламентских схваток. Среди французских рабочих, вступивших в Товарищество, есть замечательные парни. Переплетчик Варлен, например, человек с виду весьма кроткий и скромный, в действительности же — гейзер энергии и воли. Кто его видел хоть раз — не забудет. Умен, начитан, талантлив в каждом слове, поступке, мысли. Если бы вы видели его проникновенные глаза и слышали, как он говорит! Кстати, он и поет отлично. Есть у нас и другие весьма развитые и одаренные рабочие.

Маркс слушал молодого человека с большим вниманием.

Подошло время обеда, а Лафарг все еще не собирался уходить, и Женни пригласила его в столовую.

Студент был заметно поражен красотой дочерей Маркса, которые встретили его просто и ласково, без какого-либо жеманства. Редкий день за обеденным столом в Модена-вилла на Мейтленд-парк роуд, № 1, где уже год жил Маркс со своей семьей, не сидел кто-либо из его единомышленников. Гостеприимство, присущее Женни и Карлу, хорошо знали все их товарищи по партии и борьбе.

За обедом Поль Лафарг, говоря о себе, сообщил, что родился на острове Куба, в городе Сант-Яго. Отец его имел там небольшую плантацию.

— Моя бабушка, мать отца, была негритянкой,— добавил он неожиданно, обведя всех присутствующих испытующим взглядом больших черных глаз.

«Гибрид. Так вот откуда этот особенный цвет кожи, своеобразная форма черепа, отсутствие белых лунок на ногтях, быстрота мышления, разительно живой темперамент»,— подумал Маркс, который обладал острой наблюдательностью; от него ничто не могло укрыться. Лафарг нравился ему с каждым часом больше.

— Мулат? Ваша родина Куба? Это, право, замечательно! — воскликнула Лаура. Самая красивая и элегантная из дочерей Маркса особенно понравилась Лафаргу.

— Увы, мне было всего девять лет, когда отец увез нас во Францию, и с тех пор мои родные живут в Бордо, наименее экзотическом из городов Европы,— с некоторым сожалением продолжал Поль Лафарг.

Когда обед был окончен и девушки остались одни, Женнихен сказала, пытливо глядя на Лауру:

— Этот юноша строен, силен и красив, каким, вероятно, был Отелло. Он весь из огня и энергии.

— Я предпочитаю холодность англосаксов. Не хочешь ли ты, Ди, стать его Дездемоной?

Поль Лафарг в это время рассказывал о себе Марксу в его тихом кабинете.

Завершив среднее образование, он поступил в Медицинскую академию и через несколько лет должен был стать врачом. Как и дочери Маркса, студент-медик увле-

кался не только вопросами переустройства мира, но и литературой, музыкой, гимнастикой.

Маркс закурил и предложил сигару гостю. Лафарг с любопытством разглядывал окружавшую его обстановку, жадно прислушивался к каждому слову Маркса, который вызывал в нем все возраставшее чувство восхищения. Юноша был покорен всем, что нашел в доме № 1 на Мейтленд-парк роуд.

— Наука вовсе не эгоистическое удовольствие,— говорил между тем Карл,— и те счастливцы, которые могут посвятить себя ей, первыми обязаны отдавать свои знания на службу человечеству.— Говоря о себе, он несколько раз повторил: — Я работаю для людей.

Вместе с тем Маркс утверждал, что ученый никогда не должен отказываться от активнейшего участия в общественной жизни и сидеть взаперти в своем кабинете или лаборатории.

— Вроде крысы, забравшейся в сыр,— пояснил Карл, заразительно рассмеявшись.— Нельзя не вмешиваться активно в самое жизнь и в общественную и политическую борьбу своих современников. Это ведь тоже значит работать для человечества.

Поль Лафарг с первой встречи ощутил на себе благотворное влияние Маркса. Он чувствовал себя одновременно и растерянным и счастливым. «Какой большой, исключительный человек. Он и ученый, и несравненный агитатор, и мастер социалистической мысли»,— думал Лафарг, глядя на Маркса, шагавшего по кабинету с трубкой, которая то и дело затухала. Маркс снова и снова нетерпеливо, на ходу, разжигал ее, истребляя при этом множество спичек. Во время беседы он часто останавливался у стола и мгновенно отыскивал в бумагах, которые для постороннего глаза, казалось, лежали в крайнем беспорядке, то, что требовалось. Изредка, когда принимался читать, он прибегал к моноклю, чтобы лучше видеть.

— На днях «Таймс»,— сказал он, нагнувшись к столу, и в груде наваленных газет нашел нужный номер,— опубликовал любезное письмо Авраама Линкольна Международному Товариществу Рабочих. Это ответ на поздравление, которое мы, Генеральный Совет Интернационала, послали ему в связи с повторным избранием на пост президента в ноябре прошлого года. Как вы, верно по-

мните, Линкольн получил тогда огромное большинство голосов.

— Я слышал, что вы автор этого послания, но не читал его.

— Вот оно.— Маркс извлек из кипы рукописных текстов небольшой лист бумаги.— Мы ратуем за освобождение негров. Вам все это будет особенно интересно.

— Да, конечно. Ведь в моих жилах течет и негритянская кровь.

Лафарг не торопясь прочел обращение к президенту и задержался на тех строках, которые показались ему особенно удачными. Они многое ему объяснили.

«Милостивый государь!

...Если умеренным лозунгом Вашего первого избрания было сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич Вашего вторичного избрания гласит: смерть рабству!

...Когда олигархия 300 000 рабовладельцев дерзнула впервые в мировой истории написать слово «рабство» на знамени вооруженного мятежа, когда в тех самых местах, где возникла впервые, около ста лет назад, идея единой великой демократической республики, где была провозглашена первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции XVIII века, когда в тех самых местах контрреволюция с неизменной последовательностью похвалялась тем, что упразднила «идеи, господствовавшие в те времена, когда создавалась прежняя конституция»... и цинично провозглашала собственность на человека «краеугольным камнем нового здания»,— тогда рабочий класс Европы понял сразу... что мятеж рабовладельцев прозвучит набатом для всеобщего крестового похода собственности против труда и что судьбы трудящихся, их надежды на будущее и даже их прошлые завоевания поставлены на карту в этой грандиозной войне по ту сторону Атлантического океана.

...Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь беспри-

мерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя».

Маркс охотно отвечал на многочисленные вопросы Лафарга и объяснил ему, что сам пришел к коммунистическим убеждениям не из сентиментальных побуждений, хотя и глубоко сочувствовал страданиям рабочего класса, но, главное, в результате изучения истории и политической экономии.

— Я уверен,— добавил он под конец,— что каждый беспристрастный ум, свободный от влияния капиталистических интересов и не ослепленный классовыми предрассудками, непременно придет к тем же выводам и станет коммунистом. Это, несомненно, относится и к вам.

В этот первый приезд в Лондон Лафарг больше не виделся с Марксом, он вскоре вернулся во Францию и со свойственной ему кипучей энергией бросился в водоворот политической жизни, увлеченный борьбой с режимом Луи Бонапарта. Взгляды его значительно изменились, и теперь он сам рвался в Лондон, к Марксу.

Спустя два месяца после беседы Маркса с Лафаргом о событиях в Америке весь мир облетела трагическая весть: президент Авраам Линкольн пал от руки подосланного убийцы. Маркс, Энгельс и все их единомышленники были потрясены этим страшным преступлением.

Весной 1865 года офицер американской армии Сигизмунд Красоцкий отправился из Сент-Луиса в Вашингтон по поручению командующего военным округом полковника Иосифа Вейдемейера. Полковник был близким другом Карла Маркса, членом Союза коммунистов, стойким борцом во время революции 1848 года в Германии. С тех пор как Вейдемейер стал изгнанником и переселился в Америку, между ним и Марксом не прекращалась переписка.

Участник польского восстания тридцатых годов Сигизмунд Красоцкий, так же как и Вейдемейер, воевал против рабовладельцев Юга в рядах армии северян.

Ехать пришлось на перекладных по глухим лесам, проселкам, мимо новостроящихся городков. Дорога была нелегкой, не раз приходилось сворачивать в сторону, объезжать линию фронта. Красоцкий вез важные секретные документы военному министру Эдвину Стентону, влиятельному деятелю в правительстве Авраама Линкольна.

Война приближалась к концу. Стояла великолепная весна, перекликались птицы, на голых ветках набухали свежие почки. Неприхотливая природа напомнила Красоцкому люблинскую землю. Более тридцати лет он не видел родных полей, густо поросших светло-желтыми лютиками...

Красоцкий только недавно снял белую повязку со лба. На месте штыковой раны, едва не стоившей ему жизни, остался грубый синий рубец. Его офицерский костюм был в заплатах, сапоги прохудились. Но каким это все казалось незначительным по сравнению с радостью, которую он разделял со всеми встречавшимися ему в пути людьми.

«Победа, победа, отмена рабства на всем континенте»,— слышалось со всех сторон.

Девятого апреля 1865 года Красоцкий добрался до Вашингтона, и в этот именно день кончилась кровопролитная гражданская война. Северяне ликовали.

Поздно вечером посланец из Сент-Луиса был принят министром. Стентон сидел за столом и, насупившись, перелистывал депеши.

— Садитесь, капитан,— бросил он властно.

«Стентон мрачен, как поздняя осень, несмотря на столь счастливое событие»,— подумал Красоцкий, вглядываясь в его недоброе темное лицо.

— Итак, вы не только храбрый офицер американской армии, но также участник польского восстания тысяча восемьсот тридцатого года. Останетесь ли вы в нашей стране навсегда?

— Вряд ли, господин министр. Сердце мое и моей жены принадлежит нашей далекой родине.

— Вы, следовательно, из племени вечных революционеров. Кочевник. Рад знакомству с вами. Война считается конченной, и субординация сейчас неуместна. Не хотите ли поужинать со мной? Правда, в обстановке, похожей на привал.

Стентон встал, и Красоцкий пошел за ним в соседнюю комнату, неуютную, как походная канцелярия. На простом столе был сервирован ужин: холодная телятина, овощи, вино и кофе.

— Я часто ночевал здесь, чтобы быть всегда на посту. Минута промедления в штабе иногда решала исход боя. Недальновидные люди,— продолжал Стентон, нарезав

мясо и разложив его по тарелкам,— вообразили, что война уже кончилась. Заблуждение. Она будет еще продолжаться, только отныне скрытая,— значит, еще более опасная.— Стентон злобно поджал губы.— Чувствительные политики считают, что капитуляция Южных штатов дает им право на милосердие, снисхождение к противнику. А что думаете об этом вы, бывший повстанец?

— Вопрос ваш застал меня врасплох, но победители обязаны быть великодушными. Террор к тому же — это палка о двух концах,— твердо ответил Красоцкий.

Стентон посмотрел на него исподлобья и принялся за еду. Несколько минут длилось молчание. Затем министр вытер клетчатым платком жирные губы и сказал:

— Жалостливые правители — бедствие для государства. Надо добить врага, пока он слаб. Примирение — это предательство против нации. А кто отомстит за наших погибших братьев? За каждую каплю крови северянина нужно выпустить тонны крови из побежденных южан. Но не это главное. Капитуляция не оплатит нам наших убытков. Их должны возместить враги. Пусть богатые плантаторы выплатят нам все до копейки. Война — это обогащение тех, кто ее выиграл. Если южане откажутся раскрыть свою мошну, в наших лесах достаточно деревьев, чтобы повесить этих негодяев.

Красоцкий широко раскрытыми глазами смотрел на Стентона и невольно отодвинул бокал вина. Он вспомнил, что читал сегодня речь президента о необходимости амнистии.

«Пусть никто не ждет от меня, что я приму участие в убийстве этих людей, даже самых худших из них,— говорил Линкольн. — Если мы хотим сотрудничать и снова стать едиными, то пора покончить с упреками».

— Авраам Линкольн,— сказал поляк холодно,— не разделяет ваших взглядов. Он был беспощаден и жесток во время войны, но сейчас круто изменился. Братоубийственная схватка кончилась. Нужны мир и объединение.

— Вы, по-видимому, в молодости валили лес вместе с нашим президентом? Ваши мнения столь схожи,— рассмеявшись, спросил Стентон.

— Что ж, он величайший из дровосеков, если сумел вырубить рабство в Америке.

— Мне понятна теперь причина поражения польских восстаний. Мягкотелость. Смирение. О, я человек совсем

другой породы и, как видите, добыл-таки победу для моей нации.

«Какой опасный честолюбец. Знает ли президент, что у него есть столь явный и могущественный враг?» — подумал Сигизмунд.

Дежурный офицер в это время доложил о Лафайете Бекере, шефе тайной полиции, подчиненной военному министру. Толстощекий, упитанный бригадный генерал показался Красоцкому человеком довольно приятным в обращении, хотя и плутоватым. Маленькие, заплывшие жиром глазки его шныряли с невероятной быстротой с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь.

— Этот поляк пролил кровь за великую Америку,— сказал Стентон.— Кстати, где вы остановились на ночлег, капитан?

Красоцкий признался, что в гостиницах не смог в этот бурный, праздничный день найти себе пристанище.

— Тем лучше,— вмешался в разговор Бекер,— вы переночуете у меня.

— А пока,— приказал министр,— обождите генерала в приемной.

Поклонившись, Красоцкий вышел. Он долго не мог побороть неопределенное и весьма тягостное чувство, которое вынес, расставшись с Стентоном.

«Есть люди, несущие в себе тяжесть противоречивых недобрых мыслей и желаний. Они как бы перекладывают на всех, с кем общаются, часть своего груза,— подумал Сигизмунд.— Стентон из числа таких трудных, деспотических натур».

Лафайет Бекер удивил Красоцкого своей словоохотливостью, граничащей с болтливостью. Это казалось тем более неожиданным, что по роду своей деятельности он должен быть скрытным и молчаливым. Сигизмунд знал, что с начала войны Бекер возглавлял секретнейшее учреждение республики. Впрочем, говоря о чем попало, начальник полиции не касался своих дел. В море слов он легче избегал запретных тем. Его любимой поговоркой, которую он вставлял в разговор иногда без всякого повода, было: «Сделал — не бойся, боишься — не делай».

Привычка много лет подряд работать по ночам развила у шефа тайной полиции упорную бессонницу, и до утра

Красоцкий покорно терпел его многословие. Запасшись вином и сигарами, развалившись в кресле, Бекер развлекал беседою своего случайного гостя. Зато тот неожиданно узнал много интересного.

— Линкольн — убежденный фаталист,— рассказал ему Бекер.— Он прав: кому суждено умереть в постели, тому ничего не грозит в дороге. Хороший, неподкупный, простой человек президент. А между тем у него много врагов, и, пожалуй, теперь их больше поблизости, чем на Юге. Если с ним что-нибудь случится, южанам несдобровать. Он ведь твердый сторонник амнистии и замирения. А есть очень влиятельные у нас люди, которые хотят жестокой расправы над побежденными и требуют мести.

— Я слыхал уже об этом,— подтвердил Красоцкий, вспомнив Стентона.

— Линкольн очень смел и упрям. Он ничего не боится и настойчиво отказывается от всяких мер предосторожности. Его личная охрана ничтожно мала. Недавно он заявил нам: «Я привык думать, что, если кто-нибудь захочет меня убить, он все равно это сделает. Даже если бы я носил панцирь и был окружен телохранителями, это не помогло бы». Он прав. Я-то уж это знаю. Нельзя уберечься от домашнего вора и убийцы, если он скрывается под личиной друга и находится рядом. Разве спасешься от Иуды?

Последние слова Бекер произнес столь многозначительно, что Красоцкий запомнил их навсегда.

Четырнадцатого апреля в Вашингтонском театре давалось праздничное представление по случаю окончания войны. В первой ложе, украшенной полосатозвездным знаменем, у самой сцены, незадолго до начала появился президент с женой. Их встретили шумными приветствиями и аплодисментами. Авраам Линкольн поклонился и сел. Очень скромный, он тяготился внешними проявлениями внимания. Худое, длинное лицо Линкольна с утомленными глазами было болезненно бледным. Его жена, миловидная моложавая женщина, с трудом преодолевала несвойственное ей беспокойство.

— Я слыхала, как ты просил Стентона,— внезапно вспомнила она,— назначить для охраны этой ложи майора Экерта. Он отличается завидной физической силой,

симпатичен и, главное, честный преданный тебе человек. Почему военный министр услал его?

— Нас караулит за дверью какой-то нетрезвый парень,— беспечно смеясь, сказал Линкольн.— Странная затея Стентона. Я, впрочем, убежден, что наш горе-телохранитель уже отправился пьянствовать в буфет. Оно и лучше.

Оркестр грянул гимн республики, звучавший в этот день особенно величественно. Все встали. Шурша, поднялся занавес, и начался спектакль.

Красоцкий находился в партере. Он подолгу смотрел на Линкольна, который был ему всегда очень симпатичен, и, однако, не заметил, как разыгралась трагедия в маленькой ложе у сцены, не видел, как около 10 часов вечера совершенно беспрепятственно вошел туда молодой усатый брюнет, уверенной рукой нацелил пистолет в затылок президента и спустил курок. Музыка на сцене заглушила сухой треск выстрела. Захлебываясь кровью, Линкольн беспомощно сполз с кресла. Крик его жены совпал с мгновением, когда убийца, перекинув ногу через барьер, запутался в атласном знамени, спускавшемся вдоль ложи, и внезапно рухнул на сцену. Быстро поднявшись на ноги, он сиплым голосом крикнул что-то невнятное в оцепеневший зал и, расталкивая артистов, не понявших, что произошло, скрылся. Красоцкий осознал все, лишь когда мимо него пронесли смертельно раненного президента.

«Как могло случиться,— думал он, блуждая по городу, где царило смятенье и горе,— что убийца получил не только свободный доступ в ложу президента, но и беспрепятственно исчез».

Тотчас после покушения на президента Эдвин Стентон стал фактическим правителем страны. В доме напротив театра, где лежал умирающий Авраам Линкольн, он отдавал распоряжения и диктовал указы. Вице-президента Джонсона он уговорил отправиться домой, якобы для того, чтобы не рисковать жизнью. По приказу Стентона все дороги вокруг Вашингтона были оцеплены, кроме двух основных, ведущих на юг страны. Одной из них воспользовался террорист. Имя его стало тотчас же известно: актер Джон Уилкс Бут. Был ли это маньяк, желавший любой ценой, даже совершая преступление, привлечь к себе хоть на миг внимание человечества, или разъяренный

фанатик-изувер, мстивший за раскрепощение негров; психически больной человек или наемный убийца, соблазненный большим вознаграждением и обещанием безнаказанности? Кто дал ему в руки пистолет, толкнул и подготовил убийство? Почему верный Линкольну майор Экерт был отправлен в этот вечер из города, а к президенту в качестве охранника приставили пьяницу, отлучившегося именно тогда, когда Бут подошел к ложе? Бездонная тайна окружала совершившееся преступление.

Так как Красоцкий все еще жил в особняке Лафайета Бекера, он знал все, что было связано с поимкой преступника. Бут так и не попал живым в руки правосудия. Настигнутый в одном из селений местными жителями, он был убит в упор неизвестно кем именно тогда, когда мог быть захвачен. Кто выстрелил в Бута, осталось невыясненным. Так убрали человека, столь нужного для раскрытия тайны убийства Линкольна.

Красоцкий не узнавал Лафайета Бекера в эти напряженные дни. Куда девались его благодушие и разговорчивость. Он перестал повторять свою излюбленную поговорку.

— Вы знаете, что заявил Стентон над трупом президента? «Отныне он принадлежит вечности»,— сообщил Бекер, войдя к Красоцкому поздно ночью с большим графином виски.

— Кто же участвовал в заговоре на жизнь Линкольна? Ведь Бут всего лишь исполнитель,—настойчиво допытывался Красоцкий.

После долгого молчания, выпив несколько рюмок спиртного, Бекер внезапно разговорился.

— В новом Риме жили трое,— начал он, заикаясь,— Иуда, Брут и Шпион. Когда павший праведник лежал на смертном одре, пришел Иуда и поцеловал мертвое чело. «Он принадлежит теперь вечности, а нация отныне должна принадлежать мне»,— сказал предатель. Вот как все было.

Бекер говорил как бы в трансе, размахивая руками и глядя неподвижно в пространство. Красоцкий почувствовал, что кровь застучала в висках. Он поспешно вышел из комнаты, но Бекер догнал его.

— Слушайте,— сказал он, протрезвев,— я говорил с вами, как на исповеди. В вас есть что-то особенное. Как бы это сказать? Вы похожи на тех святых, которые гото-

вы пожертвовать собой ради таких смешных, нереальных понятий, как правда, справедливость, бескорыстье. Но то, что вы сейчас слыхали, может стоить не только мне, но и вам головы. Мы живем в стране, где все зиждется на насилье и крови. Не верьте ничьим словам, вы сами видели недурной спектакль в Вашингтонском театре. Стентон уже спрашивал меня, отчего вы так долго болтаетесь в Вашингтоне. Это предупреждение. Есть одно жизненное правило — меньше знать. Понятно? И еще запомните: из ста ослов не сделать одной лошади, так же как из ста подозрений не сделать и одной улики. Уезжайте поскорее и благодарите вашего бога, что внушили мне симпатию. Вы профессионал-революционер, а я профессионал-шпион. С большой буквы Шпион, заметьте.

На другое утро Красоцкий начал собираться в обратный путь, но внезапно заболел и слег в постель. В это время в Вашингтоне с небывалой торопливостью прошел суд над подозреваемыми сообщниками Бута. С ними расправились быстро и жестоко. К следствию и делам, связанным с гибелью Авраама Линкольна, Эдвин Стентон не допускал никого. Когда Красоцкий выздоровел, к нему приехал Бекер. Он исхудал и казался помешанным.

— Вас требует военный министр. У него нюх гиены. Будьте осторожны. А я человек уже отпетый. Меня постоянно преследуют. Это опытные профессионалы-убийцы. Я больше не в силах их перехитрить. Есть работа, в которую включается также обязательство принять безропотно мученический венец.— Бекер попытался засмеяться, но получилось нечто похожее на волчий вой.

Когда Красоцкий явился в Военное министерство, Стентон подал ему пакет, адресованный в Сент-Луис, и сказал многозначительно:

— После нашей встречи Америка потеряла одного из лучших своих сынов. Помните, я говорил вам, к чему ведет в политике уступчивость и мягкость? Смерть президента Линкольна не представляет ничего загадочного. Южные штаты, точнее, владельцы огромных хлопковых плантаций, ненавидели его как своего злейшего врага, ведь это он дал свободу неграм. Именно Линкольн провозгласил отмену рабства. Восставший Юг был изолирован и разбит нами. Но там возникло тайное общество, поставившее своей целью убийство президента. Бут был послан этими людьми. Я всегда говорил, что южан надо

беспощадно уничтожать, однако не встречал в этом поддержки. К тому же Линкольн не хотел, чтобы его охраняли, хотя знал о грозившей ему опасности. Он был преступно доверчив и беспечен...

— Но, простите, господин министр,— не выдержал Красоцкий, хотя и дал себе ранее слово молчать,— о чем думали единомышленники, соратники, находившиеся подле президента? Они обязаны были охранять его, предупредить преступление. Жизнь Авраама Линкольна принадлежала не только ему, но всей его родине. Такие люди, как он, гордость нации.

Красоцкий смолк, пораженный тем, как исказилось лицо Стентона.

— Послушайте, капитан,— сказал тот глухо.— Вы не знаете коварства плантаторов Юга. Вы здесь чужой. Мы признательны вам за участие в войне нашего народа, однако поляки — бунтари по природе. Я не хочу причинять вам неприятностей. Климат Америки, по моему мнению, вам отныне вреден.— Стентон подошел к календарю и, перевернув тридцать листков, назвал число, когда Красоцкому надлежит сесть на корабль, отплывающий в Европу. Затем, не сказав более ни слова, он вышел из кабинета.

Через три недели Сигизмунд Красоцкий с семьей, сердечно распрощавшись с Вейдемейерами, так и не узнавшими причины столь поспешного его отъезда, покинул навсегда берега Америки. Первым местом, где они остановились, был город на Адриатическом побережье.

...Венеция — слово, тревожащее слух, как гениальная, надоевшая, запетая песня, пронесенная по миру всеми музыкальными инструментами, включая шарманку. Слово, наваливающееся грудой назойливых образов: город домов-лодок, стройных гондольеров, пестрых карнавалов, нестихающих песен, вечной луны.

Гипноз исчезнувшего величия «королевы адриатических вод» трудно одолим.

Люди второй половины XIX века как бы атавистически переняли глубокое изумление своих далеких предков, видевших и прославивших страну-чудо, город на столбах и сваях, среди невскипающих вод, где каналы и триста девяносто мостов подменили улицы, где дома, при-

двинутые к самой воде, украшены тончайшим деревянным кружевом, рисунок которого украден у индусов, мавров и византийцев.

Оцепенение заезжих торговых гостей из дымной Англии, чье небо, природа и религия так разнились от венецианских, восторг суровых, отважных, вольных граждан Великого Новгорода, мечты бунтарей-пиратов на несколько веков определили отношение к столице на лагуне.

Белая Венеция — город мертвых. Подтачиваемые веками палаццо вдоль каналов, унылый готический Дворец дожей — морги, куда свалено прошлое.

Человеческие шаги в пустых залах гулки, подобны ударам молота по крышке гроба.

Многоцветные фрески в залах советов трехсот, ста и десяти упорно навязывают новому веку происшествия нескольких столетий венецианского могущества.

Во Дворце дожей с потолков смотрят вниз выцветшими, пустыми глазами сто двадцать похожих один на другого седовласых, бородатых патриархов. Одни, как дож Дандало, прославлены чудовищными грабежами Малой Азии в пору доходных крестовых походов; другие, как дож Витале Микеле, отличались в морских сражениях с генуэзцами.

Тщетно с помощью мощей святого Марка, вывезенных из Египта, пытался в течение многих столетий «Совет десяти», подлинный хозяин республики, приобщить к католической церкви несговорчивых протестантов, расчетливых православных, фанатических магометан и буддистов, бросавших якорь у венецианского берега.

Нравы аристократической республики, кровавую неустанную борьбу за власть, небывалые преступления правителей воскрешает тюрьма при Дворце дожей.

Душное подземелье сложными ходами соединялось непосредственно с трибуналом, с залом пыток великого инквизитора.

Великий инквизитор редко пытал воров, фальшивомонетчиков, грабителей. Венецианская республика всегда нуждалась в кадрах наемных убийц, умелых разбойников и шантажистов.

Только погубленные случаем или сообщниками интриганы, соперники дожей, честолюбивые неудачники и редкие вольнолюбцы удостаивались чести, прежде чем подставить голову топору, предстать перед инквизицией.

С Моста вздохов — дороги смертников — стеклянная галерея приводит во дворец, где хранятся великие творения Тициана: золотоволосые мадонны и грешницы.

О наполеоновском шторме говорят больше, нежели исторические исследования, посредственные копии картин, заменившие увезенные в Париж драгоценные трофеи итальянского похода — творения прославленных венецианских мастеров.

Угрюмое господство княжеского австрийского дома проходит стороной от величавого памятника господства венецианской знати.

Безропотно, морской звездой, выброшенной на лагуну, умирает Венеция.

Игрушечный порт — излюбленное ложе карнавальных гондол, удобное вместилище азиатских фелюг, пестро расписанных парусных кораблей, нарядных судов чужеземцев — не годится для чудовищ нового века, выдыхающих удушливый коричневый дым из несокрушимых чугунных легких.

Падение Византии, открытие Америки и новых путей в Индию решили судьбу «страны 117 островов». Генуя, постоянная соперница Венеции, отвлекла в свою овальную бухту на Средиземном море товары Ломбардии. Могущественную державу, олигархическую республику, культурный, артистический центр средневековья ждала та же участь, что ранее Византию, позже Голландию и Португалию.

...В ту же пору, что и Красоцкие, в Венецию из Флоренции приехал Михаил Александрович Бакунин.

Он много странствовал по Италии и проповедовал социализм. Речи его были очень непоследовательны и путаны. Однако он имел успех и производил большое впечатление благодаря внушительной внешности, громкому, резкому голосу и особенно ореолу мученичества, который окружал его имя.

Бакунин долго гулял по Венеции, которую раньше никогда не видел. На Пьяццо он осмотрел знаменитый храм святого Марка. О крестовых походах, о частых пиратских набегах, о несметных сокровищах Венеции, о маврах на службе дожей, привезших с собою свою культуру, свидетельствует многоцветный, неуклюжий, весь в заплатах

драгоценной мозаики дворцовый собор. Бакунин думал, что венецианские властители напрасно возомнили, что смогут превзойти архитектурной роскошью, драгоценным убранством своей молельни круглые византийские церкви Константинополя, плоские квадратные мечети арабов, продолговатые храмы последних язычников с острова Кипра.

Внезапно к задумавшемуся Бакунину подошла скромно одетая дама. Рядом с ней шла девочка лет десяти в голубом пышном платьице, отделанном кружевами и воланами, с продолговатым бледным личиком и немного выпуклыми зеленоватыми глазами. Бакунин, обычно равнодушный к детям, обратил внимание на вопрошающий и строгий взгляд ребенка.

— Здравствуйте, Михаил Александрович! — обратилась к нему между тем дама по-русски.

— Рад слышать родную речь, но не припоминаю...— замялся Бакунин, поправляя очки.

— Оно понятно. Прошло восемнадцать лет с тех пор, как мы видались в последний раз. Что ж, представлюсь, коли позапамятовали. Лиза Мосолова. Говорит вам что-нибудь это имя?

— Экая неожиданность. Еще бы. Я часто вспоминал о вас и слыхал, что...

— Я замужем и теперь уже редко кто называет меня иначе, нежели Елизавета Павловна Красоцкая.

— Вот и великолепно. Надеюсь, вы разрешите мне проводить вас. Здравствуйте, юная барышня, я знал вашу маменьку давно, очень давно. Впрочем, и тогда я был уже бродяга, мечтатель и вечный борец за правду, а теперь я еще и беглый каторжник.

— Здравствуйте,— сказала Ася тоненьким голоском и церемонно присела.

— Простите нас, Михаил Александрович, но нынче нам недосуг. Мы торопимся. Мой муж хворает и остался один в гостинице. Всего два дня, как мы в Европе.

— Я хотел бы повидаться с вами, Лиза. Мы когда-то были друзьями.

— Да,— тихо ответила Лиза,— были.

Бакунин назвал Лизе отель, где остановился.

— Я дам вам знать, где и когда нам можно будет встретиться,— обещала она.

— Какой он противный, высоченный, нескладный,— сказала Ася, когда Бакунин скрылся за баптистерией собора.— Он мне совсем, совсем не нравится,— продолжала девочка, но умолкла, заметив, что ее не слушают.

Лизу глубоко поразила встреча с человеком, которого она любила много лет. Ей припомнился Брюссель, где в канун революции 1848 года она провела с Бакуниным несколько счастливых дней. Потом из Парижа пришло известие о низвержении монархии. Мишель уехал. Тоска по нем и одиночество заставили ее позабыть женское достоинство и броситься на поиски возлюбленного. Он избегал ее долго. Наконец они вновь повстречались. Бакунин метался. Он был жалок, растерян, жаждал громкого подвига и славы. Лиза пыталась вернуть ему уверенность в себе, терпеливо сносила его капризы, утешала, как мать и друг. Все свое жалованье гувернантки она отдавала Бакунину. Она верила в то, что он — натура избранная для великой революционной миссии. Настали дни дрезденского восстания. Бакунин храбро сражался на баррикадах, воодушевлял колеблющихся и шел навстречу смерти. Если б не его соратники, он взорвал бы городскую ратушу вместе с собой, когда исход борьбы был предрешен и повстанцы оказались окруженными контрреволюционерами. Затем гряда из камней и железа разделила Лизу и Бакунина.

Бакунина приковывали цепями к стенам прусских и австрийских тюрем, дважды он выслушивал смертные приговоры. Наконец его выдали русскому царю. В Алексеевском равелине смерть подступила к нему вплотную.

Лиза верила в честность, несокрушимую волю и подвиг Бакунина. Могла ли она винить его за отсутствие любви к ней? Это было только ее личное несчастье. Она давно преодолела свое чувство и горечь, когда узнала, что отвергнута и забыта. Бакунин внушал ей прежнее уважение. Ей хотелось узнать его таким, каким он стал по прошествии столь многих испытаний и лет. Прошлое воскресло в ее памяти.

Но новая встреча Бакунина и Лизы произошла не скоро. Венеция покорила ее своей красотой. Вместе с мужем и пытливой Асей, плывя на черной, позолоченной, громоздкой гондоле по узкому каналу, она не раз любовалась похожим на терем мостом Риальто, знакомым ей с детства, как возвышенные строки Торквато Тассо, приклю-

чения сластолюбивого Казановы или поэтические страницы «Консуэло» Жорж Санд. Лиза разглядывала лицо гребца, его вспухшие руки, с трудом опускающие в воду весла. Гондольер стоял на корме, дрожа на сыром пронизывающем ветру, переругиваясь с встречным лодочником, задевшим край его пестро раскрашенной лодки.

— Проклятое ремесло,— бурчал он.— Слава мадонне, мои сыновья ушли из этой сырой ямы на фабрики Милана.

Венецианцы. Лиза уже видела их среди каменщиков и землекопов, которым Америка доверила наиболее трудную и неблагодарную работу. Их было очень много в кварталах итальянской голытьбы Нью-Йорка.

Опустели палаццо на каналах Венеции, но бойко торговали лавочники на Пьяццо и старались услужить иностранцам хозяева гостиниц и прокопченных, пахнущих чесноком трактиров. Там приготовляли отличный луковый суп и макароны. В мрачных городских закоулках, воспетые поэтами, запечатленные художниками венецианки, часто больные чахоткой и трахомой, расшивали в домах-бараках цветным шелком черные шали. Мужчины с искривленными профессией позвоночниками накладывали на клей кусочки стекол, собирали мозаичные картинки: ручных голубей, гондолу под Мостом вздохов.

В полутемной смрадной мастерской несколько горемычных калек, бывших солдат Гарибальди, изготовляли искрящиеся, чистейшие зеркала. Десятки стекол со всех сторон без конца отражали их обезображенные войнами лица и тела.

На многочисленных мостах гнили зловонные отбросы. И дети, научившиеся плавать чуть ли не раньше, чем ходить, лягушатами копошились на прибрежных камнях.

Из привокзальной Венеции в лавки вокруг собора святого Марка доставлялись цветные бусы, непревзойденной ясности и чистоты стекло и люстры, прославленные шали — то, что производила и продавала Венеция.

Пробродив несколько часов по отдаленным островкам, Лиза вернулась подавленной.

— И здесь некуда уйти от мрачной и злой правды жизни,— сказала она мужу,— всюду те же контрасты. Этот город-морг так бесконечно печален.

Лиза ничего не утаивала от мужа. С первых дней брака между ними установились отношения, основанные на искренности и доверии.

— Без этого совместная жизнь лишена смысла,— сказала Красоцкому Лиза.— Я иссушена длительным душевным одиночеством, но, чтобы выйти из него, мне нужно отучиться прятаться и защищаться, как большинство из нас вынуждено делать это всю жизнь из чувства самосохранения. Брак невозможен без правды, тем более что ложь, как и всякое заблуждение, растет беспредельно у того, кто однажды заблудился, солгал.

Встретив Бакунина, она тотчас же сообщила об этом мужу, хотя понимала, что причинит ему боль. Красоцкий безмолвно ревновал ее, особенно с тех пор, как она сказала неосторожно:

— Мне кажется, что любят в жизни только один раз. Все остальное порождено дружбой, уважением, привязанностью, но не подлинной страстью. Только с одним человеком слова любви звучат как откровенье и потрясают душу, во всех других случаях они лишены новизны, это повторение, вызывающее подчас другой, исчезнувший образ и потому грусть.

Заметив тягостное впечатление от своего признания, Лиза попыталась смягчить его. Ничто не помогло.

— Ты любила в жизни только Бакунина,— печально подытожил Сигизмунд.

— Бакунин — это только влюбленность, порыв чувственности, после которых осталась горечь и даже отвращение к себе. Ты мне всех дороже на свете, ты и Ася. Любовь — сила, а то была слабость.

— Даже жалость не дает права говорить неправду. Не утешай меня, я очень счастлив своей любовью к тебе и той преданностью, которой ты мне отвечаешь.

Узнав о том, что Бакунин в Венеции, Красоцкий настоял на встрече с ним Лизы, но сам, однако, познакомиться с ним отказался.

— Если ты не увидишь его, не поговоришь, то всегда будешь думать об этом с сожалением. Наше воображение так часто создает то, чего нет на самом деле,— сказал он и сам отослал записку жены, в которой она просила Бакунина приехать в один из модных ресторанов на островке Лидо. Поездка туда на маленьком катере занимала менее получаса. Лиза отправилась вместе с Асей.

День был, как часто в Венеции, очень тихий, влажный и ясный. Адриатическое море удивляло необычайным лиловым, фосфоресцирующим цветом. Вода была неподвижной и тяжелой. Узкая полоска песка точно отмель — островок Лидо, застроенный белыми домами,— походила на большой, бросивший якорь корабль. Приближаясь к причалу, Лиза обернулась назад. Венеция казалась большим палаццо на воде. Как она была тиха и малолюдна! На пустых балконах дворцов больше не появлялись, чтобы слушать серенады или просушивать на солнце выкрашенные в золотой цвет волосы, венецианки. Мертвой казалась и белая гавань, когда-то такая пестрая от сотен каравелл, фелюг, бригантин и лодок. Тревоги, заботы, суета, даже самое существование иного мира доносились издалека только в реве пароходного гудка да в музыке и песнях редких теперь карнавалов.

Лидо был светел, как его песчаный пляж. Легкая дымка испарений заволокла море.

Бакунин не заметил вошедших Лизы и Аси. Он сидел за круглым столиком на террасе, погруженный в думы. Лицо его выглядело необычайно большим, рыхлым, каким-то бабьим. Лиза подумала, что именно таким оно будет постоянно, когда он состарится. Сквозь наслоения времени и пережитого во внешности человека всегда проступает и его прошлый и будущий облик.

Увидев Лизу, Бакунин смутился, точно был захвачен врасплох, торопливо надел очки, подобрал отвисшие было щеки, губы, расправил лоб, вытянул шею и сразу же стал другим, даже привлекательным. Ася со свойственной детям острой наблюдательностью подметила это превращение.

«Да этот господин не фокусник ли?» — хотелось ей спросить у матери. На привокзальной венецианской ярмарке она видела накануне человека, который так ловко жонглировал масками, что они с лету падали и удерживались на его лице.

Бакунин заказал густой кьянти и спагетти по-венециански.

— Что ж, лучшая вещь — новая, лучший друг — старый,— начал он, ласково глядя на Лизу, и принялся рассказывать ей о своей жизни после побега из Сибири. Как и в былые годы, он тотчас же забыл о собеседнике, поглощенный собой, уверенный, что каждая его словесная

находка, выпад, мысль, рассказ — откровенье, благодеянье. Асе быстро наскучил непонятный для нее монолог, и она очень обрадовалась, когда кивком головы Лиза разрешила ей уйти погонять большой красный обруч по пустынному пляжу. Бакунин продолжал говорить и кончил патетически:

— Веление рассудка, сама сила вещей, смелое дерзанье духа привели меня к социализму, но я понимаю его по-своему. Я отрицаю всяческий порядок, ибо он есть рабство, оковы для мысли, кнут и унижение для человеческого рода. Только Маркс, этот кабинетный ученый, книжник, далекий от жизни, не хочет этого видеть.

— А что же тогда беспорядок? — широко улыбнулась Лиза.— Я перестаю понимать вас.

— Я и мои единомышленники считаем,— заявил Бакунин громогласно,— что беспорядок — это безвластие, беспощадное разрушение всего, превращение в обломки всей нашей цивилизации, дабы наследники наши не получили ничего, кроме развалин, и вынуждены были строить новое общество на пустом месте... Это и есть животворящая анархия. Мы имеем только один неизменный план — беспощадное разрушение. Мы очистим мир от двуногих тварей, таких, как помещики, чиновники, кулаки-мироеды. Попам мы вырвем язык.

Лиза с нарастающим недоумением смотрела на Бакунина.

— Какую же казнь вы избрали для царя? — спросила она.

Бакунин вспыхнул, мелкие капельки пота появились на его обрюзгшем лице. Он нервно провел ладонями по волосам.

— Мы не будем трогать царя... Мы оставим царя жить... Пусть же живет палач до той поры, когда разразится гроза народная. Судить его не наша цель, для этого есть суд мужицкий.

— Странная логика,— сказала Лиза. Про себя она думала с раздражением: «Какой фразер».

Разговор продолжался. О Герцене Бакунин упомянул вскользь и как-то свысока, заметив, что отношения их ухудшились. Затем он сообщил, что создает весьма могущественное революционное общество, которое вольется в Интернационал, сохраняя, однако, свои теоретические особенности.

— Недавно я виделся с Марксом, мы вскоре объединим наши силы, но заумные идеи этого немца растворятся в бурном потоке моего нового учения,— доверительно сообщил Бакунин.

— Мне думается, что Маркс сейчас самая значительная личность в революционном движении мира,— заметила Лиза.— В Сент-Луисе мы постоянно бывали у его близкого друга, полковника артиллерии Вейдемейера. Мой муж сражался под его командованием в нынешней американской кампании. Полковник — достойнейший человек, убежденный социалист. Он давал мне все сочинения Маркса, и я не могу не отдать должное автору. Это могучий ум и, кажется, большое сердце.

— Так-с! Значит, и вы не избежали гипноза. Что же, по-вашему, этот немецкий профессор гениален? И это говорите вы, русская женщина и некогда мой друг?

Бакунин не мог скрыть своего раздражения.

— Я не признаю его величья и вообще отвергаю какие бы то ни было авторитеты. Таких немецких ученых, как он, на свете немало.

— Но почему вы так вспылили, Мишель? — удивилась Лиза, впервые, как когда-то, назвав Бакунина уменьшительным именем.

— Ничуть. Я знаю цену Марксу и потому вижу, как вы, подобно многим, заблуждаетесь в нем. Не все, однако, превозносят этого божка Международного Товарищества. Карл Фогт, например, о нем другого мнения.

— Вам не следовало ссылаться на грязный пасквиль этого сомнительного человека. Он испачкал им только самого себя. Помои Ксантиппы не унизили Сократа,— рассердилась Лиза.

— О, можно поздравить Маркса с еще одной пылкой последовательницей. Вы, однако, скоро узнаете, кто в действительности этот Прометей пролетариата. Он хочет главенствовать. Он опасен потому, что ловко скрывает свои цели. Диктатура — вот к чему он ведет. Я отдаю должное его целеустремленности и знаниям, но еще в Брюсселе я постиг его черную душу.

Бакунин встал, поднялась и Лиза.

— Вы действительно возненавидели его еще тогда и знаете отчего,— четко выговаривая слова, произнесла Лиза.— Потому, что вы ему завидуете, оставаясь вечным одиночкой, бунтарем.

— Нет! — резко, фальцетом выкрикнул Михаил Александрович, будто Лиза вонзила в него булавку.— Он не Моцарт, не гений, а я не Сальери. История нас рассудит и, может быть, отдаст мне предпочтение. Я восемь лет горел в тюремном аду. Я...— Бакунин осекся и отвернулся к стене.

Лиза устыдилась своих упреков:

— Простите меня, Мишель, вы так долго страдали. Я оскорбила вас, вышедшего из бездны. Вы прошли через тяжелые испытания. Когда потомки будут изучать вашу жизнь, они воздадут должное величию вашего подвига. Простите же меня за грубость.

— Молчите, довольно об этом, молчите. С Марксом мы теперь будем сражаться рядом.

Бакунин опустился на стул и закрыл лицо руками, тяжело дыша и что-то бессвязно бормоча. Внезапно он отвел ладони, протер и надел очки в металлической оправе и сухо сказал:

— Экую мелодраму разыграли мы с вами. Не будем более спорить и касаться прошлого. Бог с ним. Вы, я слыхал, стали нынче богаты, а революционная борьба требует желтого металла, он легко превращается в пистолеты, адские машины и бомбы.

— Я не хотела бы такого их применения. Террор кажется мне безумьем. Если вам нужны средства для издания книг, газеты, которая будет полезна, рассчитывайте на меня и моего мужа. Мы охотно внесем свою лепту, хотя и не разделяем ваших взглядов.

— Вижу пагубное влияние марксидов.

— Отвечу на это изречением Леонардо да Винчи: верность всегда сильнее оружия,— сказала Лиза.

Разговор не клеился. Наступило неловкое молчание. Лиза спросила Бакунина о его семье, счастлив ли он.

— Как вам сказать? Тот же Леонардо говорил, что счастье или несчастье зависят от того, как мы воспринимаем то или иное, и это правильно. Что до жены моей, Антонии Ксаверьевны, она очень мила, добра и глупа, как, впрочем, большинство женщин. Она мне ни в чем не мешает, а это большое достоинство.

Лизу покоробили развязный тон и слова Михаила Александровича, и она обрадовалась, что могла с ним распрощаться. Когда несколькими минутами позже большая черная гондола увозила Лизу с дочерью прочь от Лидо,

она почувствовала то внутреннее спокойствие и легкость, к которым тщетно стремилась многие годы после разлуки с Бакуниным. Ей даже захотелось петь. Когда они подъезжали к белой гавани, путь им пересек плывущий в полном молчании похоронный кортеж. Были уже сумерки. Пунцовые факелы освещали черный гроб на лодке-катафалке, направлявшейся к островку Сен-Микеле, превращенному в кладбище.

«Сегодня и я хороню свои былые иллюзии»,— подумала Лиза, провожая взглядом печальную процессию.

Первого мая старшей дочери Маркса минул 21 год, возраст, которым в Англии обозначают совершеннолетие. С раннего утра в Модена-вилла установилась приятная праздничная суета. Готовился торжественный ужин, к которому были приглашены гости. Лаура, славившаяся хорошим вкусом, вместе с матерью заканчивала отделку платьев именинницы и неугомонной Тусси.

Карл дал себя уговорить в этот день и отложил работу над «Капиталом», но выговорил, однако, время, чтобы остаться одному и написать письмо Энгельсу, в котором подробно сообщал о делах и людях, деятельно участвующих в Международном Товариществе.

За обедом Женнихен заняла место подле отца. Это был «ее день». Она сама заказала те блюда, которые любила с детства. Пирожные со сливками и традиционный именинный пирог Ленхен испекла на славу.

Мысли черноглазой Женни были, однако, в этот день не о себе. Ее волновало другое. Накануне Лаура отвергла брачное предложение молодого Чарлза Маннинга. Это событие подробно обсуждалось всеми членами семьи. Маркс написал о нем Энгельсу, который по-отечески любил всех трех его дочерей.

Чарлз Маннинг, брат подруги Лауры и Женнихен, был уроженцем Южной Америки. Красивый, умный, он был без памяти влюблен в Лауру и казался подходящей партией для нее. Лаура умела внушать к себе пылкие, большие чувства. Однако взаимности Маннинг не добился. Тщетно он просил девушку обождать с отказом.

— Может быть, вы меня еще полюбите,— убеждал юноша Лауру и при этом отчаянно теребил в руках свою шляпу.

Молодые люди стояли в саду у дома. Лаура посмотрела на покрасневшие руки Маннинга, на его короткие пальцы с неровными краями ногтей, и ей почему-то захотелось смеяться. «Он, верно, грызет ногти. Какая, однако, дурная привычка»,— думала она, покуда Маннинг в патетических выражениях заклинал ее полюбить его и дать окончательный ответ хотя бы через год.

— Нет, Чарлз, я не хочу вас обманывать, ждать моей любви бесполезно.— Лауру удивляло, почему Маннинг настаивает тем энергичнее, чем решительнее она ему отказывает.

«Странно,— чуть не высказала она ему явившуюся вдруг мысль,— я всегда считала: то, что не горит, не зажигает. Неужели у любви другие законы? Вряд ли. Может быть, это следствие оскорбленного самолюбия. Мужчины воспринимают отказ женщины как поражение».

Лаура осталась неумолимой. Многие молодые люди добивались ее любви, мечтали о браке с нею. Она пользовалась большим успехом. Помимо красоты и невинного кокетства, в ней была чарующая женственность. Но под словом любовь Лаура, как и все дочери Маркса, понимала чувство непостижимое, как чудо, неотвратимое, как рок. Никто пока не вызывал в них таких по-шекспировски великих потрясений. Компромиссы казались им позором и слабостью. Тот, кто стремится к возвышенному, недоступен низменному.

Карл и Женни, естественно, ни в чем не неволили девушек и старались не навязывать им своих мнений о людях и симпатий к кому бы то ни было.

— Что ты думаешь о Маннинге, Чали? — спросила Лаура отца.

Новое прозвище Маркса, коротенькое «Чали», лишь недавно утвердилось в семье.

— Он во всех отношениях милый парень.

— Мне жаль Маннинга, но я его не люблю. Как же мне быть, Мавр?

— Тут не о чем думать. Раз ты к нему равнодушна, решение уже найдено.

Женнихен и Лаура далеко за полночь обсуждали случившееся. В юном возрасте мысли о любви настойчиво посещают девушек. Но требования к молодым людям у дочерей Маркса были весьма высокими. Как все истинно глубокие натуры, они мгновенно чувствовали смешное и

фальшивое. Маннинг показался Лауре кичливым и сентиментальным. Вслед за отцом девушки часто повторяли слова Гете: «Я никогда не был высокого мнения о сентиментальных людях, в случае каких-нибудь происшествий они всегда оказываются плохими товарищами».

День рождения Женнихен в этот раз украсило чистое небо и ясное солнце над Лондоном. После обеда вся семья отправилась на Хэмпстед-хис. В пути пели и шалили. Особенно веселились Карл и озорница Тусси.

Вечером пришли гости, среди них были несколько членов Генсовета Интернационала, его председатель Оджер и приятель семьи, вождь чартистов, поэт Эрнест Джонс.

— Итак,— сказал Карл, наполнив бокалы густым рейнландским вином,— день рождения нашего китайского императора Кви-Кви мы празднуем, я бы сказал, имея в виду собравшихся, политически. Первый тост за виновницу торжества, второй — за Международное Товарищество Рабочих.

После веселого непринужденного ужина гости перешли в самую большую комнату дома — кабинет хозяина. Разговор коснулся недавнего убийства Авраама Линкольна.

— Вы, верно, уже дописали, Маркс, наше обращение к новому президенту Джонсону? — спросил Оджер, раскуривая трубку.

— Кое-что набросал, но за окончательный текст примусь завтра.

— Злодеяние в Вашингтоне вселяет гнев в сердца всех честных людей Старого и Нового Света,— вознегодовал Джонс, куривший подле камина.

— Даже наемные клеветники, которые из года в год, изо дня в день упорно вели сизифову работу по моральному убийству Авраама Линкольна, застыли теперь у открытой могилы в ужасе перед взрывом народного негодования и проливают крокодиловы слезы,— мрачно заметил Маркс.

— Этот президент-дровосек был, однако, слишком добродушным человеком,— сказал Оджер, повернувшись к Марксу вместе с креслом, на котором удобно уселся.

— Линкольна не могли сломить невзгоды так же, как не смог опьянить успех,— ответил Карл.— Он был устремлен всегда к великой цели. Не увлекался волной народного сочувствия и не терялся при замедлении

народного пульса. Честно и просто исполнял он свою титаническую работу. Мне кажется, что скромность этого истинно недюжинного человека была такова, что лишь теперь, после того как он пал мучеником, мир увидел в нем героя.

— Посмотрим, что за птица новый президент,— сказал Джонс.

— Джонсон бывший бедняк и смертельно ненавидит олигархию. Он суров и непреклонен. Общественное мнение на Севере из-за убийства Линкольна будет теперь соответствовать намерению нового президента не церемониться с этими молодцами.

Беседа перешла на дела в Международном Товариществе. Германия, где сильно было влияние лассальянцев, возглавляемых Швейцером, Франция, все еще стонавшая под пятой Луи Бонапарта, и многие другие страны постоянно привлекали к себе пристальное внимание Маркса.

В конце вечера молодежь вовлекла всех пожилых людей в свой веселый хоровод. Мебель в рабочей комнате Маркса оказалась сдвинутой к книжным шкафам.

— Приглашаем всех на танцы! — объявила неутомимая Тусси.

Лина Шелер, подруга детских лет Женни, прозванная в семье Маркса за близорукость, серые жидкие волосы и упорство в труде «Старый крот», уселась за рояль, как заправская таперша, и комната наполнилась музыкой.

Смущаясь и подшучивая над собой, Карл с женой прошелся в вальсе. Он танцевал с необычной для его комплекции легкостью. Движения его были плавны и уверенны. Хороша в танце была и Женни. Она сохранила девическую живость и кружилась в вальсе с необычайной грацией. Женни улыбалась Карлу. Оба они помолодели и еще глубже ощутили, как безгранично любят друг друга.

— Ты всегда была и будешь для меня прекраснейшей девушкой Трира, царицей балов,— шепнул Карл жене, подводя ее к креслу.

Женни тихонько пожала в ответ его руку.

— Ничто так не омолаживает нас, как любовь,— ответила она.

Начались игры. Маркс на пари взялся с завязанными глазами потушить зажженную свечу. Ленхен добросовестно повязала его лицо платком, проверив, не подглядывает

ли он, повернула его несколько раз кругом и предложила подойти и загасить огонь. Широко раскинув руки и забавно переставляя ноги, Карл двинулся вперед. Он перестал ориентироваться, пошел в противоположную от свечи сторону и принялся изо всех сил дуть на щетку, которую вытянула перед ним Тусси. Все весело смеялись. Освободившись от повязки и увидев свечу за своей спиной, Маркс также разразился раскатистым хохотом. Затем начались фанты и жмурки. Когда все вдоволь набегались и устали, Женнихен принесла подаренную ей в этот день книгу в коричневом картонном переплете. Это была «Книга признаний», или, иначе, игра «познай самого себя», недавно появившаяся в Англии и ставшая очень модной.

— Высокочтимый Мавр, я прошу вас открыть своей исповедью этот томик,— сказала, лукаво улыбаясь, Женнихен и грациозно поклонилась.

Вопросы, на которые полагалось ответить, она написала на отдельном листке четким ровным почерком. Тщетно Карл под различными предлогами попытался уклониться от ответов. Ему пришлось уступить, и, вооружившись висевшим на груди моноклем, он принялся писать. Все три дочери, наклонившись над столом, окружили Маркса и затаив дыхание следили за его рукой. Ответы они читали вслух.

Достоинство, которое вы больше всего цените в людях?

Маркс, немного подумав, ответил:

— Простота.

...в мужчине?

— Сила.

...в женщине?

— Слабость.

Ваша отличительная черта?

— Единство цели.

Ваше представление о счастье?

— Борьба.

Недостаток, который вы скорее всего склонны извинить?

— Легковерие.

Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение?

— Угодничество.

Ваша антипатия?

— Мартин Таппер.

Когда Маркс написал этот ответ, ему зааплодировал Эрнест Джонс.

— Браво, Карл! Я ответил бы точно так же. Трудно найти в наши дни писателя, олицетворяющего бо́льшую пошлость, нежели этот преуспевающий литератор! — вскричал он.

— Продолжай же дальше, Чали,— настаивала Женнихен и отобрала у отца трубку, которую тот пытался разжечь.

Ваше любимое занятие?

— Рыться в книгах.

Ваши любимые поэты?

— Данте, Эсхил, Шекспир, Гете.

Ваши любимые прозаики?

— Дидро, Лессинг, Гегель, Бальзак.

Ваш любимый герой?

Маркс отложил перо.

— Их много, очень много,— сказал он.— Мне трудно решить, кому отдать предпочтение. Впрочем, двоих я укажу без размышлений.

— Кто это, кто? — раздалось с разных сторон.

— Великий Спартак и Кеплер.

— Кеплер? — переспросила Женнихен, несколько озадаченная.

— На основе учения Коперника именно он сделал величайшее открытие, доказав движение планет,— пояснил ей Маркс.

— Ваша любимая героиня? — допытывалась Лаура.

— Гретхен,— улыбаясь, ответил ей отец.

— Ваш любимый цветок?

— Лавр.

— Цвет?

— Я знаю, красный! — крикнула Тусси, опережая отца.

«Красный» — написал Маркс.

— Ваше любимое имя?

Карл придержал перо, и глаза его лукаво сощурились.

— Лаура, Женни.

Маленькая Элеонора-Тусси слегка надула губки. Но того, что она обижена, никто не заметил.

— Ваше любимое блюдо?

— Рыба,— ответила за Карла Ленхен.

— Ваше любимое изречение?

— Ваш любимый девиз?

На эти вопросы Маркс ответил без размышлений двумя латинскими поговорками:

«Ничто человеческое мне не чуждо» и «Подвергай все сомнению».

Когда он закончил свои признания, Женнихен потребовала его подписи под ответами.

— Твой почерк, друг Мавр, остер и устремлен ввысь, как шпили готических храмов,— сказал Джонс, разглядывая из-за плеча Маркса исписанный им листок бумаги.— Он также похож на молнии...

— Почему, Чали, ты не подписался полным именем: Карл Генрих? — запротестовала вдруг Тусси.— Всегда только «Карл Маркс», а мэмхен — «Женни». А ведь у нее целых четыре красивых имени: Женни-Юлия-Жанна-Берта. Есть из чего выбирать, не то что у меня, всю жизнь я должна быть Элеонорой, и никем больше. Прозвище не в счет. Вот у нашего Какаду есть в запасе и Мария.

— Мне не нравится мое второе имя. Право, бессмысленно обременять человека несколькими именами,— смеясь, заметила вторая дочь Маркса.

Игра продолжалась.

Пришла очередь исповедоваться Женнихен.

— Достоинство, которое я больше всего ценю в людях, это, конечно, человеколюбие; в мужчине — моральную силу, а в женщине — любовь,— объявила она скороговоркой.

— Я знаю, что наша Ди называет счастьем,— лукаво улыбаясь, провозгласила вдруг маленькая Тусси.— Любить! А наш мастер Какаду хочет быть любимой.

— Гадкий, злой карлик Альберих, болтунишка! — сильно покраснев и смутившись, прервала сестренку Женнихен.

— Теперь я буду исповедоваться,— настаивала Элеонора.— Моя отличительная черта — любопытство, а самое большое несчастье — это, конечно, зубная боль. Не правда ли, мэмхен, у тебя на днях удалили зуб и тебе это было очень неприятно?

— Моя антипатия,— продолжала маленькая проказница,— конечно же, холодная баранина, а представление о счастье?

Девочка задумалась. Взгляд ее упал на поднос с бутылкой шампанского, которого ей никогда еще не удалось отведать.

— Знаю, знаю, шампанское! — закричала она и захлопала в ладоши.

— Ну, это уж слишком! В десять-то лет! Девочка избалована. Что будет с ней дальше? Вот к чему ведет утверждение Карла, что дети должны воспитывать своих родителей,— вмешалась Лина Шелер. Она долгое время служила гувернанткой и часто спорила с Женни и Карлом о методах воспитания молодежи.

— Запретный плод всегда сладок и кажется источником счастья, пока его не попробуют,— выступил на защиту Элеоноры сметливый Оджер.

Тусси, румяная, прехорошенькая, возбужденная, продолжала говорить дальше:

— Женни больше всех цветов на свете любит лилию, мэмхен и Лаура — розы, Чали — розовые душистые дафне и лавр, а я, я люблю все цветы без исключения, и мой девиз: «Стремись вперед!»

— Браво! — зааплодировал Джонс.— Стремись к цели!

— Через тернии к звездам,— объявила Женнихен свой ответ на вопрос о девизе и записала его в тетрадь.

— Истина превыше всего, и она восторжествует! — провозгласила Лаура свой девиз.

Вечер затянулся, и гости разошлись необычно поздно.

Лето 1865 года отличалось, даже и по английским понятиям, чрезвычайной влажностью. Ежедневно шли холодные дожди. В редкие часы потепления Маркс придвигал стол к окну, которое открывал настежь, и писал, радуясь охлаждающей струе свежего воздуха. Это привело к тому, что его внезапно атаковал жестокий ревматизм. Боль в лопатке не давала шевельнуть рукой. Пришлось отложить работу. Денежные дела его были плохи. Энгельс присылал другу регулярно деньги для уплаты вновь появившихся срочных долгов и с нетерпением ждал окончания «Капитала».

«В тот день, когда рукопись будет отослана, я напьюсь самым немилосердным образом,— шутил он в одном из писем,— отложу это только в том случае, если ты приедешь сюда на следующий день и мы сможем это проделать вместе». В том же письме, беспокоясь о здоровье Маркса, Энгельс писал: «Закажи себе два больших фланелевых мешка такой величины, чтобы они полностью прикрывали больные места... мешки эти пусть наполнят отрубями и нагревают их попеременно в печке до такой температуры, какую ты только в состоянии выносить; эти мешки нужно все время прикладывать... При этом ты должен оставаться спокойно в кровати, тепло укрывшись...»

К ревматизму присоединилась болезнь печени. Все это крайне угнетало Маркса. Он был невесел и раздражен.

В доме на Мейтленд-парк почти все лето жил друг Карла, товарищ его по школьной скамье, брат жены, Эдгар фон Вестфален, приехавший из Техаса, куда собирался со временем вернуться. Рьяный участник Союза коммунистов в Брюсселе, смелый борец, он за долгие годы, проведенные в американских степях, значительно изменился. Находясь в долгом уединении, этот одаренный, умный человек сосредоточил все свои мысли и заботы только на себе самом. Когда-то Женни хотела, чтобы Эдгар женился на Лине Шелер. Но, несмотря на некоторую симпатию, возникшую у этих людей друг к другу, этого не произошло. Эдгар не решился создать семью, и Лина Шелер тщетно ждала его признаний. Она так и осталась одинокой, незаметно состарилась и довольствовалась тем, что стала наперсницей и поверенной чужой любви, сама так и не испытав этого всегда волновавшего ее и желанного чувства. Неустроенность личной жизни обострила в ней наблюдательность и жадный интерес ко всяким любовным перипетиям у других людей. Она первая замечала возникающее увлечение, флирт, сердечную размолвку.

— О, старый крот,— говорила она многозначительно,— бывает иногда дальновиднее и проницательнее орла.

Лина Шелер зачитывалась книгами по феминизму. Она утверждала, что мужчины — деспоты и уравнение в правах с ними женщин важнее всех иных вопросов на свете, даже если их отстаивает Маркс. Самыми значительными личностями в истории последнего столетия она

считала основательниц клуба синих чулков Ханну Мур и Мери Вулстонкрафт.

Женнихен, Лаура и Тусси любили Лину с тем же оттенком легкой иронии, как и их родители. Лина была очень рассеянна или, как она говорила, мечтательна и потому несколько неряшлива. Она всегда забывала свои вещи и вносила беспорядок, который злил аккуратную Ленхен.

— Ох уж эти старые девы, лучше раз согрешить на деле, нежели постоянно в мыслях.

Эдгар Вестфален, оставшийся холостяком, сосредоточил все свои желания на еде и элегантной одежде.

— Конечно,— говорил он, примеряя новые сюртуки и жилеты,— не только костюмы делают человека джентльменом, но они украшают жизнь.

— Увы, я не узнаю тебя, дружище,— сказал ему както Маркс.— В своем уединении ты усвоил себе самый узкий вид эгоизма, а именно привычку с утра до вечера думать только о том, что необходимо для твоего чрева. Но так как ты от природы добродушен, то эгоизм твой похож на эгоизм ласковой кошки. Черт возьми всякое отшельничество! Похоже, что ты отвык и от женщин настолько, что инстинкт пола сменился у тебя чревоугодьем. Ты непрерывно глотаешь пилюли и трепещешь за свое здоровье, и это тот самый Эдгар, который чувствовал себя в безопасности среди змей, тигров и леопардов.

Маркс откровенно огорчался, присматриваясь к шурину. Эдгар Вестфален не скрывал, что его заветной мечтой теперь является склад сигар и вин. Он избрал для себя в жизни роль почтенного старого джентльмена, который покончил счеты с жизнью, но вынужден, однако, заботиться о ее продлении.

— Обильный ужин, отборное вино и курево, а также хорошо сшитый фрак — вот чем могу я порадовать еще себя перед смертью.

Лаура и Тусси считали своего американского дядюшку забавным чудаком и прощали ему даже мелочность, граничащую со скупостью, которую он проявлял, если надо было тратить деньги не на собственную персону. Но Женнихен отнеслась к нему сурово. Ее возмущала мысль, что школьный товарищ ее отца, бывший член Союза коммунистов, мог так опуститься духовно.

— Наш старый крот — Лина Шелер — тоже не бог весть какая возвышенная натура, однако она сохранила хоть и изрядно иссушенное, но доброе сердце, не то что дядя Эдгар. Он только жалкий ржавый осколок ручной гранаты,— горячилась Женнихен, споря с сестрами.— Право, можно поздравить Лину и его, что они благополучно избавились друг от друга. Воображаю, каким был бы их семейный очаг.

Встреча после долгой разлуки с бывшим соратником заметно взволновала Карла: он вспоминал Вольфа, Веерта, Шрамма, преждевременно сошедших в могилу, и тех, кто, оставаясь жить, фактически, как и Эдгар, умерли для рабочего движения и борьбы.

Прикованный болезнями к постели, Маркс с увлечением занимался астрономией. Он томился постоянной жаждой знания, стремясь постичь все, что только может человек. Бескрайние просторы вселенной, далекие звезды и планеты всегда влекли его к себе.

Теория Лапласа об образовании небесных систем, научные объяснения вращения различных тел вокруг своей оси, закон различия во вращении планет Кирквуда, да и многое другое в науке о вселенной волновало его. Познавать — вот высшее наслаждение, которое открылось Марксу с юности. Как и Гегель, он страстно увлекался астрофизикой. Не меньше влекла его математика, без которой он не представлял себе науки.

За время болезни Маркса долги в семье росли. Все вещи снова были снесены в ломбард.

«Уверяю тебя,— писал Карл Фридриху,— что я лучше дал бы себе отсечь большой палец, чем написать тебе это письмо. Мысль, что полжизни находишься в зависимости, может довести прямо до отчаяния. Единственно, что меня при этом поддерживает, это сознание того, что мы оба ведем дело на компанейских началах, причем я отдаю свое время теоретической и партийной стороне дела. Я, правда, занимаю квартиру слишком дорогую для моих возможностей, да и, кроме того, мы этот год жили лучше, чем когда-либо. Но это единственный способ дать детям возможность поддерживать такие связи и отношения, которые могли бы обеспечить их будущее, не говоря уже о всем том, что они выстрадали и за что они хоть короткое время были вознаграждены. Я думаю, ты сам будешь того мнения, что даже просто с коммерческой точки зрения

теперь был бы неуместен чисто пролетарский образ жизни, который был бы вполне хорош, если бы мы с женой были одни или если бы девочки были мальчиками».

В конце сентября 1865 года в Лондоне состоялась первая конференция Интернационала. Она была созвана по настоянию Маркса, который считал, что секции Международного Товарищества Рабочих еще недостаточно окрепли и не готовы к созыву общего конгресса.

В течение пяти дней делегаты от Франции, Швейцарии, Бельгии совместно с членами Генерального Совета заслушали доклады о положении в отдельных секциях. Либкнехт прислал отчет о рабочем движении в Германии. Во время конференции установились дружеские контакты между наиболее деятельными членами Генсовета — Дюпоном, Эккариусом, Лесснером — и делегатами от Франции и Швейцарии переплетчиком Варленом и щеточником Беккером. Оба эти самородка были гордостью рабочего движения. Встречи в Лондоне способствовали укреплению авторитета Интернационала и сплочению вокруг Маркса наиболее боевых пролетариев. Конференция подготовила их к совместным выступлениям на конгрессах по важнейшим вопросам программы и тактики. Они решительно высказались против сектантов — прудонистов, которые требовали, чтобы Международное Товарищество занималось исключительно экономическими вопросами и не вторгалось в политику.

Дни работы конференции совпали с первой годовщиной Интернационала. Было решено отпраздновать эту важную дату — 28 сентября — и одновременно огласить на вечере обращение к американскому народу по случаю уничтожения рабства и победы республики.

В просторном высоком Сент-Мартинс-холле собрались участники Лондонской конференции и члены Товарищества, проживающие в Лондоне. Пришло немало гостей.

Лиза и Сигизмунд Красоцкие после долгих странствий и тщетных попыток получить разрешение на въезд в Россию выбрали Лондон местом своего изгнания. Они поселились в маленьком коттедже на Примроз-хилл и вскоре отыскали своих прежних знакомых. В числе их был Оджер. От него они получили билеты на вечер Товарищества Рабочих в Сент-Мартинс-холле.

К семи часам все были в сборе. Сначала собравшиеся принялись пить чай. Затем оркестр Ассоциации итальянских рабочих сыграл любимый народом величественный «Марш Кошута» и мелодичный «Гвардейский вальс». Бравурные звуки музыки подействовали на всех, даже самые хмурые из присутствующих оживились, заулыбались, зашумели.

Несколько музыкантов на корнетах и саксофонах исполнили «Каприччио», заслужив громкие похвалы. Затем раздался пронзительный звонок, и председатель Генерального Совета Оджер открыл торжественное заседание. Секретарь Кример долго откашливался, протирал очки и, водрузив их на нос, прочел ровным голосом без модуляций обращение к американскому народу. Зал встретил документ одобрительными возгласами:

— Слушайте! Слушайте!

— Да здравствует свобода и братство!

С короткими речами выступили французский и немецкий делегаты. Они напомнили, что прошел ровно год, как в этом же зале на митинге был основан Интернационал. В ответ по Сент-Мартинс-холлу понеслись приветственные выкрики, и все присутствующие, как один, запели «Марсельезу». На сцену вышли хористы. Сухощавый дирижер во фраке с большой красной гвоздикой в петлице объявлял каждую исполняемую песню. Он заметно волновался, и палочка в его руке слегка вздрагивала. Дирижируя, он пел вместе со своей мастерски слаженной капеллой. Все хористы были немецкие изгнанники. И когда они пели с большим чувством и воодушевлением «Вахту на Рейне» Шмитца, «Крест над ручьем» Рентайера и особенно «Радость охотника» Астхольца, многие в зале поднесли платок к увлажненным глазам. Песни эти всех взволновали. Зато шуточная «Мастерская» развеселила слушателей, и припев к ней, бодрый, радостный, подтягивали в зале.

Когда хор умолкал, выступали на разных языках ораторы. Речь польского делегата Бобчиньского произвела на всех большое впечатление.

— Единство пролетариата свято,— сказал он,— оно поможет нам сбросить цепи рабства и создать мир, где воцарится труд, братство и равенство.

И снова под сводами зазвучала «Марсельеза».

Объявив заседание закрытым, председатель Оджер сам с увлечением продекламировал поучительные стихи Элизы Кук «Честность».

Лишь в половине одиннадцатого, после того как в дешевом буфете были съедены все сандвичи, сосиски, сладкие булочки и выпит кофе, портер и легкие вина, начались танцы. Молодежь и старцы отдались веселью и движению под духовую музыку с непосредственностью детей. Они лихо отплясывали экосез, безудержно отбивали такт в галопе, плавно плыли в вальсе и кадрили. Началась мазурка, и вот на круг вышли поляки, закружили своих дам, падая на бегу перед ними на одно колено. Итальянцы вертелись как волчки в неистовой тарантелле, французы пустились в пляс под карманьолу. Так некогда танцевали их деды, разрушившие Бастилию.

Оркестр сыграл «Вальс» Годфри, один из самых известных. В это же время в небольшом низеньком помещении за трибуной Кример записывал новых членов Товарищества. Не только мужчины, но и женщины принимались в Интернационал. Первой к Кримеру подошла Лиза.

Секретарь Генерального Совета спросил ее имя и фамилию и внес их в большую тетрадь.

— Я хотела бы уплатить взнос за весь год,— сказала она, волнуясь.

— Извольте, один шиллинг и один пенс.

— Всего только?

— Это не малая сумма для пролетария,— сказала стоявшая рядом женщина, работавшая в прачечной.

— Ваше право сделать добровольный взнос в кассу Товарищества. Деньги нам всегда пригодятся для помощи стачечникам в разных странах,— сказал Кример.

Лиза передала секретарю Генерального Совета десять гиней. Он выдал ей членский билет и предложил взять «Манифест» и «Устав», чтобы знать свои права и обязанности в Международном Товариществе Рабочих.

Сигизмунд Красоцкий также вступил в члены Интернационала.

Вскоре после конференции, в октябре 1865 года, в Модена-вилла пришло письмо, которого там совсем не ожидали. Оно обещало большие материальные выгоды.

Друг Лассаля, бывший эмигрант Лотар Бухер, поступивший около года назад на службу к прусскому правительству, писал:

«Прежде всего бизнес! «Государственный вестник» желает иметь ежемесячные отчеты о движении денежного рынка. Меня запросили, не могу ли я рекомендовать кого-нибудь для этой работы, и я ответил, что никто этого лучше не сделает, чем Вы. Ввиду этого меня просили обратиться к Вам. Относительно размера статей Вам предоставляется полная свобода: чем основательнее и обширнее они будут, тем лучше. Что же касается содержания, то само собою разумеется, что Вы будете руководствоваться только Вашим научным убеждением; но все же во внимание к кругу читателей (haute finance[1]), а не к редакции, желательно, чтобы самая суть была понятна только специалистам и чтобы Вы избегали полемики». Затем следовало несколько деловых замечаний, воспоминание об общей прогулке за город с Лассалем, смерть которого все еще, по словам Бухера, оставалась для него «психологической загадкой», и сообщение, что он, как известно Марксу, вернулся к своей первой любви — к канцелярщине. «Я всегда был несогласен с Лассалем, который представлял себе ход развития слишком быстрым. Либеральная партия еще несколько раз будет менять кожу, прежде чем умрет; поэтому тот, кто еще хочет в течение своей жизни работать в пределах государства, должен примкнуть к правительству».

Карл припомнил Лотара Бухера, с которым когда-то познакомил его Лассаль. Это был нескладный господин с выпуклым, чуть колыхавшимся животом, начинавшимся где-то у самого подбородка. Белый воротник, резко оттенявший его темный сюртук, был ослепителен и туго накрахмален. Из-под сюртука выглядывал дорогой жилет. На золотой цепочке часов висело несколько дорогих брелоков. Короткие пальцы были унизаны дорогостоящими перстнями с неправдоподобно поблескивавшими брильянтами. Внушительно поскрипывали его новые ботинки с утиными носами. Этот человек всем своим видом хотел показать, что богат и хорошо устроен.

Карл погрузился в размышления. Итак, Бисмарк протянул ему, эмигранту, революционеру, руку. Маркс мысленно видел обрюзгшее лицо с отвислыми щеками и

[1] Финансовая аристократия *(франц.)*.

мешочками дряблой кожи под строго глядящими вперед всегда налитыми кровью глазами главы прусского юнкерства. Бисмарк был напорист, как таран, верно служил своему классу и презирал людей, широко пользуясь их нуждой или пороками.

«Что это, признак слабости? Грубый расчет? Подкуп? Опыт с Лассалем, Швейцером и многими другими привел Бисмарка к мысли, не купить ли и меня. Все, кого он растлил с такой легкостью, несомненно, оправдывали свое падение интересами рабочего класса, революции. Они надеялись, что надуют Бисмарка раньше и ловчее, чем это сделает он с ними. Жалкие недоумки. Рабские сердца, которым льстило, что их пускают через черный ход в переднюю фактического главы государства... А может быть, все-таки использовать прусскую печать для пропаганды наших идей, пусть недолго, но возглашать социалистическую истину? Какой компромисс допустим и когда он превращается в предательство, в подлость не только перед соратниками, но перед самим собой? Опасный соблазн, почти наверняка оборачивающийся против того, кто ему поддался. Где грань дозволенного для революционера в его отношениях с идейными врагами? Граница эта начерчена столь тонкой линией, что ее можно переступить незаметно для себя».

Маркс курил одну за другой сигары. Горки сожженных спичек лежали на столе подле переполненных пепельниц. Никто не решался в эти часы входить в его кабинет. Женни и все остальные члены семьи Маркса хорошо знали, что работает он необязательно с пером или книгой в руке. Достаточно было взглянуть на его лицо, поймать глубокий, как бы устремленный в себя взгляд, когда он ходил по комнате, сидел или лежал на кушетке, чтобы увидеть, как напряженно трудится в это время его мозг.

Маркс думал. Внезапно ему припомнились молодость, Кёльн, «Рейнская газета». Как часто тогда, да и потом пытались его переманить на свою сторону буржуа, промышленники вроде Ганземана, влиятельные финансисты. Чего только не предлагали. Он отвергал малейшее отступление, предпочитая нищету, обрекая семью на бедствия, жертвуя здоровьем и тем, что называется жизненными благами.

С тяжелой ношей лишений и потерь он шел вперед и вперед, высоко подняв голову, глядя смело в лица людей широко открытыми, чистыми глазами.

Связь с Бисмарком, пусть хоть в форме только одного сотрудничества в его газете, не принесет никакой пользы общему делу рабочих, не поднимет ни на одну ступень социалистическое движение. Только вред, кривотолки вызвало бы его согласие писать в «Государственный вестник» обзоры. Свора реакционеров с Бисмарком во главе попыталась бы бросить тень на его имя и тем самым на всех его единомышленников. И Маркс ответил Бисмарку коротким и звенящим, как пощечина, «нет».

Был вторник 8 мая. Под вечер Маркс отправился на заседание Генерального Совета. Над Лондоном повисли светло-серые сумерки. Хороша поздняя весна в Англии. Нет в эту пору ни черных, ни желтых туманов. Только белая дымка окутывает небо и солнечные лучи всегда чуть влажные, как глаза с поволокой.

Маркс шел по Гайд-парку, радуясь, что его черные узкие штиблеты утопают в свежей траве, густо усеянной расцветающими одуванчиками и лютиками. «Гете,— вспомнил он,— больше всего любил желтый и зеленый цвета, считая их красками самой жизни».

Тишину нарушало пение птиц. Читая газеты, подремывая, на траве лежали люди, рядом же паслись овцы. На берегу тенистого пруда шалили дети, резвились собаки. Трудно было представить, что парк расположен в самой гуще огромного города.

У Марбль-Арч Маркс взобрался на крышу омнибуса. Лошади неслись лихо по многолюдным улицам. На тротуарах появились фонарщики. В окнах лавок зажглись лампы.

Нелегко распознать возраст зданий на лондонских улицах. Климат подменил разрушительную работу времени. Бурый зимний туман, липкая копоть преждевременно старят стены, разъедают кирпич, углубляют складки, изъязвляют, чернят поры, бороздят морщинами камни.

Маркс не хуже уроженца Лондона знал все закоулки самой большой столицы мира. Он часто бывал в Уайтчапеле, расположенном в яме и, подобно Бирмингему, Лидсу, Шеффилду, служившем стоком для гнилостных

испарений, вонючего дыма и клейкой копоти. Трудно вообразить себе кусок земли более угрюмый, сырой и однообразный. Католические священники, описывая ад, могут воспроизвести пугающие краски Уайтчапеля. Люди, которым солнце известно как пунцовый факел, тщетно пытающийся поджечь насквозь отсыревшие крыши, а луна — как бурая жаба, не могут не смеяться подчас над собой и над окружающим. Иначе они сойдут с ума. Это безобидное самоиздевательство предотвращает отчаяние. В Уайтчапеле живет немало веселых людей; правда, смех их особенный, горький, пугающий буржуа, которые никогда не посещают этот отверженный уголок, населенный исключительно трудящимися.

К восьми часам Маркс вошел в дом № 18 в маленьком переулке Бувери-стрит, примыкающем к просторной и хорошо освещенной Флит-стрит. Туда недавно переселилось Международное Товарищество.

В узкой, длинной комнате, напоминавшей формой омнибус, за столом сидели члены Генерального Совета. В точно назначенное время председательствующий объявил заседание открытым. Кример, по обыкновению, предложил утвердить протокол предыдущего собрания. Он огласил его, стараясь не тратить на это много времени. Все слушали молча. Маркс закурил, затем пододвинул к себе лист бумаги и изредка записывал что-то. Лафаргу не терпелось заговорить, и он, с трудом сдерживаясь, принялся добросовестно чинить свой карандаш. Кример между тем читал протокол, в котором были вкратце изложены запрос из Бордо о том, куда направить деньги за членские билеты, пожелания в связи с приближающимся созывом конгресса Интернационала, обсуждение кандидатур новых членов Генерального Совета. Дойдя до отчетов делегаций, направляемых к рабочим с призывом поддерживать и присоединяться к Международному Товариществу, секретарь читал:

«*Юнг* делает отчет о посещении совместно с Лафаргом второго отделения рабочих-каменщиков, делегатам был оказан восторженный прием и обещана поддержка...

Кример сообщает, что он посетил дамских сапожников Сити... и условился с секретарем рабочих-переплетчиков о посылке делегации на их ближайшее собрание».

Маркс откинулся в кресле. Он был доволен. Непосредственная связь с трудящимися налаживалась. Секретарь,

откашлявшись, продолжал читать последний раздел протокола, озаглавленный: «Портные и их последняя стачка».

«*Лесснер* сообщает, что в Эдинбург доставлено известное количество немецких портных; все говорят, что и некоторые из лондонских предпринимателей ведут переговоры о доставке какого-то количества в Лондон. Проживающие в Лондоне немецкие портные образовали комитет и хотят действовать совместно с Советом Международного Товарищества Рабочих, чтобы разбить замыслы хозяев и их агентов в Германии.

Маркс заявляет, что, если Лесснер сообщит ему факты, он сам непосредственно свяжется с немецкими газетами».

Кример закончил чтение протокола и, после того как председатель скрепил его своей подписью, осторожно спрятал в папку, чтобы затем подклеить в большую черную книгу. Члены Генерального Совета выпили по чашке крепкого горького чая и продолжили заседание. Сначала избрали двух новых членов Генсовета, кандидатуры которых обсуждались на предыдущем вторнике, и обсудили, кого утвердить секретарем для Польши. Маркс предложил избрать гражданина Бобчиньского, находившегося в эмиграции, что и было принято единогласно. Затем перешли к подбору делегатов, которым надлежало договориться о совместных действиях с объединенным обществом механиков, переплетчиками и бочарами.

После чтения писем из разных стран и городов, споров и вынесения решения, которое утверждалось голосованием, Генеральный секретарь огласил письмо сапожников из Дарлингтона. Они выражали свои симпатии к Товариществу и обещали оказывать ему поддержку. Портные из того же города прислали пять шиллингов и сообщили о присоединении к Интернационалу.

Единая форма заявления для обществ, желающих присоединиться к Международному Товариществу Рабочих, напечатанная в виде листовки летом 1865 года, гласила:

«Мы члены........, собравшиеся в........, заявляем о своем полном согласии с принципами и целями Международного Товарищества Рабочих и обязуемся распространять и проводить их в жизнь; в подтверждение искренности на-

ших намерений мы просим настоящим Центральный Совет принять нас в братский союз в качестве примкнувшего отделения Товарищества.

Подписали по поручению членов в количестве...

Секретарь
Председатель».

Все новые и новые общества и рабочие объединения вступали в Интернационал. Прошло менее двух лет со времени митинга в Сент-Мартинс-холле, когда великий призыв «Коммунистического Манифеста» о соединении воедино рабочих всех стран стал претворяться в жизнь, и вот Международное Товарищество становилось сильным и влиятельным. Маркс создал не только его «Учредительный манифест» и «Устав», но и направил всю свою исполинскую волю и умение на то, чтобы слова стали делом. Сам почти нищий, он отдавал Интернационалу последние деньги, не щадя здоровья и сил, работал в нем постоянно, вникая во все без исключения, собирал, учил, оберегал, растил для него людей.

В конце заседания, когда на столе дважды сменились чашки с чаем и пепельницы напоминали отроги Везувия и Этны, Генеральному Совету было доложено об организации экскурсии английских рабочих в Ирландию.

— Сколько человек сможет поехать? — заинтересовался Маркс.

— Не менее трехсот. Уже ведутся переговоры с дирекцией лондонской Северо-западной железной дороги, и та дала благоприятный ответ.

— Великолепное начинание,— одобрил Маркс.

Товарищество стремилось всеми возможными средствами улучшить отношения и сблизить ирландский и английский народы. Предложение посетить соседний остров пришлось по душе всем членам Генерального Совета. На этом очередное заседание закрылось. Было уже более десяти часов. Лондон отходил ко сну. Вместе с Лафаргом и Лесснером Маркс бодро шел по опустевшим улицам. Как всегда, в руках у него был неизменный, свернутый на этот раз, черный зонт. Но небо не предвещало дождя.

— Не выпить ли нам по кружке пива? — предложил Лесснер, давнишний друг Маркса.

Фридрих Лесснер поверил в гений Маркса с первой их встречи — еще в пору издания «Коммунистического Ма-

нифеста». Упорный, сдержанный, Лесснер, после долгих раздумий приняв решение, уже не отступал от него. Марксизм он принял навсегда. Жизнь убеждала его в правильности этого учения, и не было такой силы на земле, которая могла бы заставить Лесснера поколебаться. Коренастый, с почти квадратной головой, упрямым лбом, большими скулами и широким носом, с прямым, испытующим, смотрящим исподлобья взглядом, с растущей вкривь и вкось лохматой бородой и свисающими на рот густыми усами, он весь был как глыба воли и силы.

— Что ж, Мавр, зайдешь со мной промыть глотку элем? — повторил Лесснер свой вопрос.

— Ты, Фридрих, маг, читаешь чужие мысли,— заметно оживился Маркс.— Тряхнем стариной, человече!

Лафарг предпочитал элю стакан красного вина. И то и другое можно было получить в таверне «Черный бык», к которой они подходили. Содержал ее итальянский изгнанник, осевший в Лондоне, которого знали в Генеральном Совете. Он оказывал немалые услуги, предоставляя свое помещение всякий раз, когда это было нужно. Когда Маркс и его товарищи вошли в небольшую таверну, владелец ее был поглощен партией в шашки и не заметил их появления. Маркс очень любил эту игру и, покуда толстая неаполитанка с усиками, которым позавидовал бы любой офицер, и черным пушком на подбородке наливала за стойкой пиво и вино, уселся за столик с шашечной доской. Не прошло и десяти минут, как он обыграл одного за другим водителя омнибуса, плотника, каретного мастера и, наконец, Лесснера.

— Ну и сильны же вы, гражданин Маркс, в шашках,— сказал почтительно хозяин «Черного быка».

— Что шашки,— усмехнулся Лесснер,— наш Мавр кого угодно положит на обе лопатки. Рано или поздно с его помощью всех врагов Интернационала победим.

Отдохнув за увлекательной игрой, выпив кружку доброго пива, Маркс отправился домой.

От непомерной работы днями и ночами Карл, и без того ослабленный физически, заболел тяжелым карбункулезом. Но и в постели он отказывался отдыхать и продолжал отделывать и дополнять «Капитал». Первый том был почти закончен набело. Маркс шутил, что вылизывает свое дитя после тяжелых родовых мук. Он готовил книгу для печати.

Женни часто упрекала Маркса, что он не бережет себя. Фридрих Энгельс также писал об этом из Манчестера:

«...сделай мне одолжение, принимай мышьяк и приезжай сюда, лишь только тебе позволит твое состояние, чтобы ты, наконец, мог поправиться. Этим вечным промедлением и откладыванием ты губишь лишь себя самого; ни один человек не в состоянии долго выдержать такого хронического заболевания карбункулами, не говоря уже о том, что может, наконец, появиться такой карбункул, от которого ты отправишься к праотцам. Что тогда будет с твоей книгой и твоей семьей?

Ты знаешь, что я готов сделать все возможное, и в этом экстренном случае даже больше, чем я имел бы право рискнуть сделать при других обстоятельствах. Но будь же и ты благоразумен и сделай мне и твоей семье единственное одолжение — *позволь себя лечить.* Что будет со всем движением, если с тобой что-нибудь случится? А если ты так будешь вести себя, то дело *неизбежно* дойдет до этого. В самом деле, у меня нет и не будет покоя ни днем, ни ночью, пока не вытащу тебя из этой истории; каждый день, когда я от тебя ничего не получаю, я беспокоюсь и думаю, что тебе опять хуже».

По настоянию Энгельса Маркс поехал отдохнуть к морю. Он поселился в тихом домике у самого берега и вскоре, отдохнувший, веселый, писал Лауре:

«Я очень рад, что поселился в частном доме, а не в гостинице или отеле, где вряд ли можно избежать докучливых бесед о местной политике, приходской скандальной хронике и соседских сплетнях. И все-таки я не могу петь, как мельник с берега Ди: «Что мне за дело до других, коль нет им дела до меня», потому что существует моя хозяйка, глухая, как пень, и ее дочь, страдающая хронической хрипотой. Впрочем, они очень славные люди, внимательные и неназойливые. Что касается меня самого, то я превратился в бродячую трость, большую часть дня гуляю, дышу свежим воздухом, ложусь в десять часов спать, ничего не читаю, еще меньше пишу и вообще погружаюсь в то душевное состояние небытия, которое буддизм рассматривает как вершину человеческого блаженства».

Все лето Маркс продолжал работать над «Капиталом». Ради этой книги ему пришлось отказаться от поездки на Женевский конгресс Международного Товарищества Рабочих, подготовкой которого он занимался.

«Поехать на него я не могу, да и не хочу, потому что долгий перерыв в моей работе невозможен,— сообщал Маркс своему единомышленнику врачу Кугельману в Ганновер, говоря о «Капитале».— То, что даст эта моя работа, я считаю гораздо более важным для рабочего класса, чем все, что я мог бы сделать лично на каком бы то ни было конгрессе».

Написанная им «Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам» включала следующие разделы: 1. Организация Международного Товарищества. 2. Интернациональное объединение действий при помощи Товарищества в борьбе между трудом и капиталом. 3. Ограничение рабочего дня. 4. Труд детей и подростков. 5. Кооперативный труд. 6. Профессиональные рабочие союзы. Их прошлое, настоящее и будущее. 7. Прямые и косвенные налоги. 8. Интернациональный кредит. 9. Польский вопрос. 10. Армии. 11. Религиозный вопрос.

Тезисы по всем этим пунктам были единогласно приняты на конгрессе в Женеве.

В «Инструкции» Маркс разработал темы, непосредственно затрагивающие насущные нужды тружеников и особо женщин и детей. О необходимости ограничить их рабочий день он писал:

«Мы считаем тенденцию современной промышленности привлекать детей и подростков обоего пола к участию в великом деле общественного производства прогрессивной, здоровой и законной тенденцией, хотя при капиталистическом строе она и приняла уродливые формы. При разумном общественном строе каждый ребенок с 9-летнего возраста должен стать производительным работником так же, как и каждый трудоспособный взрослый человек, должен подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и руками.

...Мы считаем необходимым, основываясь на физиологии, разбить детей и подростков обоего пола на *три груп-*

пы, требующие различного отношения к себе: в первую группу должны входить дети от 9 до 12 лет, во вторую — от 13 до 15 лет, в третью — 16- и 17-летние. Мы предлагаем, чтобы для первой группы закон ограничил труд в какой бы то ни было мастерской или на дому *двумя* часами; для второй — *четырьмя* и для третьей — *шестью* часами. Для третьей группы должен быть перерыв по крайней мере в один час для еды или для отдыха.

...Рабочий не свободен в своих действиях. В слишком многих случаях он даже так невежественен, что неспособен понимать подлинные интересы своего ребенка или нормальные условия человеческого развития. Как бы то ни было — наиболее передовые рабочие вполне сознают, что будущее их класса и, следовательно, человечества, всецело зависит от воспитания подрастающего рабочего поколения. Они знают, что в первую очередь надо оградить работающих детей и подростков от разрушительного действия современной системы.

...Исходя из этого, мы заявляем, что родителям и предпринимателям ни в коем случае не может быть разрешено применять труд детей и подростков, если он не сочетается с воспитанием.

Под воспитанием мы понимаем три вещи:

Во-первых: *умственное воспитание.*

Во-вторых: *физическое воспитание,* такое, какое дается в гимнастических школах и военными упражнениями.

В-третьих: *техническое обучение,* которое знакомит с основными принципами всех процессов производства и одновременно дает ребенку или подростку навыки обращения с простейшими орудиями всех производств.

Распределению детей и рабочих подростков по возрастным группам должен соответствовать постепенно усложняющийся курс умственного и физического воспитания и технического обучения. Расходы на технические школы должны частично покрываться путем продажи их продукции.

Сочетание оплачиваемого производительного труда, умственного воспитания, физических упражнений и политехнического обучения поднимает рабочий класс значительно выше уровня аристократии и буржуазии».

В это творчески напряженное время, когда Маркс жил главным образом в сфере научной мысли и открытий, его семью и Энгельса постигло большое горе. В Соединенных Штатах, в городке Сент-Луис 20 августа 1866 года от холеры умер Иосиф Вейдемейер. Его жена, Луиза, с которой переписывалась Женни, заразившись от мужа, тоже едва не погибла.

Смерть Иосифа Вейдемейера глубоко ранила Маркса. Много лет их связывала дружба. Разлука не нарушила духовной близости двух коммунистов. Живя на разных материках, они не теряли связи. Вейдемейер был одним из самых преданных сподвижников Маркса и Энгельса и пронес через всю свою жизнь верность их идеям и делу.

Сын прусского чиновника, вестфалец по рождению, способный артиллерист, окончивший Военную академию в Берлине, он всегда избегал торных дорог. Не сразу, не легко пришел он к мировоззрению Маркса, но затем никогда не отступал. Из армии Вейдемейер ушел без колебаний, как только решил, что взгляды его отныне не соответствуют положению, в котором он находился, будучи прусским офицером.

Вейдемейер был из числа редких внутренне ясных, честных, совестливых, отзывчивых и несокрушимо волевых людей. Глубокая убежденность в правильности избранного пути давала ему силы легко сносить трудную жизнь в далеком изгнании. Он отличался жизнелюбием, спокойствием и исключительной отвагой. Во время гражданской войны в Америке полковник действующей армии Вейдемейер снискал себе большое уважение и любовь в войсках. Тотчас же после организации Международного Товарищества он стал одним из самых неутомимых создателей американских секций, упорнейшим проводником идей марксизма. Сильный физически и духовно, он был рожден для долгой жизни, и мысль о смерти бежала при взгляде на этого коренастого, ладно скроенного, румяного, веселого человека. И, однако, болезнь сразила его во время вспыхнувшей в штате, где он жил, эпидемии. Маркс и Энгельс тяжело пережили потерю друга.

Поль Лафарг, член Интернационала, исключенный в конце прошлого года из Парижского университета за участие в студенческом конгрессе в Льеже, осудившем

правление Луи Бонапарта, переехал в Лондон, чтобы продолжить медицинское образование. Очень скоро Лафарг стал постоянным гостем в Модена-вилла. Лина Шелер, приехавшая навестить семью Маркса, первая выдала Женнихен и Лауре тщательно скрываемую тайну молодого студента.

— Меня,— сказала она таинственно, отведя девушек в сторону,— невозможно обмануть. Если я осталась незамужней, то только из-за своей требовательности и тщетного ожидания сказочного принца, однако я выслушала на своем веку немало признаний, представьте, и я была молода когда-то и изучила сердце мужчины.

— Как Жорж Санд, например,— подавляя улыбку, прервала ее Женнихен.

— Я нахожу эту писательницу однообразной и потому неинтересной. Все ее героини подозрительно смахивают на нее самое и постоянно проповедуют свободную любовь так же скучно, как старушка Жанлис поучает, что счастье женщины в браке. Но зачем нам беллетристика, когда сама жизнь подготовила вам презанимательный сюжет. Мосье Лафарг влюблен, и я уже знаю в кого.

— Вот уж неверно,— запротестовала Лаура.

— Старый крот, как всегда, проницательнее вас всех,— продолжала Лина.— Заметьте, как этот смуглый красавец мрачнеет, когда появляется Лаура. А его необычайная предупредительность ко всем нам! Он готов быть на побегушках даже у Тусси, читает с ней Купера и Марриета, поджаривает с Ленхен бифштексы, я не говорю о делах более важных, когда он часами помогает вашей матери в ее секретарских делах, отыскивает в лавках для Женнихен ноты и книги и готов часами выслушивать мои рассказы о Трире. Что говорить, даже пес Виски и все коты, которых так много вы развели в доме, ему дороги и приятны. О, я-то знаю, что с ним происходит. Когда мужчина влюблен в девушку, он готов исполнять прихоти даже ее прадедушки, и его нежность распространяется на всех и все, с чем она соприкасается.

— Фантазия, я этого не заметила. Мне Поль говорит одни только колкости. Он несносен,— вспыхнула Лаура.

— Браво! Я сделала еще одно открытие. Наш Готтентот тоже любит,— не унималась Лина, окончательно взбесив этим Лауру.

Лафарг был очень привлекателен не только внешне,

но и духовно, и Лаура не ошиблась в выборе. Он всей душой, по-сыновьи привязался к Марксу, понял величие его ума и сердца и стремился почерпнуть как можно больше в общении с ним. Поль охотно выполнял обязанности писца, помощника и откровенно радовался любому поручению Маркса. Женщинам в семье Маркса, а впоследствии и Энгельсу студент-медик из Бордо также пришелся по душе. Он стал дорогим и родным человеком для всех обитателей Модена-вилла.

По вечерам Поль Лафарг сопровождал Маркса во время его вечерних прогулок в Хэмптед-хис и в это именно время получил от него свое экономическое образование. Опираясь на крепкую палку, Карл бодро шел по пригородным холмам и, сам того не замечая, как бы проверяя на слух самого себя, излагал, шаг за шагом, содержание всего первого тома «Капитала», который тогда дорабатывал. Всякий раз, возвратившись домой, Поль, живший одно время в доме Маркса, торопился в свою маленькую отдаленную комнату и записывал в тетрадь то, что услышал и уяснил в этот вечер. Однажды Маркс изложил ему свою теорию развития человеческого общества и привел научные доказательства и соображения, которые за много лет открылись его мышлению. Молодой человек замер на месте и после долгого молчания сказал, потрясенный тем, как просто и ясно объяснилось для него то, что он считал вечной неразрешимой загадкой:

— Поразительно, доктор Маркс, я чувствую себя так, точно завеса разорвалась перед моим умственным взором. Я прозрел и в первый раз ясно понял логику всемирной истории. Отныне я могу свести столь противоречивые по видимости явления развития общества и идей к материальным причинам.

Действительно, все в словах Маркса было стройно, неопровержимо и просто, как сама величавая природа.

Лафарг с присущей ему горячностью, нетерпением, упорством принялся читать все, что написал когда бы то ни было Маркс. Его захватила глубина и новизна познанного. И, однако, приглядываясь и прислушиваясь ко всему, что делал и говорил Маркс, Поль пришел к выводу, который часто повторял:

— В жизни, в действии, в живом слове этот человек еще более велик. Ни одно его произведение не воспроиз-

водит во всей полноте его необозримых знаний и гения. Он воистину гораздо выше своих произведений.

Чем больше узнавал Лафарг Маркса, тем непостижимее он ему казался.

«Работа современных беллетристов,— думал он,— даже таких больших, как Флобер, пытавшихся передать то, что они видели,— детская игра по сравнению с трудами Маркса, который сумел изобразить всю жизнь планеты в самых разнообразных и непрерывно меняющихся действиях и противодействиях. Нужна нечеловеческая сила мысли, чтобы так глубоко осознать действительность, и не менее редкое искусство, чтобы передать то, что он рассмотрел, и сказать об этом так, как это сумел сделать он».

Подле Маркса нельзя было оставаться умственно бездеятельным и равнодушным. Он всех вокруг себя заставлял мыслить, мечтать. Каждый час жизни неизменно, год за годом, наполнялся для него и окружающих его близких чем-то еще неведомым, новым, значительным, обогащающим. Всем, кто общался с Марксом, как и ему самому, не хватало времени, так широки были запросы. В Модена-вилла стекались идеи, интересы, беспокойство всего мира. Слово «скука» здесь забывалось навсегда.

В немногие свободные часы Маркс наслаждался беллетристикой. Превыше всех романистов любил он Сервантеса и Бальзака. Особенно восхитил его мудро-проникновенный, иронический «Неведомый шедевр» Бальзака. Было нечто схожее и близкое в сложной и вечно ищущей душе Маркса с героем повести, гениальным живописцем, которого преследовало желание до мельчайших штрихов воспроизвести то, что жило в нем; из-за этого он без конца дорисовывал, подчищал свою картину, покуда на полотне ничего не осталось.

«Бедняга художник. В поисках совершенства он погубил свое творение. Когда следует остановиться и поставить точку? Лучшее — враг хорошего. Я понимаю душу героя Бальзака, никогда не довольствующегося тем, что он уже сделал».

Действительно, Маркс постоянно вносил в рукопись все новые и новые изменения, дополнял или перечеркивал написанное и горестно утверждал, что изложение его не до конца выражает задуманное, не доносит его мыслей. Самым беспощадным и суровым критиком Маркса

был он сам. Энгельс часто осуждал друга за его чрезмерную придирчивость к своему творчеству.

Чтобы написать около двадцати страниц об английском рабочем законодательстве, Маркс изучил целую библиотеку «Синих книг», в которых были опубликованы доклады следственных комиссий и фабричных инспекторов Англии и Шотландии. Поля этих книг от начала до конца испещрены его карандашом. Не раз он с глубоким почтением говорил о добросовестности людей, которые писали эти отчеты:

— Вряд ли возможно в других странах Европы найти таких же компетентных, беспристрастных и решительных людей, как английские фабричные инспекторы.

В знак признательности он воздал дань их заслугам в предисловии к «Капиталу».

Жизнь молодежи в Модена-вилла была наполнена разнообразными делами и развлечениями, но с той поры, как Лина Шелер, а затем и проницательная Ленхен обнаружили любовь Лафарга к Лауре, атмосфера в доме стала напряженной. Только Маркс еще не замечал ожидания перемен в его семье да Женни-старшая посмеивалась над возникшим беспокойством.

— Право, не стоит придавать серьезного значения увлечениям молодежи. Это вспышки молнии, которые быстро гаснут на небосводе,— сказала она Лине Шелер, когда та рассказала ей о своих наблюдениях.— Лаура несколько избалована успехом, капризна и самолюбива. Может быть, девочка защищается холодностью от возможных разочарований. Она очень боится любви, считая ее слабостью.

— И, однако, я убеждена, что скоро она сделает тебя бабушкой премилых негритят,— настаивала Лина.

— Это было бы хорошо,— улыбнулась Женни. Она сидела у окна с томом Шекспира в руках. В часы досуга ей никогда не надоедало перечитывать любимые драмы.

— «Кориолан»? — спросила Лина Шелер, усаживаясь с начатым рукодельем подле подруги.

— Да, судьба этого отважного воина меня неизменно волнует. Сколь трогательно любил герой свою мать Волумнию, такую же гордую, как и он. Помнишь слова этой римлянки: «Я меньше ликовала, когда узнала, что родила

мальчика, нежели тогда, когда в первый раз услыхала, что он проявил себя храбрецом». Когда же Волумния ослабела в борьбе с невзгодами, Кориолан напоминает ей, как сама она воспитывала в нем мужество. Вот послушай этот замечательный монолог:

Мать, куда девалась
Твоя былая бодрость? Говорила,
Бывало, ты, что крайняя беда
Бывает испытаньем силы духа,
А заурядным людям по плечу
Переносить беду простую только,—
Ведь по морю в спокойную погоду
Нетрудно плыть любому кораблю,
И только тот, кто бодро переносит
Тягчайшие судьбы удары, этим
Выказывает благородство духа,
И ты тем правилам меня учила,
Что делают непобедимой душу,
Проникшуюся ими.

В дверь постучали, и в комнату вошел Поль Лафарг. Он искал Лауру и был необычно взволнован.

— В этом доме,— сказал он, стараясь скрыть свое разочарование, что не нашел Лауру,— все без исключения пылко любят Шекспира. Я не могу сказать этого о себе, вероятно, потому, что мало сравнительно его знаю.

— Что ж, вам можно позавидовать. Откройте для себя скорей чудесный мир, населенный подчас неповторимыми, но всегда живыми людьми. Вряд ли на свете существовал когда-нибудь еще один такой сердцевед и мудрец, как гений из Стратфорда.

— Полю, конечно, более всего по душе Ромео,— улыбнулась Лина Шелер. Ее маленькое желтое личико при этом сморщилось и напомнило Лафаргу мятую кожуру земляного ореха.— Лишь бы не Отелло,— поддела молодого студента неугомонная старая дева.

Поль засмеялся низким, басовитым смехом и, извинившись, вышел. Были уже сумерки. Ленхен прошла мимо него по лестнице с зажженной керосиновой лампой в кабинет Маркса. В маленькой гостиной на первом этаже Лафарг увидел Женнихен. Она сидела за бюро и старательно вклеивала в «Книгу признаний» овальные фотографии авторов ответов.

— Вы ищете Лауру? Она сейчас придет сюда,— сказала девушка, не оборачиваясь.

Женнихен осторожно прикрепила головку Элеоноры над ее «Исповедью», а ножки в черных ботиночках приклеила внизу посредине листка у подписи. Полюбовавшись своей работой, она заговорила с Полем:

— Хотите, я прочту вам признания нашего Виски? Это уникальный документ.

— Конечно, мисс Женни. Предвижу, как это должно быть забавно.

— Не имея портрета почтенного пса, я вынуждена была воспользоваться переводной картинкой. Не правда ли, похож? — Женни показала смешную лохматую собачью голову.

— Сходство с мистером Виски полное,— серьезно подтвердил Поль.

— И я нахожу это. Итак, внимание.

Женни начала громко читать:

— «Вопрос. Достоинство, которое вы цените больше всего в людях?

Ответ. Лаять на нищих.

...у мужчин?

— Сварливость.

...у женщин?

— Задиристость.

Ваша отличительная черта?

— Постоянное чувство голода».

Поль весело рассмеялся.

— Вы, однако, проникли в самую сущность собачьей психологии.

— «Ваше любимое занятие?» Знаете, что шепнул мне Виски в ответ на этот вопрос? «Грызть кости».

«Ваше представление о счастье?

— Послеобеденная прогулка.

...о несчастье?

— Быть окунаемым в воду.

Ваш любимый герой?

— Пес Одиссея.

...героиня?

— Подыскивается.

Ваш любимый прозаик?»

— Конечно, Бюффон,— подсказал Лафарг.

— «Ваше житейское правило?

— Ешь и веселись.

Девиз?

— Если стеснять себя, то удовольствие невозможно».

— Ну, знаете, мисс Женни, вы мастерски воспроизвели не только четвероногого, но и двуногого эгоиста,— сказал Лафарг, еще раз перечитав признания Виски и вдоволь посмеявшись.

— Но у Виски такая добрая душа. Жаль, если его ответы не отразили этого,— пошутила Женнихен.

В комнату вошла Лаура. Свет зажженной на столе лампы упал на ее темно-красное шерстяное платье и узенькие черные туфли, выглядывавшие из-под пышной, отделанной тесьмой юбки. Лицо девушки оставалось в тени.

— Наша Ди все еще увлечена своей книжкой признаний. Она поставила себе целью познать всех встречающихся на ее пути людей с помощью нескольких вопросов и ответов. Как было бы хорошо, если б люди узнавались столь просто. Увы, игра остается игрой, шуткой,— сказала Лаура.— Исповедовались ли вы уже, Поль?

— Нет еще. Если вы позволите, я сначала разожгу камин. В мое представление о несчастье всегда включался холод. Я чертовски не люблю мерзнуть.

— Вам следовало бы вернуться на родной остров Кубу. Он кажется мне одним из блаженных островов Кампанеллы, прекрасным, как мифическая Эллада.

Женнихен вышла, сославшись на необходимость переписать кое-что для отца. Обернувшись в дверях, она напомнила Лафаргу:

— Не забудьте ответить на вопросы. Книга на столе.

Когда огонь в камине запылал, Поль подошел к столу, за которым сидела Лаура. В комнате было очень тихо. Никто не прерывал молчания. Поль пододвинул книгу признаний и принялся писать.

— Вот как, ваша отличительная черта — опрометчивость,— заметила Лаура, читая ответы молодого человека.— А почему вы скрываете имя любимой героини?

— Я не могу ее назвать. Имена, которые мне больше всего нравятся,— это Лора и Маргарита. Если вы любопытствуете узнать мой любимый цвет глаз, то он...— Поль посмотрел как-то особенно на Лауру,— ...с золотистым отливом. Но я умолкаю, так как мой девиз: «Прежде чем говорить, поверни язык семь раз во рту». Пусть за меня сегодня говорит Петрарка.

Мне хочется тебе, Сеннуччо мой,
Сказать о том, какую жизнь веду я.
Я тот, что был: любя, томясь, тоскуя,
Горю Лаурой, верен ей одной.
Вот лик ее...

Поль остановился и коснулся руки девушки.

То гордый, то простой,
То строг, то благ, то хмурясь, то ликуя,
То сдержанность, то шалость знаменуя,
Он — ласковый, иль гневный, иль немой;
Вот запоет она; вот сдержит шаг;
Вот сядет медленно; вот обернется;
Вот чудным взором мне взволнует кровь;
Вот скажет что-нибудь; вот улыбнется;
Вот побледнеет...

Поль встал. Глаза его жгли.

— Я люблю тебя, Лора, и ты, я знаю, ответишь мне тем же,— внезапно переходя с рифм на прозу, закончил Поль и поцеловал девушку.— Ты будешь моей женой.

— Я не уверена, что достаточно люблю тебя,— попыталась протестовать Лаура,— но, кажется, ты убедил меня в том, что кто горит, тот зажигает,— добавила она, не отнимая руки, которую горячо целовал Лафарг.

В тот же вечер молодые люди сообщили родным о своем решении обвенчаться. Наконец-то Лаура, столько раз отвергавшая брачные предложения и считавшаяся поэтому в семье безнадежно, нерастопляемо ледяной, полюбила.

Не скрывая своей радости, Маркс сказал, добродушно щуря глаза и смеясь:

— А я-то думал, что это ради меня, старика, наш мулат так часто сиживал допоздна на Мейтленд-парк. Не тут-то было, он, оказывается, давно уже присмотрел в Модена-вилла кой-кого помоложе. Впрочем, будь я в его возрасте, то поступил бы, верно, точно так же.

Однако свадьбу решено было отложить до той поры, когда жених закончит свое образование и получит диплом врача.

— Надоест еще быть замужем, а вот в невестах походить — это короткая радость,— назидательно сказала Елена Демут и почему-то всплакнула.

— А знаете ли вы, какая отличительная черта нашего диктатора Ленхен? — объявила Тусси.— Она сама написала об этом в своей исповеди: «Любовь к молодым Марксам».

Международное Товарищество полностью завладело Марксом. Он часто выступал перед рабочими по самым разнообразным злободневным вопросам. На празднестве, устроенном поляками-изгнанниками вместе с Интернационалом, Маркс произнес речь, в которой заявил, что без независимости Польши не может быть свободной Европы. Споря с теми, кто недооценивал значение Польши, Маркс указал, что отмена крепостного права еще более укрепила царизм и Россия, как и прежде, остается оплотом европейской реакции, всех привилегированных классов против социальной революции. Независимая Польша послужит предварительным условием «социального преобразования» Европы.

Весной 1867 года Маркс решил сам отвезти рукопись «Капитала» в Гамбург к издателю Мейснеру и в ожидании первых корректурных листов посетить в Ганновере своего последователя и многолетнего корреспондента врача Людвига Кугельмана.

Как только весть о предполагаемом отъезде Маркса на континент дошла до Германии, одна из ганноверских газет сообщила, что глава Интернационала собирается уехать с острова, чтобы подготовить восстание в Польше. Через Кугельмана Маркс вынужден был опровергнуть эту ложь там же, где ее распространили. Заявление Маркса было напечатано в «Газете для Северной Германии» в конце февраля.

Накануне отъезда Маркс выкупил из ломбарда свое пальто и часы.

Маркс уезжал в приподнятом, отличном настроении. В эти дни Интернационал одержал большую победу. Бастующим парижским рабочим бронзового производства с помощью вмешательства Международного Товарищества удалось получить существенную денежную поддержку от английских тред-юнионов. Узнав об этом, хозяева предприятий тотчас пошли на уступки. Случай этот, столь необычный, наделал немало шуму во французской прессе и значительно поднял престиж Интернационала.

Морской переезд из Англии на континент оказался очень трудным, так как пароход попал в опасный шторм. Маркс, однако, хорошо переносил качку и чувствовал себя превосходно среди немногих пассажиров, избежавших морской болезни. Добравшись до Гамбурга, он послал Энгельсу веселое шуточное письмо:

«Путешествие было бы в конце концов отравлено видом всех этих страдающих морской болезнью и ослабевших типов, если бы некоторое ядро не держалось стойко. То было очень «смешанное» ядро, а именно: немецкий капитан корабля, очень похожий на тебя лицом, но маленького роста; в нем было также много твоего юмора и то же добродушно-фривольное подмигиванье; лондонский скотопромышленник, настоящий Джон Буль; ...немец из Техаса и — это главная персона — немец, который уже 15 лет разъезжает по восточной части Перу, в местности, лишь недавно отмеченной на географической карте, где, между прочим, еще исправно едят человеческое мясо. Это — сумасбродный, энергичный и веселый малый. У него при себе была очень ценная коллекция каменных топоров и т. п., которые заслуживали того, чтобы быть найденными в «пещерах». И — в виде приложения — одна особа женского пола (все остальные дамы, страдая от морской болезни и рвоты, находились в дамской каюте), старая беззубая кляча с приятным ганноверским выговором, дочь какого-то допотопного ганноверского министра, по фамилии фон Бэр или что-то в этом роде; теперь она уже давно исправительница рода человеческого, пиетистка, пекущаяся о положении рабочих... В четверг вечером, когда буря особенно неистовствовала, так что все столы и стулья танцевали, мы кутили в небольшой компании, в то время как старая кляча лежала на диване, откуда толчки парохода время от времени сбрасывали ее на пол, в середину каюты, очевидно, чтобы ее немного развлечь... Наш немецкий дикарь со смехом рассказывал о... свинствах дикарей... Образчик: его принимают в качестве гостя в индейской хижине, где как раз в этот день женщина разрешилась от бремени. Послед приготовляется в виде жаркого, и ему — это высшее выражение гостеприимства — дают отведать этого лакомства!»

Энгельс немало веселился, перечитывая письмо друга.

Повидав своего издателя и договорившись с ним о выпуске книги, Маркс отправился в Ганновер.

Людвиг Кугельман как врач пользовался хорошей репутацией в своем городе, имел изрядную практику и жил вполне зажиточно. Еще будучи студентом, он прочитал книги Маркса и написал ему восторженное письмо. Между ним и лондонским изгнанником началась переписка,

длившаяся несколько лет до их очного знакомства. Кугельман писал Марксу по условному адресу, называя его А. Уильямсом, чтобы письма избежали цензуры. Он неоднократно приглашал творца глубоко чтимого им учения к себе, но только в 1867 году желание его наконец сбылось.

Известие о приезде дорогого гостя вызвало в семье врача великую сумятицу. Молодая, миловидная жена Кугельмана, Гертруда, уроженка, как и Маркс, Рейнландии, страшилась показаться невежественной столь выдающемуся человеку. Ее восьмилетняя, не по годам развитая, наблюдательная дочь Франциска слышала, как отец, успокаивая оробевшую мать, предсказывал, что никогда ни с одним человеком не будет она чувствовать себя так непринужденно и приятно, как в обществе Маркса. Так оно и случилось. Вместо ожидаемого чопорного и важного господина в гостиную вошел элегантно одетый, приветливо улыбающийся человек, который после нескольких минут уже казался всем, впервые его увидевшим, давно знакомым. Для каждого нашел он доброе слово. Госпоже Кугельман особенно понравился мягкий, рейнский говор, раскатистый смех Маркса и то, как, улыбаясь, он щурил заметно близорукие глаза.

Маркс не мог не оценить сердечности и стремления всех членов семьи Кугельмана сделать его пребывание в их доме особо приятным. Здоровье его улучшалось с каждым днем. Он позабыл на время о болезнях и радовался, что был снова на родной земле.

В свободные, обычно ранние часы, за чашкой кофе, приготовленной с завидной старательностью и уменьем госпожой Кугельман, которую за благовоспитанность и изящные манеры Маркс тут же в шутку прозвал графиней, велись нескончаемые разговоры. Беседа всегда бывала очень занимательной, Маркс говорил просто, никогда не впадая в поучительный тон. Беспощаден он был, лишь когда высмеивал всякую преувеличенную чувствительность и слащавость в ком бы то ни было. Он тотчас же схватывал фальшивую ноту, наигранность в поведении или словах. Тогда, саркастически улыбаясь, цитировал он стихи Гейне:

Раз барышня стояла
Над морем в поздний час
И горестно вздыхала,
Что солнца луч погас.

Гертруда Кугельман интересовалась философией, и Маркс терпеливо, в самой доступной форме, объяснял ей, в чем особенности и различия взглядов Фихте и Шопенгауэра. Нередко приводил он примеры из Гегеля.

— Увы,— заметила как-то Гертруда со вздохом,— я никак не могу понять учения этого великого немецкого философа.

Желая ее ободрить, Маркс, улыбнувшись, сказал полушутя:

— Пусть это вас не смущает. По словам самого Гегеля, ни один из его учеников не понял его, кроме Розенкранца, да и тот понял неправильно.

С Людвигом Кугельманом у Маркса установились приятельские отношения. Он прозвал неустанно восхищавшегося им врача в шутку Венцелем и затем всегда так к нему и обращался. Прозвище это произошло вследствие забавного рассказа самого Кугельмана о его путешествии в Прагу, где гид поведал ему о добром и злом Венцелях — двух чешских правителях. Один царь Венцель творил множество злодеяний, другой, с тем же именем, немало добра. С тех пор, в зависимости от высказываний Кугельмана, Маркс называл его либо хорошим, либо нехорошим Венцелем.

Обычно до обеда Маркс оставался один в кабинете, который, помимо спальни, был предоставлен ему в доме друзей. Он писал письма, читал газеты и правил корректуру первого тома «Капитала».

На письменном столе возвышался чернильный прибор, украшенный статуэткой Минервы. Богиня держала в руке филина — символ мудрости. Это дало повод Марксу прозвать маленькую дочь Кугельмана, Френцхен, которая полюбилась ему своим пытливым, быстро схватывающим все услышанное, не по-детски глубоким умом, Совушкой.

По утрам, осторожно постучавшись в дверь и сделав церемонный книксен, немного стесняясь, Совушка подходила к большому креслу. Карл подхватывал ее и усаживал на колени, и скоро из кабинета доносился детский смех и веселый говор. Восьмилетняя Франциска пылко привязалась к грозному, по мнению врагов, и сердечнейшему для друзей вождю крепнувшего из месяца в месяц Интернационала.

В мирные, радостные дни пребывания в Ганновере Маркс ответил и на давно полученное письмо своего единомышленника, горного инженера, немца Зигфрида Мейера, поселившегося в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке.

Письма нередко отражают душу того, кто их пишет, тайное тайных сердца. Маркс писал:

«Вы, должно быть, очень плохого мнения обо мне и будете еще худшего, если я Вам скажу, что Ваши письма не только доставляли мне *большую радость,* но и были для меня *настоящим утешением* на протяжении того очень мучительного периода, когда они приходили ко мне. Сознание, что я привлек к нашей партии ценного человека, стоящего на высоте ее принципов, вознаграждает меня даже за самое худшее. К тому же Ваши письма были полны самых дружеских чувств по отношению ко мне лично, а Вы понимаете, что, ведя жесточайшую борьбу с (официальным) миром, я менее всего способен недооценивать это.

Итак, почему же я Вам не отвечал? Потому, что я все время находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать *каждый* момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине *непрактичным,* если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи.

Первый том этого труда появится через несколько недель в издании *Отто Мейснера* в Гамбурге. Заглавие сочинения таково: *«Капитал. Критика политической экономии».*

В этот же период Бисмарк снова прислал к Марксу одного из своих приближенных, в этот раз не Бухера, а юриста Варнебольда. Глава прусского правительства хотел бы использовать доктора Карла Маркса и его большие таланты на благо немецкого народа. Карл тотчас же сообщил об этом Энгельсу и вскоре получил ответ.

«Я так и думал,— писал ему друг,— что Бисмарк постучится к тебе, хотя и не ожидал, что он так поспешит. Характерно для образа мыслей и кругозора этого субъекта, что он мерит всех людей на свою мерку. Буржуазия может, конечно, восхищаться современными великими людьми, она видит в них свое отражение. Все качества, при помощи которых Бонапарт и Бисмарк достигали успеха, это качества коммерсанта: преследование определенной цели путем выжидания и экспериментирования, пока не подвернется благоприятный момент, дипломатия постоянно открытой задней двери, уменье торговаться и выторговывать, молча сносить пощечины, когда это требуется в интересах дела, заверения «не будем мошенниками», словом,— коммерсанты во всем... Бисмарк думает: если я буду продолжать попытки сговориться с Марксом, в конце концов я все-таки улучу благоприятный момент, и тогда мы вместе обделаем дельце».

Снова Маркс без малейших колебаний отверг предложение Варнебольда, несшее ему богатство и положение в среде правящей буржуазии и помещиков, а главное, возвращение с семьей на родину.

И опять пошел, не оглядываясь, своим тернистым путем революционера, вождя рабочих.

Мир, согласие, веселье царили обычно в доме Кугельмана. Маркс, полный надежд на будущее, был душевно уравновешен. Только однажды в гостиной Людвига Кугельмана произошла тяжелая сцена, когда кто-то посмел неуважительно отозваться об Энгельсе и намекнуть, что тот, будучи столь состоятельным человеком, мог бы помогать Марксу больше. Карл вспылил, так как не терпел, если кто-либо осмеливался обижать дорогого ему человека. Дружба была в его глазах священным и великим чувством, соединявшим навсегда людей. Побледнев, он произнес четче, чем всегда, выговаривая каждый слог:

— Между Энгельсом и мной существуют такие близкие и задушевные отношения, что никто не вправе вмешиваться в них.

Дружба между Марксом и Энгельсом крепла из года в год. И по-прежнему, когда они бывали в разлуке, то постоянно переписывались друг с другом.

Отчитываясь во всем происходящем, Маркс писал Фридриху из Ганновера:

«Я надеюсь и твердо убежден, что через год мои денежные дела настолько поправятся, что смогу коренным образом улучшить свое экономическое положение и стать, наконец, снова на собственные ноги. Без тебя я никогда не мог бы довести до конца это сочинение, и — уверяю тебя — мою совесть постоянно, точно кошмар, давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на занятия коммерцией и даешь им ржаветь главным образом из-за меня, да в придачу еще должен переживать вместе со мной все мои мелкие невзгоды. С другой стороны, нечего скрывать от себя, что мне предстоит еще один год испытаний... Но чего я боюсь больше всего... так это возвращения в Лондон... Долги там значительны... А затем снова домашние неприятности... беготня, вместо того чтобы со свежими силами и беспрепятственно приняться за работу.

Д-р Кугельман и его жена относятся ко мне самым любезным образом и исполняют малейшее мое желание. Это превосходные люди. Они, действительно, не оставляют мне времени для того, чтобы углубиться в «мрачные пути своего собственного Я».

В Ганновере, как всегда и везде, Маркс жадно вглядывался во все происходящее вокруг него. Очень скоро он убедился, что прусские правительственные чиновники хозяйничали и тиранили народ с чисто средневековой азиатской жестокостью. Не имея, однако, достаточной власти, чтобы по своему расчету и произволу переместить население из непрусских в прусские провинции, они попытались сделать это с мелкими служащими. Даже местных почтальонов под угрозой увольнения отправляли в центральные округа. Множество гессенцев, ганноверцев эмигрировали в Соединенные Штаты. Они бежали кто от налогов, кто от тягот воинской повинности и невыносимых политических условий, от режима сабли и постоянно угрожающей военной бури.

Маркс интересовался также положением немецкой промышленности. Вместе со знакомым директором акционерного литейного завода он обошел как-то все цехи этого производства и нашел там немало современных машин. Но при изготовлении деталей применялась еще ручная обточка, чего не было уже давно на заводах англичан и шотландцев.

Время пребывания в Ганновере промчалось быстро. Сердечно простившись с «добрым и злым Венцелем», с «графиней» и Френцхен, Маркс вернулся в Лондон.

В типографии Виганда в Лейпциге, куда было перенесено издание книги, в это время заканчивали печатать «Капитал».

Шестнадцатого августа 1867 года, в 2 часа ночи, Маркс написал Энгельсу:

«Дорогой Фред!

Только что закончил корректуру *последнего* (49-го) *листа* книги. Приложение о *формах стоимости, напечатанное мелким шрифтом,* занимает $1^1/_4$ листа.

Предисловие тоже прокорректировал и вчера отослал. Итак, *этот том готов*. Только *тебе* обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования ради меня я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу по трем томам. Обнимаю тебя, полный благодарности!

Прилагаю два чистых листа.

Пятнадцать фунтов стерлингов получил, большое спасибо.

Привет, мой дорогой, верный друг!»

Запечатав письмо, Маркс встал из-за стола. Он как бы мысленно вглядывался, вслушивался в самого себя. С удивлением заметил он, что не испытывает радости, которая, казалось бы, должна сопровождать окончание столь трудного творческого пути. «Я будто колос после обмолота»,— подшутил он над собой. Были только усталость и неясное беспокойство. Достаточно ли отработана книга, каково ее будущее? Маркс курил, медленно прохаживаясь по комнате. Почти четверть века жизни вобрало в себя это его детище. Время в его воображении как бы повернуло свое течение вспять. Париж, первые месяцы счастливой близости с Женни на улице Ванно. Тогда впервые вдвоем слушали они Девятую симфонию Бетховена. Маркс вспомнил мелодию финала, шиллеровские слова, переложенные на музыку. От страдания к радости! Незаметно для себя Карл начал тихонько напевать мотив этой жизнеутверждающей симфонии. Ему показалось, что в кабинет ворвались извне ее могучие звуки. Но вдруг

они исчезли, и многоголосый хор поднял ввысь «Марсельезу». Карл увидел площадь близ парижской ратуши. Революционное шествие. Бланки на плечах демонстрантов, с глазами, горящими как факелы, двигался к нему навстречу. Праздники истории! Неповторимые дни опьяняющих надежд и счастья. Затем темная беззвездная ночь в Кёльне. Маркс один за столом над кипами исписанных и готовых к печати листов «Новой Рейнской газеты». Июньские дни. Кровавые рассветы. Поражение революции.

Маркс подошел к окну, раздвинул шторы. Чуть пробивался скучный темно-лиловый рассвет. Ему вспомнились две нищенские каморки на Дин-стрит. Смерть его четырех детей. Муш. Маленький веселый «полковник», умерший на отцовских руках. Ах, этот предсмертный взгляд ребенка, доверчивый, недоумевающий, казнящий, как пытка. Память поднимала со дна и раскладывала перед Карлом одну за другой картины его невеселого прошлого. Самая страшная из войн, война с нищетой, наполняла эти десятилетия его жизни. И всегда он видел себя поглощенным тем, что теперь было окончено. «Капитал»! Столько лет, что бы он ни делал, творчество звало, требовало. Днем и ночью он был его данником, и вот настала разлука. Книга уйдет в мир, навстречу людям, скрестится с их жизнью. Но никогда связь творца и творения не обрывается. Оно станет его глашатаем, той частью существа автора, которая останется жить.

Сбылись сроки. Первый том «Капитала» скоро увидит свет. Карл вспомнил всех, кого любил и кто не дожил до этого часа. Дорогой усопший друг Вильгельм Вольф. После его кончины Маркс собирался написать о нем книгу, но помешала работа над «Капиталом».

«Бедняга Люпус, он так часто брюзжал, что я медлителен как черепаха и не устаю переделывать текст»,— подумал Маркс. Подойдя к письменному столу, он с чувством благоговейной печали и любви написал на титульном листе рукописи:

«Посвящается
моему незабвенному другу,
смелому, верному, благородному,
передовому борцу пролетариата
ВИЛЬГЕЛЬМУ ВОЛЬФУ
Родился в Тарнау 21 июня 1809 года.
Умер в изгнании в Манчестере 9 мая 1864 года».

Подобно Прометею, предрекшему гибель всемогущему Зевсу, Маркс в главном труде жизни своей — «Капитале» — предсказал неизбежность гибели буржуазного общества. Он открыл закон развития капитализма и первый указал на пролетариат как силу, способную привести в исполнение приговор истории.

Вывод Маркса, что в обществе, так же как в природе, все вновь зародившееся диалектически меняется, крепнет, набирается сил, расцветает, вынашивает в себе зародыш нового строя, чтобы затем постепенно увянуть и погибнуть, уступив место окрепшим побегам, произвел переворот в понимании всемирной истории.

Каждый новый общественно-экономический уклад, появившись и достигнув своего предела, обречен на умирание и на замену его более совершенным видом. Первобытнообщинный строй сменялся рабовладельческим, на смену феодализму пришел капитализм, и все это было связано с изменением и развитием способа производства.

Хаос и произвол, господствовавшие в понимании истории и политики, сменились благодаря историческому материализму цельной и стройной научной теорией.

Идеалистическая философия рассматривала историю общества как таинственные произвольные деяния отдельной личности, как следствие воли и желаний людей. Но действительность жестоко опровергает эти представления. Развитие человечества идет по законам, существующим и действующим независимо от воли людей. Человек может эти законы изучить, познать, учитывать в своих действиях, использовать в своих интересах, но он не может их отменить или изобрести новые.

Исторический материализм вооружил пролетариат знанием путей революционного преобразования общества. Материалистическое понимание истории привело к необходимости изучения не поступков отдельных личностей, а действия классов.

Движущей силой истории человечества — по учению Маркса — являются люди труда. Они играют главную роль в производственном процессе, они творцы всех богатств мира, необходимых для существования общества.

В зависимости от способа производства складываются и особенности строя, политических учреждений, образ мыслей людей, их идеи, теории. Общественное бытие определяет общественное сознание.

Взгляды людей — политические, правовые, художественные, философские, религиозные — зависят от господствующих производственных отношений между людьми. Они коренным образом изменяются с изменением производственных отношений. Раз возникнув, общественный и политический уклад становится силой, воздействующей на условия, его породившие.

Другим важным открытием Маркса было выяснение отношений между капиталом и трудом. В буржуазном обществе, объяснил Маркс, рабочая сила продается так же, как и всякий товар. Однако живая сила рабочего в течение дня создает значительно больше, чем необходимо для того, чтобы покрыть издержки производства. В процессе труда рабочим создается прибавочная стоимость. Именно она составляет цель капиталистического производства, является основой капитализма.

Производство прибавочной стоимости, или нажива, говорил Маркс,— таков абсолютный закон капиталистического способа производства.

Именно прибавочная стоимость является источником всех доходов эксплуататорских классов: и прибыли промышленника, и торговой прибыли купца, и ссудного процента банкира, и ренты землевладельца.

Однако процесс присвоения капиталистом результатов прибавочного, или бесплатного, труда рабочего замаскирован заработной платой. Это дает возможность капиталисту утверждать, что сделка по покупке физической силы была честная и труд рабочего оплачен сполна.

Некогда рабовладелец отбирал у раба все и постепенно физически уничтожал его. Крепостной трудился на господина и лишь затем работал на своем клочке земли, чтобы прокормиться. Зависимость и угнетение были тогда ясно видимы. Теперь, в буржуазном обществе, угнетение хитро спрятано под кажущейся независимостью и свободой работника.

Буржуазное общество, при котором громадное большинство народа эксплуатируется незначительным меньшинством, было разоблачено Марксом без пощады.

Он достиг небывалых вершин научного познания и облек свое гениальное творение в прекрасную форму. Его книга явилась научной поэмой, которая раскрыла до самых недр всю сущность современного капитализма для того, чтобы вынести ему суровый приговор и обосновать

неизбежность появления нового общества. В «Капитале» исследуется буржуазное общество в его возникновении, развитии и упадке. Дни капитализма сочтены — таков пророческий вывод Маркса.

«Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

«Капитал» объединил все органически связанные между собой звенья в учении Карла Маркса: философию, политическую экономию и учение о социалистической революции. В этом произведении дано глубокое философское и экономическое обоснование пролетарского социализма, учения о всемирно-исторической миссии пролетариата, о социалистической революции, о диктатуре пролетариата.

Маркс превыше всего ставил практику, он всегда подчеркивал решающую роль деятельности, и прежде всего производственной деятельности, в жизни людей. «Общественная жизнь,— писал Маркс,— является по существу *практической*».

Маркс и Энгельс всегда боролись против принижения сил человеческого разума, выступали против тех ученых, которые проповедовали непознаваемость мира. Оба великих революционера, не щадя сил своих, работали над тем, чтобы открыть законы, движущие человеческое общество, внести свой вклад в дело познания мира.

В центр всех вопросов философии Маркс и Энгельс ставили практику, революционно-практическую деятельность людей, они создали новую, высшую форму материализма, вооружили пролетариат пониманием значения революционной борьбы, как единственного средства коренного изменения существующих общественных порядков. Слова Маркса — освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом — стали основным принципом всей деятельности Интернационала.

«Капитал» был встречен коварным вражеским выпадом — полным молчанием.

Здоровье Карла ухудшилось, нищета стучалась в дверь. Снова грозило выселение из квартиры. Между тем

приближалась свадьба Лауры и Поля Лафарга. Родителям хотелось одарить невесту. Необходимо было пригласить кой-кого из ее подруг и дать молодежи повеселиться. И это стало возможным только благодаря чуткости и заботам манчестерского друга и его самоотверженности. Энгельс все еще занимался ненавистной коммерцией, чтобы Маркс мог посвятить себя всецело их общему делу.

Будь Маркс одинок, он относился бы вполне равнодушно к материальным лишениям. Он весело рассмеялся, услышав однажды притчу о старике, который просил у судьбы всего одну лишнюю копеечку, и часто повторял, когда дома не было денег:

— И всегда, какой бы ни был достаток, людям не хватает малого, именно только одного лишнего гроша...

Но дети и Женни... Не случайно, отвечая в «Исповеди» на вопрос, что внушает ей антипатию, Женни написала: «Долги». Они преследовали семью Маркса на протяжении нескольких десятилетий, как рок, омрачали дни, подобно черному туману. Когда безденежье грозило здоровью и жизни близких, Маркс с трудом скрывал свои страдания и чувствовал себя как бы в чем-то виноватым, но, не колеблясь, шел он к избранной цели. Порою мысли о том, следовало ли ему обзаводиться семьей, мучили его. И только Женни снимала с его души страшный гнет. Без ее любви и дружбы Фридриха Маркс не смог бы сделать того, к чему толкал и обязывал его природой данный гений.

Непреодолимые трудности вынудили Карла подумать о переезде в Женеву. Там жизнь была значительно дешевле. Но как мог он оставить Генеральный Совет Интернационала, расстаться с библиотекой Британского музея, из сокровищницы которой обильно черпал? Кроме того, Маркс стремился в Лондоне подготовить перевод «Капитала» с немецкого на английский язык, чтобы он стал доступен большему числу читателей.

Нелегко было Марксу. Особенно изнуряло хитрое замалчивание прессой его детища — «Капитала». Этот труд вобрал его знания, опыт, мысли, исследования, открытия нескольких десятилетий. В книге жила великая душа Маркса. Это был итог бытия гения, его подвиг.

«Молчание по поводу моей книги тревожит меня,— признавался он другу.— Я не получаю никаких сведений. Немцы — удивительные люди! Поистине, *их* заслуги в ка-

честве прислужников англичан, французов и даже итальянцев в данной области дают им право игнорировать мою книгу. Наши люди там не умеют агитировать. Что ж, остается поступать, как поступают русские — ждать. Терпение — вот основа русской дипломатии и успехов. Но наш брат, который живет лишь один раз, может за это время и околеть».

Враждебный замысел врагов и невежд — скрыть «Капитал» — приносил большой вред всему рабочему движению. Маркс понимал, какое всесокрушающее оружие дал он своей книгой армии революционеров. Но книгу преднамеренно, упорно и злобно замалчивали, а надо было объяснить, донести учение тем, кому оно предназначалось. Заговор критики колол душу, как штык, требовал ответной атаки единомышленников. Энгельс первый понял, что далее ждать нельзя. Между Марксом и большинством человечества, которому он отдал себя всего с юных лет, встало коварное вражеское заграждение: влиятельные газеты принадлежали капиталистам. Энгельс решил сам пробить брешь.

Статьи о книге — то же, что ветер, разносящий семена, что всполох зарниц, освещающих небо из края в край. В битве друг не задается вопросом, следует ли ему броситься вперед, чтобы спасти друга, и никому не придет в голову осудить этот естественный порыв. Иное бывает в тихой заводи мещанской повседневности, где считается подчас неудобным вступиться за единомышленника, чтобы не подумали о сговоре. Когда цель велика и полезна людям, кому же, как не единомышленнику, прийти на помощь? И соратникам удалось напечатать во многих буржуазных газетах заметки о выходе книги, отзывы на нее. Они подготовили для журнала биографическую статью об авторе вместе с его портретом. Последнее, однако, не понравилось Марксу, он терпеть не мог того, что могло напоминать рекламу.

— Подобные вещи я считаю скорее вредными, чем полезными, и недостойными человека науки,— объявил он с неудовольствием.— Издатели Энциклопедического словаря Мейера уже давно писали мне и просили мою биографию. А я не только не дал ее, но и на письмо не ответил.

Произведение Маркса было замечено, вскоре появились статьи о «Капитале».

Даже Арнольд Руге, многолетний идейный противник Маркса, не мог не признать, что книга *«делает эпоху...* проливает яркий, нередко резкий свет на развитие, гибель, родовые муки и страшные дни страданий общества в различные периоды. Объяснение *прибавочной стоимости* неоплаченным трудом, объяснение экспроприации рабочих, *которые* прежде работали на себя, и обоснование предстоящей *экспроприации экспроприаторов* — все это сделано классически.

...Маркс обладает обширной эрудицией и великолепным диалектическим талантом. Книга выходит за пределы кругозора многих людей и газетных писак, но она, несомненно, пробьет себе дорогу и, несмотря на широту исследования, даже как раз благодаря ему, окажет могучее воздействие».

Людвиг Фейербах был не менее захвачен титаническим размахом труда Маркса. Он заявил, что «книга изобилует интереснейшими, неоспоримыми, хотя и ужасными фактами». Почтительно и многословно писал о «Капитале» профессор Дюринг, считавшийся знатоком вопроса. Были и нелепые высказывания. Старый поэт Фрейлиграт, которому Маркс подарил «Капитал», сообщал, что вынес много поучительного из чтения книги и знает о самом положительном отношении к ней купцов и фабрикантов на Рейне. Бывший редактор славной «Новой Рейнской газеты» увидел в «Капитале» только полезный источник знания и руководство для молодых коммерсантов.

...Второго сентября 1867 года в Лозанне собрался 2-й конгресс Интернационала.

В воззвании, которое Генеральный Совет издал за два месяца до конгресса, был дан обзор положения международного рабочего движения в третьем году существования Товарищества. В Европе, за исключением Швейцарии и Бельгии, секции не достигли многого. Зато Североамериканский союз в некоторых штатах завоевал для трудящихся восьмичасовой рабочий день. Это была большая победа. Маркс на конгрессе быть не мог. Не переставая болеть, он продолжал работу над следующими томами «Капитала». Среди представителей от Генерального Совета находился его сподвижник Эккариус. Съехалось около

семидесяти человек. Преобладали делегаты романских стран: французы, итальянцы, бельгийцы.

Конгресс утвердил пребывание Генерального Совета в Лондоне, что было очень важно для Маркса и Энгельса, установил обязательный годовой взнос в 10 сантимов для каждого члена Интернационала и подтвердил, что борьба за социальное освобождение рабочего класса неразрывно переплетена с его политической деятельностью. Завоевание политической свободы для рабочих является первейшей необходимостью.

Вместе с третьим годом существования Интернационала закончилась пора его спокойного развития.

После окончания конгресса Женни Маркс сообщила в Женеву соратнику — щеточнику Иоганну Филиппу Беккеру:

«Вы не поверите, какую огромную сенсацию во всей прессе вызвал здесь Лозаннский конгресс. После того как газета «Таймс» задала тон, ежедневно печатая корреспонденции о конгрессе, другие газеты также стали посвящать рабочему вопросу не только заметки, но даже длинные передовые статьи, не считая более, что это ниже их достоинства. О конгрессе писали не только все ежедневные газеты, но и все еженедельники».

В этом же письме жена Маркса поделилась своими размышлениями о вышедшем из печати «Капитале».

«Если Вы уже приобрели книгу Карла Маркса, то советую Вам, в случае, если Вы еще не пробились, как я, через диалектические тонкости первых глав, прочитать сначала главы, посвященные первоначальному накоплению капитала и современной теории колонизации. Я убеждена, что Вы, как и я, получите от этих глав огромнейшее удовлетворение. Разумеется, Маркс не имеет для лечения зияющих кровоточащих ран нашего общества никаких готовых специфических лекарств, о которых так громко вопит буржуазный мир, именующий теперь себя также социалистическим, никаких пилюль, мазей или корпии; но мне кажется, что из естественноисторического процесса возникновения современного общества он вывел практические результаты и способы их использования, не останавливаясь перед самыми смелыми выво-

дами, и что это было совсем не простым делом — с помощью статистических данных и диалектического метода подвести изумленного филистера к головокружительным высотам следующих положений: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества... Многие не помнящие родства капиталы, функционирующие в Соединенных Штатах, представляют собой лишь вчера капитализированную в Англии кровь детей... Если деньги... «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке», то новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят... Бьет час капиталистической частной собственности...» и до конца.

Должна сказать откровенно, что этот изумительный по своей простоте пафос захватил меня, и история стала мне ясной как солнечный свет».

Прекрасна скромная Ирландия, зеленая, холмистая страна с неоглядными розово-лиловыми от вереска и цветущей мяты лугами, светлыми неторопливыми реками и густыми перелесками. Народ, живущий на острове, храбр, умен, мечтателен и музыкален. Арфа — национальный инструмент, и под ее нежный, как колыханье тростника над заводью, аккомпанемент издавна барды декламировали поэмы. Странствующие поэты, сказочники, импровизаторы настойчиво призывали ирландцев к борьбе с поработителями. В XVII веке Стюарты, затем Кромвель и Вильгельм III закабалили поэтическую мирную «страну картофельной кожуры», и с тех пор протяжные чистые звуки арф славили в эпическом стихе борцов за освобождение. Безымянных певцов жестоко преследовали англичане, и арфа все чаще печалилась о бедствиях страны фениев, как в незапамятные времена назывались жители острова Эйрин. Согнанный с пашен колонизаторами народ покидал тихий остров, и свыше трех миллионов людей в начале второй половины века нашло прибежище в других странах. Больше всего изгнанников переселилось за океан, в Соединенные Штаты.

Лиззи Бёрнс, вторая жена Энгельса, принимала деятельное участие в движении за освобождение своей родины, начатом революционерами, назвавшими себя фениями в память вольных обитателей острова. От нее дочери Маркса впервые услыхали песни и легенды древней мор-

ской страны. Лиззи, на редкость благожелательная к людям, отзывчивая, правдивая, скромная и справедливая, научила их любить ее родину и тех, кто боролся с колонизаторами.

Первые объединения фениев появились в конце пятидесятых годов в Америке среди ирландских переселенцев. Затем их тайные кружки возникли в самой Ирландии. Была создана единая организация «Ирландское революционное республиканское братство». Она состояла из интеллигентов, крестьян и рабочих. Программа фениев была проста — борьба против колониального гнета англичан и массового сгона ирландских арендаторов с родных земель новыми чужеземными помещиками. Фении требовали независимости Ирландии, провозглашения республики и передачи земли в собственность тем, кто ее обрабатывал и платил неимоверно большую арендную плату англичанам-землевладельцам.

Энгельс, отлично знавший историю соседнего с Великобританией острова, ознакомил с ней всех обитателей Модена-вилла.

Ирландцам присущ особый, своеобразный юмор, острый, помогающий жить, всегда бодрый, вызывающий радостный смех. Он свойствен только очень гибким, наблюдательным умам. Как нож — ирония может быть убийственна, а может быть целительной и удалять вредные наросты. Шутка ирландцев — следствие подчас завидной проницательности — обычно человеколюбива и не начинена ядом. Лиззи Бёрнс обладала чисто ирландским юмором, который очень нравился всем, кто ее знал.

Несколько излишне полная, круглолицая, с задорным маленьким носом, Лиззи никогда не унывала и заражала окружающих своим оптимизмом.

Вся семья Маркса сочувствовала фениям и всячески подчеркивала свои симпатии к порабощенному ирландскому народу, столь щедро одаренному в поэзии, литературе и музыке. Лиззи Бёрнс и Лаура часто пели дуэтом ирландские народные песни, мелодичные и остроумные. Обычно Женнихен носила подаренный ей повстанческий крест в память польского восстания 1863 года на черной ленте, но после казни в Манчестере ирландских революционеров облачилась в траур и стала носить бесценную революционную реликвию на ленте зеленого,

национального цвета Ирландии. Женщины в семье Маркса как вызов англичанам носили в эту пору зеленые платья.

События в Ирландии захватили и Маркса. Несмотря на непрекращающиеся мучительные карбункулы, он согласился выступить в Лондонском просветительном обществе немецких рабочих с докладом об Ирландии.

Маркс был непревзойденным оратором. Своим воодушевлением и силой убеждения он привлекал к себе слушателей, разных по уровню развития, и был понятен каждому. Он без особого труда разоружал противников и завоевывал союзников. Глубина его знаний и ясность мышления служили надежным арсеналом, и он оставался непобедимым в любой схватке, покоряя сердца людей. Он был также увлекательным педагогом, одинаково убедительным для неграмотного щетинщика, бунтующего студента или самонадеянного профессора.

Говоря об Ирландии, Маркс поведал слушателям о тех бедствиях, которые она испытывала, сделавшись английской колонией.

Земледельческое население, говорил Маркс, питалось только картофелем и водой, так как пшеница и мясо отправлялись в Англию. Вместе с продуктами и рентой из страны вывозились также удобрения, земля была истощена. Часто в той или иной местности возникала картофельная болезнь и в 1846 году привела к всеобщему голоду. Миллион человек умерли с голоду. Картофельная болезнь была следствием истощения почвы, результатом английского владычества. Высокие цены на мясо и банкротство еще остававшихся мелких землевладельцев способствовали сгону крестьян с участков и превращению их земель в пастбища для овец. Свыше миллиона ста тысяч человек были вытеснены 9 600 000 овец. Только при монголах в Китае когда-то обсуждался вопрос об уничтожении городов, чтобы очистить место для овец.

Ирландский вопрос являлся поэтому не просто национальной проблемой, а вопросом о земле, вопросом о существовании, жизни или смерти для огромного большинства ирландского народа.

Сообщая Энгельсу различные подробности о своем выступлении, Маркс не мог удержаться от шутки по поводу карбункулов, мешавших ему сидеть: «Вчера я прочел в нашем Обществе немецких рабочих (но там были пред-

ставлены еще три других немецких рабочих общества, всего около ста человек) полуторачасовой доклад об Ирландии, так как «стоячее» положение теперь для меня самое легкое».

«Снегопад — щедрый живописец. Он постоянно меняет облик города. Зимой даже нескладная полуазиатская Москва красива и нарядна»,— думал управляющий петербургского кожевенного завода немец Иосиф Дицген, прибывший по делам во вторую столицу Российской империи. Он ехал в больших санях по широкой Воздвиженке. Рядом с ним сидел высокий, сутулый, узкоплечий студент Петр Иванович Николашин, молодой человек с грустными глазами и насмешливым, чуть искривленным ртом. Он родился и вырос в Москве, но вот уже несколько лет проживал в Санкт-Петербурге, где и познакомился с Дицгеном, которому давал уроки русского языка.

Немец жадно разглядывал незнакомый ему город.

— Колоссальное впечатление,— сказал он, когда сани въехали на Красную площадь, и добавил, подумав: — Восточный город Москва.

Белые ворсистые снежные заплаты скрывали ветхость невысоких домов, убогость ржавых заборов, сгладили бугристую поверхность дурных мостовых.

Широко раскинутый барский город косых переулков и тупиков, похожих на пустыри площадей казался огромным имением, вокруг которого приютились крепостные деревеньки — окраины.

Дицген и Николашин остановились в гостинице Самарина, славившейся кухней, неповторимыми расстегаями с рыбной сочной начинкой. Из окна номера, занятого немцем, открывался красивый внушительный вид на кремлевские башни и стены.

В один из первых вечеров пребывания в Москве Дицген был приглашен на вечер к крупному заводчику, где его представили влиятельнейшему из москвичей, господину Каткову, редактору «Московских ведомостей», о котором он слышал от Николашина как о жестоком реакционере и рьяном прислужнике царизма. За ужином Катков произнес речь:

— Социализм, господа, с его ужасными бедствиями — язва, которой благородное общество заразилось от сопри-

косновения с народом. Мужики наши и через несколько столетий будут так же темны, как и сегодня,— это, господа, у них врожденное.

— Кость черная,— поддакнул кто-то.

— Наше дело не допустить социальной анархии. Мы, господа, рождены для великой миссии. Призываю вас к крестовому походу на нигилизм и социализм. Нет такой мерзости, которая не могла бы взойти на их нивах. Но они обречены. Их цель лишена положительного начала и организующей силы.

Дицген был поражен тем, насколько схожи язык и мысли реакционеров во всем мире. Он просил Николашина рассказать ему поподробнее о лидере московских мракобесов.

Свой день Михаил Никифорович Катков обычно начинал с посещения парикмахерской на Тверской, где господствовал элегантнейший француз Жюль. Никто лучше его не знал причуд и слабостей, свойственных влиятельным персонам второй столицы. Сам губернатор и полицмейстер доверяли ему свои бакенбарды и прически. В дни осады Севастополя Жюль знал все перипетии Крымской войны и передавал последние новости своим клиентам задолго до сообщения газет. За добрую взятку юркий цирюльник мог добыть местечко в канцелярии его превосходительства и составить протекцию в салоне какой-нибудь сиятельной дамы. Дицгену настойчиво советовали завести знакомство с этим московским брадобреем.

Немец побывал в парикмахерской Жюля. Покуда шустрые вихрастые мальчуганы приносили горячие щипцы, тазики и салфетки, французский чародей, изогнувшись, отставив ногу в узенькой штанине, нашептывал клиенту всевозможные городские сплетни. Ни один преуспевающий чиновник или щеголь из Замоскворечья не женился раньше, чем Жюль не давал ему справки по поводу качеств и действительного приданого невесты. Парикмахерская на Тверской, где правил Жюль, была своеобразным клубом, биржей, справочной конторой. Мозольные операторы, дамские куаферы, ходившие на дом, разносили по Москве всевозможные вести. Жюль, этот Фигаро московских чиновников и богатых купцов, становился могущественнее с каждым годом.

Подле парикмахерской, тут же на Тверской, находился «Изидин храм», полубалаган, где невидимый голос от-

вечал за недорогую плату на заданные вопросы: умрет ли родственник и оставит ли наследство, удастся ли заполучить доходное место, взять на откуп винные погреба, получить прибыльную поставку.

Как раз в то время, когда Дицген брился, пришел Катков. Все мастера засуетились. Жюль поклонился в пояс. Смазанные розовой помадой волосы француза, его тщательно нафабренные усы — все отображало предельную угодливость.

Катков был человек заметный. Редактор влиятельной газеты, он направлял общественное мнение города — многочисленных усадеб вокруг Собачьей площадки и Тверской.

Когда-то и Катков отдал дань свободолюбивым устремлениям дворянской молодежи. Но особняки помещиков покончили с вольнодумством. Опасные это были игры. Катков стал мечтать о спокойном, выгодном месте, об именьице. Это сбылось. Появились у него и поместье, и большая квартира в доме обширной редакции. Унылые салоны московских реакционеров впустили его.

«Московские ведомости» отражали чаяния Москвы, и чиновный Санкт-Петербург прислушивался к их голосу, порой кликушествующему, порой вкрадчивому. Это был голос исконной дворянской Руси и богатеющего купечества. В газете, как на блестящей поверхности, с мельчайшей точностью отображены были черты времени.

С каждым днем все более сумрачной и отталкивающей начала казаться Дицгену Москва. В тупой праздности жили ее богатые особняки. В застойных водах сытого быта вскармливались всевозможные пресмыкающиеся. Дряхлели традиции, вырождалась былая мудрость. То, что казалось некогда величавым, вызывало теперь только смех и недоумение. Богатая дворянская Москва, как упрямая провинциалка, ругала новшества и выставляла напоказ истлевшую ветошь. Славянофилы с длинными бородами, в полушубках и смазных сапогах рьяно отстаивали старину.

По вечерам в жарко натопленной комнате гостиницы Петр Иванович Николашин раскрывал перед Дицгеном, слушавшим его с неослабевающим вниманием, все, что думал о Москве реакционеров и ненавистных ему славянофилов.

— Это они рвали в куски Польшу, восстание которой было подавлено с великой жестокостью. Они аплодируют

«Московским ведомостям», закармливают Каткова, перо которого сыплет соль на польские раны,— кривя большие губы, говорил студент, размахивая длинными руками.— Москва вельможного дворянства и купцов-миллионщиков всегда была крепчайшей опорой монарха, а всесильный Катков стал ее красноречивейшим пророком и политическим стратегом реакционного бешенства, обер-доносчиком, разоблачителем либерализма. Но нет покоя сонной Москве и «Московским ведомостям», плохо спится ретивому редактору. Нигилизм! Везде притаился нигилизм. Страшный бич для обитателей поросших кустарниками площадок, зеленых тупичков, упершихся в церковный двор.— Николашин смеялся тяжелым невеселым смехом. Он объяснил Дицгену, что таит в себе понятие нигилизма.— Откуда он явился? Не с Хитровки, не из трущоб вокруг Смоленского рынка. Там вечная тьма. Туда тянутся горе, нищета, печаль со всего города. Люди в зверином исступлении бросаются там друг на друга. Им нечего терять, кроме жизни, которая, однако, не стоит и краюхи хлеба. Безработные — бывшие крепостные, мелкий ремесленный люд, спившийся от чрезмерных испытаний, оттого, что жизнь, как невод, мешает им двигаться, бездомные всех возрастов нашли там прибежище. Они не опасны. С ними, говорят катковы, справится и полиция. Нет, опасность движется на Москву из других мест столицы.

— Говорите, говорите, господин Николашин, я все это расскажу своим друзьям в Германии,— поощрял Дицген своего красноречивого учителя.

— Со Страстного бульвара, из редакции «Московских ведомостей» зоркий Катков наводит жерла пушек на узкие деревянные дома Бронной и темные хибарки Пресни. Он далеко целит! Сквозь студенческие кварталы жандармская картечь, по катковской указке, должна лететь прямо в головы восставших крестьян, в рабочих.

Московские студенты, преимущественно провинциальная беднота из разночинцев, ютились между двумя Бронными и Палашовским переулком, где немощеные улицы поросли травой. Весной и осенью тут непросыхающая бурая грязь, летом пыль колет глаза, зимой снег вздымается неровными холмиками. Студенты по иностранной моде носили длинные, по плечи, волосы, широкополые шляпы, крылатки, очки. В стужу они кутались в полосатые пледы.

Дицген и Николашин подолгу бродили по московским улицам, пытливо разглядывали прохожих. Бывали они и на окраинах, где в Покровском, Преображенском, Семеновском по-деревенски жили мастеровые и рабочие мелких фабрик. Собирались они обычно в харчевнях, где допоздна засиживались за беседою. К ним частенько захаживали студенты.

Нигилизм, по мнению Каткова, заразил собой эти два сословия и грозил благополучию Москвы и всей России. Об этом твердили «Московские ведомости», то же думали завсегдатаи Английского клуба и Дворянского собрания.

— Нигилизм с развевающимися рыжими волосами и могучими руками наступает на Москву,— шутил Николашин.

Полицейская опека простерлась над студенчеством. Малейшее проявление вольнодумства каралось изгнанием из университета. Но Каткову казалось всего этого недостаточно.

Звонили колокола сорока сороков. Завывали богомолки. Шли, ползли, кривляясь, крича, юродивые, кликуши и блаженные, одинаково желанные в разраставшихся домах замоскворецкого купечества и в ветшавших дворянских особняках. Их были сотни в Москве, этих жалких и сметливых торговцев невежеством, страхом. Им жилось сытнее и вольготнее, нежели студентам и мастеровым. Для них строили дома, их щедро одаривали, хоронили с почестями.

В те же годы разрослась торговая Москва. Крепло Замоскворечье. Звонили новые колокола, отлитые на деньги поставщиков и купцов, нажившихся на Крымской войне. Безмерно богатели откупщики. И казалось, застыла Москва — город, откуда бежала прочь живая протестующая мысль, где Катков вокруг собственных домов разводил огурцы и капусту, как встарь московские бояре, где в холодных домах умирал износившийся крепостной век.

Катков не верил болотному спокойствию отставной столицы. Вся ли это Москва? В день приезда Дицгена в Петровском парке, в гроте, был убит провокатор. На Бронной студенты-нечаевцы устроили штаб-квартиру в заброшенном, рассыхающемся барском доме. В книжной лавке Черкесова собирались революционеры. Николашин чуть не попал в засаду, когда отправился туда на подземное, как называли тайные сходки, собрание. Немало

студентов участвовали в тайных обществах и готовы были к арестам, судам, каторге, одинокой смерти в Забайкалье. В сумрачном трактире «Ад» на Цветном бульваре собирался кружок революционеров. Место это долго не вызывало подозрений у полиции.

Дицген, закончив дела в Москве, вернулся вместе с Петром Николашиным в Санкт-Петербург, чтобы затем навсегда покинуть Россию и уехать в Германию. Он уговаривал Николашина отправиться с ним за границу. Но у того были иные планы.

— Я должен оставаться на родине, покуда над нею не будут реять алые знамена. Свобода, равенство и братство — должно быть начертано на них золотыми буквами,— говорил студент несколько высокопарно, как всегда, когда он мечтал вслух о будущем России.

Покуда, до отъезда Дицгена, он продолжал обучать его русскому языку. Оба они часто бывали в театрах и на концертах. Немца удивляла высота, на которую поднялось российское искусство. Он услыхал неведомые ранее произведения высокоодаренных музыкантов, Глинки и Мусоргского. Правда, Иосиф Дицген не очень ценил композиторов. Чтя и хорошо изучив Гегеля, он повторял вычитанные у него слова, что это творчество безмысленное. Однако нередко на концертах русской музыки немецкий кожевник ощущал особое, ни с чем не сравнимое высокое наслаждение. Бессловесный язык мелодий становился ему понятнее с каждым днем. «Нет,— думал он,— Гегель не прав, инструментальная музыка не лишена мысли, она далеко не безмысленна».

Дицген любил живопись, и Россия удивляла его своими мастерами. В картинных галереях он меньше восхищался искусством прошлого, нежели тем, что видел на выставках молодых художников, смело запечатлевающих жизнь такой, как она есть. В столичных театрах шли замечательные пьесы Островского, оперы Серова и Даргомыжского. Лев Толстой закончил уже «Войну и мир», книжные лавки были заполнены новинками Гончарова, Достоевского и многих писателей, имена которых ранее никто не знал.

— Что это? — недоумевал Дицген, беседуя с Николашиным.— В стране, где недавно большинство людей жило в цепях, в рабстве, так расцветает искусство! Какая же мощь у вашего народа, как он одарен!

— Да,— отвечал ему Петр Иванович,— где-то глубоко под землей борются с самодержавием за права народные отчаянные вольнолюбцы. Россия зажата в тисках реакции, а музы ведут свой чудесный хоровод и щедро одаривают моих соотечественников. Не успеваешь радоваться книгам и картинам, новым операм и симфониям. Сколько имен и надежд!

— Гордитесь своей страной, юноша, ее сокровищем — людьми,— подтверждал Дицген.— Если в ночи горестной действительности они столь созидательны, что же будет, когда свет и радость снизойдут на всю Россию!

Лиза Красоцкая с дочерью направлялась в Англию. Насколько с годами Лизе труднее было общаться с незнакомыми ей людьми, настолько же общительнее становилась, подрастая, юная Ася. Веселая, приветливая девочка вовсе не была красивой, но смышленое выражение очень курносого личика с добрыми полными губами и смешной ямочкой на круглом подбородке вызывало симпатии. В поезде Ася познакомилась с несколькими пассажирами, а с одним настолько подружилась, что попросила мать пригласить его к ним в купе. Это был представительный высокий господин весьма располагающей внешности. Особенно привлекательны были его глубокие темные глаза, полные мысли и чувств, и выпуклый лоб, напоминавшие Лизе портреты Гете. У него был также подкупающе мелодичный и вместе металлический голос. Узнав, что новый ее знакомый немец, Лиза спросила, не с Рейна ли он.

— Вы правы, я рейнландец. Вы узнали это, вероятно, по нашей привычке говорить слегка в нос. Разрешите, однако, представиться. Моя фамилия Дицген, Иосиф Дицген. У вас, верно, есть друзья среди моих земляков?

— Я знала многих уроженцев вашей прекрасной провинции и недавно имела случай слышать одного из наиболее одаренных.

— Кто это, если не секрет? Я, правда, давно не бывал на родине...

— Тот, о ком я говорю, изгнанник и проживает в Лондоне. Это очень заметный ученый и революционер. Вы, может быть, принадлежите к другому идейному лагерю?

— Нет,— мягко ответил Дицген,— я и сам старый бунтарь.

— Вот не сказала бы. Вы выглядите таким невозмутимым.

— Мама,— вмешалась в разговор Ася,— я читала, что вулканы, пока они не действуют, кажутся совсем тихими, спокойными.

— Правильно, девочка,— оживился Дицген.

Выражение такой задушевной доброты появилось на его лице, что Лиза окончательно уверилась в своем первом весьма благоприятном впечатлении, которое он производил.

В дороге легко завязываются знакомства и по-разному складываются в дальнейшем. Иногда они кончаются вместе с путешествием, промелькнув, как полустанки, но, случается, длятся до конца долгого пути, каким является жизнь.

Покуда поезд медленно двигался на запад, Лиза узнала многое о Дицгене. Он оказался в прошлом простым рабочим-кожевником.

— Представьте, я была уверена, что вы по меньшей мере профессор философии или экономист и, уж во всяком случае, буржуа,— призналась она.— Не только ваша внешность, манеры, но, главное, речь, мысли отражают глубокие познания.

— Сейчас такими бывают и пролетарии. Я только самоучка, довольно упорный и прилежный. Пишу научные книги и статьи. Совсем недавно, пораженный одним гениальным трудом, я написал о нем отзыв. Вам, верно, не интересны ученые предметы, такие, например, как исследование, откуда берется капитал?

— Вы говорите о произведении доктора Карла Маркса?

Дицген опешил.

— Вы, мадам, знаете эту великую книгу?

— И даже ее автора. Упомянув об изгнаннике и не назвав по имени, я имела в виду как раз его,— пояснила Лиза.— Ваш голос и выговор напомнили мне Маркса.

— Я имею честь,— с оттенком торжественности в голосе сказал Дицген,— быть с Карлом Марксом в переписке и многим, очень многим ему обязан. Благодаря его творениям и письмам я приблизился к постижению истины. Мои политические взгляды совпадают со всем тем,

что проповедуют Маркс и его достойный друг Энгельс. Сейчас, возвращаясь на родину, я поставил себе целью как можно скорее лично познакомиться с этими людьми. Маркс собирается погостить у своего друга Кугельмана в Ганновере, а я поселюсь неподалеку, в маленьком местечке Зигбурге. Это дает мне надежду скоро пожать руку могучего рейнландца.

Лиза и Ася расспрашивали Дицгена о его прошедшей жизни и узнали много интересного.

Иосифу Дицгену было уже более сорока лет. Он родился в живописной местности близ Кёльна в многодетной семье кустаря-кожевника. С малолетства он помогал отцу в его маленькой мастерской. Несмотря на бедность, Иосиф жадно тянулся к знаниям, учился у местного пастора латыни, читал Аристотеля, Канта и те книги, которые попадались ему случайно. Весьма от природы одаренный, он хорошо знал французский язык и, не получив никакого систематического образования, самоучкой изучал философию и политическую экономию. Жизнь его проходила в физическом труде, среди неимущих. Он рано осознал себя пролетарием и сначала стихийно, затем сознательно принял участие в борьбе за права рабочего класса.

— В то время я писал стихи, неуклюжие, плохие, но идущие от сердца,— признался он Лизе.— Знание жизни народной, полной бед и лишений, спасло меня от многих заблуждений и бесцельных скитаний мысли. Я не стал рабом прописных истин буржуазной философии, избежал вульгарного материализма. В революцию тысяча восемьсот сорок восьмого года решающим стало для меня слово «Новой Рейнской газеты». Я был ее пропагандистом и учеником.— Дицген заговорил вдруг обычно несвойственным ему патетическим тоном, приподняв многозначительно руку: — Как неугасимый костер, освещала «Новая Рейнская газета» весь темный бор, каким была наша Германия. Великое время! — Он помолчал.— Когда начала свирепствовать реакция, пришлось эмигрировать в Америку. Мне стукнул тогда двадцать один год. За океаном хватил я горя горького. В поисках работы и куска хлеба бродяжил от Висконсина до Мексиканского залива, от Гудзона к Миссисипи. Кем только не был я в то время: учителем и маляром, кожевенным подмастерьем, грузчиком и просто жалким скитальцем. Затем, потеряв надеж-

ду осесть где-нибудь прочно и обзавестись постоянной работой, я вернулся в Рейнскую область. Там и женился на доброй, набожной девушке. И по сей день моя жена, бедняжка, тщетно молит бога вернуть ее мужа — безбожника и коммуниста — в лоно лютеранской церкви. Хорошая она женщина, но в плену у религии. У нас дети. Мы могли бы жить счастливо, если б не ее страх перед дьяволом, в лапы которого, по мнению пастора, попал я. В семье я одинок душевно. Мои сестры и братья также не понимают моих идеалов и стремлений и считают меня неисправимым мечтателем. Но с того дня, когда я прочел «Коммунистический манифест», мне дороги назад заказаны. Скажу, как Юлий Цезарь: жребий брошен. Я коммунист.

— Теперь вспоминаю, что в Америке у Вейдемейера я уже слыхала ваше имя,— сказала Лиза.— Вы вернулись, как мне помнится, в Америку снова. Впоследствии вам жилось там уже значительно лучше, не правда ли?

— Да. Во второй мой приезд я бывал в нью-йоркском коммунистическом клубе, основанном в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году, и встречался там с друзьями Вейдемейера. Вот тогда-то узнал я многих сподвижников Маркса, таких, как Зорге и Мейер. Я зарабатывал на жизнь неплохо, и уже не голод и безработица, а моя революционно-демократическая деятельность, мимо которой не прошли власти Соединенных Штатов, вынудила меня покинуть землю дяди Сэма. Я вернулся назад, в родную рейнландскую деревню, и взялся за старое тяжелое ремесло кожевника, чтобы прокормить себя и семью. Но и здесь я пробыл недолго. Нужда снова погнала меня по свету.

— Но как вы очутились в России? — спросила Лиза.

— Случайно. Жил я с семьей в Германии только что не впроголодь и как-то, когда было особенно трудно, прочел в «Кёльнской газете» объявление одного из крупных кожевенных заводов Санкт-Петербурга. Нужен был управляющий, знающий новейшие технические методы обработки кожи. Предложение было во всех отношениях заманчиво. О России слыхал я много, и всегда противоречивое. Одни говорили, что страна эта населена дикарями, другие — талантливейшими и образованнейшими людьми. В годы, пока я жил в России, мне удалось многое прочитать и продумать. Книги Маркса обогатили мой мозг.

Я писал ему и получал ответы. То, что я увидел на вашей родине, право, стоило курса в хорошем университете. Думаю, что скоро вы не узнаете свою Россию. Ее ждут очистительные бури. Представьте, что и поныне рабочий день на кожевенном заводе в Петербурге длится четырнадцать и пятнадцать часов. И я торжествовал, когда русские пролетарии начали наконец стачечную борьбу. Революционные кризисы в вашей империи неизбежны. Тем более что численность работников в стране все возрастает. Освобождение крестьян, как ветер, подняло и кружит массы полунищих людей. Прежней неподвижности в народе больше нет. Да и во всем мире воздух накаляется, и поэтому вам легко себе представить, что «Капитал» Маркса звучит для меня подобно первым раскатам грома.

Лиза, не без сожаления, распрощалась с Иосифом Дицгеном.

Самой любимой наукой Женнихен с детства была история. Как все дети Маркса, она стремилась к знаниям.

«Жизнь так коротка,— думалось ей,— не надо упускать ни одной возможности заглянуть во все уголки прошлого и настоящего. Что может быть интереснее путешествий, а история — это странствие во времени, не имеющее преград».

Женнихен берегла стопку тетрадок и записных книжек в черных дерматиновых переплетах. В то время как сверстницы старшей дочери Маркса стремились наполнить альбомы стихами, виньетками, чувствительными рисунками, переводными картинками, она исписывала листы подробностями битвы при Фермопилах, заметками о характере Перикла и Аспазии, записями о реформах Солона и Клисфена. Гомер, Фукидид, Геродот были ей так же хорошо знакомы и дороги, как позднее Корнель, Расин и Вольтер, Шекспир, Шелли и Бёрнс, Данте и Ариосто. Мечтой Женнихен было воспроизвести на сцене образы шекспировских героинь. Ее грудной, волнующий голос, отличная стать, красивое лицо, четкая дикция и несомненный талант словно были созданы для сцены. Однако препятствий было много.

«Она давно бы поступила на сцену,— писала ее мать своей приятельнице,— если бы не семейные предрассудки. Многие из тех, кто ее слышал, утверждают, что в ней

скрывается талант Рашели или Ристори и является большой ошибкой удерживать ее от этого шага». И, однако, Женни только изредка как любительница выступала в театре. Стать профессиональной актрисой она не осмелилась. Тяжело отказаться от того, к чему влечет сердце. Немало людей приходят и уходят из жизни, не раскрыв себя до конца, не отдав людям заложенный в них клад, каким всегда является талант.

Женнихен решила стать преподавательницей и как можно скорее начать давать уроки, чтобы помогать родителям. Ко всякому делу она относилась с большой добросовестностью и считала, что учить других можно лишь тогда, когда сама находишься во всеоружии знаний. Девушка напряженно работала над саморазвитием и образованием. Но, как и в ранней молодости, ее особенно влекли литература и история. Женнихен горячо интересовалась судьбами женщин разных веков. Они привлекали ее сложностью, подчас героичностью характеров и необычайностью обстоятельств, сопровождавших их жизнь. Одних она осуждала, других оплакивала. Мадам де Сталь вызывала в ней только равнодушное уважение. Манон Ролан казалась напыщенной, честолюбивой буржуазкой, но особенно Женнихен возненавидела, так же как самого Наполеона I, его жену Жозефину.

В галерее выдающихся женщин Англии обеих Женни, младшую и старшую, привлекал грустный и скромный образ Мери Вулстонкрафт, одной из талантливейших феминисток, и ее последовательницы — преобразователя бесплатных госпиталей Флоренс Найтингел. Основательно изучая прошлое, Женнихен все больше углублялась в историю города, где выросла и жила. Вместе с пытливой Элеонорой она часто бродила по огромному Лондону. Женнихен обладала от природы богатым воображением, которое магически воскрешало перед ней исчезнувшие времена. Она рассказывала младшей сестренке о старом Лондоне, точно жила в нем сотни лет назад.

К середине XVIII века город, разрушенный великим пожаром, совпавшим по времени с эпохой английской революции, начал понемногу отстраиваться, восстанавливать здания докромвелевской поры.

Над низкими новыми домами далеко видимой квадратной громадой возвышалась уцелевшая тюрьма Тауэр — могильная плита вольному Лондону, городу, созданному

смелыми кельтами, великой данью и порабощением заплатившими за культуру римлян.

В темных, сырых погребах крепости валялись скованные по ногам и рукам узники: несчастливый претендент на корону; подмастерье, оклеветанный хозяином; разуверившийся в существовании справедливости крестьянин, оскорбивший имя короля; сутяга, не давший вовремя взятки судье; ученый, попытавшийся пробить толщу невежества; плательщик, не смогший внести налога; непокорный солдат; дерзкий поэт; подозрительный бродяга. Человек, вступивший за ограду Тауэра — английской Бастилии, бывшего дворца норманнских завоевателей, редко сохранял жизнь.

Улицы Лондона, настолько узкие, что две кареты едва могли в них разъехаться, постоянно кишели бездомной голытьбой, покинувшей деревни из-за непосильных налогов и арендной платы на землю. Бывшие крестьяне промышляли попрошайничеством и мелким воровством.

Знатные леди отправлялись в лавки за покупками под охраной надежных слуг, аристократы не оставляли домов безоружными. Для богачей улицы были тогда небезопасными.

Время от времени вспыхивавшая чума в значительной мере «очищала» город от бедняков.

Если с чумой совпадал пожар, город охватывало паническое безумие, церковь оглашала наступление конца света, и лиловый дым казался погибающим от пламени и болезни разверстым небом.

Наиболее опустошаемым эпидемиями и огнем местом была припортовая часть английской столицы, куда никогда не решались заглядывать жители благоустроенного по тем временам Вестминстера и Уайт-холла.

В жаркие дни в этих проклятых трущобах стояли столбы слепящей, густой пыли. Крысы, лишайные — нередко взбесившиеся — собаки и кошки бегали между темных жилых конур. Просаленная бумага заменяла стекла на окнах домов, в которых ютились человеческие существа, влача однообразные дни в непосильном труде и чудовищных лишениях.

Во время частых дождей в грязных стоках, совершенно размывающих почву так называемых улиц, плыли, отравляя воздух, вонючие, гнилые овощи, сор, изношенное тряпье, долго валявшееся в подворотнях.

Люди этих окраин жили Темзой. Ее порт давал им иногда пропитание, на ее берег выползали они из своих логовищ за водой и воздухом. Иногда их ждало там и занимательное, «веселое», с тогдашней точки зрения, зрелище. В начале XVIII века суды над обвиненными в колдовстве и сношениях с дьяволом были делом частым и вполне обычным. «Дознание водой», измышленное опытными садистами инквизиционных трибуналов, широко применялось в Англии. Заподозренного в черной магии бросали в воду,— акт, символизировавший святое крещение. Если жертва мракобесия шла тотчас же ко дну, ее признавали оправданной, причем, однако, не всегда спешили вытащить и вернуть к жизни.

— По мнению всезнающих судей, вода не принимала грешников. Горе тем, кто всплывал: их ждал неминуемый костер,— рассказывала Женнихен слушавшей ее с широко раскрытыми блестящими глазами Тусси. — Водяное испытание, как и сожжение ведьм и колдунов на городских площадях, привлекало несметное количество зевак. Не всегда, однако, вода давала неопровержимое показание. Я читала о том, что в тысяча семьсот седьмом году старуха нищенка, брошенная в мелководную речку, пошла ко дну головой, но ноги ее остались торчать на поверхности. Ученые мужи церкви долго спорили о том, как понимать такого рода примету. Испробовали иные средства: запустили под ногти несчастной острие щетины, и появившаяся кровь послужила ей оправданием: видишь ли, у лиц, находящихся на службе у черта, раны не кровоточили.

Тусси часто прерывала рассказ сестры взволнованными вопросами. Ей хотелось знать все о средневековой Англии. Женнихен была неисчерпаемым рассказчиком. Она поведала Элеоноре много интересного о разгуле мракобесия в пору инквизиции.

— Охота на колдунов стала тогда весьма прибыльным делом,— говорила Женнихен.— Каждый чернокнижник оценивался в двадцать шиллингов, выплачиваемых казной тому, кто мог доказать, разоблачить грех. Инквизитор Матвей Хопкинс в годы кромвелевской гражданской войны изрядно подработал, отправив на костер несколько десятков человек. Он пытал свои жертвы с таким умением и изощренной жестокостью, что некоторые из них в порыве наступившего безумия или отчаяния оговаривали себя

сами, рассказывая фантастические подробности о своих отношениях с чертом и предпочитая сожжение невыносимым мукам и издевательствам. В конце концов усердный палач Хопкинс сам был обвинен в колдовстве и сожжен.

Жизнь старшей Женни была напряженной и многообразной. Она входила в подробности каждодневных событий и дел Интернационала, помогала мужу во всех его начинаниях, вела переписку с многочисленными соратниками Маркса в разных странах, слушала лекции по естествознанию и увлекалась концертами классической и новейшей музыки.

Приближалось замужество красавицы Лауры, и мать деятельно готовила ей обязательное приданое: постельное белье из снежно-белого полотна, платья из тяжелой тафты и костюм для свадебного путешествия из клетчатой шотландской шерсти с пышной короткой, по икры, юбкой. Все три дочери Маркса, отличные гимнастки, тотчас же оценили преимущество такой одежды, но допускалась она только в дороге. В повседневной жизни, как и все девушки их возраста, Женнихен, Лаура и Элеонора носили длинные, до пола, платья, отделанные воланами или тесьмой. Несгибающиеся, густо накрахмаленные нижние юбки придавали таким одеяниям из тяжелых тканей вид колокола. Старшие дочери Маркса причесывались одинаково: тугие локоны, черные у Женнихен и золотисто-бронзового цвета у Лауры, ниспадали на плечи.

Женни, как и ее мужа, мучило сознание, что они не могут обеспечить на первых порах молодоженов и, более того, должны как-то скрывать свою бедность от родителей Лафарга, пригласивших невесту и двух ее сестер погостить у них в Бордо. Если в молодости нужда — страдание, то для пожилых и старых людей она смертоносный бич. Карл при всей крепости своего духа чувствовал на себе его удары. Он мог сносить любые лишения, но терял стойкость, видя, как прячут от него свои невзгоды жена и дочери. «Капитал» не принес ему значительного заработка, и снова только Энгельс бережно отвращал беды от Модена-вилла и всем, чем мог, облегчал жизнь друга, призывая его к творческому труду и выполнению заветной цели. Свадебные расходы он взял на себя.

Перед бракосочетанием Лауры, которое решено было совершить по-граждански, в мэрии, Лафарг отправился в Манчестер познакомиться со вторым отцом своей невесты — Фридрихом Энгельсом.

В апреле Лаура и Поль зарегистрировали свой брак в бюро актов гражданского состояния в Лондоне. Энгельс приехал на это торжество ненадолго, так как в Манчестере его ждали неотложные дела.

Весело и шумно в кругу родных и самых близких друзей была отпразднована свадьба. Не только Ленхен, но и — отличная стряпуха — сама новобрачная постарались накормить гостей на славу, а Энгельс доставил великолепные вина и шампанское, которое в этот раз было разрешено отведать и Тусси. Женнихен не преминула заставить Энгельса ответить на вопросы ее заветной книги признаний.

— Ты не сопротивляйся, дядя Энгельс, наша Ди настойчива, как Мавр, и она все равно поставит на своем.

— Но мне разрешается шутить, надеюсь. Это ведь не опрос фабричного инспектора,— оговорил свои права Фридрих,— они честнейшие люди, но не всегда им свойственно чувство юмора.

— Ты можешь писать что хочешь. Да и попробуй кто приневолить Фреда! — вмешался Маркс.

Энгельс отправился к рабочему столу друга, уселся поудобнее, со свойственной ему тщательностью принялся писать без помарок, четким, красивым, ровным почерком.

— Только тот комик смешон, который сам траурно серьезен,— возгласил Энгельс, состроив при этом мрачную гримасу, и подмигнул Тусси.

Достоинство, которое вы больше всего цените в людях?

— Веселость.

...в мужчинах?

— Не вмешиваться в чужие дела.

...в женщинах?

— Умение класть вещи на свое место.

Ваша отличительная черта?

— Знать все наполовину.

Ваше представление о счастье?

— Шато-Марго тысяча восемьсот сорок восьмого года.

Недостаток, который вы считаете неизвинительным?

— Ханжество.

Ваша антипатия?

— Жеманные, чопорные женщины.

Ваше любимое занятие?

— Поддразнивать самому и отвечать на поддразнивание.

Ваш любимый герой?

— Нет ни одного.

...героиня?

— Их слишком много, чтобы можно было назвать только одну.

Любимый цветок?

— Колокольчик.

...цвет?

Энгельс вспомнил зловонные красильные цехи текстильной фабрики и написал:

— Любой, если это не анилиновая краска.

Ваше любимое блюдо?

— Холодное — салат, горячее — ирландское рагу.

Ваше житейское правило?

— Не иметь никакого.

Ваш девиз?

— Относиться ко всему легко.

— Ах, дядя Энгельс,— сказала Тусси разочарованно, прочитав его ответы,— ты зря, шутки ради, наговорил на себя напраслину. Ты совсем другой.

Сразу после свадьбы Лафарги уехали на месяц во Францию. Они решили обосноваться в Лондоне, где Поль, закончивший медицинское образование, должен был работать в госпитале.

Энгельс вернулся в Манчестер, чтобы вместе с Лиззи еще раз отметить радостное событие в семье друга. Однако Лиззи была грустна в этот вечер. После смерти своей старшей сестры Мери молоденькая, пухленькая, домовитая Лиззи осталась в доме Энгельса и скоро стала его гражданской женой. Она любила мужа и встретила с его стороны верность, нежность и глубокую привязанность. Но счастье Лиззи нарушалось сознанием, что брак ее с Энгельсом не узаконен. Она с юности придавала этому большое значение. Ей всегда нравились церемонии, сопровождавшие бракосочетание. В мечтах она видела себя в белом подвенечном платье и тюлевой фате, с венчиком

из жесткого искусственного флердоранжа на голове. Ей хотелось носить фамилию мужа и не смущаться, встречая в родной ирландской деревне досужих кумушек. Как ни развита и свободомысляща была Лиззи, она страдала от своего, как ей казалось, двусмысленного положения. Она выросла в бедной, религиозной семье и не могла переступить через многие понятия, внушенные сызмала. Энгельс же превыше всего ценил свободу и считал, что его семья должна создаваться только на основах любви и полного взаимного доверия. Всякие узы казались ему оскорбительными, а брачные обряды смешными и даже постыдными. Он понимал их неизбежность и своеобразность в зависимости от той или иной эпохи, но для себя считал необязательными.

Радуясь свадьбе Лауры, Лиззи горевала о себе. За ужином Фридрих заглянул ей в добрые, печальные глаза:

— Ты все еще придаешь значение таким обрядам, как запись в мэрии в измазанной жирными пальцами книге актов гражданского состояния? Это требуется только для статистических отчетов и не прибавляет никому счастья.

— Так водится пока что в этом мире. Я люблю тебя, Фред, и мне постоянно кажется, что я не настоящая твоя жена. При всем презрении к формальностям Лаура и Поль вынуждены были все же венчаться.

— Если бы ты только знала, как противны мне все эти лицемерные пустые церемонии в присутствии какого-нибудь ханжи. Раз ты так дорожишь ими, то лучше нам сочетаться браком, как это делали огнепоклонники и еще теперь поступают жители Малайского архипелага. Они произносят сакраментальные заклинания у подножия вулкана, у моря. Что ж, отправимся как-нибудь и мы на острова в Индийском океане. Что, собственно, волнует тебя, неужели ты мне не веришь? — спросил Фридрих.

Лиззи заплакала. Фридрих был расстроен.

— Успокойся, дорогая. Даю тебе клятву, что мы обязательно заключим брачный союз согласно всем юридическим законам и ты будешь не только женой, свободно избравшей себе по любви мужа, но и официальной супругой старого купца из Бармена, почтенной госпожой Лиззи Энгельс. Ты довольна? Запомни, я поклялся. Если хочешь, мы завтра же пойдем в мэрию,— предложил Фридрих.

— Спасибо, мне достаточно твоего обещания. Мы сделаем это позже, раз ты более не возражаешь.

Десятого апреля Фридрих послал Карлу письмо о том, как весело прошел в его семье вечер, устроенный по поводу замужества Лауры.

«Свадьбу мы здесь отпраздновали с большой торжественностью: собакам надели зеленые ошейники, для шести ребят был устроен званый чай, огромный стеклянный кубок Лафарга служил чашей для пунша, и бедного ежа напоили пьяным в последний раз».

Ручной еж был другом не только Энгельса и его жены, но и Тусси Маркс, часто наезжавшей в Манчестер. Однако в ночь, когда праздновалась заочно свадьба Лафаргов, еж разгрыз одеяльце, на котором спал, сунул голову в какую-то дыру и так запутался, что утром его нашли задохнувшимся.

Известие это огорчило Тусси, и Карл с шутливой печалью выразил Энгельсу соболезнование по поводу кончины «достопочтенного ежа».

Тотчас же после отъезда дочери и зятя Маркс принялся за рукописи второго и третьего томов «Капитала», снова перечитал Адама Смита и много других книг. Он тщательно прослеживал взаимосвязь между нормой прибыли и нормой прибавочной стоимости и выработал схему всего последнего тома своего труда. Однако нездоровье мешало ему. Несмотря на уговоры Женни лечиться, Карл не только отказывался от помощи врачей, но часто скрывал от домашних, что болен. Не раз в течение долгой дружбы Женни обращалась к Энгельсу, надеясь, что он уговорит Карла серьезно заняться своим здоровьем.

Первый том «Капитала» в это время уже прокладывал себе дорогу, удивляя и завоевывая людей.

Сложны и необычны судьбы эпохальных книг — откровений. Их сжигали, но они снова вставали из пепла и совершали свое триумфальное шествие через века. Их предавали анафеме, оплевывали, а они воскресали и начинали новую жизнь, радуя и обогащая человеческие души. Их не замечали и пытались уничтожить молчанием, и все же они, сильные как буря, двигались по всей земле, проникали в каждое жилище. Сгусток гениальных мыслей и чувств, эти книги неизменно рано или поздно доходили

до тех, кому предназначались, потому что служили счастью и добру людей.

Ничто не могло задержать победный путь «Капитала». Гениальное не умирает.

Приближалось пятидесятилетие Маркса. Есть таинственная сила в числах, которыми размечен путь человеческий по жизни. Она утвердилась в сознании, переходя из поколения в поколение, как прапамять. Годы убивают человека, и они же возносят его.

Маркс работал над продолжением «Капитала» и находил в этом высшее удовлетворение, счастье. Он погружался в темную, неведомую и страшную пучину цифр, изысканий, глубинных мыслей и находил одну за другой бесценные, прозрачные и ясные, точно живой жемчуг, научные истины.

О полувековом юбилее ему напомнили родные. Отложив формулы и наброски сложившихся решений, Карл потянулся к сигаре и задумался о прожитых годах. Пятьдесят лет! Порог старости! В окно кабинета врывался запах майских цветов. Гудели жуки, пели птицы. Карл закурил и оперся головой на руку. Промелькнули разрозненные картины детства, юности, зрелых лет, припомнились давно исчезнувшие люди.

«Ах, Карлуша, Карлуша, ты все еще нищий и таким умрешь. Если б ты послушался меня и вместо того, чтобы пытаться осчастливить все человечество, сколотил капитал, то жил бы, как дядя Филипс и даже богаче, ведь у тебя такая голова»,— вспомнил он слова покойной матери.

Карл насмешливо сощурил глаза. Много лет тянул он лямку, был изгнан с родины, беден, болен, вступал в необеспеченную старость. Рядом с ним терпели тяжкие лишения жена и дети. И, однако, подводя итоги прожитого, Маркс знал, что, начни он жизнь сначала, все равно пошел бы по тому же пути, не отказался бы ни от чего.

Когда Женни, поздравив Карла, прижала к груди его седую голову, Карл сказал ей с глубоким чувством:

— Я нашел все-таки в жизни самое редкое и ценное: настоящую любовь — тебя, и дружбу — Фридриха.

«Дорогой Мавр! — писал Марксу Энгельс в те же дни.— Как бы там ни было, поздравляю с полувековым юбилеем, от которого, впрочем, и меня отделяет лишь небольшой промежуток времени. Какими же юными энту-

зиастами были мы, однако, 25 лет тому назад, когда мы воображали, что к этому времени мы уже давно будем гильотинированы».

Подобно тому как огромная масса луны влечет к себе морские пучины, вызывая приливы и отливы океанов, так гений обладает магнетической силой притяжения. Женни фон Вестфален пожертвовала ради Маркса всеми привилегиями своего аристократического происхождения, она любила его безмерно. Энгельс не жалел своих лучших лет, чтобы предоставить другу возможность творить. Вильгельм Вольф завещал Марксу свое небольшое, трудом скопленное состояние, так же как Елена Демут бескорыстно посвятила Марксу и его семье всю свою жизнь.

Маркс вселял уверенность в революционеров, восхищал ученых, вдохновлял поэтов. Люди разных национальностей и профессий тянулись к нему и, узнав ближе, никогда уже не оставались к нему равнодушными. И в то же время он был очень скромен.

По-прежнему большую часть рабочего времени Маркс тратил на дела Генерального Совета. Революционное движение на родине занимало его постоянно. Выслуживавшийся перед Бисмарком увертливый Швейцер просил Маркса воздействовать на Либкнехта, настойчиво боровшегося против предательской линии Всеобщего германского рабочего союза. Швейцер сменил на посту председателя этого Союза Лассаля и оставался неизменным его последователем. В ответном письме Маркс с обычной всеразрушительной логикой изложил суть расхождений между Швейцером и членами Интернационала. Он без обиняков раскритиковал сектантские действия, ошибки и двойственность покойного Лассаля и нынешнего Всеобщего германского рабочего союза. Соглашаясь посредничать в качестве секретаря Международного Товарищества для Германии между враждующими Либкнехтом и Швейцером, Маркс оговорил свое право бороться с неверной линией председателя Всеобщего германского рабочего союза. Особенно внимательно наблюдал Маркс за путями развития профсоюзного движения в Германии и докладывал об этом Генеральному Совету.

Однажды Кугельман уведомил Маркса, что профессор Гансен из Берлина намерен предложить ему кафедру в прусской столице.

Многократно едва сводившему концы с концами, изнуренному долгами вождю пролетариата предлагали деятельность, несущую немалые выгоды, полное удовлетворение житейских нужд. Маркс мог бы вернуться на родину, чтобы надеть профессорскую мантию. Стоило его жене унизиться и обратиться к брату, влиятельному министру Пруссии, и навсегда разорвалась бы сеть долгов и бедности. Но без тени сомнений Карл и Женни отвергали эти уступки своей совести революционеров, борцов.

В конце 1868 года Энгельс и Маркс обменялись следующими письмами:

«Дорогой Мавр!

Постарайся *совершенно точно* ответить на прилагаемые вопросы и ответь немедленно, так, чтобы я получил твой ответ во вторник утром.

1) Сколько денег нужно тебе, чтобы уплатить *все* твои долги и таким образом совершенно развязать себе руки?

2) Хватит ли тебе на *обычные* регулярные расходы 350 ф. ст. в год (причем экстренные расходы на болезнь и непредвиденные случайности я исключаю), то есть так, чтобы тебе не приходилось делать долгов. Если нет, то укажи мне сумму, которая тебе необходима. При этом предполагается, что все старые долги будут предварительно выплачены. Этот вопрос, разумеется, самый главный.

Дело в том, что мои переговоры с Готфридом Эрменом приняли такой оборот, что он хочет к концу моего контракта — 30 июня — *откупиться* от меня, то есть он предлагает мне известную сумму денег, если я обязуюсь в течение пяти лет не участвовать в каком-либо конкурирующем предприятии и разрешу ему дальше руководить фирмой. Это как раз то, чего я добивался от этого господина. Но так как за последние годы балансы были плохи, то для меня вопрос, даст ли это предложение нам возможность прожить в течение ряда лет без денежных забот, учитывая даже при этом и тот вероятный случай, что какие-либо события вынудят нас снова переехать на континент и, следовательно, вовлекут нас в экстренные расходы. Сумма, предложенная мне Готфридом Эрменом (еще задолго до того, как он предложил ее мне, я решил, что она пойдет исключительно на покрытие необходимых для помощи тебе дополнительных сумм), *гарантировала*

бы мне возможность посылать тебе в течение пяти-шести лет по 350 ф. ст. ежегодно, а в экстренных случаях даже и несколько больше. Но ты понимаешь, что все мои расчеты были бы опрокинуты, если бы время от времени снова накапливались долги, которые опять пришлось бы выплачивать за счет вычетов из капитала. Именно потому, что я вынужден строить свои расчеты на том, что мы покрываем наши расходы не только из *дохода*, но и — с самого начала — отчасти из *капитала;* именно поэтому эти расчеты несколько сложны и должны строго соблюдаться, иначе мы попадем в очень тяжелое положение.

От твоего ответа, в котором прошу тебя изложить мне положение дел откровенно, как оно *есть на самом деле*, будет зависеть мой дальнейший образ действий по отношению к Готфриду Эрмену. Итак, определи сам сумму, которая нужна тебе регулярно каждый год, и посмотрим, что можно сделать.

Что будет после вышеупомянутых пяти-шести лет, мне, правда, еще самому неясно. Если все останется так, как оно есть сейчас, я, конечно, не буду тогда в состоянии выдавать тебе ежегодно 350 ф. ст. или больше, но все же, самое меньшее, 150 фунтов стерлингов. Однако к тому времени многое может измениться, да и твоя литературная деятельность может кое-что приносить тебе.

Наилучшие пожелания твоей жене и девочкам. Из прилагаемых фотографий пошли одну Лауре.

Твой *Ф. Э.*».

«Дорогой Фред!

Я совершенно потрясен твоей чрезмерной добротой.

Я просил жену представить мне все счета, и сумма долгов оказалась значительно больше, чем я думал,— 210 фунтов стерлингов (из них около 75 ф. ст. на ломбард и проценты). Кроме того, надо прибавить счет доктора за лечение во время скарлатины, который он еще не представил.

За последние годы мы проживали более 350 фунтов стерлингов; но этой суммы вполне достаточно, так как, во-первых, в течение последних лет у нас жил Лафарг, и благодаря его присутствию в доме расходы сильно увеличивались, а во-вторых, вследствие того, что все бралось в долг, приходилось платить слишком дорого. Только

полностью развязавшись с долгами, я смогу навести порядок в хозяйстве.

Как неприятно стало положение у нас в доме за последние месяцы, ты можешь видеть из того, что Женничка — за моей спиной — согласилась *давать уроки* в одной английской семье! Занятия начнутся лишь в январе 1869 года. Я задним числом согласился на эту историю с тем условием (хозяйка этого дома,— ее муж — доктор Монро — была по этому делу у моей жены), что обязательство *действительно лишь на один месяц* и что по истечении месяца каждая сторона *имеет право отказаться* от него. Как ни горька была для меня эта история (девочке придется заниматься почти целый день с маленькими детьми),— об этом мне незачем тебе говорить,— я все же с этой оговоркой дал свое согласие...»

В один из туманных слякотных декабрьских дней 1868 года Генеральный Совет рассмотрел на своем заседании просьбу бакунинского «Альянса» о приеме его в Международное Товарищество Рабочих. Составление ответа взял на себя Маркс. Как всегда, вернувшись домой, он тотчас же написал Энгельсу, оповещая его подробно об этом, и послал ему для изучения устав бакунинской организации.

Спустя неделю Генеральный Совет единогласно принял резолюцию, в которой подчеркивалось, что вторая международная организация, имеющая свой устав, действующая внутри и вне Интернационала, неизбежно повредит делу рабочего объединения и внесет раздоры.

Узнав об этом, Бакунин прислал из Женевы в Лондон Международному Товариществу программу «Альянса социалистической демократии» и письмо о полном присоединении. Он также объявлял себя учеником Маркса.

Через некоторое время «Альянс» объявил себя распущенным и попросил включить его членов в секции Интернационала. Генеральный Совет согласился на это, однако при условии, которое изложил Маркс. Лозунг «Альянса» об «уравнении классов» был заменен формулой — «уничтожение классов». Бакунисты вошли в Международное Товарищество Рабочих.

Цензурный комитет в Санкт-Петербурге получил «Капитал» Маркса на немецком языке вскоре после его выхода в свет. Цензор Скуратов писал в своем заключении:

«Как и следовало ожидать, в книге заключается немало мест, отличающих социалистическое и антирелигиозное направление пресловутого президента Интернационального общества... Но как ни сильны, как ни резки отзывы Маркса об отношении капиталистов к работникам, цензор не полагает, чтобы они могли принести значительный вред, так как они, так сказать, тонут в огромной массе отвлеченной темной политико-экономической аргументации, составляющей содержание этой книги. Можно утвердительно сказать, что ее немногие прочтут в России, а еще менее поймут ее».

Осенью 1868 года Маркс получил письмо от незнакомого ему русского из Петербурга. Николай Францевич Даниельсон, псевдоним которого был «Николай — он», двадцатичетырехлетний литератор, служивший в Петербургском обществе взаимного кредита, сообщал, что «Капитал» переводится на русский язык и принят издателем Поляковым. По просьбе Даниельсона Маркс послал ему фотографию и краткие автобиографические сведения.

Мысль о переводе «Капитала» возникла у участников полулегального кружка, прозванного «Рублево общество» по размеру установленных в нем членских взносов. Несколько десятков молодых людей с честными и пылкими сердцами объединились, чтобы нести знания в народ. Они надеялись пробудить в бесправных и обездоленных соотечественниках стремление к борьбе за общечеловеческие идеалы добра и равенства. С этой целью образованная молодежь старалась ознакомиться со всем новым и значительным, что издавалось в других странах, и по возможности переводить и издавать эти книги на родине.

Одним из учредителей и вдохновителей «Рублева общества» был Герман Лопатин, ученик Чернышевского, выдающихся способностей юноша, отлично окончивший университет, владевший свободно тремя иностранными языками. Неистовый революционер, рано испытавший на себе когти царских жандармов, Лопатин нелегально пробрался за границу, чтобы бороться за свободу в отрядах Гарибальди, затем вернулся в Россию, где было много дела для самоотверженных беспокойных душ, жаждущих не эгоистического личного процветания, а счастья для

всего народа. Герман Лопатин был из числа таких исключительных натур. В его груди билось большое сердце, вмещавшее любовь ко всему человечеству.

В России Лопатин был связан с революционно настроенной молодежью, вел переписку с ссыльными, следил за социалистической литературой. Едва «Капитал» появился в Германии, как был приобретен членами «Рублева общества». Тогда-то и возникло у них желание перевести книгу Маркса на русский язык, чтобы сделать ее достоянием наибольшего числа людей. Но в переписку с Марксом Лопатин уже вступить не мог, так как был вскоре арестован и заключен в Петропавловскую крепость, а затем отправлен в ссылку. Письмо в Лондон послал товарищ Лопатина по университету и друг всей его жизни Николай Даниельсон после того, как договорился об издании с Поляковым. Пересылку этого письма взял на себя также близкий в то время Лопатину человек, член «Рублева общества» Любавин. Все эти три человека хорошо знали немецкий язык.

Герману Лопатину удалось бежать из ссылки за границу. Прежде чем, по решению петербургского кружка и просьбе издателя Полякова, отправиться к Марксу, он поехал в Женеву. Лопатин был тягостно поражен распыленностью, сплетнями и личной враждой, которые раздирали отдельные группы русских эмигрантов. Ни дружбы, ни спаянности, ни единой цели, каких искал Лопатин, в среде изгнанников не было.

Швейцария, как и Англия, стала страной, куда со всех сторон мира стекались эмигранты. Много осело на берегах Лемана и русских. Были тут сподвижники Чернышевского, члены разгромленной бунтарской группы «Народная расправа» и другие политические изгнанники. Значительное влияние в эту пору приобрели Бакунин и близкий к нему Сергей Нечаев, который в Женеве начал издавать журнал, развивающий идеи, охарактеризованные Марксом и Энгельсом как «казарменный коммунизм». В свои двадцать два года Нечаев представлял совершенно законченный тип нетерпимого властолюбца, грубого демагога, провозгласившего иезуитский лозунг «цель оправдывает средства». Провокации, подметные письма, шантаж и даже убийство представлялись Нечаеву дозволенными в общественных войнах. Для себя он требовал единовластия и не терпел в своем кружке никакой

критики и возражений. Под видом защиты интересов тайного общества Нечаев в Москве убил студента Иванова. Затем бежал за границу и оказался в Женеве, где нашел поддержку и понимание у Бакунина.

Лопатин прибыл в Швейцарию в тот период, когда царское правительство потребовало выдачи Нечаева, как уголовного преступника. Русские эмигранты попытались противодействовать этому, просили швейцарское правительство не выдавать друга Бакунина.

Лопатин, бывая на собраниях, где русские изгнанники словесно жестоко дрались между собой, окончательно убедился в их беспомощности и негодности для борьбы. Он резко разошелся с анархистами, не поладил с народниками, с которыми его, однако, многое идейно связывало. У большинства своих соотечественников Лопатин не обнаружил ясных и четких позиций и почувствовал себя одиноким и чужим. Тогда-то у него родилась, ставшая затем неотвязной, мысль во что бы то ни стало спасти сосланного в Сибирь Чернышевского для сплочения всех разрозненных и ослабленных распрями русских революционеров, не имеющих достойного, авторитетного руководителя.

Был еще один человек, который мог указать выход из трудного положения. И Лопатин решил направиться в Лондон, надеясь с помощью Маркса рассеять свои сомнения в теории. Но главной целью оставался разговор о переводе «Капитала».

Приближаясь на пароходике к Дувру, Лопатин, обращавший на себя внимание могучим ладным телосложением и красивым одухотворенным лицом, заметно волновался. Он то и дело без нужды снимал и протирал очки, которыми из-за близорукости постоянно пользовался, что, впрочем, нисколько не портило его красивые, серые, простодушные и вместе очень умные глаза.

Имя руководителя Интернационала было уже широко известно, а большие люди всегда внушают некоторую робость. Они являются мерилом для каждого встречающегося с ними человека. Нелегко увидеть самого себя маленьким. Однако Герман Лопатин мог не бояться этой встречи. Он умел думать и немало знал для своих двадцати пяти лет, и главное — хотел обрести неотразимое оружие для борьбы с самодержавием.

Наконец Лопатин добрался до желанной улицы Мейтленд-парк роуд и увидел на стене фонарь с № 1. Перед

ним был двухэтажный серый небольшой дом, за которым находился густой зеленый сад.

Карл Маркс жил очень уединенно. Для этого было немало причин. Творчество и напряженный труд требуют покоя и сосредоточенности. И ничто не приносит столько вреда, как суета, празднословие и случайные ненужные встречи и знакомства. Они как ил, от которого мелеет даже самая глубокая и быстроводная река.

В семье Маркса все боялись пошлости, пересудов и бесцельной потери времени. К тому же автор «Манифеста Коммунистической партии», «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» и «Капитала», глава международного рабочего движения, интересовал полицию нескольких стран. Под разными предлогами к нему старались проникнуть агенты и провокаторы, и поэтому Маркс незнакомых ему людей допускал к себе с большой осторожностью и был весьма осмотрителен. О Лопатине он слыхал немало похвал от Лафарга и принял молодого русского очень приветливо. Лопатин понравился не только Марксу, но и его семье с первой же встречи. Как некогда Поль Лафарг, он стал другом всех обитателей Модена-вилла и очень подружился с веселым подростком Тусси. Она познакомила Лопатина со всеми четвероногими, которых было много в доме и в саду на Мейтленд-парк.

Черноглазая резвая Элеонора была верховным повелителем над собаками, черепахой и ежом. Кошка Томми доставляла особенно много хлопот Ленхен, так как очень часто в доме появлялся новый выводок котят, вносивших невообразимый беспорядок. Они ползали по всем комнатам, подвертывались под ноги, дико визжали и пачкали полы.

Лохматый пес Виски ни на шаг не отходил от своей хозяйки Тусси или лежал у кресла Карла. Он был столь же добр и чуток, сколь громоздок и неуклюж. Пес стал любимцем всех не в пример кошке Томми, которую Маркс называл старой ведьмой. Были в доме еще собаки, приблудшие или подобранные жалостливой Элеонорой: Самбо, Блекки и Дикки, причем последний отличался необыкновенной музыкальностью, и когда Маркс принимался напевать, пес вторил ему низким воем.

— Дикки любит оперные арии и песенки, но терпеть не может свиста, стоит мне начать насвистывать какую-нибудь мелодию, и он, как Лютер при виде дьявола, немед-

ленно поворачивается ко мне хвостом и бежит опрометью,— пошутил Маркс, прогуливаясь с русским гостем по саду.

Как раз в это время к ногам Лопатина подползла большая черепаха.

— Это Джокко,— сказала Элеонора ласково,— умнейшее существо, уверяю вас, хотя склонное к сплину, подобно большинству англичан.

Черепаха высунула крохотную узкую головку и дала себя погладить. Затем степенно уползла в одну из ямок под холмиком.

Маркс был замечательным лингвистом. Как и Энгельс, он легко усваивал иностранные языки. Кроме древних и основных европейских, он знал румынский язык, а в 1869 году принялся за изучение русского.

— Без этого нельзя,— утверждал он,— иностранный язык есть оружие в жизненной борьбе. Нужны люди, которые смогут вести коммунистическую пропаганду среди разных народов.

На книжных полках в кабинете Маркса появилось больше ста русских книг. В записной тетради он отвел несколько страниц под каталог для них. Значительное количество литературы прислал из Петербурга Даниельсон. На полях книг, прочитанных Марксом, оставались пометки, штрихи. Сочинения Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Флеровского особенно часто попадали с полок на столы и кресла, чтобы быть у Маркса под рукой. Он читал их большей частью без словаря.

Когда Герман Лопатин пришел к Марксу впервые, тот уже достаточно свободно владел русской разговорной речью. Это изумило Лопатина, не ожидавшего, что автор «Капитала» так хорошо знаком с книгами русских писателей.

Маркс испытывал молодого русского студента, он задал ему несколько вопросов:

— Глубоко ли пришлось вам изучать политическую экономию?

— Недостаточно, на мой взгляд,— ответил, не задумываясь, Лопатин,— хотя в нашем кружке в Петербурге мы все увлекаемся этим предметом, так же как и философией.

Улыбаясь смущенно, Маркс сказал по-русски:

— Ваш прекрасный поэт Пушкин выказал себя знатоком экономической науки, когда писал о своем герое Онегине:

Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет,
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

Отец Онегина,— продолжал Маркс, снова переходя на английский,— не хотел признать, что товар — деньги. Но другие русские поняли это давно. Достаточно вспомнить о ввозе хлеба в Англию из России в тысяча восемьсот тридцать восьмом — тысяча восемьсот сорок втором годах, да и всю историю торговли вашей страны. Мне пришлось как-то писать об этом.

Во время первой же встречи с Лопатиным и много раз впоследствии Маркс с подчеркнутым уважением отзывался о Чернышевском. Он считал, что из всех современных экономистов именно Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные являются всего лишь простыми компиляторами.

— Несомненно,— отметил Маркс,— его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и единственные из современных произведений в этой науке действительно заслуживают прочтения и изучения.

Маркс негодовал по поводу того, что ни один из русских не позаботился познакомить Европу с столь замечательным мыслителем.

— Политическая смерть Чернышевского — потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы,— неоднократно заявлял он Герману Лопатину.

Отношение Маркса к тому, кого Лопатин считал своим идейным учителем, укрепило в молодом русском борце неотступно преследовавшее его желание предпринять все возможное для освобождения узника. Устройство побега Чернышевскому за границу казалось Лопатину вполне осуществимым делом, и он тщательно продумывал план освобождения автора «Что делать?».

Герман Лопатин, говоря о том, каким должен, по его мнению, быть глава правительства, прочел Марксу отрывок из воззвания Шелгунова «К молодому поколению»:

«Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаева мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье».

Лопатин переводил книгу Маркса с большим воодушевлением и радостью, тем более что мог видеться с автором и пользоваться его советами. Однако переводчик должен был сознаться, что никак не может сладить с первой главой. Тогда Маркс подсказал ему выход из создавшегося творческого тупика: Лопатин занялся второй, более легкой для него главой и, таким образом, постепенно сжился с особенностями языка, манерой изложения и самой темой произведения. Благодаря непосредственному общению с Марксом, переводчик «Капитала» смог передать образность и неповторимый сарказм речи, особенности стиля и революционный взлет мыслей автора. Маркс, знавший уже достаточно русский язык, высоко оценил мастерство перевода.

В Лопатине Маркс увидел задатки большого ученого. Политически Герман был еще незрел. Ошибочность взглядов молодого русского Маркс отметил в первой же их беседе, когда Лопатин, рассказывая о Польше, обрисовал положение, создавшееся в ней, с тем же пренебрежением колонизатора к аборигенам, как это сделал бы англичанин, говоря о делах в Ирландии. Желая подготовить в лице Лопатина теоретически сильного русского революционера, Маркс вовлекал его в широкое русло политической деятельности. Скоро Лопатин стал членом Генерального Совета Интернационала.

Дружба маленькой Элеоноры и Лопатина радовала Маркса и его жену. Молодой русский отличался редкой искренностью, скромностью и вдумчивостью.

Тусси была великим знатоком животных. Она любила их так же нежно, как старшая дочь Маркса, Женнихен, цветы, а другая дочь, Лаура, поэзию.

Поэтому почти все разговоры Лопатина с Тусси велись о ее любимцах.

— Виски талантлив. Этого не отрицает и Мавр, который постоянно берет его с собой на прогулку,—рассказывала девочка Лопатину.— Я не могу сказать этого о Дикки, хотя он обладает великолепным музыкальным чутьем. Собаки, как и люди, бывают умны либо глупы, жизнерадостны или меланхоличны,— продолжала Тусси со всей серьезностью.— Когда Виски переест,— а Ленхен к нему весьма расположена, не то что к кошке Томми, которая снова принесла шесть котят,— и ему нехорошо, я вынуждена ставить ему грелку. Не удивляйтесь, я пользуюсь бутылкой с горячей водой. Пес от этого горд, он польщен и лежит, задрав лапы кверху, много часов подряд, несмотря на то что вода давно остыла и ему очень неудобно. Ему, видите ли, нравится лечиться. Не хотите ли поиграть в мяч с Виски или Самбо? Они великолепно отбивают и подают его, подбрасывая длинной мордой.

Как будто понимая, о чем говорит его хозяйка, Виски подкатил к ногам молодого русского небольшой черный мяч.

— У вас и люди и животные все какие-то особенные,— пошутил Герман.

— Знаете ли, что я делаю, когда ухожу с Виски далеко-далеко, в поля за Хэмпстедскими холмами? — сказала как-то Тусси Лопатину, когда они уселись на маленькой скамеечке у оранжереи.

— Я буду вам очень признателен за доверие.

— Играю сама с собой в перевоплощения. Это замечательно интересно. Я превращаюсь в пилигрима и брожу по Китаю, проникаю к далай-ламе. О нем никто толком ничего не знает, и я могу сочинять что угодно. А племя людоедов ньям-ньям! Его необходимо скорее очеловечить. Знаете ли вы, как красиво озеро Чад в Африке? Там, конечно, есть крокодилы. Не следует говорить о них дурно, когда лезешь в воду,— есть такая поговорка у негров.

— Вы, видно, очень увлекаетесь географией,— заметил Лопатин.

— Нет. Больше литературой. Я люблю изображать Титанию. На свете нет лучшего писателя, нежели Шекспир. Посетили ли вы Стратфорд-он-Эйвон, где он родился? Там есть чудодейственный колодец. Надо шепнуть над ним три своих сокровенных желания, и они сбудутся.— Элеонора умолкла, но ненадолго.— Жаль, что и колодец — только сказка...— Она вздохнула, затем продол-

жала оживленно: — Недавно я читала о великой трагической актрисе Саре Сидонс и пошла посмотреть на ее портрет в Тэт-Галери. Она не очень красива. Когда я стану совсем взрослой, то буду обязательно играть на сцене ее роли. В детстве мне нравилось перевоплощаться в Джейн Грей и, как это было с нею, умирать на плахе. Я бывала Робин Гудом и Спартаком. Не смейтесь надо мной, пожалуйста. Я ведь доверила вам свою тайну. Даже Мавр ее не знает.

— Что вы, Элеонора! То, что вы рассказываете, так неожиданно и так увлекательно. Вы кудесница, мечтательница. Все мы грезим наяву, и это очень хорошо. Мечта мне кажется началом всех великих деяний. Это она погнала Магеллана на поиски сказочно прекрасной Индии, привела шлифовальщика алмазов Спинозу к философским открытиям, даже Мартина Лютера вдохновила на борьбу с папским произволом.

— Мама считает Лютера одним из лучших знатоков немецкого языка.

— Может быть, я его не читал. Но вот о мечтателях скажу, что ими были Коперник, Марат, Гегель, и, уж конечно, великим мечтателем является ваш отец. Он ведь, насколько я знаю, также и поэт.

— Мэмхен бережно хранит все его стихи, но не любит их показывать. А Мавр всегда смеется над своей лирой. Но никто не умеет выдумывать столь замечательных фантастических приключений и историй, как он. Можете мне поверить, он поразительный сказочник! — заявила Элеонора.

Необыкновенная девочка, какой была младшая дочь Маркса, глубоко заинтересовала Лопатина. Они проводили много времени вместе. Нередко Тусси расспрашивала русского о его родине. Далекой своеобразной страной интересовались, впрочем, все без исключения в семье Маркса.

— Верно ли, что народ ваш необычайно покорен и терпеливый? — спросила Лопатина как-то за ужином госпожа Маркс.

— Это привито ему долгим пребыванием в рабстве, но время и просвещение изменят характер наших простолюдинов.

— Вероятно, день, когда невольники получили свободу, был подобен землетрясению? — спросила Тусси.

— О нет, совсем наоборот. Я был еще юношей и случайно оказался в Москве проездом. Никогда не забыть мне того, что я видел.

— Хотелось бы послушать, как все это было воспринято народом. Это произошло в марте тысяча восемьсот шестьдесят первого года? — сказал Маркс.

— Да, и, помню, совпало это событие с шалой русской масленицей.

— С чем, с чем? — переспросили Ленхен и Женни.

Лопатину пришлось объяснить, что это за праздник.

— Было раннее утро,— рассказывал он,— ночные сторожа все еще прохаживались с колотушками, а последние кутилы, сонные и отяжелевшие от плотной еды, вина и цыганских песен, возвращались по домам на тройках и парных выездах. Вдруг услышали мы колокольный звон. С папертей оглашали манифест царя. Я видел, как угрюмо, настороженно слушали его люди в рваных шубенках и кафтанах. Мяли в темных, натруженных руках шапки. Бабы тихо плакали. Это были крепостные, которым даровалась свобода. Только и разговору было у них: «Что-то с нами будет теперь?» А в московских особняках за глухими заборами, где свои дворня, конюшня, псарня, вчерашние рабовладельцы опасались бунтов. Все понимали, что крестьяне ограблены. Только одна надежда была у помещиков на полицию.

— И что же, были восстания тогда? — спросила Женнихен.

— Нет. Подавленные, будто с похорон, возвращались дворовые в свои каморки и людские. «Какая и кому в том выгода, что нас освободили? — раздумывали крестьяне.— Земля как была барская, так и осталась».

— Сколько рабов было в это время в вашей стране? — поинтересовалась Женни.

— Двадцать миллионов, да из них не менее миллиона престарелых и больных. Их ждали голод, нищенство и смерть. Желая оградиться и в дальнейшем от крестьянских беспорядков, кой-кто из предприимчивых помещиков решил создать филантропическую организацию по сбору средств для таких немощных.

— Сперва все отобрать, потом собирать крохи для ограбленных — старая история,— сказала Женнихен.

— Конечно.

— Продолжайте ваш рассказ,— попросил Маркс.

— Все людные места в Москве были в те дни пусты, глухи, даже темны. Бог весть куда подевались все извозчики, лихачи и «ваньки», обыкновенно стоящие тут чуть не у каждого дома, а то снующие по улицам во всех направлениях: только изредка на главных улицах — Тверской да на Кузнецком мосту — попадались кареты, проезжавшие очень быстро, с явной поспешностью; а пешеходов было так мало на улицах и площадях, что просто глазам не верилось.

— Вот как? Странно,— заметила Женни.

— Еще можно было бы и не очень удивиться, что центр города был в ту пору совсем нелюден: на этих улицах и всегда не особенно много встречается простого, черного народа, а притом и торговля здешняя, преимущественно предметами не общего употребления, помещается в больших магазинах и прекращается по вечерам нередко довольно рано. Но поразительны были вдруг охватившие со всех сторон тишина, глушь, пустота и темнота на окраинах и около базаров, в тех именно местах, где сосредоточивается самая разнообразная мелочная торговля, разбросавшаяся напоказ простому люду по неказистым так называемым «заведениям», в балаганах и дрянных лавчонках, а то и просто на подвижных ларях. Там обычно до позднего вечера толпится очень много народу. Но установившиеся в этот день на улицах и площадях московских поистине странные тишь и глушь поразили меня до такой степени, что одно время даже как-то жутко стало. И это в тот самый день, когда объявлен манифест об освобождении всего народа от крепостной неволи! Право, народное возмущение, как бы ни было оно бурно, не произвело бы на меня такого впечатления. Да где же этот освобожденный народ? По какой же это причине спрятался он весь в свои темные норы — спрятался и притаился там, как будто и нет его вовсе?.. Ну как же это: ни одного-таки взрыва восторга! Даже ни малейшего проявления не только радости, но и просто веселого настроения! Как будто бы великое дело уничтожения крепостного права вовсе и не касается этого народа, как будто бы нынче и не ему, этому народу, объявляли, что воля ему дана, освобождение.

— Русский народ проницателен,— сказал Маркс, внимательно слушавший взволнованную речь Лопатина.—

Немало страданий и схваток ждет его еще на пути к действительной свободе.

Дружба Маркса и его семьи с Лопатиным непрерывно крепла. Тем больше поражены были все в Модена-вилла, когда узнали о его внезапном исчезновении из Лондона. В это время более трети перевода «Капитала» было уже им закончено. Надеясь скоро вернуться в Англию, Герман Лопатин отложил на время работу переводчика и уехал в Россию осуществить свой отважный замысел освобождения Чернышевского.

Он не признался в этом даже Марксу, несмотря на всю свою любовь и уважение, так как опасался, что тот сочтет затею безумной и попытается отговорить его. Лопатин никогда не отступал от намеченной цели, как бы безрассудна она ни была в глазах более опытных, здравомыслящих людей. В Женеве с помощью издателя Элпидина он приобрел подложные документы и под видом турецкого подданного Сакича прибыл в Россию. В деревянном сундучке, составлявшем весь его багаж, хранился экземпляр «Капитала» и отдельные листы перевода с немецкого на русский язык. Нелегко было выяснить, где в эту пору находился Чернышевский. Добыв у друзей деньги, паспорта и адреса сибирских явок, Лопатин поехал в Иркутск. Из Петербурга он послал Марксу письмо, желая оправдаться в своем внезапном исчезновении.

«По почтовому штемпелю на этом письме вы увидите,— писал он,— что, несмотря на Ваши дружеские увещевания, я нахожусь в России. Но, если бы Вы знали, что побудило меня к этой поездке, Вы, я уверен, нашли бы мои доводы достаточно основательными».

В том же письме Лопатин сообщил Марксу о предстоящем путешествии.

«Характер моего дела,— писал он в Лондон,— вынуждает меня покинуть в ближайшие дни Петербург и отправиться в глубь страны, где я пробуду, по всей вероятности, три-четыре месяца».

Лопатин поехал в Сибирь с подложным паспортом и документом члена Географического общества Любавина.

Общительный, кипучий характер, врожденное обаяние, находчивость и ум помогали Лопатину преодолевать многочисленные затруднения в дороге. В Иркутске он узнал, где ему искать Чернышевского, но на этом смелое предприятие его окончилось. Неосмотрительная доверчи-

вость Элпидина послужила всему виною. Тот рассказал подосланному в Женеву III Отделением под видом революционера агенту о скором освобождении Чернышевского.

Маркс был крайне встревожен судьбою полюбившегося ему молодого человека, столь таинственно покинувшего Лондон. Он получил известие от друзей из Швейцарии об опасности, угрожающей Лопатину.

В условно составленном письме Маркс писал Даниельсону:

«Наш друг *должен вернуться в Лондон* из своей торговой поездки. Корреспонденты той фирмы, от которой он разъезжает, писали мне из Швейцарии и других мест. Коммерческое предприятие *потерпит крах,* если он отложит свое возвращение, и сам он навсегда потеряет возможность оказывать дальнейшие услуги фирме. Конкуренты фирмы уведомлены о нем, ищут его и заманят его в ловушку своими интригами».

Но было уже поздно. Лопатина схватили «конкуренты фирмы», то есть русская полиция. Он попытался бежать, был, однако, настигнут и засажен в Иркутский острог. Ему удалось оттуда обо всем сообщить Даниельсону и просить друга продолжать работу над «Капиталом», чтобы далее не оттягивался выпуск этой книги в России.

Даниельсон принялся тотчас же за книгу Маркса и быстро ее закончил. Первую главу и приложение, однако, перевел не он, а один из знакомых Лопатина, член «Рублева общества» Николай Любавин.

В дни выхода «Капитала» на русском языке Лопатин все еще находился под надзором, и хотя он был основным переводчиком книги, указать его имя на обложке не представлялось возможным. Сам Лопатин настаивал на скорейшем издании книги.

Маркс очень обрадовался «Капиталу», изданному на русском языке. Этот день был отмечен как большое торжество в Модена-вилла.

«Прежде всего,— писал он Даниельсону,— большое спасибо за прекрасно переплетенный экземпляр. Перевод сделан *мастерски*».

Великий труд Маркса стал учебником социалистов многих стран. И в одной из резолюций Брюссельского конгресса Интернационала было сказано, что эта книга

Маркса рекомендуется всем секциям как «библия рабочего класса».

Но первенство издания гениального творения Карла Маркса на иностранном языке принадлежит России.

С конца шестидесятых годов у творца «Капитала» и вождя Интернационала постоянно бывали многие русские. Одним из близких и особо ценимых Марксом людей стал петербуржец Александр Александрович Серно-Соловьевич. Он, как и его трагически погибший в 1865 году брат Николай, посвятил всю жизнь революционному движению. Братья Серно-Соловьевичи прожили каждый не многим более тридцати лет. Николай и Александр выросли в дворянской семье и рано под влиянием идей Чернышевского, Добролюбова и Герцена принялись за поиски высокой цели в жизни и «разумной работы». Они любили родину, и девизом их было: «Верим в силы России и ее будущность».

Николай Серно-Соловьевич был осужден «на гражданскую казнь» как участник «подземного общества», как тогда говорили о подпольщиках, «Земля и воля». После обряда казни на Мытнинской площади в Петербурге он в кандалах пошел в Сибирь, откуда рассчитывал бежать за границу, но в пути его зверски избил конвойный, и он скончался в Иркутской острожной больнице. Это был богатырь не только телом, но и душой. Умнейший конспиратор, он вместе с Чернышевским и другими открыл Шахматный клуб, где за игрой велись секретные и важные беседы. Оба брата занимались книжным делом — на магазин и издательство они израсходовали не только свое состояние, но и состояние родственников. И долго купцу первой гильдии Николаю Александровичу Серно-Соловьевичу, деятельному члену Русского географического общества и политико-экономического комитета, удавалось успешно распространять в России запрещенные «Колокол» и «Общее вече». Убеждения выдающегося подпольщика и революционера не шли, однако, дальше того, чему учил Чернышевский и народники: «крестьянская община — ядро будущего социалистического общества». Таково было и общество «Земля и воля», членом Центрального комитета которого был Николай Александрович.

Младшего Серно-Соловьевича — Александра — от участи брата спасло изгнание. Он тоже принимал живей-

шее участие в тайном обществе «Земля и воля» и был членом ее Центрального комитета. Александр Александрович внешне и внутренне несколько отличался от покойного брата. Он был более замкнут, менее уравновешен, физически не столь силен. В больших, внимательно смотревших на собеседника глазах отражалось неуловимое беспокойство, а подчас и печаль. Лицо его было всегда очень бледным. Красивые большие губы под тонкими, остриженными «треугольником», темными усами часто подергивались. Он был повышенно чувствителен, легко раним. Александр жил спартанцем, ограничивая свои потребности и отдавая себя и все, что имел, делу борьбы за бесправных и обездоленных.

Одно время Серно-Соловьевич редактировал швейцарскую газету «Равенство», которая стала вскоре органом романских секций Интернационала. Он рьяно занимался созданием социал-демократической рабочей партии Швейцарии. Под его руководством она впервые в истории страны вышла в 1868 году на парламентские выборы со своей особой избирательной программой.

В 1867 году из Италии в Швейцарию переселился Бакунин. По Женеве разнеслась о нем, отчасти им самим раздуваемая, слава героического революционера, победившего стойкостью и отвагой саксонских, австрийских и российских деспотов. История его побега из Сибири переходила из уст в уста. Внешность Бакунина, особенно его огромный рост, проникновенный голос, цветистая речь произвели очень сильное впечатление на неискушенных в политике и часто слабых в теории молодых русских эмигрантов. Но Александр Александрович не поддался стадному чувству поклонения, охватившему многих его сверстников. Он сразу же увидел, как властолюбив, склонен к интригам новоявленный пророк анархии. Даже вид Бакунина показался Серно-Соловьевичу неприятным. Беспокойные глаза никогда не смотрели прямо на собеседника, а прятались под опухшими веками и за стеклами очков. Идеи Бакунина совершенно расходились с теми, которые отстаивал Александр Серно-Соловьевич. Основные их расхождения были по вопросу об отношении рабочих к политической борьбе. Бакунин проповедовал теорию «политического воздержания», соратник же Чернышевского, член Центрального комитета «Земли и воли», отвергал эти взгляды, как тормоз революционного движе-

ния. Он понимал, что, создав политическую партию, рабочий класс может добиться улучшения своего положения. Еще менее соглашался он с бакунинской пропагандой необходимости немедленной социальной революции.

Серно-Соловьевич был членом Интернационала и принимал живейшее участие в работе романских секций. Человек неукротимой энергии, не щадивший себя для дела, он, случалось, спал в течение суток всего два-три часа и восклицал с горечью, что ему не хватает времени, чтобы выполнить хоть часть задуманного.

В одном из своих весьма характерных памфлетов, споря с буржуа, который изустно и в печати клялся в любви к рабочим, Александр Александрович писал: «Что значит: я люблю рабочих? Любите ли вы их, как любят капусту, ветчину, больше или меньше? Что вы толкуете нам о любви? Пожалуйста, оставьте эти выражения ваших чувств! Любите себя, жену, детей и т. д.,— все это очень хорошо, но чего требует рабочий от вас и подобных вам? Только должного и даже менее того. Обогащаясь за счет его труда, по крайней мере, избавьте его от вашего сочувствия».

Маркс высоко ценил Серно-Соловьевича, переписывался с ним и ему, единственному русскому, подарил в декабре 1867 года экземпляр первого тома «Капитала».

Последние годы жизни Александр Александрович отстранился от участия в русских эмигрантских делах, так как всецело отдался работе в Международном Товариществе Рабочих. Он говорил одному из своих друзей:

— Меня мучает, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей, но мое одиночное мщение было бы недостаточно и бессильно. Работая здесь в общем деле, мы отомстим этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения всего этого порядка повсюду, повсеместно.

Работа в Международном Товариществе всегда казалась Серно-Соловьевичу служением не только всему рабочему движению, но и делу освобождения родины от царского ига.

Борьба с Бакуниным и его приверженцами становилась все более тяжелой для Серно-Соловьевича. В то же время ему выпало на долю много иных неудач и разочарований: женевские рабочие проявили недостаточную твердость во время вспыхнувшей стачки, которой он руководил; созданная им социал-демократическая партия

Швейцарии провалилась на выборах; его газета подвергалась зверской травле анархистов, приобретавших большое влияние среди местного пролетариата. Испытания сломили его. Из-за непрекращающихся потрясений усилиласьдушевная болезнь, которой он был подвержен. Узнав от врача о якобы безнадежном своем положении и не желая очутиться в страшном мраке подступающего безумья, он покончил жизнь самоубийством тридцати одного года от роду.

Дружба между всеми членами семьи Маркса смягчала трудности жизни и материальные лишения. Невозможно определить, какая из трех дочерей Карла и Женни могла бы считаться лучшей,— так богаты и цельны были их души. Это были не только преданные, любящие родителей дети, но и их верные друзья и единомышленники.

Желая хоть чем-нибудь помочь родным, Женнихен поступила домашней учительницей в зажиточную шотландскую семью. Тринадцатилетняя Элеонора училась, много читала и резвилась в свободные часы вместе с своей многочисленной четвероногой командой.

Любовь Поля и Лауры росла с каждым днем. Тот, кто любит, всегда способен понять душу другого человека, поглощенного тем же всесильным чувством. Отныне Лауре до конца открылось сердце ее матери, захваченное на всю жизнь одной страстью. В конце 1868 года молодые Лафарги переехали во Францию. Приближавшееся материнство умиротворяло молодую женщину и вместе пугало ее. Но Лафарг — сильный, целеустремленный, вдохновенный — умел успокоить жену и развеселить ее. Вместе с Лаурой он принялся за перевод «Коммунистического манифеста» на французский язык. В свободное время Лаура занималась хозяйством. Она отлично стряпала и шила крошечные распашонки и чепчики для будущего ребенка.

Первого января нового, 1869 года Карл и Женни узнали о рождении внука. Лафарги назвали новорожденного мальчика Этьеном, но скоро за ним прочно утвердилось прозвище Шнапсик.

Маркс непрерывно посещал Британский музей и много работал. В свободные часы с большим свернутым черным зонтом в руке на случай дождя он отправлялся в сопровождении постаревшего пса Виски в Хэмпстед-хис. По дороге нередко Маркс заходил к кому-нибудь из ста-

рых знакомых рабочих, чтобы послушать их мнение о злободневных делах. Эккариус и Лесснер, соратники Карла со времен создания Союза коммунистов, чаще других были его попутчиками в таких прогулках. Седой, сутулый портной Лесснер не скрывал удовольствия, когда слушал Маркса. Изредка и он вставлял меткое словцо или принимался рассказывать о своих делах и наблюдениях. Его заветной мечтой было добиться восьмичасового рабочего дня для всех трудящихся.

И Лесснер и Эккариус, случалось, очень нуждались в деньгах, и, сам крайне стесненный материально, Маркс делился с ними последними крохами.

— Как было не помочь,— объяснял он грустно Энгельсу,— у Лесснера умерла жена, бедняга запутался в долгах, а Эккариуса чуть не выбросили за неуплату из квартиры. У старика, когда он пришел ко мне, на глазах были слезы. Рабочий Дюпон, самый дельный из здешних людей, сидит давно без работы. Он так скромен, что никогда без самой крайней нужды не занимает денег. В общей сложности я роздал четырнадцать фунтов.

В семье Маркса всех интересовали далекие страны, волнующие маловедомой, сложной древней культурой. Все, что печаталось об Индии и Китае, жадно прочитывалось не только Марксом, но и его женой и дочерьми. Прозвищем Женнихен было Кви-Кви — император Китая, а Тусси Кво-Кво — китайский принц. Благодаря Энгельсу, связанному с Индией торговыми делами, девушки постоянно слышали о Калькутте и Дели. Они стремились в сказочно-увлекательные путешествия по южным морям. Особенно тревожил воображение впечатлительного подростка Тусси неповторимый, далекий Китай. В Манчестере она познакомилась у Энгельса с купцами, подолгу жившими в Срединной империи.

Часто, уединившись с Ленхен в просторной, чистой кухне, Элеонора принималась рассказывать о стране, где все так необычно: мужчины носят халаты, а женщины — узенькие брючки; ноги и грудь женщины бинтуются с малолетства, а символом красоты считается лотос; где дети играют гробиками и народ преодолел страх смерти.

— Представь себе, в Китае существуют не писаные, а звуковые вывески. Бродячие торговцы и ремесленники установили для своих цехов звуковую рекламу. Вот, ска-

жем, сижу я так же на табурете, ты стоишь у плиты, а за окном раздается напев фруктовщика...

— Это было бы кстати. Нет яблок для штруделя,— заметила Ленхен.

— Шипит водовоз, продавец игрушек несет свой товар в ведрах на коромысле и громко насвистывает, в руках парикмахера не унимается трещотка, а слесарь звонит в колокольчик.

— Экий шум там, однако.

— Да, у китайских улиц, как у моря и леса, свой голос,— мечтательно заключила девочка.

Тусси была всегда желанным гостем в манчестерском Морингтон-паласе, где поселился Энгельс с женой и ее племянницей малюткой Мари Эллен, толстушкой, прозванной Пумпс.

В этом доме, который был ей дорог так же, как и родительский, Тусси имела много четвероногих друзей. Любимцем ее и Энгельса стал большой весьма разумный и добродушный Дидо, ирландский рыжий терьер с квадратной бородатой мордой и горящими глазами. Он постоянно сопутствовал своему хозяину в пеших и верховых прогулках. С Тусси у Дидо установились самые короткие приятельские отношения, которые пес выражал неутомимым вилянием хвоста и радостным визгом. Он, так же как и Виски, умел играть в мяч, отбивая его носом, и часто заменял пони, разрешая запрячь себя в колясочку Мари Эллен.

В Манчестере Тусси чувствовала себя полноправной хозяйкой дома. Ее нежно любила и баловала Лиззи, которой девочка помогала в рукоделии, хозяйстве и приеме гостей. Четырнадцатилетняя Тусси была особенно горда тем, что давала маленькой Пумпс первые уроки немецкого языка. Она беспечно носилась по всем комнатам и только в кабинет Энгельса входила не без робости. Там, в святая святых дома, царил ошеломляющий порядок. Каждая вещь, включая тряпочку для чистки перьев, имела строго определенное ей место, и горе было тому, кто это нарушал,— всегда спокойный, мягкий в обращении Энгельс становился тогда мрачным и суровым. От волнения он начинал заикаться и с трудом усмирял в себе начинающуюся бурю. Книги и бумаги, лежавшие стопка-

ми, также были будто прикованы к столу, и домочадцы никогда не прикасались к ним.

Как-то в самом конце июня Энгельс позвал Тусси к себе. Она вошла с книгой сербских песен на немецком языке, которую читала. Осмотрев кабинет слегка насмешливым взглядом, девочка выпятила полные губы и сказала:

— У тебя, дядя Энгельс, в кабинете очень скучно и вещи так же аккуратно разложены, как в шкафу у педантичной старой девы.

Энгельс залился по-детски чистым смехом. Только Маркс мог соперничать с ним в врожденном искусстве чистосердечно смеяться и находить в этом душевную разрядку. Смех обоих друзей заражал окружающих и был радостен, будто гимн бытию.

Посмеявшись вдоволь, Энгельс сказал:

— Ого! Разница, однако, в том, что сложенное в шкафу приданое ей не пригодится, а здесь все, что видишь, находится в непрерывном действии. К тому же я слишком стар, чтобы приобретать новые привычки. Кстати, вот два письма для мисс Элеоноры от Мавра,— продолжал он и протянул их девочке.

Тусси, усевшись в кресло, погрузилась в чтение. Вдруг она снова услыхала, что Энгельс хохочет над письмом Маркса.

— Черт возьми! Карл снова раскопал кое-что у Ларошфуко. Послушай-ка, Кво-Кво: «У нас у всех достаточно сил, чтобы перенести чужое несчастье». Это ли не истина? Или вот еще: «Старики потому так любят давать хорошие советы, что они уже не могут подавать дурные примеры». Отлично сказано. А вот еще: «Когда пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы покинули их».

— Мавр — подлинный кудесник. Не зря он сам часто называет себя Лешим. Что еще сообщает он смешное?

— Изволь: «Короли поступают с людьми, как с монетами; они назначают им цену по своему произволу, и их приходится расценивать по назначенному курсу, а не по действительной стоимости». Умен был старый француз. «Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас, но мы никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами».

Еще одно изречение, приведенное в письме, Энгельс, сочтя неподходящим для Тусси, прочел про себя: «Любов-

ники только потому никогда не скучают друг с другом, что они всегда говорят о себе».

— Знаешь, Туссихен,— сказал Энгельс, отложив чтение,— никто не может себе представить, как часто, несмотря на то что не всегда нам с Мавром жилось сладко, мы искренне веселились в письмах. Если бы ты знала, сколько шуток запечатлено в нашей эпистолярной продукции за двадцать пять лет.— Энгельс достал ящик, в который обычно складывал письма друга. В нем было несколько десятков тщательно перевязанных пачек. Тусси подошла к креслу Энгельса и заглянула через его плечо. На столе лежал только что полученный листок почтовой бумаги. Она узнала дорогой ей, непостижимый, острый, как зигзаги молнии, почерк отца. Рядом лежал ответ Энгельса, написанный четкими, красивыми, мелкими буквами.

Тусси перевела глаза на настольный календарь. Был канун первого июля.

— Завтра, не правда ли? — шепнула Элеонора.

— Да, карлик Альберих. Завтра великий день.

— Мы устроим большой праздник. Ведь ты ждал этого двадцать лет.

— Конечно, беби. Я расстаюсь навсегда с проклятым божком коммерции Меркурием. Я наконец свободен. Ура! Ура!

Энгельс встал с чисто юношеской резвостью с кресла и подхватил Тусси на руки, как делал это, когда она была совсем маленькой. Затем он устремился в соседнюю комнату и закружил Лиззи.

— Да здравствует свобода! Ура!

Около двадцати лет Энгельс был впряжен в ненавистное ему ярмо коммерции. Как часто подавлял он чувство, граничащее с отчаяньем, оттого что вынужден отслуживать долгие часы в конторе за томительными подсчетами, подведением баланса, ходить постоянно на биржу, общаться с чуждыми людьми, терять невозвратимые часы, которые хотелось бы использовать совсем иначе. И только мысль о друге и его семье, понимание, что без его денежной поддержки их ждет гибель, а человечество лишится гениальных творений, открытий, давали ему силу и укрепляли волю. Укрощая себя, Энгельс снова отправлялся в контору. А годы, молодость прошли, подступила старость. И вот настало освобождение.

На следующий день Энгельс поднялся, как всегда, очень рано. Выражение его лица было просветленное, блаженное.

— В последний раз! В последний раз! — возгласил он, натягивая высокие сапоги, чтобы в последний раз отправиться в контору. Лиззи не могла скрыть своей радости и обняла мужа.

Спустя несколько часов она и Тусси вышли к воротам, чтобы встретить «коммерсанта в отставке», как в этот день говорили в Морингтон-паласе. Энгельс шел, размахивая приветственно тростью над головой, и громко пел бравурную немецкую песню.

До поздней ночи не затихали шутки и смех. Лиззи убрала по-праздничному стол, и в честь «бегства из египетского пленения», как Маркс назвал совершившееся событие в жизни друга, распили не одну бутылку шампанского. Когда пир был окончен, Энгельс уединился в кабинете, чтобы подробно сообщить своей матери Элизе обо всех делах по передаче конторы компаньону.

«Моя новая свобода,— писал он между прочим,— мне чрезвычайно нравится. Со вчерашнего дня я стал совсем другим человеком и помолодел лет на десять. Вместо того чтобы пойти в мрачный город, я бродил сегодня утром в эту чудесную погоду несколько часов по полям. За моим письменным столом в комфортабельно обставленной комнате, где можно открыть окно, не боясь, что повсюду черными пятнами осядет копоть, с цветами, стоящими на окнах, и несколькими деревьями перед домом, работается совсем иначе, чем в моей мрачной комнате на складе с видом на двор. Я живу в десяти минутах ходьбы от клуба... В 5 или 6 часов вечера я обедаю дома, кухня очень хороша, а затем большей частью ухожу на несколько часов в клуб читать газеты и т. д. Но все это я смогу организовать как следует лишь тогда, когда мне не нужно будет больше бегать в город из-за баланса и пр.

Сердечно любящий тебя сын

Фридрих».

В том же году Энгельс с женой и Тусси поехал в Ирландию. Его дорожные рассказы о стране, прозванной «Ниобеей наций», согласно древнему мифу о несчастной матери, потерявшей своих детей, остались в памяти млад-

шей дочери Маркса на всю жизнь. В путешествии Фридрих Энгельс всегда был чрезвычайно вынослив, бодр и заражал окружающих юношеской энергией и умением радоваться жизни. Хотя он приближался к пятидесяти годам, в его каштановых волосах и густой окладистой непокорной бороде не было ни одного седого волоса, и лицо без морщин сохранило краски ранней молодости. Он был неутомим в каждом деле, за которое брался, и постоянно углублял свои познания в естествознании, химии, ботанике, физике, политической экономии и военных науках. Филология была его страстью; он знал двадцать языков, и из них двенадцать в совершенстве.

Со времени ухода от коммерции ничто не удерживало Энгельса в Манчестере. Он начал деятельно готовиться к переезду в Лондон, поближе к любимому другу и его семье. Давно уже Маркс и Энгельс мечтали о возможности жить в одном городе. Женни Маркс энергично приискивала в Лондоне квартиру, которая понравилась бы Фридриху и Лиззи и находилась поблизости от Мейтленд-парк.

Тысяча восемьсот шестьдесят девятый год оказался для Маркса необычно разнообразным. Он ездил не только гостить в Манчестер, но побывал несколько раз на континенте. В Париже у Лафаргов Маркс поселился под именем А. Уильямса. За ним следила полиция. Один из самых последовательных упорнейших врагов Луи Бонапарта мог поплатиться свободой, а то и жизнью, если бы его обнаружили во Франции. Тем не менее Маркс ступил на землю императора. Снова был он в городе, который всегда любил. На улице Ванно тот же пыльный каштан сторожил дом, где провели Карл и Женни незабываемый счастливый год. Там родился их первенец — Женнихен — и столько раз вдохновенный Гейне читал свои только что написанные стихи. Как давно это было!

Глядя на своего первого внука, Маркс как бы заново измерял ушедшее время. Он часто брал ребенка на руки, не пропускал торжественных часов купания и кормления Шнапсика. Когда ребенок лежал распеленатый и ножонкой тянулся к подбородку, безмятежно улыбаясь и раскрывая беззубый рот, Маркс чувствовал, как нежность теплым ветром обвевает его голову. Он думал о своем

умершем сыне Муше. Тоска по нем не уменьшилась с годами. Тем сильнее он любил внука. Если Шнапсик принимался плакать, дед умел его успокоить.

— Ты чародей, Мавр,— удивлялась Лаура,— можешь смело сказать о себе: «Не мешайте детям приходить ко мне, я их люблю и понимаю».

— Я уважаю в детях наше будущее и всегда пропускаю их вперед, даже когда они еще в колыбели,— мягко ответил ей отец.— Как, однако, стремительно пронеслись годы, сделавшие меня дедушкой,— добавил он раздумчиво.

Вечерами, в сопровождении дочери и зятя, Маркс долго гулял по столице. Было жарко и пыльно. На узеньких улочках вокруг Сен-Жерменского предместья воздух поражал зловонием. Только на бульварах у Сены, начиная с фасада Лувра, все резко изменилось.

— Барон Осман заметно перекроил Париж, османизировал его изрядно,— шутил Маркс, глядя на прямые, широкие улицы.— Постарел я, что ли, но мне кажется, что за минувшие годы француженки все до одной подурнели.— Заметив ярко размалеванные портреты императора и его супруги Евгении, выставленные в витринах лавок, он добавил, смеясь: — Наполеон Первый, говорили, имел гений, а его мнимый племянник только Евгению.

В Париже Маркс надеялся повидаться с Огюстом Бланки, этим несокрушимым, вечно действующим вулканическим революционером, но тот после многолетнего заключения, преследуемый французской полицией, тайком покинул Францию и поселился в Брюсселе, откуда направлял борьбу своей рати с империей.

Дождавшись, когда Лаура с малюткой сыном отправилась на берег моря, Маркс и Женнихен поехали в Зигбург, где их с нетерпеньем поджидал Иосиф Дицген. Уже несколько лет его соединяла с Марксом оживленная переписка. Теперь они встретились впервые и обнялись как братья.

Каждый составил себе уже по письмам вполне правильное мнение о другом. Дицген чтил в Марксе гения, который был для него непререкаемым авторитетом в вопросах теории и борьбы. Однако глубоко честный по натуре самородок, рабочий остался чужд экзальтированному восхищению и потребности создать себе божка, чтобы поклоняться ему. Дицген был полной противоположностью

врачу Кугельману, который искал для себя некий сверхчеловеческий идеал, чтобы, обожествляя его, одновременно подняться в собственном мнении и сделаться главным жрецом при своем божестве. Есть идолопоклонники, склонные, по рабской своей сущности, к созданию земных богов. Не авторитеты нужны им, а кумиры, которых они сами лепят, а потом по надобности легко и разрушают.

Иосиф Дицген, как и Маркс, отличался суровой правдивостью. Ему претила всякая слащавость и деланность во взаимоотношениях с кем-либо. Маркс пытливо всматривался в этого необыкновенного самоучку.

«Да ведь это истый философ, мыслитель»,— думал он.

Как некогда Вейтлинг, потом Эккариус и другие, Дицген вызывал в вожде Интернационала чувство законной гордости за пролетариат, выдвинувший столь одаренных людей. Редко кто умел так радоваться достижениям и удачам своих соратников и учеников, как Маркс. Он вырастил уже плеяду теоретиков и отважных борцов из самих рабочих и считал это делом важным и срочным.

Несколько дней, проведенных в семье Дицгена, прошли быстро, в оживленнейших разговорах и спорах. Круг интересов собеседников был очень широк и включал историю философии, экономическое учение Маркса, вопросы политики и тактики Международного Товарищества и прежде всего применительно к немецкому революционному движению. С первых дней возвращения на родину Дицген стал одним из последовательнейших проводников учения Маркса и Энгельса среди рабочих и ремесленников. Пренебрегши материальной выгодой, Дицген покинул Россию ради социал-демократической деятельности на родине.

Общность мировоззрения и единые цели крепко спаяли кожевника Дицгена с вождем Интернационала. Однако, обсуждая что-либо, особенно только что законченную книгу Дицгена «Сущность головной работы человека», они часто горячо возражали друг другу. Громкоголосые, как все рейнландцы, легко вспыхивающие, они поднимали такой шум, что в комнату вбегала Женнихен или кто-либо из женщин семьи Дицгена. Однако так же внезапно, как начинался, спор вскоре обрывался, и беседа переходила на более спокойные тона, сопровождаясь шутками и взрывами смеха. Маркс дал немало решающих советов и указаний Дицгену по всем вопросам философии и поли-

тики. Он помог ему овладеть методом диалектического материализма и додумать до конца идеи, поднятые в его книге. Не раз поверял Дицген Марксу сомнения в собственных силах.

— Мне недостает систематически полученных знаний,— говорил он своему высокочтимому другу.— Я не кончал ни одной школы и постоянно страдаю оттого, что не уверен, имею ли право судить без солидной научной подготовки о «Критике чистого разума» или «Логике». Правда, свободный от всего побочного и школьных догм, я усвоил практически то, чему учили Аристотель, Кант, Фихте, Гегель, Фейербах, а главное, понял ваши труды. Ведь мышление невозможно без соприкосновения с жизнью, иначе это только блуждание в темных дебрях схоластики. Мышление не привилегия профессоров. Мы, рабочие, должны жить также и своим умом, чтобы наши недруги, пользуясь духовным преимуществом, не эксплуатировали нас во всех отношениях, в том числе и материально. Об этом я писал также и в рецензии на вашу великую книгу «Капитал».

— Что ж, слушая вас, я могу смело сказать: пролетариат одолеет все и постигнет одну из наибольших радостей бытия — теоретическое мышление.

— Признаюсь, я не перестаю дивиться тому, с какой щедростью и легкостью вы отдаете всем людям лучшее из того, что добыл ваш мозг,— заметил Дицген.

— Все, что я отдаю, обогащает меня,— раздумчиво сказал Маркс.— То, что мы дарим другим, возвращается к нам сторицею.

— Истина, глубочайшая философская правда! — воскликнул кожевник.

Прощаясь с Марксом, растроганный Дицген долго не выпускал из своей его руку.

— Я по-прежнему льщу себя надеждой, что смогу содействовать продвижению в народ тех научных сокровищ, которые вы сделали общим достоянием.

После недолгого визита к двоюродному брату в Аахен, поездки по издательским делам к Мейснеру в Гамбург Маркс с дочерью Женни наконец прибыл к Кугельманам.

Ганноверские друзья окружили Карла и Женнихен дружеской заботой. Приветливая, превосходно воспитанная, тактичная Женнихен тотчас же завоевала сердца Гертруды и Френцхен. Кугельман, как всегда, шумно вы-

ражал свое преклонение перед Марксом. В его отношении к автору «Капитала» была примесь опасной экзальтации, которая подобна бурлящей пене над пивом. Внезапно взметнувшись вверх, она так же быстро исчезает, и тогда обнаруживается не доверху налитая кружка.

В доме, принадлежавшем восторженному врачу, в одной из парадных комнат о пяти окнах, в которой обычно принимали гостей, были расставлены вдоль стен на постаментах и колонках гипсовые бюсты различных греческих богов. Кугельман то и дело надоедал Марксу утверждением, что Карл точь-в-точь похож на Зевса.

— Обратите внимание,— приставал он к Женнихен, видя, что Маркс его не слушает,— у обоих могучее чело и голова с копной курчавых волос. На лбу вертикальные складки мыслителя, а выражение лиц в одно и то же время повелительное и добродушное. Я нахожу также у Маркса,— добавлял он многозначительно,— жизнеутверждающее спокойствие души, которое воспел у обитателей Олимпа великий слепец Гомер. Таким людям чужды рассеянность и завихрения.— Красноречивый врач погружался в глубокомысленное созерцание голов Зевса и Маркса.

— Классические боги — символ вечного покоя, лишенного страсти,— продолжал он убежденно.— Не правда ли, Мавр?

— Вы не правы,— ответил тот, не задумываясь,— они символ вечной страсти, чуждой покоя.

Когда к Марксу приходили товарищи по партийной или политической работе, Кугельман принимался ворчать. Он хотел, чтобы, подобно античным богам, Маркс был недоступен людям, метал молнии и громовые стрелы на бумаге, а не занимался тем, что ганноверскому врачу казалось всего лишь земной суетой, не стоящей траты времени. Маркс вежливо, но решительно прекращал сетования Кугельмана и продолжал общаться с самыми различными людьми. Его посетила депутация Всеобщего германского рабочего союза металлистов, и более часа продолжалась их оживленная беседа. Маркс рассказал делегатам о подлинном значении профсоюзов и высказался против принципов организации рабочих объединений, проводимых Швейцером и его партией. Спустя несколько дней к вождю Интернационала пришли члены Центрального комитета Социал-демократической рабочей партии Германии.

Разговор между ними был резким и не исчерпал разногласий.

В зале у Кугельманов, прозванном «Олимпом», устраивались часто концерты, в которых участвовали местные певцы и музыканты, а также Женнихен. Она прочла монолог леди Макбет. Незадолго до того она выступала в той же роли в одном из лондонских театров. Полученные за это деньги Женнихен потратила тогда на покупку бархата для Ленхен, не имевшей теплого пальто.

Случалось, по вечерам Маркс читал семье Кугельманов наизусть отрывки из греческих классиков, Шекспира, Гете, Шамиссо, Рюккерта. Беседуя о литературе, он метко судил о своих любимцах — Кальдероне, Филдинге, Бальзаке, Тургеневе, который, по его мнению, верно понял своеобразие русского народа, восхищался описаниями природы у Лермонтова. О чем только не говорили! Маркс как-то весьма юмористически описал бывшее с ним происшествие, когда его чуть не задержали и не препроводили в полицию по подозрению в краже. Он пытался сдать в ломбард под залог фамильное серебро жены, на котором был баронский герб и монограмма фон Вестфаленов. Только вмешательство Женни разъяснило это грустное недоразумение.

Женнихен привезла с собой «Книгу признаний», и многие из новых знакомых и друзей ответили на ее вопросы. Маленькой Френцхен больше всех иных нравились шуточные признания Елены Демут, которые девочка многократно перечитывала и повторяла.

— Как это верно,— повторяла следом за дочерью Гертруда Кугельман,— что тому, кто постоянно возится с кастрюлями, счастьем кажется «съесть обед, который я не готовила». Так, кажется, пишет ваша Ленхен?

На вопрос, какое ваше любимое занятие, Елена отвечала: «Строить воздушные замки». Любимым героем ее был — кофейник, а героиней — самая большая сковорода.

Девизом своим Елена Демут объявила: «Живи и жить давай другим».

Личностью наиболее неприятной казался ей Лассаль, чей черствый эгоизм, скупость и обжорство навсегда запомнились Ленхен.

Дни в Ганновере, прозванные Марксом «оазисом в пустыне», пронеслись быстро. В октябре он уже снова был в Лондоне. Из России Николай Францевич Даниель-

сон прислал ему к этому времени «Положение рабочего класса в России» Флеровского.

Случалось, что в английской и немецкой прессе появлялись злобные отзывы на «Капитал», которые смешили Маркса и его друзей, но неизменно сердили Елену Демут. Она яростно ополчалась на всех, кто осмеливался непочтительно говорить или писать о Марксе.

Прусская бульварная печать изрыгала в пароксизме бешенства и бессилия ядовитый фонтан лжи в адрес вождя Интернационала, чей могучий ум теоретика и бойца был признан уже во многих странах:

«Политический преступник, беглый бунтовщик, красный разбойник из Трира Карл Маркс, укрывшись в Лондоне, терроризирует своей книгой все слои низших классов».

Однако и противники «Капитала» скрепя сердце вынуждены были признавать всю внутреннюю силу и пламень, заложенные в этом великом труде.

Журнал «Субботнее ревю», снабжавший отставных клерков и местных торговцев постным, нравоучительным, богобоязненным недельным чтивом, писал в обзоре новых немецких книг о труде Маркса: «Как бы ни были зловредны взгляды автора, нельзя все же не признать убедительности его логики, силу его красноречия и своеобразную прелесть, которую он сообщает самым сухим проблемам политической экономии».

Наступил последний день 1869 года. Отрывая листик календаря, Маркс задумался.

В памяти всплыли наиболее важные дела последнего месяца: сбор денег для Золингенского производственного товарищества, составление письма, предназначенного лорду Личфилду. В нем Маркс развил свой взгляд на отмену частной земельной собственности и историческую необходимость ее национализации. Написал он и резолюцию о фениях председателю Ирландской ассоциации рабочих. Неоднократно говорил с трибуны о событиях в Ирландии, подготовил контрнаступление против подрывной работы Бакунина в Интернационале и послал об этом подробное сообщение в Брюссель своему единомышленнику де Папу для доклада Брюссельскому комитету Международного Товарищества. Ходатайствовал перед Генеральным Советом об организации сбора денег в пользу бастующих горнорабочих Вальденбурга. Написал статью для газеты, вы-

ступал на праздничном рождественском вечере в Рабочем просветительном обществе немецких изгнанников. Отредактировал составленный Эккариусом отчет о Базельском конгрессе.

Вспоминая события прошедшего месяца, Карл мысленно присоединил к этому множество прочтенных и проработанных книг, занятия русским языком, написанные заново страницы следующих глав «Капитала».

Маркс много писал об ирландских делах. Он увидел, что из-за безработицы Ирландия выбрасывает на английский рабочий рынок избыток своего населения и этим снижает заработную плату английского труженика. Между работниками ирландцем и англичанином начинается борьба за труд, за кусок хлеба, приводящая к взаимной ненависти и раздорам. Английский пролетарий озлобляется, считая ирландца конкурентом, и противопоставляет ему себя как представителя господствующей нации. Ирландец ярится на англичанина, считая его врагом и орудием порабощения своей родины. Это зло перекинулось и в Америку, куда потянулись согнанные с родных земель бедняки из разоренной Ирландии.

Интернационал, по мнению Маркса и Энгельса, должен повсюду открыто отстаивать права Ирландии, а обязанностью Генерального Совета было пробуждение в английском пролетариате сознания, что национальное освобождение Ирландии не только дело отвлеченной справедливости и человечности, но первое условие его собственного социального освобождения.

Бурный подъем революционной борьбы ирландского народа за свою независимость, широкое движение за амнистию заключенных фениев заставили Маркса вплотную заняться вопросом, которому он придавал огромное теоретическое и практическое значение. Учтя соотношение сил в самой Англии и революционные возможности ирландского освободительного движения, Маркс заново пересмотрел все, что думал о положении в Ирландии.

Если раньше он полагал, что рабочее движение угнетающей английской нации принесет свободу Ирландии, то теперь пришел к выводу, что национальное освобождение «Зеленого острова» должно послужить предварительным условием освобождения английского рабочего класса.

Маркс с гениальной проницательностью вскрыл заинтересованность не только ирландского, но и английского

народа в уничтожении национального гнета на соседнем острове. Он стремился утвердить идею боевого союза английских чартистов с борцами за независимость Ирландии. В качестве лозунга английского рабочего движения Маркс обосновал требование о предоставлении Ирландии национальной независимости, вплоть до ее отделения от Англии. На опыте Ирландии Маркс, сделав дальнейший шаг в развитии своих идей по национальному и колониальному вопросу, пришел к выводу о необходимости сочетания национально-освободительного движения в этой первой английской колонии с борьбой пролетариата за социализм во всей метрополии. В Генеральном Совете Маркс был неутомимым вдохновителем кампаний, митингов, дискуссий в защиту и поддержку борющейся Ирландии, докладчиком и автором решений по ирландскому вопросу.

В письме Генерального Совета Интернационала Федеральному совету Романской Швейцарии Маркс обосновал интернациональное значение ирландского вопроса, показав важность разрешения ирландской проблемы для развития международного рабочего движения, прежде всего для успешной борьбы английского пролетариата. Он указал, что одной из основ экономического могущества английских господствующих классов является колониальное угнетение Ирландии.

«Если Англия,— писал Маркс швейцарским руководителям Интернационала,— является крепостью лендлордизма и европейского капитализма, то единственный пункт, где можно нанести серьезный удар официальной Англии, *представляет собой Ирландия.*

Во-первых, Ирландия является *цитаделью* английского лендлордизма. Если он рухнет в Ирландии, то он должен будет рухнуть и в Англии. В Ирландии это может произойти во сто раз легче, потому что *экономическая борьба сосредоточена там исключительно на земельной собственности,* потому что там эта борьба есть в то же время и национальная борьба и потому что народ в Ирландии настроен более революционно и более ожесточен, чем в Англии. Лендлордизм в Ирландии удерживает свои позиции исключительно при помощи *английской армии.* Как только прекратится *принудительная уния* этих двух стран, в Ирландии немедленно вспыхнет социальная революция, хотя и в устаревших формах. Английский лендлордизм потеряет не только крупный источник своих бо-

гатств, но также *важнейший источник своей моральной силы* как *представителя господства Англии над Ирландией.* С другой стороны, оставляя неприкосновенным могущество своих лендлордов в Ирландии, английский пролетариат делает их неуязвимыми в самой Англии.

Во-вторых, английская буржуазия не только эксплуатировала ирландскую нищету, чтобы ухудшить положение рабочего класса в Англии путем *вынужденной иммиграции* ирландских бедняков, но она, кроме того, разделила пролетариат на два враждебных лагеря. Не происходит гармонического соединения революционного пыла кельтского рабочего и положительного, но медлительного нрава англосаксонского рабочего. Наоборот, во всех *крупных промышленных центрах Англии* существует глубокий антагонизм между английским и ирландским пролетарием. Средний английский рабочий ненавидит ирландского как конкурента, который понижает заработную плату и *standard of life*[1]. Он питает к нему национальную и религиозную антипатию. Он смотрит на него почти так же, как смотрели *poor whites*[2] южных штатов Северной Америки на черных рабов. Этот антагонизм между пролетариями в самой Англии искусственно разжигается и поддерживается буржуазией. Она знает, что в этом расколе пролетариев заключается подлинная тайна сохранения ее могущества.

Этот антагонизм воспроизводится и по ту сторону Атлантического океана. Вытесняемые с родной земли *быками* и овцами, ирландцы вновь встречаются в Северной Америке, где они составляют огромную, все возрастающую часть населения. Их единственная мысль, их единственная страсть — ненависть к Англии. Английское и американское правительства (то есть классы, которые они представляют) культивируют эти страсти, увековечивая скрытую борьбу между Соединенными Штатами и Англией. Они таким образом препятствуют серьезному и искреннему союзу между рабочими по обе стороны Атлантического океана, а следовательно, и их общему освобождению.

Ирландия — это единственный предлог для английско-

---

[1] Уровень жизни *(англ.)*.
[2] Белые бедняки *(англ.)*.

го правительства содержать *большую постоянную армию*, которую в случае нужды, как это уже имело место, бросают против английских рабочих, после того как в Ирландии эта армия пройдет школу военщины...

Итак, позиция Международного Товарищества в ирландском вопросе совершенно ясна. Его главная задача — ускорить социальную революцию в Англии. Для этой цели необходимо нанести решающий удар в Ирландии».

Маркс призвал рабочий класс угнетающей нации — англичан — к борьбе против всякого национального гнета и доказал, что одной из главных причин слабости английского рабочего движения, несмотря на его организованность, является всячески разжигаемая английской буржуазией национальная рознь между английскими и ирландскими рабочими. Угнетение Ирландии и других колоний, подчеркивал Маркс, является преградой для прогрессивного развития самой Англии. «Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи» — так определил Маркс важнейший принцип пролетарского интернационализма.

В январе 1870 года у Лауры Лафарг родился второй ребенок — дочка. Сообщая об этом Энгельсу, бабушка новорожденной, Женни Маркс, заканчивала письмо шуткой: «Я надеюсь, что этот быстрый темп прекратится. Иначе скоро придется петь: 1, 2, 3, 4, 5, 6... 10 маленьких негритят!»

Империю Луи Бонапарта судорожно лихорадило. Начался новый подъем рабочего движения. Горняки каменноугольного бассейна Луары и прядильщики Руана, литейщики и каретники Марселя, текстильщики, булочники и штукатуры Лиона, корзинщики, столяры, щеточники Парижа бастовали. Стремительно разрастались секции Интернационала, и его влияние среди тружеников становилось все более значительным.

«Интернационал,— писала Лаура отцу,— делает здесь чудеса. Рабочие явно питают к Товариществу неограниченное доверие; ежедневно образуются новые секции... Инициатива каждого нового движения среди рабочих, каждой новой стачки приписывается в той или иной мере Интернационалу... привлекая в его ряды все большее число обществ и отдельных лиц. К званию члена Интернационала начинают здесь относиться с большим уважением».

Весной в Париже возникла Федерация секций Международного Товарищества Рабочих. Тревога в правительстве Наполеона III возрастала по мере усиления Интернационала. Социалистов преследовали. В июне предстали перед судом тридцать восемь членов Интернационала. Смело отстаивали на суде свои социалистические взгляды обвиняемые французские рабочие.

Кризис Второй империи назрел.

В сумрачные, дождливые зимние дни Маркс зачитывался книгой «Положение рабочего класса в России» и писал Энгельсу об авторе Флеровском: «Видно, что человек этот сам всюду побывал и наблюдал все лично. Жгучая ненависть к помещикам, капиталистам и чиновникам... Прекрасно изображена и семейная жизнь русского крестьянина — с чудовищным избиением насмерть жен, с водкой и любовницами...»

Двумя днями позже Маркс снова писал о сделанном им важном выводе после чтения Флеровского:

«Из его книги неопровержимо вытекает, что нынешнее положение в России не может дольше продолжаться, что отмена крепостного права в сущности лишь ускорила процесс разложения и что предстоит грозная социальная революция».

В письме Маркс подробно знакомил Энгельса с перипетиями усиливающейся с каждым днем внутри Интернационала борьбы с Бакуниным. Женевская социалистическая газета «Равенство» под влиянием Бакунина выступила с бесчестными нападками на Генеральный Совет Интернационала, и в ответ на это Маркс составил обращение к Романскому комитету и всем секциям в Швейцарии, говорящим на французском языке.

«Результат: вся бакунинская банда вышла из «Égalité» [1],— сообщал Маркс Энгельсу.— Сам Бакунин избрал своей резиденцией Тессин и будет продолжать свои интриги в Швейцарии, Испании, Италии и Франции. Итак, теперь перемирию между нами пришел конец, так как он знает, что я резко напал на него в связи с последними женевскими событиями и разоблачил его интриги».

В 1869 году группа русских политических эмигрантов

[1] «Равенство» *(франц.)*.

примкнула к Интернационалу. Именно в это время Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих вел ожесточенную борьбу с бакунистами, и русская секция, состоявшая из яростных противников новоявленного апостола анархии, оказала значительную помощь Марксу и Генеральному Совету в борьбе против раскольнических действий Бакунина.

В Италии, Испании, Швейцарии, России и отчасти во Франции Бакунин имел к тому времени уже немало сторонников и стал одним из наиболее опасных врагов развивающегося марксизма.

Бакунин пытался подчинить Интернационал своему влиянию, возглавить его, навязать анархистскую программу. Затаенные раскольнические стремления бакунистов вскоре выявились, и Генеральный Совет вынужден был решительно противодействовать их интригам.

Маркса и Бакунина разделяла непроходимая идейная пропасть: в то время как коммунисты призывали к революционной борьбе и были уверены в победе рабочего класса, Бакунин проповедовал «политическое воздержание». Борьба, утверждал он, ведет лишь к укреплению буржуазии, трудящиеся массы заинтересованы в уничтожении всякого государства, будь то монархия или какая угодно республика, а не в переделке его. Бакунин пытался доказать, что не капитал создает государство для защиты своих интересов, а, наоборот, государство — капитал. Любое государство является злом, поэтому необходимо его уничтожить, и тогда исчезнет сам собой капитал. Бакунин призывал не способствовать развитию государства, проповедовал полное пренебрежение ко всякой политической деятельности, осуждал стачки, демонстрации, участие трудящихся в парламентских выборах и выдвижение депутатов-работников. Он запрещал своим последователям принимать участие в местных самоуправлениях, не понимая, что отсутствие политических свобод задерживает развитие классового самосознания.

Анархисты объявили государственную власть причиной социального неравенства и нападали на учение Маркса о диктатуре пролетариата в переходный период от капитализма к коммунизму. По мнению Бакунина, надлежало немедленно путем революции уничтожить все виды и формы государства и на его развалинах установить анархию.

Но, как всегда, Бакунин оставался человеком двойственным и, проповедуя безвластие, анархию, втайне мечтал о диктатуре революционного меньшинства, подчиняющего своей воле народные массы.

«А чтобы спасти революцию,— писал Бакунин в марте 1870 года своему другу Ришару,— чтобы довести ее до благополучного конца, посреди этой самой анархии необходимо действие коллективной незримой диктатуры, не облеченной никакой властью, а потому тем более продуктивной и мощной».

Беспомощный в теории и практике революционной борьбы, чрезвычайно субъективный в оценках событий и людей, путаник в серьезном споре, Бакунин приносил большой вред рабочему международному движению, сеял раздоры, плел паутины интриг в Интернационале.

Ненависть Бакунина к Марксу прорывалась в каждом его действии и слове. Уже более четверти века он знал Маркса. Судьба свела их на одном поприще. Маркс был во всем таким, каким тщетно мечтал стать Бакунин. Бакунин мстил Марксу, стараясь, где и как мог, умалить, опозорить, низвергнуть. Где-то в глубине души своей Бакунин иногда ощущал нечто подобное раскаянию и стыду. Тогда он старался подняться до беспристрастия и, прикидываясь равнодушным, давал Марксу некую положительную оценку, но тотчас же срывался и заканчивал обвинением в том, чем сам был томим — жаждой диктаторствовать, уничтожать.

Бакунин всю свою жизнь весьма проигрывал от близкого знакомства. Среди русских изгнанников в Швейцарии он скоро вызвал к себе резкое охлаждение и настороженность.

Лучшие люди среди изгнанников, примыкавшие к русской ветви Интернационала, отвернулись от всенизвергающего говоруна. Правда, царское правительство, по особым и сложным соображениям, не предало гласности исповедь и прошения Бакунина, по всей вероятности считая, что, внося смуту, он является хорошим противодействием научному коммунизму и Международному Товариществу Рабочих.

В то же время среди русских эмигрантов все больше возрастало уважение к Марксу. В марте 1870 года Русская секция Интернационала в Женеве направила в Лондон письмо:

«Дорогой и достопочтенный гражданин!

От имени группы русских мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам честь быть нашим представителем в Генеральном Совете Международного Товарищества в Лондоне. Эта группа русских только что образовала секцию Интернационала...

Спешим сообщить Вам, что подготовительная работа... увенчалась успехом, и мы нашли сторонников пропаганды Интернационала среди чехов, поляков и сербов...

Наше настойчивое желание иметь Вас нашим представителем объясняется тем, что Ваше имя вполне заслуженно почитается русской студенческой молодежью, вышедшей в значительной своей части из рядов трудового народа. Эта молодежь ни идейно, ни по своему социальному положению не имеет и не желает иметь ничего общего с паразитами привилегированных классов, и она протестует против их гнета, борясь в рядах народа за его политическое и социальное освобождение.

Воспитанные в духе идей нашего учителя Чернышевского, осужденного за свои сочинения на каторгу в Сибирь в 1864 году, мы с радостью приветствовали Ваше изложение социалистических принципов и Вашу критику системы промышленного феодализма. Эти принципы и эта критика, как только люди поймут их, сокрушат иго капитала, поддерживаемого государством, которое само является наймитом капитала. Вам принадлежит также выдающаяся роль в создании Интернационала, а в том, что касается специально нас, то опять-таки именно Вы неустанно разоблачаете ложный русский патриотизм, лживые ухищрения наших демосфенов...

Русская демократическая молодежь получила сегодня возможность устами своих изгнанных братьев высказать Вам свою глубокую признательность за ту помощь, которую Вы оказали нашему делу Вашей теоретической и практической пропагандой, и эта молодежь просит Вас оказать ей новую услугу: быть ее представителем в Генеральном Совете в Лондоне...

А чтобы не вводить Вас в заблуждение и избавить Вас от сюрпризов в будущем, мы считаем также своим долгом предупредить Вас, что не имеем абсолютно ничего общего с г. Бакуниным и его немногочисленными сообщниками. Напротив, нам придется в ближайшем будущем выступить с публичной оценкой этого человека, чтобы в мире

трудящихся — а для нас ценно только их мнение — стало известно, что существуют личности, которые, проповедуя в их среде одни принципы, хотят *сфабриковать* у себя на родине, в России, нечто совсем иное, вполне заслуживающее позорного клейма. Настоятельно необходимо разоблачить лицемерие этих ложных друзей политического и социального равенства, мечтающих на самом деле только о личной диктатуре...

Соблаговолите сообщить нам, разрешаете ли Вы направлять к Вам наших друзей, уезжающих в Англию, и по какому адресу надлежит посылать наш журнал и наши бюллетени, которые будут выходить ежемесячно.

Нет необходимости добавлять, что мы были бы Вам крайне признательны хотя бы за несколько строк для нашего журнала, раз мы не можем надеяться на несколько страниц.

Примите, гражданин, от имени всех наших братьев выражение нашего глубочайшего уважения».

Первой под этим обращением к Марксу была подпись Н. Утина.

Маркс прочел письмо из Женевы в кругу своей семьи. Он был тронут искренностью и теплом, которыми веяло от каждой строки.

— Это неожиданно. Я — представитель молодежи России! — сказал он, добродушно улыбнувшись. Прищурив глаза, добавил с шутливой досадой: — Однако я не могу простить этим молодцам их обращения ко мне со словами «достопочтенный». Они, видимо, думают, что я старик восьмидесяти или ста лет.

Одним из наиболее выдающихся деятелей Русской секции Интернационала в эти годы был Николай Исаакович Утин, болезненный, хрупкий, смелый молодой человек. Некоторое время он и Бакунин жили не только в одном и том же швейцарском городке, но и в одном доме. Как и Серно-Соловьевич, молодой петербуржец окончил университет, отдался революционному движению, чтил Чернышевского, был членом Центрального комитета «Земли и воли». В декабре 1862 года он участвовал в переговорах с польскими революционерами, создал подпольную типографию, где печатались прокламации «Земли и воли». После провала типографии он бежал за границу. Заочно царский суд приговорил его к смертной казни.

Бакунин и Утин встретились впервые в Лондоне и спустя несколько лет, в 1868 году, приступили совместно с другими русскими революционерами-эмигрантами к изданию журнала «Народное дело» для распространения его в России. Первый номер вышел в сентябре 1868 года и состоял почти весь из одних только статей Бакунина. Наряду с требованием уничтожения государства Бакунин выдвигал теперь новую идею — об упразднении законного брака, родительской власти и введении общественного воспитания детей. Ни в одной из своих статей Бакунин ни словом не обмолвился о какой бы то ни было деятельности Интернационала.

Но Утин, отстаивавший принципы Международного Товарищества Рабочих, добился того, что редакция «Народного дела» отвергла анархистскую программу Бакунина, вывела из состава редакции «апостола анархии» и его сторонников. Постепенно, от номера к номеру журнал стал поддерживать идеи, проповедуемые Интернационалом, и включился в борьбу Генерального Совета с «Альянсом» Бакунина. Одновременно Утин выступил против диктаторского замысла Бакунина, который требовал создания за границей России центра, управляющего из-за рубежа всем освободительным движением на родине. Революционерам, действующим внутри страны, отводилась роль исполнителей предначертаний Бакунина. Утин же, наоборот, считал, что руководящая роль должна принадлежать направляющему центру в самой России, а эмигранты должны помогать соотечественникам в изучении западноевропейского социалистического движения и оказывать содействие в выработке передового миросозерцания и тактики.

Редакция «Народного дела» состояла из революционных народников, последователей Чернышевского. Журнал в каждом номере помещал сообщение о деятельности Международного Товарищества, отмечал его успехи в разных странах мира, сообщил о выходе в свет «Капитала» Маркса. Утин и его товарищи встали твердо на сторону Маркса в борьбе, развернувшейся в Интернационале с бакунистами. Сотрудники «Народного дела» считали необходимым распространять идеи Интернационала в России.

Так родилась мысль, а затем и решение создать «Русскую ветвь» Международного Товарищества и просить Карла Маркса быть ее представителем в Генеральном Совете.

Борьба Интернационала с Бакуниным и его группой в 1869 году обострилась. Вступив в секции Международного Товарищества Рабочих, члены формально распущенного «Альянса» сохранили его внутри Интернационала, но в качестве тайной организации. Сторонники Бакунина усвоили его девиз — «в политической борьбе хороши все средства» — и при выборах делегатов на 4-й конгресс Интернационала прибегали к мошенничеству, чтобы только добиться большинства и прибрать в свои руки Генеральный Совет.

Конгресс состоялся в сентябре 1869 года в Базеле. Съехалось семьдесят восемь делегатов от разных стран, в том числе от Национального Рабочего Союза Соединенных Штатов Америки.

Бакунин выступил на конгрессе с заявлением, что отмена права наследования на земельную собственность явится мерой для постепенного перехода земли от частных владельцев к народу. Маркс в присланном на конгресс и зачитанном там докладе о праве наследования доказал, что план Бакунина утопия и не может быть осуществлен в условиях капитализма, когда у власти находятся сами землевладельцы. После революции же идея Бакунина вовсе лишается смысла, ибо тогда земля и недра перейдут в руки народа и станут собственностью всего общества.

Конгресс раскололся. Часть делегатов поддержала Маркса, остальные Бакунина. Принять решение по этому вопросу оказалось невозможным. Однако, когда начались выборы, конгресс одобрил деятельность Генерального Совета и переизбрал его в прежнем составе. Анархисты, таким образом, к руководству Интернационалом допущены не были.

После Базельского конгресса Бакунин в газете «Égalité» повел клеветнический поход на Маркса и Энгельса. Он выступил в апреле 1870 года на съезде секций Романской Швейцарии в Ла-Шо-де-Фоне с возрожденным прудонистским лозунгом об отказе членов Интернационала от всякой политической деятельности и добился раскола Романской федерации. Бакунисты создали свои секции, организовали комитет и приняли самостоятельное название — Юрская федерация.

Но Бакунин не хотел и на этом успокоиться, он пытался во что бы то ни стало скомпрометировать сторонников Генерального Совета. На общем собрании членов всех

секций Интернационала Женевы он выступил против Утина и его единомышленников. «Эти люди нетерпимы,— говорил Бакунин,— они требуют моей головы». Он обвинял своих противников в желании предать его казни.

Утин опроверг подобные обвинения в той же газете. «Правда,— писал он про Бакунина,— что я его непримиримый противник. Он принес много зла революционному делу в моей стране, и он пытался принести его Интернационалу. Когда наступит день всенародного мщения, народ узнает своих истинных врагов, и если тогда гильотина будет действовать, то пусть эти великие люди — диктаторы — поостерегутся, чтобы народ не гильотинировал их первыми».

Вскоре популярность Бакунина начала катастрофически падать. Все секции Интернационала Швейцарии и даже строительные рабочие, среди которых он пользовался большим авторитетом, отшатнулись от «апостола анархии». Им стало ясно, что Бакунин фразер, повторяющий вслед за Лассалем и Прудоном уже опровергнутое самой жизнью, что проповедуемый им утопический социализм устарел. Бакунин с горечью замечал наступившее политическое одиночество.

«Когда я оставил Женеву в октябре 1869 года,— писал он одному из своих единомышленников,— все строительные рабочие, за очень небольшим исключением нескольких человек из комитетов, особенно завербованных женевской кликой и голосовавших вместе с ней,— были такими большими друзьями моими, что пришли сказать мне, прощаясь со мной: «Эти господа из фабрики думают оскорбить нас, называя «бакунистами», но мы им ответили, что мы предпочитаем, чтобы нас называли бакунистами, чем реакционерами...» Когда я возвратился в Женеву в конце марта 1870 года, я нашел их если не всех враждебными по отношению ко мне, то, по крайней мере, всех предубежденно настроенными и недоверчивыми».

Смута, которую Бакунин породил, вредила рабочему движению, однако влияние Интернационала непрерывно возрастало и, хотя очередной 5-й конгресс не мог состояться из-за начавшейся франко-прусской войны, Генеральный Совет все так же напряженно работал, откликаясь на все события, руководя политическими организациями трудящихся многих стран мира.

В редакцию журнала «Народное дело», издававшегося русской ветвью Интернационала, пришло письмо с лондонским штемпелем на конверте. Его нетерпеливо ждали. Прочитанный вслух в маленьком кабинете редактора Утина долгожданный ответ Маркса пошел по рукам. Всем хотелось перечесть текст, рассмотреть необычный почерк создателя Интернационала.

«Граждане!

В своем заседании 22 марта Главный Совет объявил, единодушным вотумом, что ваша программа и статут согласны с общими статутами Международного Товарищества Рабочих. Он поспешил принять вашу ветвь в состав Интернационала. Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем при Главном Совете».

Итак, Маркс согласился представлять Россию в Интернационале. Это было волнующим событием для молодых русских изгнанников. Далее в своем письме Маркс касался вопроса об отношении к Польше и о книге Николая Флеровского:

«Это настоящее открытие для Европы. *Русский оптимизм,* распространенный на континенте даже так называемыми революционерами, беспощадно разоблачен в этом сочинении. Достоинство его не пострадает, если я скажу, что оно в некоторых местах не вполне удовлетворяет критике с точки зрения чисто теоретической. Это — труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного художника и, прежде всего, человека, возмущенного против гнета во всех его видах, не терпящего всевозможных национальных гимнов и страстно делящего все страдания и все стремления производительного класса.

Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века.

Привет и братство.

Карл Маркс

Лондон, 24 марта 1870 года».

Глава вторая

НЕУКРОТИМАЯ ФРАНЦИЯ

Ученик Бланки Гюстав Флуранс сочетал в себе вдумчивого ученого, многогранного публициста и революционного бойца с огненным темпераментом. Он отличался разносторонностью и глубиной знаний, умом, волей, неуемной энергией и беспримерной неустрашимостью. В двадцать пять лет Флуранс уже читал лекции по этнографии в Коллеж де Франс в Париже, но был уволен за приверженность к материализму. Неистовый вольнолюбец, он, как только вспыхнуло восстание 1863 года в Польше, отправился туда, затем устремился в Грецию и сражался за освобождение Крита. Флуранс много странствовал по свету, прежде чем вернуться в родную Францию.

В январе 1870 года в Париже было неспокойно. Убийство принцем Пьером Бонапартом явившегося к нему молодого журналиста республиканца Нуара всколыхнуло рабочий люд столицы. Еще раз обнаружился во всем объеме кризис, переживаемый Второй империей. Почти двести тысяч трудящихся, охваченных негодованием и гневом, явились в предместье Нейи, где стоял гроб с телом жертвы. Накануне газета «Марсельеза» писала: «Вот уже 18 лет, как Франция находится в окровавленных руках злодеев, которые, не довольствуясь расстрелом республиканцев на улицах, завлекают их в гнусные западни, чтобы убивать у себя на дому».

Возбуждение народа достигло предела. По словам одного писателя, в эти дни Вторая империя получила, подобно Виктору Нуару, пулю в сердце. В числе наиболее

рьяно взывавших к мщению и восстанию был Флуранс. Однако выступление в это время было бы пагубным, так как народ был безоружен, во власти же бонапартистов в одном только Париже имелось шестьдесят тысяч отлично вооруженных солдат. Но Флуранс подчинялся часто велениям возмутившегося сердца и порывам необузданной храбрости, не всегда согласующейся с рассудком. Спустя несколько недель в столице снова вспыхнули волнения. Поводом был арест одного из руководителей газеты «Марсельеза». Кое-где рабочие соорудили баррикады. На одной из них сражался Флуранс. Она продержалась дольше других в борьбе с правительственными войсками. Начались аресты и суды, молодому революционеру удалось бежать в Англию.

В апреле 1870 года Гюстав Флуранс побывал у Маркса дома и с того времени стал частым посетителем Модена-вилла. Он понравился всем ее обитателям, но особенно подружился с Женнихен. Их сблизило сочувствие ирландским фениям.

Женнихен участвовала в шествиях и собраниях, на которых провозглашались требования амнистии арестованным фениям. Одну из наиболее значительных демонстраций, организованных в Гайд-парке Международным Товариществом Рабочих, осенью 1869 года, Женни подробно описала ганноверскому врачу Людвигу Кугельману.

«Этот крупнейший в Лондоне парк представлял собой сплошную массу мужчин, женщин и детей. Даже деревья до самых макушек были усыпаны людьми. Число присутствовавших составляло, по оценке газет, около 70 тысяч человек, но так как это — английские газеты, то цифра, несомненно, слишком занижена. Демонстранты несли красные, зеленые и белые знамена с самыми разнообразными девизами, например: «Держите порох сухим!», «Неповиновение тиранам — долг перед богом!». А выше флагов взлетало в воздух множество красных якобинских колпаков, владельцы которых пели «Марсельезу».

В ирландском городке Типперери был избран в парламент один из бывших руководителей печатного органа фениев «Айриш пипл» («Ирландский народ») — О'Донован-Росса, приговоренный английским судом к пожизненной ссылке на каторгу. Это избрание стало наиболее

сенсационным политическим событием Англии и Ирландии. В семье Маркса ликовали.

«Мы все плясали от радости,— писала Женни.— Тусси вообще неистовствовала. Можете вообразить, какую панику вызвало в Англии сообщение об избрании фения!..»

Английская пресса пыталась всячески исказить происшествие, и особенно изолгался правительственный официоз. Французская демократическая газета «Марсельеза» на основании этой ложной информации газеты гладстоновского министерства поместила сообщение, дававшее неверное освещение событий в Ирландии. Но вскоре в той же газете появилась корреспонденция за подписью Дж. Уильямс, опровергающая ложь английского официоза. За псевдонимом Дж. Уильямс скрывалась дочь Маркса Женни. Восемь статей, в которых проявилось незаурядное дарование смелого, умного журналиста, об ирландских фениях напечатал Дж. Уильямс. Только одну из них Женни писала вместе с отцом. Корреспонденции Уильямса обратили на себя внимание читателей и вызвали многочисленные отклики.

Маркс высоко оценил творчество дочери и в шутку прозвал ее «наш знаменитый Уильямс», а Энгельс, знаток ирландских дел, поздравил ее и поощрил:

— Мистер Уильямс имеет славный и вполне заслуженный успех. Браво, Женни!

Мастерски написанные корреспонденции Женни Маркс возымели свое действие, и премьер-министр Англии Гладстон на одном из заседаний палаты общин вынужден был наконец согласиться расследовать зверское обращение с заключенными фениями. Одновременно, верный своей политике удушения Ирландии, он внес на обсуждение законопроект об отмене в этой колонии конституционных свобод и о введении там осадного положения.

Во французском изгнаннике Флурансе дочь Маркса нашла не только единомышленника, но и человека, готового к неотлагательной борьбе. Вместе с Женнихен он, обдумывая, что предпринять для спасения погибавших в тюрьмах фениев, тотчас же перевел кое-какие письма О'Донован-Росса на французский язык для опубликования в печати.

Нередко, когда молодой француз приходил в Модена-вилла днем, Женнихен встречала его в саду, и они отправлялись бродить по Хэмпстедским холмам.

— Я обещаю вам, Женнихен, сделать все для О'Донован-Росса,— сказал как-то Гюстав с той убедительностью, которая звучит как клятва.

Природа, наделив щедро Флуранса, позаботилась также о его внешности. Особенно красивыми на его правильно очерченном лице были глубоко ушедшие в глазницы умные серо-синие горящие глаза под прямыми бровями. Светло-каштановые, гладко зачесанные волосы, густые усы и борода, высокий рост, статное, крепкое телосложение напоминали средневековых норманнских рыцарей. Флуранс любил свою родину и с увлечением рассказывал о ней Женнихен.

— Я мог бы повторить вслед за Монтенем,— признался он однажды,— что Парижу принадлежит мое сердце с самого детства. Я люблю его нежно, люблю в нем все, вплоть до его паразитов, до его пятен. Я чувствую себя французом из-за этого великого города, который является славой Франции и одним из самых благородных украшений мира. И знаете, Женни, эта крепость нескольких революций добыла себе право считаться героической.

В сырой весенний день, когда прогулка по Хэмпстедским холмам не могла состояться из-за непрерывного дождя, Женнихен предложила французскому изгнаннику ответить на вопросы ее наперсницы — «Книги признаний».

— Прошу вас,— сказала она, глядя прямо в лучистые глаза Флуранса,— пишите по возможности серьезно. Обычно все стараются шутить. А вас мне хочется узнать таким, какой вы есть на самом деле.

— Постараюсь быть до конца искренним,— ответил Гюстав.

Женнихен оставила его одного за своим рабочим столиком у окна гостиной. Апрель подходил к концу. Во всех цветочных вазах стояли букеты цветов красивой окраски, но почти без запаха, как обычно на этом туманном острове с влажным климатом.

Гюстав Флуранс написал, что в людях превыше всего ценит отвагу, в мужчинах — энергию, в женщинах — преданность. Его представления о счастье — жить простым гражданином в республике равных. Он ненавидел раболепство и жаждал вести войну с буржуа, с их богами, с их королями и их героями.

Отличительной чертой Флуранса было, как он сообщал в «исповеди»,— стремиться вперед, а любимым изречением — уметь достойно умереть.

В книге Женнихен остался навсегда слепок с чистой, благородной души талантливого этнографа и революционного воина, о котором даже враги писали, что он учен, подобно энциклопедии, и храбр, как витязь.

Но одаренным людям редко приходится идти торными дорогами, чаще они пробиваются сквозь тернии.

Сын известного ученого-натуралиста Гюстав Флуранс родился в 1838 году. Десятилетним мальчиком он увидел восхождение и трагический спад революции. Сердце чрезвычайно впечатлительного, не по летам развитого, вдумчивого ребенка содрогнулось и вознегодовало в кровавые июньские дни расправы с рабочими, чтобы никогда не успокоиться и не забыть. Увлекшись этнографией и многого достигнув как ученый, Флуранс мучился сомнениями, не посвятить ли себя науке. С трудом преодолев колебания, отверг он профессорскую мантию. Борец не легко победил в нем ученого.

— Могу ли я быть счастливым в мире зла и несправедливости? Нет. С детства я нес в себе только доброту, среда пыталась вытравить во мне ее и сделать хищником. Но я не умел насыщаться среди голодных, набираться знаний, видя невежество не только моего народа, но и большинства человечества, и стал революционером, если хотите, сначала из простого эгоизма, поняв, что наслаждаться жизнью смогу только среди довольных людей. Счастье возможно испытать сполна лишь в обществе счастливых,— поверял Флуранс свои мысли девушке.

— Сколь верная мысль,— согласилась Женнихен.— Мне не может быть хорошо, когда вокруг всем так плохо.

— Как видите, эгоизм подчас оборачивается альтруизмом. Диалектика. С этого и начался мой отход от того круга, сословия, класса, к которым я принадлежу по рождению. Я стряхнул оковы предрассудков, мелкого тщеславия и, почувствовав себя наконец в своей стихии, отправился сражаться за свободу поляков и греков. Жизнь моя обрела смысл в борьбе.

— У вас, Гюстав, не только мозг, но и сердце талантливое,— вырвалось вдруг у Женнихен.— Я давно заметила, что способность чувствования бывает различной. Есть

совсем тупые, равнодушные, этакие непроницаемые сердца.

— В броне улитки или черепахи,— рассмеялся Флуранс.— Однако меня вы переоцениваете. Я просто человек, не самый худший, вот и все.

Женнихен не возразила. Про него она думала с нежностью и восхищением: богато одаренный, обаятельный, гуманный и разносторонний Флуранс отдал свое пламенное сердце делу неимущих, обездоленных. Он спешил всегда в ту страну, где шло сражение между угнетенными и угнетателями. Буржуа его боялись и преследовали с тем большей яростью, что считали отступником.

Дружба Женнихен и Гюстава могла обернуться любовью, и каждый из них понимал это, но оба они были люди высокого чувства долга, самоконтроля, никогда не избиравшие легких дорог. Флуранс посвятил свою жизнь революционной борьбе, требующей полного самоотречения, и считал себя вечным странником.

«Как быть? — размышлял он.— Семья обуза для бойца. Можно ли совместить служение идее и сердечную привязанность? Однако такая девушка, как Женни, не боится трудностей. Она будет со мной рядом повсюду. Но соглашусь ли я сам подвергать ее опасности?»

Флуранс вспоминал свою мать, живущую в постоянной тревоге за сына. И он откладывал тот решающий разговор, который мог принести с собой столько перемен в жизни. Женнихен также томилась сомнениями, но что-то в поведении Флуранса подсказывало ей, что она любима: так торопился он навстречу к ней, так красноречив, доверителен становился и радовался каждому ее слову.

Шли недели, тягостные думы точили душу девушки. Что, если ей никогда не придется встретить взаимное чувство, быть матерью? Женнихен горячо любила детей. Ей минуло уже двадцать шесть лет. Приближался тот унылый возраст, когда девушек обычно называют старыми девами. Мысли эти вызывали непереносимую тоску, досадные слезы подступали к горлу.

— Я найду цель в жизни, буду, как отец, работать для людей. Я нужна Мавру и всем моим друзьям, нужна,— твердила она себе.

Отношения Женнихен с Флурансом становились все более близкими. Оба они любили, и оба оттягивали минуту

признания, вбирая и излучая счастье, наслаждаясь тем, как много его еще впереди. Но снова в Европе заполыхало зарево войны и революции. Флуранс недолго задержался в Лондоне. Париж звал его к себе. Он уехал, уверенный, что скоро увидит Женнихен, чтобы в будущем никогда с ней более не расставаться.

В одном из жалких окраинных домиков Лондона умирал Карл Шаппер. Исхудавший до последней степени, он был охвачен той лихорадочной энергией, которую несет в себе яд чахотки. Не имея сил двигаться, он без устали говорил. Мысли и воспоминания отгоняли страх быстро наступающей смерти, выказать который так не хотел этот искренний, некогда кипучий революционер. В последние годы жизни застарелая болезнь, лишения и тяготы долгого изгнания привели Шаппера к тому, что он вынужден был отойти от боевой работы. Физические силы Шаппера были сломлены. Но он являлся, однако, живой летописью нескольких десятилетий упорных пролетарских боев. После создания Международного Товарищества Рабочих, по предложению Маркса, его избрали членом Генерального Совета.

Узнав о грозном обострении болезни старого бойца, Маркс навещал его, стараясь ободрить и обнадежить. В конце апреля здоровье Шаппера резко ухудшилось, и снова Маркс провел несколько часов у постели больного.

— Пятьдесят семь лет не так уж мало. Жаль мне только, что я частенько дурил и путался без толку в жизни. Времени сколько попусту пропало, зря растратил силенки. Теперь кончено все, песенка моя спета,— говорил, задыхаясь и глухо кашляя, Шаппер.

— Не сдавайся, человече, мы еще поживем,— старался шутить Маркс.

— Зачем прятаться от неизбежного? Да и не удастся. Но я не из слабого десятка, будь уверен. На этих днях бессмертная смерть, как говорил Лукреций, похитит мою смертную жизнь. Я уже велел жене похоронить мои бренные останки в ближайшее воскресенье. Детям не придется тогда оставлять работу. Но женщины не философы по самой своей природе. Бедняжка ревет дни и ночи оттого, что я, того и гляди, скорчу последнюю гримасу. Не я

первый и не я последний. Смерть не жизнь, только у нее пока существует подлинное равенство.

Когда в комнату входил остролицый высокий подросток, сын Шаппера, или его пожилая заплаканная жена, больной переходил на французский язык, которым владел в совершенстве.

— Я умираю спокойным за свою семью. Дети, кроме меньшого паренька, все уже на своих ногах. Это далось мне нелегко, но на них теперь нельзя жаловаться. Лучшая порода пролетариев: и головы и руки годны для дела. Дочь уже замужем. Старший сын переплетчик, а тебе ли, Мавр, толковать, что общение с книгой делает человека человеком. Двое младших шлифуют у ювелира алмазы не хуже самого Спинозы. Они уже зарабатывают каждый по одной гинее в неделю. Славно, не правда ли? Самого младшего после моей смерти заберет к себе на воспитание брат из Германии. Об этом уже договорено. Ну, а моей старушке я оставляю кое-какие пожитки, много ли ей надо.— Шаппер протяжно закашлялся. На губах его появилась капля крови.— Не волнуйся,— сказал он Марксу, когда тот вытер его влажное лицо и рот полотенцем,— все идет своим чередом. Главное, мы сумели воспитать детей так, что они никогда не оставят матери в беде. Что до жизни своей, я мог бы сказать, что прожил достаточно. Все успел.

— Всякая жизнь, хорошо прожитая,— долгая жизнь, так, кажется, утверждал Леонардо да Винчи,— сказал Маркс.

— Все это время, пока меня глодала болезнь, я думал о прошлом. Собственно, мне довелось как бы заново пережить минувшие годы. Я ведь сын сельского пастора, очень бедного и наивного. В детстве я был очень религиозен, а умираю атеистом, не то что Руге, который изрядно струсил на старости лет. Он ищет мужества в вере и твердит теперь, что душа бессмертна. Иначе страшно ему расставаться с жизнью. К туфлям старым привыкаем, а каково вылезать из собственной шкуры! Пусть каждый утешается, как умеет. Я же с трудом разрушил в себе деистические иллюзии не для того, чтобы обрести их вновь на пороге небытия.

— Ты всегда был и остался настоящим человеком, как прозвал тебя некогда Энгельс. Кстати, он шлет тебе сердечный привет и пожелания здоровья.

— Поздно. Нам с ним больше уже не свидеться. Дорогой он, замечательный человек. Я любил его, как и тебя, Мавр.

— Если б твое здоровье было действительно плохо, Фридрих приехал бы из Манчестера. Но врачи подают нам надежду, ты будешь жить, старина. Крепись. Воспаление легких вовсе не смертельно. Кризис уже прошел.

— Нет, дружище, я ухожу от вас. Это туберкулез, и спасения мне нет.

Маркс взял липкую, горячую руку Шаппера и не выпускал ее. Ему всем сердцем хотелось влить в умирающего свои жизненные силы, спасти его, чего бы это ни стоило. Больной понял порыв друга и ответил слабым рукопожатием.

— Спасибо, Карл, за все, за то, что ты существуешь. Живи,— прошептал больной.

Несколько минут длилось молчание. Руки их были попрежнему соединены, как и души. Они чувствовали себя братьями.

— Я попался в когти этой проклятой хвори, очевидно, в каменной норе тюрьмы Консьержери, куда был брошен в тридцать девятом году после неудачного восстания. Ты ведь знаешь, что я был бланкистом и членом «Общества времен года». Спустя семь месяцев меня выслали из Франции. Я попал в Лондон и тогда впервые заболел легкими, но выкарабкался на время. Судьба вознаградила меня сторицей за все, я встретил Иосифа Молля и подружился с ним.

— Он жил и умер героем.

— Много я на веку своем ратовал за коммунистическое общество, много спорил и ошибался, но, согласись, умел-таки честно сознавать, когда оказывался неправым. А это нелегко.— Шаппер попытался улыбнуться, но ссохшиеся, потрескавшиеся от жара губы с трудом раздвигались.

— Ты не только настоящий человек, но и настоящий коммунист. Кто из нас не ошибался. Это вечное свойство людское. Дело только в том, чтобы вовремя извлечь из промаха пользу.

— Верно. И я не постеснялся вернуться к тебе, Маркс, после этой истории с Виллихом. Я переменил много профессий и мест. Кем только не был, за что не брался! Учился даже в университете, но прожил жизнь и умираю

рабочим. Труд был моей радостью, и я убежден, что только он несет счастье. Труд и наслаждение неразрывны и будут всегда чередоваться в будущем мире. Не потребуется никакого принуждения, ибо человек не ленив по своей природе; когда он будет находиться на должной ступени развития и просвещения, то работа станет его утехой, неотъемлемой потребностью.

— Ты прав.

— А вот как я попался на удочку болтуна Виллиха и поплелся за ним прочь от тебя и Энгельса, мне и поныне непонятно. Этот гиппопотам оглушил меня трескучими фразами, ведь глотка у него — сущая труба иерихонская. Могучий он демагог и шут в то же время. Путаник, вынь да положь ему сейчас же коммунистическое общество.

Приближался вечер. Шапперу становилось все хуже. Лицо его покрылось испариной, волосы слиплись, одышка мешала говорить. Маркс приподнял его на подушках.

— Тебе пора отдохнуть. Может быть, позвать жену? — спросил он заботливо.

— Обожди. Мне скоро предстоит бесконечный отдых, который будет длиться тысячи лет. Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Смешно печалиться о том, чего нельзя изменить. Скажи всем друзьям, Маркс, что я остался верен нашим принципам. Я не теоретик. Во время реакции мне приходилось много трудиться, чтобы прокормить семью. Я жил, тяжело работая, и умираю пролетарием.

Маркс вышел из домика, где в философском спокойствии ждал своего конца Карл Шаппер. Вместе с чувством режущей печали он испытывал невольную гордость оттого, что в партию коммунистов входили такие чистые, простые и цельные люди, как тот, с кем он только что простился навсегда.

Прежде чем свернуть в сторону своего дома на Мейтленд-парк роуд, Маркс вспомнил о письме, в котором больной тифом немецкий изгнанник, публицист Боркхейм, просил его зайти. Как бы ни был Карл занят, поглощен делом или утомлен, чувство человечности перевешивало в его душе, и он устремлялся выполнить долг дружбы и товарищества.

Вернувшись домой, Маркс до поздней ночи писал письмо в Манчестер Энгельсу. Заканчивая рассказ о

встрече с Шаппером, он добавил: «Всё истинно-мужественное, что было в его характере, снова проявляется теперь отчетливо и ярко». О Боркхейме, который принимал деятельное участие в революции 1848 года и после этого вынужден был жить в изгнании, Карл также подробно сообщал другу:

«Английский доктор — один из здешних больничных врачей — все это предсказывал раньше и теперь повторяет: он надеется и даже уверен, что на этот раз Боркхейм выкарабкается, но если он не откажется от своего сумасшедшего образа жизни, то не протянет и года.

Дело ведь в том, что Боркхейм с 4½ или с 5 часов утра до 9 с яростью занимается русским языком... и возобновляет это с 7 часов вечера до 11. Ты знаешь, как он полемизирует с богом и чертом и как, став обладателем недурной библиотеки, хочет непременно сделаться ученым.

Доктор требует, чтобы он, по крайней мере на два года, прекратил все занятия, *кроме деловых,* а свободное время посвящал легкому чтению и *прочим развлечениям.* Иначе он обречен, и *притом неизбежно.* У него нет физических сил работать за двоих.

...Выглядел он чертовски слабым и худым. Я ему сказал, что ты, пока был связан делом, лишь в очень скромных пределах занимался другими вещами. Сделал это намеренно, так как знаю, что он питает к тебе большое почтение. Спустившись снова в гостиную к его жене, я рассказал ей о нашем разговоре. Она сказала,— и я обещал ей, с своей стороны, необходимое содействие,— что *ты* можешь сделать ей величайшее одолжение, если напишешь ее мужу. Во-первых, его особенно порадует такое внимание с твоей стороны, а во-вторых, на него подействует, если ты ему посоветуешь не губить себя чрезмерной работой.

У меня такое впечатление, что Боркхейм в данный момент вне опасности, но он должен быть очень осторожным».

На следующий же после прощания с Марксом день, в 9 часов утра, Карл Шаппер умер.

«Ряды наших старых товарищей все больше и больше редеют,— писал с горечью Энгельс Марксу, узнав об этой

кончине.— Веерт, Вейдемейер, Люпус, Шаппер,— но ничего не поделаешь — à la guerre comme à la guerre» [1].

Заботясь о других, Маркс мало думал о своем здоровье и, вернувшись под дождем от больного Боркхейма, схватил простуду. Домашние решительно запретили ему отправиться на заседание Генерального Совета. В этот вечер вся семья собралась в кабинете Маркса. Ко дню его рождения врач Кугельман из Ганновера прислал в подарок два ковра из рабочей комнаты Лейбница, купленные с аукциона после того, как дом этого великого математика был сломан. На одном из ковров был выткан довольно уродливый старик, очевидно Нептун, барахтавшийся среди волн, на другом — толстая Венера и амуры. По мнению Маркса и его близких, все эти мифологические сюжеты были выполнены в весьма дурном вкусе эпохи рококо, столь излюбленной при дворе Людовика XIV. Но зато тогдашняя мануфактурная работа отличалась завидной добротностью. После долгих обсуждений Карл все же решил повесить оба ковра на стенах кабинета из преклонения перед гением Лейбница.

...Маркс с увлечением изучал русский язык. Он читал «Тюрьму и ссылку» Герцена в те самые дни, когда автор этой книги тяжко занедужил, простудившись на митинге, где выступил с отважной речью против режима Наполеона III.

Вождь Интернационала не знал, что в Париже в сумрачном большом доме на улице Риволи Александр Иванович напряженно думал о нем.

Был январь, сырой и холодный. Колотье в боку и усиливающийся озноб мешали Герцену работать. Закутавшись в плед, он попросил рюмку коньяка, чтобы согреться.

— Теперь хотелось бы покурить,— сказал он, почувствовав себя несколько лучше.

Наталья Алексеевна Огарева, его вторая жена, принесла трубку, прочистила ее, набила табаком и подала ему. Затем ушла, видя, что больному хочется остаться одному.

---

[1] На войне как на войне *(франц.)*.

Странное, необычное состояние охватило Герцена. Голова его горела, однако в пылающем мозгу отчетливо чеканились мысли, ярко вставало прошлое, являлись ответы на многие не решенные ранее вопросы.

Вспомнилась родина. Более двух десятилетий жил Александр Иванович в изгнании, но никогда не рвалась его связь с Россией, с чаяниями, страданиями, заботами ее народа.

Чего бы не дал он, чтобы сейчас за окном был не слякотный Париж, а Москва, вьюжная, белая. Закрыв глаза, он видел себя в отцовском особняке на Тверском бульваре, во Владимирской тюрьме, в Петербурге, снова был среди людей, говоривших по-русски, близких, понятных его душе.

Было тяжело дышать. Широкие ноздри прямого, полного, русского, как он сам говорил, носа раздувались, с трудом вбирая воздух. Как устал он жить на чужбине, где узнал много горя: схоронил мать, сына, страстно любимую жену. Разочарования в людях преследовали его. Недавно навсегда порвал с Бакуниным, в которого долго верил.

Немногие умели проверять себя, как Герцен, не боясь признаваться в том, что ошибались. Неутомимо искал он истину и стремился быть полезным своим соотечественникам.

«Маркс... А ведь вся моя вражда с марксидами из-за Бакунина,— думал с огорчением больной.— Смутный и двойственный человек этот проповедник всеобщего разрушения. Объят он дикими прожектами — закрыть книги, уничтожить науки. Бредовая ересь».

Острое сожаление, что не узнал до сих пор ближе Маркса, нарастало.

«Подлечусь, одолею хворь, свидимся»,— решил Герцен, преодолев былое нерасположение к автору «Капитала». Со свойственным ему прямодушием он признавал отныне великую заслугу Маркса, создавшего Международное Товарищество Рабочих. В Интернационале Герцен увидел «первую сеть и первый всход будущего экономического устройства»; союз рабочих, по его мнению, может стать силой, которая либо заставит «мир, пользующийся без работы», пойти на уступки, либо победит его в открытой борьбе. То, что раньше казалось Александру Ивановичу невозможным — вместо противоборствования сбли-

жение и борьба на одной баррикаде,— стало вдруг желанным, осуществимым, простым.

«Во многом этот ученый немец прав,— продолжал размышлять Герцен о Марксе,— экономический переворот имеет необъятное преимущество перед религиозными и политическими революциями. Тут подлинно трезвая основа. Экономические вопросы действительно подлежат математическим основам».

Незадолго до своей роковой болезни великий русский демократ принял, хоть и несколько примитивно, теорию Маркса о развитии истории. В письмах «К старому товарищу» он писал: «Гегель в самом рабстве находит (и очень верно) шаг к свободе. То же — явным образом — должно сказать о государстве: и оно, как рабство, идет к самоуничтожению... и его нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста.

Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям... Сословность — огромный шаг вперед как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности — шаг еще больший... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции,— тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес около общей оси, их удобно направлять туда или сюда — потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру... Из того, что государство — форма *преходящая,* не следует, что это форма уже *прошедшая».*

В первую же ночь заболевание Герцена приняло угрожающую форму. Под утро мысли его потеряли ясность и последовательность. Он стал забываться, бредил и стонал. Несколько раз ему становилось лучше. Казалось, организм, подорванный застарелой сахарной болезнью, победил. Желание жить, действовать возвращалось тогда к Александру Ивановичу с новой силой. Так много хотелось ему еще сделать, написать, донести до России. Герцен верил, что время революции во Франции приспело. Все последние месяцы он остро ощущал ее освежающее приближение. Париж пробуждался для борьбы за свободу. Герцен неутомимо посещал сходки, лекции, народные

собрания, молодея, радуясь и предвидя, что протестующий народ скоро низвергнет Бонапарта.

Но неодолимый недуг оказался убийственным.

— Я умру параличом либо воспалением легких,— часто говаривал Герцен близким и не ошибся.

Проболев пневмонией всего четыре дня, он скончался 21 января 1870 года.

Улица Варенн в Париже так же стара, как и улица Риволи, история которой теряется в глубине веков. Кто только не жил в ее сумрачных домах на протяжении ушедших столетий! Улицы подчас подобны свиткам, на которых прошлое начертало свои письмена. В шестидесятых годах на улице Варенн, в особняке, неподалеку от того, где жил заносчивый и переменчивый поэт Ламартин, поселился историк Гизо, один из образованнейших политиков, обанкротившийся вместе с королем банкиров Людовиком-Филиппом. Тщетно Гизо пытался вернуть себе власть. Ему ничего уже не удавалось. Он, как и Тьер, был сторонником восстановления во Франции династии Орлеанов. Оба эти человека отличались чудовищным честолюбием, но, в то время как Тьер сумел удержаться на политической арене, Гизо исчез с нее и превратился в живой труп. В политике есть свои непреложные правила. Так же как эквилибрист, сорвавшись с колец из-под купола цирка, не сможет, даже если останется жив, вновь подняться на большую высоту, так и политик, сделав ложное движение и свалившись, редко появляется снова. Он казним тем, что жизнь бросает его все ниже и он вынужден быть свидетелем триумфа других. Долголетие становится для него мукой.

Только самоуверенность, граничившая с безумием, усиливаясь с возрастом, помогала Гизо жить. Не в пример своему давнишнему сопернику, все еще бодрому старцу Тьеру, Гизо заметно одряхлел. Все реже на мощенной широкими плитами улице Варенн раздавался негромкий стук колес его богато украшенной резьбой и гербами кареты, запряженной парой добрых коней. Этот нарядный выезд завещала ему, умирая, многолетняя возлюбленная, известная в Европе русская княгиня Дарья Христофоровна Ливен. Гизо свято чтил ее память и с грустью вспоминал счастливые долгие годы их взаимной любви.

Неподалеку от хмурого особняка Гизо проживал сенатор Наполеона III барон Дантес Геккерен, высокий, представительный, седовласый, дородный господин с бездумным и бездушным скульптурно правильным лицом. Невозможно представить себе более самодовольного и самовлюбленного человека, нежели этот признанный баловень женщин и вельмож. Легко, беспечно протекала жизнь знатного преступника, убийцы Пушкина. Судьба Дантеса как бы еще и еще раз опровергала веру в возмездие. В жизни хищного барона никогда не происходило никаких потрясений. Богатство, служебные и семейные удачи, долголетие — все сопутствовало ему постоянно. Он гордился своим преуспеянием и всем, что совершил за долгую жизнь, похваляясь даже подлым убийством, которое считал делом чести. Дантес был бы счастлив вполне, если бы не мысль о возможной революции, которая одна тревожила его сон.

На одном из перекрестков улицы Варенн находилась большая мастерская дамского платья под вывеской «Майские цветы». Портнихи в этом заведении славились своей привлекательностью. Все они были молоды. Одной из самых хорошеньких считалась Катрина Сток. Ее волосы янтарного цвета, глубокие матово-черные глаза и гибкая фигурка вызывали откровенные вожделения у господ, сопровождавших заказчиц. В обязанности Катрины входило также протирать узкое окно-витрину и раскладывать там соблазнительные модные наряды. Она была несловоохотлива, и с ней трудно было сблизиться. На улице Варенн Катрину уважали за ее сдержанность и, главное, недоступность. К удивлению кумушек, она, очевидно, не имела зажиточного любовника, как большинство ее подруг, и возвращалась домой всегда одна.

— Это тем более странно,— говорила владелица мастерской,— что она круглая сирота. Про родных Катрины я слыхала мало хорошего. Отец, портной, будто бы был отчаянный республиканец и даже враг нашего императора. Он погиб неизвестно где и как. Вероятно, расстреляли, как всех бунтарей сорок восьмого года, а мать, из той же породы красных, оказалась счастливее и умерла от холеры. Но девочка смиренница и не интересуется политикой. Мне кажется, она даже молится, иначе что бы ее удерживало от распутства. Говорят, ее воспитала жена брата, весьма порядочная женщина. Если бы девчонка не

была таких строгих правил и не презирала аристократов, то я давно помогла бы ей найти себе богатого покровителя. Господин Дантес, например, сохранивший, несмотря на возраст, все свое очарование, не раз уже расспрашивал меня о ней. А ведь он истый аристократ и знает толк в женщинах... Нет, положительно эта девчонка не понимает своего счастья и возможностей улицы Варенн.

Катрину вырастила Жаннетта. С детства она внушала ей благоговейную любовь к усопшим близким.

— Твой отец,— говорила Жаннетта,— лучший из людей, каких я видывала. Его совесть была что родниковая вода. Он знал все, точно был не портным, а каким-нибудь профессором, и ничего никогда не боялся. Я могла бы о нем говорить тебе много, если бы слова не были так бедны по сравнению с его живым образом. Но я давно замечаю, что очень трудно говорить о людях так, чтобы они были на себя похожи. Ты сердцем пойми его и люби.

— А моя мать? Расскажи о ней,— просила Катрина, которая не помнила родителей.

— Сама доброта. Никогда ни на что не жаловалась и себя не жалела. Что еще о ней вспомнишь? Я никогда не видела ее рук без работы. Она была матерью не только для своих собственных детей, но для всякого, входившего в ваш дом.

Жан Сток, брат Катрины, по-прежнему работал машинистом на паровозе. Он жил безбедно с Жаннеттой на одной из улиц близ Северного вокзала. Приходя домой, Катрина по тому, висел ли в коридоре остро пахнущий мазутом, измазанный рабочий костюм Жана, узнавала, дома ли он. Это случалось, однако, не часто. Машинист постоянно бывал в разъездах. Прошло уже несколько лет, как Жан с Жаннеттой похоронили своего единственного грудного ребенка, а горе их все еще было острым. К тому же Жаннетта по-прежнему болезненно относилась к тому, что была на десять лет старше мужа.

— Я могла бы быть уже бабушкой, я стара,— повторяла без улыбки жена машиниста, хотя никто не мог бы дать ей сорока пяти лет, которых она достигла. Все так же Жаннетта была привлекательна. На вздернутом носике, как и в юности, не исчезали яркие веснушки. И по-прежнему Жан нежно говорил, что лицо ее посыпано перцем.

Квартира Стока была всегда открыта для единомыш-

ленников. Член Французской секции Международного Товарищества Рабочих, он был таким же убежденным коммунистом, как и его убитый Луи Бонапартом отец.

Жизнь машиниста текла сравнительно спокойно, покуда июльским ясным днем над Парижем, а затем над Европой не разнеслось, как похоронный колокольный звон, мертвящее душу слово «война».

Война — великое преступление, которое, по выражению Вольтера, не оправдывает даже победа. Жан Сток не был взят в солдаты. Он остался на своем паровозе, возившем отныне составы с войсками, оружием, продовольствием.

Четыре года правительство Наполеона III готовило нападение на Пруссию, хвастливо объявляя о мощи имперской армии. Но уже первые столкновения с пруссаками показали, как далеко зашел распад империи Луи Бонапарта.

Объявление войны вызвало подъем патриотических чувств в германских государствах. Все немецкие провинции усиленно помогали Пруссии, у которой было несколько хорошо организованных армий. Французы терпели поражение за поражением. В тылу страны, в Париже, было неспокойно. Огюст Бланки тайно вернулся во французскую столицу и поднял вместе со своими приверженцами восстание против Бонапарта. Однако и на этот раз бланкисты потерпели поражение, как некогда созданное неистовым революционером «Общество времен года». Но Бланки и его единомышленники не сложили оружия.

В самом начале войны Генеральный Совет Интернационала обратился с воззванием ко всем рабочим мира.

«Английский рабочий класс,— говорилось в заключение в этом написанном Марксом документе,— протягивает руку дружбы французским и немецким рабочим. Он глубоко убежден, что, как бы ни кончилась предстоящая отвратительная война, союз рабочих всех стран в конце концов искоренит всякие войны. В то время как официальная Франция и официальная Германия бросаются в братоубийственную борьбу, французские и немецкие рабочие посылают друг другу вести мира и дружбы. Уже один этот великий факт, не имеющий себе равного в истории, открывает надежды на более светлое будущее. Он показывает, что в противоположность старому обществу

с его экономической нищетой и политическим безумием нарождается новое общество, международным принципом которого будет — *мир,* ибо у каждого народа будет один и тот же властелин — *труд!*

Провозвестником этого нового общества является Международное Товарищество Рабочих».

Фридрих Энгельс, знаток в области военных наук, пристально изучал все сводки и сообщения с фронта. Он писал в это время обзоры для почтенного аристократического органа «The Pall Mall Gazette», обладавшего необычным свойством — неподкупностью. Маркс, ценивший столь редкое для лондонской печати качество газеты, был одно время также связан с нею.

Один из влиятельных сотрудников редакции летом 1870 года предложил Марксу отправиться в Германию, чтобы писать оттуда обзоры. Миссию военного корреспондента взял на себя вместо Маркса Энгельс. Не выезжая из Манчестера на театр военных действий, он писал замечательные обзоры. В этих работах проявились его врожденный талант полководца, проницательность и глубокие военные знания. «Таймс» как-то поместил передовую, полностью списанную с двух его статей. Особенно ошеломляющей по силе предвидения была опубликованная в газете корреспонденция Энгельса, в которой он за несколько дней до Седанского разгрома не только предсказал его неизбежность, но и указал примерное место капитуляции французов. Пророчество его сбылось с разительной точностью.

Первого сентября на рассвете немецкие войска вступили в бой под Седаном с французами, зажатыми на узком пространстве между рекой Мец и бельгийской границей. Силы противников были неравны. Немцы располагали значительным численным превосходством и отличным вооружением, французы были истощены многочисленными поражениями и не имели хорошей артиллерии. Армия императора под командованием Мак-Магона была наголову разбита. Около трех часов того же дня Наполеон III приказал выбросить белый флаг на крепостной башне Седана. Вслед за тем, не скрывая от окружающих страха, он отправил прусскому королю постыдное послание: «Дорогой мой брат, так как я не сумел умереть среди своих войск, мне остается вручить свою шпагу Ваше-

му величеству. Остаюсь Вашего величества добрым братом. Наполеон».

Не первый раз в своей жизни Луи Бонапарт в минуту опасности проявлял трусость и ничтожность души. Стотысячная армия сдалась в плен врагу.

Предвидение Энгельса снискало ему несокрушимый авторитет и восхищение друзей и соратников.

Маркс писал другу: «Если война продолжится еще некоторое время, ты будешь скоро признан *первым военным авторитетом в Лондоне»*.

Женнихен назвала Энгельса «Генеральным штабом», и с той поры прозвище «Генерал» прочно утвердилось за ним до самого конца жизни.

«Французская катастрофа 1870 г. не имеет параллелей в истории нового времени! — писал Маркс.— Она показала, что официальная Франция, Франция Луи Бонапарта, Франция правящих классов и их государственных паразитов — гниющий труп».

Спустя два дня после капитуляции Луи Бонапарта во Франции была объявлена республика. Об этом Карлу Марксу телеграммой сообщил член Интернационала молодой журналист Шарль Лонге.

Итак, правитель, заклейменный вечным позором Марксом в его книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», был наконец низвергнут.

«Военный заговор в июле 1870 г. является только исправленным изданием coup d'état[1] в декабре 1851 года... Вторая империя кончится тем же, чем началась: жалкой пародией»,— предсказал Маркс еще в первом воззвании Интернационала по поводу франко-прусской войны.

Жестокий узурпатор, бессовестный авантюрист и алчный казнокрад девятнадцать лет диктаторствовал во Франции. Он попирал законы нравственности и справедливости, сеял тьму, расправлялся с честными, одаренными людьми, подавляя свободу, мысль, совесть и права народа. Он был смертельным врагом Интернационала и готовил заговор с целью уничтожить его, как опаснейшего противника. Много лет с Луи Бонапартом упорно, неустрашимо боролись коммунисты, твердо веря в его бесславный конец.

---

[1] Государственного переворота *(франц.)*.

В течение двух десятилетий редактор «Новой Рейнской газеты», глава Интернационала, неустанно разоблачал гнусность реакционного режима Французской империи. И вот свершилось. Коронованный прохвост пал.

Политический горизонт над Францией был мрачен. События развивались с калейдоскопической неожиданностью. Едва весть об объявлении республики достигла Лондона, Генеральный Совет Интернационала возглавил внушительное движение английских рабочих за немедленное признание правительством Великобритании нового режима во Франции. Маркс непрерывно вел переписку с Парижским федеративным советом Интернационала.

Перед отъездом в бунтующую революционную Францию к Марксу пришел тридцатилетний Огюст Серрайе, рабочий, мастер по выработке обувных колодок, член Генерального Совета, отправлявшийся в Париж в качестве представителя Международного Товарищества. Несколько часов провел он в деловой беседе с вождем Интернационала. Они обсуждали, какой именно линии следует придерживаться парижским секциям Товарищества.

Время было тяжелое. Франко-прусская война продолжалась. Немцы побеждали. Рабочие Парижа вместе с другими тружениками, низвергнув империю, провозгласили республиканский строй. Тем не менее власть в стране захватила буржуазия. Прусские войска двигались к Парижу, хотя Французская республика не угрожала более германскому единству, как это было при правлении Луи Бонапарта. Война теряла былой смысл, Германии больше не приходилось обороняться. Но еще до боев под Седаном Марксу стало ясно, что правящая верхушка Германии, поддерживаемая юнкерством и буржуазией, поняв, сколь слаб Бонапарт, решила продолжать войну, чтобы отторгнуть от Франции по меньшей мере богатые провинции Эльзас и Лотарингию. Захватнический поход Пруссии вызвал, как то предвидели Маркс и Энгельс, взрыв патриотизма во Франции и могучее стремление народа отстоять Республику от вражеского нашествия.

Обо всем этом говорили Маркс и Серрайе. Вскоре агент Генсовета отправился в объятую тревогой Францию.

Карл Маркс взялся составить второе воззвание ко всем членам Международного Товарищества Рабочих в

Европе и Соединенных Штатах. В этом большом документе он выразил суровый протест пролетариата против захвата реакционной Пруссией Эльзаса и Лотарингии у молодой Французской республики, а также досконально исследовал подспудные движущие силы франко-прусской войны. С потрясающим даром предвидения охарактеризовал Маркс создавшееся положение.

«...Мы приветствуем учреждение республики во Франции,— говорилось в воззвании,— но в то же время нас тревожат опасения... Эта республика не ниспровергла трон, она только заняла оставленное им пустое место. Она провозглашена не как социальное завоевание, а как национальная мера обороны. Она находится в руках временного правительства, состоящего частью из заведомых орлеанистов, частью из буржуазных республиканцев, а на некоторых из этих последних июньское восстание 1848 г. оставило несмываемое пятно... Орлеанисты заняли сильнейшие позиции — армию и полицию, между тем как мнимым республиканцам предоставили функцию болтовни. Некоторые из первых шагов этого правительства довольно ясно показывают, что оно унаследовало от империи не только груду развалин, но также и ее страх перед рабочим классом...

Таким образом, французский рабочий класс находится в самом затруднительном положении. Всякая попытка ниспровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг... Им нужно не повторять прошлое, а построить будущее. Пусть они спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает им республиканская свобода, чтобы основательнее укрепить организацию своего собственного класса. Это даст им новые геркулесовы силы для борьбы за возрождение Франции и за наше общее дело — освобождение труда».

На чрезвычайном заседании Генерального Совета Маркс зачитал написанное им воззвание. Принятое Генеральным Советом, оно было немедленно издано в виде листовки на английском языке в количестве тысячи экземпляров.

...Приближалось 20 сентября, когда наконец должна была осуществиться давнишняя мечта Маркса и Энгельса. Им предстояло отныне жить в одном городе. Женни Маркс деятельно готовилась к окончательному переезду своих друзей из Манчестера в Лондон. Она подыскала летом для семьи Энгельса удобное жилище, неподалеку от Мейтленд-парк, и подробно написала об этом в Манчестер:

«Только что вернулась домой после поисков и спешу сообщить вам о результатах. Я нашла дом, который вызывает наше всеобщее восхищение своим изумительно красивым и удобным расположением. Женни и Тусси были со мной, и обе находят его особенно очаровательным...

Конечно, очень важно, чтобы Вы и Ваша супруга сами его посмотрели, и притом возможно скорее, так как на такой хорошо расположенный дом, наверное, скоро найдутся охотники...

Мне очень хочется отнести эти строки на почту сегодня же вечером, чтобы Вы в течение завтрашнего дня могли все обдумать.

Поэтому наскоро прощаюсь.

Ваша *Женни Маркс*».

Женни и Ленхен тщательно и многократно осматривали просторный дом на Риджентс-парк, где собирались поселиться Энгельс, его жена Лиззи и их маленькая племянница Мери Эллен. Долго совещались обе женщины с подрядчиком по ремонту, проверили оконные рамы и дымоходы и настояли на том, чтобы парадные комнаты были оклеены красными, под бархат, обоями. Даже самый тщательный осмотр весьма предусмотрительной и хозяйственной Ленхен не выявил изъянов: дом был признан вполне годным для жилья.

В Модена-вилла шли усиленные приготовления к приему гостей. Женни сочла, что Энгельсу с семьей надлежит остановиться по приезде сначала в Модена-вилла и жить там до тех пор, покуда дом на Риджентс-парк не будет полностью меблирован и приведен в порядок.

Наконец настал долгожданный, радостный для обоих друзей день. Окончательно уладив в Манчестере все дела по уходу из торговой фирмы, Энгельс навсегда переехал в Лондон. Спустя две недели его единогласно избрали

членом Генерального Совета Интернационала, и он взялся вместе с Марксом за руководство международным рабочим движением.

Деятельность Интернационала в Германии совпала с завершением промышленного переворота. Увеличилось число машиностроительных заводов, поднялась мощность паровых двигателей. В металлургии строились мартеновские цехи. Механические ткацкие станки вытеснили ручные. Возникли новые акционерные общества и крупные банки. Объединение страны стало явной экономической необходимостью.

К началу франко-прусской войны в Германии насчитывалось уже около восьмисот тысяч фабричных рабочих, однако успеху их политической борьбы мешали последователи Лассаля, утверждавшие, что капиталисты не могут поднять заработную плату и сократить рабочий день, длившийся двенадцать, а то и шестнадцать часов в сутки, так как это грозит им банкротством.

Швейцер, возглавивший Всеобщий германский рабочий союз после смерти Лассаля, поддерживал контрреволюционный план Бисмарка, стремившегося объединить Германию сверху «железом и кровью» под главенством Пруссии. Во Всеобщем германском рабочем союзе вскоре произошел раскол. Следуя указаниям Маркса и Энгельса, их единомышленники объединили те рабочие союзы, которые придерживались взглядов Интернационала.

С середины шестидесятых годов среди руководителей немецких рабочих появился молодой токарь Август Бебель.

По рождению он не был пролетарием, но вырос в семье, испытавшей много несчастий и потерь, и уже в четырнадцать лет стал у станка, чтобы не умереть с голоду. На себе и своих близких Бебель познал, как несправедливо устроено все в мире. Нищета была и его спутницей. Он видел часто безработных, покупавших у нищих объедки, полученные как подаянье. Сердце его не раз плакало от жалости к людям, и он еще юношей решил посвятить свою жизнь борьбе за рабочих, среди которых вырос. Глаза Августа Бебеля поражали умом, волей и бесконечной грустью. Талантливый, трудолюбивый, своеобычный, отзывчивый, отлично знавший нужды пролетариата, он стал влиятельным революционером.

Дружба с Вильгельмом Либкнехтом предопределила его политическую судьбу. Он сделался решительным приверженцем Интернационала.

В 1869 году проходила конференция германских сторонников Международного Товарищества Рабочих, на которой было решено в том же году созвать съезд. Он состоялся в августе в маленьком городке Эйзенахе и положил начало основанию Социал-демократической рабочей партии Германии. При многих неверных, вполне лассальянских положениях программа новой партии явилась важным достижением для германских рабочих, так как провозглашала классовую борьбу, международное пролетарское единство и выдвигала демократические требования.

Эйзенахцы, как называли эту ветвь социал-демократов, в отличие от лассальянцев, отстаивали идею объединения Германии «снизу». Они боролись против всяких уступок пруссачеству, бисмарковщине, национализму.

Когда началась франко-прусская война, трудящиеся Германии не позволили Бисмарку одурманить себя угаром ложного патриотизма.

«Рабочие всех стран — наши друзья, а деспоты всех стран — наши враги»,— объявили пятьдесят тысяч рабочих Хемница.

Их поддержали машиностроители Брауншвейга, братски протянувшие руку пролетариям Франции. Берлинская секция Интернационала заявила, что ни звуки труб, ни гром пушек, ни победа, ни поражение не отвратят трудящихся от общего дела объединения рабочих всех стран.

Идеи Интернационала пробились к рабочим.

Бебель и Либкнехт находились в постоянной связи с Марксом и Генеральным Советом. После падения империи Наполеона III Бебель голосовал в рейхстаге против кредитов на военные цели и был арестован. Однако рабочие избрали его в Общегерманский рейхстаг и таким образом вызволили из тюрьмы. Верный идеям Генерального Совета Интернационала, Бебель на заседаниях рейхстага смело возражал против отторжения от республиканской Франции Эльзаса и Лотарингии.

В долгожданный счастливый день низложения Наполеона III и провозглашения Республики Жан Сток украсил паровоз красным флагом. Он громко пел «Марселье-

зу» под стук колес. На полустанках обнимался с кочегарами и машинистами встречных поездов и кричал:

«Да здравствует Республика на веки веков!»

В одном из узловых депо стихийно возникло собрание.

— Дождались, дожили до праздника. Наконец-то прохвост, палач и вор Бонапарт пал. Жаль, что ему удалось бежать за границу. Он слишком дорого стоил Франции, как и все, впрочем, Бонапарты,— говорил Сток собравшимся.— Идол оказался на глиняных ногах. Сейчас всем видно, какого урода тащили мы на своих горбах, а вчера еще многие надрывались от крика, что император, дескать, великий правитель, мудрый отец народа и слава страны. Продажные души, слепцы и мерзавцы! Они рассчитывали получать от него титулы, поставки, доходные места, измываться безнаказанно над трудящимися. Я-то имею право требовать ответ у всех лизоблюдов из чиновников и буржуазии, как и многие мне подобные пролетарии. Я едва не сдох в императорской тюрьме. Кровью моего отца обагрены руки Луи Бонапарта. Много на его совести человеческих жертв и слез. К суду подлеца! Мы наказываем даже за случайное убийство, но милостивы к оптовому злодею. Преступник исчез. И что же он оставил нам? Кровопролитную войну, позор отступления, голод, обворованные армии. Но народ привык жертвовать собой ради родины. Спасем же Францию и утвердим в ней Свободу, Равенство и Братство!

В эти горячие дни Жан Сток многократно выступал с трибуны. Жаннетта больше не страшилась за мужа и давала ему выговориться. В течение двух десятилетий во Франции народ не решался открыто говорить то, что думал. Появился особый сорт людей, выгодный установившемуся режиму самовластья и поощряемый им.

Подхалимы, лицемеры, лгуны и трусы чувствовали себя отлично. Но есть незыблемая историческая закономерность, согласно которой в годы жестокого произвола и бесправия рождаются небывало смелые, дерзкие свободолюбцы. Они, как и все истинно значительные человеческие души, подобны благородным металлам и не изменяются, не темнеют от едких кислот деспотизма.

Одним из таких людей, литых из золота, был Эмиль-Виктор Дюваль, тридцатилетний, жизнерадостный, энергичный рабочий-литейщик, близкий друг Жана Сто-

ка. Его избрали секретарем Федерального совета Парижских секций Международного Товарищества Рабочих, где он сумел приобрести всеобщее доверие и уважение. Одной из отличительных черт его было бесстрашие и проницательный ум. Незадолго до свержения империи Эмиль Дюваль был арестован. На дне бельевой корзины он передал тайком на волю письмо к брату, находящемуся в армии:

«Пишу тебе эти несколько слов, чтобы приветствовать тебя. Надеюсь, что мое письмо застанет тебя в добром здравии, несмотря на жестокое разочарование, которое должна была испытать армия в связи с недавними проигранными ею сражениями.

Мы все чувствуем себя сносно. Моя теща получила известия из наших краев. Она, как и мы, желает тебе побольше здоровья и мужества. С воскресенья, седьмого августа, я нахожусь в тюрьме за совершенное мною преступление — принадлежность к Интернационалу. Меня осудили на два месяца. Я не прошу тебя посылать нам сведения о войне. Мы их получаем из газет, и в них веселого мало,— но это тебе не мешает сообщать нам о себе. Парижские новости тоже малорадостны, хотя патриотизм населения достиг наивысшей степени. Со всех сторон требуют *оружия*, чтобы помочь вам отомстить за ваши поражения, но для вступления в армию надо пройти через столько формальностей, что вряд ли результат будет соответствовать чаяниям народа.

Не могу писать об этом подробней, ты догадываешься почему. Подай нам весточку о себе поскорее, так как нас беспокоит ваша судьба... Заканчиваю, братски жму твою руку, мужайся и не теряй надежды, может быть, избавление от тирании ближе, чем это предполагают.

Твой брат и друг *Э. Дюваль*, заключенный в Сент-Пелажи».

В первый вечер Республики у Стока собралось несколько товарищей по Парижской секции Интернационала. Раньше всех пришли Серрайе и недавно освобожденный из тюрьмы Дюваль с женой. Это была миловидная женщина маленького роста, очень кокетливая, с рыженькой челкой, прикрывающей лоб. Чрезвычайно подвижная, смешливая, она была похожа на подростка.

Дювали принесли кусок превосходно зажаренного мяса — лакомство, ставшее редкостью со времени войны.

— Это тетка прислала нам из деревни, и очень кстати, лучшего повода попраздновать нельзя было и выдумать,— тараторила маленькая гражданка Дюваль.

Огюст Серрайе только что прибыл из Лондона в качестве полномочного представителя Генерального Совета. Этот рабочий был одним из наиболее надежных помощников Маркса и Энгельса в суровую пору. Родившись в Англии, он мало походил на француза, был очень сдержан, скрытен, умел помолчать на людях, однако на трибуне мгновенно загорался и становился убедительно красноречивым. Свободно владея английским и французским, глубоко изучив научный социализм, он был весьма полезным деятелем Интернационала. Среднего роста, худощавый, он обращал на себя внимание огненно-рыжей бородой.

Жаннетта и Катрина с помощью говорливой гостьи принялись накрывать на стол и готовить ужин. Все три женщины полны были радужных надежд и строили планы на будущее.

— Весной Жан свезет нас всех на своем паровозе в Нормандию,— размечталась Жаннетта,— я видела море пока-что только на картинках.

— Эмиль хочет съездить в Англию, у него есть дела в Генеральном Совете Товарищества. Может быть, лучше отправиться нам всем на этот остров. Там у нас найдется много друзей.

— Как это было бы замечательно! Но я всегда пугаюсь: когда все хорошо,— это перед дурным.

— Ну что ты, Жаннетта! Ведь теперь иные времена — Республика, война вот-вот кончится. Она не нужна нам,— возразила Катрина.

— Вы обе молоды и ничего не помните. А тот, кто пережил лето тысяча восемьсот сорок восьмого года, не может быть спокоен. Революция тяжела и опасна, как роды. Может родиться и мертвый ребенок.

— Но ведь обычно новорожденные живучи,— запротестовала жена Дюваля.

Громкий стук в дверь прекратил разговор. В комнату с шумными приветствиями вошли рабочий-красильщик Бенуа Малон, упитанный крепкий парень, отбывавший недавно, так же как и Дюваль, тюремное заключение за

принадлежность к Интернационалу, и худощавый, узколицый чеканщик Толен. Он достал из кармана широкой, навыпуск, клетчатой блузы бутылку вина.

— О-ла-ла! Багровое бордо! Такое мы пили только до войны. Вот удача, право, у нас будет настоящий пир,— воскликнула бойкая жена Дюваля. Рыжая челка растрепалась на ее низком лбу.

Но ее муж и Сток холодно встретили появление Толена. Он пришел незваным. С некоторых пор в секции к нему стали относиться с недоверием. Это был весьма скрытный человек с лицом, чем-то напоминавшим крысу. Толен часто и запросто посещал Жерома Бонапарта, близкого родственника свергнутого императора, прозванного Плонплоном, который в течение многих лет изображал из себя рьяного поборника республики и заигрывал с противниками цезаристского режима. Весьма богатый и чрезвычайно похожий на Наполеона I, он не терял надежды с помощью подкупа и демагогии занять когда-нибудь престол.

Жаннетта позвала всех к столу, торопя приступить к ужину.

— Где же твой постоялец Врублевский? — спросил Стока Серрайе.— Этот поляк стоит многих французов и заслуживает полного доверия.

— А это теперь главное,— добавил литейщик Дюваль многозначительно, скосив глаза на Толена.

— Задержался у соотечественников. Они тоже празднуют рождение нашей Республики,— живо отозвалась Катрина и тотчас же залилась румянцем.

— Понятно. Наш доблестный офицер достоин любви хорошей девушки. Как знать, не появится ли у Жана и Жаннетты скоро новый родственник,— хитро улыбаясь и добродушно посмеиваясь, заметил Малон.

— Вовсе нет. Врублевский просто наш друг и занимается со мной грамматикой,— еще больше смутившись, пролепетала девушка.

— Значит, будущий зять. С родственниками, кто бы они ни были, хорошо только одно — лежать рядом на кладбище. Можете мне поверить,— вдруг изрек Толен, вызвав, однако, не смех, как того хотел, а тягостное недоумение.

— Неправда,— вмешалась Жаннетта,— плохо, когда нет родных.

— Родня. Да это клад. О-ла-ла! У кого же тогда оставлять ребенка, когда, к примеру, надо отнести мужу в тюрьму передачу,— добавила жена Дюваля, развеселив всех собравшихся.

— Что у кого болит, тот о том и говорит. Теперь уж меня больше не схватят, малышка,— отозвался литейщик.

— Но зато если поволокут, то уж на расстрел,—жестко вставил Толен.

— Нет, шутишь. Мы дешево не дадимся. Всех не перебить и несдобровать тому, кто посягнет на Республику. А впрочем, к черту мрачные разговоры. Выпьем, друзья, за Интернационал, за победу революции! — громко объявил Сток и добавил: — Да, братья, пора думать о том, как рабочему взять власть. Варлен уверен, что час наш пришел.

— Это неизбежно,— заметил Малон, поднимая бокал.— Чем скорее, тем лучше. Итак, за Свободу и Равенство!

Все чокнулись и принялись есть с явным аппетитом. Неслышно открылась дверь, и на пороге появился широкоплечий мужчина среднего роста.

— А вот и Валерий,— искренне обрадовались хозяева и гости.

Врублевский подошел к столу. Это был светлый блондин с пышными вьющимися волосами, откинутыми назад с большого выпуклого лба. Кожа на его лице стала рябой от недавно перенесенной оспы, но крупные, строгие черты его были очень привлекательны и отражали волевой, прямой характер. В осанке и походке Валерия была та особая подобранность и стройность, которые присущи обычно военным. В свое время он учился в Виленском шляхетском учебном заведении. После окончания Петербургского лесного института, где Врублевский приобщился к учению русских революционных демократов, он уехал в Гродненскую губернию. Общительный, терпеливо-внимательный к людям, Врублевский стал неутомимым пропагандистом борьбы с царизмом среди белорусских крестьян. Польским революционерам было очень важно завербовать для подготавливаемого ими в строгой тайне восстания надежных людей, которые в нужный момент смогут помогать повстанцам, доставляя патроны, снабжая их

провизией, скрывая от преследователей в дремучих чащах непроходимых лесов.

В 1863 году, когда поляки поднялись на своих притеснителей, Врублевский командовал повстанческим отрядом. Он оказался превосходным военным руководителем, рьяно преданным народному делу. Восстание было жестоко подавлено. Многие друзья Врублевского погибли — кто в боях, кто на виселице. Сам он, дважды раненный, был вывезен за границу в карете одной смелой патриотки. Оправившись от болезни, он переехал в Париж. В изгнании Врублевский бедствовал. Довольно долго он добывал пропитание, работая в мэрии: чистил и зажигал по вечерам газовые фонари на улицах, на рассвете гасил их. Но это было не худшее время в его жизни. Он изучил Париж, его людей, их нравы, особенности, беды, освоил в совершенстве чужой язык. У него появилось много друзей среди тех, кто, подобно ему, тяжелым трудом зарабатывал кусок хлеба. Бодрость никогда не покидала молодого поляка. В свободные часы он прилежно изучал военное дело и добился даже того, что посещал школу генерального штаба.

— Революции в наш век неизбежны, и для победы им потребуются надежные знатоки военного дела,— уверял Врублевский.

Он освоил типографское дело и поступил на работу в издательство, где выпускали книги также и на польском языке. В это время его подстерегла и свалила свирепствовавшая в Париже оспа. Он перенес ее один, в своей каморке со свойственным ему стоицизмом, лечась только по собственной методе и наотрез отказавшись лечь в госпиталь, где была высока смертность.

«Животные,— размышлял Врублевский,— перестают есть, когда тяжело заболевают. Они покорно ложатся, отказываясь от пищи, очевидно для того, чтобы облегчить организму борьбу с раздирающей его инфекцией и не отвлекать кровь к желудку. Инстинкт ближе к нашей физической природе, надо к нему прислушиваться».

За все время своей мучительной болезни он ничего не ел, а пил в большом количестве только теплый чай. Воля к жизни победила, он выздоровел, но кожа на его лице отныне напоминала кожуру земляных орехов.

Все годы пребывания во Франции Врублевский был одним из наиболее видных деятелей левой части польской

эмиграции. Его любили за твердость убеждений, скромность, душевное благородство и самоотверженность.

— Я,— говорил Врублевский,— демократ по убеждению, по духу и по крови, по своему прошлому, по всей своей деятельности. Я не могу ни жить, ни умирать за иную Польшу, чем та, где господство человека над человеком уступит место торжеству свободы, разума и права, где невежество исчезнет перед яркими лучами всеобщего просвещения, а нужда — вследствие добросовестного распределения общественных доходов. Все для народа и через народ. В этом лозунге заключен не только политический идеал нашей родины, но и средство для его осуществления. Все для народа — это значит: свобода личности и коллектива, возникающая из права и возможностей развития у человека всех способностей в области интеллектуальной и политической.

Глубоко преданный идее демократии, Врублевский, однако, не понимал решающего значения классовой войны, он не различал те силы, на которые должны были опереться революционеры в борьбе за свободную и независимую Польшу. В этом сказалась свойственная всем буржуазным демократам, к которым он себя причислял, ограниченность.

Весной 1870 года Валерий Врублевский снял угловую комнату у Жана Стока и почувствовал себя своим человеком в прямодушной, дружной семье машиниста.

В вечер празднования победы Республики поляк пришел домой в приподнятом настроении.

— Здорово, друзья,— сказал он, обходя всех присутствующих и пожимая им крепко руки.— А, Толен, давно мы не видались,— обратился он отдельно к чеканщику,— надеюсь, ты порвал наконец свою дружбу с этим толстым боровом, паразитом Плонплоном.

— На все свое время,— уклончиво ответил Толен.

— Время это ты давно упустил, Анри,— крикнул, посерев от досады, Бенуа Малон и стукнул рукой по столу.

— Чего ты шумишь, того и гляди, полезешь в драку,— сквозь зубы огрызнулся чеканщик.

— А как же говорить с тобой, господин придворный гравер? Толстая кожа, не скажу пока — подлая, требует крепкого кулака,— нашелся красильщик.

Толен привстал:

— Мы еще увидим, Бенуа, у кого какая шкура. Встречал я таких задир, как ты, на своем веку. Плохо кончали. Или ты забыл, сколько раз сам путал, сума переметная? Разве не заигрывал ты и с «Альянсом»? А? Помалкиваешь. Но ты и не анархист, нет, ты, Малон, просто карьерист. «Интернационал — это я» — вот до чего ты договорился, павлин. Людовика Четырнадцатого переплюнуть захотел. Расскажи-ка о своих шашнях с Бакуниным?

Малон потемнел, как желудь, и засучил рукава широкой блузы. Сток властно положил ему на плечо ладонь.

— Успокойся, старина, оба вы не без греха и, что уж отрицать, любите властвовать, оба мастера интриговать. Во сне только и видите, как бы стать мэрами и сенаторами. Прямо не верится, откуда у рабочего берется такой зуд честолюбия. Покипятились, и хватит.

Но Толен и Малон не унимались, и перебранка продолжалась.

— Сегодня споры строжайше воспрещены,— вмешалась Жаннетта, появившаяся из кухни с блюдом дымящихся овощей.

Однако ссора, подогретая вином, не ослабевала. Все шумели, перебивая друг друга.

— Развязались языки, не уймешь,— сказала жена Дюваля.— Так веселее. Я очень люблю разные драки.

— Худшее позади,— громко заявил Толен.

Сток сухо прервал его:

— Болтовня! Сам знаешь: пока буржуазия у власти, можно ждать чего угодно.

— И в первую очередь нож в спину,— подтвердил Дюваль.

На столе все было съедено и выпито. Мужчины вышли в маленькую прихожую покурить.

— Беда наша в том, что войне не видно конца. Как ты думаешь, Огюст, немцы пойдут на замиренье? Им это, пожалуй, сейчас невыгодно.

— Бисмарк, хитрая бестия, жаден как свинья и злобен как волк,— горячился Дюваль.

— Он постарается воспользоваться той неурядицей и развалом, которые Франции достались от ублюдка Бонапарта,— ответил Серрайе.

— Время ураганное. Как тут не вспомнить хорошие стихи.— Откинув большую мужественную голову, Врублевский неожиданно начал декламировать:

...Земля
Подо мною трепещет.
Загудело раскатами эхо громов,
Пламя молний сверкает,
Закружилася вихрями черная пыль,
Налетели и сшиблись
Все противные ветры.

— Ого, да ты поэт, друг поляк.

— Это не я писал, а Эсхил. Он жил более двух тысяч лет назад.

— Значит, и тогда уже были люди не глупее нынешних. «Налетели и сшиблись все противные ветры». Надо же так хорошо сказать! Что ты думаешь делать, Врублевский?

— Вступить в Национальную гвардию. Многие поляки уже начали переговоры с правительством Национальной обороны на этот счет. Пусть нас используют для защиты Парижа. Я избран членом эмигрантской Временной комиссии по этому делу, но пока наши старания безрезультатны.

— Подлюга Трошю боится рассердить русского царя,— с нескрываемой злостью сказал Сток.

— Очевидно. Но вряд ли он сможет не допустить нас в Национальную гвардию. А там как действовать, будет видно по обстоятельствам.

В прихожую заглянули женщины. Им стало скучно. Толен и Малон сразу после ужина уселись за партию шашек. Изрядно выпив, оба были навеселе. Обыгрывая чеканщика, Малон напевал:

Под самой крышей — нищета.
Семья большая, теснота,
Нет ни сапог, ни одеяла.
И смерти здесь не раз помог
Дождь сквозь дырявый потолок.

— Какие грустные и трогательные слова,— сказала ему жена Дюваля,— и, однако, столь неподходящая радостная веселая мелодия. Неужели все это придумали вы сами?

— Мотив действительно противоположен смыслу стихов, но иначе заплачешь, очень уж печальная картина, я

же терпеть не могу драм,— признался Малон.— Это сочинение моего друга, а музыка Иоганна Штрауса, великого мастера оперетты.

— Я хотела бы увидеть настоящего поэта,— мечтательно заметила Катрина, убиравшая посуду со стола.

— Нет ничего проще. Мой поэт не молод, не красив, к тому же он из рабочих. Но Беранже был тоже не маркиз. Зовут его Эжен Потье. Такая девушка, как вы, Катрина, право же, рождена, чтоб вдохновлять поэтов. Я приведу его сюда.

— Постарайтесь явиться к обеду. Жан привезет нам какую-нибудь провизию для вкусной похлебки. Поэты, да еще из рабочих, всегда голодны,— сказала Жаннетта, хлебосольство которой было хорошо известно среди интернационалистов.

Член секции Интернационала, разрисовщик тканей Эжен Потье оказался пожилым, хворым человеком. Он был очень некрасив собой, и Врублевский, отлично знавший античную литературу, нашел в его мясистом лице, обтянутом серой кожей, в очертаниях приплюснутого носа и в щелевидных пронзительных глазах сходство с Эзопом. Но, как это было с великим баснописцем древности, стоило Потье заговорить, невыгодное впечатление от его внешности мгновенно исчезало. Он казался тогда привлекательным. Старый рабочий-поэт любил все прекрасное, был воинствен и глубоко правдив. Он никогда в своих стихах не призывал обездоленных, подобно Беранже, к примирению с судьбой и вооружал их не посохом и сумой для странствий, а требовал, чтоб они готовились к суровой борьбе. Он ненавидел нищету и не старался приукрасить несчастье. Член секции Интернационала и рабочий гвардеец, Потье подписал призыв к немецкому народу о прекращении войны.

— Сейчас на время пришлось расстаться с лирой, чтобы лучше справляться с оружием,— сказал он Катрине Сток в ответ на ее просьбу написать стихи о молодой одинокой швее.

В декабре 1870 года в Модена-вилла пришла высокая, тоненькая, красивая женщина и, подав Ленхен рекомендательное письмо, попросила впустить к гражданину Марксу. Елена Демут внимательно оглядела вошедшую.

— Я русская, моя фамилия Томановская, Элиза Томановская,— сказала девушка.

Ленхен между тем думала, что у гостьи такие же жгуче-черные волосы и правдивые блестящие глаза, как у Женнихен, та же озорная и вместе с тем застенчиво-нежная улыбка, как у Тусси.

— Обождите,— сказала она властно по-английски и прошла к Марксу на второй этаж.

— Мне кажется, ты можешь принять ее, Карл,— добавила Ленхен, назвав фамилию пришедшей и передав письмо.

Маркс вскрыл конверт:

«Дорогой гражданин!

Разрешите в этом письме горячо рекомендовать Вам нашего лучшего друга, г-жу Элизу Томановскую, искренне и серьезно преданную революционному делу в России. Мы будем счастливы, если при ее посредничестве нам удастся ближе познакомиться с Вами и в то же время более подробно осведомить Вас о нашем положении, которое она Вам сможет обстоятельно обрисовать.

Положение это является, несомненно, печальным, так как нам приходится, с одной стороны, преодолевать препятствия, которые ставит на пути всякой свободной пропаганды *царизм,* а с другой стороны, бороться с невежеством и *нечестностью* (выражение отнюдь не слишком сильное), которыми проникнуты все слои так называемого образованного русского общества. К тому же дух групповщины и узость интересов парализуют революционную работу даже среди молодежи; в ее рядах преобладают приверженцы ребяческой игры в революцию, желающие подражать прежним немецким студенческим корпорациям и считающие себя способными произвести революционный переворот *для* народа, но *без* народа, что в России еще менее возможно, чем где бы то ни было. Все это приводит к тому, что большинство из тех, которые по своему положению могли бы и должны были бы быть настоящими пропагандистами Международного Товарищества, далеки еще до понимания его подлинного значения, и от нас потребуется еще немало усилий, чтобы всерьез водрузить и упрочить наше общее знамя в России. Однако мы нисколько не сомневаемся в успешном осуществлении нашей задачи, и мы счастливы, что

инициатива провозглашения необходимости направить русское революционное движение в общее русло движения европейского пролетариата исходила именно от нас...

Г-жа Элиза передаст Вам циркуляры инициативной группы пропаганды, которую мы здесь создали...

Г-жа Элиза напишет нам обо всем, что Вы найдете нужным сообщить, а по возвращении расскажет о том, какое впечатление произвели на нее при более близком знакомстве организации рабочих союзов и политическая и общественная жизнь Англии, и даст нам все сведения о ней. Мы уверены, что Вы своими советами и ценными указаниями поможете ей в изучении этих вопросов, и заранее благодарим Вас за это; помогая ей в ее занятиях, Вы тем самым помогаете всем нам.

Примите, дорогой гражданин, наш братский привет».

Маркс встал и пошел навстречу желанному посланцу из Женевы, оказавшемуся еще очень юной женщиной. Если бы на гостье были пестрые шальвары и атласная шаль, она смогла бы сойти за турчанку, прекрасную Гайде, пленившую байроновского Дон-Жуана.

— Здравствуйте, очень рад вас видеть,— сказал Маркс по-русски, четко выговаривая каждое слово. И вдруг, отечески улыбнувшись, добавил: — А сколько вам лет?

— Девятнадцать,— ответила Элиза. Густые ресницы ее взлетели вверх к бровям и загнулись, как множество вопросительных знаков. На щеках появился пунцовый румянец. Впрочем, она мгновенно подавила вспыхнувшее было смущение под изучающим, но доброжелательным взглядом Маркса.

— Так вы и есть та самая Далила, которая посрамила и лишила силы тучного Самсона-Бакунина на диспуте анархистов в Женеве? Старик Беккер писал мне,— а он знает толк не только в щетках, которые делает,— что вы уничтожили Бакунина смехом. Это самое неотразимое оружие в борьбе с людьми, у которых за фразерством скрывается идейная пустота. Расскажите же, пожалуйста, как все это было.

Элиза, быстро освоившаяся в дружелюбном доме Маркса, проявив незаурядное дарование рассказчика, описала женевское кафе, где собрались анархисты, зазывательные афиши на стенах, на которых Бакунин изображался то

мучеником, то беглым каторжником, то философом, то самим богом разрушения. Элиза небезуспешно пародировала Бакунина, рычавшего с трибуны, осыпавшего клеветническими стрелами Маркса и его партию. По ее словам, речь идеолога анархии была подобна оглушительным взрывам хлопушек. Пустозвонный диспут превратился в скверный балаган, где все могло окончиться дракой. И тогда Элиза Томановская решила прервать нападение разъяренного Бакунина на терявшего самообладание Утина. Она внезапно вскочила на подмостки и, к великому удовольствию публики, пропела на мотив плясовой песни убийственные своей иронией куплеты, сочиненные про Бакунина. Раздался оглушительный смех. Вождь анархизма был сражен и постыдно бежал с диспута, который с самого начала напоминал клоунаду.

Маркс вдоволь посмеялся над рассказом Элизы. Он был приятно удивлен живостью и глубиной ума молодой русской революционерки.

— Я, однако, смутно представляю себе: как этот фразер очутился в Интернационале, доктор Маркс? — спросила Томановская.— Знаете ли вы его близко? Он, как мне показалось, очень ожесточен лично против вас.

— С Бакуниным мы знакомы более четверти века,— начал Маркс.— После долгого перерыва мы встретились опять в Лондоне в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году. Он обещал работать в Товариществе не покладая рук. Я, конечно, не предполагал тогда, что он будет подкладывать мины под наше дело.

Бакунин уехал в Италию,— рассказывал Маркс,— и после нескольких лет, в течение которых о нем ничего не было слышно, опять появился в Швейцарии. Там он примкнул не к Интернационалу, а к буржуазной Лиге мира и свободы. Бакунин вошел в ее исполнительный комитет, но встретил там противников, которые не только противодействовали его диктаторскому влиянию, но и установили за ним надзор, как за «подозрительным русским». Вскоре после Брюссельского конгресса Интернационала Лига мира устроила конгресс в Берне. На этот раз Бакунин выступил как «фиребранд», подстрекатель. Он предложил ряд резолюций, которые сами по себе нелепы и рассчитаны на то, чтобы нагнать страх на буржуазных кретинов и позволить господину Бакунину с шумом выйти из Лиги мира. Достаточно сказать, что его программа,

предложенная Бернскому конгрессу, содержит такие нелепости, как «равенство классов», «отмена права наследования как начало социальной революции», и тому подобную бессмысленную болтовню, целый букет вздорных выдумок,— пошлая импровизация, рассчитанная исключительно на мимолетный эффект. Друзья Бакунина в Париже и в Лондоне раструбили всему миру о выходе Бакунина из Лиги мира, как об исключительном событии, и провозгласили его смехотворную программу — этот винегрет из избитых общих мест — чем-то невероятно оригинальным.

Тем временем Бакунин начал свою деятельность в Романском отделении Интернационала в Женеве. Ему понадобились годы, чтобы решиться на этот шаг. Но не понадобилось и нескольких дней, чтобы господин Бакунин решил совершить переворот в Интернационале и превратить его в свое орудие.

— Мы все в Швейцарии были свидетелями его ловкой эквилибристики. Представьте себе, доктор Маркс, он сделал недавно новое открытие. Бакунин заявил, что в России нет идейнее революционеров, нежели разбойники с большой дороги, а в Италии ими являются босяки.

— Ничто более не удивляет меня в Бакунине. За спиной лондонского Генерального Совета он основал так называемый «Альянс социалистической демократии». Программа этого общества была та самая, которую Бакунин предложил Лиге мира. «Альянс» с самого начала объявил себя обществом пропаганды специфически бакунинской тайной премудрости, а сам Бакунин, один из невежественнейших людей в области социальной теории, неожиданно выступает здесь как основатель секты. Теоретическая программа этого «Альянса» была, однако, всего лишь фарсом. Суть дела заключалась в его практической организации, а именно — это общество должно было быть интернациональным, с центральным комитетом в Женеве, то есть находиться под личным руководством Бакунина. Но вместе с тем оно должно было являться составной частью Международного Товарищества Рабочих.

— И в Лондоне об этом сначала ничего не было известно? — недоумевая, спросила Элиза.

— О нет, Генеральный Совет был осведомлен обо всем. Тем не менее он предоставил Бакунину спокойно действовать до того момента, когда тому пришлось пред-

ставить через Беккèра устав и программу «Альянса социалистической демократии» Генеральному Совету на утверждение. На это последовало подробно мотивированное постановление, составленное вполне юридически и объективно, но в своих обоснованиях полное иронии.

В мотивировочной части постановления,— продолжал говорить Маркс,— было ясно и решительно показано, что «Альянс» является не чем иным, как орудием для дезорганизации Интернационала.

Удар был неожиданным...

Бакунин хотел любым путем добиться своей цели — превратить Интернационал в свое личное орудие. План Бакунина был таков: когда Базельский конгресс примет предложенные им «принципы», то все увидят, что не Бакунин перешел к Интернационалу, а Интернационал — к Бакунину. Отсюда простой вывод: лондонский Генеральный Совет должен будет выйти в отставку, и Базельский конгресс переведет Генеральный Совет в Женеву. А это означало бы, что Интернационал достанется диктатору Бакунину в его полное распоряжение.

Бакунин устроил настоящий заговор, чтобы обеспечить себе большинство на Базельском конгрессе. Не было даже недостатка в поддельных мандатах. Бакунин сам выпросил себе мандаты от Неаполя и Лиона. Против Генерального Совета распространялась всяческая клевета. Одним говорили, что в нем преобладает буржуазный элемент, другим — что это гнездо авторитарного коммунизма. Но на конгрессе предложение Бакунина не прошло, и Генеральный Совет остался в Лондоне.

Маркс познакомил Елизавету Лукиничну со своей семьей. Русская революционерка понравилась всем без исключения в Модена-вилла и вскоре подружилась с Женнихен и Тусси.

История жизни молодой женщины была так же интересна и необыкновенна, как она сама. Дочь богатого помещика Кушелева и мещанки — бонны и сестры милосердия Каролины Доротеи Троскевич, Елизавета с детства получила разностороннее образование, изучила иностранные языки, приобрела манеры и навыки дворянского общества. Ее учителем музыки был Мусоргский.

Лука Иванович Кушелев женился на матери Елизаветы незадолго до своей смерти, но не захотел удочерить девушку. Она осталась незаконнорожденной его

воспитанницей, вполне, однако, обеспеченной материально. Двойственность ее положения, унижения наложили на чрезвычайно порывистую, впечатлительную, одаренную натуру резкий отпечаток. Вольнолюбивые книги и знакомство с протестующей против социальной несправедливости молодежью усилили в душе Елизаветы Лукиничны Кушелевой беспокойное недовольство жизнью, желание добиваться для подобных ей людей иной судьбы. Не в характере Елизаветы было подчиняться сложившимся обстоятельствам. Одна из ее подруг, чтобы получить самостоятельность и право выезда из России, вышла фиктивно замуж. Елизавета Лукинична решила поступить так же. Среди друзей молоденькой девушки был тяжело больной чахоткой отставной полковник Томановский, умный, отзывчивый человек. К нему-то и обратилась она за помощью, так как рвалась прочь из отчего дома, в мир, к борьбе. В этом видела она для себя единственный смысл дальнейшего бытия. Елизавета Кушелева была из тех избранных, самоотверженных, ищущих душ, которые не могут быть счастливы, когда вокруг них столько несчастных.

Томановский внял ей, решил помочь. Вскоре они повенчались и отправились в мнимое свадебное путешествие.

Осенью 1868 года Томановские приехали в Женеву, так как Елизавета Лукинична хотела прежде всего установить связь с русскими революционерами-эмигрантами. Томановская встретилась с Утиным, Бартеневым, Трусовым и другими деятелями русской ветви Интернационала, нашла жизненную цель, друзей. Она смогла помочь изданию журнала «Народное дело» своими деньгами, которые охотно отдала на революцию. В Бакунине проницательная Элиза, как стали звать в целях конспирации молодую русскую революционерку, увидела опасного властолюбца и беспомощного теоретика.

Прошло всего несколько месяцев, а доверие к знаниям, такту, уму Элизы настолько утвердилось в Русской секции Международного Товарищества, что именно на нее пал выбор, когда понадобилось послать к Марксу кого-либо из его русских последователей.

В Модена-вилла всех тревожила судьба Германа Лопатина и исход его попытки спасти Чернышевского, вырвать его из заключения и переправить за границу.

В дни, когда там бывала Элиза, об этом говорили особенно взволнованно. Женни и ее дочери, Елена Демут и Карл Маркс не скрывали своего беспокойства и тщетно силились найти способ помочь самоотверженному революционеру. Что можно было сделать в Лондоне для того, чтобы проникнуть в Иркутский острог?

Не всегда в Модена-вилла Элиза виделась с Марксом. Она проводила интересно и весело время в обществе приятельниц — Женнихен и Тусси, когда отец их бывал занят. Вечера на Мейтленд-парк обычно проходили в игре на фортепьяно, пении, декламации, чтении вслух, рассказах о России и различных путешествиях, шутках и играх. Женни Маркс, когда бывала свободна, охотно присоединялась к молодежи. Остроумная, изобретательная в развлечениях, уникально образованная, увлекательная собеседница, Женни Маркс проявляла большую доброжелательность ко всем близким по духу и целям людям. Элиза Томановская не скрывала своего восхищения госпожой Маркс. Иногда Элиза заходила в рабочую комнату хозяина дома, и тогда часами длилась их беседа. Маркс радовался возможности говорить по-русски и слышать звучание изучаемого им языка. Он читал произведения Чернышевского и весьма интересовался развитием крестьянской общины на его родине. Представительница русской ветви Интернационала оказалась очень сведущей в этом трудном вопросе. Она много видела и продумала, когда жила в имении отца в Псковской губернии. Как-то, не желая отвлекать Маркса от дел личным посещением, она передала ему письмо, когда находилась в гостях у своих приятельниц — Женнихен и Тусси.

«Милостивый Государь!.. Что касается альтернативы, которую Вы предвидите в вопросе о судьбах общинного землевладения в России, то, к сожалению, распад и превращение его в мелкую собственность более чем вероятны. Все меры правительства — ужасающее и непропорциональное повышение податей и повинностей — имеют своей единственной целью введение индивидуальной собственности путем отмены круговой поруки. Закон, изданный в прошлом году, уже отменяет ее в общинах, население которых составляет меньше 40 душ (мужских, женщины, к счастью, не имеют души); официальная и либеральная пресса нисколько не стесняются громко кричать

о благодетельных, по ее мнению, последствиях этого мероприятия. И действительно, столь прекрасное начало много обещает.

Я позволяю себе послать Вам номер «Народного дела», в котором разбирается этот вопрос, полагая, что у Вас, возможно, нет полного комплекта этого журнала.

Вы несомненно знакомы с вышедшим в 1847 году трудом Гакстгаузена, в котором рассматривается система общинного землевладения в России. Если у Вас случайно его нет, то прошу сообщить мне об этом. У меня есть экземпляр на русском языке, и я могу тотчас же послать его Вам.

Этот труд содержит много фактов и проверенных данных об организации и управлении общин. В статьях об общинном землевладении, которые Вы теперь читаете, Вы увидите, что Чернышевский часто упоминает эту книгу и приводит из нее выдержки.

Я не хочу, конечно, посягать на Ваше время, но если в воскресенье вечером у Вас найдется несколько свободных часов, то я убеждена, что Ваши дочери будут так же счастливы, как и я, если Вы проведете их вместе с нами...».

Элиза Томановская, в которой чудесно сочетались юность, красота, женское обаяние с чисто мужским умом, отвагой и волей, обрела дружбу и доверие Маркса. Обе Женни, старшая и младшая, Тусси и Елена Демут также относились к молодой русской как к родному и близкому им человеку.

В Модена-вилла Елизавета Лукинична увидела Энгельса, который в шутку отрекомендовался ей Федором Федоровичем, так он иногда подписывался под письмами к русским людям.

Пребывание Томановской в Англии совпало с бурным периодом в истории Франции.

Всякая война, как туча, несет в себе грозу и бурю, срывающую зрелые и незрелые семена, поднимающую с земной поверхности плодородный слой и камни, растения и сор. Она полна неожиданностей.

Единственным спасением от нашествия Пруссии на Францию, после свержения Наполеона III, как считал Маркс, было вооружение всех парижских рабочих.

«Но вооружить Париж,— писал Маркс,— значило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским агрес-

сором была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами».

Больше, нежели внешнего своего врага, боялась французская буржуазия пролетариев-одноплеменников. Отстаивающее интересы богачей правительство, естественно, стало правительством национальной измены.

Предатели министры Трошю и Фавр не обеспечили население столицы продовольствием и обрекли его на голод. На фронте поражение следовало за поражением. Французские войска сдавались в плен. Глава правительства Трошю тайно встретился с Бисмарком. Весть об этом скоро проникла в народ, и завеса обмана была разорвана. Французские рабочие поняли, что их одурачивают. Всем стало ясно, что временное правительство, вопреки заверениям, заботилось не об обороне, а о капитуляции.

В то же время трудовое население, несмотря на все возрастающую нужду, было преисполнено героической готовности воевать за освобождение Франции. Уже в первые дни революции в Париже народ сам избрал своих представителей в окружные наблюдательные комиссии, возглавляемые комитетом, который состоял из деятелей демократического и социалистического движения, членов Французской секции Интернационала. Были организованы батальоны Национальной гвардии и на деньги, добровольно отданные рабочими, отлиты пушки. Артиллерия парижского пролетариата должна была защищать столицу от пруссаков и собственной коварной буржуазии.

В конце октября Париж узнал о новом вероломстве главнокомандующего Трошю. В Бурже погибли вольные стрелки, геройски сражавшиеся, но оставленные правительством без подкрепления и оружия на произвол судьбы. 31 октября отряды национальных гвардейцев, предводительствуемые бланкистами, восстали и потерпели поражение.

Еще одно восстание парижских рабочих, возглавляемое Бланки, было подавлено. Правительство национальной измены начало борьбу с народом. Жюль Фавр и Тьер бросились в Версаль, чтобы просить Бисмарка о перемирии. Могущественный канцлер потребовал капитуляции Парижа, сдачи его гарнизона и фортов. Хотя Франция

могла еще бороться, правительство поспешно согласилось. Перемирие было подписано 28 января 1871 года, а 8 февраля прошли выборы в Национальное собрание, созывавшееся для утверждения мирного договора. Все демократические силы подверглись гонениям и арестам. Выборы проходили наспех, под нажимом и угрозами реакционеров и немецких оккупантов. Большинство рабочих не приняло в них никакого участия. Избранными оказались монархисты. 12 февраля Национальное собрание приступило к работе в Бордо и избрало главой исполнительной власти Адольфа Тьера.

Снова презренный честолюбец, взяточник и человеконенавистник, более двадцати лет назад сброшенный вместе с Луи-Филиппом с исторических подмостков, вернулся к долгожданной власти. Низенький, вертлявый Тьер еще больше, чем раньше, походил на дряхлого, вставшего на задние лапы, облезлого суслика. Не случайно этот бездушный интриган, преданный династии Орлеанов, был призван в вожди реакционнейшим Национальным собранием. Наконец-то Адольф Тьер мог провести ту расправу с парижским народом, о которой мечтал в первые дни революции 1848 года. Он решил ввести в столицу войска, пусть даже вражеские, и с их помощью уничтожить революцию. С этой целью Тьер явился к Бисмарку, который представлял в это время уже не одно прусское королевство, но всю Германскую империю, провозглашенную в январе 1871 года в Версале.

Двадцать шестого февраля Тьер подписал предварительный мир. Германия отторгала от Франции две промышленно и стратегически важные области — Эльзас и Лотарингию. Немцам предоставлялось право ввести в Париж свои войска, которые должны были оставаться там до утверждения мирного договора Национальным собранием.

Когда правительство национальной измены в конце января 1871 года капитулировало перед германской армией, ни одна из воюющих сторон не осмелилась посягнуть на оружие Национальной гвардии. В договоре о капитуляции, заключенном Бисмарком и Фавром, было оговорено, что парижской Национальной гвардии предоставляется право сохранить свое вооружение. Но как только реакционное Национальное собрание приняло предвари-

тельные условия мирного договора с Германией, дало согласие на отторжение Эльзаса и Лотарингии и уплату пяти миллиардов франков контрибуции, Тьер немедленно попытался обезоружить Париж.

Осенью 1870 года Красоцкие решили отправиться во Францию. Весь последний год, ввиду ухудшившегося здоровья Сигизмунда, они прожили в Женеве. В сыром, туманном климате Англии вновь дала о себе знать застарелая чахотка. Красоцкого лихорадило, он кашлял, худел. В Швейцарии Лиза и ее муж тесно сблизились с многими деятелями русской ветви Интернационала. Вступив еще в Лондоне в Международное Товарищество Рабочих, Красоцкие посещали в качестве гостей заседания Генерального Совета, выполняли различные поручения, главным образом занимались переводами документов и налаживали связи с Польшей и Россией для отправки туда литературы. Они часто слышали речи Маркса. С тем большим почтительным интересом приняли их в свои ряды русские изгнанники-интернационалисты.

Лизе очень понравились некоторые ее соотечественницы: жена возглавлявшего секцию в Женеве Николая Исааковича Утина, миловидная, образованная, приветливая, волевая Наталья Иеронимовна, и резковатая, неутомимо хлопотливая, одевавшаяся и причесывавшаяся на мужской лад Ольга Степановна Зиновьева-Левашева. На ее средства издавалось «Народное дело», она была одной из учредительниц русской ветви Интернационала и рьяной пропагандисткой революционных идей.

Наибольшую симпатию внушила Лизе Анна Васильевна Жаклар, урожденная Корвин-Круковская.

Анна Васильевна, как и Красоцкая, была дворянкой. Дочери богатого генерала, Анна и ее сестра Софья, обладавшая феноменальным математическим дарованием, с детства рвались прочь из глухой помещичьей усадьбы. Софья стремилась к научной деятельности, Анна — к чему-то необычайному, значительному. Бурное воображение толкнуло Анну в шестнадцать лет к мистицизму, затем желание скрыться в монастыре сменилось мечтой о славе на театральных подмостках.

Каждая прочитанная книга приносила ей иную цель и желания. Но вот настала юность. Случайная встреча

с бунтарем-студентом привела к чтению тайком сочинений Чернышевского, Добролюбова, журналов «Современник», «Русское слово» и герценовского «Колокола». Двадцатилетняя Анюта во время поездки в Петербург познакомилась с участницей студенческого движения Натальей Корсини и революционеркой Ольгой Степановной Зиновьевой. Потрясенная внезапным прозрением, Анна Васильевна обрела наконец себя. Она небезуспешно начала писать. Рассказы ее заинтересовали Достоевского, в журнал которого она их послала. Известный писатель, познакомившись с красавицей Корвин-Круковской, влюбился в нее столь пламенно, что просил быть его женой. Анна отказала. Он не внушил ей ответного чувства, к тому же ей хотелось жить для людей, а не для одного, пусть даже большого, человека. Она поняла, что не в силах посвятить себя только семейному очагу и мужу. Работа и борьба упорно звали ее.

В начале 1869 года Анна решила ехать за границу, во Францию, чтобы познакомиться с социальным движением. Поездка стала возможной потому, что ее сестра Софья вышла замуж за В. О. Ковалевского и Анна могла выехать с ними. От родителей поездка Анны Васильевны в Париж держалась в строгом секрете.

Анна Васильевна, не желая вернуться под родительскую опеку и не получая денег от отца, поступила в Париже наборщицей в типографию. Познакомившись вскоре с французом студентом-медиком, бланкистом Шарлем-Виктором Жакларом, она стала его женой. Жаклар был человек великодушный, умный, порывистый, несколько беспечный и поддающийся быстрой смене настроений.

Во французской столице у Анны Жаклар, как и везде, где она бывала, появились задушевные подруги. Но больше других полюбилась ей писательница Андре Лео. Подлинное имя этой одаренной, отвергавшей какие бы то ни было узы, своеобразной и страстной революционерки было Леодиль Бера, но для литературного псевдонима она избрала имена двух своих сыновей Андре и Лео.

Молодость, у которой много времени впереди, отличается всегда нетерпением, порожденным избытком сил, возможностью все объять и выдержать. Жаклары и их друзья торопили события, не заботясь о том, что у истории свое движение и свои сроки, далеко не совпадающие с человеческими.

Правление Наполеона III неуклонно катилось под откос. Чем хуже истинное положение тирана и его камарильи, тем неистовее террор. Жаклар был привлечен к суду по обвинению в заговоре. Ему грозило тюремное заключение. Анна Васильевна и ее муж бежали из Франции в Швейцарию. Им пришлось тяжело бороться за кусок хлеба. До позднего вечера Жаклар давал частные уроки, но зарабатывал гроши. Жена его помогала в работе Русской секции, она переводила брошюры с выступлениями Маркса для издаваемых в Швейцарии номеров русского «Народного дела».

Все в Анне Васильевне было одухотворено и безупречно. Статная блондинка с чертами лица античных статуй резца Праксителя, с бархатистыми сине-лиловыми глазами, похожими на цветы, с внешней красотой она сочетала творческий своеобразный ум и живой, бесстрашный, несколько по-мальчишески безудержный характер. Лиза была двадцатью годами старше Анны Жаклар и относилась к ней по-матерински, прозвав «Анютиными глазками». Обе эти женщины в совершенстве владели тремя иностранными языками и впитали в себя культуру многих поколений. Это делало их особенно полезными для рабочего революционного движения, которому они отдались всем сердцем. Часто, глядя на Анну и любуясь ее умом и обаятельным лицом, Лиза вспоминала Женни Маркс.

Лиза, чем могла, старалась облегчить нелегкую жизнь подруги. Часы досуга Жаклары и Красоцкие проводили вместе, бродя по горам, отправляясь в экскурсии. На привалах они обычно увлеченно обсуждали злободневные политические события. Раз в неделю друзья уезжали на маленьком белом пароходе в Веве. Там в школе-пансионате училась пятнадцатилетняя Ася, сероглазая, чуть раскосая резвушка, которую за необычайную живость и подвижность одноклассницы прозвали «ртутью».

Когда началась франко-прусская война, изгнанники напряженно следили за всем происходящим в Париже. Вести приходили тревожные, не предвещавшие счастливого течения и удачи в случае возможной социальной революции, приближение которой заметно ощущалось. Воюющая, терпящая поражения на фронтах, голодная, разоренная, вконец ограбленная имперским режимом Франция, раздираемая внутренней борьбой орлеанистской и

бонапартистской партий, вряд ли могла обеспечить победу рабочим, выковать новый социальный строй.

Парижский пролетариат был не в силах в столь роковой момент отстоять свою власть. Понимая это, Энгельс решительно восстал против возможности подобной, весьма опасной своими последствиями, попытки. Он писал, желая предотвратить назревающую трагедию, что было бы ужасно, если бы немецкие армии в виде последнего акта войны напали бы на парижских рабочих.

Красоцкие, как и Жаклары, считали, что следует не мешать реакционерам, находившимся у власти, заключить позорный разорительный мир. Народ смог бы тогда воочию убедиться, что́ несет с собой для Франции господство буржуазии. Эти взгляды четырех членов Интернационала, находившихся в Женеве, совпадали с мыслями Маркса, высказанными им во втором воззвании Генерального Совета.

Однако стихийные силы, захлестнув смятенную, раздираемую внутренними противоречиями и, главное, войной Францию, смели все расчеты. Рабочие хотели во что бы то ни стало спасти честь нации, изгнать пруссаков из пределов своей родины, добиться социальной справедливости внутри страны. Буржуазия, наоборот, тяготела к сговору с Бисмарком, мешала труженикам — истым патриотам Франции — мобилизовать все силы на разгром врага.

Революционные выступления в Лионе, Марселе, Тулузе сразу же после сентябрьского переворота сопровождались избранием местных народных органов власти — коммун.

Эти коммуны, созданные в провинциях, осуществили много важных революционных мероприятий: замену полицейского и чиновничьего аппарата, освобождение политических заключенных, введение светского образования, обложение налогом крупных собственников, безвозмездную выдачу вещей из ломбардов по мелким закладным. Правительству удалось жестоко подавить местные коммуны.

В Лионе, втором городе Франции, под влиянием местной секции Интернационала, был создан Комитет общественного спасения, который объявил империю свергнутой и провозгласил Республику. Рабочие захватили склады с оружием. Возникла Национальная гвардия. В Комитете

общественного спасения было три комиссии: военная, финансовая и общественных нужд. Так образовалось революционное правительство — Коммуна, состоявшее из рабочих, членов Международного Товарищества и буржуазных республиканцев-радикалов.

Маркс писал о лионских событиях в одном из писем: «Бонапартистским и клерикальным интриганам внушили страх. Были приняты энергичные меры к вооружению всего народа... Лионское выступление немедленно нашло отклик в Марселе и Тулузе, где имеются сильные секции Интернационала.

Но ослы — Бакунин и Клюзере — приехали в Лион и испортили все...»

Как только до Швейцарии дошла весть о провозглашении Французской республики, Михаил Александрович Бакунин объявил своим единомышленникам по «Альянсу», что час пробил и пора приобщить французов к его учению об анархии. Он отправился в Лион с несколькими своими сторонниками. Как раз в день их приезда народ завладел ратушей, у стен которой не раз начинались рабочие восстания. Бакунин проник в префектуру, в кабинет мэра, и сразу же вообразил себя хозяином города. Наступил момент, которого он ждал столько лет.

— Наше дело — страшное, повсеместное, полное и беспощадное разрушение. Мы должны изложить народу наши принципы,— изрек он и уселся за огромный письменный стол красного дерева с позолотой.

Несколько часов длились муки творчества Бакунина в пустом здании префектуры. Он писал, встряхивая кудлатой головой, поправляя то и дело очки на толстом носу, и как раз закончил декрет, озаглавленный им «Отмена государства», когда в никем не охраняемую ратушу пришли представители той самой власти, которую он только что упразднил на бумаге. Это были две роты буржуазных национальных гвардейцев.

— Убирайтесь немедленно вон! — крикнул Бакунин и со всей силой ударил кулаком по столу.

— Я представитель Французской республики,— возразил лейтенант, командир роты, и, в свою очередь, стукнул палашом сабли по спинке кресла, на котором важно восседал апостол разрушения.

— Государства более не существует,— торжественно заявил рассвирепевший Бакунин.

Лейтенант с недоумением взирал на седого, неряшливого, тучного человека.

— Выведите-ка отсюда этого пророка,— сказал весело командир роты.

Национальные гвардейцы с шумом и улюлюканьем выволокли на улицу упиравшегося Бакунина. Он поспешил уехать из Франции в безопасную, смирную Швейцарию.

...Жаклары выехали в Париж, как только пришло известие о капитуляции Наполеона. Они не могли ни одного часа оставаться бездейственными созерцателями и бросились в огонь, чтобы встретить врага грудью. Вскоре вслед за Жакларами в Париж отправились и Красоцкие. Участник польского восстания тридцатых годов и гражданской войны в Америке не мог остаться равнодушным к тому, что происходило во Франции.

— Я счастлив только там, где борются за правое дело,— любил повторять Сигизмунд.

В осажденный Париж пробираться было трудно. Большую часть пути Красоцкие совершили на крестьянских возах или пешком.

«Наконец-то,— писала дочери Лиза,— и моя жизнь на что-то пригодится. Именно потому, что мы уже не так молоды, меня постоянно томит мысль, что так-таки превращусь незаметно в немощную старушонку, у которой в жизни много добрых помыслов, да мало дел.

Зрелость и старость умеют ждать и преодолевать нетерпение, столь присущее молодости. Сознание ограниченных физических сил, учет незначительных уже возможностей и жизненный опыт — все это дается только временем. Юный боец силен порывом, напористостью, старик — продуманностью поступков, ясностью намеченной цели. Нет возраста, не годного для революционной борьбы».

Сигизмунд, который как бы позабыл о своей тяжелой многолетней болезни, выглядел помолодевшим и бодрым. Он старался убедить жену, что будущее Франции сложится наилучшим образом.

— Для нас родина — это все охваченные революционным брожением земли. Мы, интернационалисты, должны быть там, где дерутся за права неимущих.

Ночь застала Красоцких в маленькой прифронтовой деревенской гостинице неподалеку от Парижа. Вдали гулко рвались снаряды. Пруссаки продвигались к столице Франции.

— Как это похоже на Сент-Луис. Мне кажется, что я услышу сейчас мощный баритон милого Вейдемейера, увижу тебя с забинтованной головой,— вспомнила Лиза дни гражданской войны в Соединенных Штатах.

— Мы оба не верим в предчувствия, и тем не менее они окутывают нас подчас, как сумерки,— сказал Сигизмунд жене.— Может быть, наука когда-нибудь найдет им разумное объяснение. Не знаю. Но нынче они давят на меня, да и сон... Мне снилось, что я пробираюсь сквозь густой лес по высокой траве и собираю алые ягоды. Не правда ли, красочная картина? Но вдруг выросла передо мной глухая, бревенчатая избушка без окон. Вошел я в нее, а выйти не могу. Исчезла дверь. Темно. Лег я на пол, холодный, дощатый, и вдруг заметил, что потерял в траве сапоги.

— Лежишь босой? Странный сон,— проговорила раздумчиво Лиза. Ей хотелось сказать — плохой, но она намеренно удержалась.— Все это чепуха, милый. Чего-чего только не привидится за ночь. Забудем о нем.

— Однако, независимо от мистического атавизма, смерть, что тень, всегда с нами рядом. Я говорю это на всякий случай, ведь все может произойти. Революция и война что шквал. Так вот, если мне суждено погибнуть и тело мое будет найдено...

— Что ты говоришь, Сигизмунд? Помилосердствуй! Это похоже на бред. Ты болен.

— Нет, вполне здоров. Я только прошу тебя, если буду убит, похоронить мое сердце в люблинской земле. Там я родился, там покоятся отец и мать... А себя ты береги, умереть еще успеешь. Сохрани себя для Аси.

— Я не хочу оставаться без тебя на земле.

— Я тоже не Гамлет, для меня давно вопрос решен — быть! И как можно дольше быть! Но не все зависит от нашего желания. Иногда следует отдать жизнь, чтобы не потерять к себе уважения. На всякий случай запомни мое...

— Завещание...

— Ты подсказала нужное мне слово. Но к нему есть и предисловие. Не думаешь ли ты, что для хронически,

безнадежно больного, гибнущего бессмысленно, бесцельно от ядовитейших бактерий, явилось бы большой удачей достойно встретить смерть от пули лютого врага? Мой отец и дед — воины, сложили головы на поле боя. Право, это не плохой конец. Еще лучше умереть за революцию, с пользой для людей, а не корчиться и гибнуть в лапах болезни. Смерть уже занесла надо мной свой отточенный меч, но я ее могу и перехитрить. Ну что, разве я не прав?

— Может быть, но не могу же я слушать тебя спокойно.

— Есть возраст, когда каждый человек обязан дать себе отчет и в прожитой жизни, и в приближающейся смерти. Я достиг таких лет. Ты тоже двигаешься к этой предельной черте.

Лиза больше не возражала.

Под утро, прежде чем собрать в дорожный мешок кое-какие скромные пожитки, она достала тетрадь, которую взяла с собой, чтобы снова вести дневник. Много лет Лиза ничего не записывала. Повседневная суета, разъезды, возможность делиться возникшей мыслью и сомнением с мужем мешали ее былым самоотчетам на бумаге. Но уезжая из Швейцарии и прощаясь с горько рыдающей Асей, которая тщетно умоляла родителей взять ее с собой, мать обещала девочке записывать все, что случится с ними в охваченном войной революционном Париже.

— Я буду поверять тебе все свои думы и чувства, чтобы разлука наша не была тягостной,— говорила она опечаленной дочери.

«В последние годы мне посчастливилось встретить нескольких людей с прозрачно-чистыми душами,— писала Лиза.— Общение с ними — что приближение к морю. Кажется, что воздух вокруг них свежее и несет с собой духовное здоровье. Значительное и доброе тянется к себе подобному. Когда-то в ранней юности я считала, что лучшее на свете — цветы, деревья, спокойные реки и стремительные водопады. С годами любовь моя сосредоточилась на людях. Сердце бьется живее, когда они радуются, и плачет над их горестями. Самое важное и прекрасное на земле — человек. К нему нельзя быть равнодушным. Паскаль назвал его мыслящим тростником. Пусть так. Но мне довелось видеть людей с душами гигантов. Творческий заряд, заложенный в них,— огромной силы и образует вокруг как бы невидимое магнитное поле, которое

притягивает нас, смертных. В одной человеческой оболочке бывает заключен целый океан мыслей, чувств, творческой энергии. Я вспоминаю Маркса. Разве он не таков? Величайшее чудо на свете — люди. Любовь к ним влечет нас с мужем в Париж, похожий сейчас на пороховой склад перед взрывом. Наше место среди друзей, там, где занесен нож над всем возвышенным и добрым. В Америке я видела страдания черных рабов, в Европе — страдания белых рабов, тружеников и бедняков, за которых когда-то поднял меч Спартак. Как много горя еще вокруг. Можно ли оставаться равнодушным, не потеряв при этом самого себя».

Наконец Красоцкие добрались до столицы Франции. Там они отыскали недавно переехавших из Лиона Жакларов и других членов Интернационала. По совету Дюваля Красоцкие поселились у Стока, уступившего им одну из двух своих комнат. Катрина охотно перебралась в кухоньку.

Вскоре Врублевский, быстро сблизившийся с Красоцким, помог ему вступить в Национальную гвардию. Незадолго перед тем генерал Трошю разрешил это польским изгнанникам, запретив, однако, создавать отдельные боевые подразделения. Иностранцы носили французскую форму и служили на равных со всеми французскими бойцами и офицерами началах. Как и молодой здоровый Врублевский, пожилой и болезненный Красоцкий беспрекословно подчинился военной дисциплине и примерно выполнял обязанности национального гвардейца.

Лиза присматривалась к окружающему и знакомилась с товарищами. Она часто бывала в доме на улице Кордери, где помещался Интернационал.

С начала войны деятельность Французской секции почти замерла. Мобилизация в армию тружеников, безработица, преследования и аресты пагубно влияли на деятельность интернационалистов. Серрайе сообщал Марксу в Лондон:

«По прибытии моем в Париж один делегат направил меня в мэрию. Я спросил, где я могу найти Ассоциацию, и мне было сказано в ответ, что в настоящий момент не существует ни отдельных секций, ни федерального совета,

что все члены находились ранее в тюрьме, а затем были разбросаны по различным полкам, некоторые находятся в регулярной армии, другие — в Национальной гвардии, и вследствие этого Ассоциация разрушена».

После объявления Республики секция начала оживать, но все же была невелика, и влияние ее стало скорее идейным, нежели организационным. Интернационалисты — последователи тактики Маркса и Энгельса — считали, что им следует держаться весьма осторожной политики, вплоть до заключения мира с Германией. Уточняя эту единственно правильную позицию, Энгельс в письме к Марксу указывал, что не следует допускать выступления французских рабочих до окончания войны.

«Каков бы ни был мир, его надо заключить прежде, чем рабочие смогут что-либо сделать,— писал он.— Если они победят сейчас, служа делу национальной обороны, то им придется принять наследство Бонапарта и нынешней паршивой республики; они будут без всякой пользы разгромлены немецкими армиями и снова отброшены на 20 лет назад... Сражаться с Пруссией ради буржуазии было бы безумием».

Тяга народа к сплочению приводила к созданию различных революционных комитетов и клубов. Но среди рабочих господствовала идейная сумятица и разброд. Два социалистических течения стремились к руководству: бланкисты, надеявшиеся, как всегда, на успех своих заговоров, и прудонисты, утверждавшие, что стихия вынесет их на поверхность. Рабочие нуждались в объединяющей их партии с научно обоснованной программой действий, но еще не сознавали этого. Отсутствие революционной рабочей партии роковым образом повлияло на исход быстро назревающих событий.

Маркс предвидел это и решительно возражал против восстания, призывая к организации пролетариата и созданию партии.

Париж представлял необычное зрелище. По вечерам только на некоторых улицах зажигались газовые фонари. Прежней нарядной толпы более не было видно. Весна в этом году задержалась. Голод и холод грозно шествовали по угрюмой, неубранной столице. Истощенные женщины

с хилыми детьми, жалкие старики уныло бродили в поисках хлеба, стучались в закрытые булочные, тихо попрошайничали и плакались на свою судьбу. Свирепствовали болезни. Не было лекарств и необходимой врачебной помощи.

— Проклятье, в такой холод не добудешь даже вороны для жаркого.

— Все мыши и крысы убежали из города. А жаль. Я убедился, дьявол меня утащи, что они вполне съедобны. Моя старуха отлично поправилась от крысиного бульона, воображая, конечно, что я добыл для нее цыплят. Все дело в вере.

— О пакостники, святой боже, о чем вы говорите, какой нечистью только не кормится грешный человек.

— Когда голоден, следует добавить, достопочтенная Христова невеста.

— Лучше умереть, чем есть поганых грызунов.

— Значит, в вашем монастыре еще водится пшеница и сочный кусок телятины. Монахи питаются духовной пищей. Это, говорят, отличный десерт после доброго обеда из трех мясных блюд и кувшина с вином.

— Оставьте в покое бедную монахиню, она молится за то, чтобы мы были сыты,— вмешалась в разговор старуха в ротонде из потертого бархата.— Если бы в правительстве были отцы церкви, мы не знали бы горя.

— Я всегда говорил, что баб нельзя уравнивать в правах с мужчинами. Они темны, как сегодняшнее небо, и наводнят Францию попами и монастырями.

— Ну, это какая еще баба попадется. В девяносто третьем и сорок восьмом они дрались на баррикадах не хуже нас. Перо Андре Лео — сущая плетка. А чего стоит Луиза Мишель,— бой-девка, ничего не боится. Недавно она привела к ратуше три сотни женщин. Все они требовали немедленной отправки на передовые позиции. Ай да отчаянные девчонки! Такая учительница, как Луиза Мишель, обучит отваге и заткнет за пояс любого национального гвардейца.

— Свобода, та тоже ведь женского рода,— добавил паренек в блузе.

— Ловкая защита. Вы, верно, члены Товарищества Рабочих, потомки Марата и Бабёфа? Не так ли?

Лиза прислушивалась к спорам в очередях у лавок, стараясь проникнуть в то, чем жили в эти дни парижане.

Однажды на собрании Парижской секции Интернационала она услыхала Варлена. Он произвел на нее неотразимое впечатление. Познакомившись с ним ближе, Лиза записала в своем дневнике:

«Эжен Варлен, крестьянин по происхождению, рабочий по профессии, интеллигент по самой сущности и глубине ума и сердца. Только человек, сочетающий в себе такие качества, действительно интеллектуально развит и полностью поднялся над животным. Мне кажется, что Варлен обладает мощной и вместе с тем детски чистой, талантливой душой. Говорит ли он с людьми с глазу на глаз, с трибуны или с газетной полосы, переплетает ли книги, руководит ли секцией Интернационала, командует ли отрядом национальных гвардейцев, поет ли в компании друзей — все у него получается как-то по-особенному, ему одному свойственному: мудро, проникновенно, сердечно. И голова его, большая, мужественная, с выпуклым затылком — признак несомненной одаренности,— с густыми волосами и пышной бородой, начинающейся у висков, тоже необыкновенная. Ему всего тридцать два года, а он уже поседел, верно, потому, что за свою недолгую жизнь передумал, перечувствовал, переделал столько, сколько другой не успеет и за сто лет.

Лицо у него спокойное, вдумчивое и печальное. Он похож на древних праведников-воинов с византийских фресок, таких, как Георгий Победоносец, умерщвляющий змия. Мне говорили, что именно он силой своего человеческого обаяния и разума привлек в Парижскую секцию Интернационала не менее трех четвертей ее членов, и теперь она весьма многолюдна. Мне это понятно. Варлен излучает столько тепла и умеет так слушать собеседника и проникнуться его нуждами, что стал необходим людям. Таким самородком вправе гордиться французский пролетариат».

Эжен Варлен был весьма чтим трудовым людом разных стран. В конце шестидесятых годов женевские строительные рабочие объявили забастовку, требуя прибавки заработной платы. Предприниматели ответили им упорным сопротивлением. Тогда Варлен открыл у себя на квартире подписку в пользу бастующих и поместил об этом объявление в газете. Из рук в руки передавались заготовленные им подписные листы. Текстильщики, литографы, печатники, жестянщики, железнодорожники, ме-

таллисты тотчас же откликнулись на призыв переплетчика-интернационалиста. Была собрана весьма значительная сумма, обеспечившая победу рабочих соседней Швейцарии. Рабочие убедились, что значит солидарность трудящихся.

Вскоре правительство Наполеона начало судебный процесс против секции Интернационала. В числе многих обвиняемых был и Варлен. Его речь прозвучала на весь Париж.

— Вы стремитесь,— сказал он судьям, защищая себя и своих товарищей,— во что бы то ни стало сохранить существующий порядок, а мы, социалисты, хотим этот порядок изменить... Земля уходит из-под ног богачей! Класс, который до сих пор появлялся на арене истории лишь во время восстаний для того, чтобы уничтожить какую-нибудь великую несправедливость, класс, который угнетали всегда,— рабочий класс узнал наконец, что именно нужно сделать, чтобы уничтожить все зло и все страдания. С вашей стороны было бы очень благоразумно не мешать его справедливому делу... Буржуазия не может ничего противопоставить рабочим, кроме насилия и жестокости, но насилие только ускорит взрыв...

Варлен отбыл тюремное заключение и, выйдя на свободу, с еще большим жаром отдался политической борьбе. Долгое время он был последователем теорий Прудона, хотя часто отстаивал и проводил на практике свои взгляды. Но со временем Варлен все больше разочаровывался в прудонизме и приблизился к тому, чему учил Маркс. Человек огромной энергии, он работал до изнеможения на революционном поприще и в этом обретал новые и новые силы. Всякий, кто отдает себя значительному и большому делу, получает мощный обратный приток энергии. Варлен посвятил себя сплочению пролетариев и многого добился. В одной из своих статей он гордо заявил:

«До сих пор нас третировали, бесцеремонно эксплуатировали, потому что мы были разъединены и бессильны. Теперь с нами начинают считаться... Это эпоха сопротивления! Скоро, когда мы будем все объединены... мы сможем потребовать, фактически и юридически, права пользования всей совокупностью нашего труда — и это будет справедливо. Тогда паразитам придется исчезнуть

с лица земли: если они захотят, им придется стать производителями, полезными людьми».

Бакунин попытался привлечь Варлена в свои ряды, но потерпел поражение. Талантливый переплетчик не поддержал его, и еще раз вожак анархистов вынужден был убедиться, что Французская секция не поддалась его влиянию.

В 1870 году, выступая перед членами Интернационала в Париже, Варлен произнес знаменательные слова:

— Мы требуем абсолютного суверенитета народа, прямого народовластия. Мы утверждаем принцип Всемирной Социальной Республики.

Прекрасный низкий голос Варлена звучал уверенно, сутулые плечи нахохлившейся птицы распрямились. Он как бы ощутил у себя крылья. В его походке появилась легкость полета. Страстный революционер познал истинное счастье. Осенью после низложения империи Варлен вступил в Национальную гвардию и был избран командиром одного из батальонов. Он хорошо понимал, что вооруженные рабочие являются единственной могучей силой против контрреволюции. Центральный комитет Национальной гвардии, членом которого стал Варлен, явился первым и подлинным органом народной власти, опирающейся на вооруженный народ.

Адольфу Тьеру исполнилось семьдесят четыре года. Это был карлик с выпуклым, распиравшим пиджак животом, с жирной уродливой спиной, худыми кривыми ногами. Сморщенное, обвислое, отталкивающее лицо его с запавшим ртом, крючковатым носом стервятника и сверлящими глазками, скрывающимися под большими очками в черепаховой оправе, отражало злое сердце и ум изворотливый и опасный. Страшное честолюбие и скаредность глодали его смолоду, и вот на склоне жизни он наконец трясущимися, иссушенными руками ухватился за то, к чему стремился всегда,— получил власть.

Тьеру было чуждо милосердие, и он оправдывал бесчеловечность в отношении к пролетариям, ссылаясь на то, что политика — ремесло жестокое.

Время от времени на поверхности истории появляются такие хваткие, бездушные и беспощадные властолюбцы, сила которых в глубоком презрении к человеческому ро-

ду, готовности пользоваться любыми подлыми средствами и в гипнотически действующей на окружающих самоуверенности. Не только люди добрых устремлений, но даже хитроумные честные политики не в состоянии вовремя представить себе истинную сущность таких волкоподобных, лишенных сердца личностей и являются обычно их жертвами.

Тьер досконально изучил опыт былых контрреволюций. История стала для него тем, чем была бы карта для военного стратега и тактика. Ему нравился кровожадный тупой палач прошлой революции Кавеньяк, но он считал его слишком мягкосердечным и недальновидным. Помня, что в 1848 году убийцей парижских рабочих явилась буржуазная мобильная гвардия, состоявшая из головорезов, подкупленных правительством, Тьер предлагал генералам карательных армий, которые тайно готовил для наступления на Париж, хорошо кормить и всячески угождать солдатам. Один из самых скупых и алчных людей, Тьер, однако, учил, как подкупать, не считаясь с расходами, офицеров, служивших в правительственных частях. Сам исполненный пороков, он глубоко презирал людей и старался развивать и поощрять в них худшие инстинкты и наклонности, чтобы затем использовать их в интересах своих и тех, от кого был зависим,— имущих классов и финансового капитала.

Боясь влияния революционных парижан на солдат, Тьер предписал помещать их в строго охраняемые изолированные казармы, чтобы туда не проникал мятежный дух столицы — газеты и агитаторы Национальной гвардии.

Тьер нашел опору в немецком канцлере. В огромном, расплывшемся лице стареющего Бисмарка было что-то бычье. Глаза навыкате, с белками, испещренными кровавыми жилками, багровая шея и многоступенчатый массивный подбородок усугубляли это сходство. Он не терпел возражений, легко ярился и долго затем дышал громко и с присвистом. Вероятно, таким же упорным был гуннский вождь Аттила, один из любимейших исторических героев германского канцлера. Бисмарка считали замечательным дипломатом, и он гордился этим.

— Вся моя дипломатия,— повторял он сиплым, низким, вырывавшимся точно из пивной бочки голосом,— в том, что я говорю только то, что думаю.

Одним из приближенных Бисмарка, неизменно его сопровождавшим в пору франко-прусской войны, был представительный сорокатрехлетний член рейхстага от национал-либералов банкир Иоганн Микель, которому удалось сделать большую карьеру. Бисмарк ценил своего подчиненного за обширные знания и политическую проницательность. Канцлер, обычно недоверчивый, вполне полагался на Микеля и не имел от него секретов, ценя такт, умение молчать и внешний лоск, не переходящий в щегольство, у дельного чиновника. Было в Микеле что-то необычное, чего знающий толк в людях Бисмарк никак не мог объяснить.

Никто в ставке главнокомандующего в Версале не знал, что некогда, в дни ранней молодости, этот один из довереннейших сотрудников канцлера был деятельным членом Союза коммунистов, учеником самого Маркса.

После 1849 года Иоганн Микель вместе с немецкими коммунистами — рабочими Клейном, Фрицем Моллем из Золингена и многими другими — ушел в глубокое подполье и вел дальше большую и опасную работу по пропаганде жестоко преследуемых идей. Он писал постоянно в Лондон, на Дин-стрит, 28, Карлу Марксу о своих конспиративных связях и действиях подпольщиков, подписываясь полным именем.

Ветер реакции после процесса кёльнских коммунистов сорвал и смел все, что было непрочного и случайного. Микель начал колебаться не в учении, а в том, следует ли жертвовать жизнью и благосостоянием, которое обрел, выгодно женившись. Он без труда убедил себя, что надежды на победу безосновательны и благоразумнее провести жизнь вдали от обжигающего революционного пламени.

Катиться вниз легче, нежели подниматься на высоту. В одном случае действует инерция, в другом надо преодолеть препятствия и затратить немалые силы. Микель порвал с прошлым. Отказавшись от идейных дерзаний, он начал преуспевать как чиновник и заслужил доверие Бисмарка, который приблизил его и выдвигал.

Микель терзался страхом, что Маркс может в любой миг предать гласности его письма из коммунистического подполья с дерзкими выпадами против германского деспотизма и его главы. Но не только боязнь мучила члена рейхстага, стремившегося стать министром. Перестав

быть коммунистом, он не смог освободиться от искреннего почтения, которое внушал ему Маркс. По собственному почину свидевшись в Ганновере с вождем Интернационала и предложив свои услуги, он обещал осведомлять его о самом важном из того, что готовит реакция против коммунистического движения. Это Микель оповестил Маркса о грозившем ему аресте в Германии. Всю зиму и весну 1871 года он находился при особе Бисмарка и знал из первых уст обо всех переговорах, происходивших между прусским командованием и правительством Тьера. Понимая, насколько важно Марксу иметь сообщения о планах вторжения реакционеров в Париж, Иоганн Микель тотчас же известил его об этом.

Возглавив исполнительную власть Франции и продав Бисмарку родину, Тьер, несмотря на старческие недуги, проявлял кипучую энергию. Человеконенавистничество и властолюбие — могучие рычаги, которыми можно попытаться перевернуть мир. В середине марта Тьер совещался в Версале с членами изменившего народу Национального собрания, а двумя днями позднее он тайно обсуждал в парижской префектуре полиции план контрреволюционного заговора, который должен был кончиться восстановлением монархии Орлеанов. Предполагалось забрать пушки у Национальной гвардии, арестовать членов ее Центрального комитета и разоружить рабочих.

Поголовное вооружение всех взрослых парижан было проведено еще осенью. Но народ хотел иметь свою артиллерию. На собрании в Бельвиле рабочие предложили отлить пушки. Их поддержали трудящиеся столицы, требуя переплавить на оружие колокола и статуи. Любовно называя пушку «Марианной», парижане распевали песню, слова которой были написаны одним храбрым канониром:

«Моя Марианна родилась на окраине, ее отлили руки народа. Она никогда не будет стрелять против плебеев. И, если возродится какой-либо Кавеньяк со своими коварными планами, Марианна будет стрелять во всех убийц свободы».

Восемнадцатого марта полицейские, жандармы и воинские отряды двинулись на Париж, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не быть замеченными горожанами,

Этой операцией руководил верный Тьеру, не рассуждающий генерал Винуа.

Солнце еще не появлялось, и только зеленоватые предрассветные лучи едва освещали серый небосклон, гася ночные звезды. На одной из улиц Монмартра семеро национальных гвардейцев охраняли пушки и митральезы, принадлежащие парижским рабочим. Заслышав шаги, караульный взял наизготовку ружье и выкрикнул: «Кто идет? Ни с места!» В ответ ему раздался выстрел. Смертельно раненный часовой упал на влажную землю. К нему подбежала стоявшая на посту девушка с большим, бледным, добродушным лицом. Это была хорошо известная парижским рабочим республиканка Луиза Мишель. Она перевязала умирающего товарища и, пряча оружие под развевающимся суконным плащом, бросилась прочь, чтобы поднять скорее тревогу и оповестить город о вероломном нападении.

— Измена, братья, измена, на помощь! — отчаянно кричала отважная и бдительная дочь народа, спускаясь с возвышенности и стреляя, чтобы привлечь внимание национальных гвардейцев, стороживших артиллерийские парки поблизости.

В это время войска Винуа захватили врасплох несколько городских холмов. Солнце медленно всходило. Каратели изо всех сил торопились вывезти захваченные орудия, но им не хватало упряжек. Пришлось стаскивать пушки вниз по отлогим неровным улочкам. В это же время начался контрреволюционный поход на другие районы столицы. Не встречая сначала значительного сопротивления, генералы Тьера продвигались в глубь города. Они распространили по телеграфным проводам хвастливые сообщения о своей мнимой победе. В ночной темноте их агенты расклеили по всей столице сообщения о разгроме Национальной гвардии. Однако торжество контрреволюции было преждевременным.

Город проснулся внезапно, шумно. Кое-где домохозяйки, направлявшиеся за покупками и по воду, первые обнаружили захват орудий. На ходу бросив корзинки, ведра, они побежали к мэрии, громко сообщая о случившемся. Раздался набат. Сколько раз на протяжении многих веков несся над Парижем его протяжный, тревожный призыв. Гневные, грозные звуки колоколов были хорошо знакомы горожанам. Они действовали как искра, брошен-

ная в стог сена, как вопль матери, защищавшей своего ребенка. В нем всегда звучало предупреждение, сулившее жизнь и смерть, поражение и победу, и неизменный зов к борьбе. Никогда набат не встречал равнодушия в тех, к кому взывал. Ему отвечал нарастающий гул переполненных людьми улиц, топот ног, звон сабель, щелканье оружейных затворов, возбужденный человеческий говор.

Вскоре к набату присоединился бой барабанов отрядов Национальной гвардии.

Дети, старики, женщины и мужчины, вооружаясь на бегу, бросились к арсеналам. На Монмартре собрались тысячи людей, готовых ценой жизни спасти пушки — эту гарантию свободы, защиту от врага. Луиза Мишель с национальными гвардейцами вернулась на Монмартр, чтобы сражаться за революцию.

Запялся яркий весенний день, пели птицы. Толпа народа окружила солдат Тьера, называя их друзьями, уговаривая не стрелять в своих сестер, отцов, матерей. И солдаты побратались с народом. Они подняли ружья вверх прикладами. Тщетно офицеры и генералы приказывали стрелять по толпе. Только полицейские попробовали подчиниться таким распоряжениям, но народ и подступившие со всех сторон национальные гвардейцы не допустили кровопролития. Они разоружили жандармов и офицеров и отправили в тюрьму генералов, командовавших наступлением на революционный Париж. Отныне рабочие, ремесленники и их гвардия перешли от обороны к нападению. Отпор коварной провокации Тьера осуществили труженики с помощью Центрального комитета Национальной гвардии. Победа народа была полной. Впервые в истории трудовой люд стал властелином Парижа.

Первая пролетарская революция была подобна вулканическому извержению или шторму, силу которых нелегко предвидеть.

Народное восстание 18 марта возникло стихийно. Оно не подготавливалось какой-либо революционной организацией, не имело единого руководящего центра. Это был единодушный отпор парижского трудового люда и сочувствующей ему интеллигенции исконному своему врагу — реакционной буржуазии, замышлявшей коварное уничтожение революции. Однако одного порыва и отваги было бы недостаточно для победы. Нужны были сплоченность рядов, согласованность действия, умелая тактика, быстрота

ответного нападения. Все это обеспечил Центральный комитет Национальной гвардии — первое революционное правительство рабочего класса. Десять дней, до передачи всей власти избранной народом Коммуне, Центральный комитет Национальной гвардии осуществлял руководство революционным Парижем.

Члены Центрального комитета не были чем-либо знамениты, но всех их знали, уважали, любили в среде рабочего класса, откуда они в большинстве своем вышли.

Правительство бежало в Версаль. Глава исполнительной власти Тьер в карете с занавешенными стеклами под охраной тайком выбрался из столицы.

Утром 19 марта тысячи парижан прочли с радостным волнением афиши, подписанные Центральным комитетом. В них сообщалось, что назначаются выборы в Коммуну, которой Центральный комитет передаст затем всю власть в столице.

«Граждане! Народ Парижа освободился от гнета, которому старались его подчинить... Париж и Франция должны совместно заложить основы республики, единодушно одобренной со всеми ее последствиями,— единственной формы правления, которая навсегда положит конец эре нашествия и гражданских войн.

Осадное положение отменено. Народ Парижа приглашается в свои секции для организации коммунальных выборов. Безопасность всех граждан обеспечена Национальной гвардией».

Телеграф, префектура, здания министерств — все перешло в ведение Национальной гвардии. Был светлый солнечный воскресный день. Жители окраин, рабочие встретили его как долгожданный счастливый праздник. Бульвары, площади, улицы были особенно людны. Слышались песни, музыка, смех. Над ратушей развевался красный стяг.

В тот день Варлен и несколько десятков национальных гвардейцев без всякого сопротивления завладели министерством финансов. Они прошли в кабинет бежавшего в Версаль министра, вызвали чиновников и потребовали точного отчета о наличии денег в сундуках, хранившихся в особых подвалах. Им назвали ложную цифру и заявили, что ключи от сейфов, где хранится валюта, находятся в Версале. И тут-то делегаты Центрального комитета проявили роковую уступчивость и непрозорливость.

Варлен, как и Жаклар, еще надеялся на примирение с Версалем и просил денег из банка только на самые неотложные нужды. Необходимо было выплатить жалованье национальным гвардейцам. После долгих переговоров управляющий согласился выдать необходимую сумму под расписку — всего один миллион, да еще ассигнациями. В банке хранилось около двух с половиной миллиардов франков. Через несколько дней Варлен потребовал еще один необходимый Коммуне миллион. Ему отказали. Лишь после настояний и весьма, впрочем, умеренных угроз маркиз де Плек, заместитель управляющего банком, согласился выдать эту незначительную для казны сумму.

В дни, когда закладывался фундамент Коммуны, были допущены и другие непоправимые политические просчеты. Группа мэров явилась в ратушу, и один из них задал Варлену вопрос:

— Что вы, собственно, хотите? Удовлетворитесь ли вы все согласием на выборы нового муниципалитета?

Варлен ответил, не задумываясь:

— Да, мы хотим избрания Коммуны, как муниципального совета. Но этим еще не ограничиваются наши требования, и все вы это прекрасно знаете! Мы хотим коммунальных свобод для Парижа, уничтожения префектуры полиции, права для Национальной гвардии самой выбирать всех своих офицеров, в том числе и главнокомандующего, полного прощения неоплаченных квартирных долгов на сумму меньше пятисот франков и пропорционального снижения прочих долгов за квартиру, справедливого закона об уплате по векселям; наконец, мы хотим, чтобы версальские войска отошли на двадцать миль от Парижа.

Муниципальные власти резко и окончательно отказались согласиться даже на такие весьма умеренные требования. Реакционеры разных мастей вопили, что они не признают Центрального комитета и единственной законной властью для них в Париже является собрание мэров и прежних депутатов. До глубокой ночи, пять часов подряд, шел отчаянный спор между представителями Центрального комитета и мэрами. Варлен, не ложившийся спать уже несколько ночей, вконец измотанный, не заметив хитроумной ловушки, уступил с незначительными оговорками. Выйдя из прокуренной, душной комнаты и

придя в себя на свежем воздухе, в тиши безлюдной улицы, он тотчас же понял, что оступился. Придя к товарищам, он назвал свое поведение ошибкой и предложил ответить на притязания мэров и депутатов отказом. Но ничего так и не было сделано.

Варлен, как и многие парижские пролетарии, был все еще в плену пагубных иллюзий, порожденных естественным патриотизмом. Страну окружали немецкие войска. Многие революционеры боялись повредить родине, развязав братоубийственную гражданскую войну в столь трудную пору, когда враг стоял на подступах к столице. Они не понимали, что Тьеру и французской буржуазии Бисмарк и его армии были значительно ближе и дороже, нежели французские пролетарии. Нет ничего более беспощадного, чем ненависть классового врага.

Очень скоро для Варлена и его единомышленников настала пора прозрения. Но многое было уже непоправимо упущено. Тем не менее управление Парижем принадлежало трудящимся.

Жан Сток с несвойственной ему суровостью требовал, чтобы Жаннетта и Катрина не принимали участия в быстро растущем женском движении, не посещали стихийно появившихся клубов, не учились там перевязывать раненых и управляться с оружием. С той поры, как подростком в 1848 году Жан вынес окровавленную, тяжело раненную Жаннетту с баррикады, он считал революционную борьбу делом мужчин. Попросту он боялся за жизнь жены и сестры и хотел уберечь их от опасности, удерживая дома.

— Что бы вы ни говорили, а для вас это опасно,— упрямо твердил он, видя, что Жаннетта и его сестра одеваются, чтобы вместе с Лизой Красоцкой отправиться в клуб.— Я не могу быть спокоен на своем посту из-за вашего сорочьего собрания. Вы мешаете нам, мужчинам, спокойно защищать революцию.

— Всякие я видывала сорта мужского эгоизма, но вам удалось вывести новый вид. Не хотите, оказывается, беспокоиться? Жаннетта и Катрина не дети и не вещи, — запротестовала Лиза.

Жаннетта, лукаво улыбаясь, завязывала в это время ленты капора под подбородком.

— Дайте ему высказаться, госпожа Красоцкая,— попросила она.

— В таком случае я действительно выложу вам свои мысли на этот счет. И обдумывал я их не один раз, а поэтому уверен в своей правоте. Женщине самой природой велено быть при доме, вносить в него уют, тепло. Ее дело смягчать нас и не противоречить, жить сердцем, а не сухарем-разумом. Мужчина, по-моему, в мир пришел работником и воином, а женщина — только его подругой, хранительницей очага. Она первая сказала слово «мир», и хвала ей за это.

— Вот потому, что ты сказал, нам и надо немедленно идти,— твердо заявила Катрина, направляясь к двери.

— Нет, дай ему все сказать,— остановила ее Жаннетта.— Он сегодня речист, как, бывало, шарманка Ламартин. Нынче так красиво и гладко и не говорят уже больше.

— Нечего ухмыляться. По-моему, женщина мужчину-зверя сделала человеком. Она— основа цивилизации.

— Ученые объясняют все по-иному. Этак вы и Еву припомните. Но ведь она же совратила Адама,— заулыбалась Лиза.

— Женщина вдохновила первого поэта, художника, музыканта. Я сам читал об этом,—заупрямился Жан.

— Чепуха! Все создал труд, руки, горб человека. А женщина вовсе не всегда и не у всех была нарядной игрушкой. Вы рассуждаете, как истый прудонист,—холодно заявила Лиза.— Прудон провозгласил, что место женщины в семье. Незачем называть себя последователем учения Маркса.

— Ну пусть так, может, я и не прав. Вы ученее меня, конечно, но не станете же вы отрицать, что именно женщина родит и растит детей. Хватает ей дела на свете. Я ведь не мешаю Жаннетте и Катрине читать, учиться. Наоборот. Чем могу, помогаю, но назначение женщины — беречь семью, холить...

— Мужа,— воскликнула весело Катрина.

— Скажите-ка вы, деспот, откуда же тогда взялись отряды амазонок не только в древней истории, но и в первой революции? — напомнила Лиза.

Она хотела рассказать о матриархате и легендарных воительницах древненемецкого эпоса, но воздержалась, чтобы не помешать дальнейшему спору и дать друзьям высказаться. «Все эти люди живут сейчас сердцем. Тем лучше»,— подумала она, догадавшись, что Жан, предвидя

тяжелую кровавую борьбу, не хочет подвергать женщин смертельной опасности.

— Не хочу я знать о женщинах-солдатах. Были такие. Сам видел в детстве. Одно мне ясно — мужчина и женщина различны по самой своей природе. Вот пример. Летом ездили мы с Жаннеттой в Медон и гуляли по полям. Стоило ей увидеть васильки, и, право, она начинала плясать и радоваться, как младенец, пока не наберет букет этих сорняков. Для нее это цветок, а для меня вредное растение, которое надо выполоть.

Все три женщины громко рассмеялись.

— Чудак же ты. Восстал против цветов, на красоту осерчал. Вот тоже жалкий признак мужественности. Повелители наши, это вы выстроили тюрьмы, выдумали плаху, гильотину, кандалы, вериги, войны,— поддразнивала брата Катрина.

— Пусть так, и все же ваше дело не ружья, а корыта, сковороды, чугуны.

— Ты смеешь говорить мне такое?— вдруг сильно побледнев, вскричала Жаннетта и грозно двинулась к мужу. — Нет ничего более жалкого, неблагодарного и тяжелого, чем труд домашней хозяйки. Целые дни точно таскаешь воду в решете. Ничего не остается, кроме усталости, огрубевших рук и морщин. Уберешь, бывало, квартиру, точно вылижешь пол языком, и вот пришли люди, ушли, и снова везде пыль и грязь. Стряпаешь, обжигаешься, и, глядь, уже снова на столе грязные миски, жбанчики и кастрюли. Вертишься как юла, а нет следа от твоего старания и постоянной потуги. Ничегошеньки нет. Да я бы женщине-домохозяйке, рабе кухни и дома, памятник воздвигла. Но теперь настало другое время, и не только для тебя, но и для меня.

— Вы правы, Жаннетта,— сказала Лиза.

— Я для революции не чужая,— снова зажглась гневом Жаннетта.

Она сорвала с себя кофточку и обнажила плечо и грудь, изуродованные глубокими рубцами от ран, полученных в июне 1848 года. Это она, Жаннетта, выхватила тогда багровое знамя, выпавшее из рук убитого мужа, и подняла его над баррикадой.

— А твоя мать Женевьева,— продолжала она, тяжело дыша от волнения,— пусть земля ей будет пухом, разве после многих лет мучений не нашла твоего отца во время

восстания «Общества времен года», в котором оба они принимали участие. Стыдись за свои мысли, ты, мужчина, красней перед памятью самой скромной героини, какая была когда-нибудь на свете. А разве мало таких?

Жан стоял, совершенно сраженный.

— Прости, Нетта,— сказал он, обнимая жену.— Я тебя знаю, ты отчаянная, как сама Жанна д'Арк. Если ты погибнешь, мне делать на свете нечего. Я и без тебя отомщу за отца, за многих мучеников наших и буду драться один за нас двоих. Впрочем, не мне тебя учить. Делай, как сама знаешь.

— А я было хотела уже говорить о тебе в секции Товарищества,— пошутила Жаннетта,— и даже, чего доброго, сообщить самому Марксу, какой ты притеснитель. То-то похвалил бы тебя этот великий человек. Пойми же наконец: мы друг другу в борьбе не помеха, а помощь. И, главное, запомни: не для того я поступилась разумом и, будучи на десять лет тебя старше,— Жаннетта горестно вздохнула, но тут же сделала движение рукой, как бы отбрасывая досадную помеху,— пошла за тебя замуж, чтобы остаться снова вдовой.— И незаметно для себя она выговорила те же слова, которыми свыше двадцати лет назад клялась своему погибшему на баррикаде другу: — Где ты, Жан, там и я, твоя Жаннетта. В жизни и смерти мы всегда будем вместе...

Лиза, отвернувшись к окну, с нарастающим волнением слушала этот необычный словесный поединок, окончившийся столь трогательно.

Случилось так, что вместе с приходом к власти народа в Париже утвердилась весна, ясная, теплая. Все зацвело. Народ днем и ночью толпился на улицах.

Много раз в человеческой истории революции начинались в самом конце зимы, в первые весенние месяцы. И природа торжествовала победу возрождения вместе с людьми. Но никогда радость людей не была столь пламенна, безудержна, пьянящая, как в эти дни второй половины марта в Париже. Угроза, нависшая со всех сторон, не уменьшала, а усиливала энтузиазм народа, обретшего наконец полную свободу. Все затаенные силы народа выявились, и лихорадочно заработали руки и мозг огромной массы людей.

Члены Центрального комитета Национальной гвардии работали без сна и отдыха. Они постоянно собирались в ратуше — в зале, прозванном голубым из-за поблекшего небесного тона штофа на стенах и росписи на потолке, изображавшей небо и порхающих амуров,—чтобы сообща обсудить, как встретить во всеоружии наступление врагов.

Первые дни взятия власти рабочими кое-кто, в том числе медик Жаклар и переплетчик Варлен, еще помышлял о том, не предложить ли переговоры и некоторые уступки Тьеру. Подобные настроения встречали бурный отпор большинства; несомненно, версальцы воспользовались бы этим, чтобы вероломно обмануть парижан. Пропасть между Парижем и Версалем стала непроходимой и соглашение невозможно. Красоцкий и Сток были в этом так же убеждены, как и Анна Васильевна Жаклар. Зная своего мужа, воля которого то крепла, то ослабевала, она использовала все свое влияние, чтобы поддержать его духовные силы и уничтожить малейший признак колебания.

Такие дальновидные революционеры, как отважнейшие из отважных Ярослав Домбровский, Луиза Мишель, не были спокойны и с первых дней завоевания рабочими власти настаивали на немедленном окружении и уничтожении осиного гнезда реакции. Луиза Мишель, прозванная «Красной девой Монмартра», мечтала разделаться с Тьером, уничтожив этого страшного змия реакции.

— Я, которую обвиняют в беспредельной доброте,— говорила она,— я, не бледнея, как снимают камень с рельсов, отняла бы жизнь у этого кровавого карлика.

Опасения Домбровского и Луизы Мишель, что реакция в Версале окрепнет, разделяли в Лондоне Маркс и Энгельс. К несчастью, предвидение это начало сбываться. Значительно усилившаяся благодаря помощи пруссаков версальская армия вскоре попыталась напасть на столицу. С тех пор гражданская война, сначала вокруг города, а затем и в самом Париже, более не затихала.

Двадцать восьмого марта Центральный комитет Национальной гвардии передал свои полномочия избранной свободным голосованием Парижской коммуне. Это новое правительство трудящихся состояло из восьмидесяти шести человек, в большинстве своем рабочих.

Прекрасным было торжество, сопровождавшее провозглашение Коммуны. Во всей истории человечества неза-

бываемо величественны, красочны, великолепны революционные праздники. В эти часы всегда находят самое полное выражение слова «братство» и «равенство». Люди переступают колючий барьер одиночества, в порыве радости и надежды они душой постигают то лучшее, о чем тоскуют всегда,— единение, любовь.

Площадь у городской ратуши была с утра запружена толпами вооруженных людей. Перед деревянным возвышением собрались члены Коммуны. Широкие алые ленты, перетянутые через плечо наискось мундиров и пиджаков, служили знаком их почетного сана. Играла музыка. Казалось, что начался военный парад армии, уходящей на фронт. Поблескивали на солнце штыки меж трепетавшими от ветра ярко-красными, с золотой бахромой знаменами. Прижатые друг к другу ружья колыхались как густые камышовые заросли. Солнце золотило жерла пушек на лафетах. Речей не было. Под грохот орудийных салютов и дробь барабанов шли батальоны Национальной гвардии. Женщины махали им пестрыми флажками и букетами шелковых багровых гвоздик. Пение «Марсельезы» сливалось со звуками оркестров. Люди держались за руки и улыбались друг другу.

— Да здравствует Коммуна!

Теплый ветер приносил запах молодой травы и плодоносной земли.

— Да здравствует социальная революция!

Этот клич несся с неба, вызывая откровенный испуг и досаду у тех немногих новоизбранных членов Коммуны, которые принадлежали к партиям буржуазных республиканцев.

Измена с первых дней победы народа притаилась в Париже и сразу же начала исподволь подтачивать Коммуну. Некоторые мэры и депутаты, получив указания от Тьера, намеренно затягивали переговоры о мире, чтобы дать окрепнуть версальской армии и усыпить бдительность парижан.

Едва весть о событиях в Париже достигла Лондона, Генеральный Совет Интернационала, по предложению Маркса, направил в столицу Франции, так же как ранее Огюста Серрайе, Елизавету Томановскую, под именем Дмитриевой. 29 марта 1871 года она благополучно добра-

лась до Парижа, побывав прежде в Женеве, где передала поручение Маркса по поводу бакунинского «Альянса» всем швейцарским секциям Интернационала.

С первых дней появления в осажденном оккупантами и французскими контрреволюционерами городе Дмитриева, пренебрегая опасностью, ринулась на борьбу с врагами Коммуны. Первой прокламацией, написанной Елизаветой Дмитриевой, было обращение к женщинам-труженицам под заглавием «К гражданкам Парижа»:

«Гражданки Парижа! Париж подвергнут блокаде, Париж подвергнут бомбардировке. Гражданки, где наши дети, наши братья и наши мужья?

Слышите ли вы рев пушек и священный призывный звон набата? «К оружию! Отечество в опасности!»

Чужеземец ли предпринял нашествие на Францию? Легионы ли объединившихся европейских тиранов убивают наших братьев, надеясь уничтожить вместе с великим городом даже память о бессмертных победах, купленных ценой нашей крови?..

Нет, эти враги, эти убийцы народа и свободы — французы!

Это братоубийственное безумие, овладевшее Францией, эта смертельная борьба — финал вечного антагонизма между правом и силой, трудом и эксплуатацией, народом и его палачами!

Наши враги — все те, которые всегда жили нашим потом и жирели от нашей нужды...

На их глазах народ восстал, восклицая: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей! Мы хотим труда и права пользоваться его плодами... Не надо эксплуататоров, не надо хозяев... Труд и благосостояние для всех, самоуправление народа, Коммуна, жить и работать свободно или умереть в борьбе!»

И вот страх предстать перед народным судом побудил наших врагов к величайшему вероломству — гражданской войне!

Гражданки Парижа, потомки женщин Великой революции, которые во имя народа и справедливости отправились в Версаль и привели пленного Людовика XVI, мы, матери, жены и сестры французского народа, допустим ли мы, чтобы нужда и невежество сделали врагов из наших детей, чтобы отец восстал на сына и брат на брата, чтобы

они убивали друг друга у нас на глазах по прихоти наших притеснителей, сперва предавших Париж пруссакам, а теперь желающих его уничтожить!

Гражданки, перчатка брошена, мы должны победить или умереть. Пусть женщина, думающая: «Что мне в торжестве нашего дела, если я должна потерять тех, кого люблю», поймет, что есть единственное средство спасти тех, кто ей дорог,— мужа, поддерживающего ее, или дитя, в котором она видит всю свою надежду,— это принять деятельное участие в завязавшейся борьбе...

Горе матерям, если народ будет еще раз побежден. Их сыновья заплатят за поражение, ибо участь наших братьев и мужей уже решена и реакция разгуляется вволю!.. Ни мы, ни наши враги не хотим милосердия.

Гражданки, решимся! Соединимся и тем поможем нашему делу! Будем готовы к защите и мести за наших братьев! К воротам Парижа, на баррикады, в предместья — все равно куда! Будем готовы в нужный момент прийти им на помощь! Если негодяи, расстреливающие пленных и убивающие наших вождей, дадут залп по толпе безоружных женщин — тем лучше! Крик ужаса и негодование Франции и всего мира завершит то, что мы начали. А если оружие и штыки разобраны нашими братьями,— на нашу долю достанется булыжник мостовой, чтобы сразить изменников.

Группа гражданок».

Оставшиеся в Париже аристократы попытались свергнуть Коммуну. Сразу после ее провозглашения, 22 марта, господа из фешенебельных кварталов столицы, пряча под одеждой пистолеты и взрывчатку, предприняли под видом «безоружной демонстрации» попытку неожиданно захватить штаб Национальной гвардии. Предводителем восстания был барон Жорж Дантес Геккерен — сенатор империи Наполеона III и отъявленный враг Интернационала. Рабочая гвардия, открыв ружейный огонь, заставила аристократов разбежаться. Дантес скрылся.

На защиту Парижской коммуны поднялись тотчас же десятки тысяч женщин-работниц и немало интеллигенток. Андре Лео, Луиза Мишель, Лиза Красоцкая открывали женские клубы и женские союзы, создавали «наблюдательные комитеты», благотворительные общества помощи

детям, старцам, больным, преследовали подозрительных граждан, тунеядцев и хулиганов.

Луиза Мишель неизменно вызывала у Лизы чувство восхищения. В ее неправильном лице было нечто большее, нежели красота. Оно светилось внутренним светом и отражало редкую душевную силу. Такие люди не гнутся.

Луиза родилась в деревне Домреми в департаменте Верхней Марны. Точно так же называлось село в Вогезах, где родилась легендарная Жанна д'Арк. Обе эти столь разные и вместе с тем чем-то очень схожие девушки были дочерьми крестьян. В характере Луизы Мишель была та же потрясающая целеустремленность, правдивость, неустрашимость и неистовая отвага, что и у средневековой французской героини. В одном из своих стихотворений Луиза восклицала:

«Придите, братья, придите! Сейчас даже пытка — наслаждение, и даже виселица прекрасна... Кто среди нас не отдаст сто раз свою кровь за святое дело? Придите все, кто умеет умирать!»

Мечтательная, экзальтированная, росла она в старинном замке, где мать ее была прислугой, зачитывалась книгами о Великой французской революции. Сен Жюст являлся ей во сне. Она писала стихи о том, как мужественный якобинец призывал ее к действию, к борьбе за права человека. Она рано нашла свое призвание. Это было участие в революции.

Когда в сентябре была провозглашена Республика, учительница Мишель восприняла ее как призыв к действию. Она писала стихи о «красных гвоздиках» — символе республики:

Тогда настал предел народного терпения,
Сбирались по ночам, толкуя меж собой,
И рвались из оков, дрожа от возмущения,
Как скот, влекомый на убой.
Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинственен, жесток —
Уже вокруг гремела «Марсельеза»
И красным заревом пылал восток!
У каждого из нас виднелись на груди
Гвоздики красные. Цветите пышно снова!
Ведь если мы падем, то дети победят!
Украсьте грудь потомства молодого!

— В период величайшей борьбы мне необходимо оставаться свободной,— заявляла она, когда к ней сватались,

Лишь одно огромное чувство сопутствовало ей всю жизнь. Подобно шекспировскому герою Кориолану, она беззаветно любила свою мать, и судьба старушки часто бывала для нее важнее собственной.

Особенно значительной была работа женщин в отряде красных санитарок и в госпиталях. Этим плодотворно занимались Анна Жаклар, Жаннетта и Катрина Сток. Преобладание работниц во всех женских организациях придавало им социальный и боевой революционный характер.

Лиза, Жаннетта, Катрина и Анна Жаклар с сумками сестер милосердия часто бывали на редутах и воинских постах. Они дежурили в лазаретах, устроенных наспех в особняках знати, составляли вместе с другими своими подругами воззвания:

«Сестры милосердия Коммуны заявляют, что не принадлежат ни к какому обществу. Вся жизнь их принадлежит революции, их долг заключается в том, чтобы на самом поле боя перевязывать раны, нанесенные отравленными пулями версальцев, а в случае необходимости браться за оружие, подобно другим».

Среди деятельниц Парижа образованных женщин было не так уж много, а нужда в них становилась с каждым днем больше. Открывались школы, клубы. Народ жаждал учиться, рвался к знаниям.

Лиза Красоцкая не только оказывала медицинскую помощь бойцам. Она выполняла немало различных поручений секции и женских клубов. Дома она почти не бывала, мужа видела крайне редко. В апреле она стала членом Комитета бдительности 18-го округа и вместе с Анной Жаклар повела наступление на уличную проституцию и монахинь, которые, как саранча, расползлись по столице, вели злобную агитацию против Коммуны и приносили сознательный вред раненым в госпиталях, куда проникали под видом сестер милосердия.

Несколько недель Лиза работала в редакции газеты «Коммуна», где занималась правкой статей. Там же часто бывала жизнерадостная, вдохновенная, порывистая Андре Лео. Она печатала в газете свои статьи-воззвания к народу, краткие и доходчивые. Красоцкая восхищалась ее публицистическим дарованием и неутомимой энергией.

«Земля — крестьянину, орудия труда — рабочему, работа — всем,— писала Андре Лео.— Не должно быть ни работы без отдыха, ни отдыха без работы».

— А сами вы отдыхали сегодня? — спросила Лиза Андре Лео, прочитав ее призывы.

— Что вы, сейчас не до этого, для нас — только работа и работа. Отдых наступит после победы.

Сама Лиза сотрудничала в редакции, принимала жалобщиц в Комитете бдительности, дежурила в госпитале, выступала в женском клубе «Избавление» и клубе «Гражданок — защитниц Парижа» с докладом об обязанностях женщин в дни осады Коммуны, пропагандировала там идеи Интернационала, организовывала с Дмитриевой, Мишель и Жаклар женские трудовые объединения, вооруженные женские батальоны и обучала отряды санитарок.

Одной из замечательных черт Парижской коммуны была видная роль, которую играли в ней женщины. Революционный шквал бросил их в политику с улицы вместе с вооруженными толпами, они становились во главе клубов, выступали в представительных собраниях, блеснули литературными талантами, ораторским дарованием, историческими и философскими познаниями.

Участницы революционного движения немедленно сделали из лозунгов демократии естественные выводы: «Политическое равноправие означает политические права для женщин. Нужно потребовать признания этого принципа мужчинами».

Женщины — жены городских бедняков из рабочей и ремесленной среды, прислуга, полудеклассированная женская голытьба — жестоко ненавидели императорский двор, богатую буржуазию и спекулянтов, наживающихся на голоде и войне. Их движение далеко вышло за рамки феминизма. Когда нужно было дать отпор контрреволюции, женщины бунтующего Парижа немедленно заявили о своей готовности вооружиться и сражаться с врагами. Днем в садах, на пустырях они учились стрелять, владеть кинжалами и шпагой. Юная коммунарка училась перевязывать раны, заставляя подругу изображать воина. Мальчики на улицах играли в патриотическую войну. Дети от восьми до четырнадцати лет учредили клуб, и одна из девочек, ростом чуть повыше табурета, сожалела, что по молодости не может защищать Коммуну. Она обещала

плести лавровые венки для коммунаров, возвращающихся с победой.

На окраинах Парижа в душных каморках тысячи женщин стирали бинты, щипали корпию, шили обмундирование для бойцов, читали газеты и прокламации, баюкая детей, напевали шуточные революционные песни:

Когда сильные дерутся,
Тумаки всегда достаются рабочему классу.
Если мы заплатим квартплату,
Мы дважды окажемся жертвами войны.
Принимая во внимание,
Что у граждан нет средств для уплаты за квартиру,
Пусть домовладельцы пошарят в карманах,
Никто не заплатит им квартплату.

На рассвете изможденные жены рабочих, подмастерьев, мелких ремесленников бежали в очередь за хлебом, за мылом, за сахаром и солью. Дома, без присмотра, оставшиеся некормлеными, отчаянно ревели дети, и их крик матери чуяли у дверей булочной.

Весеннее солнце освещало одну из окраинных улиц революционного Парижа, булочную с покривившейся вывеской, полусонных федератов, еще не вставленное после 18 марта стекло витрины и женщин, прислонившихся к стене дома, сидевших на серых камнях мостовой в ожидании ничтожно малой доли хлеба.

— Вчера Варлен правильно говорил в Коммуне о Клюзере,— говорит одна из женщин.— Много еще изменников среди нас, нечего с ними церемониться.

— Что ни говори, а при Наполеоне куда лучше жилось,— ехидно раздается из «хвоста» очереди.

— Молчи, чего болтаешь! — возмущаются несколько голосов.

— Иди выносить ночные горшки буржуазии и Тьеру,— жестко смеются голодные женщины.

— Газета Тьера сообщает, что все защитницы Коммуны старые уродины, безобразные ведьмы,— сказал старичок с кошелкой, кутавшийся в рваное одеяло.

— Читал бы лучше нашего «Папашу Дюшена», облезлая обезьяна, а не версальских клеветников,— зашумели дружно женщины.— Показать бы им наших девушек, гражданка Крист что ясная зорька, а русская Дмитриева до чего хороша. Позвать бы негодяев в женский клуб нашего округа, то-то бы глаза у них разбежались.

Стирка на Сене в непогоду, холод и жару, варка пищи у огромного дымящегося очага, плетенье кружев при тусклой свечке или масляной коптилке, мытье полов и посуды, сбор отбросов на рассвете, тяготы нищенской жизни не сберегали женской красоты, тем не менее среди коммунарок было много красавиц.

Борьба разгоралась: вдохновенная, упорная, беспримерно героическая — у коммунаров; подлая, основанная на подкупе, вероломстве — у версальцев. По одну сторону фронта находились полуголодные, оборванные люди, терпящие недостаток во всем, начиная с оружия, медикаментов и хлеба, по другую — сытые, отлично экипированные, вооруженные, озверелые полчища немецких солдат и французских реакционеров. Но коммунары поставили на карту самую жизнь. Ничто не могло сравниться с ними по силе отваги и воли. Они были неустрашимы.

Уже несколько месяцев Сток командовал батальоном Национальной гвардии. Со времени осады Парижа он не без боли оставил ненужный более паровоз. Столицу окружили внешние и внутренние враги: 18 марта Жан доблестно дрался на Монмартре и с этого времени стал одним из членов Центрального комитета Национальной гвардии.

Выйдя из дома после шумных семейных дебатов о назначении женщин, Сток, в военной форме, очень его молодящей, насвистывая «Ça ira», повернул в сторону бульваров и направился в окружной комитет бдительности. Внезапно к нему подошел Толен. Он, видимо, преднамеренно поджидал давнишнего товарища, с которым поддерживал короткие отношения уже более семи лет с того дня, когда оба они ездили на Всемирную выставку в Лондон, где посетили Маркса. С самого основания Международного Товарищества Рабочих железнодорожник и гравер были в числе деятельных учредителей и членов французской ветви Интернационала.

— Привет и братство! — сказал Толен громко.

— Да здравствует Коммуна! — ответил Сток, вглядываясь в молодую прелестную женщину, которая стояла рядом с сухопарым, горбившимся Толеном.

— Знакомься. Это Нинон. Можешь быть уверен, что она смертельно ненавидит буржуазию и Тьера и хочет

поскорее всемирной республики,— добавил чеканщик с наигранной шутливостью, представляя свою спутницу Стоку.

— Если уж драться, то за республику социальную. Куда вы держите путь?

— Ко мне,— вызывающе откинув вуалетку, сказала Нинон.— Есть кофе и кувшинчик бенедиктина. Лучшего не пил и сам Ротшильд.

— Не до ликера. Дел у меня по самую макушку. Так вот где ты пропадаешь, Толен? А какой ты был свойский и горячий парень каких-нибудь семь лет назад!

— Прошу тебя, Жан, зайдем к девочке на полчасика. Окажи товарищескую услугу, я немного запутался, помоги. Надо поговорить по душам,— попросил Толен.

Сток нахмурился, помолчал и решил согласиться. «Надо прощупать, что у него на уме, почему прячется от нас, чем живет, что хочет делать»,— подумал он и сказал:

— Дьявол ты, Толен. Никто теперь не знает, с кем ты якшаешься, кому ты служишь.

— Коммуне,— с той же неуловимой иронией ответил гравер.

«Неужели лжет и свихнулся»,— размышлял Жан и вдруг почувствовал, как Нинон, ластясь, берет его под руку.

Грубо оттолкнув ее, Сток невольно выругался. «Где ее подобрал Толен и зачем?» — недоумевал он.

— Гражданин, как вы обращаетесь со слабым полом! — притворно рассердилась Нинон.— Разве мы, женщины, не созданы для того, чтобы украсить вам жизнь? Такой славный парень, а грубиян.

После недолгой паузы гравер неожиданно заговорил патетически:

— Посмотри, друг, на этот замызганный, темный город, на этот осажденный лагерь бедняков, вооружившихся, нацепивших воинские доспехи поверх рваного нищенского тряпья. И это наш Париж, блестящий, нарядный, прозванный современным Вавилоном, где господствовали роскошь, обжорство и сытое веселье. Я не узнаю тебя, столица Франции, преемница древней Лютеции.

— Неправда,— резко возразил Сток,— никогда Париж не был красивее и на улицах его не царило большего порядка и полной безопасности. По-моему, только сейчас наш город стал по-настоящему прекрасен. Странно, что

ты видишь Париж глазами врагов. Так о нем пишут версальские гнусные газетки.

— Вот мы и пришли,— прервала Стока Нинон.

Все трое свернули в низкую подворотню, пропахшую кошками и конским навозом. В глубине был вход в подъезд. По грязной неосвещенной лестнице ощупью они поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Газовое освещение давно не действовало. Нинон чиркнула спичкой и зажгла свечу в ржавом подсвечнике. В прихожей лежали дрова для кафельной печки.

— Когда-то здесь была консьержка, настоящее пугало для ворон. Но, по крайней мере, иногда она мыла лестницу и зажигала фонарь. Сейчас эта уродина заседает целыми днями в окружном женском клубе. Она бешеная коммунарка и пробовала меня соблазнить политикой и даже заставить учиться. Я ответила ей, что революция не для красивых женщин. Пусть ею занимаются кикиморы. Для этого незачем иметь изящные ноги и талию.

— Ты, однако, завралась, кошечка,— сказал Толен.— Твоей курносой роже никак не сравниться с личиком Леонтины Сюэтан или очаровательной злючки Ретиф. Эти коммунарки очень хороши собой, а гражданка Жаклар или Дмитриева свели бы с ума самого Тьера, если б только этот старый евнух что-либо понимал в женщинах и красоте,— заметил Толен.

— А моя жена или сестра! — подхватил Жан. — О них тоже никто не скажет, что некрасивы. Не правда ли, Анри? А обе ярые приверженки Коммуны. Я-то видел, какие миловидные девушки сражались на баррикадах летом тысяча восемьсот сорок восьмого года. Каратели и те терялись, глядя на них. Богини! Я был тогда щенком, а все до мелочей помню. Словно отпечатано в мозгу.

— Да, жизнь бывает мощным гравером,— важно подтвердил Толен.

Нинон принялась на спиртовке кипятить кофе. Жан с удивлением рассматривал ее комнату, всю выложенную многоцветными тряпочками, раскрашенными бумажками, подушечками и пуфиками. Бывший машинист не мог определить, кто же такая Нинон.

— Сейчас пришло для нас плохое время. Нет настоящего дела. Вот я и принялась читать,— тараторила между тем Нинон, разливая кофе по прозрачным голубым

чашечкам,— раньше никогда этим не занималась. Ах, какие же жили когда-то дамы! Вот прочла я «Жизнь Нинон де Ланкло», и от зависти даже зубы заболели. И вовсе она не так уж была хороша, но будто бы очень обаятельна и имела чудесный цвет лица.

— Умом брала,— зевнул Толен.

— Представьте, родила сына, и несколько виконтов и герцогов бросили жребий, кому быть его отцом. Права у них были одинаковые. А позже этот сын, не знавший, что Нинон его мать, влюбился в нее и, будучи, конечно, отвергнут, закололя шпагой. Вот это женщина! Девяносто лет жила мадемуазель Нинон в богатстве, и все ее уважали, даже королева Христина была ее подругой. А теперь все не так. Мои подружки, ввиду того что наша профессия в дни Коммуны вовсе не пользуется спросом, обратились в секции, требуя другую работу. Одни теперь учатся на швей, другие еще на кого-то. Но я не на то рождена, чтобы портить зрение, спину и руки работой. Пока есть мужчины, я не сдохну с голода. Кому-нибудь понадоблюсь на часок-другой, не все такие целомудренные дураки, как ты,— Нинон презрительно фыркнула в лицо Стоку.— Раз коммунары спят только со своими женами, я проберусь в Версаль,— там на нас большой спрос. Мне обещал...

— Молчи, дура, брысь в кухню! — оборвал Толен.

Сток, весь побагровев, вскочил со стула.

— Так вот в какое грязное логово ты меня затащил.

— Образумься, Жан. Не в ней дело. Я искал место, где бы нам поговорить с тобой наедине. Девка больше не покажется. Выслушай меня, я ведь не о себе, а о тебе хочу говорить. Завтра на рассвете, с поручением от Коммуны я проберусь в Версаль. Париж что мышеловка. Впереди у нас здесь одна только гибель, виселица или пуля. Войска Тьера состоят из дикой деревенщины. Их не прошибешь словом, этих тупоголовых мужиков, они что темный лес. Вспомни Вандею девяносто третьего года. Я хочу спасти тебя, друг Жан. Идем со мной в Версаль.

— Подлец,— прохрипел пораженный Сток.— Мне ты посмел предложить предательство? Мне, сыну Иоганна Стока, коммуниста? Пьян ты, что ли, или сошел с ума? Вспомни наши сокровенные беседы, Лондон, Маркса. Мечты сбылись. Кто у власти? Люди труда. За что мы боремся? За себя, за рабочих. И ты хочешь бежать? Спа-

сать мерзкую шкуру? Давно уже говорили мне, что ты продажный трус и ищешь, к кому бы пойти в лакеи.

— Стоп! Не пыхти больше, машинист. Коммуна, пойми, не твой паровоз. Разобьется. Пустая ты голова. А ведь я всегда тебя любил, дурня. Не пройдет и месяца, как Тьер и Бисмарк уничтожат вас всех. А за что, спрашивается, подыхать? Бесполезны все жертвы, бесцелен героизм. Зачем быть перемолотым в этой чудовищной мясорубке? Маленькая горсточка людей, пусть самых лучших, поднялась против целого мира. Будь уверен, никто не окажет вам помощи. Все вы, коммунисты,— безумцы, фанатики или слепцы.

— Молчи, Иуда, я убью тебя собственными руками.— Жан выхватил оружие, но в ту же минуту из-за портьеры выскочил дюжий парень, тоже в форме национального гвардейца, и вместе с Толеном они повалили машиниста на пол. В рот ему воткнули кляп, а руки крепко связали веревками.

— Я не хотел этого, Жан, но ты вынудил меня и моего друга, который был наготове, образумить тебя должным образом. Теперь лежи и не пытайся помешать нам оставить этот несчастный город до скорой Варфоломеевской ночи. Впрочем, расправа с гугенотами была лишь детской потасовкой по сравнению с тем, что ожидает вас, коммунаров. Вспомни мои слова, когда будешь дрыгать ногами на виселице. Толен никогда не был мечтателем. Я не святой, а реалист, и даже если, чем черт не шутит, стану когда-нибудь большим человеком, заявлю, что был, есть и буду честным республиканцем.

Толен выкурил одну за другой две сигары.

— Но надо думать не сердцем, а разумом. Это закон в политике. Коммунистический Париж одинок, и он обречен на гибель.

Заметив, что Сток пытается освободиться от веревок и кляпа, Толен проверил узлы и сказал с шутливым сожалением:

— Жаль, что я вынужден говорить один, а не с тобой. Не таращи глаза! Утром кто-нибудь тебя развяжет, и ты сможешь поднять тревогу, сообщить в Комитет бдительности и в Коммуну. Я буду уже в Версале. Там мог бы быть и ты, если бы проклятое Международное Товарищество не внушило тебе дурацкие идеи пролетарской со-

лидарности и прочие вредные бредни, от которых я уже вылечился. Прощай, Жан Сток. Твой отец мог бы гордиться тобой, ты такой же безрассудный, как и он. Скоро вы встретитесь на том свете, оба с разбитыми черепами.

Заперев дверь на ключ, Толен и его товарищ, не произнесший ни одного слова, покинули душную маленькую комнату проститутки. Нинон также исчезла с ними в тот же вечер.

С большим трудом поздней ночью Стоку удалось выплюнуть кляп, разгрызть веревки и, разбив окно, выбраться из безлюдной квартиры. Толена в Париже уже не было. А вскоре стало известно, что он, изменив Коммуне, перешел на сторону версальского правительства.

Сток долго не мог опомниться после случая с Толеном. Трусость и подлый расчет привели чеканщика в лагерь врагов. Как в личном, так и в общественном человек познается в минуты опасности. Толен подло предал революцию и в момент испытания примкнул к версальскому сборищу реакционеров, деятельность которого была направлена на подавление революции. Еще до получения резолюции Федерального совета Парижских секций Интернационала, на основании сообщений лондонских газет о предательстве Толена, Генеральный Совет в Лондоне публично заклеймил его позором и заочно исключил из рядов Международного Товарищества Рабочих.

В том, что Коммуна победит, Сток не сомневался. Разве не были идеи и принципы, ею провозглашенные, разумными и светлыми, несущими благо, проникнутыми самой высокой человечностью. Кто может опровергнуть истину? В числе друзей машиниста в его батальоне было немало масонов, которые поддерживали начинания правительства тружеников. Они говорили:

— Мы пришли к вам, чтобы вместе строить разрушенный некогда злом великий храм Соломонов, без которого нет божия царства. Это храм добра и мудрости. Называйте его коммунизмом или как хотите, ваше дело, ибо от прозвища не меняется сущность.

Франция напоминала кратер действующего вулкана. Все, кто стремился построить новый мир на одном маленьком клочке земли, среди бешеной, разбушевавшейся стихии, записывались в Национальную гвардию.

Чего только не могут люди, охваченные единым стремлением! Несмотря на страшную угрозу — войну,

город, объявивший власть трудового народа, зашевелился, загудел, ожил и десятками, сотнями, тысячами рук стал действовать, отстраиваться, принаряжаться.

Елизавета Дмитриева, чья романтическая, жаждущая прекрасного душа нашла в революционном Париже осуществленным свой идеал — истинное братство, любовь, бесстрашие, освобожденную и высоко парящую мысль, жила только одним — революцией. Такими были в то время все коммунары Парижа. Возвышенность и чистота их устремлений мешали им иногда видеть предательство, низость, проникавшие извне.

Среди руководителей Коммуны оказался шпион Тьера: сын богатого мануфактуриста Барраль де Монто, втершийся в доверие революционеров, зорко следил за деятельностью представителей Интернационала в Париже. В одном из своих донесений он сообщал: «Дмитриева управляла Комитетом женщин, имевшим в каждом округе могущественное бюро, основанное под предлогом ухода за ранеными... Комитет под руководством Дмитриевой работал только для Интернационала. Все документы его клубов имели заголовок «Всемирная республика». Различные социалистические клубы были, по существу, клубами Интернационала».

В апреле в официальной газете — органе Парижской коммуны — неоднократно публиковались письма в Исполнительную комиссию от имени Центрального комитета гражданок, и в числе подписавшихся неизменно находилось имя Дмитриевой. Женский Центральный комитет просил об организации регулярных отрядов для обслуживания походных госпиталей, готовых в минуты крайней опасности строить баррикады, сражаться на них до победы или смерти.

Версальцы продолжали сжимать кольцо вокруг Коммуны. Парижане оставались верны себе, опасность не лишала их бодрости и способности веселиться. Нередко на улицах и площадях, в клубах устраивались импровизированные балы, пелись песни и народ лихо плясал при свете факелов под звуки случайного оркестра.

Театры были всегда переполнены, и никогда артисты не слышали более пылких, искренних изъявлений восторга и столь оглушающих аплодисментов.

В парижской газете «Папаша Дюшен» особенно часто появлялись злободневные стихи, и тут же они перекладывались кем-либо на музыку. Особенным успехом у коммунаров пользовалась песенка о девушках-бойцах.

Так изящны и столько в них склада,
Что любая годна для парада.
Это лучший во Франции полк,
Пусть возьмут это тьеровцы в толк.

Ну и храбры же наши девчонки!
Носят все, как одна, амазонки.
На версальцев, сплотясь, в батальон,
Льют свинцовый горячий бульон.

А гибель неумолимо двигалась к отчаянно сопротивлявшейся столице. В самом начале апреля пал друг Стока — генерал Коммуны, член Интернационала Эмиль Дюваль. Его смерть была одной из первых трагических страниц летописи великих дней пролетарской революции. Кто не знал после 18 марта в Париже молодого потомственного пролетария! Он был одним из руководителей восстания, военным комендантом и делегатом при префектуре полиции. Дни и ночи не покидал он своего поста, и крохотная его жена с лицом озорного ребенка, с рыжей челочкой, спускавшейся к бровям, как некогда в тюрьмы, приносила ему трижды в день скромную еду, чтобы, как она, смеясь, говорила, он не умер, позабыв о хлебе и воде.

В конце марта литейщик Эмиль Дюваль был назначен генералом, одним из трех командующих вооруженными силами революционного Парижа. Дюваль был весьма сметлив, умен и, главное, никогда не знал чувства страха. Новое звание он носил с достоинством и не щадил себя. Во время похода на Версаль Дюваль командовал одной из колонн, был взят в плен и вместе с двумя другими офицерами Коммуны приговорен к смерти.

Этот храбрый воин никогда не винил в своих промахах никого, кроме себя самого. Схваченный врагами, обезоруженный, избитый, он думал о том, что расплачивается за неумение предусмотреть опасность и командовать. Эта мысль так мучила его, что он не замечал короткой дороги, которая вела его к месту казни. Он старался принять смерть мужественно и поддержать своим примером батальонных командиров, ведомых с ним вместе на

расстрел. Пленников подвели к стене крестьянского дома, на фасаде которого висела вывеска «Дюваль-садовник».

«Это странное совпадение»,— подумал смертник и попытался улыбнуться.

«Мы тоже ведь были садовниками, да только не пришлось дожить до той поры, когда семена наши дадут всходы»,— мелькнуло в сознании Дюваля. Он почувствовал приступ страшного отчаяния от того, как бессмыслен его конец. Не увидеть победы Коммуны, умереть у порога...

Понимая бесцельность сопротивления под дулами десятка наведенных ружей, три пленных борца покорно сбросили мундиры и прижались к холодным камням дома в поисках последней опоры.

— Да здравствует Коммуна! — воскликнули они.

Раздался залп, и коммунары упали мертвыми на жесткую апрельскую землю.

Полное спокойствие и высокое человеческое достоинство казнимых произвели сильнейшее впечатление на карателей. Растерянные, безмолвные, они поспешно покинули место расправы.

Как только трагическое известие о гибели смелого командира дошло до Парижа, Коммуна постановила переименовать Итальянскую площадь в площадь Дюваля.

Во имя победы Коммуны пал Гюстав Флуранс. Он командовал 20-м легионом Национальной гвардии и участвовал в Военной комиссии. О подробностях последних часов его жизни возникли разноречивые слухи. Маркс, которого, как и всю его семью, глубоко поразила гибель молодого, многогранного, талантливого ученого, тщательно выяснил, сверяя события каждого дня Коммуны, как был убит Флуранс. Из десятков разрозненных рассказов, фактов и упоминаний в различных газетах он со свойственной ему редкой прозорливостью воссоздал всю картину гибели замечательного коммунара. Не так мечтал умереть Гюстав Флуранс, отважно боровшийся в Польше, Греции и на баррикадах Парижа.

Из газеты социалистического направления «Le Cri du Peuple», широко распространявшейся в Париже в дни Коммуны, Маркс сделал следующую выписку:

«Флуранс, отрезанный от своего корпуса, находился в одном доме в Шату, в сопровождении лишь двух или трех товарищей; он ждал *чего-то*, должно быть, того, что

называется переменой военного счастья... Он ждал. Начальник пожарной команды — колбасник, как говорят, узнает его и доносит на него властям. Являются жандармы. Дом окружен. Флуранс пытается скрыться от убийц: он хочет жить, чтобы сражаться! Но штыки обшаривают все углы. Его выводят, замученного, окровавленного, на порог двери, где донесший на него предатель удостоверяет его личность. Беззащитный, безоружный, побежденный, он становится пленником. Его держат за руки. Пьяный жандарм поднимает саблю и рассекает ему череп. Флуранс падает! На другой день газеты сообщили, что Флуранс выстрелил в своего врага из револьвера и что его убили потому, что он убил. Ложь! Убийство было совершено в трактире. От трактирщика потребовали подписать протокол, где утверждалось, что Флуранс стрелял, таким образом хотели снять вину с мерзавца, нанесшего удар саблей. Трактирщик, простой, честный человек, отказался дать свою подпись, он знал, что тут произошло убийство. *Его арестовали, и сейчас он в тюрьме.* Верно ли это? Вчера утром пытались запугать и его жену, но и она в свою очередь отказалась быть соучастницей в этом злодеянии».

Когда в семье Маркса узнали о страшной смерти Флуранса, отчаянию не было границ. Женни Маркс делилась своей скорбью в письме к Либкнехту.

«Я не в состоянии передать Вам, в каком волнении, страхе и отчаянии весь наш дом. Подобного мы не переживали со времени июньской битвы. Я очень опасаюсь, что движение Коммуны, первый светлый луч в этом мраке, теперь погибло, и вместе с ним погибли все наши лучшие, самые верные друзья. Прежде всего нас глубоко потрясла смерть Гюстава Флуранса. Он был нашим личным другом...»

Женнихен сообщала Людвигу и Гертруде Кугельман. В течение одной недели она писала им дважды: «Мои дорогие друзья! Я должна признаться, что у меня не было достаточной энергии для писания писем: меня покинуло мужество. Я не могу перенести необходимости сидеть на месте в то время, как храбрейших и лучших уничтожают по приказу этого кровожадного клоуна Тьера, кото-

рому со всеми его ордами профессиональных убийц из-за угла никогда не удалось бы победить непокорных парижских граждан, если бы он не нашел помощи у своих прусских союзников, вдобавок чванящихся своей полицейской ролью. Сама лондонская пресса, верная своей достойной миссии, сделавшая все для того, чтобы забросать грязью пролетариев Парижа, должна в настоящее время признать, что никогда еще люди не сражались во имя принципа более храбро и отважно...

Большое число наших друзей принимает участие в Коммуне. Некоторые уже пали жертвами версальских палачей. Недавно был убит Гюстав Флуранс. Он пал не во время битвы, как об этом сообщает пресса: дом, в котором помещалась его штаб-квартира, был указан жандармам шпионом и был окружен, а сам Флуранс был убит».

В эти дни Женнихен твердо решила отправиться во Францию, где были в это время также и Лафарги.

Париж, не щадя себя, отражал натиск врагов. По улицам к линии фронта в форт Исси, в Нейи двигались артиллерийские повозки, отправлялись один за другим батальоны. Знаменосцы несли впереди воинов красные стяги. Оркестр почти без отдыха исполнял «Марсельезу» или полюбившуюся коммунарам мелодичную «Песнь прощания». С ружьями Шаспо на плече безмолвно шли люди разных возрастов, улыбающиеся безусые юноши и сосредоточенные бородатые старцы. В воинских рядах, в таких же мужских костюмах, бодро шагали санитарки с отличительными нарукавными повязками и небольшими жестяными котелками и флягами, прикрепленными к широким опоясывающим ремням. Рядом с матерями, держась за их шинели, нередко бежали вприпрыжку малыши, которых не с кем было оставить дома.

Имя Дмитриевой, этой таинственной русской, было окружено легендой. Ее считали то актрисой, прекрасной и неустрашимой, как знаменитая Клер Лакомб; то блестящей куртизанкой из народа, подобно прославленной Теруань де Мерикур, ведшей на приступ королевского Версаля в 1789 году толпы санкюлоток; то загадочной восточной княжной. Никто не знал ее прошлого и подлинного имени. Она появлялась повсюду: на заседании, по-

священном устройству народных школ, вместе с любимицей Парижа Луизой Мишель; на трибуне клуба, с неистовой Аделаидой Валантен, работницей, которая, сражаясь на баррикадах, убила своего возлюбленного, когда тот проявил трусость; на поле боя она то сестра милосердия, то командир женских революционных отрядов. Русская коммунарка, даже раненная, не покинула своего поста.

В длинном суконном платье, опоясанная широким кожаным ремнем, на котором сбоку висел револьвер, Дмитриева казалась особенно статной. Теплый алый шарф и тирольская высокая фетровая шляпа с красной кокардой довершали романтический облик двадцатилетней руководительницы парижских коммунарок.

Двадцать четвертого апреля 1871 года Дмитриева писала в Лондон члену Генерального Совета Интернационала Г. Юнгу.

«По почте писать невозможно, всякая связь прервана, все попадает в руки версальцев. Серрайе, только что избранный в Коммуну и чувствующий себя хорошо, переслал в Сен-Дени семь писем, но в Лондоне они, по-видимому, не получены... Парижское население (известная часть) героически сражается, но мы никогда не думали, что окажемся настолько изолированными. Тем не менее мы до сих пор сохранили все наши позиции. Домбровский сражается хорошо, и Париж действительно революционно настроен... Вы ведь знаете, что я пессимистка и вижу все в мрачном свете,— поэтому я приготовилась к тому, чтобы умереть в один из ближайших дней на баррикадах. Ожидается общее наступление — я лично думаю, что все зависит от случая.

Я очень больна, у меня бронхит и лихорадка. Я много работаю, мы поднимаем всех женщин Парижа... Мы учредили во всех районах, в самих помещениях мэрий, женские комитеты и, кроме того, Центральный комитет. Все это для того, чтобы основать Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Мы устанавливаем связь с правительством, и я надеюсь, что дело наладится. Но сколько потеряно времени и сколько труда мне это стоило! Приходится выступать каждый вечер, много писать, а моя болезнь все усиливается. Если Коммуна победит, то наша организация из политической превратится в

социальную, и мы образуем секции Интернационала. Эта идея имеет большой успех. Вообще, пропаганда Интернационала, которую я веду с целью показать, что все страны, в том числе и Германия, находятся накануне социальной революции,— эта пропаганда очень хорошо воспринимается женщинами. Наши собрания посещают от трех до четырех тысяч женщин. Несчастье в том, что я больна и меня некому заменить.

Дела Коммуны идут хорошо, но вначале было совершено много ошибок. 15—20 дней назад был избран Клюзере, несмотря на всю нашу агитацию против него. Теперь Малон рвет на себе волосы, что не послушался меня...

К крестьянам не обратились вовремя с манифестом; мне кажется, что он вообще не был составлен, несмотря на мои и Серрайе настояния. Центральный комитет не сразу сдал свои полномочия, были всякие инциденты, которые ослабили партию, но с тех пор организация окрепла. На мой взгляд, делается все, что только возможно. Я не могу говорить об этом более подробно потому, что боюсь, как бы прекрасные глаза г. Тьера не заглянули в это письмо,— ведь еще вопрос, попадет ли благополучно в Лондон податель этих строк, швейцарец, редактор из Базеля, который привез мне вести от Утина.

Я сижу без гроша. Если Вы получили мои деньги, постарайтесь их с кем-нибудь переслать, но только не по почте, иначе они не дойдут. Как Вы поживаете? Я всегда вспоминаю о всех вас в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Жму руку Вам, Вашей семье и семье Маркса. Что поделывает Женни?

Если бы положение Парижа не было таким критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь — здесь так много дела».

Письмо это Юнг принес Марксам, и оно произвело сильное впечатление на всех обитателей Модена-вилла. 10 мая две дочери Маркса, Женнихен и Элеонора, с первых дней Коммуны рвавшиеся на континент, выехали во Францию.

В мае 1871 года силы народного сопротивления были подорваны. Шли кровопролитные бои. Парижские пролетарии проявляли чудеса отваги и умирали как герои.

Трупы лежали на площадях, во дворах, на тротуарах. Вода в Сене покраснела от человеческой крови. Тяжело больной в это время Маркс вместе с Энгельсом неотрывно следили за каждым этапом борьбы французских рабочих.

Оба они поддерживали связь с оцепленным городом, находившимся в кольце врагов, через знакомого купца, который, пренебрегая опасностью и рискуя жизнью, ездил неоднократно по делам из Лондона в Париж.

Многое успела сделать Коммуна для народа. Она дала возможность трудящимся участвовать в управлении государством, приняла декрет о восьмичасовом рабочем дне, провозгласила принцип всеобщего бесплатного обучения, создала рабочие кооперативные товарищества, признала полноправными незаконнорожденных детей, увеличила заработную плату, равно как для мужчин, так и для женщин.

Счастливый человек порой бывает беззащитен. А трудовой люд столицы был опьянен радостью, полон радужных надежд и прекраснейших намерений. Желая сделать наибольшее количество людей счастливыми, коммунары забывали о том, что именно это ожесточало многочисленных врагов. Стремясь предотвратить кровопролитие, Коммуна не хотела первой начинать гражданскую войну. Одной из роковых ошибок, наряду с другими, было непротиводействие уходу из столицы всех регулярных воинских частей в Версаль.

Охваченные великим вдохновенным порывом, не замечая лишений и пушечных жерл, обращенных на них, парижские рабочие, ремесленники, интеллигенты создавали невиданные до сих пор общественные отношения. Они открывали бесплатные курсы и школы для детей и взрослых, детские сады и ясли, больницы, клубы, отделили церковь от государства. Коммуна стала правительством рабочего класса. При ней могло совершиться полное освобождение труда. К несчастью, в Коммуне не было единой ведущей рабочей партии. Прудонисты, анархисты, новоякобинцы, бланкисты, члены масонских лож вносили в деятельность Коммуны немало путаницы и конфликтов.

Не выступив своевременно на Версаль, войско коммунаров дало возможность контрреволюционерам подготовить широкое наступление. Бисмарк передал Тьеру сто тысяч французских военнопленных, преимущественно из крестьян, которые были тотчас же брошены на Париж. Началась смертельная баррикадная война внутри города,

куда 22 мая вторглись версальцы. С этого часа уже не умолкала канонада, не потухало зарево вспыхивавших пожаров.

Все, кто испил из чистого родника подлинной свободы и величайших надежд, не раздумывая, бросились защищать Коммуну. Баррикады Парижа объединили в эти дни тех, кто видел свое счастье в служении народу. Вместе с парижанами отстаивали Коммуну польские офицеры-повстанцы Врублевский, Домбровский, русские Петр Лавров, Дмитриева и Корвин-Круковская, венгр Лео Франкель и многие другие революционеры разных национальностей. Их были тысячи.

Женщины и подростки сражались рядом с мужчинами. Жизнь без Коммуны не имела для них смысла, как бытие без солнца. Коммуна была их матерью и детищем. Их казнили безвинно за то, что они творили только добро, несущее людям счастье. А когда человек знает, что гибнет, не совершив ничего постыдного, к нему, как последнее ободряющее милосердие, приходит высшее духовное самосознание, и ему более не хочется оставаться в мире, где совершаются столь тяжкие преступления. Смерть становится желанным другом, сулящим полную свободу. Неисчерпаемы сокровища чистой совести. Они делают людей неуязвимыми для страха.

Коммуна была обречена. В недолгие дни своего существования она почти что ощупью, впервые в человеческой истории, попыталась осуществить новую форму государства — диктатуру пролетариата, разрушила паразитический, полицейско-бюрократический государственный аппарат. Но ей суждено было изойти кровью и погибнуть. Для победы социальной революции страна еще не созрела. Коммунары не успели привлечь к себе симпатии крестьянства, они были окружены кольцом внутренних и иноземных врагов. Против них выступили все имущие классы мира. Коммуна горела, как костер в степи.

Жена Маркса, тяжело страдавшая вместе со всеми близкими в эти трагические дни борьбы обреченных коммунаров, писала Кугельману после отъезда дочерей во Францию:

«Дорогой доктор!.. Вы не можете себе представить, как много пережили мой муж, мои девочки и мы все из-за французских событий. Сперва страшная война, затем еще

более ужасная вторая осада Парижа. Смерть Флуранса, храбрейшего из храбрых, глубоко потрясла нас всех, и вот теперь отчаянная борьба Коммуны, в которой принимают участие все наши самые старые и лучшие друзья. Недостаточное военное руководство; вполне естественное недоверие по отношению ко всему, что является «военным»; навязчивое вмешательство журналистов и героев фразы... неизбежные вследствие этого раздоры, нерешительность и противоречивые действия — все эти бедствия, неизбежные в столь молодом и отважном движении, были бы, наверное, преодолены ядром крепких, способных на самопожертвование, сознательных рабочих; но теперь, я думаю, потеряна всякая надежда, так как Бисмарк, заставляющий платить себе немецкими деньгами, выдает французским канальям из «партии порядка», каждый из которых в отдельности олицетворяет какое-нибудь подлое уголовное преступление, не только всех военнопленных, но и все крепостные сооружения. Мы стоим накануне второй июньской бойни... Как только Мавр закончит свой манифест для Интернационала, он Вам напишет.

Ваша *Женни Маркс*».

Хотя Маркс и Энгельс во время осады Парижа прусской армией опасались неожиданного восстания революционных рабочих столицы, справедливо предвидя неизбежность его поражения в условиях окружения города иноземными захватчиками, тем не менее, как только разразилась революция, они сразу же восприняли Парижскую коммуну как свое кровное дело, как духовное детище Интернационала.

Маркс включился в борьбу Коммуны со всей свойственной ему страстью. Он написал сотни писем деятелям рабочего движения разных стран, обращая их внимание на историческое значение Коммуны, и сделал все возможное, чтобы установить связь с осажденными в Париже. Напряженно следил он за развитием событий во Франции и сразу же в полной мере оценил героизм рабочих Парижа.

«Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность самопожертвования у этих парижан! После шестимесячного голодания и разорения, вызванного

гораздо более внутренней изменой, чем внешним врагом, они восстают под прусскими штыками, как будто войны между Францией и Германией и не было, как будто бы враг не стоял еще у ворот Парижа! История не знает еще примера подобного героизма! Если они окажутся побежденными, виной будет не что иное, как их «великодушие». Надо было сейчас же идти на Версаль, как только Винуа, а вслед за ним и реакционная часть парижской национальной гвардии бежали из Парижа. Момент был упущен из-за совестливости. Не хотели *начинать гражданской войны,* как будто бы чудовищный выродок Тьер уже не начал гражданскую войну своей попыткой обезоружить Париж! Как бы там ни было, теперешнее парижское восстание, если оно даже и будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, является славнейшим подвигом нашей партии со времени парижского июньского восстания. Пусть сравнят с этими готовыми штурмовать небо парижанами холопов германско-прусской священной римской империи с ее допотопными маскарадами, отдающими запахом казармы, церкви, юнкерства, а больше всего филистерства».

Члены Интернационала в Париже были храбрейшими борцами Коммуны. Бланкисты и часть прудонистов не считали себя последователями Интернационала. Однако и они отчаянно дрались на баррикадах рабочего Парижа. Вся реакционная печать заявляла, что гражданская война во Франции вспыхнула по воле Генерального Совета. Возникновение Парижской коммуны рассматривалось буржуазией как осуществление замысла Маркса и его сторонников. Хотя Интернационал не призывал рабочих Парижа к восстанию, Маркс считал Парижскую коммуну плотью от плоти Интернационала. Он поддерживал связь с интернационалистами в Париже и оказывал им всевозможную помощь советами, насколько это позволяли сложившиеся обстоятельства.

В самом конце марта член совета Парижской коммуны Лео Франкель писал Марксу:

«Если нам удастся осуществить коренное преобразование социальных отношений, то революция 18 марта останется в истории как наиболее плодотворный из всех бывших до сих пор переворотов, и в то же время она лишит

почвы все будущие революции, так как в социальной области уже нечего будет более добиваться...

В связи с этим Ваше мнение о социальных реформах, которые надо провести в жизнь, будет чрезвычайно ценно для членов нашей комиссии.

Я прошу Вас, уважаемый гражданин, в интересах нашего великого дела как можно скорее ответить мне. Простите мою настойчивость, но необходимо торопиться, так как прежде всего надо заложить фундамент социальной республики».

Маркс тотчас же ответил.

Несколько позже Франкель снова обратился к Марксу:

«Я был бы очень рад, если бы Вы согласились как-нибудь помочь мне советом, ибо я теперь, можно сказать, один и несу ответственность за все реформы, которые я хочу провести в департаменте общественных работ. Уже из нескольких строк Вашего последнего письма явствует, что Вы сделаете все возможное, чтобы разъяснить всем народам, всем рабочим, и в особенности немецким, что Парижская коммуна не имеет ничего общего со старой германской общиной. Этим вы окажете, во всяком случае, большую услугу нашему делу».

Переписка Маркса с Лео Франкелем и другими членами Коммуны не прекращалась даже в самые трагические дни боев. Марксу, однако, были совершенно чужды всякие диктаторские устремления, и он считал невозможным давать какие-либо прямые предписания участникам парижских событий.

С первых дней провозглашения Парижской коммуны Маркс внимательно изучал все сведения о ее деятельности: сообщения французских, английских и немецких газет, информацию в письмах из Парижа, документы о членах правительства Тьера. 18 апреля 1871 года на заседании Генерального Совета Маркс предложил выпустить воззвание ко всем членам Интернационала относительно «общей тенденции борьбы» во Франции. Маркс работал над этим документом в течение целого месяца. Сначала им были написаны первый и второй наброски «Граждан-

ской войны во Франции», после чего он приступил к составлению окончательного текста воззвания.

В мае Маркс послал двум руководителям Коммуны — Франкелю и Варлену,— как всегда, через поверенного немецкого купца, чрезвычайно важное письмо. Обычно он старался передавать в Париж свои сообщения и советы устно, так как проникновение в осажденный город было сопряжено с большой опасностью. На этот раз, ввиду чрезвычайной важности, ему пришлось писать:

«Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени на мелочи и личные счеты. Видно, что наряду с влиянием рабочих, есть и другие влияния. Все это не имело бы значения, если бы вам удалось наверстать потерянное время.

Совершенно необходимо, чтобы вы поторопились с тем, что считаете нужным сделать за пределами Парижа, в Англии или в других странах. Пруссаки не передадут фортов в руки версальцев, но после окончательного заключения мира (26 мая) они позволят правительству окружить Париж его жандармами. Так как Тьер и К° в договоре, заключенном Пуйе Кертье, выговорили себе, как вы знаете, огромную взятку, то они отказались от предложенной Бисмарком помощи немецких банкиров. Иначе они лишились бы своей взятки. Так как предварительным условием осуществления *их* договора было покорение Парижа, то они просили Бисмарка отсрочить уплату первого взноса до оккупации Парижа. Бисмарк принял это условие. И так как Пруссия сама сильно нуждается в этих деньгах, то она предоставит версальцам все возможности для того, чтобы облегчить им скорейшую оккупацию Парижа. Поэтому будьте настороже!»

Такие сугубо тайные сведения о секретных переговорах и соглашениях Бисмарка с версальскими изменниками Карлу Марксу сообщал Иоганн Микель.

«Я получил эту информацию от правой руки Бисмарка,— писал Маркс о днях Парижской коммуны,— человека, прежде (с 1848 до 1853 г.) принадлежавшего к тайному обществу, руководителем которого был я. Этот человек знает, что у меня еще хранятся все отчеты, которые он посылал мне из Германии и о Германии. Он всецело зави-

сит от моей скромности. Отсюда его постоянные старания доказать мне свои добрые намерения. Это — тот же самый человек, который, как я Вам говорил, предупредил меня, что Бисмарк решил меня арестовать, если я в этом году снова приеду к доктору Кугельману в Ганновер.

Если бы только Коммуна послушалась моих предостережений! Я советовал ее членам укрепить северную сторону высот Монмартра — прусскую сторону, и у них было еще время это сделать; я предсказывал им, что иначе они окажутся в ловушке; я разоблачил перед ними Пиа, Груссе и Везинье; я требовал, чтобы они немедленно прислали в Лондон все бумаги, компрометирующие членов правительства национальной обороны, чтобы таким образом до известной степени сдерживать неистовства врагов Коммуны,— тогда план версальцев был бы отчасти расстроен».

С первого дня существования Парижской коммуны ни рабочие, ни Центральный комитет Национальной гвардии не были теоретически подготовлены к строительству новой власти, они самим ходом борьбы оказались поставленными перед необходимостью разрушить старую государственную машину, служившую для угнетения народа, и приступить к строительству общества нового типа. Это историческое дело парижский пролетариат осуществлял с первого же момента начавшейся гражданской войны. Закладывая основы нового государства, он разрушил рычаги буржуазной власти: министерства, армию, полицию.

Большинство членов Коммуны состояло или из рабочих, или из их признанных представителей. Там были пролетарии — социалисты, интернационалисты. Но рядом с ними находились люди, принадлежавшие к самым различным течениям. Случайные попутчики Парижской коммуны из числа патриотически настроенных буржуазных республиканцев отделились от Коммуны, как только выявилась ее пролетарская сущность.

В партийном отношении Парижская коммуна не была однородной. Она делилась на «меньшинство» и «большинство». К «меньшинству» принадлежали правые прудонисты, отрицавшие необходимость политической борьбы и диктатуры пролетариата, и левые прудонисты-коллективисты, признававшие политическую борьбу и высказывавшиеся за общественную собственность на средства производства. «Большинство» состояло из мелкобуржуазных

демократов — «новых якобинцев», стоявших за сохранение мелкой собственности и за «ограничение» крупного капитала; бланкистов, не понимавших значения социально-экономической перестройки и стоявших за революционную диктатуру небольшой группы революционеров. Между «большинством» и «меньшинством» велась острая борьба по всем политическим вопросам, достигнувшая предела в середине мая, когда «меньшинство» вступило было на путь раскола. К чести и славе Коммуны, пролетарии-социалисты завоевали в ней главенство. Они провели через ассамблею Коммуны целый ряд вошедших в историю экономических и социальных мер. Великим социальным мероприятием Коммуны, указывал Маркс, было ее собственное существование, ее работа. По его словам, Коммуна была правительством рабочего класса.

Прежде всего Парижская коммуна приступила к замене учреждений, служивших угнетению народа. Она стремилась создать единство нации — рабочих и всех трудящихся — посредством уничтожения государственной власти, отстаивающей привилегии меньшинства в ущерб интересам народа. Взамен старого буржуазного аппарата, сломанного в ходе революции, был создан новый. В итоге государственного строительства Парижской коммуны были заложены начала пролетарской демократии. Для руководства всеми делами Парижской коммуны было создано десять комиссий: исполнительная, военная, внешних сношений, юстиции, финансов, внутренних дел и общественной безопасности, труда, просвещения, продовольствия, общественных служб. Во главе комиссий и сменивших их с 20 апреля делегаций стояли руководители, избиравшиеся Парижской коммуной. 1 мая, в связи с ухудшением положения на фронте, ассамблея Парижской коммуны образовала Комитет общественного спасения, наделенный широкими полномочиями.

Политическая власть пролетариата послужила для него средством разрушения общественного строя, покоившегося на частной собственности на средства производства и на эксплуатации рабочих капиталистами. Парижская коммуна за семьдесят два дня своего существования издала ряд декретов об охране труда рабочих и служащих и, в частности, запретила ночную работу в пекарнях, отменила систему штрафов, провела регистрацию брошенных или приостановленных своими владельцами фабрик, заво-

дов и мастерских и передала их товариществам рабочих для возобновления производства; бывшим владельцам предоставлялось право на получение вознаграждения в размере, определенном особыми посредническими комиссиями. Был установлен государственный и рабочий контроль.

Коммунары попытались привлечь на свою сторону французское крестьянство. Но из-за недооценки как «меньшинством», так и «большинством» значения рабоче-крестьянского союза и в силу других причин не смогли этого добиться.

С самого начала ошибочно приняв тактику обороны, Парижская коммуна в дальнейшем также не использовала своих возможностей для разгрома сил контрреволюции, которые возглавил Тьер. Несмотря на то что первые вооруженные столкновения с версальцами начались уже 2 апреля, рабочая власть обращала слишком мало внимания на военную подготовку. Вооруженные силы Парижской коммуны были плохо организованы, не располагали достаточным количеством оружия, в то время как на складах Парижа лежали нетронутыми двести восемьдесят пять тысяч ружей.

Май принес с собой агонию Парижской коммуны.

Многообразно человеческое отчаяние. Иногда оно подобно параличу и сковывает волю, затемняет мысли, иногда граничит со страхом и трусостью, толкает к безрассудству, заставляет метаться в поисках спасения, лишает человеческого достоинства, бросает на землю, уподобляет червям. Есть отчаяние недвижимое, каменное либо размягчающее, слезливое, унылое, жалкое. Отчаяние коммунаров было действенным и гордым. Оно рождало героев. Отныне смерть не пугала более. Если нельзя было жить при Коммуне, оставалось только подороже отдать свою жизнь в борьбе.

Парижские пролетарии, как никто, владели искусством сражаться и умирать достойно. На протяжении восьмидесяти лет они неоднократно дрались на революционных баррикадах. Из поколения в поколение передавались драгоценные были об упорной борьбе за свободу. Отцы и деды коммунаров, презрев смерть, обагряли не раз своей кровью родную землю. Умирая, они оставались

непобедимыми. За них поднимались на бой новые полчища мстителей-бойцов. Неописуема сила тех, кто готов умереть ради идеи. Они не знают поражения. Многие разновидности отступничества, вероломства и подлости порождены страхом перед небытием. Коммунары были освобождены от всего этого.

Катрина была санитаркой 101-го батальона 2-й армии, занимавшей южные форты, которой командовал Врублевский. С тех пор как золотоволосая швея покинула мастерскую на улице Варенн и отдалась делу Коммуны, характер ее заметно изменился. Она перестала дичиться людей и замыкаться в себе. Катрина пыталась нарочитой развязностью замаскировать застенчивость, но так и не смогла избавиться от огненной вспышки на щеках даже при взгляде постороннего человека. Катрина любила Валерия Врублевского, и стоило ему появиться в расположении войск, где она перевязывала раненых перед отправкой в госпиталь, как девушка, краснея до корней своих нежных волос, бежала ему навстречу.

Врублевский, один из лучших, старательнейших и преданнейших офицеров Коммуны, уступал в знании военного дела лишь своему соотечественнику, командующему войсками, Ярославу Домбровскому, который учился в кадетском корпусе в Петербурге, затем в военном училище и в чине поручика был направлен в Академию Генерального штаба, которую блестяще окончил. Домбровский стал наиболее видным военачальником среди нескольких сотен поляков — участников Парижской коммуны.

Вступление Домбровского и Врублевского в ряды защитников пролетарского Парижа произвело большое впечатление на их соотечественников. Около шестисот польских изгнанников, особенно из «Демократического объединения», близкого к парижской ветви Международного Товарищества Рабочих, и «Общества военного заговора» — левой польской военно-конспиративной группы — примкнуло к коммунарам. Валерий Врублевский с небольшими воинскими подвластными ему силами прославился героическими подвигами. Он умел воодушевлять солдат и служить им примером неустрашимости и бодрости. В минуты опасности его самообладание, находчивость и твердость действовали гипнотически на окружающих и вселяли в них уверенность и отвагу.

Когда Врублевского назначили генералом, он решительно отказался от жалованья, соответствовавшего этому высокому чину, и взял только коня. С детства Валерий был отличным наездником. Точно так же он отверг предложение поселиться в Елисейском дворце.

— Место генерала — только среди солдат,— ответил Врублевский. Он жил как простой воин. Федераты, как иногда называли национальных гвардейцев парижские рабочие, высоко ценили эти черты в польском революционере. Он был искренне любим ими и пользовался большим влиянием.

Сто первый батальон Врублевского славился своей неустрашимостью и боеспособностью. С первых дней его сформирования там находилась в качестве санитарки и бойца Катрина Сток. Ее нелегко было узнать в потрепанной от непрерывных походов военной форме. Она казалась подростком, надевшим шинель отца. Чтобы не было необходимости заплетать косу, Катрина коротко подстриглась. Ее волосы цвета приморского песка прямыми прядками падали к плечам из-под серой, надетой набекрень шапочки.

В один из майских, особенно теплых и душистых, дней версальцы повели наступление на форт Ванв и ворвались в него. Поздно ночью в 101-й батальон приехал Врублевский с подкреплением. Штыковой атакой войска под его командованием выбили из форта версальцев. Катрина была легко ранена в бою, но наотрез отказалась уйти из части. Никто никогда не видел ее такой сердитой.

— Ишь какие нашлись умники, гонят меня из батальона. Если бы из-за такой царапины, как моя, все бросали фронт, то давно бы Тьер хозяйничал в Париже. Вот заставить бы мужчин рожать, тогда бы они знали, что такое боль и кровопотеря.

— Да ведь ты-то и сама этого не знаешь.

— Что же, разве я не женщина, не играла в куклы, не нянчила детей?

Вдруг Катрина почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо, согрев шею и голову. Еще не видя, она ощутила сердцем приближение Врублевского. Он спешился и медленно шел по мягкой траве к штаб-квартире, на крыльце которой происходила перебранка между девушкой и тремя офицерами. Впрочем, шумела только одна Катрина,

— Да, очевидно, Бальзак был прав, когда писал, что одним словом женщина может убить трех мужчин,— сказал Врублевский, весело поглядывая на крайне растерянных товарищей и пылающую от гнева санитарку с рукой на перевязи.— Что же тут происходит?

— Прошу вас, гражданин командующий, приказать, чтобы меня, пока я жива, никуда не отправляли из Сто первого батальона. Тем более что, независимо ни от чего, я не покину фронт.

— Ого, но ведь вы ранены?

— Это пустяк, у меня вполне цела левая рука, ноги, туловище, я могу пока что готовить бойцам пищу.

— Однако...

Но Катрина не дала Врублевскому продолжать.

— Никуда, понимаете, никуда я не уйду...— Девушка запнулась, но командующему показалось, что он услыхал ее шепот,— буду там, где вы.

— Отступаю. Воевать с женщиной мне не приходилось, и, пожалуй, я не хотел бы и впредь. Что ж, до заживления раны помогайте батальонному каптенармусу.

В сумерки Врублевский отыскал Катрину в сенном сарае, где она проверяла мешки с зерном. Девушка нисколько не удивилась его приходу.

— Я думал, что узнал ваш характер, когда недолго давал вам уроки грамматики,— сказал ей Валерий мягко,— но сейчас убедился, что ошибся. По правде говоря, я теряюсь в догадках, отчего вы, тихоня, не признаете дисциплины. Я оставил вас, чтобы избегнуть скандала. Женщина при войске всегда лишняя. Трудно представить на войне заранее, что может случиться, нужна поэтому выдержка и ясность духа, а вы этого вовсе не поняли.

— О-ла-ла, что же я, по-вашему, изнеженная барышня? Но разве вы потерпели бы такую в батальоне? Сосчитайте, скольких бойцов я вынесла из-под пуль, сколько ран перевязала. Многому вы учились, а вот главного не постигли.

— Чего же?

— Любви.

— Замолчи, Катрина. Не время. Все это придет к нам после победы.

— Но сердце не справляется о времени и месте, оно любит вас.

— Милая. Мы должны обождать,— растерянно твердил Врублевский.

— Нет, нет, любовь не помеха. Наоборот, счастливые люди самые добрые и смелые на земле.

Настал вечер, а Врублевский все еще ласкал светло-золотые волосы Катрины, лежавшей подле него на колючем старом сене.

— Как все здесь уродливо. Я хотел бы быть с тобой на зеленой поляне, поросшей цветами, подле тихо плещущей реки.

— Красиво там, где мы счастливы. Здесь прекрасно потому, что мы вместе и любим друг друга,— тихо сказала Катрина. — Сквозь дырявую крышу видны темные облака. Нет ничего величественнее неба. Когда я буду умирать, то последний взгляд брошу в небо. Скажи мне, Валерий, что такое смерть? Неужели после нашей смерти все будет так же, как сейчас, только не будет нас. Меня не будет. Я говорю и не понимаю смысла сказанных слов. Как может не быть меня? Однако ведь были у меня и Жана родители. Они исчезли. Их нет.

— Не думай об этом. Мысль о смерти ослабляет, губит — это как бы начало ее. Гони прочь печальные думы. Мы должны с тобой жить и увидать победу Коммуны. Мы счастливы. Повторим за древним поэтом:

Сверкайте же, факелы,
Радостен путь наш. Ликуйте!

— Да, с тобой я счастлива, Валерий!

К середине мая положение на оборонительных фронтах вокруг Парижа значительно ухудшилось. Лиза не расставалась с Анной Жаклар. Они проводили дни и ночи в больницах, где под обстрелом перевязывали раненых, число которых возрастало с каждым часом.

В это время с риском для жизни к Анне Васильевне пробралась ее сестра Софья Ковалевская с мужем. Их встреча произошла в перевязочной. Над домом разрывались снаряды, и непрекращающийся гул заглушал голоса.

— Помоги мне скатать бинты,— сказала Анна, почти не удивившись внезапному появлению Софьи.

Вскоре обе сестры, в белых глухих фартуках, разговаривали шепотом, перевязывая тяжелораненого. Жена

Жаклара резко отвергла просьбу сестры бежать с ней из осажденного города. Ничего не добившись, обеспокоенные Ковалевские уехали в Берлин.

Лиза Красоцкая редко видела мужа, который почти не расставался с командующим войсками Ярославом Домбровским. Трудно было не привязаться всем сердцем к этому рыцарственному поляку с лицом исключительной духовной красоты. Лоб мыслителя, глаза вдохновенного поэта, тонкие черты лица, оттененные узкой бородкой и усами,— все было привлекательно в Домбровском и приводило на память образы великих ученых и писателей эпохи Возрождения.

В дни «кровавой недели» генерал Домбровский верхом на коне под градом пуль объезжал баррикады. В его бесстрашии скрывалось отчаяние. Он искал смерти, не желая встретить поражение.

На одной из баррикад он увидел Луизу Мишель в костюме национального гвардейца. Ничто не могло лишить бодрости и самообладания эту необыкновенную девушку. Она любила опасность и бой. Всюду кружила смерть. А Луиза, спокойно опершись на ружье, угощала пришедшую к ней с другой баррикады подругу горячим кофе. Обе они весело смеялись какой-то шутке. Увидев Домбровского, Луиза Мишель обратилась к нему со словами привета, но осеклась. Лицо полководца Коммуны было сумрачно, искажено гримасой горя.

— Мы погибли,— сказал он.

— Нет! — убежденно ответила ему коммунарка.— Нет!

Домбровский перегнулся с коня и протянул ей руку. Через несколько минут, неподалеку, он был смертельно ранен.

— Думайте только о спасении Республики,— прошептал он соратникам и закрыл навсегда глаза.

Едва весть о гибели Домбровского разнеслась по Парижу, на Монмартре смолкли пушки. Это канониры и бойцы оставили свои посты, чтобы проститься с любимым командиром. Тело героя Коммуны принесли в ратушу, в ту самую голубым штофом обитую комнату, где обычно заседала Коммуна и столько раз горячо и убедительно выступал замечательный полководец, единственным недостатком которого была чрезмерная отвага. Вдали от родины поляк Домбровский отдал свою жизнь за первую

пролетарскую революцию. Как и его друг Врублевский, он считал себя братом и защитником всех трудящихся мира.

Ночью при свете факелов тело Домбровского, обернутое в красное знамя, повезли на лафете к кладбищу Пер-Лашез. На площади Бастилии погребальный кортеж задержали национальные гвардейцы. Они положили погибшего героя у подножья Июльской колонны и под звуки барабанов, бивших поход, совершили обряд последнего прощания, бережно целуя величавый лоб своего генерала. Никто из них не скрывал своих слез.

Гибель Домбровского, которого, как сына, полюбил Сигизмунд Красоцкий, глубоко поразила старого повстанца. Лиза была так занята в госпитале, что не могла разделить с мужем его большую печаль.

В те же часы к кладбищу из разных улиц потянулись десятки других погребальных дрог. Никаких украшений, кроме красных знамен и черного крепа, не было на них. Впереди шли, отбивая похоронную дробь, барабанщики с траурными повязками. Позади играла музыка того легиона, к которому принадлежали павшие защитники Коммуны. Опустив ружья дулами вниз, провожали товарищей национальные гвардейцы. Их строгие лица и одежда были опалены порохом, бинты свидетельствовали о свежих ранах. За дрогами медленно шествовали вдовы, сироты, друзья, представители Коммуны, рабочие делегации округа. Все эти люди с детства знали, что революция означает борьбу не на жизнь, а на смерть. Их деды, такие же неимущие, умирали в годы первой революции, их отцы и матери сражались и гибли в 1830 и 1848 годах. Многие из них родились двадцать три года назад, когда по мостовым Парижа текла кровь борцов июньских баррикад.

Камни Парижа. Они слышали последние вздохи мучеников Коммуны, вобрали их кровь, служили им опорой и ложем. Безмолвные и холодные, они были свидетелями той предельной жестокости, которая смягчает горечь смерти. Бесцветные немые стены, каменоломни, набережные Сены, плиты бульваров и улиц — суровые памятники революций, покрытые человеческой кровью безымянных героев, преисполненных жалостью и любовью к таким же несчастным, как они. То была последняя «кровавая неделя» Коммуны.

До самой франко-прусской войны Лафарг с женой и маленькими детьми жили в Париже, в скромной квартирке на улице Шерш-Миди. Зять и дочь Маркса усиленно пропагандировали идеи марксизма во Франции. По крутой лестнице на верхний этаж в квартиру Лафаргов нередко поднимался, тяжело дыша, худенький, седой старик с узким строгим лицом аскета и неповторимыми по силе взгляда, глубоко запавшими колючими глазами. Это был любимец многих поколений французских революционеров, твердый, как каменные громады крепостных тюрем, где прошла большая часть его жизни, великий человеколюбец — Огюст Бланки.

Испытания и пытки не сломили воли великого ветерана революции, не убили в нем веры в конечную победу. Чрезмерная отвага и порывистость иногда делали его неосмотрительным и вели к неудаче. Терпеливый в тюрьме, где он десятками лет ждал свободы, Бланки не хотел, вопреки подчас здравому смыслу, стратегическому расчету, откладывать ни на час поединка со своими врагами — французской буржуазией и ее правительством. Одно поражение его заговоров и восстаний следовало за другим. А он оставался все тем же храбрым до безумства, непреклонным до фанатизма и самоотверженным до самозабвения. Революционный бой стал его стихией. Всю жизнь он восставал не только против тирании, но и против самой могучей силы на земле, против Времени, не желая примириться с тем, что родился предтечей, а не вершителем победы трудящихся. И снова каменные своды тюрем на долгие годы смыкались над этим великим упрямцем и воителем.

Лафарг глубоко чтил не стареющего душой, несмотря на лютые испытания, революционера, которого Маркс называл головой и сердцем рабочей Франции, а его сторонников — партией революционного пролетариата.

Сочувствуя идеям Международного Товарищества Рабочих, Бланки был далек от правильного понимания идеи пролетарской диктатуры и значения классовых войн и не воспринял научного материалистического и диалектического объяснения общественных явлений.

— Бланки,— сказал о нем Энгельс,— преимущественно политический революционер; социалист он только по чувству, из участия к страданиям народа, но у него нет ни социалистической теории, ни определенных практических предложений социального переустройства.

Тем не менее Энгельс считал Бланки единственным человеком, способным возглавить революционное движение во Франции. Сердце этого несгибаемого, неподкупного, великого борца принадлежало всем обездоленным, униженным, несчастным.

Лафарг дал Огюсту Бланки прочесть «Нищету философии» Маркса. Старый революционер восхитился этой книгой, посрамившей Прудона, исконного его недруга. Но тактики марксизма он не понял и навсегда остался только пламенным заговорщиком.

В отличие от прудонистов, бланкисты были твердыми последователями коммунизма. Но, защищая эти идеи, они, однако, смутно представляли себе особенности социалистического строя и экономические условия, которые обеспечивают победу рабочих над буржуазией. Они утверждали, что мысли людей, их сознание, воля и отвага являются решающей силой в социальной борьбе.

Дважды, в августе и октябре 1870 года, Огюст Бланки поднимал парижских пролетариев на восстание, чтобы свергнуть правительство национальной измены. Бланкисты были разбиты, их шестидесятипятилетний вождь схвачен и снова погребен заживо в тюрьме Бель-Иль, далеко от Парижа.

Коммуна пыталась освободить Бланки из заточения и предлагала версальцам обменять его на одного из заложников-архиепископов. Но Тьер уклонился от переговоров. Этот бездушный, не лишенный проницательности политик ответил, что освобожденный Бланки равен армейскому корпусу, посланному на помощь Коммуне.

В сентябре 1870 года Лафарги покинули Париж и переехали к родственникам в Бордо. Несмотря на то что город этот был одним из значительнейших промышленных и торговых центров Франции, рабочий класс там оставался сравнительно немногочисленным, а влияние местной секции Интернационала ничтожным.

Поль Лафарг немедленно принялся за работу среди бордоских тружеников. Он создал газету, пропагандировавшую воззрения Международного Товарищества Рабочих. После провозглашения Парижской коммуны значительно возросшая Бордоская секция Интернационала

высказалась за поддержку рабочих столицы и за немедленную им помощь.

В апреле Поль Лафарг пробрался в Париж, где виделся с деятелями Коммуны. Ему предстояло поднять восстание на юго-востоке Франции и тем поддержать сражающихся парижан. Лафарг вернулся в Бордо. Однако предпринятое им и его товарищами революционное выступление было подавлено. Несмотря на поражение, оно, однако, выявило симпатию трудящегося населения города к идее Коммуны.

Лаура горячо сочувствовала коммунарам. Если бы не маленькие дети, она помчалась бы в Париж.

«Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах,— писала она,— так как вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти».

В мае к Лафаргам из Лондона приехали Женнихен и шестнадцатилетняя Элеонора. Они намеревались сейчас же отправиться из Бордо в Париж. Но Коммуна доживала последние дни.

На площади Бланш батальон женщин под командой Луизы Мишель и Дмитриевой, накануне сражавшийся в Батиньоле, проявлял чудеса храбрости. Когда позицию уже невозможно было удержать, батальон отступил на несколько сотен метров к площади Пигаль, где вновь сразился с неприятелем, и так двигался от баррикады к баррикаде, чтобы возобновить смертельную борьбу за следующим укрытием.

Несмотря на прорыв версальцев, армия Врублевского по-прежнему стойко оборонялась. Но силы были столь неравны, что и гигантское мужество не могло обеспечить победы.

После падения Монмартра, в день гибели своего друга Домбровского, Врублевский не потерял самообладания: он собрал в своем штабе командиров фортов, чтобы обсудить с ними и наметить тактику защиты того района, которым командовал. Он укрепил Итальянский и прилегающие к нему бульвары и направил воинские резервы на площадь Жанны д'Арк и в Терси. Под командой Врублевского сражалось несколько батальонов, в том числе легендарный 101-й, который, начиная с 3 апреля, ни разу не

был на отдыхе. Ночи и дни не умолкала его артиллерия. Катрина состояла в этом непобедимом воинском подразделении, находящемся в непрерывном движении, перемещавшемся из траншей в открытое поле, из деревень на улицы столицы. Десять раз обращал в бегство врагов и захватывал трофеи этот доблестный батальон, состоящий из парижских пролетариев 13-го округа и нищенского квартала Муффетар. Суровые, обросшие, опаленные порохом федераты, в разорванной пыльной одежде и обуви, шагавшие под пробитыми пулями знаменами, производили неизгладимое впечатление. «Победа или смерть!» — казалось, говорили их воспаленные от долгой бессонницы и переутомления глаза.

В ночь на двадцать четвертое версальцы подошли вплотную к позиции коммунаров, которые, не дожидаясь нападения, бросились в контратаку. Четыре раза федераты обращали в бегство противника.

Наступление войск Тьера развертывалось вдоль берега Сены. Врублевский расставил батареи на Аустерлицком мосту и площади Жанны д'Арк. Отсюда он обстреливал версальцев. Несколько тысяч коммунаров под его начальством в течение тридцати шести часов отбивали атаки целого армейского вражеского корпуса, временами переходя в наступление. Катрина, не знавшая усталости и страха, под пулями перевязывала раненых, обнадеживала их, утешала. Храбрая коммунарка привыкла к канонаде и даже находила, что, как гул морского прибоя, она воодушевляет. Стоило ей вспомнить, что неподалеку от нее Валерий, и чувство спокойной уверенности охватывало ее. В эти страшные дни Катрина была безгранично счастлива. Она старалась ничего не загадывать из суеверной боязни вспугнуть удачу и тем не менее надеялась и верила, что ее и Врублевского ждет, вопреки всему, что происходило вокруг, только хорошее.

Пуля пронзила сердце Катрины, и, падая, коммунарка увидела небо искрящимся и ярким. Глаза ее закрылись, не выдержав ослепительного света. Умирая, она успела подумать: «Так вот какова смерть!» Катрина лежала на небольшом холмике, как бы на алом знамени. Это была кровь ее сердца.

Врублевский, узнав о гибели молоденькой батальонной санитарки, погнал коня к месту, где ее застигла пуля. Он спешился и склонился над Катриной, более чем когда-

либо раньше похожей на подростка. Ее стриженые пышные волосы янтарного цвета под солнцем казались еще более блестящими, точно вобрали все его лучи. Никакого отпечатка страдания или горечи не было на окаменевшем белом лице покойной. В нем появилось незнакомое Врублевскому выражение полной отчужденности и глубокой сосредоточенности. Это была иная Катрина. Врублевский достал полотняный платок, подарок возлюбленной, окунул его в застывающий поток ее крови, обернул бинтами и спрятал в сумку. Став на колени, он поцеловал лоб и крепко сомкнутые губы Катрины. На мгновение боль утраты стала такой острой, что он не удержал стона.

Отчаянная борьба не ослабевала.

На заседании Коммуны в ратуше Сток познакомился с Ферре, одним из заместителей прокурора Коммуны. Ставший знаменитым в эти исторические дни, Теофиль Ферре был человеком невысокого роста, с растрепанной иссиня-черной шевелюрой, густой бородой и бакенбардами, резко оттенявшими его мертвенно-бледное лицо, на котором заметно выделялись крупный нос с подвижными тонкими ноздрями и скорбно сведенные широкие брови. Черные блестящие глаза под пенсне напряженно, пытливо и несколько недоверчиво всматривались во все окружающее. Он выглядел значительно старше своих двадцати шести лет и зримо сочетал в себе могучую волю и нервную впечатлительность.

Ферре был неистовым последователем Бланки и одним из самых пылких ораторов среди членов Коммуны. Рабочий Париж давно знал и ценил его речи, в которых воскресали революции последнего столетия. Марат и Бабёф, Леба, Дантон и, наконец, великий узник Бланки говорили с народом устами Ферре. Он был фанатически предан революции и аскетичен в жизни. Его боялись люди с нечистой совестью, как олицетворения честности и беззаветной преданности идее. Власть была для него мощным средством, но никогда самоцелью. Он боролся с контрреволюцией настойчиво, но, однако, недостаточно сурово, потому что, как и остальные члены Коммуны, не верил в ее могущество и проявлял нередко роковое великодушие, снисходительность и доверчивость.

С первого дня победы рабочих невод шпионажа, измены, заговоров и злостного саботажа опутал столицу Франции. Только немногое удалось раскрыть и пресечь. Парижский телеграф намеренно распространял ложные сведения, некоторые офицеры Национальной гвардии продались Тьеру и действовали по его указу. Версальские наймиты пробрались на видные командные должности, пользуясь тем, что среди коммунаров было мало знатоков военного дела.

На собрании в ратуше, куда был приглашен и Сток, Ферре сообщил о раскрытии контрреволюционного заговора.

— Враги,— говорил он,— готовили нам Варфоломеевскую ночь. Они намеревались тайно провести через наши позиции версальские войска, переодетые в мундиры федератов, вторгнуться в Париж и начать массовую резню коммунаров. Чтобы опознавать друг друга, заговорщики собирались надеть на рукава цветные повязки.

— Никакой пощады тьеровским шакалам. На фонарь их! — закричали пораженные слушатели. — На фонарь!

Ферре продолжал говорить гневно, обводя всех горящим взором и откидывая рукой прядь черных волос, падавших на лоб:

— Худшее не в коварстве и выпадах лютых наших противников. К этому мы готовы всегда. Плохо то, что Комиссия безопасности ничего не знала о подготовлявшемся нападении. Лишь случайность предотвратила преступление. Работница, которой один мелкий коммерсант, объявлявший себя сторонником рабочего самоуправления, заказал эти трехцветные опознавательные перевязи, уверенная, что трудится для Коммуны, пришла в ратушу, чтобы попросить о выплате ей вперед денег. Клубок начал распутываться, контрреволюционеры изобличены и задержаны.

В перерыве заседания Сток разговорился с Ферре.

— Не скажете ли вы мне фамилию коммерсанта-заговорщика? — спросил он между прочим.

— Отчего же, это более не тайна,— Ланье.

Сток изумился.

— Я знал его. Он всегда громче других кричал: да здравствует социальная республика, да здравствует Коммуна!

— Будьте бдительны! Все мы, социалисты, гуманны по самой своей природе, но иногда проявить твердость и суровость — значит предотвратить чудовищную жестокость. Тьер своими зверствами по отношению к пленным коммунарам хочет вынудить нас казнить в ответ всех задержанных архиепископов и других его шпионов. И знаете зачем? Чтобы за каждого убитого нами негодяя и заведомого врага революции уничтожать десятки тысяч ни в чем не повинных защитников Коммуны. Это двуногое чудовище считает июньское кровопускание сорок восьмого года недостаточным. Он мечтает, и не скрывает этого, перебить весь трудовой Париж и утопить таким образом в крови наши идеи. Слепец. Он не знает, что кровь мучеников-революционеров — могучее удобрение. Там, где она прольется, вырастет новое племя героев, и победа Коммуны рано или поздно неизбежна.

— Я тоже уверен в этом,— сказал Сток, чувствуя, как слова Ферре ускоряют биение его сердца.

— Доживем ли мы с вами до этого или нет, не важно, главное, что будет именно так.

Вернувшись домой, Сток снова припомнил Ланье, которого считал преданным революции человеком. Чувство недовольства собой, досада охватили машиниста. Часто обманывался он в людях, а казалось, должен был разбираться в них. Так и не постиг он, несмотря на нелегкую жизнь и тюремное заключение, трудную науку человековедения.

Сток обычно мерил людей по себе, мысленно переставляя себя на их место, стараясь представить, что бы чувствовал, как поступал.

Жаннетта была значительно проницательнее мужа и реже поэтому испытывала разочарование в окружающих, которое обычно сравнивала со шрамами на сердце.

— Посмотри на птиц,— говорила она снисходительно Жану,— все они во многом схожи, летают, несут яйца и понимают, я уверена, друг друга, а как они различны. Голуби, например, изменчивы, легкомысленны, а вороны, наоборот, солидны, всегда трудятся и верны своим семьям, воробьи, по-моему, сущие лодыри, а ястребы те же волки. Я люблю лебедей, они похожи на огромные душистые пионы и учат нас любви и верности. Люди с виду одинаковы, но души их различны, как птицы. Надо слушать не только слова человека, видеть не одно лицо его,

а душу. Это очень трудно, оттого на сердце столько шрамов.

— Вот и снова ты рассуждаешь, как женщина. Мы, мужчины, до такого не додумаемся, разве только поэты. Ланье — буржуа, и поэтому в нем смог прятаться враг Коммуны, но как понять Толена, рабочего? Он ведь один из основателей интернациональной секции. Что толкнуло этого чеканщика к гнуснейшему из палачей Жюлю Фавру и старому кровопийце Тьеру? Черту одному известно. Видно, беда моя в том, что я мало учился, постоянно теперь чувствую свое невежество,— сетовал Жан.

Этот разговор между супругами произошел в последнее их посещение своей маленькой квартирки. Воздух в ней был нежилой, затхлый, осиротевшие вещи покрылись пыльным саваном. Жаннетта начала было убирать в шкаф забытую на столе посуду, но затем, махнув рукой, подсела к мужу. Все вокруг казалось ей ненужной обузой. С грустной улыбкой вспомнила она, сколь упорно и жадно собирала когда-то мебель, посуду и дешевые безделушки, радовалась скромному уюту и достатку дома.

Два истекших месяца изменили не только жизнь, но и облик Жаннетты. В лице ее появились отрешенность и отпечаток глубоко скрытого страдания. Слишком часто приходилось ей быть восприемницей смерти, сознавать свое бессилие в борьбе за человеческую жизнь. И каждому раненому, которого Жаннетта выхаживала дни и ночи в убогих госпиталях, отдала она частицу своего сердца. Жан вдруг заметил, как постарела его жена. Устало вытянув вперед руки, она говорила и говорила, точно страшилась тишины:

— Когда ты был мальчишкой, то однажды, помню, читал мне книгу о людях, которые так любили солнце, что умирали, когда оно скрывалось. Так вот и мы. Какая жизнь может быть для рабочих без Коммуны? Тьма спустится на землю. Мы были так счастливы в первый день Коммуны, и мы умрем в ее последний день. Катрина уже погибла. Бедная девочка, как я надеялась увидеть ее счастливой. Своих детей у нас нет, хотела на ее малышей порадоваться.

Услыхав имя сестры, Жан закрыл лицо руками, он стыдился своих слез.

— Не дай нам бог пережить эту революцию.— Жаннетта вздохнула и замолкла. Потом она заговорила

снова: — Почему, скажи, все доброе и прекрасное на свете так легко погибает? Попробуй-ка вырвать бурьян из земли — помаешься. А цветы, особенно редкие, не выносят даже прикосновения.

«Ох уж эти женские рассуждения»,— хотел было пошутить Жан, но не решился и нежно обнял жену. Голова ее легла на его плечо.

— Да ты у меня совсем седенькая стала,— вдруг огорчился Сток.

— Если бы только волосы, а то и душа вся побелела,— сказала Жаннетта тихо.— Жаль мне людей наших, такие они хорошие, и тебя жаль, всего и всех жаль. Я верю в победу, но уж очень дорого она дается. Видно, нам, как семени, надо лечь в землю, чтобы проросли всходы. Кровью своей и телом должны вскормить мы почву для будущего.— Голос ее дрогнул.

В это время в комнату донесся шум. Со свечой в руке Сток вышел на лестницу и замер у порога. Несколько коммунаров поднимались по ступеням, неся на носилках тело Красоцкого. За ними в темном развевающемся плаще, мертвенно-бледная, пугающе спокойная, шла Лиза, а сзади Анна Жаклар. Размозженная голова, залитое запекшейся кровью лицо Красоцкого сказали Стоку все.

Окруженный версальцами батальон, которым командовал Красоцкий, был оттеснен к Сене и почти поголовно уничтожен в бою. Раненный в ногу Красоцкий оказался в плену. Его поволокли, избивая по дороге. Один из версальцев, погнав перед собой коммунара, выстрелил ему в затылок, но пуля лишь пробила шею. Захлебываясь кровью, потеряв способность говорить, Красоцкий повернулся к убийце лицом. Руки его были связаны, раненая нога мешала двигаться.

И все-таки, окровавленный и грозный, он пошел грудью на убийцу. И такое презрение к смерти, уверенность в своей правоте, безмерное величие духа отражалось в огненных глазах умирающего, что палач упал перед ним на колени, уронив пистолет.

— Стреляйте же, добивайте этого скота! — завопил генерал Винуа, дрожа от бешенства, но никто из его окружения не пошевелился.

Несколько секунд длилось замешательство. Тогда Винуа, не глядя на жертву, двумя выстрелами убил Красоцкого.

Несколькими часами позже героический 101-й батальон под командой Врублевского атаковал версальцев и отогнал их. Труп Красоцкого был на лафете привезен к ратуше. Красоцкого погребли на кладбище Пер-Лашез подле могилы Ярослава Домбровского, главнокомандующего войсками Коммуны. Сердце Сигизмунда, как он завещал, Лиза сберегла в особом сосуде, чтобы закопать впоследствии в родной люблинской земле.

Коммунары продолжали стоять насмерть, умирали, но не сдавались и все еще надеялись на чудо победы.

Нет в истории более величественных, трагических, кровавых страниц, нежели поражение революции. Тогда кровоточит душа народа, растаптывается его извечная мечта и стремление к добру, справедливости и счастью.

Когда почти весь Париж был захвачен версальцами, Жан и Жаннетта с горсточкой храбрецов соорудили баррикаду и сражались на ней, покуда враги не подвезли пушки. Со времени хитроумной перестройки центральных магистралей Парижа бароном Османом баррикадные бои на широких улицах стали очень затруднительными. Сток с женой и товарищами бросились на кладбище Пер-Лашез. Там собрались готовые биться до последнего вздоха коммунары. Началась отчаянная ружейная схватка, скоро превратившаяся в рукопашный бой. Каждый склеп, надгробие служили укрытием для революционеров и нелегко давались противнику. Но силы были несоизмеримы. Кольцо вокруг последних защитников Коммуны сжималось, как петля виселицы. А майский день был кристально светел и чист. Над нарядными памятниками отцветали сирень и акация. Острый, пряный аромат цветов дурманил голову.

Отстреливаясь на ходу, Жан и Жаннетта оказались в Аллее маршалов. С белых постаментов на них взирали пустыми глазами наполеоновские полководцы в богатых мундирах с аксельбантами и тщательно высеченными по камню орденами. Жан увлек жену за статую некогда расстрелянного маршала Нея. Вокруг повизгивали пули.

Жан и Жаннетта без отдыха участвовали в уличных боях уже несколько дней. Опаленные пороховым дымом, избитые осколками камней, в синяках и ссадинах, в разорванной одежде, они едва держались на ногах. Жан был

ранен в голову, Жаннетта сняла свою кофточку, разорвала на бинты и наскоро перевязала его. Она потеряла ботинок и вынуждена была разуться, потертые ноги мучительно ныли. Она спотыкалась и хромала. Жан поддерживал ее. Так они, отстреливаясь, ползли от одного надгробия к другому.

— Патронов у нас больше нет. Все кончено,— сказал Сток глухо. — Если бы не ты в этом пекле, я был бы спокоен. Но как спасти тебя, моя бедняжка, моя любовь!

— Не такие, как мы, люди погибли уже. Не все ли равно, когда и как умереть. Мы вместе, и в этом счастье. Среди людей принять смерть будет легко. А без Коммуны какая нам жизнь? Помнишь июньские дни? Живые завидовали мертвым.

Солнце было в зените, когда с толпой обезоруженных коммунаров Жана и Жаннетту озверевшие каратели прикладами и пинками погнали на расстрел к серо-желтой унылой кладбищенской стене. Они шли, держась за руки. Жаннетта шепотом повторяла, как молитву, свое любимое с детства стихотворение:

О Франция, мой час настал: я умираю!
Возлюбленная мать, прощай: покину свет,
Но имя я твое последним повторяю.
Любил ли кто тебя сильней? О нет.

Поднялся ветер и, как наемная плакальщица, старательно застонал, шевеля густые кладбищенские кусты и деревья. Жаннетта увидела птиц и подумала, что они одни на земле действительно свободны. Жан казнил себя мыслью, что позволил жене участвовать в боях.

Коммунары подошли к холодной стене, отгородившей от них все, чем они доныне жили. Это был их рубеж, предел. Измученные, они не все держались на ногах и покорно опустились на землю. Жан ужаснулся, увидев женщин на сносях, седовласых старцев, подростков и матерей с грудными детьми на руках. Обреченные жались друг к другу и к стене в поисках опоры. Смерть обещала свободу.

— Не бойся, любимый. Миг — и потом уже ничего больше. Все живое умрет,— ободряла мужа Жаннетта. «Мы носим в себе смерть всю жизнь, мы беременны ею»,— подумала она, поразившись этому открытию.

Но вдруг поодаль раздался детский плач. Безмолвная, смирившаяся толпа вдруг очнулась, вздрогнула. Версальцы поняли, что медлить нельзя. Офицер скомандовал, и десятки нацеленных дул скрыли искривленные лица убийц.

— Миг, один миг,— шепнула Жаннетта, подалась вперед и, закрыв собой мужа, громко выкрикнула:— Да здравствует Коммуна!

— Да здравствует Коммуна! — пронеслось над кладбищем Пер-Лашез.

Раздался залп, один, другой, третий. Все было кончено. Убитых оттащили в сторону, чтобы очистить место для следующих жертв, которых сгоняли на место бойни. Теплая липкая кровь ручейками стекала с камней, образуя на них несмываемые багрово-желтые полосы, вычерчивая таинственные мрачные узоры.

К вечеру ветер усилился, и казалось, кладбище ожило. Сток пришел в себя, когда совсем стемнело. Сначала он ничего не мог сообразить.

Однако раны, причиняя ему живительную боль, вернули понимание происшедшего. Он попытался подняться, но ему мешала какая-то навалившаяся на него тяжесть. Это была мертвая Жаннетта. В последнюю минуту она заслонила его собой.

Жан прижался к отталкивающе ледяному телу жены. Он звал смерть и проклинал жизнь. Запах сладковатой терпкой крови сводил его с ума. Он снова потерял сознание. Когда оно вернулось, уже взошла луна. Ее мертвящий свет показался Стоку отвратительным. Он поднял руку и погрозил небу. Кладбище, казалось ему, наполнилось зловещими тенями. Превозмогая боль, Жан на четвереньках отполз от наваленных в кучу мертвецов, поднялся на ноги и, шатаясь, держась за ветки, опираясь о кресты и памятники, двинулся по аллеям. Он хотел, чтоб его обнаружили и убили. Ни о чем другом Жан не думал. «Скорее, скорее, где же враги, их ведь так много».

И снова Сток очутился у пышных маршальских могил, где несколько часов назад он, несмотря на обреченность, не чувствовал себя столь несчастным, потому что рядом находилась живая Жаннетта.

— О господи,— услышал Жан испуганный возглас подле себя.— Вы что — человек или привидение с того света?

— Я коммунар, меня надо расстрелять,— прохрипел Жан. У него пропал голос.— Веди меня скорее к версальцам. Сегодня в Париже живы только Иуды и палачи.

— Молчи, безумец, я надеялся отыскать в груде трупов своего отца, но его там нет. Мой брат — кладбищенский сторож, и мы спрячем тебя, можешь нам довериться. Коротки лапы у Тьера и Фавра, чтобы уничтожить всех друзей Коммуны.

Жан был спасен.

Когда версальцы проникли на бульвар Сен-Марсель и частям Врублевского грозило окружение, он решил отступить. Под защитой батареи на Аустерлицком мосту Врублевский и тысяча его бойцов в строгом порядке перешли Сену. Версальцы не осмелились напасть на них. Отныне весь левый берег принадлежал неприятелю.

В тот же день, после отказа прусского командования вступить в переговоры, Парижская коммуна предложила Врублевскому главное командование.

— Есть ли у вас несколько тысяч решительных людей? — спросил поляк.

— Самое большее — у нас несколько сот.

Врублевский не принял на себя ответственности при столь неравных условиях и предпочел драться на баррикадах простым солдатом. В последние минуты существования Коммуны с несколькими боевыми товарищами он добрался до дома одного верного консьержа на окраине Парижа, переоделся в штатское платье и скрылся.

После захвата власти в Париже версальцами Врублевский, пренебрегая опасностью, открыто посещал одно кафе, где встречался с поляками. Однажды его нашел там знакомый публицист и историк из Польши и был поражен тем, что Врублевский так открыто появляется на улицах французской столицы. Он умолял Врублевского скорее уехать в Лондон.

— Кажется, там скверный климат,— иронически возразил прославленный генерал Коммуны.— А здесь, в Париже, мне очень хорошо. Меня окружают честные рабочие, оберегают меня.

Тьеровские полицейские ищейки с ног сбились в поисках храброго полководца Коммуны. После долгих уговоров Врублевский согласился покинуть Париж. Генерал

Владислав Замойский, которому Врублевский при Коммуне спас жизнь, с трудом достал ему польский паспорт. На границе полицейские комиссары терпеливо и долго сличали паспорта едущих в Лондон с многочисленными фотографиями коммунаров, но Врублевский остался неузнанным и благополучно отплыл из Кале в Англию.

Елизавета Дмитриева исчезла. Ее не было среди десятков тысяч героев, схваченных палачом Тьером.

Секретарь русского посольства в донесении начальнику III Отделения графу Шувалову сообщал:

«Эта опасная женщина, русская подданная, уже давно бросилась в социалистическое движение... Можно было предвидеть, что она сыграет заметную роль в конечном периоде восстания. Действительно... Елизавету Дмитриеву видели на баррикадах, она воодушевляла федератов... раздавала им амуницию и сама стреляла, стоя во главе пятидесяти мегер... Какова судьба этой сумасшедшей? Казнили ли ее среди других, не установив ее личности? Перевезли ли ее в Версаль и оттуда в какой-нибудь морской порт под ложным именем, выдуманным ею самой? До сих пор невозможно было узнать что-либо на этот счет».

Елизавета Дмитриева была ранена на одной из баррикад возле ратуши. Несмотря на боль, она отказалась покинуть боевых товарищей и продолжала отстреливаться, являя поразительную храбрость. С ней рядом сражался с врагами молодой венгр, член Парижской коммуны и Интернационала, Лео Франкель. Пуля пробила ему руку. Версальцы повели наступление на последнюю баррикаду. Коммунары зажгли фитили пороховых бочек. Начались взрывы. Враг был задержан, время выиграно. Бойцы через проходные дворы и закоулки привели Дмитриеву и Франкеля к линии фронта, занятой германскими войсками. Спасение их зависело теперь от возможности перейти рубежи.

Лео Франкель и Дмитриева присоединились к группе пригородных крестьян и городских обывателей, которые покидали Париж. Красавица Елизавета Лукинична, скрывая перевязанную руку, закуталась в черный плащ и ко-

кетливо надвинула на лоб тирольскую фетровую шляпу с коричнево-зеленым пером. Она превосходно разыграла великосветскую даму перед пограничным патрулем. Никто не смог заподозрить в ней, свободно владевшей немецким языком, коммунарку. Откозыряв, офицер без малейших возражений пропустил знатную даму, опиравшуюся на руку добропорядочного бородатого господина, в занятую пруссаками местность. В ближайшей деревне Дмитриева и Франкель раздобыли экипаж и двинулись по направлению к Швейцарии.

— Мне удалось,— вспоминал Лео Франкель,— проскользнуть рядом с другими людьми, среди которых выделялась на редкость талантливая дама, стоявшая во главе Центрального комитета женщин, раненная рядом со мной в баррикадных боях, в которых она принимала живейшее участие. Один французский рабочий устроил нам вход в какой-то дом, откуда мы беспрепятственно смогли перейти границу. Но меня по пути несколько раз задерживали французские жандармы и полицейские, требовавшие предъявления документов, спрашивали у меня, кто, откуда и куда иду. При отсутствии у меня паспорта я бы, наверное, попался, если бы мне не помог мой притворно-простодушный вид... Но... какой-то полицейский ни за что не хотел удовлетвориться моими ответами и, как Шейлок, настаивая на «расписке», заставил меня вылезть из экипажа. «Вот тут-то и попался!» — подумал я, любезно предлагая руку своей попутчице, которая ни за что не хотела покидать меня, пока я не буду вне опасности. Руку я предложил намеренно, чтобы скрыть, что она раненая. Холодным, невозмутимым тоном я спросил полицейского, далеко ли он собирается меня вести, так как мне не хотелось бы опоздать на поезд. «В крайнем случае,— так же спокойно заметила моя попутчица,— мы тут переночуем, а завтра утром уедем».

«Мне очень неприятно,— ответил полицейский,— но я не могу сказать вам, будут ли завтра еще действительны ваши путевые билеты. А вы, собственно, куда хотите ехать?» — спросил он меня. «Как куда? В Германию!» — ответил я. Он заколебался. «Ну тогда... Ладно, садитесь обратно. Но когда вернетесь, позаботьтесь о паспорте». Так мне удалось выскользнуть из рук сыщиков. Приехав в Кале, я вынужден был распрощаться с моей боевой подругой и попутчицей.

Едва весть о судьбе Коммуны дошла до Бордо, в городе начался разгул реакции.

«Почва Бордо оказалась слишком горяча для него,— писала Лаура отцу о Лафарге.— Реакция свирепствует там, как и везде. Версальские звери разослали своих шпионов и жандармов по всей Франции, и во всех больших городах стало невозможно жить тем, кто не в достаточно хороших отношениях с полицией».

Чтобы избежать ареста, Лафарги с двумя больными детьми отправились на юг Франции, в Пиренеи, поближе к испанской границе. Следом за ними туда же прибыли Женнихен и Элеонора. Однако в курортном местечке Люшон Поль Лафарг пробыл недолго. Как-то на рассвете его разбудил доброжелатель республиканец, служивший в полиции, и предупредил о предстоящем аресте эмиссара Интернационала, связного между Бордо и Парижской коммуной, зятя самого Маркса.

Лафарг тотчас же тайно выехал в Испанию. Все три дочери Маркса остались в Люшоне, так как младший ребенок Лауры был тяжело болен. Вскоре он умер. Только в начале августа Лаура, с единственным из трех оставшимся в живых сыном, в сопровождении Женнихен и Тусси, направилась к мужу, в маленький испанский городок.

Проводив сестру за границу, Женнихен и Тусси вернулись во Францию. Они добрались до пограничного французского местечка, рассчитывая беспрепятственно поехать в Люшон, но, несмотря на британские паспорта, сестры были задержаны.

Женнихен впоследствии обстоятельно рассказала в прессе все, что произошло с ней и Элеонорой на границе Франции и Испании.

«Нам удалось без приключений проехать по плохим испанским дорогам и благополучно добраться до Фоса. Там французские таможенные чиновники задают нам обычные вопросы и заглядывают в нашу коляску, чтобы убедиться, нет ли у нас какой-нибудь контрабанды. Так как у нас ничего нет, кроме наших пальто, я говорю кучеру, чтобы он трогал, как вдруг появляется перед нами некая особа — не более не менее как procureur de la République[1], барон Дезагарр,— и заявляет: «Именем

[1] Прокурор республики *(франц.)*.

республики предлагаю вам следовать за мной». Мы оставляем нашу коляску и входим в маленькую комнатку, где нас ожидает существо отталкивающего вида — весьма неженственная женщина,— которой было поручено нас обыскать. Так как мы не хотели, чтобы эта грубая особа дотрагивалась до нас, мы предлагаем сами снять наши платья. Мужеподобная женщина и слышать не хочет об этом. Она выбегает из комнаты и вскоре возвращается в сопровождении прокурора республики, который весьма грубо говорит моей сестре: «Если вы не позволите этой женщине обыскать вас, я сделаю это сам». Моя сестра отвечает: «Вы не имеете права прикасаться к британскому подданному. У меня английский паспорт». Видя, однако, что с английским паспортом не очень считаются, что предъявитель такого паспорта не внушает г-ну барону Дезагарру особого уважения, ибо похоже на то, что он совершенно серьезно готов перейти от слов к делу, мы разрешаем женщине поступать, как она хочет. Она распарывает даже швы наших платьев, заставляет нас снять даже чулки. Мне кажется, что я до сих пор чувствую, как ее паучьи пальцы перебирают мои волосы. Найдя у меня лишь газету, а у сестры — разорванное письмо, она бежит с ними к своему другу и союзнику, г-ну барону Дезагарру. Нас провожают к нашей коляске, нашего собственного кучера, который служил нам «гидом» во время всего нашего пребывания в Пиренеях и очень привязался к нам, насильно удаляют и заменяют другим; против нас в коляске усаживаются два чиновника, и так мы отправляемся в сопровождении повозки, битком набитой таможенными стражниками и полицейскими. Через некоторое время, убедившись, без сомнения, что мы не так уж опасны, что мы не покушаемся на убийство наших часовых, наш эскорт покидает нас, и мы остаемся на попечении двух чиновников в коляске. Под такой охраной мы проезжаем одну деревню за другой, через Сен-Беа, причем обитатели этого сравнительно большого города собираются толпами, принимая нас, очевидно, за воровок или, по меньшей мере, за контрабандисток. В 8 часов, в совершенном изнеможении, мы приезжаем в Люшон, пересекаем городской сад, где собрались сотни людей слушать музыку, так как дело было в воскресенье и в разгар сезона. Наша коляска останавливается перед домом префекта, г-на графа де Кератри. Так как этой важной особы нет дома, то нас — все

время под стражей — заставляют ждать у его двери. Наконец отдается распоряжение доставить нас в наш дом, который оказывается окруженным жандармами. Мы тотчас же идем наверх... но так как жандарм и полицейский в штатском следуют за нами даже в нашу спальню, то мы возвращаемся в гостиную, не освежившись, чтобы ждать прибытия префекта. Часы бьют девять, десять; г-н де Кератри не явился — он слушает музыку в парке и, как говорят, твердо решил не уходить до тех пор, пока не отзвучит последний аккорд. Тем временем дом наш наводняется mouchards[1]; они входят в комнату, как будто в свою собственную, устраиваются, как у себя дома, располагаясь на наших стульях и диване. Вскоре нас окружает пестрая толпа полицейских; по всему видно, что эти преданные слуги республики прошли срок своего ученичества при империи,— они вполне владеют своим почетным ремеслом. Они прибегают к самым невероятным хитростям и уловкам, чтобы втянуть нас в разговор, но, видя, что все их усилия напрасны, пялят на нас глаза так, как это могут делать лишь «профессионалы», пока наконец в половине одиннадцатого не появляется префект в сопровождении генерального прокурора, г-на Дельпека, судебного следователя, мирового судьи, тулузского и люшонского комиссаров и т. д. Моей сестре велят удалиться в соседнюю комнату; с ней уходят тулузский комиссар и один жандарм. Начинается мой допрос. Я отказываюсь сообщить какие бы то ни было сведения о моем зяте и других родственниках и друзьях. Относительно меня самой я заявляю, что лечусь и приехала в Люшон на воды. Больше двух часов г-н де Кератри увещевает и убеждает меня, а в конце концов угрожает, что, если я буду и дальше отказываться выступить в качестве свидетеля, меня будут считать сообщником. «Завтра,— говорит он,— закон *заставит* Вас дать показание под присягой, ибо — разрешите мне сказать Вам — г-н Лафарг и его жена арестованы». Тут я встревожилась — ведь ребенок моей сестры был болен.

Наконец приходит очередь моей сестры Элеоноры. Мне приказывают повернуться к ней спиной, пока она будет говорить. Передо мной становится офицер, на случай если я попытаюсь сделать какой-нибудь знак.

---

[1] Шпионами *(франц.)*.

К досаде моей, я слышу, что сестру постепенно вынуждают отвечать да или нет на задаваемые ей бесчисленные вопросы. Позже я узнала, каким образом ее заставили говорить. Указывая на мое письменное заявление, г-н де Кератри (стоя к нему спиной, я не могла видеть его жестов) утверждал как раз обратное тому, что я в действительности говорила. Поэтому, боясь вступить со мной в противоречие, сестра не опровергала заявлений, которые я будто бы сделала. Ее допрос кончился только в половине третьего. Шестнадцатилетняя молодая девушка, бывшая на ногах с пяти часов утра, пропутешествовавшая девять часов в невероятно жаркий августовский день и ничего не евшая с самого Бососта, подвергалась перекрестному допросу до половины третьего ночи!

Остаток этой ночи тулузский комиссар и несколько жандармов провели в нашем доме. Мы легли, но спать не могли, так как ломали себе голову, как бы послать человека в Босост предупредить г-на Лафарга, если он еще не арестован. Мы выглянули в окошко. Жандармы разгуливали по саду. Выйти из дому было невозможно. Мы были в строгом заключении... На следующий день хозяйка и прислуга давали показания под присягой. Меня опять более часу допрашивал генеральный прокурор... Этот хвастливый герой, г-н барон Дезагарр, читал мне длинные цитаты, указывая на наказания, которым я могу подвергнуться, если буду продолжать отказываться выступить в качестве свидетеля. Однако эти господа напрасно расточали свое красноречие. Я спокойно, но твердо заявила, что не буду присягать, и осталась непоколебима.

Допрос моей сестры длился на этот раз только несколько минут. Она также категорически отказалась присягать.

Перед уходом генерального прокурора мы попросили у него разрешения написать несколько строк нашей матери, так как боялись, что известие о нашем аресте может попасть в газеты и взволновать наших родителей. Мы предложили написать это письмо по-французски, в присутствии самого г-на Дельпека. Оно должно было состоять лишь из нескольких фраз: «мы здоровы» и т. д. Прокурор отказал в нашей просьбе под предлогом, что у нас может быть условный язык, что под словами «мы здоровы» может скрываться какой-нибудь тайный смысл.

...Вот еще одно доказательство их невероятной глупости: найдя, как нам передала наша горничная, множество коммерческих писем, принадлежащих г-ну Лафаргу, в которых упоминалось об экспорте овец и быков, они воскликнули: «Быки, овцы — интриги, интриги! Овцы — коммунары; быки — члены Интернационала».

До конца дня и ночью мы снова были поручены заботам нескольких жандармов; один из них сидел против нас, даже когда мы обедали.

На следующий день, 8-го, мы удостоились визита префекта и еще одного лица, по нашим предположениям, его секретаря...

Г-н де Кератри после очень длинного предисловия сообщил нам весьма благодушно, что власти ошиблись; выяснилось, что нет никаких оснований для возбуждения дела против г-на Лафарга, что он невиновен и поэтому волен вернуться во Францию. «Что же касается Вашей сестры и Вас самих,— сказал г-н де Кератри, думая, как я полагаю, что лучше синица в руках, чем журавль в небе,— против вас значительно больше улик, чем против г-на Лафарга (таким образом, мы вдруг превратились из свидетелей в обвиняемых) и по всей вероятности вас вышлют из Франции. Однако в течение дня должен прийти приказ правительства о вашем освобождении». Затем, приняв отеческий тон, он сказал: «Во всяком случае, разрешите мне посоветовать вам умерить в будущем ваш пыл...» Вслед за этим предполагаемый секретарь внезапно спросил: «Что, Интернационал в Англии — могущественная организация?» — «Да,— ответила я,— весьма могущественная, и в других странах тоже».— «Ах,— воскликнул г-н де Кератри,— Интернационал — это религия!» Перед своим уходом г-н де Кератри еще раз заверил нас честным словом, что Поль Лафарг свободен, и попросил немедленно написать ему об этом в Босост и предложить ему вернуться во Францию. Но мне показалось, что петлицу де Кератри украшает красная ленточка Почетного легиона, и так как я держусь того мнения, что честь рыцарей Почетного легиона весьма отлична от чести простых смертных, то я подумала, что осторожность не повредит, и, вместо того чтобы посоветовать г-ну Лафаргу вернуться в Люшон, я решила поступить наоборот и попросила одного друга послать ему денег, которые дали бы ему возможность уехать дальше в глубь Испании.

Сопровождаемые повсюду нашей тенью — жандармами, мы тщетно ожидали обещанного приказа об освобождении. В 11 часов ночи procureur de la République вошел в нашу комнату, но вместо того, чтобы передать нам приказ об освобождении, он предложил нам уложить необходимые вещи и последовать за ним в une maison particulière[1]. Я знала, что это незаконно,— но что нам было делать? С нами в доме было лишь несколько женщин, в то время как прокурора сопровождало изрядное количество жандармов. Поэтому, не желая доставить этому трусливому хвастуну, г-ну Дезагарру, удовольствие применить грубую силу, мы велели плачущей горничной приготовить наши платья и т. д. и, попытавшись утешить дочь нашей хозяйки обещанием, что мы скоро вернемся, сели в коляску, где находились уже два жандарма; нас повезли неизвестно куда, глубокой ночью, в чужой стране.

Местом нашего назначения оказались бараки gendarmerie[2], нам указали нашу спальню, нашу дверь должным образом забаррикадировали снаружи и оставили нас одних...

Мы оставались пленницами. Без паспорта мы не могли выехать из Франции, где нас, очевидно, собирались держать до тех пор, пока, придравшись к какому-нибудь случаю, можно будет снова нас арестовать.

Полицейские органы Тулузы ежедневно обвиняли нас в том, что мы действуем в качестве эмиссаров Интернационала на французской и испанской границах...

Я упомянула выше, что нашего кучера заставили покинуть нас в Фосе. Вслед за тем г-н Дезагарр, procureur de la République, и несколько «джентльменов» из полиции пытались убедить его, с самым невинным видом, чтобы он вернулся в Босост и под ложным предлогом уговорил бы г-на Лафарга приехать в Фос. К счастью, один честный человек сильнее полдюжины полицейских агентов. Догадливый малый сообразил, что под этим красноречием кроется что-то неладное, и категорически отказался ехать за г-ном Лафаргом, в результате чего жандармы и таможенные стражники с прокурором во главе отправились в экспедицию в Босост. Г-н барон Дезагарр, в глазах

[1] Специальное здание *(франц.)*.
[2] Жандармских казарм *(франц.)*.

которого «благоразумие есть лучшее проявление храбрости», заявил ранее, что он не отправится в Фос для поимки г-на Лафарга без достаточного эскорта; что он с одним или двумя жандармами не справится с человеком, подобным г-ну Лафаргу, который, наверное, прибегнет к огнестрельному оружию. Г-н Дезагарр ошибался — ему была уготована не пуля, а пинки и тумаки. Вернувшись из Бососта, он вздумал мешать крестьянам, собравшимся на деревенский праздник. Славные горцы, любящие свою свободу не меньше, чем свой горный воздух, задали благородному барону изрядную трепку и выпроводили его вон если не поумневшим, то во всяком случае более мрачно настроенным! Но я забегаю вперед.

Я остановилась на том, что г-н Дезагарр и его спутники отбыли в Босост. Скоро они достигли этого города и нашли гостиницу, где остановились Лафарги, ибо жители Бососта располагают лишь двумя гостиницами, или, вернее, постоялыми дворами. Они еще не настолько цивилизованы, чтобы иметь полагающееся количество постоялых дворов. Так вот, в то время как г-н Дезагарр стоит у парадной двери гостиницы Массе, г-н Лафарг при содействии своих добрых друзей, крестьян, выходит из дома через черный ход, взбирается на гору и спасается по тропинкам, известным только проводникам, козам и английским туристам,— все проезжие дороги охранялись испанскими карабинерами. Испанская полиция с энтузиазмом пришла на помощь своим французским собратьям. Г-же Лафарг суждено было испытать на себе все благодеяния международного товарищества полицейских. В 3 часа утра в ее спальню вламываются четыре испанских офицера с карабинами, направленными на кровать, где спит г-жа Лафарг с ребенком. Бедный больной малютка, внезапно разбуженный и испуганный, начинает кричать; но это не мешает испанским офицерам заглядывать в каждую дырку и щель в комнате,— нет ли там г-на Лафарга. Убедившись наконец, что их добыча ускользнула от них, они объявляют, что заберут г-жу Лафарг. Тут вмешался хозяин гостиницы — весьма достойный человек,— заявляя, что испанское правительство безусловно не даст своего согласия на выдачу женщины. Он был прав. Г-же Лафарг разрешили остаться в Бососте, но с тех пор за ней не прекращалась тягостная слежка агентов полиции. Отряд шпионов устроил свой главный штаб в гостинице...

Но я чуть не забыла объяснить, почему г-ну де Кератри не удалось повидать г-жу Лафарг. Дело в том, что один французский крестьянин из Люшона известил некоторых своих испанских друзей в Бососте о предполагаемом визите г-на де Кератри, а те, конечно, немедленно предупредили г-жу Лафарг...

О бегстве г-на Лафарга г-жа Лафарг известила нас вскоре после нашего освобождения... Позднее мы узнали от одного обитателя Бососта, что г-на Лафарга арестовали в Уэске и что испанцы предложили выдать его французскому правительству. В тот день, когда мы получили это сообщение, наш английский паспорт был нам возвращен мировым судьей. Тогда, чтобы положить конец тревоге, в которой, как мы знали, находилась г-жа Лафарг, прикованная к Бососту болезнью ребенка, в неведении о судьбе мужа, мы немедленно решились ехать в Уэску, чтобы попытаться узнать у губернатора провинции, каковы действительные намерения испанского правительства относительно г-на Лафарга. Приехав в Сан-Себастьян, мы, к нашей радости, узнали, что г-н Лафарг выпущен на свободу. Тогда мы тотчас же вернулись в Англию.

Не могу закончить этого письма, не упомянув вкратце о том обращении, которому подверглась наша хозяйка... В 11 часов утра префект, генеральный прокурор, procureur de la République и т. д. совершили набег на наш дом. Взбешенные тем, что им не удалось захватить в свои лапы г-на Лафарга, они излили свою злобу на г-же С., женщине, страдающей застарелой болезнью сердца...

Если бы, воюя против пруссаков, г-н Кератри пользовался тем же методом, чтобы защищать свои фланги и тыл от внезапного нападения, чтобы застигать врасплох вражеские отряды, устанавливая наблюдательные посты и высылая вперед лазутчиков,— дела в Бретани шли бы лучше, если судить, конечно, по успеху тактики де Кератри в Фосе!

Нашей хозяйке не разрешали разжечь огонь в собственной кухне; ей приказали спать не в постели, а на полу. Последнему приказанию, однако, она отказалась повиноваться. Схватив ее сына, ребенка, которому нет еще трех лет, префект утверждал, что это сын г-на Лафарга. Г-жа С. неоднократно убеждала его, что он ошибается, но напрасно; наконец, стремясь удостоверить личность ребенка (она боялась, что его заберут), она воскликнула:

«Помилуйте, мальчик говорит только на местном наречии!» Сначала даже этот аргумент как будто бы показался префекту недостаточно убедительным. Может быть, г-н де Кератри, утверждающий, что «Интернационал — это религия», вспомнил при этом о чуде в виде спустившихся на апостолов с неба разделяющихся языков.

Одной из причин, почему с г-жой С. так плохо обращались, было то, что она никогда в жизни не слышала об Интернационале и потому не могла дать сведений о деяниях этого таинственного общества в Люшоне. Кстати говоря, это было бы непосильной задачей для самого осведомленного члена — во всяком случае до того времени, как г-н де Кератри начал свою активную пропаганду в пользу Международного Товарищества. Затем г-жа С. оказалась виновной в том, что с похвалой отзывалась о своем жильце, г-не Лафарге. Но главным преступлением было то, что она не могла указать, где спрятаны бомбы и керосин.

Да! Это факт, в нашем доме искали бомбы и керосин. Заметив маленький ночничок, которым пользовались для подогревания молока ребенку, синклит властей стал внимательно разглядывать лампочку, обращаясь с ней с такой осторожностью, будто это была адская машина, с помощью которой можно было бы, находясь в Люшоне, залить керосином улицы Парижа. Даже Мюнхаузен не предавался такому буйному полету фантазии... Власти на самом деле верят в дикие басни о керосине — порождение их собственного больного мозга. Они действительно думают, что женщины Парижа «не звери и не люди, не мужчины и не женщины», но... разновидность саламандр, обожающих свою родную стихию — огонь».

Полиция упорно искала в столице Анну Жаклар. Многие деятельницы Коммуны были уже арестованы и ждали в тюрьмах суда. Но Анне Васильевне удалось спастись, благодаря мужу своей сестры Владимиру Ковалевскому, который помог ей скрыться.

Участь Жаклара оказалась нелегкой. Он сражался до последнего патрона на одной из баррикад в страшный день 28 мая, когда Коммуна перестала существовать. Опознанный затем на улице, Жаклар был арестован и подвергнут пытке. Как и многих других коммунаров, его

раздели, привязали к столбу и избили шомполами. Ему предстоял расстрел или, в лучшем случае, ссылка в Новую Каледонию, если бы Анне не удалось упросить своего отца генерала Корвин-Круковского, хорошо знавшего Тьера по совместному пребыванию на курорте, вмешаться в это дело. Благодаря этому Жаклару удалось бежать из версальских застенков.

В той же тюрьме, где был заключен Жаклар, находились Луиза Мишель и Теофиль Ферре. С поразительным хладнокровием руководил бесстрашный последователь Бланки обороной последних позиций коммунаров. Ему удалось ускользнуть от преследующих его по пятам версальцев и найти надежное убежище. Он мог бы спастись, но версальцы решили отомстить его семье. Они арестовали его отца, брата и пригрозили увезти в тюрьму тяжело больную сестру. Старушка мать Теофиля не выдержала испытания. Обезумев от горя, она назвала улицу, где скрывался ее сын-коммунар. Все дома в переулке Сен-Совер были оцеплены. Ферре арестовали. В тюрьме он проявил всю чистоту и твердость своей души.

Как всегда, Ферре заботился не о себе, хотя знал, что дни его сочтены. Теофиль встречал приближающийся конец своей короткой жизни, как стоик, спокойно и находил силы, чтобы ободрять товарищей по заключению. Он стремился возвеличить Коммуну, стараясь, чтобы мир узнал правду о ее действительных целях и деяниях. До последнего дня он переписывался с Луизой Мишель, с которой был связан дружбой, основанной на единстве воззрений и преданности Коммуне. Письма их друг к другу передавала тюремная прачка, зашивая их в рукава выстиранного белья.

Луиза переслала Ферре сделанные из клочков своего шарфа алые гвоздички — этот символ революционных надежд, а также несколько своих стихотворений. Ферре ей ответил.

«Думаю,— писал он Луизе,— Вас порадует это мое сообщение — много хороших и умных людей уже находятся в безопасности. Вам, вероятно, хорошо знакома моя манера смотреть на вещи. Поэтому, без сомнения, Вас не удивит, если я скажу, что я все больше и больше убеждаюсь в том, что наши идеи в конце концов победят. Мы сейчас были побеждены. Ну что же! Если не мы, то наши братья возьмут реванш. Так какое же имеет значение, если я,

например, в это время уже не буду жить? Я знаю храбрость и энергию моих товарищей по борьбе и уверен, что моя казнь только увеличит их рвение и сделает еще более необходимым справедливое возмездие... Вместо того чтобы огорчаться нашими неудачами, проанализируйте лучше их последствия, и вместе со мной Вы убедитесь, что никогда социализм не был необходим, как сегодня».

Зная безрассудно смелый, неукротимый, стремительный и великодушный характер «Красной девы Монмартра», Ферре призывал ее в интересах дела к дальновидности, выдержке, уговаривал не бросать вызова судьям и не жертвовать собой бесцельно, а постараться обрести свободу.

«Можно сохранять свое достоинство, не будучи, однако, наивной...— настаивал он,— советую не забывать моих замечаний и постараться поскорее выбраться из этого осиного гнезда».

Для Луизы Мишель, которая была на пятнадцать лет старше Теофиля Ферре, он всегда оставался не только любимым другом, но и непререкаемым авторитетом. Ничто не могло сломить его духа, хотя несчастья сопутствовали ему до самого последнего дня жизни. Мать, которую Ферре очень любил, сошла с ума после его ареста и вскоре умерла, отец находился под арестом. Младший брат Теофиля был в той же тюрьме и, не выдержав заточения, лишился рассудка. После того как Ферре был приговорен к смертной казни, к нему в камеру перевели впавшего в буйство брата. За два часа до расстрела Ферре писал твердой рукой своей сестре Мари:

«Версальская одиночная тюрьма, камера № 6, вторник, 28 ноября 1871 г., 5½ часов утра.

Дорогая сестра! Через несколько мгновений я буду мертв. В последнюю минуту я буду вспоминать о тебе. Прошу тебя, потребуй, чтобы тебе выдали мое тело, и похорони его вместе с телом нашей несчастной матери. Если можешь, напечатай в газетах о часе погребения, чтобы друзья могли проводить меня. Само собой разумеется, никакого церковного обряда: я умираю, как и жил, материалистом...

...Преодолей свое горе и будь на высоте положения, как ты мне не раз обещала. Что до меня, то я счастлив: приходит конец моим мучениям, и потому жаловаться

мне не на что. Все мои бумаги, платье и другие вещи должны быть выданы тебе, за исключением денег, которые я оставляю в конторе для менее несчастных заключенных».

Теофиля Ферре отвезли на впитавшее немало крови героев Коммуны поле Сатори вместе с двумя товарищами, приговоренными к смерти за добровольный переход из версальской армии к коммунарам. Пытливые журналисты разных газет сопровождали зловещий кортеж смертников и присутствовали на казни.

В семь часов на поле раздался бой барабанов и появились три экипажа с осужденными. Водворилась могильная тишина. Судья, приговоривший Ферре к смерти, снова зачитал приговор. Самообладание ни на секунду не покидало Теофиля Ферре. Он спокойно курил сигару, опершись о роковой столб. Когда сержант подошел к нему, чтобы завязать глаза, Ферре спокойно взял повязку и бросил ее на шляпу, лежавшую у его ног. С открытыми глазами, гордо выпрямившись, как знаменосец, встретил смерть один из безупречнейших героев Коммуны.

Маркс и его семья переживали мучительные, страшные дни, беспокоясь о соратниках, сражавшихся в Париже. Ничего не знали они и о Элизе. Наконец из Швейцарии пришла долгожданная весть от секретаря Романского федерального комитета Интернационала о Дмитриевой: «Это чудо, что она спаслась. Она у нас в Женеве, и мы охраняем ее с величайшей заботой. Ей удалось с несколькими друзьями и подругами ускользнуть от этой ужасной бойни».

Осенью 1871 года, оправившись от ранения, потрясенная и раздавленная всем пережитым в Париже, Дмитриева вернулась на родину. Тайна ее настоящего имени не была раскрыта русской полицией. Дмитриевой больше не существовало. Елизавета Лукинична Томановская, вдова полковника, беспрепятственно пересекла русскую границу и направилась в Новгородскую губернию. После недолгого пребывания в глуши она уехала в Москву. Связь ее с Марксом изредка поддерживалась письмами.

Тридцатого мая 1871 года, через два дня после падения последней баррикады в Париже, Генеральный Совет

единодушно одобрил зачитанный Марксом текст воззвания Интернационала о гражданской войне во Франции. Оно было опубликовано в Лондоне 13 июня 1871 года на английском языке в виде брошюры в тридцать пять страниц, тиражом в тысячу экземпляров. Но первое издание быстро разошлось, и вскоре потребовалось второе, которое распространялось по удешевленной цене среди рабочих. В августе того же года было выпущено третье английское издание.

Не все члены Генерального Совета отнеслись, однако, к этому воззванию положительно. Оджер и несколько его единомышленников испугались, как бы не навлечь резкого недовольства английской буржуазии, подачки которой они охотно принимали. Давнишние расхождения Оджера и Маркса усилились, и преуспевающий обуржуазившийся сапожник был исключен из Международного Товарищества Рабочих.

В 1871—1872 годах «Гражданская война во Франции» была переведена на французский, немецкий, русский, итальянский, испанский и голландский языки.

Перевод этой новой работы Маркса на немецкий язык был сделан Энгельсом и напечатан в Германии в газете «Народное государство», а впоследствии издан брошюрой в Лейпциге. На русском языке первое издание «Гражданской войны во Франции» появилось в 1871 году в Цюрихе.

В этом произведении, как и в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», со всей силой проявился поразительный дар Маркса угадывать значение и последствия великих исторических событий в момент, когда они совершаются.

Еще в «Восемнадцатом брюмера» Маркс высказал мысль о необходимости слома во время пролетарской революции буржуазной государственной машины. Развивая дальше это положение в «Гражданской войне во Франции» и рассматривая буржуазное государство как общественную силу, организованную для социального порабощения трудящихся, как машину классового господства, Маркс приходит к заключению, что рабочий класс не может просто овладеть этой машиной и пустить ее в ход для своих целей. Старая государственная машина должна быть сломана, пролетариат, как это показала Парижская

коммуна, создает новую форму государства — диктатуру пролетариата.

В Парижской коммуне, несмотря на короткий период ее существования, Маркс увидел в первоначальной, еще только зарождавшейся, но уже достаточно отчетливой форме черты государства нового исторического типа. Маркс писал, что Коммуна «была, по сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего; она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда».

Страницы «Воззвания» Международного Товарищества Рабочих о гражданской войне во Франции проникнуты глубокой верой в революционные силы народных масс и восхищением перед героизмом рабочего класса Франции и деятельностью Коммуны. Старому миру Версаля — этому «сборищу вампиров всех отживших режимов» — Маркс противопоставляет огромную преобразующую силу пролетарской революции.

«Гражданская война во Франции» звучит гимном рабочему классу Парижа, сделавшему первые шаги по пути создания пролетарского государства. «Трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием своей исторической инициативы Париж,— писал Маркс,— почти забывал о людоедах, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества».

«Воззвание» далее гласит:

«Буржуазный рассудок, пропитанный полицейщиной, разумеется, представляет себе Международное Товарищество Рабочих в виде какого-то тайного заговорщического общества, центральное правление которого время от времени назначает восстания в разных странах. На самом же деле наше Товарищество есть лишь международный союз, объединяющий самых передовых рабочих разных стран цивилизованного мира. Где бы и при каких бы условиях ни проявлялась классовая борьба, какие бы формы она ни принимала — везде на первом месте стоят, само собой разумеется, члены нашего Товарищества. Та почва, на которой вырастает это Товарищество, есть само современное общество. Это Товарищество не может быть

искоренено, сколько бы крови ни было пролито. Чтобы искоренить его, правительства должны были бы искоренить деспотическое господство капитала над трудом, то есть искоренить основу своего собственного паразитического существования.

Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества. Его мученики навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса. Его палачей история уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, от которого их не в силах будут освободить все молитвы их попов».

Спустя несколько месяцев после разгрома Коммуны Лафарг под чужим именем обосновался с семьей в Мадриде, где, невзирая на опасность, энергично разоблачал членов бакунинского тайного «Альянса», работая в газете «Эмансипасион», издававшейся Мадридской секцией Интернационала. Лафарг объединил всех подлинных испанских борцов за дело освобождения рабочего класса.

Лаура неутомимо помогала мужу во всех его начинаниях. Когда Лафарг опубликовал в испанской газете серию статей «Организация труда», для которых немало потрудилась и Лаура, Энгельс написал ей: «В статьи для «Эмансипасион», в которых испанцам впервые преподносится настоящая наука, ты тоже вносишь свою значительную долю, и как раз именно в научном отношении, за что я, как секретарь для Испании, считаю своим долгом принести тебе особую благодарность».

В это же время на Лафарга и его жену обрушилось страшное горе. Их единственный оставшийся в живых ребенок, которому было три с половиной года, умер от дизентерии, проболев девять месяцев. Только взаимная огромная любовь, общие жизненные цели помогли Полю и Лауре пережить и это несчастье. Однако, тщетно борясь как врач за жизнь своих детей, Лафарг возненавидел медицину и посвятил себя отныне политической деятельности и журналистике. Но это не могло обеспечить его материально. Поиски заработка вынудили Лафарга эмигрировать позднее в Англию.

Вернувшись в Лондон, Женнихен и Элеонора застали родительский дом переполненным беженцами Коммуны.

Вся семья Маркса, включая его самого, занята была тем, чтобы помочь борцам, спасшимся от расправы версальцев. Они не имели ни жилья, ни одежды, ни каких-либо средств к существованию. Энгельс руководил работой Генсовета по оказанию материальной помощи французским эмигрантам. Трудоустройство изгнанников значительно затруднялось тем, что английская буржуазия не желала облегчить положение участников Коммуны и принимать их на работу. Не прощали британские зажиточные люди и сочувствия к деятелям пролетарской революции. Женнихен писала Кугельману:

«Монро порвали со мной всякую связь, так как сделали ужасное открытие, что я — дочь главаря поджигателей, защищавшего противозаконное движение коммунаров... Страдания эмигрантов неописуемы: они буквально умирают с голода на улицах этого громадного города...

Уже более пяти месяцев Интернационал содержит, точнее говоря, поддерживает между жизнью и смертью большинство эмигрантов».

Падение Парижской коммуны явилось сигналом ко всеобщему наступлению реакции против Интернационала во всех европейских странах. Бисмарк издал приказ об аресте Карла Маркса в случае его появления на германской земле и попытался организовать конференцию правительств Европы для обсуждения вопроса о борьбе с Интернационалом. Французское правительство в циркулярном послании ко всем заинтересованным государствам также призывало к объединению реакционных сил ради общей травли интернационалистов. Тьер и Фавр добились принятия сурового закона против Международного Товарищества Рабочих. Связь Генерального Совета с Францией оборвалась.

Враги Коммуны были врагами и Международного Товарищества Рабочих. Как только Генеральный Совет и, в частности, Маркс приняли на себя ответственность за все действия Коммуны, буржуазная пресса обрушилась на создателя Интернационала, называя его «красным дьяволом» и «доктором красного террора».

Известность Маркса возрастала непрерывно. Буржуазный парижский журнал «Иллюстрасьон» опубликовал

портрет и краткие сведения о его жизни, которые перепечатали многие газеты в Европе и Америке.

Гордясь успехами Международного Товарищества Рабочих, Энгельс назвал его седьмой великой мировой державой.

Ужас, внушаемый Интернационалом, был так велик, что римский папа его проклял, французский парламент объявил вне закона, «железный канцлер» Бисмарк грозил ему крестовым походом.

Настало время, когда центральная печать Англии открыла свои страницы для сообщений о деятельности Интернационала и его руководителях. Лондонский «Таймс» после Парижской коммуны опубликовал важные заявления Маркса и Генерального Совета в ответ на клеветнические нападки разных газет на Интернационал. Доступ в большую прессу сделал Маркса еще более известным. Журналисты разных стран писали о нем, его семье и соратниках.

Молодая Социал-демократическая партия Германии — эйзенахцы — из-за побед Бисмарка оказалась в тяжелом положении. Все классы, партии и группы страны хотели единой Германии. Наполеон III — враг этого объединения — потерпел поражение, и это радовало всех немцев. Но революция во Франции изменила характер войны, и немецкие рабочие были заинтересованы отныне в победе, скорее, Французской республики, нежели в успехах реакционного правительства Бисмарка. В то же время появились слухи, что Германия намерена отнять у Франции Эльзас и Лотарингию в качестве вознаграждения за победу над Наполеоном. Немецкие империалисты заявляли, что это необходимо якобы для укрепления границ Германии на западе.

Центральный комитет Немецкой социал-демократической рабочей партии в Брауншвейге обратился к Марксу, как к секретарю-корреспонденту Интернационала для Германии, за разъяснениями позиции немецкого пролетариата в отношении франко-прусской войны.

Маркс и Энгельс, придавая исключительное значение своему ответу руководителям Социал-демократической партии, поскольку речь шла о директивах, намечающих

линию поведения немецких рабочих, выработали окончательный текст письма совместно. Они предрекли, что если Германия захватит у Франции Эльзас и Лотарингию, то войны в Европе никогда не прекратятся.

«Это — безошибочный способ превратить будущий мир в простое перемирие до тех пор, пока Франция не окрепнет настолько, чтобы потребовать потерянную территорию обратно. Это — безошибочное средство разорить Германию и Францию путем взаимного самоистребления.

Негодяи и глупцы, которые изобрели такие гарантии вечного мира, должны были бы знать, хотя бы из прусской истории, на примере того, как жестоко Наполеон расплатился за Тильзитский мир, что подобные насильственные меры для обуздания жизнеспособного народа приводят к прямо противоположным результатам...

Тот, кто не совсем еще оглушен теперешней шумихой или *не заинтересован* в том, чтобы оглушать германский народ, должен понять, что война 1870 г. так же неизбежно чревата ***войной между Германией и Россией***, как война 1866 г. была чревата войной 1870 г.

Я говорю ***неизбежно, непременно,*** если не учитывать того маловероятного случая, что ***в России*** до этого времени может вспыхнуть ***революция.***

Если этот маловероятный случай не произойдет, то войну между Германией и Россией приходится уже сейчас рассматривать как fait accompli (совершившийся факт).

Будет ли эта война вредна или полезна,— целиком зависит от нынешнего поведения немцев-победителей.

Если они захватят Эльзас и Лотарингию, то Франция *вместе* с Россией будет воевать против Германии. Нет надобности указывать на губительные последствия подобной войны...

Но я опасаюсь, что негодяи и глупцы будут беспрепятственно продолжать свою безумную игру, если германский рабочий класс en masse[1] не поднимет своего голоса.

Нынешняя война открывает новую всемирно-историческую эпоху тем, что Германия... доказала свою способность, ***независимо от заграницы***, идти своим собственным

[1] В массе *(франц.).*

нутем. То, что Германия первоначально обретает свое *единство в прусской казарме*, является наказанием, ею вполне заслуженным. Но *результат*, хотя и таким способом, все же достигнут... И если... германский рабочий класс не сыграет выпавшей на его долю исторической роли, то это — его вина. ***Нынешняя война перенесла центр тяжести континентального рабочего движения из Франции в Германию.*** Тем самым на германский рабочий класс ложится еще бо́льшая ответственность...»

Следуя указаниям Маркса и Энгельса, секции Интернационала не только в Англии, но и в Бельгии, Испании, США провозгласили те идеи, которые диктовались интересами пролетариата всех стран. Они требовали отказа от всяких завоевательных устремлений по отношению к республиканской Франции и выступали в ее защиту. Центральный комитет Немецкой секции Международного Товарищества Рабочих, находившийся в Брауншвейге, выпустил в сентябре манифест к немецкому рабочему классу, призывающий его не допустить аннексии Эльзаса и Лотарингии и добиться заключения почетного мира с Французской республикой. По приказу командующего германской армией манифест был конфискован, все члены комитета и типограф, напечатавший этот документ, были схвачены, закованы в кандалы и отправлены в Восточную Пруссию.

Требовавшие от германского правительства заключения почетного мира с Францией Бебель и Либкнехт также были арестованы и приговорены к длительному тюремному заключению.

В январе 1871 года идея объединения Германии восторжествовала: Вильгельм I у стен столицы Франции, в зеркальном зале Версальского дворца, получил из рук немецких государей корону германского императора. Объединение было завершено сверху, как того желало реакционное прусское юнкерство. Это укрепило монархический строй и позиции контрреволюционных сил. Пролетариат из-за своей слабости не мог помешать юнкерству и буржуазии совершить преобразование страны в самой невыгодной для рабочих форме, с сохранением монархии, всех привилегий дворянства и бесправия крестьян.

Новая Германская империя была союзным государством, она объединила двадцать две монархии с Пруссией

во главе. Газеты писали, что империя является союзом между львом, полдюжиной лисиц и двумя десятками мышей. Во всяком случае, Германия стала великой державой с населением более 40 миллионов человек.

В конце января Бисмарк подписал в Версале перемирие с Францией, а месяц спустя был заключен предварительный мир. Он разрешил контрреволюционному правительству Тьера вдвое увеличить численность войск в районе Парижа для борьбы с рабочими и возвратил Тьеру часть французских военнопленных, которых враги Коммуны бросили против Парижа. Немецкие войска во время осады столицы Франции пропустили к Парижу контрреволюционные войска правительства Тьера. В то же время они не разрешали коммунарам подвозить в столицу продовольствие. Бисмарк требовал от Тьера скорейшей расправы с революционным Парижем. Прусские войска, задерживая жителей столицы, бежавших из Парижа, передавали их в руки палачей Тьера.

Мирный договор между Германией и Францией был подписан во Франкфурте-на-Майне 10 мая 1871 года, через три с половиной месяца после заключения перемирия. Германия забрала у Франции часть Лотарингии и Эльзаса, развитые в промышленном отношении и богатые железной рудой районы. Таким образом Бисмарк обеспечил Германии стратегически выгодные позиции для будущего вторжения во Францию. Он считал угрозу реванша со стороны Французской республики выгодной для юнкерства, так как это должно было поддерживать шовинистические настроения в Германии и способствовать подавлению революционного движения внутри страны.

Пять миллиардов франков контрибуции, которую должна была в течение трех лет выплатить Германской империи Французская республика, Бисмарк использовал на вооружение для новых войн.

Париж исходил кровью. На десять дней, с ведома и поощрения новой власти, город был отдан на разграбление озверевшим убийцам. Бандиты, садисты, живодеры с душами рысей и гиен шныряли по улицам, жадно вдыхая запах запекшейся на мостовых крови, убивали заподозренных в симпатии к Коммуне и требовали новых и новых жертв. Следом за версальской армией в столицу явились расфранченные проститутки, торговцы вином, владельцы особняков, больших магазинов, заводов, воз-

бужденные, счастливые в предвидении наживы. И они требовали своей чаши с человеческой кровью, крича о мести и неистовствуя при виде ведомых на лобное место пленников. В экипажах отправлялись они смотреть на массовые казни и нередко превращались из зрителей в изощренных палачей.

Коммунаров хладнокровно расстреливали, избивали прикладами, душили, закапывали живьем. Женщины с нежными лицами, в платьях из светлого муслина, прозрачного, как стрекозьи крылья, выкалывали коммунарам глаза модными зонтиками с металлическими наконечниками. Если Коммуна была подобна празднику добра, милосердия и чистой радости, то контрреволюция олицетворяла дьявольское торжество жестокости, кровожадности и злодейства.

Лиза Красоцкая находилась в госпитале, когда версальцы ворвались в палаты и начали добивать раненых коммунаров. Одна из санитарок силой увела ее черным ходом и спрятала у надежных людей. Лиза провела ужасную ночь. По улице, громко стуча прикладами, ругаясь и распевая непристойные песни, рыскали каратели. Они врывались в дома, вытаскивали людей и тут же расстреливали их без суда. Лиза чувствовала себя затравленным ищейками зверем. Она не могла совладать с чувством постыдного, парализующего мозг страха, и это усиливало ее страдания. До утра она боролась с собой и, когда кровавая оргия кончилась, твердо решила остаться в Париже, чтобы помогать уцелевшим товарищам. Вместе с хозяйкой квартиры, в которой ее укрыли, она отыскала несколько преданных людей и, отдав значительную сумму имевшихся при ней денег, занялась отправкой за границу уцелевших от казни коммунаров.

Самым страшным ударом после гибели мужа был для Лизы расстрел Варлена. Его, почти незнакомого ей, она любила всем сердцем, как совершенный образ человека. Судьба привела ее случайно на Монмартр. Под густой вуалью, погруженная в тяжелые думы, проходила Лиза по гористому переулку Лабон и остановилась на перекрестке улицы Розье, завидев зловещую процессию, спускавшуюся с холма. Беснующаяся, ревущая толпа нарядно одетых мужчин и дам сопровождала конвоиров, ведущих арестованного со связанными за спиной руками.

— Слишком рано убивать его, пусть еще поводят,— надрывался тучный буржуа в котелке, откинутом на макушку.

— Нечего корчить из себя героя. Небось поджилки уже у тебя трясутся,— крикнул молодой щеголь и ударил тростью узника.

— Передай поклон всем моим подружкам-потаскушкам, когда будешь в аду,— взвизгнула какая-то женщина в огромной шляпе, украшенной зелеными птичьими перьями.

Приговоренный к смерти, глядя прямо перед собой, шагал твердо и, казалось, не слыхал звериного рева толпы. Это был Эжен Варлен. Еще более, нежели обычно, спокойный, сосредоточенно думающий о чем-то важном, он показался ей теперь похожим на праведника-воина, сошедшего с византийских старинных фресок. Если б можно было спасти его даже ценой собственной жизни, Лиза не колеблясь сделала бы это. Но не было такой силы в этот момент в Париже, которая предотвратила бы еще одно чудовищное преступление контрреволюционеров.

...До последнего мгновения Варлен, отступая от баррикады к баррикаде, отчаянно дрался с версальцами. Патроны иссякли. Враги победили. Измученный физически, безразличный к опасности, как боец, воинская часть которого вся погибла, Варлен бродил по городу. Он не пожелал скрыться и, казалось, сам жадно искал смерти.

Он был опознан и выдан священником, переодетым в штатское и занимавшимся ловлей коммунаров.

Накануне, прозревая будущее, Варлен говорил одному из своих соратников:

— Да... нас заживо изрубят в куски. Наши трупы будут волочить в грязи. Тех из нас, кто сражался, убили, пленников убили, раненых прикончат. А если кто-нибудь и уцелеет и его пощадят, то отправят гнить на каторгу. Но история в конце концов увидит все в более ясном свете и скажет, что мы спасли Республику.

Расстрел Варлена был последней каплей скорби для Лизы. Но она не ослабела, не поникла, как Анна Жаклар, наоборот, после нескольких дней душевной контузии она почувствовала возрождение, воля ее вновь окрепла. Жизнь имела отныне для нее один смысл — бороться. Если раньше она еще верила в гуманность господствующих классов в более развитых странах, то отныне поняла, как они страшны и бесчеловечны, когда мстят за свою соб-

ственность и привилегии. Они перестали быть людьми. В огне Коммуны Лиза сожгла все сомнения. Она поняла и приняла головой и сердцем все, чему учил Маркс.

Воспользовавшись английским паспортом, Лиза поселилась сначала на Больших бульварах в одном из наиболее фешенебельных, недавно открывшихся отелей. Знание иностранных языков и манеры великосветской дамы отводили от нее подозрения. Она удачно изображала из себя скучающую знатную англичанку, прибывшую в Париж в поисках сильных ощущений. Однако это была небезопасная затея. Лизу легко могли опознать на улице многочисленные шпионы и предатели, видевшие ее в женских клубах, редакциях газет и в госпиталях. Чтобы избежать этого, Лиза часто меняла местожительство, разъезжала только в закрытой карете, набрасывая густую вуаль поверх шляпы. В течение месяца ей удалось вместе с несколькими товарищами не только помочь бежать за границу многим уцелевшим коммунарам, но и завязать новые знакомства, наладить конспиративную связь с Генеральным Советом Интернационала.

В июле Маркс получил весьма важное письмо от молодого польского революционера, друга Врублевского, участника Парижской коммуны:

«Господин доктор! Дама из Парижа проживает на улице Труффо в Батиньоле (район в северной части Парижа), дом № 14, пароль: «Имеете ли вы цветы темно-вишневого оттенка», ответ: «Да, сударь».

Лондонская дама выезжает не позже понедельника. Я немного затронул ее самолюбие, высказав легкое сомнение в ее храбрости. Тем не менее она перевезет все, что Вы пожелаете, и будет действовать, как условлено. Я за это отвечаю.

Парижская дама меняет квартиру 8-го или 15-го числа этого месяца. Значит, следует ждать присылки ее нового адреса.

Примите уверения, господин доктор, в моем почтении».

Однажды Лиза узнала о крайне бедственном положении находящегося в Париже тяжело больного члена Коммуны, разрисовщика тканей, поэта Эжена Потье. С боль-

шими предосторожностями Красоцкая отправилась на окраинную жалкую улочку, где в мансарде старого дома скрывался рабочий-коммунар.

— Вы предполагали найти на этом чердаке одряхлевшую птицу с выщипанными перьями. Нет, я хоть и немощен, но силен,— сказал Потье, с трудом пододвигая гостье дубовый стул, насчитывающий несколько столетий своего существования.— Признаться, находиться здесь не доставляет большого удовольствия. Ступени, ведущие сюда, скрипят, как рассохшийся гроб, и каждый раз я думаю, что пришли по мою душу. Но это так, пустяки. Сражаясь на баррикадах, я успел переворошить столько мыслей и представлений, сколько не удалось за предыдущие пятьдесят пять лет. Когда свистят пули и зовут тебя к праотцам, человек освобождается от шелухи. И я впервые ощутил жизнь, будто ядро зрелого сочного ореха во рту. Расскажите мне обо всем, что происходит за клопиной стеной этого дома.

— Хорошо, что этой стене удалось спасти вас.

— Вы правы. Я мог бы, как тысячи наших несчастных братьев, пропитать своей кровью камни ограды Пер-Лашез.— Потье тяжело вздохнул.— Тьер потопил революцию в крови, а мы, немногие оставшиеся в живых коммунары, в этом кровавом море потопили свои иллюзии. Я покончил навсегда с доверчивостью и прозрел. В эти дни отчаяния, бессильных слез над могилами друзей, совсем один, находясь постоянно под дамокловым мечом, я написал стихи. Они сотканы из волокон моего сердца.

— Прошу вас, прочтите мне ваше произведение,— попросила Лиза.

Потье привстал с дырявого соломенного тюфяка, брошенного прямо на пол, и повернул к окну свое плоское, курносое, мудрое, желтое, как глина, лицо.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Казалось, что Потье не говорит, а поет эти строки. У него был музыкальный, чистый голос, в который он

вкладывал сейчас глубокое чувство. Лиза ощутила острое волнение и вся подалась вперед.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

За окном внезапно послышались крики. Женщины преградили путь конвою, ведшему на военный суд нескольких коммунаров. Офицер скомандовал: «На изготовку». Усилился шум, проклятия палачам и горестные вопли. В карателей полетели камни, раздались выстрелы и топот ног. Откуда-то глухо донеслось: «Да здравствует Коммуна!» Затем все смолкло.

Изможденный, усталый Потье вдохновенно продолжал декламировать, и лицо его подверглось удивительной метаморфозе: на глазах Лизы он помолодел и казался красивым.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем!
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Давно пора было уходить, а Лиза все еще сидела подле Эжена Потье.

— Я уношу в памяти ваш «Интернационал»,— сказала она ему на прощанье.— Мне кажется, этому творению жить и жить. Множество поколений, как я, отныне будут носить его в сердце и повторять в минуты борьбы, радости и печали. Спасибо, дорогой друг, за этот дар человечеству.

И, сомневающийся в себе, как всякий истинный создатель, Эжен Потье привлек огрубевшими от труда, сморщенными руками голову Лизы и благодарно поцеловал ее в лоб.

Через несколько дней ему удалось благополучно бежать в Англию.

Лето 1871 года подходило к концу. В Веве, в пансионе, все еще оставалась Ася, и Лиза отправилась к дочери, чтобы затем тайно пробраться в Польшу и предать там земле сердце Красоцкого.

После бурлящей Франции соседняя Швейцария произвела на Лизу раздражающее впечатление застойного пруда, в котором резвятся жирные рыбы и головастики. Ничто не могло пробиться сквозь сонное довольство фермеров и мелких буржуа.

Лизе было уже около пятидесяти лет. До отъезда во Францию, несколько месяцев назад, она выглядела молодой женщиной, особенно когда оживлялась в обществе и беседе.

Привыкнув к своей внешности, человек редко отдает себе отчет в происходящих изменениях. И только глазами дочери Красоцкая увидела себя такой, какой стала, пережив Коммуну, мужа, друзей. Ася смотрела на мать, приоткрыв жалобно губы, гримасничая, чтобы не расплакаться.

— Я очень изменилась, не правда ли,— допытывалась Лиза и умолкла, так и не получив ответа.

И вдруг она поняла, что перешагнула какую-то черту и незаметно для себя вошла в старость.

Голова Лизы стала седой, и морщины густой сеткой легли на посеревших веках и лбу. Тяжелые, скорбные линии соединили крылья носа с подбородком. И, как увядший стебель, высохла тонкая шея. С недоумением разглядывала себя в зеркале Лиза. Непоправимое произошло. Так дерево, еще недавно покрывавшееся листвой, стоит оголенное, почерневшее, как бы сожженное временем. Лизе стало не по себе. Она всегда так любила все прекрасное на свете. Собственная старость показалась ей уродливой, отталкивающей. Нелегко принять ее покорно, разумно. Но перед Лизой чередой прошли воспоминания недавнего прошлого: простреленная голова Варлена с седыми, слипшимися от крови волосами, мертвое сердце Красоцкого, похожее на увядшие бурые листья клена, дроги с гробами коммунаров. Лизе показалось святотатством, позором огорчаться оттого, что щеки ее стали дряблыми, а глаза запали. Она осталась жива. Для чего? Какую миссию надлежало ей выполнить? Тысячи убитых безвинно людей взывали к ней: помни о нас, живи, борись, неси окровавленное знамя Коммуны, которое пы-

тался растоптать тиран! И Лиза почувствовала, что дух ее не сломлен. Ей нечего было бояться того, что так пугает в преклонном возрасте,— одиночества и бесполезного существования. Она была нужна людям и сохранила в огне нетронутой душу. Уверенно и спокойно пошла Лиза дальше по тернистым дорогам жизни, зная куда и зачем.

Жаклары, благополучно перейдя границу, добрались вскоре до Швейцарии и поселились в Берне. То, что раздражало Лизу,— безмятежный и сытый покой,— пришлось весьма по сердцу этим истомленным беженцам Коммуны. Пережитое заметно отразилось на Анне и ее муже. Оба они были крайне подавлены, тем более что приходилось с большим трудом добывать средства на жизнь, давая уроки и занимаясь переводами. Неуравновешенный, легко раздражающийся Жаклар стремился к тому, чтобы скорее закончить медицинское образование и стать врачом. Он проводил все свободное время в анатомическом театре и над учебниками. Лиза почувствовала, что прежней дружбы с Жакларами больше нет.

— Эти семьдесят два дня выпотрошили меня,— откровенно призналась Анна,— революция всегда огонь, и не сгореть на ее огне, очевидно, невозможно.

— А не думаешь ли ты, что она солнце? — загадочно возразила Лиза.

— В таком случае я хочу быть теперь в тени.

— Бедная девочка, как же ты, однако, устала.

Тем не менее Анна Васильевна не изменила своим прежним взглядам. В письме Карлу Марксу Анна Васильевна сообщает, что не может послать ему сделанный ею перевод на французский язык отдельных частей «Капитала», так как единственный экземпляр, который у нее был, попал в руки версальской полиции.

Ненадолго задержавшись и отдохнув на Женевском озере, Лиза вместе с дочерью под чужим паспортом пробралась в Люблин. Россия подавила ее озверелым натиском реакции.

«Сокрушить, раздавить, уничтожить!» — вопил Катков, призывая расправляться с каждым заподозренным в симпатии к коммунарам.

Его газета «Московские ведомости» объявляла деятелей Коммуны бонапартистскими платными агентами, а

трагедию семидесяти двух дней делом рук Бисмарка, стремившегося вернуть трон Луи Бонапарту.

Как яркая звезда на черном небосклоне, засверкали стихи Некрасова, посвященные коммунарам. Лиза выучила их наизусть и, повторяя, не могла удержать слез.

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.

Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!

Предав родной земле сердце Красоцкого и поклонившись праху его родителей, Лиза с дочерью поспешили в Англию.

Имя Карла Маркса стало известно всему миру. Одни произносили его с любовью и почтительностью, другие со страхом и ненавистью. Маркс олицетворял отныне идеи Интернационала. Грозный всесильный призрак коммунизма, о котором возгласил великий «Манифест», обрел в Парижском восстании плоть и кровь.

Осенью 1871 года III Отделение в Петербурге получило донесение из Лондона, что в Россию с злонамеренной целью, под чужим паспортом, едет Карл Маркс. Известие это всколыхнуло жандармов. Многочисленные шифрованные депеши предписывали обнаружить и поймать Маркса тотчас же после его появления в России. На пограничных станциях сновали шпики, нагло заглядывая в лица всех бородатых иностранцев. И вот из Одессы в Петербург сообщили, что в порту задержан наконец сам вождь мирового рабочего движения. Но радость жандармерии была непродолжительной. Арестованный оказался немецким коммерсантом, носившим фамилию Маркс и принявшим к тому же английское подданство. Чтобы подобные неприятные недоразумения более не имели места, управля-

ющий III Отделением разослал подчиненным добытый в Лондоне и размноженный портрет Карла Маркса. Вскоре в поезде, близ западной границы, был схвачен бородатый седовласый англичанин, похожий на Карла Маркса. Случай этот вызвал было дипломатический протест, но, несмотря на возмущение пострадавшего, с согласия Великобритании был тотчас же замят.

Все возрастающая известность Маркса привлекла к нему многочисленных журналистов из разных стран. Летом 1871 года Маркса и одного из его соратников посетил корреспондент нью-йоркской газеты «Мир» Р. Ландор. Спустя несколько дней репортер сообщил за океан о своих впечатлениях от встречи с портным Эккариусом и Карлом Марксом.

«Вы поручили мне собрать кое-какие сведения о Международном Товариществе Рабочих,— писал Ландор в редакцию своей газеты,— я и попытался исполнить Вашу просьбу. Эта задача в настоящий момент нелегка. Лондон, бесспорно, является штаб-квартирой Товарищества, но англичане слишком напуганы, и им повсюду мерещится Интернационал, как королю Якову везде мерещился порох после знаменитого заговора. Осторожность Товарищества, конечно, усилилась вместе с подозрительностью публики; и если у его руководителей есть секреты, то эти руководители именно такие люди, которые умеют держать секреты про себя. Я посетил двух наиболее видных членов их Совета и с одним из них имел непринужденную беседу, содержание которой излагаю ниже... Первый из тех двух деятелей, которых я посетил, видный член Генерального Совета, сидел за своим верстаком и должен был то и дело отрываться от беседы со мной, чтобы отвечать на не очень вежливые замечания хозяйчика (одного из многочисленных в этой части города хозяйчиков), на которого он работал. Я слышал, как этот же человек произносил на публичных собраниях прекрасные речи, проникнутые в каждом слове страстной ненавистью к классу людей, называющих себя его господами. Он, наверное, сознает себя достаточно развитым и способным, чтобы организовать рабочее правительство, а вынужден заниматься всю свою жизнь самым возмутительным подневольным трудом, чисто механическим. Он горд и самолюбив, а между тем на каждом шагу он должен отвечать поклоном на ворчанье и улыбкой на приказ, отдаваемый приблизи-

тельно с такой же степенью учтивости, с какой охотник окликает свою собаку. Этот человек помог мне уловить одну сторону Интернационала: протест *труда против капитала*, протест рабочего, который производит, против буржуа, который наслаждается.

Тут я увидел руку, которая ударит очень больно, когда настанет пора, а что касается головы, которая мыслит, то мне кажется, что ее я увидел тоже — во время моей беседы с доктором Карлом Марксом.

Мы сидели друг против друга; да, я был наедине с воплощением революции, с подлинным основателем и вдохновителем Интернационала, с автором «Манифеста», в котором капиталу было заявлено, что если он воюет с трудом, то он должен быть готов к гибели,— словом, передо мной сидел защитник Парижской коммуны...»

Во время встречи Маркс долго беседовал с Ландором. Войдя, он приветливо поздоровался с американцем. Они обменялись пытливыми взглядами.

— Что привело вас ко мне? — спросил Маркс.

— Мир, как видно, плохо представляет себе, что такое Интернационал,— сказал Ландор.— К нему питают сильную ненависть, но вряд ли сумели бы объяснить, что именно ненавидят. Некоторые люди, считающие, что сумели глубже других проникнуть в тайну Интернационала, утверждают, что это своего рода двуликий Янус, с честной и доброй улыбкой рабочего на одном лице и с усмешкой злодея-заговорщика на другом. Я попрошу вас,— в упор поставил вопрос корреспондент,— пролить свет на тайну, раскрыть которую бессильны подобные теории.

Маркса развеселила мысль, что буржуа так боятся международного общества рабочих, и он ответил журналисту с улыбкой:

— Тут нет никакой тайны, милостивый государь, разве только тайна глупости людей, которые упорно игнорируют тот факт, что наше Товарищество действует открыто и что подробнейшие отчеты о его деятельности печатаются для всех, кто пожелает их прочесть. Вы можете купить наш Устав за пенни, а за шиллинг вы будете иметь брошюры, из которых узнáете о нас почти все, что знаем мы сами.

Ландор был высокий, поджарый человек с ярко-розовой лысиной. Услыхав слово «почти», он хлопнул себя по острому колену и загоготал.

— «Почти» — это весьма возможно; но не будет ли в том, чего я не узнаю, заключаться самое важное? Буду вполне откровенен с вами и поставлю вопрос так, как он представляется постороннему наблюдателю: не свидетельствует ли это всеобщее недоброжелательное отношение к вашей организации о чем-то большем, чем невежественная злоба толпы? И не позволите ли вы спросить вас еще раз, несмотря на сказанное вами, что такое Интернационал?

— Вам достаточно взглянуть на людей, из которых оп состоит,— на рабочих,— отпарировал Маркс.

Ландор продолжал настаивать.

— Да, но солдат не всегда показателен для того правительства, которое им распоряжается. Я знаю некоторых из ваших членов и вполне допускаю, что они не из того теста, из которого делаются заговорщики. К тому же тайна, которая известна миллиону человек, вовсе не была бы тайной. Но что, если эти люди только орудия в руках какой-нибудь смелой и — вы, надеюсь, простите меня, если я добавлю,— не слишком разборчивой в средствах коллегии?

— Ничто не доказывает, что это так,— возразил Маркс.

— А последнее восстание в Париже?

— Во-первых, я попрошу вас доказать, что тут был вообще какой-нибудь заговор, что все происшедшее не было закономерным следствием сложившихся обстоятельств. А если исходить из существования заговора, то чем может быть доказано участие в нем Международного Товарищества?

Ландор отложил тетрадь, в которую быстро записывал ответы Маркса, и откинулся в кресле.

— Наличием многочисленных членов Товарищества в органах Коммуны,— сказал он, испытующе и нагло глядя в лицо собеседника.

Маркс закурил и принялся ходить по кабинету, отвечая на вопросы Ландора.

— Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа. Наиболее способные рабочие неизбежно должны были стать его вождями и организаторами; но наиболее способные рабочие обычно являются в то же время и членами Международного Товарищества. Однако Товари-

щество, как таковое, нельзя делать ответственным за их действия.

Ландор скривил рот в улыбке.

— Мир смотрит на это иначе,— сказал он многозначительно. — Люди толкуют о тайных инструкциях из Лондона и даже о денежной поддержке. Можно ли утверждать, что открытый характер деятельности Товарищества, на который вы сослались, исключает возможность всяких тайных сношений?

— Возникала ли когда-нибудь организация,— смело заявил Маркс,— которая вела бы свою работу без использования как негласных, так и гласных средств связи? Но говорить о тайных инструкциях из Лондона, как о декретах в вопросах веры и морали, исходящих из какого-то центра папского владычества и интриг,— значит совершенно не понимать сущности Интернационала. Для этого потребовалось бы централизованное правительство в Интернационале; в действительности же форма его организации предоставляет как раз наибольшую свободу местной самодеятельности и независимости. В самом деле, Интернационал вовсе не является собственно правительством рабочего класса; он представляет собой скорее объединение, чем командующую силу.

— Объединение с какой целью? — бросил американец, снова оторвавшись от записи.

— С целью экономического освобождения рабочего класса посредством завоевания политической власти; с целью использования этой политической власти для осуществления социальных задач. Наши цели должны быть настолько широкими, чтобы включать в себя все формы деятельности рабочего класса. Придать им специальный характер значило бы приспособить их к потребностям только одной какой-нибудь группы рабочих, к нуждам рабочих одной какой-нибудь нации. Но как можно призвать всех людей к объединению в интересах немногих? Если бы наше Товарищество вступило на этот путь, оно потеряло бы право называться Интернационалом. Товарищество не предписывает определенную форму политических движений; оно только требует, чтобы эти движения были направлены к одной цели. Оно представляет собой сеть объединенных обществ, раскинутую по всему миру труда. В каждой части света наша задача представляется с какой-либо особой стороны, и рабочие там подхо-

дят к ее выполнению своим собственным путем. Организации рабочих не могут быть совершенно одинаковыми во всех деталях в Ньюкасле и Барселоне, в Лондоне и Берлине. В Англии, например, перед рабочим классом открыт путь проявить свою политическую мощь. Восстание было бы безумием там, где мирная агитация привела бы к цели более быстрым и верным путем. Во Франции множество репрессивных законов и смертельный антагонизм между классами делают, по-видимому, неизбежным насильственную развязку социальной войны. Но выбрать, каким способом добиться развязки, должен сам рабочий класс этой страны. Интернационал не берется диктовать что-нибудь в этом вопросе и вряд ли будет даже советовать. Но к каждому движению он проявляет свое сочувствие и оказывает свою помощь в рамках, установленных его собственными законами.

Маркс терпеливо, подробно рассказал заокеанскому корреспонденту о многообразной помощи бастующим рабочим разных стран, о началах солидарности трудящихся, о деятельности профсоюзов, обществ взаимопомощи, кооперативной торговле и кооперативном производстве. Он сообщил о том, как расширяется влияние Интернационала в Европе. Две газеты пропагандировали взгляды Международного Товарищества Рабочих в Испании, три — в Германии, столько же — в Австрии и Голландии, шесть — в Бельгии и столько же в Швейцарии.

— А теперь,— закончил Маркс, усаживаясь против Ландора и протянув ему сигару,— когда я рассказал вам, что такое Интернационал, вы, пожалуй, сумеете сами составить себе мнение о его мнимых заговорах.

Наступило короткое молчание. По комнате плыл сизый дым сигар.

— А Мадзини тоже член вашей организации?— с любопытством и возрастающим интересом спросил Ландор.

— О нет! — весело рассмеялся Маркс. — Наши успехи были бы не очень-то велики, если бы мы не пошли дальше его идей.

— Вы меня удивляете. Я был уверен, что он является представителем самых передовых взглядов.

— Он представляет всего-навсего старую идею буржуазной республики. Мы же не хотим иметь ничего общего с буржуазией. Мадзини отстал от современного движения не меньше, чем немецкие профессора, которые, однако, до

сих пор считаются в Европе апостолами развитой демократии будущего. Они были таковыми когда-то, может быть до тысяча восемьсот сорок восьмого года, когда немецкая буржуазия, в английском понимании этого слова, едва достигла своего собственного развития. Но теперь эти профессора перешли целиком на сторону реакции, и пролетариат больше не желает их знать...

— Что вы скажете о Соединенных Штатах? — настойчиво спросил Ландор, видя, что Маркс намерен закончить беседу.

— Основные центры нашей деятельности находятся сейчас в старых европейских странах. Многие обстоятельства позволяли до сих пор думать, что рабочий вопрос не приобретет такого всепоглощающего значения в Соединенных Штатах. Но эти обстоятельства быстро исчезают, и рабочий вопрос быстро выдвигается там на первый план вместе с ростом, как и в Европе, рабочего класса, отличного от остальных слоев общества и отделенного от капитала.

Задав еще несколько второстепенных вопросов, Ландор шумно поблагодарил Маркса и долго тряс его руку, приглашая посетить далекую Америку.

Когда Ландор ушел, Маркс вышел из кабинета и спустился по лестнице в столовую. Модена-вилла была битком набита беженцами-коммунарами. Женнихен и Элеонора уступили им свои комнаты и переселились к Ленхен, гостиная в первом этаже напоминала наспех сооруженную палату госпиталя. Так как в доме не хватало кроватей и диванов, Женни сдвинула несколько стульев и, покрыв их матрасами и одеялами, создала ложе. Ленхен едва успевала стряпать для многочисленных обитателей дома. Все кастрюли и сковороды пошли в дело. На Риджентс-стрит творилось то же самое, и Лиззи сбилась с ног, стремясь накормить, подлечить и одеть глубоко потрясенных пережитым людей.

Когда Карл вошел, Женни и ее дочери раскладывали покупки, сделанные на собранные деньги для изгнанников. У большинства не было сменного белья, верхней одежды, обуви. Маркс и его жена роздали все, что нашли в своем гардеробе. Коммунары и их семьи, среди которых были старики и дети, крайне нуждались в лечении и помощи. Ленхен приготовляла настои из липового цвета с лимоном и медом и поила занедуживших.

— Мы сможем сегодня же обуть наших постояльцев,— сказала Женни.— Для детворы мы достали удобные сандалии. Я вызвала врача: у маленькой Кло жар. Лишь бы не было скарлатины. Лесснер подыскал работу для двух портных и одного плотника в мастерской на Бэкер-стрит. Не правда ли, это хорошие новости?

— Да, дорогая!

— Ты, верно, изрядно устал, Мавр, отбивать словесные мячи этого клещеобразного янки?

— Разговор оказался значительнее, нежели я предполагал. Если он не переврет того, что я ему продиктовал, читатели смогут получить некоторое подлинное представление о том, что же такое Интернационал.

— Да, буржуазные газеты только то и делают, что истязают своих подписчиков ужасами, порожденными бредовым воображением.

— Но больше всего красной и черной краски тратят эти мазилы, чтобы нарисовать дьявольский портрет доктора Маркса, неистового вождя Интернационала и вдохновителя Коммуны,— сказала Женнихен, прислушавшись к разговору родителей.

В комнату вошли три коммунара, чудом спасшиеся от смерти благодаря самоотверженности товарищей. Их появление было встречено громкими изъявлениями радости. Один, постарше, худощавый высокий брюнет с продолговатым смуглым лицом, с глазами, напоминавшими своей формой желуди, бородкой «под Генриха IV» и узкими стрельчатыми усами, мало походил на француза, каким был на самом деле. Он казался уроженцем Южной Испании, сошедшим с портретов знатных грандов кисти Веласкеса. Его звали Шарль Лонге. Он был журналистом и принимал видное участие в Парижской коммуне. И до этого, со времен студенчества, он боролся с цезаристским режимом. С ним вместе пришли Валерий Врублевский и Лео Франкель. Поляк значительно постарел с того дня, как похоронил Катрину. На усталом лице резче выделялись оспенные рябины, и в углах губ образовались новые складки. Но по-прежнему уверенно и бодро откидывал он назад мужественную голову, и непреклонная воля была во взоре. Женни Маркс с особым интересом и благожелательностью отнеслась к польскому революционеру. В течение нескольких часов говорили они о Коммуне и ее защитниках.

— Мы слыхали, господин Врублевский,— сказала Женни,— что суд тьеровских палачей во Франции приговорил вас теперь к смертной казни.

— Да, но заочно, госпожа Маркс,— слегка усмехнулся Врублевский.

Женни спросила его о судьбе Луизы Мишель.

— Эта женщина делает честь Франции. Она подлинная народная героиня. Луиза Мишель знала о грозившей ей смертельной опасности, но она ни за что не захотела покинуть баррикаду и оставалась на ней как храбрый капитан на тонущем корабле. Теперь в лучшем случае ее ожидает вечная каторга — Новая Каледония.

— Значит, ей готовят сухую гильотину? Бесстрашие ее не знает примера среди современных женщин. Выдержит ли она и это испытание?

— Будем надеяться на ее железную волю.

Женни была потрясена строгим, простым и вместе глубоким рассказом Врублевского. Он внушил ей симпатию и уважение.

Маркс внимательно приглядывался к Лео Франкелю, который был любимцем парижских трудящихся, избравших его первым из иностранцев в члены Коммуны. Для этого было вынесено особое постановление, гласившее: «Принимая во внимание, что знамя Коммуны есть знамя Всемирной Республики... иностранцы могут допускаться в Коммуну». Шарль Лонге был близко знаком с Франкелем еще со времен Второй империи. Что-то очень располагающее было в бесхитростном, прямом и вдумчивом взгляде больших, немного выпуклых, черных глаз молодого венгра. Чем больше Маркс постигал его манеру говорить и вести себя с людьми, отражавшую истинную скромность, ум, чуткость и повышенную впечатлительность, тем дружелюбнее относился к этому деятелю Коммуны.

— Кстати, я получил забавное письмо от Лафарга,— сказал Маркс.— Он передает сенсационное сообщение испанских и французских газет. Прослушайте эту басню: «Прокурор Республики арестовал в Фосе трех братьев Карла Маркса, вождя Интернационала, и его зятя Поля Л...» Историю трех «братьев» Маркса вам лучше знать, чем мне, потому что, когда их арестовали, я был уже на пути в горы, на вершине которых — «вдыхают воздух чистой воли», как поется в песне».

— У вас действительно есть братья во Франции? — поинтересовался Врублевский.

— У меня вообще нет ни одного родного брата в живых,— ответил Маркс.

В сумерки мужчины поднялись в кабинет хозяина дома. Маркс с наслаждением затянулся сигарой. Врублевский набил табаком свою трубку, а Лонге, отказавшись курить, подошел к окну. В саду он увидел Женнихен. С лейкой в руке она шла к своей теплице.

Валерий Врублевский внезапно достал из кармана изрядно потрепанного пиджака мятый исписанный лист бумаги и протянул его Марксу. Тот внимательно прочел раз, другой и сказал, заметно пораженный:

— Но ведь это превосходно. Я слыхал про Эжена Потье, но не предполагал, что он может написать столь мощные строки. Нам очень не хватало такого, из сердца вылившегося, гимна. Прошу вас, прочтите мне эти стихи вслух.

И в рабочей комнате Маркса зазвучал «Интернационал».

Вставай, проклятьем заклейменный...

Врублевский обычно мастерски декламировал стихи, но в этот раз голос чтеца дрогнул, надломился.

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Преодолев волнение, Врублевский закончил чтение «Интернационала». Наступила тишина. Маркс курил и сосредоточенно размышлял, нахмурив брови.

— На развалинах великой Парижской коммуны раздался этот полный уверенности в конечной победе призыв,— сказал он.— Замечательный памятник коммунарам.

Маркс погасил сигару и попросил Врублевского повторить рефрен.

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Глава третья

БЕССМЕРТИЕ

Привычка двигаться и менять местожительство вошла в обиход англичан, как традиционная воскресная молитва. Мир в их сознании был не более недоступен, нежели окрестности Лондона. Палестина — такое же знакомое, досягаемое место рождественского отдыха, как и британская колония Цейлон. И если выбор богачей падал на фешенебельную французскую Ривьеру, то только потому, что они подчас уставали от собственных владений, от одинаковой скуки английских отелей, от лицемерия своей морали и тупости этикета, от копии лондонского быта, воспроизводимого в иных широтах.

Несмотря на то что во всех дальних землях, помеченных «Британская империя», завоеватели имели привычный комфорт, пищу и распорядок дней, сами они неизменно меняли там свой облик.

Капитализм творит своеобразных оборотней.

Поверхностному взгляду не распознать в радушном английском лендлорде, отдыхающем в своем поместье или на взморье, охочем до собак, до детских шалостей, до старинных плясок и пиров, до сентиментального чтения у камина, наглого плантатора в Сингапуре, грозы туземцев. На родине он осторожен в своих отношениях с фермерами и умеет находить извилистые пути к сердцу своих наемных рабочих. Колониальная пробковая шляпа, маленький, невидимый в широком кармане светлых брюк пистолет, стек, несгибающиеся краги, сетка против моски-

тов тщательно сложены вместе с господским беспредельным чванством и зверством в чемодан.

Отлично замаскированный, переполненный до краев верой и библейскими изречениями, полковник приехал в Лондон из Индии, где стяжал мрачную славу в одной из пограничных крепостей. Он привез в Англию трофеи: шкуры леопардов и тигров, уничтоженных в джунглях. Трупы повстанцев-индусов, расстрелянных по его приказанию, остались на их родине. Его невеста восемь лет терпеливо ждала смерти тетки, без наследства которой брак казался невозможным. За истекшие годы она, поседев, начала красить волосы и купила на выплату домик для той счастливой поры, когда ее жених выйдет в отставку. А покуда полковник, благодаря молодой индуске — прислуге-наложнице, был терпелив и исполнен эпистолярной нежности. Тетка умерла, и начальник крепости индо-афганской границы прибыл в столицу. Он сошел на берег смиренным сыном церкви и проводил дни в богословских спорах, рассылке родственникам сентиментальных писем и разговорах о политике за сигарой и кофе в своем клубе.

Маркс изучил не только историю и экономику Англии, но и ее обитателей. С интересом читал он английские газеты, изобиловавшие сообщениями о возвышении и падении людей разного достатка и среды.

Судебные процессы — верное зеркало общественного строя. В них с безжалостной точностью воспроизводятся все уродливые отклонения, искалеченность быта, неодолимая тяжесть насильно надетых, мертвящих, ржавых кандалов буржуазной морали и права, многообразные последствия неравенства, изъязвленное бедностью, голодом человеческое сознание, непроходимые закоулки и тупики больной души.

Маркс наблюдал за тем, как экономический кризис порождал многочисленные метаморфозы в судьбах крупных буржуа, ростовщиков и банкиров.

Некогда английский высший свет был потрясен преступлением и последовавшей за этим казнью молодого очаровательного денди, богача Генри Фоунтлероя. Карты, любовные истории, шокировавшие пуританский Лондон, праздная роскошь, разорительные пирушки и сумасбродства довели английского богача до подлога векселей. Генри Фоунтлерой был крупным банкиром, любителем

смелой игры, пользовавшимся полным доверием денежных тузов из «Банк оф Инглянд», твердыни и могущественного господина Великобритании. Но Фоунтлерой посмел обмануть всесильный банк и, вопреки отчаянным стараниям его аристократических друзей, страстным мольбам его поклонниц и родни, предлагавшей любой выкуп, «банкирский цех» казнил своего преступного собрата. Виселица стерла пятно с «чистейшего и благороднейшего сословия» ростовщиков, вроде Ротшильдов, разбогатевших на разрухе, последовавшей вслед за смелыми авантюрами Наполеона.

Подобное же преступление вновь привлекло внимание Великобритании во время экономического кризиса в семидесятых годах. Некий банкир пустил в обращение подложные векселя. Он явился в Лондон уже миллионером и энергично взялся за выправление доселе сомнительной биографии, бросая щедрые пожертвования сиротским приютам, обществам защиты животных и многочисленным богадельням и госпиталям, во главе которых находились коронованные или высокотитулованные персоны. Подкупленные газеты наперебой восхваляли неизвестно откуда взявшегося благодетеля бедных, знатока искусств, расточительного и роскошествующего, как магараджа. Банкир попытался, и опять не без успеха, сблизиться с английской знатью с помощью пиров и одариваний. Аристократы, обзывавшие мультимиллионера «плебеем», не могли, однако, устоять перед желанием посмотреть разрекламированный новый банкирский дворец. Такому дому мог позавидовать любой герцог. Это была подлинная диковинка, вмещающая бассейн, султанские гаремы, греческие дворики, римские террасы, японский садик, зал для гимнастики и американские ванны с постоянно проточной водой.

Англичане, не привыкшие к подобному размаху, сдались, не устояв перед соблазном, и банкир легко выиграл игру — втерся в дома аристократов.

После постройки дворца он пошел на приступ «Банк оф Инглянд», и его финансовый гений после долгой осады покорил недоверие потомственных банкиров. Как некогда Фоунтлерой, он стал их доверенным лицом и одним из хозяев Сити. Он богател с невероятной быстротой, так как был дельцом новой формации, в противовес англий-

ским финансистам с их устарелым опытом, тормозящими традициями и чрезмерной осторожностью, перенятой от прежних поколений. Его агенты играли на биржах всего мира.

«Гонись за миллионом, а не за грошом» — было девизом этого банкирского дома. Он субсидировал аргентинских генералов, помогал корсиканским бандитам, снабжал оружием турок, находя в каждом деле ту или иную выгоду. Великий «Банк оф Инглянд» уважал его звериную хватку, прозорливость и решительность.

Учитывая все: войны, революции, неурожаи и векселя, он не учел только одного — кризиса. Экономическая катастрофа неожиданно подорвала могущество банкира. Он пытался спастись, бросив новые средства взамен потерянных в обанкротившихся предприятиях, и для этого решился подделать векселя.

Подобно кассиру магазина, судившемуся в соседней камере, банкир пошел на подлог, надеясь тотчас же, удачно использовав деньги, вернуть их и тем свести на нет первоначальное преступление. Но кассир проигрывал на скачках, а финансист — на колебании мировых цен. Оба опять и опять пробовали играть, добывая для этого деньги с помощью подлогов. Но и магазин, и английский банк внезапно обнаружили страшную пробоину. Кассир и банкир сели на скамью подсудимых одновременно. Разница была лишь в том, что кража кассира вызвала у его потрясенной жены преждевременные роды, кража финансиста привела к самоубийству трех других банкиров, к краху десятка предприятий. Несколько сот тысяч человек в Европе остались без работы, без куска хлеба, без крова, без будущего.

Своеобразное землетрясение — падение банка — отозвалось во всем мире, и прежде всего в Англии, катастрофическими толчками, взрывами, сопровождавшимися гибелью людей. Началась паника на бирже. Кризис углублялся. Дело Генри Фоунтлероя казалось теперь лишь злой проделкой испорченного ребенка. В начале века мир являл совсем иную картину...

Банкир не был казнен. «Банк оф Инглянд» не мог, да и не старался смыть позор с банкирского звания.

Пестрый, кичливый дворец финансиста продавался с молотка, но не нашел покупателя.

Кризис!

Аристократические имена не переставали украшать судебные отчеты. Баронесса, попавшая на скамью подсудимых, настойчиво причисляла себя к пострадавшим от экономической депрессии. Так ураган, выкорчевывая дубы, пригибает и ковыль. Разойдясь с мужем, баронесса открыла фешенебельный магазин дамских платьев, в котором работал многочисленный штат портних и продавщиц. Она получала доходы и была довольна. Но в последнее время богатые дамы ввели моду на умеренность и экономию, и баронесса, потеряв прежних клиенток, перестала получать постоянную прибыль. Она обсчитала большую часть модисток и примерщиц, но, когда и это не помогло, попыталась вывернуться с помощью великого мошенничества.

Судебный процесс и тюрьма клеймили доброе имя всей семьи преступника. Этот предрассудок часто являлся подстрекателем к новому преступлению и длительным трагедиям. Семья изгоняла своего «поскользнувшегося» члена, и Канада, Австралия, Индия или дальние острова были ему единственным пристанищем после отбытого наказания. Живых выдавали за мертвых. Сестре судившегося грозило вечное девичество, братьям — потеря службы, родителям — презрение и бойкот всего квартала. Изгнание из своей среды было неизбежностью и для аристократа и для лавочника, с той разницей, пожалуй, что мщение лавочников бывало наиболее жестоким и продолжительным.

Лорд Ильсент предстал перед английской юстицией и тем покрыл несмываемой грязью герб своих предков, служивших, по преданию, самому Вильгельму Завоевателю. Лорд Ильсент всю жизнь упорно продолжал родовую традицию бравых рыцарей, которые, кроме титула, не позабыли обзавестись в походах и богатством, умело пополняемым потомками.

Вместо разбойных походов ради покорения земель английская аристократия принялась наживаться более утонченным образом. Рабовладельцы стали рабонанимателями. Лорд Ильсент предпочитал работу с деньгами и акциями — они казались ему наиболее надежными и к тому же бессмертными.

Пароходная компания лорда Ильсента жестоко пострадала от экономического шторма. Пассажиров и грузов

стало на треть меньше. Пришлось поставить на прикол несколько океанских судов.

В кассе лорда Ильсента оказалась роковая брешь. Огласить это, позвать на помощь — значило капитулировать. Ильсент попытался остановить катастрофу подлогом. Он скрыл от своих акционеров потери и опубликовал ложные цифры. Двенадцать месяцев тюрьмы должны были научить неудачливого представителя славного рода коммерческой игре без шулерства. Вряд ли, однако, это смогло помочь разорившимся доверчивым покупателям дутых акций.

Суд — машина, все части которой не уступали по качеству самой высокосортной шеффилдской стали,— великолепно охранял священные привилегии голубой крови и богатства, автоматически разрубая на мелкие куски безумцев и несчастных, пытающихся восстать против него.

В доках и рабочих городах несчастье слишком частый посетитель, а суд слишком откровенный враг.

Маркс, юрист, отлично разбирался в английском законодательстве и праве. Средневековый ритуал, по его мнению, должен был импонировать бриттам своей многосотлетней неизменностью. Но за этой уловкой не могли укрыться лицемерное классовое пристрастие, продажность, заплесневелый опыт прошлых веков, трусливая кровожадность работорговцев, владельцев рыцарских замков, ростовщиков, заседающих в банках, всех тех, кто господствовал в веселой старой Англии.

Пристально изучали Маркс и Энгельс нарождающийся тип рабочих, которые выслуживались перед капиталистами, получая от них подачки деньгами и даже титулами.

В вест-индских доках Маркс обратил однажды внимание на грязный клочок, оставшийся от объявления, прибитого к одной из потрескавшихся стен. Ветер изгрыз бумагу, осталась только подпись руководителя тред-юниона транспортных рабочих Бен-Доллета, хорошо известного в припортовых кварталах. В прошлом он был грузчиком, затем механиком в лондонском порту. Теперь, однако, ничто в этом разжиревшем, лоснящемся старике не изобличало его прошлого. Ничто, кроме обезображенной руки, лишенной нескольких пальцев, которую, как орден, он показывал на выборных рабочих собраниях и стыдливо прятал на банкетах либеральствующих зажиточных буржуа и правительственных чиновников.

Пальцы Бен-Доллета погибли под непосильно тяжелым, уроненным им ящиком в лондонском доке.

Бывший грузчик стал старательным надсмотрщиком над своими прежними товарищами, влиятельным членом парламента и пэром ее величества. Он поселился в большом собственном каменном коттедже и разъезжал в фаэтоне, запряженном двумя откормленными конями. Его сын учился в Кембридже и женился на дочери купца из Сити.

Молодой Джек Бен-Доллет был также политическим деятелем и рассчитывал значительно опередить отца. К нему благоволил премьер-министр Гладстон, в канцелярии которого он служил, а это была верная гарантия преуспеяния.

Людей, подобных Бен-Доллету, становилось в Англии все больше среди рабочего класса, и, хотя они все же исчислялись десятками, вред их был велик, а пример растлевающ.

Лиза Красоцкая познакомилась с леди Бен-Доллет на благотворительном вечере в пользу родильных домов для одиноких женщин. Жена пэра, тщательно скрывающая, что в давно прошедшей молодости работала швеей в мастерской на Бонд-стрит, была преисполненной самодовольства пожилой женщиной, примечательной лишь тем, что два ее больших и бездумных глаза были различного цвета — один светло-голубой, а другой темно-коричневый. Она развлекалась филантропической деятельностью. Любимой темой разговора леди Бен-Доллет были придворные сплетни, которые она неутомимо собирала. Так как Лиза была не титулована и уже не очень богата — деньги ее ушли на многие общественные цели в Америке и в Европе,— леди Бен-Доллет уделила ей немного внимания, но зато ее сын Джек не скрыл своей заинтересованности семнадцатилетней Асей. Юная девушка вполне соответствовала данному ей в швейцарском пансионе прозвищу «ртуть». Все в ней было в постоянном движении: озорные серые, со стальным отливом глаза, румяные губы, ямочки на щеках, узкие красивые руки. Худенькая, стройная и гибкая, она не могла усидеть на месте и заражала окружающих желанием двигаться.

Джек Бен-Доллет был тучный флегматичный человек с волосами прилизанными и лоснящимися, как у новорож-

денного щенка. В выражении его лица было что-то угодливое, слащавое.

Спустя несколько недель после знакомства Красоцких с Бен-Доллетами девушка сообщила матери, что решила выйти замуж за Джека.

— Но позволь, дарлинг,— крайне удивилась Лиза,— он ведь женат.

— Это не помеха для истинной любви. Бен-Доллет получит развод. Он мне сказал об этом, когда сделал предложение.

Лиза помрачнела.

— Подумала ли ты о его двух детях? Вторгнуться в чужое гнездо и пытаться разрушить его — это гадко!

— Ты рассуждаешь старомодно, мама, Джек ведь любит меня. Я заставила его признаться в этом.

— Но кто дал тебе право строить счастье на несчастье других? Впрочем, ты почти ребенок, и все это только блажь. Я прожила долгую жизнь и убедилась, что сознание причиненного кому-нибудь горя, проклятия и слезы, пролитые по нашей вине, всегда омрачают жизнь. Бойся их. Разве не будут казнить тебя всегда глаза оставшихся без отца детей?

— Право, мамочка, ты очень странная. Ты мучишь одним своим укоризненным взглядом. Но если я откажусь от Джека, то никогда уже не полюблю никого другого и, значит, останусь старой девой.

— Тебе только семнадцать лет, девочка. Много будет еще впереди и увлечений и разочарований, прежде чем встретится настоящая любовь,— убеждала Лиза готовую расплакаться Асю.— Не совершай непоправимых ошибок и наберись терпения,— нет на земле человека, который не встретил бы того, кого ищет. Зачем тебе с юности муть и грязь в чистейшем таинстве брака? Я, право, не ханжа и не настаиваю на нерасторжимости супружеских союзов. Но у жизни есть свои неписаные законы. Только неотвратимое роковое чувство дает нам право на большие жертвы, а этого у тебя нет. Интриги, развод, брошенные дети, чьи-то страдания, только из-за страха остаться одной,— чрезмерный груз. Пожалей себя, наконец. Да и какая будет у вас с Джеком тогда любовь? Ведь чувства должны быть чистыми, как бы пронизанными лучами солнца.

— Раз так, то я уеду с Джеком в Канаду. Он давно хочет покинуть Англию. Я знаю, что ты родила меня до

того, как вышла замуж за папу Сига. Значит, я дочь незамужней женщины. Мне все рассказала няня Пэгги. Признайся: кто был моим отцом?

Лиза оторопела. Никогда Ася не спрашивала ее о своем происхождении. Девушка не знала, что родная мать ее умерла и она взята десятидневным ребенком из родильного дома «Помощь королевы Шарлотты» и удочерена Лизой. Сейчас молчание приемной матери Ася поняла превратно.

— Ты молчишь, потому что отец мой был женатым человеком и вы не могли обвенчаться. Не так ли?

Лиза опустила голову. Как быть? Рассказать Асе правду или оставить ее в двойном заблуждении? Но тогда она решится повторить то, что, по ее ложному представлению, случилось в жизни Лизы. В тот же вечер Лиза рассказала дочери все, стараясь возможно меньше поранить ее сердце. Истина подавила Асю. Она впервые испугалась, что может потерять любовь приемной матери. О Джеке больше не было речи. Спустя несколько месяцев имя его привлекло к себе внимание английской столицы. Сын пэра предстал перед судом. Он хотел бросить жену и сочетаться браком с дочерью весьма богатого владельца нескольких крупнейших столичных боен.

Бен-Доллет проделал все необходимые формальности, чтобы получить развод. На углу Лейстер-сквера он отыскал девушку, чьей профессией было способствовать освобождению мужчин от брачных уз. За шестнадцать фунтов это альтруистическое существо согласилось провести с ним ночь в отеле. Утром вошедшая горничная увидела необходимую для достижения разводной цели сцену: мужчину, прохаживающегося по комнате в халате, и даму в постели. Впоследствии, в присутствии жены, Бен-Доллет уронил «нечаянно» счет из гостиницы, в котором упоминались «двуспальная кровать и завтрак». Все шло отлично. Жена в порыве обиды подала в суд требование развода. Горничная не поскупилась в описании пикантных деталей. Но на коварный вопрос судьи об имени «согрешившей» с Бен-Доллетом женщины он не сумел дать ответа. Девица с Лейстер-сквера дорого расценивала свою репутацию, и в шестнадцать фунтов стерлингов не входила стоимость разоблачения ее инкогнито.

— Может быть, он провел ночь со своей бабушкой, в чем нет ничего предосудительного. Мало ли отчего мы иногда склонны преувеличивать содеянное,— сказал глубокомысленно судья обиженной жене и закончил прочувствованной речью к обоим супругам, призывая их жить в мире и согласии. Пятьдесят фунтов, затраченные Джеком на судебные издержки и ночь в отеле, пропали безрезультатно.

Английский суд разводил только после самых унизительных ковыряний в бытовой золе и преимущественно в отталкивающих подробностях брачных отношений.

Беда, если судья принадлежит к какой-нибудь секте, тогда измученные друг другом супруги без всякой надежды наконец расстаться подвергаются длительной пытке поучающих проповедей.

— В следующий раз я попросту убью ее,— сказал Бен-Доллет своему юристу.

Но убил он не жену, а судью, отказавшего ему в разводе.

В теплый летний вечер Лиза и Ася подозвали извозчика и уселись в неповоротливый фаэтон. Кучер в грузной ливрее и поблекшем старом высоченном цилиндре повернул обветренное, густо заросшее бронзовыми волосами лицо, ожидая адреса.

— Мейтленд-парк роуд, Хаверсток-хилл,— сказала Лиза.

Кони побежали по гладкой мостовой. Совсем недавно появились в Лондоне резиновые шины, и ехать было приятно и спокойно. Лиза любила легкое покачивание кареты и с удовольствием откинулась на мягкую спинку. Колокольчики бренчали, веселя слух прохожих. В темноте фонари на кузовах встречных фаэтонов освещали улицы, мигая, исчезая, как светлячки. После Пиккадилли и Стренда совсем глухим и пустынным казался район, примыкающий к Хэмпстедским холмам. Движение здесь было очень незначительно. Дрожа, бросали на черный зрачок камня бельмо света одинокие газовые рожки.

В воскресенье в Модена-вилла собрались гости. Лиза нежно пожала руку Женни Маркс и Ленхен. Торопливо присела в заученном реверансе Ася и бросилась к поджидавшей ее Элеоноре,— девушки были дружны.

— Я набита тайнами, как подушка перьями,— шепнула весело Ася подруге и завертелась на месте. Глаза ее, губы, руки были, как всегда, в непрерывном движении.

Ленхен настежь распахнула двери в сад. На зеленой лужайке стоял стол для предстоящего ужина. Она тоном командующего парадом отдавала приказания послушной ей молодежи.

— Господин Франкель, отнесите-ка эту лампу, а затем придите за тарелками. Не оступитесь на лестнице, там шесть ступеней. Женнихен, возьми соусник и салфетки, а ты, Тусси, не урони хлебницу. Сейчас я спущусь в кухню за холодной телятиной.

— Дайте и мне работу,— попросила Ася и тут же получила поднос с ложками, вилками и ножами. Жонглируя на ходу своей ношей, девушка, опережая всех, бросилась на полянку и принялась раскладывать приборы на белой скатерти.

Врублевский и Лонге в это время выносили в сад стулья. Маркс оставался наверху с одним из участников Парижской коммуны.

— Пройдите к Мавру, госпожа Красоцкая, он просил об этом. Там, кстати, вы найдете и своего соотечественника. Этот русский господин знает вас по Парижу.

«Кто бы это мог быть, не Лавров ли? — думала Лиза, поднимаясь по деревянной узенькой лестнице на второй этаж.— Я видела этого человека только раз и отнюдь не прониклась к нему симпатией».

Постучав и услышав в ответ «войдите», Красоцкая открыла дверь в просторную рабочую комнату. Маркс пошел ей навстречу. В мужественном, коренастом человеке, сидевшем подле камина, Лиза действительно узнала Лаврова.

— Знакомьтесь, пожалуйста,— по-русски сказал Маркс, представив их друг другу.

— Мы мельком виделись весной этого года,— отозвалась Лиза, пытливо вглядываясь в чистое, широкое, невозмутимое лицо подошедшего Петра Лавровича.

— Да, нам почти не довелось встречаться с вами в Париже, но зато я до последних дней Коммуны имел счастье общаться с господином Красоцким, да будет земля ему пухом. Светлая память об этом доблестном борце не изгладится в моем сердце,— произнес Лавров с искренним чувством и низко поклонился Лизе. Затем краси-

вым движением головы откинул густые с проседью гладкие волосы.

Слова его тронули вдову Красоцкого, и она благодарно пожала крепкую, сухую руку соотечественника. Но, подняв глаза на Лаврова, Лиза внезапно подметила, как надменно сомкнулся его упрямый рот, перехватила строгий взгляд из-под очков и ощутила, как поднявшееся было в ее сердце доброе, теплое чувство к Лаврову отхлынуло.

«Считает себя натурою избранной»,— пронеслось в ее мозгу.

Лавров был отлично образованный, много видевший человек. Он не был лишен самокритического мышления и того неуемного душевного беспокойства, которое гонит человека на постоянные поиски глубинной сущности явлений и ускользающей истины. Ему было уже около пятидесяти лет. Опасный возраст, когда нередко прекращается горение души и люди незаметно для себя останавливаются в движении и начинают тратить накопленный прежде и уже больше не пополняемый духовный капитал. Лавров не был твердо уверен, что давно все постиг и правильно понимает происходящее в окружающем мире. Он решительно утверждал только, что развитие человечества целиком является следствием деяний особо даровитых, критически мыслящих личностей. Карлейль был одним из наиболее чтимых им писателей. Лавров верил в то, что мир будет спасен героями духа и мысли.

К Марксу и Энгельсу Петр Лаврович пришел, уверовав в то, что они являются исключительными натурами. Узнав их ближе, он увлекся необычностью их характеров и взглядов. Отдавая дань гениальности вождей Интернационала, Лавров, однако, не смог перейти на позиции научного социализма. Дворянин по происхождению, он долго отметал с насмешкой самую мысль о том, что рабочий класс России может явиться силой, преобразующей общество. По мнению Лаврова, только крестьянство, ведомое необыкновенными личностями, способно выполнить такую миссию. Считая долгом каждого честного человека вступиться за правое и героическое дело коммунаров, он очутился в Париже, где проявил отвагу. По поручению Коммуны в мае 1871 года Лавров приехал в Лондон, сблизился с Марксом, стал членом Интернационала.

— Вы, я слыхал, собираетесь весной в Швейцарию? — спросил Маркс Лизу.— Это очень кстати. Генсо-

вет даст вам кое-какие поручения в Женеву к членам Русской секции.

— Располагайте мной.

Маркс подошел к столу, взял коричневую трубку, издававшую резкий горьковатый запах, и стал выбивать ее о край плоской пепельницы, формой напоминавшей лист платана.

— Вам, очевидно, предстоит встреча с Бакуниным? — поинтересовался Лавров.— А как вы судите о нем?

— Когда-то я хорошо знала этого новоявленного пророка. Это было так давно,— уклонилась от разговора Лиза.

Женнихен и Шарль Лонге пришли звать Маркса и его гостей в сад. Как обычно в этом доме, ужин прошел непринужденно и живо. Было довольно поздно, когда компания пополнилась еще двумя гостями — Проспером Лиссагаре и Жаном Стоком.

Появление машиниста произвело на всех заметное впечатление. Женни с глубоким сочувствием протянула ему руку, Карл предложил сесть рядом с собой. Жан Сток казался совершенно невозмутимым, и, однако, это было спокойствие каменной гробницы. Он был сед, взгляд его подолгу задерживался на каждом предмете и с огромным трудом отрывался от него. Тот, кто не знал истории этого расстрелянного у стены Пер-Лашез и случайно оставшегося в живых человека, нашел бы его очень странным. Говорил Жан мало и отрывисто. Движения его были как бы заторможенными. Редкая улыбка на его лице напоминала гримасу острой физической боли. Пули версальских палачей вконец подорвали его здоровье: он протяжно кашлял и не мог более владеть левой рукой. Что-то отрешенное появилось не только в душе, но и в облике бывшего машиниста.

Получить работу в Лондоне было очень нелегко, так как английские буржуа отказывались нанимать коммунаров. Благодаря настойчивым заботам Маркса, бывший машинист устроился сторожем в одной конторе, а Лиза поселила его в своем скромном доме. Он выполнял также поручения Генерального Совета, помогал Красоцкой в свободное время ухаживать за растениями в небольшом садике и вести ее несложное хозяйство.

— Ешьте, дорогой Жан, вам надо хоть немного потолстеть. Тогда пройдет ваш гадкий кашель,—говорила Лен-

хен, пододвигая ему самые лакомые куски и стараясь не показать, как она его жалеет.

— Спасибо, мисс Демут,—тихо ответил Сток и глухо закашлялся.

— Было бы хорошо вам, старый дружище, съездить в Рамсгет и отдохнуть у моря. Мы сообща устроим вам это,—сказал Маркс.

— Конечно же, Мавр,—обрадовалась Женни.

Франкель, Врублевский и Лонге живо поддержали ее. Но Сток нахмурился и мягко возразил:

— Есть люди более несчастные и больные среди коммунаров, нежели я. Можно перечислить вам много имен. Им, и только им, должны все мы помочь. Вот Эжен Потье, к примеру. Он очень слаб телом, хоть и крепок духом. Его нужно подлечить, а затем дать денег на билет в Америку. Там он найдет себе работу и пригодится для пропаганды наших идей. А мне хорошо, братья, право же, очень хорошо. Я жив и вижу вас, в то время как столько коммунаров закрыло глаза навеки.

Жану хотелось еще многое сказать о тех, чьи образы он носил в своей груди, никогда не забывая, но, заметив, что печаль ночным ветром коснулась всех сидевших за столом, он смолк. Когда с едой было покончено, Жан Сток незаметно ушел. Вскоре и Маркс, дружески распрощавшись со всеми, отправился работать к себе наверх. Женни пошла проводить мужа.

Лиза, весь вечер мало говорившая, внимательно наблюдала за этими двумя, ставшими ей очень близкими и дорогими, людьми. Оба они были в расцвете той зрелой красоты духа, которая приходит вместе с возрастом. Маркс несколько пополнел и выглядел еще более физически сильным и представительным. Из-под припухших верхних век на мир смотрели совершенно молодые, искрящиеся, прекрасные выражением ума и воли глаза. Голубая седина бороды оттеняла смуглый, без румянца цвет лица. Никогда Маркс не выглядел более значительным и величавым, нежели в эти годы.

Лицо Женни поразило Лизу своей переменчивостью. От него трудно было оторваться, оно подчинялось каждой мысли и движению чувств. Женни то молодела настолько, что Лиза будто видела ее как в годы светлой юности, то вдруг мрачнела и старела или становилась спокойной, строгой. Эта особенность, присущая внешности жены

Маркса, свидетельствовала о сложности и чувствительности ее души. Так думала Лиза, любуясь сменой выражений ее лица.

«Не знаю,— решила она про себя,— что сказали бы поэты, но я сравнила бы госпожу Маркс с тем, что наиболее многообразно на земле,— с небом, которое так переменчиво».

После ужина молодежь разделилась на группы. Женнихен, Лонге, Франкель и Проспер Лиссагаре уселись на скамье.

— Как я люблю этот дом, этот сад! — воскликнул Врублевский, останавливаясь перед ними, и закончил восторженно:

Здесь властвует Титан,
Огонь несущий,
Бог Прометей!

— Валерий, как всегда, черпает вдохновение и слова у Эсхила и Софокла,— сказал Лиссагаре своим глухим голосом.

— Что ж, это надежные друзья,— улыбнулась Женнихен.

Элеонора и Ася уединились в оранжерее, чтобы посекретничать без помех.

— И он предлагал тебе бежать с ним за океан? — допытывалась ошеломленная признанием подруги Тусси.— А впрочем, все это довольно низменно. Мавр сказал бы, что эпопея твоего Джека Доллета всего лишь приключения плоскодонной душонки или что-нибудь в этом роде.

— Но если его казнят, это будет точь-в-точь такая же развязка, как в романе «Красное и черное» моего любимого писателя Стендаля,— восторженно заявила Ася.

— Действительно, похоже, но что до меня, то я терпеть не могу уголовных происшествий и убийц,— с брезгливой гримасой заявила Элеонора.— Скажи мне лучше, нравится ли тебе Лиссагаре? Не думай, что он, как все остальные взрослые в этом доме, ухаживает за Женнихен, совсем нет. Он очень много времени уделяет не ей, а — мне.

Ася приподнялась на цыпочки и через довольно грязное стекло оранжереи посмотрела на живо о чем-то разговаривавших с Женнихен коммунаров.

— Проспер — вот тот, худой высокий шатен с очень тонким аристократическим лицом.

— Да ведь он старик,— разочарованно произнесла Ася.— Ему, наверно, более тридцати лет. И какой-то помятый. Я думаю, его уже невозможно разгладить никаким утюгом.

Девушки весело расхохотались.

— И все-таки это очень лестно, когда к тебе относятся, как к совсем взрослой, и даже советуются с тобой,— промолвила Тусси.

— Твоей старшей сестре пора выйти замуж, ведь Лаура младше, а уже давно мадам Лафарг.

— Мне кажется, Женнихен стоит только захотеть, и она станет госпожой Лонге. Я подозреваю, что Франкель и даже Врублевский тоже на нее засматриваются. Достаточно прочесть их ответы в «Книге признаний». Обоим нравятся только черные глаза и черные длинные волосы.

— Может быть, твои?

— Что ты, Эсси, кроме Лиссагаре, все остальные, увы, считают меня еще ребенком. Я выучила наизусть исповедь Врублевского. Он писал ее будто бы в шутку, но ведь под этим могут скрываться и подлинные его мысли. Послушай и суди сама:

Ваше понятие о счастье: пламенный ад.

О несчастье: холодный рай.

— Я должна это записать в свою книжку замечательных изречений. Кто бы мог подумать, что этот рябой пожилой человек такой романтик и даже поэт! — воскликнула Ася.

— Это верно, у него нежное сердце, и напрасно он считает своей отличительной чертой — неотесанность,— согласилась Элеонора.— Девиз его, конечно же, относится к Женнихен, хотя она и сердится, когда я говорю ей это. «К чему были бы все добродетели и пороки, даже мрак ночи и лучи дня,— пишет он,— без света черных очей и тени длинных волос». Как это красиво сказано, не правда ли?

— Мне больше нравится господин Франкель, он очень умный и чуткий.

— Ты права, но Франкель слишком уж серьезен. Его признания я тоже выучила наизусть, они вовсе не шутливы.

И Тусси с расстановкой, прикрыв большие глаза, как монолог из пьесы, прочла подруге исповедь молодого революционера. Ася ее не прерывала.

Вопреки Гете, который говорил, что «только нищие скромны», Лео Франкель превыше всего ценил в людях скромность, в мужчине — прямоту, в женщине — умение, внушив к себе любовь, заставить себе повиноваться.

Своей отличительной чертой он считал повышенную чувствительность и признавался, что его представление о счастье — любить и быть любимым, о несчастье — быть исключенным из Интернационала.

Он питал наибольшее отвращение к пошлости и лицемерию.

Ваша антипатия: люди, одобряющие все установления просто потому, что они существуют.

Исторические личности, которые внушают вам наибольшее восхищение: Томас Мюнцер, Бабёф.

Личности, которых вы ненавидите: революционеры на словах.

Любимое занятие: наблюдать.

Любимый герой: тот, которого историки именуют «народ».

Любимая героиня: Луиза Мишель.

Любимый поэт: Эзоп, Гейне и автор «Возмездия» Гюго.

Любимый прозаик: Томас Бокль.

Цвет глаз и волос: черный.

Любимый цветок: фиалка.

Любимые имена: Элиза, Маргарита и... Женни.

Блюдо: пудинг.

Девиз: раз уж нам суждено умереть, то постараемся, по крайней мере, умереть за правое дело.

Ася была восхищена.

— Ах, если бы он был молод, не имел такой черной страшной бороды и не носил таких уродливых очков, как бы я могла его полюбить!

Страх, любопытство, ненависть, которые внушало имя Карла Маркса правящим классам на разных материках, порождали много лжи. Маркс по этому поводу как-то привел слова Чернышевского, труды которого читал все-

гда с особым удовольствием: «Кто шествует по путям истории, не должен бояться запачкаться».

Особенно бесновались французские реакционеры. Одна из бонапартистских парижских газет измыслила ложное сообщение о смерти вождя Интернационала, которое подхватила печать различных стран. Получив эти сведения и поверив им, конференция филантропического «Космополитического общества» в Америке вынесла резолюцию, которую опубликовала в газете «Мир». В ней говорилось, что Маркс являлся «одним из самых верных, бесстрашных и самоотверженных защитников всех угнетенных классов и народов». Конференция за океаном призывала «умножить усилия для защиты тех прав, которые так смело и упорно отстаивал Маркс».

Известие о мнимой смерти Маркса долго служило темой для всяческих разговоров и шуток в Модена-вилла. Но Елена Демут негодовала и успокаивала себя, лишь вспоминая народную примету, говорящую, что тех, кого при жизни хоронят, ожидают долгие и плодотворные годы.

В сентябре 1871 года в Лондоне произошла закрытая полулегальная конференция Международного Товарищества Рабочих, посвященная обобщению опыта возникновения, бытия и гибели Парижской коммуны. Судьба Коммуны была весьма поучительна. Отныне главным для пролетариата становилась сплоченная революционная партия. Всеобщее негодование вызвали анархисты и их главарь Бакунин, которые отрицали необходимость политической борьбы и объединения рабочего класса. Резолюция, принятая на конференции, гласила, что пролетариат может действовать, лишь организовавшись сам в политическую партию, которая необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и осуществить ее конечную цель — уничтожение классов.

Лондонская конференция, руководимая Марксом, разоблачила вероломство анархистов и их вожака Бакунина. Перед пролетариатом была поставлена задача создания в каждой стране строго дисциплинированной политической партии.

В дни конференции Женни Маркс находилась с Элеонорой в Рамсгете. Ей долгое время нездоровилось, и Карл настоял, чтобы жена поселилась у моря. Но, оставшись один, Маркс очень тосковал по ней. Улучив свободную минуту, он отправил ей письмо:

«Дорогая Женни! Сегодня наконец конференция заканчивается. Это была тяжелая работа. Утренние и вечерние заседания, в промежутках заседания комиссий, выслушивание очевидцев, подготовка докладов и т. д. Но зато и сделано больше, чем на всех предыдущих конгрессах, вместе взятых, ибо за отсутствием публики незачем было упражняться в театральном красноречии. Германия не была представлена, от Швейцарии присутствовали только Перре и Утин.

На прошлой неделе революционная партия в Риме устроила в честь Ричмотти Гарибальди банкет; мне прислали о нем отчет, помещенный в римской газете «Capitale». Один оратор... провозгласил встреченный с большим энтузиазмом тост за рабочий класс и за Карла Маркса, который стал его «неутомимым орудием». Горько это для Мадзини!

Когда в Нью-Йорк пришло известие о моей смерти, то «Космополитическое общество» созвало собрание, резолюции которого, опубликованные в «World», я тебе посылаю... Тусси получила письмо также и от встревоженных петербургских друзей... С Робеном и Бастеликой, друзьями Бакунина и его соучастниками по интригам, дело было трудное...»

Наступила поздняя осень. Лондон окутали черные и желтые туманы. Маркс хворал. Карбункулы преследовали его меньше, но начались резкие боли в печени; кроме того, он тяжело страдал от неудержимых приступов кашля, мешавших сну и значительно ослаблявших больного. Впрочем, врачи считали это не легочным, а горловым заболеванием. Столь завзятому курильщику, привыкшему к табаку с юности, каким был Маркс, пришлось окончательно отказаться от сигар и трубки.

Каждый день, независимо от погоды, защищаясь от дождя большим зонтом, обычно вместе с Энгельсом, в сопровождении послушного лохматого пса Виски, Маркс отправлялся на двухчасовую прогулку по Хэмпстедским холмам. Дорога была неровной, приходилось подниматься и спускаться по крутым склонам. Оба друга были отлично тренированными ходоками. Отныне они могли общаться, не прибегая к переписке, делиться каждой мыслью, обсуждать злободневные вопросы. Они давно понимали один другого с полуслова. Случалось, оба принимались

громко спорить и в поисках единого решения, вернувшись домой, рылись в справочниках, чтобы прийти к согласованному выводу. Это был плодотворный обмен мыслями и мнениями. Если прогулка почему-либо не могла состояться, друзья оставались наедине в кабинете. Внезапно поднявшись с кресел, они принимались ходить, каждый по своей диагонали, поворачиваясь у стены на каблуках и снова двигаясь в противоположном направлении. И нередко обсуждение какого-либо значительного вопроса из области истории, естествознания, политики, экономики продолжалось в течение нескольких встреч, до тех пор, покуда предмет размышлений не исчерпывался или не становился совершенно ясным для обоих.

Часто эти два пожилых, но бодрых человека начинали соревноваться в шутках, острословии, и тогда громкий, от сердца идущий смех разносился по всему дому, а если это было на прогулке, его повторяло эхо, и он замирал среди лугов и редких садов мало застроенной пригородной местности. Иногда они принимались петь народные и студенческие немецкие песни или арии из опер. Нередко к их дуэту присоединялись Женни, Лиззи и Ленхен.

Красоцкая отправилась в Швейцарию. Ей предстояло по просьбе Маркса еще раз встретиться с Бакуниным. Чтобы быть во всеоружии на случай спора, Лиза обзавелась множеством книг, которые могли бы помочь ей разобраться в учении, проповедуемом анархистами. Чем больше читала она статей Бакунина, а затем и его противников, тем сильнее поражалась тому, что узнавала. В своей тетради Красоцкая записала для памяти:

«Слово «анархизм» происходит от греческого «безначалие, безвластие». Его отыскал и пустил по свету Прудон, который анархистские идеи, имевшие хождение в прошлых веках, выдал за свои. Еще Годвин в своей знаменитой некогда книге отвергал государство, законы и политические учреждения во имя так называемой свободы личности. Я прочла книгу и другого предшественника Бакунина, некоего Макса Штирнера. Он еще в 1845 году заявил, что эгоизм есть ось, вокруг которой вертятся все взаимоотношения людей. Ячество стало его религией, и он требовал, чтобы ничто не мешало ему жить так, как заблагорассудится, даже если от этого погибнут города

и люди. Штирнер ярился против коммунизма, потому что это учение о счастье для всех, а не для одного-единственного, и воспевал частную собственность, объявляя ее священной. Он призывал к созданию союза эгоистов-собственников. Чего только уже не бывало на свете!

Маркс всю эту чехарду идей назвал в разговоре со мной вселенским бунтом мелкого буржуа и напомнил при этом о формуле Прудона: политическая революция — это разложение государства, а экономическая революция — это общественное переустройство без какой бы то ни было классовой борьбы. Так вот откуда Михаил Александрович черпает свою премудрость. Не глубокий его источник! Удивительно и горько, а вот уж подлинно одна паршивая овца портит все наше стадо. Клевета, подлоги, интриги — все орудия зла использует Михаил Александрович против Генерального Совета. Зачем ему это?»

И снова Лиза очутилась на швейцарской земле. Воспоминания давили на нее, как горы, которых она никогда не любила. Насколько бодрил ее всегда морской бескрайний простор, настолько удручали со всех сторон обступившие озеро Леман громады Альп, острые, холодные, ограничившие мир со всех сторон, точно тюремные стены.

Была весна. В горных долинах цвели и одуряюще пахли нарциссы. Они заглушали травы, и казалось издали, что с гор течет серебристая река.

С охапкой душистых цветов Лиза пришла в маленькое шале — коричневый двухэтажный фермерский домик, прилепившийся к горе. Хозяйка принесла ей парного молока, хлеба и ломоть желтого сыра. День был такой ясный, что самые далекие вершины гор, даже обычно окутанная туманом Маттерхорн, были совершенно обнажены. Лиза допоздна бродила одна по альпийским лугам, и чем выше она поднималась, тем больше находила мягких, точно войлок, эдельвейсов. С годами она чаще нуждалась в таких днях полного молчания, углубленных размышлений и общения с природой. Душа ее как бы очищалась. Кроме того, это были часы поминовения усопших, своеобразное таинство.

Приближались часы заката. Небо напомнило Лизе прекрасный переменчивый камень александрит. Из синего оно становилось розовым и, наконец, темно-лиловым. Лиза повернула назад к шале, где решила переночевать. Она мысленно попрощалась со всеми, кто сопутствовал ей

в долгой, одинокой прогулке. Грустнее всего было расставание с Сигизмундом Красоцким. Чем больше времени проходило со дня его гибели, тем тяжелее становилось ей оставаться на земле.

В старости приходит не только физическая, но и душевная дальнозоркость. Множество ранее забытых чувств и событий возвращаются и оживают. Перед Лизой снова прошла вся ее счастливая жизнь с Сигизмундом. Он один любил ее по-настоящему преданно, самозабвенно. Спускаясь с гор, Лиза, охваченная тоской, вызывала в памяти улыбку, голос, смех мужа. Она не замечала, как слезы омывали ей лицо.

Утром, освеженная, спокойная, собранная, она отправилась в кантон, где жил Бакунин. В маленьком уютном городке в предгорьях Альп, на улице, густо усаженной цветущими розовыми и белыми каштанами, в домике часового мастера, рьяного анархиста, Михаил Александрович снимал несколько комнат. Там же жил его друг и последователь Гамбуцци.

Лиза постучала. Дверь открыла полная, низенькая молодая женщина, точно сошедшая с картинок, рекламирующих швейцарский сыр и молочный шоколад. «Экая фламандская красавица»,— подумала Лиза, приветливо улыбнувшись бело-розовой блондинке в помятом и несвежем шлафроке, обшитом бесчисленным количеством оборочек и кружев. Узнав, что Лиза русская, она выразила непритворную радость.

— Вы к Бакунину? Я его жена, Антония Ксаверьевна, будем знакомы. Как приятно увидеть русскую даму в этом глухом месте, где живут одни только бедные люди,— тараторила Бакунина, провожая Лизу в комнату мужа.— Вы уж извините нас за беспорядок. У нас двое детей, да еще такие шалуны. Мы так редко видимся с мужем. Мне иногда по целым неделям словом с ним не приходится обмолвиться, и я, право, очень счастлива, что уезжаю в Красноярск к родителям. Разрешение уже получено. Пожалуйста, сюда.

Из темного коридора, заставленного сундуками и всякой рухлядью, Антония Ксаверьевна ввела Лизу в большую светлую комнату, производившую отталкивающее впечатление из-за господствовавшего там беспорядка. Деревянный пол был грязен. Клочки бумаг, окурки, пара давно не чищенных больших ботинок валялись у непри-

бранной кровати. Стол был завален книгами и газетами. На стульях лежала мужская одежда. Двое черноволосых смуглых ребят пытливо выглядывали с большой террасы.

— Мои дети пока еще не говорят по-русски. Они у меня вылитые итальянцы,— сказала Антония Ксаверьевна многозначительно.

В это время с полотенцем через плечо и с черепаховой мыльницей в руках вошел Бакунин.

— Простите, бога ради. Не знал, что у нас гостья. Засиделся до полуночи с друзьями и, как видите, только что встал. Сердечно рад вашему визиту.

Громко шлепая бархатными домашними туфлями, Михаил Александрович прошел в соседнюю комнату, чтобы скинуть халат и обрядиться в щегольской новенький костюм. Между тем, не переставая говорить, его жена оправила постель и, освободив от множества предметов обихода ковровое кресло, предложила его гостье.

— Мишель очень придирчив и горяч, и я предпочитаю помалкивать и не трогать его вещей. Ему очень трудно угодить,— видно, мать и сестры сызмала его избаловали. Вообще лучшая метода в браке — не перечить.

Как только Бакунин вернулся, Антония Ксаверьевна, мило улыбаясь, ушла и увела с собой детей.

Лиза и Михаил Александрович грустно разглядывали друг друга. Оба они очень постарели. Несмотря на нарядный коричневый сюртук и полосатый жилет, сшитый по последней моде и несколько скрадывавший рыхлую полноту, Бакунин выглядел очень тучным и нездоровым. Особенно поразила Лизу его полукруглая выпуклая спина. Было в ней что-то настороженное, отталкивающее. Потухшие бесцветные глаза его беспокойно перебегали с предмета на предмет. Все еще вились, но заметно потускнели и поредели мокрые после мытья волосы. Бакунин старался держаться уверенно, даже молодцевато, но легко терял самообладание. Не зная, с чего начать беседу, он взял со стола и повертел в руках портрет жены.

— Хороша, не правда ли? И добра. Чего же еще желать от женщины? Как ваше мнение?

— Раньше вы думали и говорили иное,— ответила Лиза.

— Я был наивен. Раз нет на свете абсолютного совершенства, то лучше этакое дитя природы, чем назойли-

вость и глупость ученых женщин. Так-то, друг мой, а семьи ведь у меня не получилось.

— Но, позвольте, у вас премилые дети, да и Антония Ксаверьевна вас, видимо, любит.

Бакунин странно улыбнулся, потер рукой лоб, поправил очки, ссутулился и вдруг впервые взглянул прямо в темные, широко раскрытые, всегда печальные глаза Лизы.

— Разве вы не знаете? — спросил он, и голос его осекся.

— Чего, Мишель?

— Того, что многим ведомо. Дети не мои. Их отец — мой добрый друг Гамбуцци. Но я не в претензии. О нет. Так даже и лучше для меня. А что до Антонии, то она никогда за все эти годы не сказала ничего умного, и, повторяю, в этом ее достоинство. Вот сердце у нее действительно отзывчивое, и я многим ей обязан был в Сибири. Удивительно, откуда у нее столько такта, несмотря на полное невежество. Она никогда не была мне в жизни помехой... и женой тоже... не была. Не вздумайте читать мне лекций с прописной моралью,— вдруг вспылил Михаил Александрович, хотя Лиза не шевелилась и слушала его молча, отведя глаза и глядя в окно, за которым цвело большое яблоневое дерево.— Что до прошлого,— продолжал Бакунин,— то я не смог бы быть с вами счастлив. Впрочем, это шутка, а посему, дорогая, не хмурьтесь. Итак, вы ко мне явились в качестве эмиссара от марксидов?

— Я приехала в Швейцарию по своим делам, но не смогла отказать себе в удовольствии повидаться с вами. Мы некогда были дружны.

— Поверьте,— разглаживая бороду и бакенбарды, сказал ей искренне Бакунин,— вряд ли есть у вас на свете более надежная и преданная душа, нежели моя. Вы всегда были очень умны и столь же совестливы и правдивы. Знаете ли, однако, почему я бежал от вас?

Лиза не ответила.

— Скажу вам без обиняков. Теперь это уже можно. Потому что казнился вами. Может ли убийца постоянно видеть перед собой свою жертву? Вы всегда страдали молча, ни разу не попрекнули меня, отказывали себе в самом необходимом, чтобы дать мне все до последнего гроша. Мне, неблагодарному, безропотно и бескорыстно

вы бросили свою нежность, верность, любовь. Лучше бы вы укоряли, презирали, когда-нибудь даже ударили меня. Ваше божественное терпение и самоотверженность стали наибольшей карой за мое равнодушие, грубость, сухость, эгоизм. И я вас возненавидел. Ну вот наконец я исповедался перед вами. Простите меня, грешного раба божия, и постарайтесь понять.

— Не стоит нам, старикам, ворошить то, что принадлежало молодости,— ничем внешне не проявив своих подлинных мыслей и чувств, с вежливостью ответила Лиза.— Все это мертво.

— Вы были богаты. Я тоже нынче ни в чем не нуждаюсь, а главное — дело всей моей жизни на подъеме.

— Денежный фонд Бахметьева, предназначенный для укрепления панславистской идеи Герцену, кажется, полностью перешел теперь к вам.

— Мы действительно унаследовали эти весьма необходимые, да и внушительные средства для пропаганды нашего учения во всем мире.

— Итак, несмотря на свою открыто проповедуемую ненависть к институту наследования, для себя вы сделали исключение? — с нескрываемой иронией спросила Лиза.

— Когда цель столь велика, она предопределяет поступки.

— Иезуиты, вероятно, не подозревают, что анархисты переняли у них основные принципы.

— Мы не гнушаемся ничем. Меня трудно вывести из себя подобным упреком. Иезуиты были некогда властелинами мира. Теперь ими станем мы, анархисты! Вы же, Лиза, исповедуя в прошлом свободу без ограничений, стали теперь всего лишь рабой авторитариев, послушным эхом немца Маркса и его компании.

— Не будем браниться, Мишель. Мне хотелось бы послушать вас, узнать, чему учите вы теперь членов своего ордена? — попыталась предотвратить ссору Красоцкая. Ей было важно заставить Бакунина разговориться, чтобы лучше понять, в чем же суть его разногласий и причина злобной, опасной борьбы с Интернационалом.

— Я мог бы предложить вам прочесть нашу газету. Сейчас «Равенство» в руках анархистов, и теперь уже навсегда.

Внезапно Бакунин подошел к Лизе, наклонился и положил большую пухлую руку на ее плечо.

— Такие женщины, как вы, любят только раз в жизни. Я не верю, чтобы вы изжили свое чувство и стали мне чужой. В Венеции я понял ваше поведение, рядом с вами ведь был муж. Но сейчас уже никто не стоит между нами. Не может быть, чтобы такой человек, как вы, Лиза, стали действительно искренней марксидкой. Это противоестественно, чудовищно для славянки, для истинно русской. Признаюсь, иметь в вас единомышленницу, идейного верного друга было бы для меня большим счастьем.

— Что ж, это вполне возможно,— сказала Лиза.

— С того бы и начали, я очень, очень рад. Вы могли бы оказать нам большую услугу именно потому, что уже вошли в доверие к Марксу. Сообщайте мне обо всем, что делается в Генеральном Совете, я имею в виду у его вождей в первую очередь.

— Понимаю. Вы предлагаете мне шпионить,— с огромным трудом подавив жгучее негодование и притворившись сговорчивой, тихо сказала Лиза.

— Какое неуместное в политике слово. Я призываю вас к идейной борьбе с врагами рабочего движения, захватившими руководство в Интернационале. Итак, мой мудрый старый друг, присылайте мне еженедельно книги, любые романы, учебники, что хотите. На страницах девяносто три, тридцать, сорок восемь, семьдесят один отмечайте точками те слова, которые в совокупности будут образовывать фразы вашего ко мне письма-сообщения.

— Но почему именно эти страницы?

— Как вы недогадливы. Это годы великих восстаний и народных потрясений. Не обязательно указывать тысяча семьсот девяносто третий или тысяча восемьсот сорок восьмой. Мы оговорим все заранее. Как видите, приходится перейти к конспирации, чтобы одержать победу и, главное, не выдать вас. Маркс и Энгельс сумели втянуть в свои сети немало пролетариев. К сожалению, время дискуссий и политических турниров кончилось.

— Но ведь все это нечестно. От кого вы меня хотите спрятать?

— Ради народа мы должны идти на все. Если вас заподозрят в симпатии к нам, то вы ничего не сможете более узнавать у марксидов. Я отныне считаю вас бакунисткой.

Не дожидаясь ответа Лизы, Михаил Александрович привычно откашлялся и принялся говорить все громче и громче, с нарастающей горячностью и воодушевлением:

— Вам я верю, вас я причисляю к тем немногим избранным, кого можно посвятить во все секреты моего тайного союза. Да, Лиза, помимо открытого «Альянса социалистической демократии», у меня действует также подпольная организация, состоящая из интернациональных братьев и национальных братьев. Эти братья не имеют иного отечества, кроме всемирной революции, иной чужбины и иных врагов, кроме реакции. Они отвергают всякую политику соглашательства и уступок и считают реакционным всякое политическое движение, которое не имеет непосредственной и прямой целью торжество их принципов.

Бакунин вытер платком влажное лицо и лоб, снял очки и многозначительно посмотрел на Лизу.

— Слушайте дальше. Интернациональным братом может стать только тот, кто искренне примет всю программу, со всеми вытекающими из нее теоретическими и практическими последствиями, тот, в ком ум, энергия, честность и сдержанность соединяются с революционной страстностью, тот, в ком сам черт сидит. Да, да, Лиза, не удивляйтесь. Нам нужны люди, подобные мне, ибо сам я — воплощенный сатана! Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны: яд, нож, петля. Революция все освящает. Вы русская, Лиза, и должны вместе с нами немедленно приняться за святое дело истребления зла, очищения и просвещения русской земли огнем и мечом!

— И много уже у вас братьев? — с трудом сдерживая улыбку, спросила Лиза.

— Нам нужно только сто человек сильных, идейных. Это будет сотня, но сотня, которая перевернет весь мир! Масса же подвержена стадному чувству. Она пойдет за нами, когда проснутся в ней здоровые инстинкты!

— А вы...

— Я? Внешне мое правление будет соответствовать президенту в федеративной республике!

— Кем же вы избраны?

— Члены — основатели «Альянса» — все свои полномочия передали мне.

— Что ж, очень приятно убедиться в том, что вы один выступаете в стольких лицах, что вы есть основной и единственный стержень «Альянса». Какова же программа этой деспотической и иерархической тайной организации, Михаил Александрович? То, что вы говорили до сих пор, было весьма важно и интересно.

— Выход из существующего общественного порядка и обновление жизни новыми началами может совершиться только путем сосредоточения всех средств для общественного существования в руках нашего комитета и объявлением обязательной для всех физической работы. В течение известного числа дней, назначенных для переворота, и неизбежно последующей за ним сумятицы каждый индивидуум должен примкнуть к той или иной рабочей артели по собственному выбору. Все не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин не имеют права доступа ни в общественные спальни, ни в какие-либо другие здания, предназначенные для удовлетворения разных потребностей работников — братьев или содержащие готовую продукцию и материалы, продовольствие и орудия, предназначаемые для всех членов установившегося рабочего общества. Одним словом, тот, кто не примкнул без уважительных причин к артели, остается без средств к существованию. Для него закрыты будут все дороги, все средства сообщения и останется только один выход: или к труду, или к смерти! Объединение интернациональных братьев стремится к всеобщей революции,— заговорщицки понизив голос, заявил Бакунин.— От современного порядка вещей, основанного на собственности, эксплуатации, принципе авторитета — религиозного, метафизического и буржуазно-доктринерского или даже якобинско-революционного,— не должно остаться камня на камне, сначала во всей Европе, а затем и в остальном мире.

— Экая ультрареволюционность! Собираетесь ли вы, однако, свергать нынешние, в действительности существующие, тиранические государства в России, Пруссии, Франции, или ваши ошеломляющие цели распространяются только в общем и целом на весь мир, направлены против абстрактного государства, которое нигде не существует?

Все еще не замечая насмешки в вопросах Лизы, уверенный в неотразимости своих идей, Бакунин отвечал патетически и страстно:

— Мы против всякого государства, против всякой политической власти, ибо для нас не важно, называется ли этот авторитет церковью, монархией, конституционным государством, буржуазной республикой или даже революционной диктатурой. Мы их всех в равной мере ненавидим и отвергаем!

— Что же вы, Михаил Александрович, во время Коммуны так неудачно отменили государство и предоставили Тьеру возможность переполнить Сену кровью парижан?

— Французы! — с презрением воскликнул Бакунин, и глаза его загорелись таким огнем бешенства, что Лиза подумала, не безумен ли он.— Французы! Они не доросли еще до понимания всей сладости анархии, они испорчены многочисленными революциями, они заражены кабинетными учениями, они хотели заменить одно государство другим, диктатуру монархии они хотели заменить диктатурой коммуны. Все революционеры, которые на следующий день после бунта хотят строить революционное государство, гораздо опаснее всех существующих правительств! Мы, интернациональные братья, естественные враги этих революционеров. Если бы Тьер не уничтожил Коммуну, то она сегодня была бы нашим самым заклятым врагом. Французы — отсталый народ, у них слишком мало выбитых из колеи, готовых в любую минуту стать пиратами молодых людей, как в Италии, или разбойников, как в России.

— Да, разбойников на Руси хватает,— сказала Лиза раздумчиво, внимательно вглядываясь в Бакунина. «Не шутит ли со мной этот столь близкий некогда и такой чужой ныне человек? Не смеется ли, не озорничает ли по-мальчишески?» — И много уже примкнуло к вам разбойничков на нашей святой Руси, Михаил Александрович? — спросила Лиза бойко, и лицо ее вдруг озарилось доброй улыбкой. Ей казалось, что сейчас все обернется шуткой. Между тем Бакунин продолжал, тяжело припадая на больную ногу, шагать по комнате. Он вспотел, ссутулился и упорно смотрел в пол. Лизе он напомнил одновременно и пастора и дьявола, читающего богохульную проповедь.

— Разбой,— начал он снова высоким голосом,— одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбой-

ник — это герой, защитник, мститель народный; непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством; боец на жизнь и на смерть против всей чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации... Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни, и нет в нем сердца для вековых неизмеримых страданий народных. Тот принадлежит к лагерю врагов — к лагерю сторонников государства... Лишь в разбое доказательство жизненности, страсти и силы народа. Разбойник в России настоящий и единственный революционер, революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не политический и не сословный... Разбойники в лесах, в городах, в деревнях, разбросанные по целой России, и разбойники, заключенные в бесчисленных острогах империи, составляют один, нераздельный крепко связанный мир — мир русской революции. В нем, и в нем только одном, существует издавна настоящая революционная конспирация. Кто хочет конспирировать не на шутку в России, кто хочет революции народной, тот должен идти в этот мир... Следуя пути, указываемому нам ныне правительством, изгоняющим нас из академий, университетов и школ, бросимся дружно в народ, в народное движение, в бунт разбойничий и крестьянский и, храня верную крепкую дружбу между собой, сплотим в единую массу все разрозненные мужицкие взрывы. Превратим их в народную революцию, осмысленную, но беспощадную.

— Но почему же вы медлите, не восстаете? Вот, например, в Италии у вас немало последователей!

— Нет, Лиза, нет, не все готово и там. Италия уже беременна революционной стихией, но плод еще не созрел. И там народ еще не до конца понял мое учение! Даже сам Гарибальди мыслит не анархистски, а по немецкому шаблону. Мои друзья послали ему недавно наши газеты и мои программы. Он, однако, отверг меня и отрезал себе тем пути к подвигу и вечной славе. Знаете, что он ответил моему верному последователю? Вот!

Бакунин взял со стола синий конверт.

— Полюбуйтесь, как отстал от нашего времени даже такой великий человек, как Гарибальди. Послушайте, что

он пишет: «Парижская коммуна пала потому, что в Париже не было никакой авторитетной власти, а лишь одна анархия. Испания и Италия страдают от того же зла».

Бакунин поперхнулся от бешенства.

— Может ли быть большее недомыслие! Парижская коммуна, дорогая Лиза, пала именно от отсутствия подлинной анархии в моем понимании этого великого слова! Надо было распространять в народе идеи, соответствующие инстинктам масс, а эти инстинкты — бунт, бунт и бунт! Но итальянская молодежь уже обогнала своих вождей. Теперь она очертя голову бросается в революционный социализм, принимая всю нашу программу. Мадзини, наш гениальный и могучий противник, уже умер, мадзинистская партия совершенно дезорганизована, а Гарибальди все больше поддается влиянию той молодежи, которая носит его имя, но идет или, вернее, бежит, значительно опережая его.

— До сих пор ваши идеи, Михаил Александрович, находили своих сторонников главным образом среди разорившихся, проигравшихся в карты или прокутивших свои имения помещиков, а еще чаще среди потомков обедневших знатных дворян — к примеру, таких, как вы сами. Среди анархистов преобладают, насколько мне известно, неудачные адвокаты без практики, врачи без пациентов, бильярдисты, коммивояжеры, мелкие жулики, открытые и тайные агенты полиции. Во Франции члены вашего «Альянса» Ришар и Леблан уже после Парижской коммуны успели выпустить брошюру, которую заканчивают кличем «Да здравствует император», а многие французские анархисты являются информаторами охранки Тьера. Ваш «Альянс» напоминает ящик с двойным и даже тройным дном. Интернационал же, как вы знаете, ориентируется на рабочих, ведет открытую пропаганду своих идей среди трудового народа. Вы, как член Интернационала...

— Я, как член Интернационала,— вскричал Бакунин,— считаю, что Генеральный Совет в Лондоне заражен реакционным духом! Я, как член Интернационала, считаю, что его захватили немцы, пытающиеся навязать ему авторитарно-коммунистическую доктрину! Я, как член Международного Товарищества Рабочих, встав во главе интернациональных братьев, стремлюсь превратить Интернационал в орудие вселенской анархии, а не немецкого порядка! Я никогда не был другом марксидов, но

теперь я идейный лютый враг лондонского Генсовета. Мы вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть. Враг теперь среди нас, и мы его либо уничтожим, либо заставим служить себе, не считаясь ни с чем. Нам нужно не единство с немцами и англичанами из Генерального Совета, а разрушение его всеми силами и средствами!

Лиза побледнела и выпрямилась во весь рост. Огромные глаза ее горели. Она не могла и не хотела более скрывать подлинных своих чувств и омерзения, которое внушил ей Бакунин.

— Так вы действительно убийца Интернационала. Петля, яд, удар из-за угла — вся эта пакость кажется вам пригодной. Вы посылаете своих разбойничков ночью избить на улице Утина, якшаетесь с Нечаевым, этим подозрительным типом, убившим товарища. Вам все нипочем, кроме тщеславия и стремления во что бы то ни стало привлечь к себе внимание человечества. Вы сеете рознь и смущаете умы рабочих сейчас, когда на пустыре Сатори еще расстреливают героев Коммуны. Знаете, как это все определяется одним только словом на всех языках мира?

Бакунин отступил и остановился в недоумении, затем внезапно побагровел. Кулаки его сжались. Он громко, быстро дышал.

— Подлость, подлость, подлость! — четко выговорила Красоцкая.

— Прочь, мерзкая старуха! — завизжал Бакунин не своим голосом.— Так низко, как ты, не падала еще ни одна русская дворянка. Объединилась с немцами, предала великое доблестное славянское племя. Презренная...

Очки его внезапно упали на пол и разбились. Он походил на сову, ослепшую от дневного света.

— Мы вас уничтожим!..

Лиза не слыхала, что еще кричал ей вслед разъяренный Бакунин. Прижав руки к остро заболевшему сердцу, сбежала она с крутой лестницы и остановилась под огромным старым каштановым деревом, тщетно силясь перевести дыхание. В мозгу ее началась буря. Мысли закружились. И этот человек был когда-то ей близок! Им она жила многие годы, готовая пожертвовать ради него жизнью?! Какими страшными деспотами становятся подобные слабовольные и вместе властолюбивые натуры. Великие люди лишены честолюбия.

«И я любила Бакунина, любила беззаветно»,— с отвращением повторяла Лиза. Сердце ее билось все более неровно. Боль, незнакомая, пугающая, поднялась к горлу и схватила клещами левую руку.

«Что это со мной, неужели я умру здесь, сейчас?» — ужаснулась она, чувствуя, как похолодели ноги и липкий ледяной пот выступил на лбу. Несколько мгновений навсегда выпали из сознания Лизы. Постепенно, однако, боль стала уменьшаться, и она начала дышать глубже. Первый приступ грозной болезни прошел. Осталась только мучительная слабость. Медленно двинулась Красоцкая по безлюдной улице. Навстречу ей шло стадо ленивых коров. Мелодично звенели колокольчики, как бы аккомпанируя пастуху в белой накрахмаленной рубашке, который напевал тенорком протяжную горскую песенку. Лиза подумала о несоответствии разыгравшейся между нею и Бакуниным сцены и этого идиллического зрелища покоя, довольства и мира.

В Женеве, несколько дней спустя, Красоцкая рассказала на собрании Русской секции Товарищества о подробностях своего разрыва с главарем анархистов. От Утина она узнала о непрерывной, изнурительной борьбе, которую приходилось вести последователям Маркса с этими двурушниками.

— Какие уж они двурушники,— сто́рушники,— сказала Лиза.

Некоторые редакторы «Равенства» воспротивились Бакунину. В отместку он попытался уволить их из газеты. Но Женевский комитет Романской федерации давно уже тяготился деспотизмом Бакунина и был недоволен тем, что он перессорил его с Генеральным Советом и другими немецко-швейцарскими органами Интернационала. Поэтому все нежелательные анархистам руководители «Равенства» были оставлены на прежнем деле. Тогда, стремясь сорвать издание газеты, Бакунин отозвал из нее своих приверженцев. Началась снова грубая словесная перепалка, перешедшая в свару, столь желанную всегда апостолу безвластия.

«Бакунинцы, их учение и тактика кажутся мне злокачественной опухолью, которая исподволь разрушает исполненный силы организм нашего Товарищества. Это во-

истину смертельная угроза для столь великого начинания»,— печально думала Лиза, возвращаясь в Лондон.

Дома ее встретила Ася, очень веселая. По обыкновению, мило гримасничая и что-то перебирая руками, она сообщила:

— Мамочка, новость-то какая! Женнихен Маркс помолвлена. Угадай, кто ее жених?

— Я хотела бы, чтобы это был Франкель.

— Вот и ошиблась. Шарль Лонге. Настоящий гидальго!

— Французы превосходные люди, но как мужья они часто бывают слишком беспечны. Мне кажется, в них мало степенности и сдержанности. Женнихен такая хрупкая, вся как из самого драгоценного фарфора,— ответила Лиза.

— Ты говоришь — французы, а сама учила меня не судить о целой нации.

— Верно, дорогая. Даже приморская галька не однородна.

— Тусси сказала мне, что госпожа Маркс тоже не вполне уверена, будет ли счастлива Женнихен с господином Лонге.

— Трудно найти достойного мужа для такой девушки. Женнихен умна, нежна и впечатлительна. Нечасто в наши дни встречается столь совершенное существо.

— Тусси поведала мне по секрету...

— Не следует передавать то, что тебе одной доверили,— прервала Лиза свою дочь.

— Но это не какая-нибудь бездонная тайна,— вспыхнула Ася и, как всегда, когда чувствовала неловкость, принялась беспокойными пальцами раскручивать и свивать свои длинные локоны, падавшие на грудь и плечи.— Ленхен обеспокоена, не склонен ли, как многие южане, будущий муж китайского императора Кви-Кви к лени.

— Я знала Шарля Лонге еще в Париже. Он был одним из редакторов газеты Коммуны. В такие дни, как те, в людях не ошибаются. Это честный и смелый человек. Большое счастье, что он избежал расстрела и благодаря помощи одного доброжелателя смог вовремя скрыться и бежать в Англию. Я надеюсь, госпожа и господин Маркс будут довольны выбором своей дочери.

Ася ничего не ответила. Лонге ей не нравился.

Здоровье Маркса не улучшалось, и он, по настоянию врачей, вместе с Женни, Энгельсом и Лиззи отправился на побережье. Любимым морским курортом обеих семей был Рамсгет, расположенный на востоке острова, несколько севернее Дувра, большого и шумного порта. Цены на комнаты в отелях, расположенных вдоль просторной набережной, были там значительно дешевле, чем в других, более модных местах, а красивый пляж, упирающийся в светлую меловую гору, ничем не уступал такому же в Борнмуте и Корнуэлле, куда устремлялись английские знать и богачи. Рамсгет был одним из самых непритязательных и веселых курортов Англии. На улицах городка в праздничные дни разгуливали фокусники, жонглеры и артисты, готовые по первому требованию публики начать концерт, показать пантомиму или кукольное представление с неизменным петрушкой. Маркс и Энгельс отмечали, как хорошо им дышится, спится и живется у моря.

Есть особая, неповторимая прелесть в туманных очертаниях берегов Англии, в неприхотливых прибрежных селениях. Сначала они разочаровывают своим мнимым однообразием, но ничто не успокаивает так встревоженное, усталое сердце, как бескрайний необозримый простор водной стихии и серо-голубой цвет неба. Нет вокруг яркой, будоражащей пестроты юга, его утомительной навязчивой красоты. Сквозь дымку тумана с трудом пробиваются нежные пучки лучей, которые, подобно кисти, кладут на мольберт из песка и камня блеклые тона красок.

Энгельс в любую погоду отправлялся к морю, плавал и нырял, как амфибия. Море неизбежно заряжало его энергией и бодростью. Маркс тоже заметно становился здоровее в Рамсгете.

А в Лондоне обоих друзей снова ждал чрезмерный умственный труд. Маркс говорил, что имей день сорок восемь часов, и то он не справился бы со всей своей работой. Помимо всего остального, он взял на себя политическую организационную подготовку предстоящего Гаагского конгресса Интернационала.

Все это время Маркса по пятам преследовала стая журналистов, желавших увидеть того, о ком буржуазия разных стран продолжала фабриковать чудовищные измышления как о громоносце Интернационала, готовившемся низвергнуть утвердившийся общественный строй.

Телеграф с молниеносной быстротой разносил их по миру. Призрак Парижской коммуны неотступно пугал имущие и правящие классы.

Энгельс напряженно работал в Генеральном Совете Международного Товарищества Рабочих, тратя немало сил на борьбу с анархистами. В январе 1872 года он писал в Милан одному из преданных единомышленников, Теодору Куно, о раскольнической интриганской деятельности Бакунина:

«Если только представить, в какой момент,— как раз тогда, когда Интернационал всюду подвергается самой ожесточенной травле — эти люди организуют свой заговор, то невозможно отделаться от мысли, что господа из международной полиции не приложили к этому свою руку. Да так оно и есть. В Безье корреспондентом женевских бакунистов является главный комиссар полиции. Два видных бакуниста, Альбер Ришар из Лиона и Леблан, были здесь и заявили одному рабочему... что единственное средство свергнуть Тьера — это снова посадить на трон Бонапарта, и поэтому они разъезжают *на бонапартистские деньги,* чтобы вести среди эмигрантов *пропаганду в пользу бонапартистской реставрации!* Вот что эти господа называют воздержанием от политики! В Берлине субсидируемый Бисмарком «Neuer Social-Demokrat» поет ту же песню».

Несколькими месяцами позже в Гааге состоялся конгресс Интернационала. Маркс отправился туда в сопровождении жены и Элеоноры.

Заседания происходили в небольшом кафе Схрайфера на Ломбард-страат. Помещение — светлое, украшенное лепным орнаментом,— сдавалось в обычное время под балы, концерты и танцы.

На конгресс съехались делегаты из разных стран мира. Среди светловолосых северян резче выделялись смуглолицые представители красочной Италии и солнечной Испании. Английский язык перемежался с немецким и французским. В разноликой толпе особенно выделялся своим гигантским ростом, скульптурной богатырской фигурой и угольно-черной бородой друг Маркса, немец-щеточник Иоганн Филипп Беккер. За столом подле председательствующего сидел Энгельс. Он умудрялся в одно и

то же время подносить ко рту темную, прокуренную, добротную трубку, делать записи в толстой тетради, отвечать на вопросы подходивших к нему людей и слушать с нескрываемым увлечением ораторов, говоривших с небольшого, деревянного, похожего на амвон возвышения. Костюм Энгельса казался только что полученным от портного, настолько был чист и отутюжен. Великолепная выправка, размеренность и точность жестикуляции придавали ему вид заправского военного, случайно надевшего штатское платье. Он был все еще на редкость моложав. С годами лицо его потеряло округлость и черты несколько заострились, но кожа осталась по-молодому свежей и гладкой. В пятьдесят с лишним лет Энгельс все еще сохранял русыми волосы, и в рыжеватой бороде и усах не видно было седых нитей. Серо-синие глаза его блестели задорно. Сидевший рядом с другом Маркс выглядел значительно старше. Густые волосы и борода его были пушисты и белы, как горные эдельвейсы, и резко оттеняли желтовато-смуглый, несколько болезненный цвет лица. Под чуть припухшими и прищуренными веками, вокруг глазниц от многих бессонных ночей в труде залегли глубокие морщины, и только лоб, величавый, выпуклый и ясный, оставался по-прежнему молодым, как и неотразимый, яркий взгляд. Желая что-либо рассмотреть, Маркс вставлял в правый глаз монокль.

Подавляющее большинство интернационалистов европейских стран и Америки были приверженцами взглядов Маркса и Энгельса. Они приветствовали их с трибуны.

Недавний член Парижской коммуны Лео Франкель переводил речи ораторов с немецкого на французский язык. После продолжительной торжественной части конгресс приступил к работе.

Предстояла решающая битва между сторонниками Генерального Совета и «Альянсом» Бакунина. Вождь анархистов, однако, в Гаагу не явился.

Вместе с семьей Маркса в Гаагу, чтобы побывать на конгрессе, поехала и Красоцкая. Овдовев, она постоянно тосковала и стремилась к перемене мест.

— Агасфер,— говаривала Лиза,— был, очевидно, гоним по свету главным образом одиночеством. Когда теряешь близких и видишь обломки своей семьи, единственным подлинным утешением остается любимое дело, движение и общение с людьми.

На больших хорах, отведенных для гостей и прессы, Женни Маркс и Лиза проводили все часы работы конгресса. Облокотившись на барьер, побледневшие от напряженного внимания и воодушевления, сидели они рядом, стараясь не упустить ни одного слова, раздававшегося в зале.

Доклад Генерального Совета читали по очереди Маркс, Энгельс и другие члены центрального органа Интернационала. Он был написан на английском, немецком и французском языках. Так как многие делегаты из Испании, а также Италии не знали никаких языков, кроме родного, для них был назначен особый переводчик. Когда они в ходе заседаний обращались с вопросами к руководителям конгресса, им нередко отвечали на их же языке Маркс и Энгельс.

Вопреки проискам бакунистов, конгресс признал необходимым для победы социалистической революции создание пролетарских партий и продолжение политической борьбы. Это решение было включено в «Устав» Интернационала и стало законом для его членов.

Особая комиссия занялась расследованием подрывной работы бакунистов в Международном Товариществе.

Неопровержимые доказательства вероломного и раскольнического поведения анархистов привел в своем докладе, представленном конгрессу от имени Генерального Совета, Энгельс.

«Впервые в истории борьбы рабочего класса мы сталкиваемся с тайным заговором внутри самого рабочего класса, ставящим целью взорвать не существующий эксплуататорский строй, а само Товарищество, которое ведет против этого строя самую энергичную борьбу»,— писал Энгельс.

Пять выборных членов следственной комиссии по делу Бакунина работали с вечера до поздней ночи в течение нескольких суток. В их числе были также Валерий Врублевский и Лео Франкель. Им пришлось прочитать множество писем, печатных документов, отчетов, выдержек из книг. Только тогда пришли они к единогласному решению и объявили, что Бакунин действительно виновен. Он, как это было отныне доказано, пытался разрушить Интернационал с помощью беспринципного общества «Альянс», стремился к расколу и тем самым готовил гибель Международного Товарищества Рабочих.

Когда председатель следственной комиссии Теодор Куно объявил во всеуслышание с трибуны конгресса о несомненной виновности Бакунина, один из анархистов, испанец, опоясанный огненно-красным флагом, который он, видимо, решил развернуть, когда во всем мире будет объявлена анархия, бросился к трибуне, выхватил пистолет и со словами: «Такой человек заслужил пули!» — прицелился в Теодора Куно. Неистового последователя Бакунина успели вовремя обезоружить.

Заслушав пространный отчет следственной комиссии, конгресс постановил большинством голосов исключить руководителя «Альянса» Бакунина и его сподвижника Гильома из Интернационала.

Покуда на Ломбард-страат шел конгресс, Элеонора и Ася несколько раз осмотрели Гаагу. Правда, не в пример своей подруге, вполне равнодушной к политике и международному рабочему движению, младшая дочь Маркса была с юношеских лет преисполнена глубокого интереса ко всем социальным вопросам, много об этом читала и стремилась скорее включиться в жаркую революционную борьбу. Она нередко бывала на заседаниях конгресса и прослушала все основные доклады, но по настоянию родителей для отдыха должна была совершать прогулки на свежем воздухе.

— Я, право, дивлюсь, как можешь ты слушать, да еще с таким увлечением, скучные речи делегатов. Мне, когда я бываю там с тобой, так трудно бороться со сном. Я нарочно кусаю себе пальцы, чтобы не клевать носом. По правде сказать, я совершенно не выношу двух земных бедствий: концертов классической музыки, особенно Баха, Генделя и Моцарта, и разговоров на политические темы,— признавалась Ася.— Пожалуйста, не выдавай меня мамочке, иначе она начнет меня презирать. Мой любимый композитор Оффенбах, а танец — канкан. Вот это настоящая современность!

Элеонора весело смеялась.

— Бедняжка Эсси, ты лишена самого прекрасного в жизни, у тебя, по-видимому, от природы глухое сердце.

Гаага — прелестный маленький город с низкими, однообразными кирпичными красно-коричневыми строениями в стиле ранней готики, с улицами чистыми, как небо

после ливня. Это прекрасная, комфортабельная деревня с нарядными полянками и садами, с прозрачно-чистым ароматным воздухом и тишиной, нарушаемой только шорохом рессор экипажей и топотом лошадиных подков. Умиротворяющий душу город свято хранит традиции своих предков и их понятия о прекрасном.

Тем более всполошились и перепугались богатые голландские колонизаторы, промышленники и купцы, узнав о конгрессе Интернационала. Вся полиция его королевского величества была поставлена на ноги, и за руководителями Международного Товарищества Рабочих неотступно шествовали переодетые в штатское «блюстители порядка» и шпики.

Конгресс в Гааге стал решающей вехой в борьбе интернационалистов с бакунистами. Учение Маркса одержало победу над опасным, как взрывчатое вещество, сумбуром анархизма, отражавшим чаяния мелкой буржуазии. Бакунин опирался на такие страны, где пролетариат страдал не столько от капитализма, сколько от недостатка его развития,— на Италию, Испанию.

На заключительном заседании Энгельс предложил перенести местопребывание Генерального Совета в Нью-Йорк, ввиду усилившихся преследований со стороны европейских правительств и враждебной деятельности анархистских и других мелкобуржуазных лиц, проникших в отдельные секции. Это не встретило возражений.

Из Гааги делегаты конгресса съездили в Амстердам, где состоялся митинг. Тесный зал близ порта был переполнен, и собравшиеся голландские рабочие, бурно выражая одобрение, слушали оратора стоя.

Маркс в своей речи, посвященной необходимости завоевания трудящимися политической власти с целью социалистического преобразования всего человеческого общества, сказал: «...мы никогда не утверждали, что добиваться этой цели надо повсюду одинаковыми средствами.

Мы знаем, что надо считаться с учреждениями, нравами и традициями различных стран; и мы не отрицаем, что существуют такие страны, как Америка, Англия, и если бы я лучше знал ваши учреждения, то, может быть, прибавил бы к ним и Голландию, в которых рабочие могут добиться своей цели мирными средствами. Но даже если это так, то мы должны также признать, что в большинстве стран континента рычагом нашей революции

должна послужить сила; именно к силе придется на время прибегнуть, для того чтобы окончательно установить господство труда».

Со дня возникновения Интернационал выполнял с честью свою великую миссию. Основывая Международное Товарищество Рабочих, Маркс составил его устав. Благодаря широте своего охвата Международное Товарищество Рабочих смогло стать тем, чем было,— средством постепенного растворения и поглощения всех многочисленных разветвлений социалистической мысли.

Маркс и Энгельс не сомневались, что практическая деятельность Интернационала доказала, как работать в согласии с общим пролетарским движением на каждой стадии его развития, не принося, однако, в жертву и не скрывая собственных, четко выраженных принципов.

После окончания работы конгресса Маркс и Энгельс пригласили делегатов на обед в Схевенинген — приморское рыбачье селение, рядом с которым незадолго до того вырос небольшой благоустроенный курорт.

Женни Маркс, три ее дочери, Поль Лафарг, Шарль Лонге и Красоцкие отправились к морю из тихой Гааги в удобных экипажах. Езды было немногим более часа. Мощеная дорога пролегла по равнине, вдоль нарядного пригорода, купеческих вилл и зажиточных фермерских хозяйств. Стояла погожая теплая осень, и море у плоского Схевенингена было такое же желтовато-серое, как песок на необозримом пляже и блеклое небо, неотделимое на горизонте от водного простора. Элеоноре показалось, что она очутилась внутри переливчатой речной раковины.

В тяжелых темных сборчатых юбках и туго накрахмаленных рогатых белоснежных чепцах, держа в руках Библию, направлялись неторопливо, степенно к церковной службе рыбачки.

— Не сошли ли они с полотен Гольбейна, которые так понравились нам в Гаагском городском музее фламандской живописи! — завидя их, воскликнула Ася.

— Вот и рыжеволосые потомки натурщиков самого Рембрандта,— звонко вторила ей Тусси, показывая на местных жителей в бархатных жилетах, столпившихся на берегу у больших парусных лодок.

— Увы, девятнадцатый век взирает на нас во образе многочисленных полицейских,— разрушила очарование далекого прошлого Красоцкая и указала девушкам, с которыми гуляла по пляжу, на нескольких рослых мужчин в форме, шагавших на незначительном расстоянии от Маркса.

— Как они боятся Интернационала,— отозвалась Элеонора.

— И особенно твоего отца, Тусси.

— И все-таки здесь, несмотря ни на что, великолепно.

Схевенинген, наперекор времени, сохранил, будто в заповеднике, многое из быта и нравов некогда великих Нидерландов. Нигде в Голландии табак не казался таким ароматным, а сыр вкусным, как в этом тихом селении. Все иноземцы поддались очарованию и долго бродили по песчаной набережной, вдоль белых домов с черепичной яркой крышей, вдыхая бодрящий солоноватый воздух.

Фридрих Энгельс не преминул воспользоваться случаем и под вечер отправился с несколькими товарищами купаться. Наступил как раз час прилива. Волны ринулись к берегу. Теодор Куно, увлекшись, уплыл далеко в море и внезапно начал тонуть. Энгельс, заметив грозившую ему опасность, бросился на помощь. Добравшись к утопающему и ухватив его за волосы, он с ним вместе, борясь с валами, доплыл до берега.

За обедом было выпито много вина, выкурены десятки великолепных голландских колониальных сигар. Теодор Куно, сидевший возле Женни Маркс, громко рассказывал о своей предстоящей поездке в Америку. Маркс, хитро улыбаясь и указывая на Лафаргов, сказал ему:

— Вам следует в Новом Свете разрешить негритянский вопрос так, как это сделала одна из моих дочерей, выйдя замуж за мулата. Ведь Поль Лафарг негритянского происхождения.

Под общий смех молодой интернационалист обещал обязательно выполнить пожелание Маркса. Много забавных историй рассказал полюбившийся всем делегатам Генерал — Фридрих Энгельс.

Важные и полезные знакомства произошли в эти дни в стенах зала «Конкордия» на Ломбард-страат и в Схевенингене. Возникла не одна прочная дружба между революционерами, говорившими подчас на разных языках,

но об одном и том же, и поставившими перед собой единую цель.

Во время конгресса у Маркса установились добрые отношения с Зорге, жившим в Америке, и Теодором Куно, собиравшимся переселиться за океан. Вождь Интернационала снова встретился с Иосифом Дицгеном и Кугельманом.

Накануне отъезда из Голландии Маркс долго беседовал с Куно; они договорились о том, как повести организационную работу в Новом Свете.

В годы, когда учение Маркса и Энгельса одержало победу в Интернационале, многое изменилось в Европе. Парижская коммуна была разбита, окрепло буржуазно-национальное движение в Германии, силы реакции продолжали свирепствовать в полукрепостной России, и избегал потрясений развращаемый подкупом буржуазии английский пролетариат.

Маркс и Энгельс правильно учли время наступивших перемен. В итоге упорных боев они вместе со своими сторонниками разбили не одну секту, вредившую рабочему движению. Международное Товарищество Рабочих выполнило свою великую миссию и должно было сойти с исторической сцены. Началась новая, более мощная эпоха развития социалистических пролетарских партий внутри отдельных государств. Солидарность всех рабочих земли, впервые воплотившаяся в Интернационале, должна была, по мнению Маркса, развиваться и крепнуть отныне в иных формах.

— Я думаю,— заявлял Энгельс,— что следующий Интернационал — после того как произведения Маркса в течение ряда лет будут оказывать свое влияние — будет чисто коммунистическим и провозгласит именно наши принципы.

Борьба с бакунистами продолжалась еще некоторое время. Выполняя решения Гаагского конгресса, Маркс и Энгельс при участии Лафарга опубликовали в 1873 году брошюру «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих». В ней, кроме доклада, зачитанного делегатам, отчетов следственной комиссии, было напечатано много новых документов о раскольнической и предательской деятельности анархистов во

всех странах, включая Россию. Бакунин остался верен себе, он не брезгал никакими средствами в достижении цели. Ни в личной, ни в политической жизни он не был никогда последователен. Обвинения, выдвинутые и доказанные в брошюре руководителей Интернационала, были столь убедительны и неопровержимы, что Бакунин открыто заявил о своем отказе от общественной деятельности. Но настолько всем была уже ясна двойственность всех его заверений и поступков, что ему опять не поверили. И действительно, Бакунин решил целиком отдаться подготовке революционного выступления в Италии. Отправляясь летом 1874 года в Болонью, он, однако, не столько надеялся на успех восстания, сколько на возможность смерти на баррикадах. Восстание в самом начале было подавлено. Переодетый в костюм священника Бакунин пешком покинул Болонью. Жена его с детьми уехала на целых два года в Россию и вернулась оттуда не столько к нему, сколько к Гамбуцци, которого любила.

Терзаемый болезнью почек, одинокий, Бакунин прожил последние два года жизни в Лугано в крайней бедности, но по-прежнему сохраняя бодрость духа и верность своим убеждениям.

Сочетавшись браком с Лонге, Женнихен покинула родительский дом. Вскоре Элеоноре минуло восемнадцать лет, и она настояла на том, чтобы начать работать. Ей удалось получить место учительницы в приморском городке Брайтоне. Наконец-то пришла для нее давно желанная самостоятельность.

Младшая дочь Маркса была стройной, похожей на испанку пышноволосой брюнеткой с безукоризненно свежим цветом лица и черными глазами. Особенно украшала Элеонору улыбка, то озорная, совсем еще детская, то застенчивая или насмешливая, чуть раздвигавшая полные губы, то задумчивая, легкой дымкой пробегающая по всему лицу, или широкая, безудержно веселая, с чистосердечным смехом, раскрывающая все ее, как рис, белые, ровные зубы.

Элеонора унаследовала от матери чрезвычайно подвижное и меняющееся лицо. Сызмала она увлекалась гимнастикой, постоянные упражнения придали ей изящество и гибкость. Ей доставляли удовольствие игры с

мячом, бег, плавание и легкая атлетика. Чрезвычайно общительная, жизнерадостная, сердечная, она очень нравилась людям и легко находила друзей в самых различных слоях общества. Все вокруг казалось ей в эти годы полным интереса, примечательным. Элеоноре хотелось познать как можно больше, увидеть, объять. Она надеялась стать актрисой. Мелодичный голос и привлекательность заставляли каждого, кто встречал молодую девушку, думать о том, что она создана для театра. Подобно своей старшей сестре Женнихен, Тусси, несомненно, могла бы многого достичь на сцене.

С самых ранних лет в Элеоноре уживались трезвость и бескрайняя мечтательность. Она хорошо знала особенности политической обстановки, сложившейся в разных странах, понимала значение международной солидарности рабочих и была убежденной интернационалисткой. Многому научило ее пребывание в революционной Франции и общение с героическими защитниками первого пролетарского государства. Одним из самых близких друзей младшей дочери Маркса стал литератор и историк, последователь Бланки, Проспер Оливье Лиссагаре, участник Парижской коммуны. Когда он сообщил Элеоноре, что задумал издавать журнал «Красное и черное», девушка с присущей ей горячностью и энергией принялась помогать ему в осуществлении этой идеи. Она тотчас же написала в Германию Вильгельму Либкнехту, давнишнему другу всей семьи, которого знала с раннего детства и называла, так же как и ее старшие сестры, Лайбрери.

«Для Франции нужно издавать публикации, которые освещали бы социалистическое движение во всех странах, в частности в Германии,— поясняла Элеонора.— Франция должна знать, что она может завоевать симпатии других наций, только сочувствуя им в свою очередь».

Журнал «Красное и черное» существовал очень недолго. Его закрыли из-за отсутствия средств у издателя. А дружеские отношения между Лиссагаре и Элеонорой, однако, не только продолжались, но и перешли в чувство более сложное. Лиссагаре просил руки Элеоноры и получил ее согласие. Отныне он стал бывать в Модена-вилла в качестве жениха. Однако Маркс и его жена были этим весьма опечалены. Не такого мужа хотели они для своей

любимицы Тусси. Лиссагаре был немолодой, малосимпатичный человек. Его политические взгляды, его интересы казались весьма неопределенными. Он не внушал отцу Тусси достаточного доверия. Маркс находил, что дочь его еще очень юна и охвачена не настоящей любовью, а быстропреходящим сердечным капризом.

Элеонора болезненно восприняла необходимость выбора между настояниями родителей и первым своим увлечением. Лиссагаре, бывший на шестнадцать лет старше ее, происходил из обедневшего старинного аристократического рода, он хорошо знал женщин и умел быть обаятельным в обращении с ними. В прошлом он не отказывал себе в случайных приключениях и связях. Его многословные признания, утонченное ухаживание, естественно, льстили девушке, которой не столько нравился он сам, сколько завязавшаяся благодаря ему сложная игра в любовь. На душу Элеоноры наслоилось многое, почерпнутое из бесчисленных прочитанных ею книг. Лиссагаре понял это и охотно изображал из себя попеременно Гамлета, Ромео, Кориолана, Спартака, в зависимости от того, чего от него ждали. Он советовался с нею по каждому поводу и в письмах к Элеоноре называл ее своей маленькой женушкой.

Женни Маркс, напуганная опасностью непоправимой ошибки, нависшей над Элеонорой, решила поговорить с ней начистоту.

— Дитя мое,— начала она осторожно,— ты больше, нежели твои сестры, в одной и той же мере похожа на своего отца и на меня. Женнихен — копия Мавра, а Лаура напоминает мне шотландцев Питтароо.

— К чему это предисловие, мэмэ? — настороженно спросила Тусси.

— К тому, что нам с тобой свойственна необоримая сила воображения. Это наше благо и напасть. То, что иной только слышит, мгновенно претворяется для нас также и в образы.

— Я не понимаю тебя.

— Терпение. Сейчас все станет ясным. У нас с тобой от рождения зрячие сердца, а у некоторых людей они безглазые. Я помню, как ты играла моей рукой, заставляя сжимать и разжимать ладонь. Ты видела тогда голову живого ребенка и слышала его лепет. Позднее, наскучив куклами, ты играла с деревянным обрубком. Он давал

простор твоей фантазии, ты его создавала таким, каким тебе хотелось, а куклы досаждали раз навсегда нарисованными физиономиями. Как это мне все было понятно. И вот прошло много лет. Ты стала взрослой, самостоятельной, но по-прежнему не хочешь брать окружающих тебя людей такими, какие они есть на самом деле, не всматриваешься в их естество и сущность, а создаешь несуществующих героев согласно своей мечте, а подчас прихоти. Это только твое творение, и наступит миг, чары рассеются. Вот посмотри, за окном стоит столб для газового фонаря. Ты, я знаю, способна одеть, оживить его по внезапному капризу, как некогда мою руку, а когда придет прозрение — ты больно ударишься об эту подгнившую тумбу.

— Ты имеешь в виду Проспера? — тихо спросила Элеонора.

— Не он меня интересует, а ты. Лиссагаре не тот, каким ты его создала в своем неудержимом чудесном воображении. Увы, в этом я твердо уверена. Порукой тому наш с Мавром жизненный опыт. Он, может, и неплохой человек, но тебе не нужен. С ним ты не найдешь счастья, поверь мне.

Прошло немного времени, и Элеоноре начало казаться, что с глаз ее действительно спала пелена. Она вдруг совсем по-иному увидела и услышала Лиссагаре. Он стал ей совершенно безразличен. Брак их не состоялся.

Летом 1873 года Герман Лопатин бежал из ссылки. Целый месяц скрывался он в Иркутске, причем некоторое время прятался в доме того самого человека, которому была поручена его поимка. Переодетый крестьянином, он отправился на телеге в Томск, затем на пароходе плыл до Тобольска, оттуда на почтовых и по железной дороге приехал в Петербург, не вызвав ничьих подозрений. Он перехитрил охотившихся за ним жандармов и благополучно перебрался за границу.

В изгнании Лопатин встретился с Утиным и Лавровым и вскоре вновь появился в Лондоне, где его сердечно приветили, как дорогого и родного человека. Энгельс выспросил все подробности, касавшиеся неудачной попытки спасти Чернышевского, предпринятой Лопатиным несколько лет назад.

— *Мне дьявольски не* посчастливилось,— рассказывал отважный, исполненный безудержной энергии, увлекающийся Лопатин.— Когда я прибыл в Иркутск, Чернышевский находился совсем близко, всего в каких-то семистах — восьмистах английских милях, но из-за длинного языка осла Элпидина, который проболтался провокатору, что готовится побег, Чернышевского спешно перевели в Средне-Вилюйск. Это севернее Якутска. Он жил там в обществе местных тунгусов и сторояживших его унтерофицера и двух солдат. Я отправился бы туда, если бы тот же провокатор не навел жандармов на мой след в Иркутске и я не очутился в остроге.

Во время пребывания Германа Лопатина в Лондоне Маркс с младшей дочерью находился на лечении в Харрогете, и Энгельс, как всегда, когда друзья были в разлуке, подробно рассказал ему в письме о том, что слышал.

«Лопатин и Утин,— делился с Марксом своими мыслями Энгельс,— никогда, пожалуй, не станут очень близкими друзьями, их характеры мало подходят друг к другу... К тому же Лопатин, оставаясь большим русским патриотом, считает «русское дело» все еще чем-то особым, не касающимся Запада».

Начало совместной жизни Женни и Шарля было осложнено материальной нуждой. Подобно своей матери, старшая дочь Маркса, выйдя замуж, делила судьбу политических изгнанников. Супруги Лонге долго и тщетно искали работу и мучительно боролись за сносное существование. Вскоре Шарлю удалось получить место преподавателя в одном из колледжей. Женнихен давала уроки немецкого языка, декламации и пения. Она учила также детей в школе и познакомилась с тем, как поставлено было образование в преуспевающей, богатейшей стране.

Веками отстоявшийся быт великобританского обывателя обрекал его детей на такое же изолированное сословными перегородками существование, каким жил он сам. Знакомства и дружба молодежи строжайше контролировались родителями, и на семейные торжества не проникали дети бедных людей.

Еще резче, чем английский рабочий отличался от представителя сытого среднего сословия, разнились между собой их дети. Насколько откормлен, румян, хорошо

одет был сын домохозяина Хэмпстеда, настолько худ, искалечен рахитом — «английской болезнью» нищеты — мальчуган, выраставший без присмотра в каторжном Ист-Энде и Уайтчапеле.

Низшие и средние учебные заведения туманного острова не были подчинены единому педагогическому методу, и от мировоззрения, политических симпатий начальства всегда зависела и система преподавания, и большая или меньшая строгость в обращении с учениками, применение телесных наказаний и количество ежедневно распеваемых псалмов.

Большинство школ существовало на средства благотворительных учреждений или отдельных жертвователей.

Приюты, открытые филантропами, были печальны, темны, грязны, как родильные дома «неимущих». Узкий маленький двор заменял там лужайки и сады платных колледжей.

Время от времени, обычно незадолго до рождественских и пасхальных каникул, директриса представляла благотворителям юных объектов их милостей. После общей молитвы, декламации подобранных к случаю поучительных стихов ученики почтительно благодарили попечителей, которые снисходительно раздавали им дешевые издания Библии.

Каждая сколько-нибудь зажиточная семья стремилась освободить своих детей от унижений, побоев, грубости государственных и особенно филантропических школ. Хорошее образование в Англии было счастливым уделом богатых, и сумма учебной платы безошибочно определяла качество школьного преподавания. Она колебалась между десятками и сотнями фунтов стерлингов в год, переваливая за тысячу в знаменитом Оксфорде.

Получивший небольшое наследство или выигравший на скачках клерк старался обеспечить для своего ребенка места на скамье средней и высшей школы. Если в семье было двое или трое детей, то всегда вставал драматический вопрос: кто из них достоин столь счастливого жребия? Тогда родителями тщательно учитывались мнения родственников, обещавших денежную поддержку, способности самих детей, полученные ими школьные награды и нередко даже невнятные гороскопы, выписанные из Индии.

Знать и купеческая верхушка воспитывали наследников титулов и денег в колледжах старинного Итона. Оттуда отпрыски банкиров, лордов, промышленников, герцогов переходили прямо в университеты Оксфорда.

Городок Итон отделен от Виндзора — загородной резиденции королей — узкой, спокойной рекой, через которую перекинут вековой несокрушимый мост.

Многочисленные школы, построенные несколько сот лет тому назад, похожи на средневековые монастыри. Каждый колледж имеет свою часовню, расположенную в квадратном, поросшем густой травой дворе, на который выходят готические сводчатые окна ученических квартирок и лекционных залов.

Итон — один из наиболее тихих городов Англии. Кажется, что он населен не начинающими жизнь юными существами, а тихо умирающими старцами, давно ушедшими в сторону от мирской суеты, волнений и радостей.

Потомство зажиточных классов получало самое строгое воспитание, и телесные наказания не были запрещены. Буржуазия нуждалась в хладнокровных, сдержанных, смелых людях, одинаково беспощадных и расчетливых на палубе парохода, в военном штабе, в банкирском кабинете Сити, в палате лордов, в полицейской администрации Индии, в губернаторском кресле африканских и островных владений. Английские дети дрессировались с грудного возраста. В шуме английского города почти невозможно было услышать детского плача.

Джон Рескин, одаренный социальный фантазер и пресыщенный эстет, единственный сын богатого купца, любил вспоминать, что родители неизменно наказывали его за неловкость и неосторожность, если он нечаянно падал во время прогулок и игр.

Закалка нервов будущего человека — первое, о чем заботилась мать, предоставляя новорожденного самому себе в промежутках между кормлением.

Английская детвора была исключительно самостоятельна и вежлива. Огромный Лондон стал наиболее безопасным для детей городом. Они не рисковали там заблудиться среди леса одинаковых, как сосны, домов и лишь при особо несчастливом стечении обстоятельств, реже, чем взрослые, попадали под колеса бессчетных карет. Не только полицейский, но и каждый прохожий отвечал за одиноко пробирающегося по улице ребенка.

Дисциплинированные воспитанники Итона были крайне надменны. Главной заботой их жизни являлась борьба за первенство. Не зная никаких материальных ограничений, они были поглощены гимнастической и ораторской тренировкой, изучением истории королей, генералов и доблестных министров, возней с собственными лошадьми, соревнованием в умении одеваться, предвкушением каникулярных путешествий и забав в родовых имениях.

В праздничные и торжественные дни выпусков юные снобы прохаживались в цилиндрах, фрачных парах, перчатках по каменной безлюдной площади со старым колодцем и церковью посредине, вызывая зависть и удивление своих неимущих сверстников.

Расположенный напротив колледжей, за зубчатой стеной, королевский дворец обещал итонским питомцам награды, выслуги, светский успех и подвиги во имя короны и Сити.

Итон, как и следующий за ним университетский Оксфорд, где некоторое время жили супруги Лонге, изготовлял и поставлял достойную замену титулованным реакционерам на парламентских скамьях.

Подобно Итону, два города, сохранившие в неприкосновенности свои строения времен Кромвеля — Кембридж и Оксфорд,— являлись важными учебными пропускными пунктами правящих классов.

Сделавшая привал на три-четыре года, молодежь возвращалась затем по домам. Богатые и знатные потомки колониальных владык переплывали моря, привозя на родину дипломы юристов, философов, строителей и врачей.

Колледжи городов-университетов похожи на магометанские богословские школы — медресе. Старые каменные здания обращены фасадами внутрь четырехугольных дворов. Нарушаемая дважды в день протяжным пением органа во время церковной службы тишина господствует среди темных, обвитых плющом сводов и каменных оград с пробивающимся в щелях ярко-зеленым мхом. Дома построены, как молельни, и учащиеся, по замыслу средневековых ученых, должны чувствовать себя избранниками божества, хранителями его тайны.

Часто студенты селились в дорого обставленных многокомнатных квартирах вместе с исполнительными лакеями, холеными псами и обязательным собственным выездом.

Шарль Лонге, преподававший французский язык, зарабатывал настолько мало, что не в силах был прокормить свою беременную жену. Впрочем, Женнихен и сама рвалась к работе. Хрупкая, болезненная, она совершенно не щадила своего здоровья. Кроме многочисленных уроков, она вела все хозяйство и постоянно что-нибудь изучала. Круг ее интересов непомерно ширился; она занималась математикой, литературой, в том числе и русской, музыкой и особенно увлекалась историей выдающихся женщин разных стран.

Женнихен хорошо играла на рояле и пела. Николай Даниельсон, с которым она переписывалась, прислал ей в подарок партитуры «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». С тех пор к своим любимым композиторам: Бетховену, Генделю, Моцарту и Вагнеру — Женни Лонге присоединила и Глинку. Маркс слушал арии Антониды и Людмилы в умелом исполнении своей дочери.

Настал 1874 год. Маркс работал над вторым томом «Капитала», не замечая смены дня и ночи. Вокруг его глаз, окруженных густой сеткой мелких морщинок, залегли темно-синие тени. За обедом, поглощенный своими мыслями, он отвечал невпопад на строгие оклики Ленхен, весьма недовольной тем, что он ел мало, быстро и, главное, вовсе не то, что готовилось ему согласно диете доктора Гумперта. Несмотря на решительный медицинский запрет Марксу писать по ночам, Женни находила мужа далеко за полночь склонившимся над письменным столом или прохаживающимся по кабинету с тем отрешенным и вместе сосредоточенным выражением лица, которое было ей так хорошо известно и означало, что мысль Маркса парит в иных сферах.

— Мое большое дитя,— говорила тогда Женни, подходя к мужу, не замечавшему ее появления,— я буду вынуждена увезти тебя из города подальше от книг, бумаг и перьев.— Она нежно гладила голову своего Чарли, а он, смущенный тем, что пойман с поличным, принимался целовать ее руки.

— Я чувствую себя превосходно,— убеждал он жену.

— И, однако, творчество — это страсть, которая сожжет тебя, Мавр,— беспокоилась Женни.— Я помню слова Микеланджело, что нерв искусства — страстная любовь

художника к своей теме,— продолжала она.— Это, конечно, относится ко всем видам творчества, в любой области знаний и искусства. Но ты так безжалостно натягиваешь нить жизни, которую старательно пряли для тебя старухи парки, что она может легко порваться.

Действительно, Маркс настолько переутомился, что начал страдать невыносимыми головными болями и потерял окончательно сон, а затем на время и работоспособность. Однако его крепкий от природы организм обладал способностью быстро восстанавливать силы при благоприятных условиях. Поездка в Рамсгет, прогулки у моря, полный отдых победили бессонницу и излечили от головных болей. Когда Маркс вернулся снова домой, Ленхен долго читала ему наставления.

— Скоро ли ты образумишься, Карл, и подумаешь о себе,— поучала она, видя, что Маркс снова принялся за чтение и работу.— Ну, кто только тебя гонит к письменному столу? Правду говорят, что каждая вещь имеет свои слезы, а твои книги взяли у тебя немало крови и добрый кусок жизни. Словно лошадь, ты все куда-то стремишься, не видишь сам, что весь уже в мыле и пене. Я понимаю, что такой человек, как ты, без дела будто туча без дождя, но надо же и меру знать. Умерь свой пыл в труде, пока еще не поздно.

— Ладно, диктатор, отныне обязательно начну бездельничать,— весело смеялся Маркс и, уходя в кабинет, закрывал дверь на ключ, чтобы ему не мешали отдаться сладостно-каторжному творческому труду.

Отдыхая от промышленной экономики, он изучал в перерывах физиологию растений и теорию искусственного удобрения почвы. Вопросы эти глубоко его заинтересовали. Истощение кормилицы-земли и возвращение ей утраченной мощи плодородия казалось Марксу чрезвычайно важным делом. Хорошо знакомая ему книга Либиха давно уже привлекла его к этому предмету убедительными выводами и глубиной заложенных в ней знаний.

Время шло. Женни Маркс исполнилось шестьдесят лет. Лицо ее, чуть помеченное оставшимися после оспы рябинками, было все еще очень привлекательным. Есть особая красота в преддверии наступающей старости. В последний раз природа собирает силы и на миг как бы оживляет, украшает то, что скоро должно отцвести. Так голые ветки старого миндаля покрываются сперва хруп-

кими и нежными цветами, и лишь затем появляется редкая зеленая листва. Все, что было смолоду прекрасным, сохраняется надолго. Время как бы щадит красоту. Обширный и глубокий духовный мир Женни облагораживал взгляд, улыбку и весь ее облик. Как и в молодости, величавой осталась ее осанка и легкой, плавной походка.

С тех пор как подросли дочери Женни, она лишь изредка исполняла обязанности секретаря своего мужа. Поль Лафарг, Лаура, а затем Тусси наперебой добивались поручений от Маркса, охотно писали под его диктовку, готовили в печать рукописи и вели деловую корреспонденцию. Но никто не мог заменить Марксу жену как советчика, помощника и друга. По-прежнему Карл делился с Женни каждой мыслью, планом действия, сомнением. Они были необходимы друг другу, как части единого организма, как два полушария одного мозга или два предсердия одного сердца.

Женни жила в той же атмосфере мышления и труда, что и Карл. У них все было общее: радости и печали. Чем бы ни занимался, где бы ни находился Маркс, его жена была мысленно с ним рядом. Если он выступал с трибуны, ей передавалось испытываемое им волнение, негодование, удовлетворение или усталость. У них сложилась одна жизнь, хотя каждый был занят своим делом и подчас, как это неизбежно бывает при постоянном общении, они спорили и даже ссорились. Ничто не омрачает так жизнь, как хронический недостаток денег и повседневные мелкие трудности, невзгоды. Но все это было так ничтожно по сравнению с их счастливой любовью.

Было ли когда-нибудь время, когда они не знали друг друга? Трир, детство — все это слилось для них в одно общее воспоминание. Оба любили одних и тех же людей: Людвига и Каролину фон Вестфален, юстиции советника Генриха Маркса... Они помнили все друг о друге: детские проказы, былые привычки, ошибки и радости. Жизнь спаяла их общими горькими потерями: они вместе схоронили своих четырех детей. Жизнь наградила их высшим и редким счастьем — одной любовью. Время поднимало их все выше к вершинам. И они постоянно убеждались в том, что любят друг друга так, что, взявшись за руки, пройдут сквозь новые испытания, какие несет с собой старость, когда дух мощен и мудр, а тело слабеет.

Все, чем был поглощен Маркс, составляло смысл бы-

тия и для Женни. Вместе с ним она деятельно и мужественно в течение семидесяти двух незабываемых дней Коммуны боролась за победу парижских рабочих, делилась кровом, пищей, последними деньгами с коммунарами, помогала Марксу, когда он готовил свои выступления в Генеральном Совете и писал грозный доклад, разоблачавший бакунистов.

Нелегко было Женни Маркс вынести невзгоды и горести своих дочерей. Лаура похоронила троих маленьких детей, и у Лонге умер их первый сын. Нередко нервы Женни сдавали, она теряла прежнее самообладание, становилась придирчива, о чем почти всегда сама сожалела.

Она лучше других знала материнскую скорбь над могилой ребенка и писала позднее об этом друзьям:

«Я слишком хорошо знаю, как это тяжело и как много времени требуется, чтобы вернуть после таких потерь душевное равновесие, но на помощь приходит жизнь с ее мелкими радостями и большими заботами, со всеми мелкими, повседневными хлопотами и мелочными неприятностями. Серьезная скорбь постепенно заглушается ежедневными мимолетными страданиями, и незаметно для нас горе смягчается. Конечно, рана окончательно никогда не заживет, особенно в сердце матери. Но постепенно рождается в душе новая восприимчивость и даже новая чувствительность к новым страданиям и новым радостям и продолжаешь жить с сердцем израненным, но в то же время полным надежды, пока оно наконец не остановится и не наступит вечный покой».

На пляже приморского Рамсгета под разноцветными тентами и зонтами, напоминавшими мухоморы, полевые цветы и опрокинутые дешевые фарфоровые чашки, в дневные часы располагалось много всякого народа. Энгельс и Женни Лонге отправлялись к морю очень рано утром или в сумерки, когда на берегу бывало еще безлюдно.

Строгие скалы и дубрава на отлогой возвышенности, спускавшаяся к самому морю, были очень величественны. В маленькой овальной бухте неровный, уступчатый берег омывали зеленые глубокие, совершенно прозрачные воды. Морское дно выстлали там большие округлые камни, среди которых росли яркие, неутомимо покачивающиеся из стороны в сторону водоросли.

Рамсгет резко отличался от других прибрежных городов Англии более сумрачными очертаниями скалистых берегов, напоминавших скандинавские ландшафты. Сотни чаек кружились над волнами, окликая друг друга резкими, скрипучими голосами. Женнихен кормила их, бросая вверх куски хлеба и удивляясь тому, как ловко на лету птицы хватали добычу. С высоты бросались они в воду, разглядев зоркими круглыми глазами проплывавших рыбешек. Прекрасные чайки не уступали в ненасытной алчности кровожадному ястребу. Женнихен подолгу наблюдала за их морской охотой, любуясь белоснежным оперением и плавным полетом.

Но ни море, ни птицы не могли успокоить Женнихен. Совсем недавно схоронила она одиннадцатимесячного ребенка, болевшего холериной. Воспоминание о крошечном гробике и лежавшем в нем, точно игрушечном, мальчике терзало неотступно. Ее глаза покраснели, а веки заметно припухли. В это же время тяжело заболел и Маркс. Доктор Гумперт, которому он особенно доверял, потребовал неотлагательной поездки в Карлсбад на воды. Энгельс счел это правильным и убеждал друга ехать, пообещав снабдить деньгами на лечение. Однако Маркс и Элеонора, которая должна была сопровождать отца, воспротивились. Им не хотелось оставить Женнихен в столь горестные для нее дни.

«В этом отношении,— писал Маркс Кугельману,— я не такой стоик, как в других вещах, и семейные несчастья обходятся мне всегда дорого. Чем больше живешь, как живу я, почти совершенно замкнуто от внешнего мира, тем у́же становится круг твоих душевных переживаний».

Подле Женнихен остался Энгельс. Рано утром, появляясь в спортивном полосатом костюме, сапогах, тирольской шляпе с петушиным пером, размахивая надежной тростью, Энгельс уводил ее на далекую прогулку. В сандалиях, просторной серой юбке, белой блузке и в большой соломенной шляпе, с развевающейся голубой вуалью, она шла со своим вторым отцом вдоль моря по каменистым тропам. Прибой успокаивал расстроенные нервы Женнихен. Светлые краски воды и неба настраивали ее на более радостный лад. Энгельс говорил мало, больше молчал. Он понимал, как медленно залечиваются раны в сердце матери, потерявшей дитя, и надеялся на самого верного целителя людской печали — время.

Иногда Женни первая нарушала молчание.

— Есть героические натуры, твердые и мудрые, как эти скалы. Жаль, что я не из их числа.

— Тебя постигло наибольшее испытание, какое подстерегает женщину, и поэтому оно не мерило человеческой силы,— мягко отвечал Энгельс.— И все-таки горе твое пройдет. Помнишь кольцо Соломона? На нем мудрец выгравировал: «Все проходит». Будут у тебя другие дети, и боль этой потери смягчится.

— Ты прав, Генерал, но царица Савская прислала Соломону другой перстень, и на нем было написано: «Ничто не забывается». Да, я надеюсь, будут дети. Это не только удел, но и вознаграждение за все беды для нас, матерей, но никогда не исчезнет из сердца тот, которого больше нет. Зачем только я не умерла вместо него! — Слезы опять заблестели в глазах Женнихен.

Энгельс растерялся, он не мог видеть женских и детских слез без глубокого волнения.

— Успокойся, дорогая. Вспомни о том, как много пережили твои родители, потеряв четверых детей. Невозможно забыть умницу Муша и не оплакивать его, и, однако, Мавр и твоя мать не надломились.

— Но я ведь начала разговор с того, мой Генерал, что они-то натуры героические.

— Поверь мне, Ди, ты унаследовала полностью это их редкое свойство.

Внезапно, как это бывает на море, откуда-то налетел ветер и воды вспенились, огромные валы двинулись к скалам.

— Не кажется ли тебе, дорогой Энгельс,— сказала после долгого молчания Женнихен,— что в вое ветра и волн слышится музыка Вагнера? Я очень люблю его «Нибелунгов». Долгое время считала его гениальным. Но теперь, когда прочла статьи этого заносчивого «сверхчеловека», столь злобные, реакционные, самонадеянные, убедилась, что ошиблась. Гений, по-моему, совмещает в себе не только неиссякаемое творческое начало, великие новые мысли, но и обязательно высокие, благородные чувства. Есть ведь в мире совершенно чистые, прозрачные камни — горный хрусталь, алмаз и много других без пятнышка и изъяна. Такова сущность большого сердца и ума. Никакое зло, подлость, низменный расчет, пресмыкательство не смеют приблизиться к душе подлинно исполинской,

какова, по-моему, душа гения. Он есть добро в самом значительном смысле этого понятия. Гений во всем прекрасен, как та великая цель, ради которой он живет и не щадит себя. Верно, Генерал?

— Пушкин писал о том, что гений и злодейство несовместимы. Да, гений — это начало добра для всего человечества. Его не может разъесть никакая кислота, подобно тому как это бывает с благородным металлом.

— Посмотри на волны,— вдруг вскрикнула Женни,— они захлестывают скалу. Начинается шторм. Как он могуч! Это твоя стихия. Ты ведь любишь море бурным.

— Я хотел бы после смерти быть похороненным в суровой пучине, под гул морского прибоя, звучащего словно симфония вечности,— сказал многозначительно Энгельс.

Женнихен недоумевающе посмотрела на него.

— Что ты хочешь сказать этим? — спросила она и взяла его под руку.

— Ничего особенного, просто я считаю, что, как это водилось в античные времена, а теперь весьма разумно делают индийцы, необходимо ту горсточку праха, которая звалась некогда мистером Фридрихом Энгельсом, развеять, когда придет его час, над морем, лучше всего в Истборне, у остроконечной скалы, похожей на парус или кипарис, согласно твоему поэтическому виденью. Я бы ее назвал просто усеченным треугольником.

Волны налетали на скалы, разбивались, стекая пенистым водопадом. Женни вдруг ощутила призывную силу прибоя и подошла к самому морю. Навстречу ей двигался огромный бурый вал.

— Беги назад,— услышала она тревожный зов Энгельса, но не смогла двинуться с места, завороженная величественным и вместе с тем страшным зрелищем. И вдруг все вокруг нее завертелось, взвыло. Женнихен увидела над собой желто-серую, рушащуюся на нее огромным валом массу воды. Удар был так силен, что она на мгновение почувствовала себя раздавленной. Но волна, разбившись о берег, вдруг обессилела и отступила. Рядом с лежащей на гальке, совершенно оглушенной Женнихен стоял Энгельс. От волнения он заикался.

— Ты, ты могла сейчас погибнуть. Какое легкомыслие! Скорей назад!

Волосы, платье, обувь Женнихен были совершенно мокрыми. Соломенную шляпу унесли волны. Она винова-

то улыбнулась. И впервые за несколько недель в глазах ее снова запрыгали лучики. Ей стало вдруг весело. Это было начало душевного выздоровления после кризиса.

На пароходике по неспокойному морю Энгельс и Женнихен отправились затем на песчаный остров Джерси, где были многочисленные древние скалистые пещеры, привлекавшие туристов. Желтые дюны без всякой растительности и темные скалы напоминали близлежащую Нормандию. Немало жителей острова говорили на французском языке, как и их далекие предки, высадившиеся некогда в Британии.

В дни пребывания Энгельса на Джерси Маркс вместе с Элеонорой приехали в Западную Богемию, в Карлсбад, прославленный курорт, расположенный неподалеку от древней гостеприимной Праги. Они поселились в отеле «Германия», на улице Шлоссберг-Шлоссплот. Маркс, по совету местного врача, знавшего, кто он, назвался в гостинице не Карлом, а Чарлзом. Однако спустя несколько дней досужая курортная сплетница газета «Шпрудель» сообщила, что в Карлсбад прибыл сам «доктор красного террора», вождь грозного Интернационала. Полиция, впрочем, и до этого следила за каждым его шагом, как делала это все годы не только на континенте, но и на острове, где он жил. Появление Маркса в Карлсбаде привлекло к нему внимание разноплеменной праздной курортной толпы.

Ровно в шесть утра, под руку с Элеонорой, в темном костюме и просторном пальто-разлетайке, он отправлялся к целебным источникам. Маркс был чрезвычайно добросовестным пациентом и строго исполнял все медицинские предписания. Он выпивал семь стаканов различной минеральной горячей или холодной воды, степенно прогуливаясь при этом по дорожкам парка, вокруг павильонов, то и дело поглядывая на большие луковичные часы, которые доставал из кармана жилета. Между приемами жидкости требовался пятнадцатиминутный перерыв. Последний, восьмой стакан он выпивал перед сном. Столь большое потребление воды утомляло сердце и вызывало общую слабость.

С завистью смотрел Маркс на Элеонору, которой врач рекомендовал для усиления аппетита кружку превосход-

ного пильзенского пива, столь любимого им напитка. После диетического завтрака отец и дочь начинали обязательные прогулки.

Карлсбад, расположенный в холмистой местности, очень живописен и приятен для глаз. В окружающей природе нет резких, острых линий. Все там округло, радостно, доступно солнцу и свету.

Невысокие гранитные горы поросли густыми лесами, напоминающими, однако, большие одичалые парки. Среди деревьев в пригородах разбросаны уютные кафе, где подают отличный кофе с пышно взбитыми желтоватыми сливками. Страдавшему упорной бессонницей Марксу запрещалось спать днем после еды, и он проводил первую половину дня главным образом в ходьбе. Перед обедом приходилось менять туалет, прежде чем спуститься к табльдоту, за которым собирались люди из самых различных стран Европы. Всюду: в кафе, в курзале, городском парке, в театре — коренастый, стройный, седой, похожий на патриарха, пожилой человек, гуляющий под руку с красивой дочерью, неизменно привлекал всеобщее внимание и вызывал разговоры.

Маркс чувствовал себя с каждым днем лучше. Впервые за много лет он позабыл об изводивших его болях в печени, снова крепко спал по ночам. Постепенно исчезали утомляемость и раздражительность. У Маркса и Элеоноры появилось немало новых знакомых. Обычным местом встреч был гейзером вырывающийся из земли, обжигающий Шпрудель и другие целебные источники. Художник Отто Книлле, писавший исторические полотна, был интересным собеседником, и Маркс охотно говорил с ним об искусстве. Несколько профессоров, врачей и других ничем особенно не замечательных личностей сопровождали Маркса и Элеонору в загородных поездках и пеших прогулках.

Польский патриот, либеральный аристократ граф Платер, низенький, весьма неуклюжий и черный, как майский жук, человечек, был настолько же не похож на аристократа, насколько выглядел патрицием Маркс. Граф Платер, которого местная газета объявила главой русских нигилистов, был чрезвычайно подвижен и говорлив. Постоянной темой его нескончаемых разговоров служила порабощенная Польша и замысловатый план ее освобождения. Маркс решительно обрывал словоохотливого

графа, настаивая на полном исключении серьезных политических или партийных разговоров во время прогулок и питья воды у источников. Утомлял его и раздражал также напыщенный и всем недовольный Людвиг Кугельман, значительно потускневший и изменившийся к худшему за те семь лет, которые прошли со дня, когда Маркс увидел его впервые. Ганноверский врач непрерывно жаловался на жену, заявляя после двух десятилетий супружества, что она не соответствует его духовным запросам и характеру.

— Мы совсем разные,— говорил он, закатывая выпуклые глаза.— Трудхен весьма посредственная женщина и меня никогда не понимала. Я бесконечно одинок, а так нуждаюсь в заботе и нежности.

— Твоя жена умница, и несколько лет тому назад ты считал ее вполне достойной тебя подругой.

— Она слишком примитивна. Мне нужна натура возвышенная.

— Долго же ты уточнял этот вопрос.

Марксу хотелось высмеять Кугельмана, но он знал, что тот лишен чувства юмора, не понимает шуток и может обидеться. Все более досадуя на то, что попусту теряет время на празднословные разговоры, Маркс многозначительно достал из кармана часы.

— Мавр, я гибну,— тяжело вздыхая, изрек Кугельман.

Маркс не мог удержаться от веселой улыбки. Упитанный, краснощекий, Кугельман был менее всего похож на обреченного. Не только нудным многословием о пустяках изводил он Маркса, но и постоянным вмешательством в его дела и изнуряющей заботой.

— Надень пальто, дорогой Мавр, я чувствую, тебе холодно; друг Маркс, тебе пора спать, ты устал, я знаю; о не пей так быстро воду, присядь; не встречайся с этими людьми, умоляю,— срывалось по десятку раз в день с уст почтенного доктора.

— Увы, скоро ли кончится это истязание вниманием и чуткостью? — уныло спрашивал Элеонору ее отец. — Я готов взбеситься.

По вечерам, особенно в жаркие дни, многоязычная, разноликая толпа отправлялась в курзал, где играл оркестр под управлением знаменитых дирижеров, пела хоровая капелла. Но интереснее всего были дальние про-

гулки. Особенно нравился Марксу таинственный, поэтический, овеянный легендами Эгерталь. Там горы и камни, причудливые в своих очертаниях, будят воображение и фантазию. В уютной долине по каменистому руслу, пенясь и шумя, несется горная речка, в которой, согласно старинной легенде, живет русалка Эгер, вечно плачущая над человеческим непостоянством. Ее обманул пастух Ганс Хейтлинг, поклявшийся в вечной любви. Охладев к русалке, он решил жениться на обыкновенной девушке. Тогда разгневанная Эгер жестоко ему отомстила и превратила свадебный кортеж в груду камней.

Марксу полюбилась легенда о мстительной русалке, и он с увлечением отыскивал в каменном хаосе застывшие очертания музыкантов с валторнами и трубами, свадебную карету, окаменевшую невесту в фате и злополучного Ганса Хейтлинга с широкой деревенской шляпой в руке.

В Даловице Маркс отдыхал в тени вековых дубов, воспетых в начале века воином и поэтом Кёрнером.

Несмотря на конец лета, в Карлсбаде бывало нестерпимо жарко. Река Тепль казалась высосанной до самого дна. Край обезлесел, и речка, полноводная в пору дождей, в летние месяцы совершенно высыхала. Однажды, когда жара спала, Маркс с дочерью и Кугельманами отправился смотреть производство фарфора в пригороде Рыбаже. Любопытно было наблюдать, как мягкая серая масса режется веревками и вдавливается в разнообразные формы. Один рабочий обслуживал вертящийся станок, напоминавший прялку. На нем изготовлялись изящные, тонкие чашки и вазы.

— Вы всегда делаете эту операцию или у вас есть еще и другая работа? — спросил Маркс.

— Нет,— ответил рабочий,— я уже многие годы не выполняю ничего другого. Только путем длительной практики удается так наладить машину, чтобы эти трудные формы выходили гладкими и безупречными.

— Разделение труда приводит к тому, что человек становится придатком машины,— сказал Маркс Кугельману, когда они отошли от станка,— и умственные способности уступают место привычным движениям мускулов.

В особых залах производилось обжигание, покраска, позолота и сортировка сервизов, кружек и статуэток из фарфора. Маркс, как и Кугельман, накупил разных безделушек для Женни, дочерей и Ленхен.

Незадолго до возвращения в Лондон настроение Маркса внезапно было испорчено серьезной размолвкой с Кугельманом, приведшей к полному разрыву. Ганноверский врач снова попытался убедить Маркса отойти от того, что он называл, не без пренебрежения, политической пропагандой, и посвятить себя целиком разработке теории. Маркс давно уже испытывал большое разочарование в Кугельмане и с трудом терпел его пустые разглагольствования, желание выдать себя за никем не понятую натуру, живущую высшими интересами мироздания. Самовлюбленность и выспренность, присущие «Венцелю»,— свойства филистеров, и они всегда были нестерпимы творцу «Капитала», как больно режущая слух фальшивая нота.

Кугельман также тяготился всеми признанным превосходством Маркса и особенно раздражался его способностью интересоваться и входить в нужды каждого отдельного человека из рабочего класса. По мнению чванливого врача, это умаляло подлинно выдающихся людей. Он требовал, чтобы Маркс восседал, как Зевс на Олимпе, был недоступен, не общался с простыми людьми, изображая из себя живого бога наподобие далай-ламы. Маркс жестоко высмеивал эту явную глупость и все больше проникался презрением к тому, кто столь неумеренно преклонялся перед ним.

Человек, склонный к экзальтации, по мнению Маркса, никогда не бывает верным соратником и другом. Восторженность что пена над пивом — опадая, она открывает полупустую кружку. Разрыв с Кугельманом давно назрел и стал неизбежным.

По пути домой в Англию Маркс заехал в Лейпциг, чтобы повидаться с Вильгельмом Либкнехтом. В первый же день, пока отец отдыхал с дороги, Элеонора начала упрашивать старого друга всей ее семьи рассказать о былом.

— Что произошло с тобой, милый Лайбрери, Женнихен и Лаурой в день похорон железного герцога Веллингтона? Как жаль, что меня еще не было тогда на свете. Я так любила в детстве, да и теперь, различные опасные происшествия.

— Пожалуйста, отец, исполни просьбу Тусси,— присоединилась к Элеоноре старшая дочь Вильгельма Либкнехта.

— Прошло ни больше ни меньше как двадцать три года, а я и сейчас не забыл тот проклятый день. Ну и стоил он нервов! Что ж, придется уступить вам, тем более что Тусси ведь обязательно поставит на своем. Итак, милые фрейлейн, я уступаю вашим настояниям. Да, это были чертовски неприятные минуты. Я, пожалуй, не подвергался бо́льшим испытаниям за всю свою жизнь, хотя, как вы знаете, судьба меня особенно не щадила. Представьте себе, чего стоят, например, те несколько шагов, которые приходится пройти, когда в первый раз в жизни взбираешься на трибуну, чтобы произнести речь перед взыскательными слушателями, или ожидание приговора, когда сидишь на скамье подсудимых в военном суде, ну и многое другое. Но то, что случилось восемнадцатого ноября тысяча восемьсот пятьдесят второго года,— как видите, я навсегда запомнил эту дату, и не из почтения к победителю в ста́ сражениях, знаменитому колонизатору Веллингтону,— то, что подстерегло меня тогда, превосходит все мною пережитое.

Вильгельм замолчал для пущего эффекта, видя, как раскраснелись лица жадно ловящих каждое его слово молодых девушек.

— Какое, однако, длинное, хотя и красноречивое вступление,— сказала с добродушной иронией госпожа Либкнехт, придвигая к своему креслу столик, заваленный ворохом нуждающегося в срочной починке белья.

— Лайбрери, не вздумай мучить нас паузами, которым позавидовал бы сам Вагнер. Он в своих операх изводит ими слушателей,— сказала Элеонора.

— Увы! Женщины нетерпеливы и не ценят прелести увертюры,— в тон ей, широко улыбаясь, ответил рассказчик.— Продолжаю. Внимание. Лорд Веллингтон, великий хищник, отправился к праотцам. Как вы знаете, веселая старая Англия превыше всего любит всяческие пышные церемонии. Парады, бракосочетания, королевские балы и похороны пользуются бо́льшим успехом, нежели любое иное представление. Многомиллионный Лондон выходит тогда на улицы, не считаясь ни с какой погодой. Сотни тысяч зевак прибывают ради этого из провинции, возвращаются из-за границы. Я органически не выношу

подобных зрелищ и суеты, но две юные леди, не достигшие и десяти лет, одна черноглазая, с темными локонами, другая белокурая, с плутовскими глазами, заставили меня изменить правилу и помешали мне в такую сутолоку укрыться дома или в глухом парке.

Для Женнихен и Лауры я готов был на любые жертвы. Это они облегчали мне не раз нежностью и живостью трудные дни изгнания. Им главным образом я обязан тем, что сохранил способность шутить и радоваться в дни, когда не имел куска хлеба и слонялся без крова. Госпожа Маркс и Елена Демут не раз отдавали мне свои два маленьких сокровища, и мы часто совершали великолепные прогулки.

«Будьте только осторожней с детьми. Не попадайте в самый водоворот»,— сказала мне на прощанье твоя мать, когда с нетерпеливо прыгающими девочками я собрался идти на веллингтоновское шествие.

А внизу, при выходе, нас догнала Ленхен и, протянув забытый было пакет с бутербродами, снова наказала: «Только осторожно, милый Лайбрери!»

Погребальный кортеж должен был пройти по дороге вдоль Темзы, и мы отправились поэтому к набережной. Держа девочек за руки, я шел по запруженным народом улицам и благополучно, без особой толкотни, добрался до заранее выбранного места. Я остановился на лестнице, вблизи старых городских ворот, отделяющих Сити от Вестминстера, а обеих девочек поставил ступенькой выше. Они крепко прижались ко мне, держа меня за руки. Издали появился сверкающий позолотой катафалк, пешая и конная процессия поравнялась с нами и прошла. И вдруг я ощутил толчок. Спокойная доселе толпа зрителей сорвалась с места и бросилась за колесницей и провожатыми. Тщетно я пытался защитить детей, чтобы их не захватил поток. Стихийного напора масс не сдержать никакой человеческой силе. Я судорожно прижал к себе детей, стараясь спасти их от давки, но вдруг между нами врезалась, как клин, какая-то страшная сила. Я вынужден был отпустить Женнихен и Лауру, чтобы не сломать или не вывихнуть им руки. Это была неповторимо чудовищная минута. Девочки исчезли. Передо мной были ворота с тремя проходами — посередине для экипажей и по бокам для пешеходов. Толпа запрудила их. Я решил пробиться. Если дети не были задавлены,— а громкие отча-

янные вопли вокруг указывали мне на такую возможность,— тогда, быть может, они по ту сторону запруды. Я принялся пробиваться грудью и локтями и вскоре очутился по ту сторону ворот. Но Женнихен и Лауры не было. Сердце мое сжалось от ужаса.

«Лайбрери!» — услышал я вдруг. О, счастье! Не веря себе, я бросился к детям. Оказывается, людская волна, оторвав их от меня, благополучно пронесла через ворота и отбросила затем в сторону к стене, где они и остались, совершенно ошеломленные всем случившимся.

Наше возвращение домой было поистине триумфальным. В этот день на лондонских улицах и там, где мы находились, погибло много людей, и на Дин-стрит нас ждали в большом волнении и страхе.

— Увы, меня тогда не было еще на свете,— с шутливой грустью сказала Элеонора.

— Но зато я хорошо помню тебя совсем маленькой. Ты была веселым кругленьким, как шар, созданьицем, кровь с молоком. Не раз я катал тебя в колясочке и таскал на руках, покуда ты не стала бегать самостоятельно на толстеньких коротких ножках. Помнишь ли ты, как на лугу Хэмпстедских холмов мы нашли бледно-лиловые душистые нарциссы? То-то было радости! Твое детство, к счастью, прошло не на Дин-стрит. А когда тебе минуло шесть лет, я уехал в Германию.

В Лейпциге Маркс встретился с представителями лейпцигской партийной организации, чтобы обсудить политическое положение Германии и тактику рабочего движения.

Ведя упорную борьбу за создание социалистических партий в различных странах, и Маркс и Энгельс особо занимались германским рабочим движением, которое после франко-прусской войны и поражения Парижской коммуны стало ведущим в Европе.

Объединение страны, пятимиллиардная контрибуция, присоединение богатых железом и углем районов создало благоприятные условия для быстрого экономического развития Германии. В семидесятые годы она стала высокоразвитым индустриальным государством, однако заработок немецких рабочих был значительно ниже, чем в других передовых государствах. Внутренние противоречия вызвали обострение классовой борьбы. В 1873 году объявили забастовку ткачи Кёльна, машиностроители

Хемница, печатники Лейпцига. Кровавое столкновение рабочих с полицией и жандармерией произошло во Франкфурте. Возросшее влияние социал-демократов сказалось во время выборов в рейхстаг в 1874 году, когда эйзенахцы и лассальянцы получили, выступая как независимые партии пролетариата, более трехсот тысяч голосов.

Эйзенахцы, примыкавшие к Интернационалу, вели многократно переговоры об объединении с лассальянцами, но ничего не могли добиться. Расхождения и в теории и в практике были все еще велики.

Либкнехт подробно осведомил Маркса о закончившемся незадолго перед тем съезде Социал-демократической рабочей партии Германии в Кобурге и повторил господствовавшее в партии убеждение, что договориться с лассальянцами невозможно и самое большее, чего следует добиваться, это тактического блока с ними.

Маркс внимательно слушал друга, указывая ему на неувязки и путаницу в доводах, которые тот приводил. Марксу было присуще в споре, даже упрекая в чем-либо собеседника или отчитывая его строго, говорить с людьми так, чтобы не обескураживать, не подавлять человека.

— Надо думать логически и ясно выражать при этом свою мысль. Это всегда очень важно, и особенно в политике,— сказал он Либкнехту.

В Лейпциге Маркс с Элеонорой пробыли всего несколько дней. Затем через Дрезден, где они повидались с Эдгаром фон Вестфаленом, и Гамбург, где ждал их издатель Мейснер, добрались до Лондона.

В 1875 году Маркс с семьей переменил квартиру и переехал в дом под номером 41 возле полукруглого сквера на той же Мейтленд-парк роуд. В новой квартире, очень светлой и просторной, было меньше комнат, нежели в Модена-вилла. Но две старшие дочери, выйдя замуж, покинули родительский кров, и семья Маркса более не нуждалась в большом помещении.

До Риджентс-парк-стрит, где жил Энгельс, было все так же недалеко, всего десять минут ходьбы. По-прежнему не проходило дня, чтобы друзья не видались. Это была счастливая пора совместного мышления и творчества, исканий и находок, согревающих излучений братской дружбы, которые делают жизнь полноценной и значительной.

Маркс и Энгельс работали, беседовали, советовались друг с другом, радуясь, что находятся рядом. Все так же часто уходили они гулять. Бывало, над городом висел душный, непроницаемый черный туман, а на вершине Хэмпстедского холма сияло солнце и небо было голубым и ясным. Не хотелось спускаться в город, мрачный и зловонный, как преисподняя.

Много времени проводили вместе и две подруги — Женни Маркс и Лиззи Энгельс. Жена Энгельса была отзывчивым, умным человеком, живо откликавшимся на все вопросы современности. Как ирландка и работница, она испытала в молодости бесправие и бедность и не стремилась забыть об этом. Всем, чем могла, помогала Лиззи движению фениев, Парижской коммуне и Международному Товариществу Рабочих. Маркс предложил ей стать членом Интернационала, настолько глубоко и правильно понимала она его задачи. Как и Женни Маркс, в 1871 году Лиззи приняла в свой дом беглецов Коммуны и заботилась об их семьях и детях, не жалея для этого ни сил, ни средств. Недостаток знаний Лиззи умело восполнила самообразованием и чтением. Врожденные способности, чуткость и сердечность снискали ей симпатии всех, с кем она общалась. Лиззи была превосходная хозяйка и рукодельница. Снисходительная к людским слабостям, скромная, добрая до самоотверженности, понимающая шутки и сама склонная к юмору, она стала незаменимым соратником когорты революционеров.

В эти годы практическое руководство социалистическим движением во многих странах по-прежнему осуществлялось Марксом и Энгельсом.

«Ввиду разделения труда, существовавшего между мной и Марксом,— писал об этом Энгельс,— на мою долю выпало представлять наши взгляды в периодической прессе,— в частности, следовательно, вести борьбу с враждебными взглядами для того, чтобы сберечь Марксу время для разработки его великого основного произведения».

В конце отвратительного своими непрестанными туманами 1875 года в Лондоне Валерий Врублевский, деятельнейший руководитель левой польской эмиграции, и его товарищи собрали митинг, посвященный делам на их родине. Маркс и Энгельс были приглашены, но не могли

принять участия из-за болезни. Мавра терзали карбункулы, а Генерала свалила простуда. В своем письме Маркс подчеркнул, что освобождение Польши по-прежнему считает непременным условием освобождения европейского пролетариата.

Энгельс писал по этому же поводу:

«Дорогой Врублевский!

...я, к моему большому сожалению, не смогу сегодня вечером присутствовать на Вашем польском собрании, особенно в такой вечер, который, по-видимому, соединит все преимущества польского климата со всеми прелестями английского тумана.

Мои чувства по отношению к делу польского народа, которые я, к сожалению, не смогу выразить сегодня вечером, навсегда останутся неизменны: я всегда буду видеть в освобождении Польши один из краеугольных камней окончательного освобождения европейского пролетариата и, в особенности, освобождения других славянских национальностей. До тех пор пока будет продолжаться разделение и порабощение польского народа, до тех пор будет продолжать свое существование и с фатальной неизбежностью возрождаться Священный союз между теми, кто поделил Польшу,— союз, который не означает ничего другого, как порабощение русского, венгерского и немецкого народов, совершенно так же, как и польского народа. Да здравствует Польша!

Ваш *Ф. Энгельс*».

Красоцкая опасно занемогла. Болезнь сердца, впервые проявившаяся после разрыва с Бакуниным, когда, потрясенная всем, что от него услышала, она стояла под огромным тенистым каштаном на тихой улочке маленького швейцарского городка, сначала долго не повторялась и, казалось, вовсе исчезла, но затем так же внезапно, после пустячной размолвки с дочерью, возобновилась, и на этот раз Лиза слегла.

Сток, сам хворый и слабый, окружил ее сыновней сердечной заботой. Это было тем более необходимо, что Ася постоянно развлекалась с друзьями, приобретенными ею на модном курорте. Жан относился к Лизе как к матери. Он хорошо помнил, как в дни его детства она часто посещала его родителей.

В унылые дни болезни два коммунара — седая измученная женщина и в свои неполных сорок лет преждевременно состарившийся, из могилы вышедший мужчина — подолгу бродили по следам ушедшего времени.

— Ты был в Брюсселе озорным мальчуганом с не заживающими от драк царапинами на носу и коленях. Бедняжка Женевьева, твоя добрая, разумная мать, всегда находилась в тревоге. Уже тогда ты кричал громче всех ребятишек на улице: «Да здравствует республика!» — рассказывала Лиза.

— Позднее, в семьдесят первом году, я сказал бы — республика рабочих,— заметил Жан.

Он мог часами слушать воспоминания Красоцкой о превратностях ее жизни в Европе и Америке.

Но Лизе становилось хуже, боль в сердце усиливалась, и она вынуждена была лежать молча, без движения. Ася иногда заставляла себя сидеть у постели матери, но ей быстро становилось невмоготу в комнате со спущенными шторами, где полагалось молчать либо говорить шепотом. Девушка в это время вознамерилась выйти замуж за немолодого богатого англичанина — вдовца с двумя детьми, строившего в это время универсальный магазин на великолепной Оксфорд-стрит. Не желая волновать мать, которая терпеть не могла представителей буржуазии, Ася ничего не говорила ей о своем романе с мистером Гарольдом Даммеджем.

Даммедж незадолго до этого построил дом цвета вареной свеклы — излюбленная англичанами окраска, равно как и серая, для домов, обезобразил непритязательный фасад неизбежными колоннами и орнаментами.

Девушки-невесты часами простаивали перед еще пустыми витринами, мечтали, глядя на цветные огни рекламы — «Стойте, здесь будет Даммедж»,— о своем будущем. Витрины пополнялись кроватями, столами, диванами, постельным бельем, кухонными принадлежностями и детскими игрушками — всем тем, что так необходимо при замужестве.

С утра те же девицы выстраивались у одного из кабинетов. Даммедж нанимал служащих. Директор и его помощница — старший надсмотрщик за женским персоналом — осматривали входящих так же внимательно, как в соседних залах эксперт-приемщик перебирал пришедший из Парижа товар, дамское белье и парфюмерию.

Продавщицы зубрили планы магазина, путеводитель по каждому отделению и стойкам, учились складывать разбросанный нетерпеливыми руками покупателей товар и соблазнительно раскладывать его на столах. Украшением витрин ведали специалисты этого крайне ответственного дела.

День открытия магазина был очень торжествен. Лазутчики владельцев других лавок шныряли среди праздной толпы, наступающей на переполненные вещами залы.

— Новый дом немало стоил Даммеджу,— сказал старик рантье пожилой даме,— и эти деньги он надеется вернуть, взяв их у покупателя.

— В такое время не открывают магазинов, в такое время строят церкви, чтобы отмолить грехи,— заметила католическая монахиня и прошла в отдел «католического вероисповедания» выбирать четки... Она не знала, что Даммедж, торгуя четками и Библией, снес две церкви: вместо них появился его новый универмаг.

Даммедж и К° всячески завлекали покупателя. То объявлялась однодневная скидка, то премии, то распродажа. В праздничные дни магазин исчезал под сплошным покровом, сотканным из газовых фонариков. Зеваки сбегались на Оксфорд-стрит и, запрудив мостовую и тротуары, стояли, ослепленные, зачарованные такой феерией. В витрине мелькал искусственный снег, от которого седела коричневая крыша игрушечной избушки. Внезапно снег исчезал, освобождая траву и цветы.

Английские дети всплескивали ручонками в перчатках. Иллюминацию Даммеджа пересмотрело несколько десятков тысяч человек. Но лавочники всей округи обвинили новый универмаг в том, что он своей небывалой рекламой застопорил уличное движение и остановил тем самым торговлю прилегающих улиц. Суд принудил неосмотрительного купца к уплате убытков.

Случай этот и положил начало даммеджевским бедствиям. Английский обыватель не прощает торговцу каких бы то ни было судебных процессов. Это неизбежно подрывает доверие. Даммедж перестарался в угождении и заискивании, и англичане, осуждающие все, что чрезмерно, насторожились, заподозрив нелады в делах фирмы.

Рекламные огни потухли, многоэтажный магазин опустел, как отверженный, заброшенный храм. Продав-

щицы складывали и раскладывали товар, преследуя назойливым вниманием нечаянно забредшего покупателя.

Конкуренты торжествовали. Они развесили призывы к бережливости вместе с годовым балансом, в котором значился их чистый доход, и терпеливо ждали, когда издыхающий, поверженный Даммедж в своем торговом падении дойдет до того, что протянет руку за помощью.

Задолго до того, как Даммедж перестал платить по векселям и признался в банкротстве, Лондон узнал о его несостоятельности.

Непосредственной причиной банкротства Даммеджа был отказ банков дать новые кредиты. Едва газеты разнесли по городу известие о крахе универмага, описанное с такими же подробностями, как год назад его открытие, началась невообразимая суета.

Витрины опять облипли человеческой толпой, выясняющей условия скорой распродажи. В проезжающих мимо омнибусах обязательно возникал один и тот же разговор:

— В какие времена мы живем! Такой богач и тот не выдержал.

Гибель Даммеджа приобретала символический смысл. Перед темным фасадом останавливались испуганные прохожие. Большие ленты, растянутые между этажами, извещали о предстоящем аукционе.

Неподалеку, на Риджент-стрит, терпела убытки и древняя лавка детских игрушек, вдохновлявшая Диккенса, когда он писал «Сверчок на печи». Налоги и сокращение спроса оказались для нее таким же роком, как и для Даммеджа.

Разорившись, мистер Даммедж объявил Асе, что слишком беден для женитьбы, и отправился искать счастья в Австралию. Так неудачно кончилось и это сомнительное увлечение девушки. Впрочем, Ася не склонна была принимать неудачу трагически и очень скоро вышла замуж за молодого преуспевающего колониального чиновника, который тотчас же увез ее с собой в Индию.

— В том, какова Ася, есть и моя большая вина,— призналась Лиза Стоку.— Не следовало передоверять воспитание девочки другим людям. Швейцарский пансион фабриковал штампованную человеческую продукцию. Но могла ли я поступить иначе? Отказаться от общественной борьбы и не поехать в Париж в такие дни? Нет, это было бы невозможно, непростительно.

— Есть дочери, которые достойны своих родителей,— жестко заметил Жан. Он думал о семье Маркса.

— Ты прав, друг. Что-то главное не было сделано ни мною, ни Сигизмундом для Аси. Но теперь уже ясно одно, она — пустой орешек. Крепкая кожура, а ядрышка нет. Таких, к несчастью, еще много, и пусть, как сказано у Данте, каждый идет своей дорогой. Может быть, придет и для Аси время просветления.

После очень поспешного и суетного отъезда дочери в маленьком коттедже на Примроз-хилл остались только Красоцкая и Сток. Их часто навещали супруги Маркс, Валерий Врублевский и другие товарищи по Интернационалу, в опустевшей комнате Аси до самого отъезда в Венгрию жил Лео Франкель, к которому Лиза питала большое расположение.

Когда самочувствие Красоцкой бывало лучше и в столице устанавливалась сухая и ясная погода, она выходила в маленький, открытый солнцу садик и усаживалась в плетеном кресле под единственным деревцем, выросшим близ невысокой ограды.

Жан Сток в эту пору нигде не служил, так как часто болел. Но внешне он не изменился, лицо его, несмотря на седину, оставалось моложавым. А в глазах утвердилось доброе, почти детское выражение. Он любил одиночество, раздумья и воспоминания. Тоски коммунар не испытывал, но нередко он терял ощущение реальности, говоря о мертвых так, как будто они были рядом и жили одной с ним жизнью. О жене Жан, сам не замечая этого, неизменно говорил в настоящем времени. Увидев как-то на столе корзинку с фруктами, бывший машинист произнес обрадованно:

— Никто не любит так вишни, как моя Жаннетта.

И Лиза его не поправила. Она с грустью подумала о том, что не смогла удержать в своей памяти Сигизмунда и всегда чувствовала, что его больше нет.

Стока постоянно тревожила мысль о том, что история не отыщет подлинной правды о Парижской коммуне. Тьер, его ставленники и все реакционеры мира вытаптывали самую память о великих семидесяти двух днях, лгали и клеветали, уничтожали документы с той же жестокостью, с какой убивали коммунаров.

Но Лиза была уверена, что ничто не сотрет священной памяти о первом пролетарском маяке на земле.

— История что золотоносная жила, и время, подобно быстрому потоку, отмывает и отдает людям золото истины. Каждому воздастся по заслугам. Многим защитникам Коммуны удалось спастись. Они расскажут о величии того, что свершил трудовой народ Парижа, и о тех, кто пал за великое дело,— возражала она Стоку.

— Да, мы не имеем права умереть, не оставив будущим поколениям правду о Коммуне. В этом наша миссия. Пусть историки, художники, поэты возьмут когда-нибудь незамысловатые, правдивые наши записи и создадут памятник бессмертным героям,— говорил Сток.

— Ты прав, Жан. Мы сегодня же начнем записывать все, что помним. И начнем словами одного из наших товарищей по боям: шапки долой, я буду говорить о мучениках Коммуны!

Раз в неделю к Лизе приходил доктор, который лечил также Маркса и всю его семью. Это был приятнейший человек, вдумчивый и даровитый. Он увлекался медициной, непрестанно учился и был крайне удручен, когда оказывался бессильным в борьбе с недугами. Лиза радовалась его появлению.

— Вот мне и лучше. Несомненно, в вашей науке многое зависит от внушения,— говорила она врачу, лицо которого было олицетворением доброжелательности и готовности помочь людям. — Порошки с железом, которые вы мне прописали в прошлый раз, уже оказали положительное действие.

Лекарь верил главным образом в яблочное железо, в котором так нуждается кровь, и Лиза не хотела его огорчать своим скептицизмом.

— Как здоровье госпожи и господина Маркс? — переводила она разговор на другую тему.

— Увы, госпожа Маркс худеет, и я несколько обеспокоен ее состоянием, но она и слышать не хочет о настоящем лечении. Эта женщина живет только для других. Я никогда не видел такого диапазона интересов и подобной душевной глубины. Что до господина Маркса, то ему весьма помогают целебные карлсбадские воды. Если бы он не так много работал, то мог бы обходиться без нас, врачей. Природа дала ему великолепное здоровье, но он безрассудно расходует свои силы. Я не перестаю удивляться титанической работоспособности доктора Маркса.

Когда и как достигает человек предельной высоты своего развития, выходит на вершину, с которой зрит сквозь время, обогащая человечество познанием таинственного будущего?

Есть люди, которые останавливаются на полпути, оставаясь, в сущности, подростками по своему мышлению и познанию. Хорошо, если общество, случай, самопрозрение встряхнет их души и заставит сдвинуться с места. Спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь, они устремятся тогда вперед. Трудно им. Но есть такие, которым и Гималаи кажутся всего лишь плоскими холмами. Их мысль быстрее звука беспрепятственно летает по земле и вселенной.

Маркс напряженно продолжал свои исследования для второго и третьего томов «Капитала», изучая новейшие явления в экономике, читая на разных языках все, что появлялось в печати о бурно развивающемся капитализме в Соединенных Штатах, о денежном рынке и банках, погружаясь в книги по геологии, физике, астрономии, истории, физиологии и математике. Чем больше он вбирал, тем ненасытнее стремился к познанию.

После прекращения деятельности I Интернационала, выполнившего свою великую задачу сплочения пролетарских сил, Маркс и Энгельс считали первоочередной исторической задачей создание массовых социалистических рабочих партий. Их опорой в борьбе за формирование и укрепление первых пролетарских партий в Европе и Америке стали деятели Союза коммунистов и Международного Товарищества Рабочих. Два друга постоянно обобщали и пропагандировали опыт многолетней борьбы пролетариата, выделяя все наиболее существенное и поучительное. Они помогали рабочим-социалистам каждой отдельной страны находить единственно верную тактическую линию.

Весной 1875 года эйзенахцы и лассальянцы, две рабочие партии Германии, договорились наконец о слиянии и принялись за выработку единой программы перед своим объединительным съездом в маленьком городкеГоте. Маркс и Энгельс считали такое объединение насущно необходимым, но предупреждали Бебеля и Либкнехта, чтобы в столь важный момент они не отступили от своих принципов и не мирволили последователям Швейцера, запятнавшего себя угодничеством перед Бисмарком. Однако

в проекте общей программы сохранилась вся накипь мелкобуржуазной идеологии. Лассальянство, как ржавчина, разъедало молодое рабочее движение. Сектантские догмы, общие рассуждения подменяли строгие истины научного социализма. Маркс решил подвергнуть проект программы обстоятельной и суровой критике.

Был канун 5 мая, дня рождения Маркса, которому исполнялось пятьдесят семь лет. На далекой окраинной Мейтленд-парк воздух был чист, по-весеннему свеж и ароматен. У стены дома № 41 в маленьком палисаднике расцвел куст жасмина. Хрупкие веточки, отяжелев от белоснежных звезд, широко раскинувшись, заглядывали в окна дома. Их сладковатый запах заполнил кабинет Маркса, напряженно работавшего за своим столом. Но он не замечал ни весны, ни ночи, сменившей ясный теплый день, ни цветов. Ему снова открылось великое таинство творчества, однако уловить миг, когда мысль, созрев, облекается в слова, не легче, чем заметить, как раскрываются на деревьях почки. Строчка стиха или математическая формула, художественный образ, мелодия или научное обобщение, если оно первозданно и значимо, возникает в мозгу всегда как итог сложных мучительных поисков и долгого труда, но иногда случайный повод срывает как бы плотину в мозге, и мысль, кипучая, бурная, устремляется вперед с новой силой созидания.

От одного великого творения к другому Маркс, как по уступам, взбирался все выше и постигал то, чего не дано было узнать другим. Таков удел гения.

Маркс готовил замечания к программе Германской рабочей партии. Мысль его окрылилась и устремилась ввысь. Он писал о том, что будет через десятилетия, так уверенно и просто, точно переселился в иные, еще не наступившие времена. Карл, как опытный следопыт, различал тропы будущего, по которым неизбежно идти человечеству. Он увидел контуры грядущего, социалистическую революцию, диктатуру пролетариата, переходный период от капитализма к коммунизму. Гениальный мозг Маркса открыл неизбежность двух фаз коммунистического общества: первая, или низшая, фаза — социализм, а на ступени его полного развития высшая фаза — коммунизм. Это было величайшим прозрением. Маркс еще раз победил время. Подобно мифическому герою Акметею, он давно уже постиг прошлое и, как Прометей, имя которого

значит Провидец, заглянул в будущее и объяснил своему поколению, как сложится жизнь у его потомков.

Гений поднялся на головокружительную высоту.

Подводя итог своему учению о государстве, основанному на опыте всех революций и всей борьбы пролетариата, Маркс предсказал неизбежность особой стадии перехода от капитализма к коммунизму с соответствующей формой государства.

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом,— говорил он,— лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата»*.

Государство при коммунизме должно постепенно отмирать, но сроки и конкретные формы будущего, по мнению Маркса, должна подсказать сама грядущая действительность.

В «Критике Готской программы» показаны преимущества социализма, основанного на общем владении средствами производства, организованного на началах коллективизма, по сравнению с капитализмом.

В условиях социализма, подчеркивал Маркс, осуществляется равенство людей в смысле их одинакового отношения к средствам производства; ликвидируется частная собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком. За равный труд люди получат равную оплату.

Маркс вскрыл и подверг критике вульгарное, присущее мелкобуржуазному социализму, представление о том, будто при социализме будет осуществлен уравнительный принцип распределения общественного продукта. Родившись из капиталистического общества, социализм поэтому будет нести на себе во всех отношениях — в экономическом, нравственном, умственном — следы старого общества, из недр которого вышел, претерпев все муки появления на свет. Учитывая неизбежное неравенство людей при социализме, когда еще не сможет быть устранено распределение общественного продукта по количеству затраченного каждым членом общества труда, а не по потребностям людей, Маркс писал: «...в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается

распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой».

Таков будет социалистический принцип, основывающийся на достигнутом уровне экономического развития, а также на том, что люди еще не сумеют работать на общество без всяких норм права.

С вершин своего могучего мышления Маркс начертал принципы будущего:

«На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

«Критика Готской программы», непосредственно обращенная к Германской рабочей партии, представляла собой великую программу борьбы для всего международного рабочего движения.

Несмотря на беспощадную оценку, данную Марксом и Энгельсом проекту Готской программы, она с незначительными изменениями все же оказалась принятой на объединительном съезде в Готе. Нужно лишь немного отступить от чистой, принципиальной линии в политике, и одна уступка повлечет за собой другую. В личном и общественном господствует одинаковый непреложный закон ошибок, за которым следует неотвратимое возмездие.

Идейное отступление эйзенахцев в Готе тяжело отразилось на дальнейшем развитии партии.

Теоретическая неразбериха после объединения с лассальянцами нанесла ущерб рабочему движению. Приват-доцент Берлинского университета Дюринг, весьма нашпигованный знаниями, но бездарный человек, вообразил себя новоявленным реформатором и объявил, что

изобретенная им система взглядов произведет переворот в философии и политической экономии.

Евгений Дюринг был представительный пожилой господин, носивший щегольской, застегнутый на все пуговицы сюртук. Он был слепой и скрывал незрячие глаза под темно-дымчатыми стеклами очков. Отличительной чертой его характера было самомнение, отнюдь не соответствовавшее дарованиям. Чем невнятнее и пошлее были высказывания Дюринга, тем убедительнее казались они тем, кто признавал значительным лишь то, чего не мог понять.

Идеи скучнейшего, узколобого педанта, типичного мелкобуржуазного социалиста пришлись по вкусу некоторым вождям германской социал-демократии, и они принялись усердно начинять ими головы рабочих. Хвалебные статьи о Дюринге появились в социалистической печати. Несколько невежд, ошеломленных обилием туманных мыслей и неудержимым словоизвержением, восхищались новой «системой». Они убедили в этом тех, кто, ничего не читая, судил обо всем с чисто стадным неистовством.

Встревоженный Вильгельм Либкнехт обратился к Марксу и Энгельсу за теоретической поддержкой и получил ее. Чтобы не отрывать Мавра от работы над следующими томами «Капитала», неутомимый Генерал взялся сам сразить всеядного берлинского ученого. Однако, следуя неизменному правилу помогать другу, Маркс не только внимательно прочел весь его труд, но и написал для книги против Дюринга одну главу по истории политической экономии.

В начале 1877 года в германской социал-демократической газете «Вперед» начала печататься серия статей Энгельса под заголовком «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом». Годом позже те же статьи были изданы книгой, названной «Анти-Дюринг».

Так как Дюринг в своей «системе» попытался охватить весьма обширную область знаний, то и Энгельсу, опровергающему его и разбивающему одно за другим теоретические положения, пришлось писать о самых разнородных предметах: от концепции материи и движения до преходящей сущности моральных идей, от дарвиновского естественного отбора до воспитания молодого поколения в будущем обществе. Энгельсом в борьбе с Дюрингом бы-

ла создана своеобразная новая энциклопедия, в которой отражены важнейшие вопросы естествознания, политической экономии, философии и других наук.

Энгельс блестяще защитил последовательное материалистическое мировоззрение от лжи и путаницы философского идеализма. На многочисленных примерах, взятых из математики, химии, физики, биологии, он показал, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений пробивают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий.

Стиль «Анти-Дюринга» совершенен. Великолепные сравнения и отточенная ирония перемежаются с глубокими, чисто научными аналитическими рассуждениями и выводами. Страницы книг изобилуют сатирическими отступлениями и разящими боевыми выпадами. Тяжелодумью и схоластическому фиглярству Дюринга, совершенно запутавшегося в собственных мыслях, противопоставлен до прозрачности ясный, логический стиль могучего публициста и литератора Энгельса. Выступая против абстрактных, туманных рассуждений противника, он разоблачал самую сущность его мнимой науки.

После падения Коммуны в мире стало душно и сумрачно. В России Александр II продолжал исподволь сжимать петлю на шее народа. Иногда он бросал жалкие подачки свободолюбцам, чтобы тут же обмануть. Политика, которую он утвердил во время своего царствования, создала ему лютых врагов и вызвала недовольство и неверие, особенно среди учащейся молодежи.

Маркс и Энгельс были отлично осведомлены обо всем, что происходило в России. В письме к Бебелю Энгельс писал: «Если не считать Германии и Австрии, то страной, за которой нам надо наиболее внимательно следить, остается Россия... Русская придворная партия, которая теперь является, можно сказать, правящей, пытается взять назад все уступки, сделанные во время «новой эры» 1861 года и следующих за ним лет».

Три года лечения карлсбадскими водами принесли Марксу большую пользу. Печень не напоминала ему о себе адскими резями, и Ленхен радостно отмечала, что

аппетит Мавра не причиняет ей больше кулинарных огорчений. Не исчезал только кашель. В августе 1876 года Маркс сообщал Фридриху из гостиницы «Германия» в Карлсбаде:

«...только в полночь мы попали, наконец, в Вейден. Существующая здесь единственная гостиница опять-таки оказалась переполненной, и нам пришлось до четырех часов утра терпеливо ждать на жестких стульях железнодорожной станции. В общем, путь от Кёльна до Карлсбада отнял у нас двадцать восемь часов!..

На следующий день в Карлсбаде мы только и слышали со всех сторон жалобы на невыносимую жару (в течение последних шести недель не было ни одного дождя), в справедливости чего мы убедились на собственной шкуре... Впрочем, за последние три дня чрезмерная жара немного спала, да и в самые жаркие дни мы находили давно знакомые мне лесные ущелья, где было сносно.

Туссинька, чувствовавшая себя довольно скверно в дороге, здесь заметно поправляется, а на меня Карлсбад действует, как всегда, чудесно. В течение последних месяцев у меня возобновилось неприятное ощущение тяжести в голове, которое теперь совсем исчезло.

Доктор Флеклес сообщил мне в высшей степени поразившую меня новость. Я спросил его, здесь ли его кузина из Парижа, мадам Вольман,— очень интересная дама, с которой я познакомился в прошлом году. Он мне ответил, что ее муж потерял все свое состояние и к тому же еще и состояние жены в спекуляциях на парижской бирже, так что обнищавшая семья вынуждена была удалиться на жительство в какое-то захолустное местечко Германии. Любопытно в этой истории следующее: господин Вольман нажил себе огромное состояние в Париже в качестве фабриканта красок; он никогда не играл на бирже, а деньги, которые ему не нужны были в деле (так же как и деньги своей жены), спокойно помещал в австрийские государственные бумаги. Вдруг на него находит какой-то стих: австрийское государство начинает ему казаться ненадежным, он продает все свои бумаги и *совсем тайком,* без ведома своей жены и дружественно расположенных к нему Гейне и Ротшильда, начинает спекулировать на бирже... турецкими и перуанскими бумагами! — пока не

просаживает последнего геллера. Бедная жена была как раз занята устройством только что снятого в Париже дома, когда в одно прекрасное утро она, будучи совершенно не подготовленной, узнает, что она — нищая.

Профессор Фридберг (в Бреславльском университете, медик) рассказал мне сегодня, что великий Ласкер выпустил анонимный полуроман под заглавием *«Испытания одной мужской души»*. Этим возвышенным переживаниям предшествует хвалебное предисловие или введение господина Бертольда Ауэрбаха. Испытания Ласкера заключались в том, что все представительницы прекрасного пола (в том числе и дочь Кинкеля) влюблялись в него, и вот он объясняет, почему он не только не женился на них всех вместе, но почему также ни с одной из них дело не дошло до развязки. Это, должно быть, настоящая «Одиссея» тряпичной души. Очень скоро появилась пародия (тоже анонимно), столь ужасная, что его великий брат, Отто, с весьма чувствительной затратой денег скупил все имевшиеся еще в продаже экземпляры «Испытаний». «Долг» отрывает меня от письменного стола. А потому, до следующего раза, если магически одуряющее действие горячего щелочного пойла позволит мне еще нацарапать несколько строк.

Мой сердечный привет мадам Лиззи.

Твой *Мавр»*.

Энгельс тотчас же ответил Марксу из Рамсгета.

«Дорогой Мавр!

Твое письмо пришло сюда во вторник и циркулирует теперь среди твоих дочерей. Вашим странствованиям в течение двадцати восьми часов от Кёльна до Карлсбада здесь никто не завидует, зато рьяно держат пари насчет количества баварской «жидкости», которая помогла вам перенести все эти злоключения.

Ленхен приехала в понедельник, на прошлой неделе, из Гастингса, где она провела с Женни и Лафаргами воскресенье; она была не совсем здорова, но все же пошла купаться и схватила при этом ужасную головную боль, длившуюся два дня: вторая попытка еще более ухудшила дело, и она поэтому должна была отказаться от купанья. Во вторник она отправилась домой, а на следующий день, позавчера, приехала сюда твоя жена, которая выглядит

во всяком случае значительно лучше, чем шесть недель тому назад. Она много бегает, у нее хороший аппетит и к тому же, кажется, вполне нормальный сон. Она и Лиззи бродят по песчаному пляжу, после того как я подкрепил их на вокзале стаканом портвейна, и радуются, что им не надо писать писем. Лиззи морское купанье удивительно пошло на пользу, надеюсь, она продержится на этот раз всю зиму».

Возвращаясь из Карлсбада, Маркс с дочерью посетил Крейцнах. Прелестный курортный городок-сад был ему издавна очень дорог. Там он женился и провел первые дни после бракосочетания. Каждый уголок в тенистом парке возле соленых источников напоминал Карлу о Женни и времени, когда после семи лет ожидания они наконец навсегда обрели друг друга. Маленький домик, где жила овдовевшая Каролина фон Вестфален, не изменился. Скорбные мысли охватили Маркса на улицах Крейцнаха. Много друзей его уже ушло навсегда. Умерли и враги. Совсем недавно смерть навсегда усмирила Бакунина.

В Берне, куда Бакунин приехал перед смертью, он пользовался особым расположением и покровительством врача Адольфа Фогта, близкого родственника продажного клеветника Карла Фогта.

Узнав о кончине заклятого недруга своего учения, Маркс невольно задумался над противоречивой жизнью этого постоянно неудовлетворенного человека.

Маркс вспомнил письмо к нему покойного. Как не походило оно на все то, что последовало дальше. Сколько зла причинил Бакунин Товариществу. Поток его клеветы на Маркса долго еще несся по миру. А менее десяти лет назад Бакунин говорил Карлу:

— Мой старый друг, лучше, чем когда-либо, я понимаю теперь, как был ты прав, выбрав — и нас приглашая за тобой следовать — большую дорогу, осмеивая тех из нас, которые блуждали по тропинкам национальных или чисто политических предприятий. Я делаю теперь то дело, которое ты начал уже более двадцати лет назад. Со времени торжественного и публичного прости, которое я сказал буржуа на Бернском конгрессе, я не знаю теперь другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Моим отечеством будет теперь Интернационал, одним из

главных основателей которого ты являешься. Ты видишь, следовательно, дорогой друг, что я — твой ученик, и я горжусь этим. Вот все, что я считаю необходимым сказать...

«Чего он хотел на самом деле, а не на словах, которые у него вовсе не отражали душевной правды?» — вспоминал Маркс.

Во время недолгого пребывания в Крейцнахе Маркс обошел вместе с Элеонорой памятные и дорогие ему места: тенистые уголки парка и достопримечательные пещеры, где кристаллы соли нависли сталактитами, образовали колонны и, сияя алмазным блеском, превратили камни в причудливые гирлянды. Воздух в крейцнахских садах был все таким же слегка солоноватым, напоенным цветами и травами, как в незабываемые годы молодости Карла и Женни.

Несколько раз ездил Маркс и в Прагу, любовался ее средневековыми дворцами, серым, гулким залом для рыцарских турниров, улочкой алхимиков, кленовыми аллеями бульваров и строгими линиями поздней храмовой готики.

В Карлсбаде Маркс проводил по двенадцать часов на воздухе, предпринимая странствия по окрестностям курорта. Иногда он отправлялся гулять один и, случалось, долго плутал в горных лесах, не находя дороги назад, что, впрочем, его очень забавляло. Как-то он познакомился, а затем и быстро сблизился с видным русским социологом, юристом Ковалевским, также лечившимся водами. Оба они совершали длительные прогулки по прекрасным горам Богемии, беседуя по самым различным вопросам науки, искусства, политики.

Нередко они заходили в таверну, славящуюся отменным пивом разных заводов. Там всегда было многолюдно.

— Публика здесь из года в год почти та же, и преобладают крайности: либо толстые как бочки, либо худые как жерди,— говорил Маркс,— как видите, все карлсбадские филистеры сегодня в сборе и опять бурно спорят, разделившись на партии. И знаете о чем?

Ковалевский не знал, и Маркс, подмигнув ему, продолжал с шутливой серьезностью:

— О сравнительных преимуществах старого пильзенского, бюргерского и «акционерного» пива. Я слышал, как

один старичок только что заявил, что черного пива он выпивает подряд без всякого труда пятнадцать кружек. Другой же ему ответил, что раньше был приверженцем одной марки, то есть сугубо партийным человеком, но теперь поднялся над мелочными разногласиями, охотно пьет все сорта всех заводов.

Максим Максимович засмеялся так громоподобно, что все в пивной повернулись в его сторону и, пораженные видом мужественной громады в щегольском костюме, невольно поставили свои кружки на мраморные столики. Два переодетых шпика, неотступно сопровождавшие Маркса с самого его приезда, топтавшиеся в дверях пивной, начали перешептываться. Заметив их, Маркс продолжал с веселой усмешкой:

— Мой однофамилец — начальник полиции в Вене — так любезен, что и на этот раз приехал в Карлсбад одновременно со мной. Рьяный парень! Вот достойный пример ревностной службы и исполнения долга. Однако вернемся к напиткам. Уверен, что те берлинские франты, что сидят на террасе, обсуждают теперь тоже очень важный вопрос — о качестве кофе в здешних ресторанах. Но я согласен с тем из них, который утверждает, что лучший подают в ресторации в саду Шенбруннен.

Максим Максимович Ковалевский производил на всех знавших его весьма внушительное впечатление не только своеобразием характера и необъятными знаниями, но и своей внешностью. Это был отлично скроенный, статный великан. Чрезвычайно высокий, широкоплечий, он мог бы служить моделью скульптуры мифических Атлантов, держащих на своих плечах небесный свод. Под стать телосложению был и голос Ковалевского, низкий, мелодичный и чрезвычайно сильный. Даже когда он пытался говорить шепотом, его бывало слышно из конца в конец главной улицы Карлсбада.

— Да это подлинный колосс,— удивилась Элеонора, когда в первый раз увидела величественного, барственно холеного русского.

Маркс, постоянно изучавший Россию, нашел в Максиме Максимовиче друга, но только «по науке», как он сам определил свои с ним отношения, подчеркнув при этом полное различие в социальном мировоззрении и целях.

В 1876 году Ковалевский, молодой, весьма одаренный русский ученый, часто посещал Маркса в Лондоне. Свет-

ский человек, благожелательный, обаятельный в обхождении, Максим Максимович стал желанным гостем в доме № 41 на Мейтленд-парк роуд, хотя люди туда допускались в эти годы с большим разбором. Маркс сторонился даже известных европейских писателей, добивавшихся знакомства с ним, ссылаясь на нескромность газет и журналов. К тому же время ему было крайне дорого. Но Ковалевский был радушно принят.

Он как раз незадолго до этого побывал в Америке, а Маркс намеревался во втором томе «Капитала» отвести значительное место вопросу о накоплении капитала в Соединенных Штатах и в России. Его также чрезвычайно интересовала русская экономическая и историческая литература, которую основательно знал Ковалевский. Не только Карлу, но и Женни были приятны посещения этого гостя из России. Жена Маркса настойчиво изучала в это время русскую литературу и даже писала о ней во «Франкфуртской газете».

Многознающий Ковалевский был умнейшим человеком, неиссякаемым в беседе. Особенно глубоко он знал всеобщую историю и юриспруденцию. Не будучи последователем Маркса, он, однако, оценил по достоинству его знания и трудолюбие, страстность в политической борьбе и почувствовал в авторе «Капитала» и вожде Интернационала душу гиганта, с которым не шли ни в какое сравнение все так называемые большие люди. Ковалевский был значительно моложе Маркса, но никогда не замечал с его стороны ни малейшей тени пренебрежения старшего к младшему. Он гордился знакомством с Марксом, радовался, что имел счастье встретиться с одним из тех, кто по праву может считаться великим.

Обычно на пороге дома, расположенного подле полукруглого сквера на Мейтленд-парк, Ковалевского радушно встречала Елена Демут. Она пополнела, но все еще выглядела значительно моложе своих пятидесяти с лишним лет и по-прежнему легко справлялась со всеми обязанностями по ведению дома. Как и в былые годы, Ленхен была неизменным партнером Маркса за шахматной доской и часто обыгрывала его. Искусный игрок в шашки, Маркс был не из сильных шахматистов.

Чаще всего Ковалевский находил Маркса в библиотеке, расположенной рядом с гостиной на первом этаже

просторного светлого дома. Маркс бывал так погружен в работу, что не сразу замечал появление гостя. Он неохотно отрывался от рукописей, книг, газет на различных языках, которые читал. Среди итальянской, испанской, русской, немецкой, английской прессы Максим Максимович обнаружил и бухарестскую газету «Румын». Хозяин дома, впрочем, владел свободно не только румынским, но и сербским и русским языками. Библиотека, где проводил много времени Маркс, была большая, в три окна, комната. Вдоль стен стояли шкафы и полки, до отказа заставленные справочниками и книгами, исключительно такими, которыми пользовался Маркс для своей работы. Некоторые книги лежали раскрытыми на стульях и диване. Много времени в эту пору отдавал Маркс русской истории. Из исторических монографий Костомарова он выписывал то, что рассказывало ему о Разине. Внимательно прочел он исследование Васильчикова о землевладении и земледелии в России и других европейских государствах.

Один из больших шкафов и открытые полки были отведены в кабинете особо под русские книги. В записную книгу типа каталога Маркс старательно внес все их названия. Он озаглавил свой список: «Русские книги в моей библиотеке».

Однажды Максим Максимович Ковалевский получил приглашение от Маркса встретить в его семье Новый год. К ужину ожидались также и другие гости. До их прихода Маркс расспрашивал Ковалевского о железнодорожном хозяйстве России, ссылаясь на полученную им из Петербурга книгу Чупрова. Затем беседа перешла на вопросы экономической истории мира. Ковалевский не без удивления узнал, что Маркс возобновил занятия математикой, дифференциальными и интегральными исчислениями, для того чтобы проверить значимость новейшего математического направления в политической экономии, которое возглавил англичанин Джевонс.

Как и все посещавшие Маркса, молодой русский ученый с первой встречи подпал под великое обаяние его жены. Благородство ее внешнего облика, стоицизм в борьбе с житейскими лишениями, манеры дамы из высшего общества и вместе с тем простота обхождения, ум, слегка насмешливый и ясный, привлекали каждого, кто узнавал Женни ближе.

В вечер проводов старого года, нарядно одетая, в темно-синем тафтовом платье и черной кружевной накидке, она казалась значительно моложе. Скорбь, залегшая в морщинках между крыльями носа и верхней губой, исчезла в улыбке, открывавшей красивые зубы, в блеске больших, все еще лучистых глаз.

— К счастью, Чарли здоров сегодня. Он несколько дней балансировал, подобно канатоходцу, между гриппом и плевритом,— сказала Женни, здороваясь с Ковалевским.— Зиму в Лондоне можно сравнить разве что с Дантовым адом. Это почти что вечная ночь. С двух-трех часов зажигаем лампы.

— Надеюсь, мы все будем достаточно сильны в наступающем году, чтобы достойно бороться с большими и малыми разновидностями гадюк и ехидн современной реакции,— ответил Ковалевский и галантно пододвинул Женни Маркс кресло.

— Прошу вас в новом году не дарить Мавру столько русских книг, как в предыдущем. Иначе он не сможет закончить свое капитальное сочинение, и мне придется наказать вас, господин Ковалевский.

— И лишить за обедом самого лакомого блюда.

— Конечно. Я знаю, что вы гурман, и не дам вам бараньей котлеты.

— В таком случае доктор Маркс более не получит от меня ни одного казенного издания о ходе кредитных операций в России.

— Вот хорошо. А то господин Энгельс уверяет, что у моего мужа накопилось три кубометра русских книг.

Разговор продолжался в том же шутливом тоне.

Вскоре в гостиную вошли Энгельс с женой. Лиззи и Женни нежно расцеловались.

Ни малейшего стеснения, неловкости, скуки никогда не чувствовалось в доме Маркса.

Праздничный стол ломился от яств. Был тут и неизбежный плумпудинг, сухой, рассыпчатый, похожий на большую шляпную коробку. Ветка светло-зеленого остролистника с сакраментальными алыми ягодами, растущими прямо на листьях, украшала его глянцевитую, сахарную поверхность. Два превосходных продолговатых кекса с коринкой, которые так любил Энгельс, украшали обе стороны стола вместе с вазами, полными фруктов, и множеством бутылок вина и шампанского.

— Все чудесно, и как много ягод на остролистнике,— сказала Лиззи.— Мы недавно послали несколько пудингов друзьям в Германию, и Фридрих, который, как мальчишка, проказлив, положил такие же колючие ветки под крышку ящика так, чтобы таможенные чиновники, вынюхивающие повсюду контрабанду, оцарапали себе носы. А сколько изюму кладете вы, Ленхен, в тесто?

Лиззи была непревзойденная спряпуха и никогда не упускала возможности узнать тот или иной кулинарный секрет.

Ленхен с гордостью посвятила ее в то, как именно следует приготовлять торты. Они увлеченно принялись спорить о том, нужно ли добавлять цукаты в миндальные пирожные.

Женни с доброй улыбкой прислушивалась к их оживленному разговору.

— В числе всяческих грехов, которые преследуются церковью, значится и чревоугодие, но я на месте римского папы не посягала бы на сласти, без них домохозяйки не знали бы, чем украсить свой стол,— сказала сидевшая среди дам сестра Маркса, госпожа Юта.

— Я слыхала, что самый лучший кондитер на свете служит теперь именно в Ватикане,— сообщила Елена Демут.

Маркс, Энгельс и Ковалевский стоя беседовали об общественных деятелях Европы. Когда Женни подошла, чтобы позвать их к ужину, Генерал заканчивал свой рассказ.

— Итак, сей муж,— говорил он,— спереди демократичен, сзади социалистичен и, следовательно, всесторонне ортодоксален и демократически социалистичен.

В ответ раздался дружный хохот. Особенно громыхал Ковалевский.

— Я знавал,— сказал он, вдоволь посмеявшись,—одного русского политического воротилу, который был столь дальновиден и так напуган Парижской коммуной, что, когда дарил свои фотографии, писал на них многозначительно и невразумительно всего два слова: «Сказано на словах».

И снова собеседники весело рассмеялись. Женни позвала их к столу.

За ужином Маркс заговорил с Ковалевским о его знакомой, Ольге Алексеевне Новиковой. Эта тридцатишести-

летняя малоодаренная писательница пыталась приобрести влияние в дипломатических сферах, подобное тому, каким пользовалась некогда Дарья Христофоровна Ливен. Мужеподобной Новиковой не хватало титула, ума, такта и женского обаяния покойной княгини. Однако ей удалось понравиться Гладстону. Этот осторожный, ловкий дипломат, строивший свою политику на постоянных уступках и сговорах, за год до этого ушел с поста руководителя либеральной партии и удалился от дел. Он заявил, что ни одному премьер-министру после шестидесяти лет не удавалось сделать что-либо выдающееся. Но уже в 1876 году он снова занял пост главы правительства.

— На днях,— рассказал Ковалевский,— господин Гладстон демонстративно в театре зашел в ложу к госпоже Новиковой, очевидно, как она мне говорила, чтобы подчеркнуть, что союз между Англией и Россией уже существует. Затем сей маленький, весьма похожий на английского священнослужителя субъект под руку с дамой, похожей на каланчу...

— На драгуна...— вставил Маркс.

— Именно так. Проследовал к выходу. Толпа народа почтительно расступилась, чтобы пропустить достопочтенных представителей двух великих держав. Это было весьма знаменательное шествие.

— Скажите нам, господин Ковалевский, ваше мнение о восхитительной Эллен Терри,— вступила в беседу Элеонора.— Не правда ли, это самая замечательная актриса нашего времени? Она неповторима, когда играет Офелию. Сам Шекспир не подобрал бы лучшего воплощения для этой роли.

— Мне больше по душе несравненная Дузе,— ответил Максим Максимович.— Но и Терри действительно превосходна. Ее фигура в смысле пропорций безукоризненна. Не знаешь, высока она или низкоросла, полна или худа, настолько точно природа отмерила ей все необходимое. Но голос, способность к перевоплощению у вашей тезки, мисс Маркс, у Элеоноры Дузе, волнуют меня значительно больше.

— О,— вскричала вдруг Тусси,— мы чуть не упустили торжественной минуты. Прощай, старый год! Мавр, Генерал, пора наполнить бокалы.

Раздался полуночный бой больших стенных часов.

— Салют тысяча восемьсот семьдесят седьмому году!

— Пусть исполнятся все наши желания!

— Виват, ура!

Все поднялись и чокнулись друг с другом.

— Выпьем за юристов,— предложила госпожа Юта.— За нашим столом двое: Карл и господин Ковалевский. Я очень хочу, чтобы мой сын также приобщился к этой почтенной корпорации.

— Слов нет,— ответил Максим Максимович,— юристы должны быть весьма образованны и красноречивы. Не случайно они не раз возглавляли революции.

— Находясь, однако, по обе стороны баррикад,— поправил русского Маркс.

— Это верно. Со времен Цицерона и по наши дни. Достаточно вспомнить таких, как Робеспьер, Демулен, Бриссо.

— И честнейший коммунар Риго,— вспомнила Женнихен.

— А теперь,— сказала Женни Маркс,— я открою один семейный секрет. Новый год мы начнем с поздравлений нашего друга, дорогой мисс Демут, которая мудро избрала для своего рождения первое января.

С этими словами она крепко обняла подругу. В комнате стало шумно от радостных восклицаний и отодвигаемых стульев. Все устремились к Ленхен. Исчезнувшая было Элеонора вернулась с огромным круглым тортом, на котором, трепетно мигая, горели пятьдесят четыре тоненькие свечки.

Все члены семьи Маркса, включая недавно приехавшую погостить сестру Карла Луизу Юта и ее двух рослых добродушного вида сыновей, чинно подошли к Ленхен с заранее приготовленными подарками. Раскрасневшаяся от смущения, она растерянно благодарила, но, когда Карл от себя и Женни протянул ей маленькую коробочку, в которой на синем атласе лежали скромные часики на длинной цепочке, Ленхен сразу же нахмурилась и грозно шепнула, наклонившись к его уху;

— Кто это тебе позволил сорить так деньгами? Сумасшедшие. Что ты, какой-нибудь министр финансов? Лучше дал бы мне их, чтоб я рассчиталась с нашими кредиторами.

Карл комически вздохнул и вскинул руки, но не стал отвечать. Его оттеснили Энгельс и Лиззи. Они принесли

Ленхен кусок бархата на платье. Госпожа Юта поднесла ей отличный шерстяной плед, а Элеонора — собственноручно вышитый мешочек для носовых платков, в котором лежало несколько кусков пахнущего лавандой мыла знаменитой английской марки «Аткинсон». Последним поздравил Елену Демут Ковалевский; склонив большую, красивую голову, он пожелал ей долголетия и назвал добрым гением семьи великого Карла Маркса.

Затем Энгельс весьма умело, не пролив ни капли, открыл одну за другой несколько бутылок шампанского, и новогодний праздник продолжался. Веселье нарастало. Тусси, командуя своими двумя кузенами, Генри и Чарлзом Юта, устроила общие игры. Стулья в гостиной были расставлены в круг. Сначала соревновались в находчивости. На внезапно брошенный, как мяч, вопрос следовало не задумываясь дать ответ.

— Куда делись руки Венеры Милосской? — хитро прищурившись, спросила Элеонора Ковалевского.

Он скользнул глазами по сидевшей с ним рядом сестре Маркса, заметил пухлую ямочку на ее полном локте и сказал галантно:

— Извольте, природа, похитив их у богини, приделала к торсу госпожи Юта.

Раздались аплодисменты. Игра продолжалась, но скоро наскучила. Тогда Элеонора вышла на середину круга и заявила:

— Я директор цирка.

— А мы кто? — заинтересовался Энгельс.

— Все вы, в том числе Мавр и ты, Генерал, всего лишь дрессированные звери. Прошу не смеяться. Сейчас каждому из вас я назову, под строгим соблюдением тайны, каким именно животным он будет.

— Тусси, оказывается, на самом деле Цирцея. Но прошу не превращать меня в свинью,— снова воскликнул Энгельс.

— И не в осла, их и так развелось на свете слишком много,— сказал Ковалевский.

— Успокойтесь, может быть, вам предстоит быть львами.

— Но я не умею рычать.

— Что до меня, я жажду превращения в слона. По общему мнению, мой голос годится для джунглей,— потребовал Ковалевский.

— Прошу слушаться директора цирка и главного укротителя! — крикнула властно Тусси.

Все замолчали, но, продолжая улыбаться, переглядывались друг с другом.

— Итак, молчание! Я скажу каждому на ухо, какой он зверь, а затем по счету «раз-два-три» буду вызывать вас на арену. Звери должны выскочить вперед, издавая при этом звуки, которые даны им природой. Тигр пусть рычит, а шакал воет.

Элеонора шепнула что-то каждому из играющих и остановилась в центре круга.

— Начинаю!

Энгельс, сделав комическую гримасу, подался вперед. Маркс, щурясь, откинулся на спинку стула.

Девушка медленно сосчитала до трех и громко крикнула:

— Собака!

В ту же минуту все сорвались со своих мест, бросились на середину круга и начали отчаянно лаять. Затем, сообразив, что с ними сыграли забавную шутку и все они должны были изображать одно и то же животное, покатились со смеху. Особенно неудержимо, до багровой краски в лице и слезинок в углах глаз, смеялся Энгельс. Ему вторили Маркс и Ковалевский. Госпожа Юта не знала, улыбаться ей или сердиться. Она так остервенело изображала пса, что чувствовала себя теперь неловко и хотела обидеться. Впрочем, поведение остальных тотчас же ее успокоило.

А Тусси уже приказала покорным ее воле юношам отодвинуть мебель к стенам, а сама подсела к роялю и сыграла марш. На первый тур танца Маркс пригласил свою жену. Оба они были великолепными танцорами. Маркс, правда, танцуя, всегда немного смущался, и это вначале несколько сковывало его движения. Но музыка постепенно увлекла всех, и, кружась, он как бы сбросил годы. Много воскресших неясных воспоминаний молодили его душу.

Он видел себя и Женни в Париже. Они кружились на веселых балах, и так же рука его лежала вокруг ее талии и совсем близко, рядом сияли любимые карие, с позолотой глаза. И Женни думала о прошлом, и ласковая улыбка задержалась на ее лице. Затем Маркс подошел к Лиззи и закружил ее в вальсе, а Ковалевский пригласил

госпожу Луизу Юта. После танцев он подвел ее к дивану и сел в кресло рядом.

— Поверьте,— сказала ему жена зажиточного книготорговца из Капштадта, обмахиваясь веером из страусовых перьев,— Карл и мы все вовсе не какие-нибудь дети простолюдинов. Наш отец адвокат. Если вам придется побывать в Трире, то вы услышите, из какой мы хорошей, всеми уважаемой и к тому же не бедной семьи. Кто бы мог подумать, когда Карл был маленьким, что он попадет в такую страшную компанию, как все эти красные.

Максим Максимович, скрывая в пышной бороде усмешку, тщетно пытался успокоить госпожу Юта рассказом о том, каким огромным уважением среди всех лучших людей пользуется ее брат, какой он во всех отношениях неповторимый человек. Госпожа Юта все же продолжала грустно вздыхать и сетовать. Маркс, краем уха слышавший жалобы сестры по своему адресу, не мог удержаться от веселого смеха.

Рядом с креслом, на котором сидел Максим Максимович, стоял маленький мозаичный столик. На нем играли в шашки, писали письма. Столик был покрыт плюшевой скатеркой с пышной бахромой по краям. Под стеклом, прижатым металлическими лапками, стояла новая фотография Маркса. Ковалевский взял снимок в руки и пристально в него вгляделся. Маркс был снят сидящим в кресле, в одной из лучших фотостудий Майлса на Риджентс-стрит, 224, о чем сообщал штамп фирмы. Русского ученого снова поразили благородство и значительность львиной головы вождя рабочих.

— У вашего брата,— обратился Максим Максимович к госпоже Юта,— замечательные глаза. Обратите внимание на то, как приспущены книзу его веки у наружных углов. Интересная особенность, которую я заметил у многих выдающихся людей. Вспомните, например, портреты Ньютона, Гегеля, Бетховена.

Госпожа Юта с недоумением посмотрела на собеседника.

— Глаза такой формы — полудужьями,— продолжал Ковалевский,— несомненно, присущи высокоодаренным натурам.

Было уже очень поздно, когда Энгельс и Ковалевский, отделившись от веселой компании дам и молодежи, после-

довали за хозяином дома в его кабинет покурить и выпить по чашке кофе с ликером.

Заговорили о том, что было дороже всего сердцам двух руководителей мирового рабочего движения,— о делах социал-демократии во всем мире и, в частности, в Германии. Маркс похвалил молодого революционера Бебеля, полушутя-полусердясь отозвался о Либкнехте как об упрямце, не вполне освободившемся от дурного влияния лассальянцев.

— Трудно,— заметил он, посмеиваясь,— внести свежую мысль в голову немецкого приват-доцента, а Либкнехт из той же породы.

Маркс заметно помрачнел, когда речь зашла о полученном известии из Берлина, что какой-то безумец анархист совершил покушение на престарелого германского императора Вильгельма.

— О, черт, будь проклят террорист и те, кто его подбил на эту гнусную провокацию. Ведь зло капитализма не в беззубом дряхлом коронованном осле. Легко можно себе представить, как сегодня торжествует Бисмарк. Теперь он имеет возможность под истерические вопли юнкерских кликуш и барабанный бой объявить новый поход на социалистов. Наверняка уже начались преследования революционеров по всей стране.

Перед возвращением в Москву, где Ковалевский должен был занять кафедру в университете, он провел несколько прощальных часов у Маркса и Энгельса. В общении с ними он черпал немало новых мыслей и знаний. И в этот раз они много говорили об искусстве, литературе, истории, политике. Без знакомства с Марксом Ковалевский не занялся бы теми предметами, которые в дальнейшем определили его научные достижения. Маркс, юрист, советовал русскому ученому написать большое сочинение об административной юстиции, а также заняться прошлым земельной общины. Особо интересовала Маркса научная критика. Он был одним из весьма взыскательных читателей «Критического обозрения», издаваемого Ковалевским.

Прощаясь с русским ученым, Маркс сказал ему в упор:

— Помните, что логически можно мыслить, только следуя диалектическому методу.

В самом начале 1877 года Маркс писал в Москву Ковалевскому:

«Дорогой друг!

Я узнал, что одна русская дама, оказавшая большие услуги партии, не может из-за недостатка в деньгах, найти в Москве адвоката для своего мужа. Я ничего не знаю ни о ее муже, ни о том, виновен ли он или нет. Но так как процесс может кончиться ссылкой в Сибирь, и так как г-жа*** решила следовать за своим мужем, которого считает невиновным, то было бы чрезвычайно важно помочь найти ему хотя бы защитника. Г-жа*** предоставила управление своим состоянием мужу и сама совершенно не в курсе дела, таким образом, только адвокат может ей в этом помочь.

Г-н Танеев, которого Вы знаете и которого я с давних пор уважаю как преданного друга освобождения народа,— может быть, единственный адвокат в Москве, который возьмется за такое неблагодарное дело. Поэтому Вы меня очень обяжете, если от моего имени попросите его принять участие в исключительно тяжелом положении нашего друга.

Ваш *Карл Маркс*».

Дама, о которой ходатайствовал Маркс, была героиня Парижской коммуны Дмитриева, вышедшая замуж за обедневшего дворянина Давыдовского, оказавшегося на скамье подсудимых по уголовному делу «червонных валетов».

Иван Михайлович Давыдовский был управляющим имения ее фиктивного мужа Томановского, который после смерти оставил все свое состояние жене.

Давыдовский сумел внушить страстной и самоотверженной Елизавете Лукиничне не только большую любовь, но и полное доверие. Она не сомневалась, что муж ее ни в чем дурном не может быть замешан. Беда его только в слабохарактерности и чрезмерной доброте. То и другое было отчасти присуще этому неустойчивому человеку. Проучившись четыре года в университете, он бросил его накануне окончания.

Николай Исаакович Утин, друг Дмитриевой, тщетно отговаривал ее от этого брака. Она, не считаясь ни с чем, связала свою жизнь с Давыдовским. Когда его арестова-

ли, Утин сообщил об этом происшествии Марксу, и тот немедленно откликнулся.

Защитник подсудимого в своей речи на суде выразил глубокую уверенность в невиновности Давыдовского.

На процессе «червонных валетов» с защитой мужа выступила и Елизавета Лукинична. Она утверждала, что он глубоко нравственный и совершенно честный человек, безвинно оговоренный врагами, а судебного следователя обвиняла в неправильных действиях.

Суд, признав Давыдовского виновным в том, что, напоив богача Еремеева, он заставил его подписать, а затем выманил безденежные вексельные бланки, а также вексель на двадцать тысяч рублей, приговорил его к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение. Елизавета Лукинична, верившая своему мужу, вместе с двумя детьми последовала за ним в Енисейскую губернию. Позже Давыдовский получил разрешение на поселение в Красноярском округе. В большом селе Заледеево на Московском тракте Елизавета Лукинична завела корову и лошадь, купила двухэтажный просторный домик и полностью отдалась семье и хозяйству. Пытливая и талантливая во всем, за что бы ни бралась, она сумела вырастить свой особый сорт морозоустойчивого картофеля, сама успешно обучала своих детей иностранным языкам, разным наукам и музыке.

Со свойственным ее натуре неистовством Елизавета Лукинична увлекалась астрономией. По ночам выходила из дому и подолгу смотрела на звезды, изучая небесный атлас. Неразговорчивая, суровая и даже мрачная, она избегала людей, которые за бодрствование, блуждание по ночам и пристрастие к небесным светилам сочли ее душевнобольной. По-прежнему она была очень хороша собой: высокая, умеренно полная, черноволосая, с необыкновенными крупными неулыбающимися глазами. Никто не знал ее прошлого, и когда очень редко она упоминала, что была другом Маркса и членом Интернационала, политические ссыльные, которых с каждым годом становилось в селе все больше, не верили ей.

За долгую жизнь человек привыкает к повторяющимся недомоганиям и не задумывается над тем, что в какой-то из облепляющих его болезней как порох в гильзе, уже

заложена смерть. После шестидесяти лет Женни Маркс начала хворать. Ничто не помогало: ни поездки к приморью и на курорты, ни советы врачей Лондона, Манчестера, Нейнара, Парижа. Маркс с беспокойством всматривался в дорогое лицо жены и замечал, как обострялись ее черты, серела и высыхала кожа, а иногда вдруг гасли лучи прекрасных темных глаз и в них появлялась тревога. Веки Женни напоминали отныне увядшую сирень. Она сильно похудела, старалась скрывать боли и нарастающую слабость.

Чахла и Лиззи. Тщетно Энгельс возил ее неоднократно из Лондона к морю в Истборн или Рамсгет. Все, что так помогает, когда болезнь преходяща, а не гибельна,— воздух, солнце, покой, забота и ласка близких людей,— уже не приносило Лиззи исцеления. Ничем не могла помочь ей больше и медицина. Час перехода в небытие быстро приближался. Врачи не подавали более надежды. Смирившись, равнодушно глядя немигающими глазами на свечи в старых канделябрах, лежала она в постели. Энгельс, погруженный в печаль, сидел подле нее. Он мучительно искал средства, как бы продлить ее жизнь. Пассивность была чужда его натуре. Он изнывал от сознания бессилия.

— Дорогая,— сказал он вдруг после долгого раздумья, заметно оживившись. Лицо Фридриха просветлело.— Помнишь, давно это было, я поклялся обязательно сочетаться с тобой браком по закону. Если ты не будешь возражать, мы сегодня же обвенчаемся. Зачем откладывать, не так ли?

Он склонился к умирающей, охваченный надеждой, и заметил, как порозовело землистое лицо Лиззи.

— Спасибо, Фредди, я была бы очень счастлива, любимый мой, если бы мы действительно обвенчались,— прошептала Лиззи и закрыла глаза.

«Она мне не верит»,— с горечью подумал Энгельс. Вскоре, препоручив жену сиделке, он ушел из дома.

Был уже поздний вечер, когда Энгельс вернулся с несколькими представителями мэрии. В черных костюмах с белыми накрахмаленными манишками, в начищенных до блеска штиблетах, эти джентльмены одинаково годились для любой церемонии: свадьбы, крестин либо похорон.

Лиззи была уже в полузабытьи. Сознание ее то светлело, то снова меркло.

Энгельс поцеловал маленькую обессиленную руку женщины, с которой в согласии и любви прожил целых пятнадцать лет, и окликнул ее. Сиделка сменила свечи в бронзовых канделябрах, Лиззи открыла подернутые дымкой глаза. Брак Энгельса и Лиззи Бёрнс был заключен согласно установленным законам. Затем свидетели распили в столовой бутылку шампанского, получили деньги и ушли восвояси.

Снова Энгельс занял свое место у изголовья умирающей. Последняя надежда, что радость хоть ненадолго отгонит от его жены смерть, не оправдалась. Агония Лиззи походила на дремоту, и она безропотно и тихо скончалась в половине второго следующего дня.

Смерть Лиззи была первым в жизни большим страданием для Элеоноры. В семье Энгельса был ее второй отчий дом. Как любила она с детства ездить в Манчестер, где ее ждали сюрпризы, подарки и ласки Лиззи, постоянной советчицы и поверенной маленьких секретов Тусси. Они объездили Ирландию, часто бывали на взморье и много времени проводили вместе в Лондоне. Элеонора горько плакала над гробом своей второй матери и друга. Думая о Лиззи, она видела себя подростком в большом манчестерском доме. Жена Энгельса терпеливо учила ее рукоделию и домоводству, укладывала спать в большой, обогретой металлическими грелками кровати под пологом, чтобы затем усесться в ногах и долго рассказывать о своем крестьянском, а затем рабочем прошлом, о родине и борьбе фениев. Часто дуэтом пели они ирландские песни или, взявшись за руки, уходили гулять по окрестностям текстильной столицы. С тем ожесточением, которое присуще молодости и здоровью, восставала Тусси против смерти, посмевшей вторгнуться в ее жизнь, и, прорыдав несколько часов, в изнеможении засыпала беспокойным, тяжелым сном. Постепенно она смирилась, но нервы ее были потрясены.

Красоцкая провожала прах Лиззи Энгельс. Был тихий осенний полдень, когда последняя горсть земли упала на могилу. Все было кончено.

Лиза медленно пошла по кладбищенской аллее. Она была безнадежно больна и знала это. Ноги ее распухли, и отекшее лицо резко изменилось. Но не смерти боялась

Лиза, а немощи и бессилия. Быть в тягость людям казалось ей худшим из земных несчастий. Не желая, как всю свою жизнь, оставаться праздной, она учила бесплатно детей из бедных семей музыке и языкам. Деньги ее давно разошлись, и Лиза едва сводила концы с концами, но никто этого не знал, и, считая ее по старой памяти богатой, постоянно обращались со своими нуждами.

Невозможность помочь крайне угнетала старую, уставшую женщину, и впервые она начала думать, что ей пора уйти из жизни. Ася, забравшая после свадьбы все, что представляло какую-либо ценность, изредка писала матери, главным образом когда ей требовались деньги или происходила ссора с мужем. Жан Сток, несколько оправившийся от потрясений, служил сторожем. Он стыдился безделья, называя его паразитизмом, и по мере сил пытался скрасить жизнь старого друга.

Долго бродила Красоцкая по кладбищу, останавливаясь и читая надписи. На одной, давно заброшенной, осевшей от времени и непогод могильной насыпи стоял на покосившемся постаменте мраморный ангел с отбитым крылом. Под ним едва различимы были буквы:

Смелому в бою,
Твердому под пыткой,
Беззащитному в любви.

Лиза провела рукой по камню и, скорее осязая, чем видя, разобрала славянское имя, но дата смерти и фамилия стерлись навсегда. Очевидно, тут был похоронен соотечественник.

В какой схватке проявил он отвагу, каким истязаниям подвергался и кто нанес неизлечимую рану его сердцу? Бесцельно было бы искать ответа. К этой давно забытой могиле вряд ли неслись еще мысли и чувства живых.

Лиза отдыхала на кладбище. Оно возвращало ей мудрое спокойствие. Со времени гибели мужа и друзей-коммунаров мысль о неизбежности смерти не вызывала у нее ни малейшего недовольства и протеста. Это была та неизбежность, которая учила не только умирать, но жить так, чтобы наилучшим образом употребить ценнейший дар судьбы. Как и Женни Маркс, Лиза считала неблагодарность худшей чертой в человеке. Она понимала под этим словом не только отсутствие признательности за сделанное добро и одолжение, оказанное внимание, услугу, про-

явленную заботу, но и неблагодарность по отношению к человечеству и природе.

«Жизнь — свет во тьме, и благо нам, узревшим его,— писала Лиза в маленькой тетради. — Будем же благодарны за то, что имеем. Цветок или дерево, птица или бабочка наслаждаются бытием, отдают все, что имеют, и исчезают. Они ценят каплю влаги, луч света и тишину ночного неба. Человек — самое недовольное из всех существ на земле. А вместе с тем он получил от природы больше всех. Будем же признательны, недаром неблагодарность называют черной. Она звено в дьявольской цепи зла, такое же опасное, как зависть и лживость. Как много дурного было бы предотвращено, если бы люди изгоняли прочь неблагодарность».

И Лиза стремилась отплатить сторицей жизни за то, что познала ее всю: веселую и горестную, тусклую и яркую, сложную и простую, легкую и трудную — всегда многообразную, неожиданную, несущую в себе неисчерпаемый кладезь познания, мыслей и чувств, стремлений и свершений, а значит, и счастья.

На земле шла своя напряженная, неспокойная жизнь, и редкий день где-нибудь не воевали люди.

Восстание славянских племен против турецкого ига в Боснии, Герцеговине и Болгарии побудило русского царя и его дипломатов ради укрепления своего влияния на Балканах, значительно подорванного после неудач Крымской войны, выступить с требованием предоставить автономию христианскому населению этих стран. Стремясь поднять утраченный престиж на международной арене и разрядить сгустившуюся политическую атмосферу внутри своей страны, царизм выступил против Турции «в защиту братьев-славян».

Англия и другие западные державы через своих послов в Стамбуле потребовали от турок беспощадной расправы с восставшими славянами. Бисмарк, который хотел отвлечь Россию от иных назревающих в Европе противоречий, всячески поощрял Александра II к войне на Ближнем Востоке.

В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, и в июне русская армия форсировала Дунай у болгарского берега. Героическая оборона Шипки, разгром турок у

горы Аладуса, штурм Карса, падение Плевны и пленение турецких войск, оборонявших этот город, беспримерный, как некогда поход Суворова через Альпы, зимний переход главных сил русской армии через Балканские горы и, наконец, освобождение Софии, Филиппополя и Адрианополя, а также выход на подступы к турецкой столице — все эти победоносные действия русских обеспечили независимость Румынии, Сербии и Черногории, а также полное раскрепощение Болгарии. Из-под владычества турок ушли также Аджария с Батуми и многие селения Армении, которые отныне вошли в состав Российского государства.

Маркс и Энгельс, естественно, не могли быть на стороне русского царя, выступавшего неоднократно в роли жестокого гонителя революционного движения в своей стране и на Западе. Маркс тогда уже предвидел, что реакционному царскому режиму суждено погибнуть в огне военных катастроф.

«Этот кризис,— писал Маркс,— *новый поворотный пункт* в истории Европы. Россия, положение которой я изучил по *русским* оригинальным источникам, неофициальным и официальным (последние доступны лишь ограниченному числу лиц, мне же были доставлены моими друзьями в Петербурге), давно уже стоит на пороге переворота, и все необходимые для этого элементы уже созрели... Все слои русского общества находятся в настоящее время в экономическом, моральном и интеллектуальном отношении в состоянии полного разложения».

На протяжении почти двадцати лет Маркс и Энгельс, пристально изучая Россию, страстно ждали, что именно в этом великом, противоречивом государстве начнется революция, которая получит могучее мировое звучание. Ни на миг они не теряли веру в особую высокую миссию северной страны и мечтали дожить до поры, когда русские труженики сметут самодержавие и начнут создавать социалистическую новь.

Смерть Лиззи Энгельс нанесла тяжелую рану Женни. С этой поры и она осознала то, что не было еще понято многочисленными осматривавшими ее медиками: жизнь ее также близилась к концу. Наступало медленное, мучи-

тельное умирание. Открытие это Женни глубоко спрятала в себе, и внешне оно ее не сломило. Гордо и отважно смотрела она в будущее. Не случайно такие женщины, как мать героев древности братьев Гракхов, бесстрашная орлица Корнелия, казались Женни одними из наиболее значительных в истории.

Но близкие дрогнули и долго пытались обманывать себя и верить в ее возможное выздоровление. Любовь к ним и неистребимая потребность не причинять людям огорчений заставляли Женни крепиться и поддерживать эти иллюзорные надежды в Карле, детях и Ленхен. Даже когда не оставалось больше сомнений и диагноз, страшный, как смертный приговор, был произнесен, Женни встретила его с улыбкой и постаралась развеять нависший над домом ужас уверениями, что чувствует себя значительно лучше и врачи ошиблись.

Рак! Женни сидела одна, погрузившись в тяжелую думу. Итак, это может тянуться еще год, два. Каждый живущий начинает с первого своего шага путь к могиле и не знает, когда он вздохнет в последний раз. Разве думают о ночи, проснувшись утром. И, однако, ей не дана легкая, внезапная смерть. Жизнь стала затянувшейся агонией без проблеска надежды. Но не о себе тревожилась Женни. Бедный, измученный Мавр, Ленхен, дети. Женни вопросительно посмотрела на календарь. Есть ли в нем уже то число, которое станет роковым для нее, или будет отсрочка, на сколько?

«А если я проживу дольше, чем предполагают врачи? Кто знает, когда предстоит мне сорваться в бездну смерти с кручи, которой стала моя неизлечимая болезнь? Я обязана уберечь Чарли от постоянного страха за мою жизнь, защитить от соседства смерти, которую принесла в этот дом и тем превратила его в камеру смертника, ожидающего вызова на казнь. Нельзя омрачать в течение долгих месяцев и без того нелегкую молодость несчастной Тусси. О, мои бесконечно дорогие, любимые!» И, пользуясь тем, что в комнате никого не было, Женни разрешила себе слезы и горько, беззвучно зарыдала.

Она была не из тех людей, которые всю силу воли направляют на то, чтобы не допускать мысли о гибели. Смелая и правдивая душа Женни никогда не боялась смотреть опасности и беде прямо в глаза. Страдала она жестоко не о себе, а о родных и нашла способ отогнать

призраки, заполнившие ее дом. Никогда никто не видел Женни такой спокойной, оживленной. Она чаще, нежели раньше, стала посещать театры и концерты. Охотно отправлялась за покупками по лавкам, радуясь, если могла купить что-либо для дочерей и внуков. Дарить подарки было всегда ее страстью.

Но Маркс оцепенел. Этот человек, духовно высеченный из гранита, совершенно растерялся. Любовь к Женни, скопленная за всю его жизнь, выявилась теперь с новой острой, отчаянной силой. Только Ленхен умела так ходить за больной, развлекать ее, баловать, холить, как это делал Карл. Он упорно отгонял думы о разлуке с той, которая давно уже стала частью его самого. А когда мысль о том, что спасения для Женни нет, грозила безумием, он бросался к математике и находил успокоение в решении самых сложных задач, в труднейших формулах этой науки, неисчерпаемой и поглощающей сознание до конца.

— Дитя мое, большой мой ребенок,— говорила больная, глядя на Карла, брови, борода и усы которого тоже совершенно поседели,— я чувствую себя все лучше и лучше. Ты ведь знаешь, что эскулапы видят все в черном свете.

Женни страдала за мужа так же сильно, как он страшился за нее. И оба они, скрывая, терзались тревогой предстоящей разлуки и жалостью друг к другу. Снова вместе они словно прошли по всей своей жизни: все заново пережили, передумали, переговорили.

— Помнишь, Чарли, как мы переехали с Дин-стрит на Графтон-террас. Я была так счастлива, квартира стоила всего тридцать шесть фунтов в год, очень дешево. Нам повезло. Это было осенью. Дом был очень маленьким, а казался мне сказочным, огромным дворцом. Мы впервые имели там собственную, а не взятую напрокат у хозяйки мебель. Я и сейчас чувствую, как это чудесно было лечь в первый раз в свою кровать, сесть на собственный стул. А золоченая мебель в гостиной в стиле рококо, по правде говоря, была очень некрасива, но казалась прекрасной. Мы ведь купили всю обстановку из вторых рук.

— Да, мэмхен, это была изрядная рухлядь, и витые ножки у кресел постоянно ломались,— улыбнулся Карл.

— Однако не хватало только литавр и медных труб, чтобы прославить должным образом великолепие нашего замка. Мы были тогда еще так молоды и здоровы.— Сказав это, Женни внезапно запнулась, а лицо Маркса потемнело.

Иногда они вдвоем под руку поднимались на Хэмпстедские холмы. Чтобы Женни могла отдыхать в дороге, Маркс брал с собой плед и расстилал его на земле в наиболее красивых местах под деревьями.

Нередко туман, окутав Лондон, скрывал его, и с возвышенности казалось, что вдали плещется серое море.

На вершине стояла все та же харчевня дядюшки Джека Строу, и из окна, излюбленного Карлом и Женни, открывалось вдали Хайгейтское кладбище. Сквозь невысокие деревья белели памятники и надгробия. Карл поспешно увел Женни на противоположный конец уютного домика. Там, подле камина, он угостил ее черным пивом и бутербродами с сыром. Женни ласково улыбнулась, и Карл на время забыл о ее болезни. Обоим им казалось, что они не два больных старых человека, а влюбленные молодожены, вступающие в жизнь.

Женни и в эти годы медленной агонии живо интересовалась всем, что происходило в мире. Прикованная к постели, она не могла сама более участвовать в борьбе, но когда болезнь бывала к ней милостива и она не чрезмерно страдала физически, то просила мужа, чтобы к ней заходили посещавшие его единомышленники, и охотно слушала их разговоры и сама принимала участие в спорах.

В 1878 году Бисмарку удалось провести в немецком рейхстаге жестокий закон против социалистов. Он рассчитывал разбить до основания социал-демократическую партию и отдать рабочих на волю угольных и стальных магнатов, а также помещичье-юнкерской клики. Социал-демократическая партия была объявлена вне закона, и отныне насильственно обрывалась ее открытая деятельность. Руководство партии оказалось неподготовленным к этому удару.

Колеблющиеся перешли к анархистам, другие, занимавшие видное положение в партии, в особенности в пар-

ламентской фракции, попытались упразднить партию, вместо того чтобы сразу перейти на нелегальное положение.

Маркс и Энгельс послали циркулярное письмо Бебелю, Либкнехту и другим, выразив в нем свое непримиримое отношение к соглашательству, отстаивая единственно правильную политическую линию для Германской социал-демократической партии — уход в подполье и продолжение борьбы.

«Вместо решительной политической оппозиции,— писали Маркс и Энгельс,— всеобщее посредничество; вместо борьбы против правительства и буржуазии — попытка уговорить их и привлечь на свою сторону; вместо яростного сопротивления гонениям сверху — смиренная покорность и признание, что кара заслужена».

Со всей резкостью пролетарские вожди указывали на недопустимость такого поведения пролетарской партии.

«Если они думают так, как пишут, то должны выйти из партии или, по крайней мере, отказаться от занимаемых ими постов»,— заявили Маркс и Энгельс, стремясь изолировать соглашателей от руководства партией.

Выступая против примиренческой позиции социал-демократического руководства, они показали классово-политические и идейные основы выявившегося оппортунизма. С необычайной силой обоснована в циркулярном письме пролетарская линия партии, позиция Маркса и Энгельса, их революционное кредо.

«Что касается нас,— писали они,— то, в соответствии со всем нашим прошлым, перед нами только один путь. В течение почти 40 лет мы выдвигали на первый план классовую борьбу как непосредственную движущую силу истории, и особенно классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом как могучий рычаг современного социального переворота; поэтому мы никак не можем идти вместе с людьми, которые эту классовую борьбу стремятся вычеркнуть из движения».

Под влиянием решительных выступлений Маркса и Энгельса соглашатели отступили. Классовый инстинкт рабочих масс, критика, советы и помощь со стороны Маркса и Энгельса выправили создавшееся было тяжелое положение в германской партии. Несмотря на исключительный закон Бисмарка, запретивший социал-демокра-

тическую партию в Германии и жестоко преследовавший ее деятельность, партия сумела укрепить свои ряды, перестроить организацию, найти верный путь в народ, используя и сочетая легальные и нелегальные формы работы.

Не только в Германии, но и во Франции рабочее движение, несмотря на трагическую развязку Парижской коммуны, снова окрепло.

Дряхлый Тьер ошибся, когда объявил социализм навсегда умершим. Зверски расправившись со ста тысячами коммунаров, он все же просчитался. Уже в 1876 году, хотя военные суды расстреливали каждого заподозренного, в Париже заседал первый рабочий конгресс. И хотя в повестке дня были самые безобидные вопросы, французский пролетариат вновь напомнил о своем существовании и сплоченности.

По всей Франции росли фабрики и заводы, а с ними и количество промышленных рабочих. Появились и новые руководители тружеников. Одним из них был Жюль Гед, чье зажигательное красноречие, врожденный полемический дар, остроумие действовали словно дрожжи, на которых поднималось пролетарское движение.

В Лионе собрался второй рабочий конгресс, испугавший правительство и фабрикантов, так как вовсе не походил на первый, отличавшийся покорностью и готовностью к сговору. Гед и его товарищи не сдались, несмотря на начавшиеся преследования, и в Марселе, на третьем съезде, завоевав большинство, выступили уже как Социалистическая партия Франции.

Весной 1880 года Гед приехал в Лондон, чтобы с Марксом, Энгельсом и Лафаргом составить проект избирательного документа народившейся партии. После долгих споров они сошлись на общей программе-минимум. В ней следом за небольшим введением, посвященным объяснению целей коммунизма, перечислялись требования, вытекавшие из особенностей рабочего движения.

Маркс считал программу мощным средством, рассеивающим туман фраз, который долгое время мешал рабочим понять свое действительное положение. Карл пришел к выводу, что наконец во Франции возникло настоящее, организованное рабочее движение вместо некогда главенствовавших хаотических сект. Он одобрил решение Поля Лафарга и Шарля Лонге, двух изгнанников Коммуны,

вернуться на родину. Французское правительство в это время дало амнистию коммунарам.

В Париже Поль Лафарг начал работать вместе с Гедом, а Лонге занял влиятельное место редактора в газете «Справедливость», издаваемой Клемансо. Он поселился вместе с семьей в маленьком городке Аржантёй, расположенном в двадцати минутах езды от столицы.

В 1880 году в Париж вернулись амнистированные изгнанники-коммунары. Вышел из тюрьмы и Огюст Бланки. Ему было уже семьдесят четыре года, из которых более тридцати он провел в заключении. Бланки совсем сгорбился, ссохся и был ростом не выше десятилетнего ребенка, но в этом маленьком теле жил мощный разум и неукротимый дух. По-прежнему глаза его напоминали два зажженных факела и голос сохранил властность и силу, а речь — чеканную простоту.

Барбес, некогда его друг, обернувшийся затем врагом, которого, намекая на смысл фамилии, Маркс звал «бородой революции», умер десять лет назад. Многое изменилось во Франции за годы заключения великого бунтаря, погибло немало его единомышленников, но он ни на мгновение не ощущал одиночества. Бланки давно стал не только легендой, но и знаменем отваги и преданности идее. Прожив долгие годы в кандалах и наручниках, он не сдался. И семьей его стало все человечество. Нет одиночества для кристально чистых революционеров.

В дни первой Великой революции французов 14 июля 1789 года, когда народ разрушил Бастилию, из каменного мешка на свободу вышел узник, который несколько десятилетий был погребен заживо в темнице. Он был осужден за казнокрадство и придворные интриги. Народ не знал его. Не было на свете ни его жены, ни детей. Он не нашел даже улицы, где стоял его дом, снесенный за столь долгое время. Старец почувствовал себя мертвецом среди живых и вскоре умер от одиночества и сознания бесцельности существования. Но не то было с Бланки. Каждый раз, когда открывались ворота его тюрем, народ восторженными криками, проявлениями сыновнего почтения встречал неустрашимого борца.

Выйдя на свободу, Огюст Бланки тотчас же, несмотря на немощь и преклонные годы, отправился в дорогу. Он объездил много городов родной страны, выступал на рабочих собраниях, неистово отстаивал идеи, которым

сохранял верность более полувека, и призывал к борьбе с несправедливостью и произволом буржуазии.

За год до своей смерти Бланки основал газету, назвав ее «Ни бога, ни господина». В первом номере этой газеты редакция доводила до сведения подписчиков:

«Мы начнем завтра публикацию нигилистического романа «Что делать?» Чернышевского. Не присоединяясь к идеям великого русского мыслителя, мы констатируем потрясающий успех этого оригинального произведения».

В предисловии сообщалось, что автор русского романа, без сомнения, один из самых глубоких и умнейших мыслителей нашего века.

Коммунары-бланкисты возвестили, что возобновляют борьбу, начало которой положено было на баррикадах Парижской коммуны, и приняли на вооружение произведение великого русского революционного демократа.

В ту же пору из Америки в Париж прибыл Эжен Потье, а из Лондона вернулся на родину Жан Сток.

Автор стихов «Интернационала» был неизлечимо болен, но так же полон веры в будущую победу рабочего класса. В маленьком кабинетике главного редактора газеты «Ни бога, ни господина» встретились три единомышленника. Эжен Потье, припадая на правую ногу и стуча палкой, с трудом передвигал свое искалеченное болезнью тело. Жан Сток глухо кашлял, и только Бланки остался попрежнему подвижен и бодр. Усевшись на стул перед заваленным бумагами столом, он потребовал, чтобы Сток и Потье поведали ему о своей жизни в последние годы.

— Я попытался снова стать рисовальщиком по тканям в проклятой заокеанской стране,— сказал поэт,— но для этого нужны были деньги, капитал. Там даже полотер и трубочист вынуждены платить посредникам, чтобы получить работу. После двух лет непосильной для моего возраста и здоровья черной работы меня разбил паралич, отняв половину тела. Что я пережил, будучи никому не нужным мешком из кожи, набитым одеревеневшими мускулами, вы можете легко себе представить. Но я надеялся вернуться на родину и дожить до победы Коммуны. И я здесь, с вами. И пусть черт меня возьмет, если коммунизм не победит на земле при мне или без меня.

— А ты, парнишка,— сказал Бланки, глядя своими запавшими, колючими глазами прямо в лицо Стоку,— уподобился мраморному ангелу с подбитым крылом. Тих и бледен. Я знал твоего отца, это был пороховой человек; если б ему посчастливилось, как тебе, вылезти из могилы, он знал бы, как прожить остаток дней. Ради пищи, раздумий без дел, сна не стоило спасаться на побоище Пер-Лашез. Эх, если б я был так молод, как ты! Между нами, по крайней мере, тридцать лет разницы. Зажги свой потухший светильник и ступай к людям. Им нужен твой огонь. Мы не имеем права тлеть. Даже из гроба революционера должно вырываться пламя.

Бланки тут же предложил Жану работу в его газете и клубе, который он собирался учредить.

Выйдя из редакции «Ни бога, ни господина», Потье и Сток зашли в маленькое кафе и заказали по стакану аперитива. Поэт спросил бывшего машиниста о Лизе.

— Я обязан этой женщине спасением. Она помогла мне бежать из Парижа и затем в Лондоне, снабдив деньгами, отправила в Америку. Если б не ее отвага и доброта, я не избег бы пули версальцев или голодной смерти. Только в океане я вспомнил, что забыл поблагодарить за все это. Хотелось бы повидать ее снова.

— Теперь уже поздно, человече. Более года, как госпожа Красоцкая скончалась.

— Что ты говоришь? Не может этого быть! Она так любила и так тонко чувствовала стихи. Я хотел прочесть ей все мои новые поэмы.— Лицо Потье скривилось от неподдельного горя, и сходство с Эзопом еще усилилось.— Как она умерла?

— Без всяких страданий, внезапно, каждый хотел бы такого конца. Две маленькие девочки, ученицы, сидели с ней рядом у рояля. Она играла, но вдруг музыка оборвалась, голова старушки коснулась клавишей. Мы похоронили ее без всякого ритуала, на кладбище для бедных, как она того хотела.

— Это была праведная женщина. Иные пыжатся и воображают всю жизнь, что многого стоят, а другой цены себе не знает, как это было с Красоцкой.

— Ты прав, Потье. Я много думаю о цене человеческой. Вот, например, различие между стоимостью и ценой...

— Избавь меня, Жан, от лекции по политической экономии. Эта наука не созвучна душе поэта.

— Не перебегай дорогу моим мыслям. Так вот, думал я не раз о том, что цена человека может колебаться и падать, а стоимость его возрастать в это же время.

— Не понимаю,— с явной скукой отозвался Потье и поднялся.

— Нет, обожди, Эжен, ты должен понять меня,— горячился Сток.

— Ладно, старина, только говори покороче.

— Слушай, Бланки, к примеру. Его стоимость по большому счету велика, и об этом скажет история, а спроси вон хоть того буржуа,— я знаю его, это владелец колбасной фабрики,— и он скажет, что Бланки гроша ломаного не стоит.

— Э, нет, он назовет цену веревки, на которой хотел бы его повесить.

— Ну вот ты и понял мою теорию,— обрадовался бывший машинист и принялся восторженно трясти руку Потье.— Запомни, нередко цена падает на человека, особенно среди невежд и его врагов, а его стоимость бесконечно возрастает.

— Да ты не только эконом, но и философ, братец,— протянул поэт и снова сел.— Сколько великих творений поэзии и живописи были обесценены при жизни их творцов, а ныне принадлежат вечности и украшают землю, как лучшие ее цветы.

Деятели Социал-демократической партии Германии подвергались преследованиям и арестам, их семьи остались без крова и пищи. Женни близко к сердцу приняла все эти события и, пользуясь своим большим опытом подпольной работы и нелегальной рассылки литературы, давала много важных советов посещавшим Маркса соратникам из Германии. Она радовалась, что, несмотря на произвол и террор на ее родине, ожесточенная борьба продолжалась. По указаниям Маркса и Энгельса была создана подпольная организация, и Бебель с Либкнехтом повели партию в новое наступление. Создавались нелегальные типографии, печатавшие листовки и воззвания. Возникали женские и молодежные организации, и снова в глубоком подполье собирались рабочие. Это было не-

легко и опасно, но зато выковало мужественное племя революционных бойцов. Женни постоянно читала «Социал-демократ» — газету, издававшуюся в Швейцарии для немцев. Она восторженно приветствовала первый нелегальный съезд Германской социал-демократической партии, собравшийся в маленьком швейцарском городке Виден.

Революционная борьба немыслима без жертв. Германские тюрьмы были переполнены, в стычках с полицией гибли участники демонстраций протеста; некоторые революционеры оказались вынужденными бежать за границу. В Лондоне больная Женни всем, чем могла, как уже много раз до этого, помогала им в своем доме.

По-прежнему каждый, кто узнавал жену Маркса ближе, не мог остаться равнодушным к ее оригинальному уму, такту, знаниям. Как-то в эту пору в Лондон приехал Август Бебель. Женни пожелала его видеть. Самочувствие ее было очень плохим, и Маркс, провожая гостя в комнату к больной, просил его не засиживаться там более четверти часа. Но прошло значительно больше времени, а Бебель все не мог расстаться с Женни, в которой, неожиданно для себя, нашел действительно замечательного человека и блестящего собеседника, превосходно разбиравшегося в самых сложных политических перипетиях Германии.

Над семьей Маркса нависло черное, как лондонские туманы, отчаяние. Если бы можно было остановить время и этим продлить жизнь дорогого существа! Но с жестоким равнодушием убегали дни. Только Женни, не допускавшая уныния, заявляла во всеуслышание, что чувствует себя превосходно. Несмотря на все возраставшую слабость, она часто выезжала в театры и принимала гостей. Вместе с Карлом в постоянном беспокойстве за Женни пребывали Элеонора и Ленхен, Энгельс горевал вдвойне. Он страдал за Женни и видел, что ее кончина убьет Карла.

«Чековая книжка здесь со мной,— писал он Марксу, когда был в отъезде. — Если тебе что-нибудь нужно, не стесняйся и укажи сумму, какая приблизительно нужна тебе. Твою жену не следует урезывать ни в чем, она должна иметь все, чего ей захочется, или что, по вашему мнению, доставляет ей удовольствие».

Как раз в это время у Женнихен Лонге родился четвертый сын — Марсель. Обрадованный дедушка писал во Францию:

«Дорогая Женни!

Поздравляю тебя с благополучными родами; по крайней мере поскольку ты сама потрудилась написать нам, предполагаю, что все в порядке. «Женская половина» нашей семьи надеялась, что «новый пришелец» увеличит собой «лучшую половину» человеческого рода; я же со своей стороны предпочитаю «мужской» пол для детей, рождающихся в этот поворотный момент истории. Перед ними — самый революционный период, какой когда-либо приходилось переживать человечеству. Плохо теперь быть «стариком» и иметь возможность лишь предвидеть, вместо того чтобы видеть самому.

«Новый пришелец» появился почти точно к твоему, Джонни и моему дням рождения. Он, подобно нам, благоволит к веселому месяцу маю. Мне, разумеется, поручено мамой (и Тусси, хотя, быть может, она найдет все же время написать сама) передать тебе все самые лучшие пожелания, но не знаю, на что могут пригодиться «пожелания», разве только чтобы прикрыть наше собственное бессилие.

Надеюсь, что со временем ты подберешь подходящую прислугу и ваше «хозяйство» войдет в привычную колею. Меня несколько беспокоит, что у тебя как раз теперь, в такой критический момент, так много хлопот.

Судя по твоему последнему письму, здоровье Джонни улучшается. Он действительно самый слабый из трех мальчиков, с которыми я имею честь быть лично знакомым. Расскажи ему, что когда я вчера гулял в парке — нашем собственном Мейтленд-парке,— ко мне внезапно приблизилась величественная личность — сторож парка, он спросил меня, есть ли вести о Джонни и под конец сообщил важную новость, что «покидает» свой пост и уступает место более молодым «силам». Вместе с ним исчезает один из столпов «лорда Саутгемптона»...

В Лондоне в последнее время помешались на превозношении Дизраэли, что доставило Джону Булю удовольствие восхищаться собственным великодушием. Разве не «возвышенно» воскуривать фимиам покойнику, которого как раз перед тем, как он сыграл в ящик, те же люди приветствовали гнилыми яблоками и тухлыми яйцами? В то же время это учит «низшие классы», что, хотя их «естественные повелители» и набрасываются друг на друга в борьбе за «теплые местечки», смерть раскрывает ту

истину, что вожди «правящих класов» всегда «великие и прекрасные люди».

Гладстон проделал очень тонкий трюк,— и только партия «твердолобых» этого не понимает,— в момент, когда должно произойти обесценение земли в Ирландии (как и в Англии), вследствие ввоза хлеба и скота из Соединенных Штатов, он предоставил в этот самый момент в распоряжение земельных собственников государственное казначейство, чтобы они могли продать ему эти земли по цене, которой они уже не стоят!

Действительные трудности земельной проблемы в Ирландии, которые вовсе не являются трудностями исключительно ирландскими, так велики, что единственный правильный путь — было бы дать ирландцам гомруль и таким образом заставить их самих разрешить ее. Но Джон Буль слишком туп, чтобы понять это.

Как раз пришел Энгельс. Он шлет тебе сердечные поздравления, и так как уже время сдавать почту и я не смогу отложить окончание письма, придется его оборвать.

Привет Джонни, Гарри и милому «Волку» (он действительно чудесный мальчик), а также папаше Лонге.

Твой *Олд Ник»*.

Однажды темным унылым днем Женни почувствовала себя особенно плохо. Ленхен вязала у ее изголовья маленькие чулочки для своего любимца шалуна Джонни Лонге. Женни отдалась мыслям, и на ее резко исхудавшем пепельно-сером лице мелькала иногда, несмотря на боли, легкая, нежная усмешка.

— Знаешь, о чем я думаю, Ними? — спросила она подругу.

— О том, чтобы скорее быть здоровой,— ответила Ленхен и закашлялась, чтобы скрыть волнение.

— Нет, Ленхен, нам-то незачем обманывать друг друга. Ты ведь не какая-нибудь сентиментальная барыня, ты очень сильная, но тебе понадобится быть еще сильнее. Ты должна поддержать бедного Мавра, когда меня не станет. Он ведь большой ребенок во многом житейском, и это для него ужасное испытание. Я так боюсь, выдержит ли он. Ты и Энгельс поможете ему устоять. Ну, не сморкайся так громко. Не будем говорить о будущем, когда вы останетесь без меня. Знаешь, Ленхен, я сегодня все время вспоминала стихи Мавра, посвященные мне. Он никогда

не был хорошим поэтом, и, однако, как много искреннего чувства умел вложить в каждую строчку.

— Он любил, любит и всегда будет любить тебя,— сказала Ленхен. — И я тоже, моя дорогая Женни. А впрочем, хотелось бы мне видеть человека, который не любил бы такую женщину, как госпожа Маркс.

— Вот это уже глупости. Ладно, ладно, не сердись. Я знаю, что нужна еще Карлу, тебе, детям и немногим другим людям, и вовсе не собираюсь умирать. Нет и нет. Я буду жить. Верь мне.

В это время раздался стук у входной двери, и Ленхен, отложив вязанье, вышла из комнаты. Женни достала из-под подушки тетрадку с рукописными стихами, придвинула поближе лампу на ночном столике и начала читать посвященные ей девятнадцатилетним юношей Марксом сонеты.

Как часто вместе с мужем она смеялась над этими слабыми поэтическими опытами.

— Сочинительство, риторические беспомощные размышления,— говорил Маркс о своих стихотворениях.

«Но зато сколько в них большой любви»,— возразила ему мысленно Женни.

Женни! Смейся! Ты удивлена:
Почему для всех стихотворений
У меня одно названье: «К Женни»?
Но ведь в мире только ты одна
Для меня источник вдохновений,
Свет надежды, утешенья гений,
Душу озаряющий до дна.
В имени своем ты вся видна!

Имя Женни — каждой буквой — чудо!
Каждый звук его чарует слух,
Музыка его поет мне всюду,
Как волшебной сказки добрый дух,
Как весенней ночи трепет лунный.
Тонким звоном цитры златострунной.

Женни откинулась на подушку и полузакрыла глаза. Она чувствовала себя такой слабой, точно ей вскрыли вены и жизнь, как кровь, вытекала из ее тела. А в памяти громко звучали сонеты любимого. И она улыбалась.

Именем твоим, страниц не числя,
Тысячи могу заполнить книг,
Так, чтоб в них гудело пламя мысли,
Воли и деяний бил родник,

Бытия открылся вечный лик,
И весь мир поэзии возник,
И неистощимый свет эфира,
И восторг богов, и скорби мира.

Имя Женни я могу прочесть
В звездной зерни, и зефир небесный
Мне его несет, как счастья весть.
Я навечно буду вновь и вновь
Петь о нем — да станет всем известно:
Имя Женни есть сама любовь!

Женни подумала о том, что жизнь была к ней благосклонна, ниспослав такую любовь, которая могла бы равняться по силе и верности разве что чувствам Ромео и Джульетты, Паоло и Франчески.

Если б смел сказать я, Женни,
Что один огонь нам души сжег
И что в них одно движенье,
Что с тобой нас смел один поток,—

Я бы мир весь вероломный
Вызвать мог на беспощадный бой,
Пусть бы он упал, огромный —
Пламя б он не погасил собой!

Словно бог, по мирозданью
Средь развалин шествовал бы я,
Слово каждое — деянье,
Я творец земного бытия!

Пока Женни вслушивалась опять, как в юности, в обращенные к ней слова любви, Ленхен впустила в прихожую двух русских. Один из них, молодой и привлекательный Лев Гартман, друг Кибальчича, Желябова и Перовской, уже не раз бывал у Маркса, другой, так же как и Гартман, член подпольной организации «Народная воля», только что приехал из России. Он отрекомендовался Елене Демут Николаем Морозовым. Небольшие пытливые глаза его все время улыбались и жадно разглядывали окружающих.

Маркс был еще в читальне Британского музея, пришедших приняла Элеонора. Разговор с хорошенькой девушкой начался на английском языке, но скоро перешел на французский, которым русские владели увереннее. Элеонора расспрашивала о России.

— Что вам сказать,— заметил, между прочим, Морозов,— страна моя так же отстала, как, скажем, далек лон-

донский метрополитен, где вагоны идут, влекомые локомотивом, от конки, запряженной лошадьми, которая в России является высшим техническим достижением века.

Только на следующий день русские встретились с Марксом в его кабинете. Морозов со свойственной ему непосредственностью и прямотой сказал о том, что творец «Капитала» разительно похож на свой портрет. Маркс засмеялся и ответил, что часто слышит об этом.

Молодой народоволец был удивлен, что в столь выдающемся и знаменитом человеке, каким был Маркс, не замечалось никакой надменности и замкнутости. Простота его была удивительной. Разговор между Марксом, Гартманом и Морозовым шел о причинах раскола «Земли и воли» на две партии: «Черный передел» и «Народная воля». Маркс был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в России, и заметил, что борьба с царским самодержавием представляется ему порой чем-то похожей на действия в фантастических романах. От имени партии «Народная воля» Морозов просил Маркса сотрудничать в ее печатном органе, который должен был издаваться в Женеве.

Несмотря на ранний час, в комнате горела лампа под зеленым абажуром, так как за окном было совершенно темно от черного тумана.

В кабинет, катя перед собой столик, на котором стоял чайный сервиз, вошла Элеонора. Она предложила гостям по чашке крепкого, неподслащенного, согласно английским обычаям, чая и тонко нарезанные сандвичи с маслом и сыром. Косы черноглазой девушки лежали, как две толстые цепи, вокруг головы. Румяная, круглолицая, смелая и вместе по-девичьи застенчивая, она чем-то напоминала Морозову гётевскую Маргариту.

На прощание Маркс подарил Морозову несколько своих книг и обещал написать предисловие к той из них, которую народовольцы выберут для перевода. Последние слова Маркса, запомнившиеся Морозову, были:

«Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».

Эти слова Маркса появились двумя годами позже в его предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии».

За свою жизнь Маркс написал множество писем. Он не жалел на это времени, так как при разбросанности по всему свету изгнанников-революционеров после поражения революции 1848—1849 годов Маркс считал весьма важным делиться со своими друзьями и соратниками мыслями по всем вопросам текущей политики, экономики и философии. Письма Маркса хранили приметы времени, неизменный интерес ко всему, что происходило в мире, и особенно в России. Его переписка с русскими людьми продолжалась около четырех десятилетий. Все без исключения в этой полуфеодальной стране волновало его мысль.

В 1881 году Вера Засулич, одна из основательниц революционного общества «Черный передел», недавно эмигрировавшая в Швейцарию, обратилась к Марксу с просьбой высказать свое мнение о русской сельской общине и ее значении в преобразовании общества на социалистических началах. Великий труд Маркса к этому времени уже был хорошо известен в кругах интеллигенции и вызывал неизменно пылкие споры.

«Следили ли Вы за ожесточенной полемикой в русской литературе прошлого года вокруг имени Маркса? — спрашивал в 1878 году Петр Лаврович Лавров Энгельса. — Жуковский (ренегат) и Чичерин выступают против Маркса, Зибер и Михайловский за него. И все это длинные статьи. Я думаю, что нигде в другом месте не было так много написано о его работе. Полемика еще не закончена: Зибер, которого я видел несколько дней тому назад в Париже, сказал мне, что он готовит ответ Чичерину... Работа Зибера о теории Маркса будет опубликована отдельно, вероятно, в конце года».

Полемика, о которой рассказывал Лавров, возникла между «Вестником Европы» и «Отечественными записками» и привела к тому, что «Капитал» и его автор стали широко известны в России. Труды Маркса и Энгельса оказали огромное влияние и на Веру Ивановну Засулич.

«Уважаемый гражданин! — писала Засулич Марксу в своем первом письме к нему.— Вам небезызвестно, что Ваш «Капитал» пользуется большой популярностью в России. Несмотря на конфискацию издания, небольшое количество оставшихся экземпляров читается и перечитывается массой более или менее образованных людей нашей страны, и серьезные люди изучают его. Но что Вам, вероятно, неизвестно,— это роль, которую играет

Ваш «Капитал» в наших спорах об аграрном вопросе в России и о нашей сельской общине».

Рассказывая Марксу о различных мнениях, сложившихся в это время в России о сельской общине, Засулич сообщила:

«В последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм — словом, все, что есть наиболее бесспорного, обрекают на гибель. Люди, проповедующие это, называют себя Вашими подлинными учениками, «марксистами». Их самым сильным аргументом часто является: «Так говорит Маркс».

...Вы поймете поэтому, гражданин, в какой мере интересует нас Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали бы нам, изложив Ваши воззрения на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что, в силу исторической неизбежности, все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства...

Примите, гражданин, мой почтительный привет.

Вера Засулич».

Маркс, чтобы ответить русской революционерке, произвел специальные изыскания по экономике пореформенного сельского хозяйства России и примерно месяц спустя направил ей письмо.

В десятую годовщину Парижской коммуны в Лондоне состоялся славянский митинг под председательством Льва Гартмана. Маркс и Энгельс послали приветствие этому собранию, в котором указывали на успехи международного рабочего движения как на доказательство того, что дело Коммуны не погибло и дало свои плоды.

«Когда Парижская Коммуна пала после свирепой бойни, устроенной защитниками «порядка», победители никак не предполагали, что не пройдет и десяти лет, как в далеком Петербурге произойдет событие, которое в конце концов должно будет неизбежно привести, быть может после длительной и жестокой борьбы, к созданию российской Коммуны»,— писали Маркс и Энгельс.

Несмотря на то что две основные партии в России, «Народная воля» и «Черный передел», были совершенно чужды учению Маркса и Энгельса и объявляли крестьянство силой, решающей исход борьбы в России, вожди пролетариата в своем предисловии к новому переводу «Манифеста Коммунистической партии» писали:

«Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Думая так, Маркс всегда подчеркивал свое доброе отношение к бесстрашной и кипучей партии «Народная воля». К «Черному переделу», члены которого были малодейственны и ограничивались одной пропагандой, он относился значительно сдержаннее, но именно в этой партии оказались люди, которые пришли к марксизму и служили его идеям.

Когда в Петербурге взорвались бомбы и Александр II был убит, Маркс и Энгельс не осудили народовольцев и с острым беспокойством следили за процессом Желябова, Перовской, Кибальчича и других народовольцев. Гибель несгибаемых, самоотверженных революционеров вызвала у них чувство большой горечи и сожаления.

Согласно настойчивому желанию Женни, муж и Елена Демут повезли ее во Францию, в Аржантёй, к дочери и внукам.

Истинно великое самообладание помогло жене Маркса не только перенести сравнительно легко путешествие, но и порадовать своим посещением дорогих ей людей. Она снова была в Париже, где все напоминало ей давно минувшие счастливые годы молодости.

— Какой удивительный город! — радостно говорила Женни.— Он настолько приветлив и прост, что кажется любому чужеземцу родиной. Французы пьют за каждой едой немного вина и всегда чуточку пьяны. Их чисто галльское оживление заразительно, и даже самый заядлый ипохондрик не может не начать шутить и улыбаться под парижским небом. Как я счастлива сегодня!

Елена Демут, заменившая больной мать, сестру, сиделку, не оставляла Женни ни на час. Своим умелым

уходом поочередно с Карлом она облегчала и скрашивала ей трагическое время болезни.

Расположенный неподалеку от пыльного раскаленного Парижа, маленький Аржантёй в июльскую жару казался оазисом. В домике, арендуемом семьей Лонге, недостаточно утепленном и мало пригодном для зимы, летом стояла освежающая прохлада. Было там по-особому уютно и оживленно благодаря здоровой, проказливой детворе, непрерывно снующей по комнатам, террасе и саду.

Женнихен ожидала шестого ребенка. Со времени смерти своего первенца она постоянно боролась с тревогой за своих мальчиков, каждый из которых отличался большой изобретательностью в шалостях и забавах.

Эдгар славился к тому же и как ненасытный лакомка. Однажды, приняв на кухне кусок сырой бычьей почки за шоколад, он, не задумываясь, разом проглотил его. С тех пор его прозвали Волком. Самый старший из мальчиков, Джонни, был любимцем своего деда и часто гостил у него. Как-то в Лондоне ему пришла в голову затея превратить Маркса в омнибус, и он тотчас же осуществил ее, взобравшись на козлы, то есть на плечи деда, и погнав его рысью в небольшой, почерневший от копоти садик. В это время пришли Энгельс и Либкнехт. Без долгих слов Джонни приказал им считать себя лошадьми и впрячься в его выезд. Началась дикая скачка и громкое ржанье. Джонни понукал коней, переходя с французского на английский и на немецкий язык и закончил обычным «Ура!».

Маркс скакал так старательно, что пот градом катился по его лицу, а когда запыхавшиеся Либкнехт и Энгельс попытались перейти с галопа на более медленный аллюр, на них посыпались удары кнута — сорванной с дерева веточки — и окрики неистового возницы. Бег продолжался до тех пор, пока Маркс окончательно не выбился из сил. После долгих и сложных переговоров малыш согласился наконец спуститься с плеч деда и дать лошадям заслуженный отдых.

Джонни очень баловала и Ленхен, которую он прозвал, когда ему было два года, Ними, мило исказив немецкое «няня».

В Аржантёе Женни Маркс приглядывалась к старшей дочери, стараясь не выдать возникшего у нее беспокойства. Женнихен выглядела нездоровой. Ее, очевидно, подтачивал опасный недуг. Шарль Лонге был хорошим челове-

ком, однако, весьма вспыльчивый, легко впадающий в апатию, он значительно уступал в силе воли и душевных качествах своей жене. Не он ей, а она ему была постоянной опорой. Вряд ли Женнихен была очень счастлива.

У Женнихен с Лаурой не сохранилось прежней сестринской глубокой привязанности. Они несколько отдалились друг от друга. Вторая дочь Маркса осталась все такой же красивой и обаятельной. Но потеря троих детей оставила неизгладимый след в ее душе, и она с горечью и болью вспоминала их. Под тяжестью этого страшного удара Лафарг навсегда забросил медицину, в которой разочаровался.

В один из вечеров в Аржантёе собрались все близкие Маркса и его жены. Не было только Элеоноры, оставшейся в Англии. Женни-старшая полулежала в садике подле клумбы с густо разросшимися настурциями. Восхитительная окраска этих желто-красных цветов, прячущихся под круглые темно-зеленые зонтики листьев, невольно заворожила больную, и она не могла отвести глаз от этого маленького чуда природы.

— Какое богатство оттенков каждого цвета! Красиво, очень красиво,— сказала Женни и добавила: — Помнишь, Мавр, милый, как в юности в Трире твоя сестра Софи разводила цветы. Она любила настурции. Бывало, мы сравнивали женщин с цветами, а мужчин с животными и птицами. Это была забавная игра.

— В таком случае моя Лора похожа на эту золотистую настурцию,— блестя глазами, весело сказал Лафарг.— Я вызову к барьеру каждого, кто будет это оспаривать.

— Я принимаю вызов. Ей более подходят чайные розы, сорт «Прекрасная Франция»,— пошутил Маркс.

— Как мне, однако, жаль, что ты, Поль, изменил дедушке Эскулапу и не можешь помочь своей старой теще. Увы, моя шагреневая кожа превратилась в жалкий клочок. Ее так уже мало, что она не покрывает даже гвоздик, на котором висит. — Женни очень нравились философские повести Бальзака.

— Если б я и занимался далее врачебной практикой, то, во всяком случае, не стал бы лечить дорогих мне людей. Врач должен сохранять полное хладнокровие, иначе он промахнется. Но не будем говорить об этой темной пока еще науке. Если Немезида — дама с завязанными

глазами, то медицина слепа, глуха и беспомощна, как калека без рук и ног.

— Ты несправедлив, я и Мавр верим многим врачам, Гумперту и Донкину, например. Они приносят людям большую пользу. А как идут дела в твоем фотолитографском ателье? Насколько я знаю, оно далеко не процветает.

— Что вы, совсем напротив, если сегодня еще у меня не много заказчиков, то все изменится в самом ближайшем будущем. Ауспиции, поверьте, превосходные.

— Для Поля,— улыбнулась Женни,— мир всегда окрашен во все цвета радуги. Он и его жена счастливые оптимисты и готовы без устали строить воздушные замки и карточные домики. Мечтатели.

— Лафарг работает как негр,— заметил Лонге, не отдавая себе отчета в двойном смысле сказанных слов.

— А как же ему еще трудиться, это ведь предопределено самой его природой,— пошутила Лаура.

Женни смотрела на своих дочерей, и нежность, расплавляющая сердце, охватила ее. «Как часто в последние годы,— скорбно думала она,— из-за недостойных пустяков я придиралась к моим девочкам, бывала несправедлива и, может быть, недостаточно добра к ним. Нищета, трудности каждый день, ежечасно преследовали нас, распинали. Я стала сварлива и нетерпима. Это тоже зло мира. Исподволь, незаметно калечат они характер, порождают обиды. Все это, конечно, мелочи, но и от них неснимаемая накипь остается на нашей душе».

Ленхен, не сводившая глаз с больной, заметила, что она осунулась, поблекла, и подошла к ней, говоря с обычной настойчивостью:

— Тебе пора бай-байен, дорогая.

Этим словом в семье Маркса называли дневной отдых, который англичане окрестили сном красоты. Женни безропотно поднялась. Муж и подруга проводили ее в комнату.

— Иди к детям, Мавр, пожалуйста,— попросила она Карла и осталась одна с Ленхен. Покуда та раздевала ее и разувала, Женни как-то по-детски жаловалась: — Ты одна знаешь, как бывает мне больно, как я в действительности страдаю, Ними, милая.— С невольным ужасом посмотрела она на предельную худобу своих босых ног, на мертвенно-палевый цвет тела.

Ленхен успокаивала ее и, пока Женни не задремала, крепко держала за руку.

Спустя три недели Маркс с женой и Еленой Демут пустились в обратный путь. Женни бодрилась, как делала это всегда на людях. Она жадно, точно человек, насыщающийся перед долгой дорогой, смотрела из открытого экипажа на исчезающие для нее навсегда парижские улицы. Подъезжая к Северному вокзалу, она с трудом обернулась назад. Лицо ее было цвета земли, и в глазах погасло обычное сияние. Они стали совсем тусклыми. Женни прощалась со своим прошлым, с городом, давшим ей некогда много счастья. Нарядная, шумливая толпа наполняла тротуары. И вдруг в мозгу Женни возникла тягостная мысль о том, что не пройдет и сотни лет, как ни одного из этих людей уже не будет на свете. И тот старик, и красавица женщина, и дети, бегущие впереди довольного, надменного отца, исчезнут навсегда. Был поздний вечер, и Женни невольно перевела глаза вверх. Звезды украсили небо.

— Но и они гибнут во времени, гаснут, как и мы, однодневки-люди,— прошептала Женни. Чувство полного покоя, почти оцепенения охватило ее душу. — Так есть и так будет.

Спустя несколько часов Женни была в Англии и снова легла на свою большую деревянную кровать, чтобы больше уже не встать никогда.

Здоровье Маркса было также очень плохо, как он ни старался крепиться. Однажды, когда Женни уже более не поднималась с постели, он занемог и, так как долго скрывал свой недуг, болезнь приняла дурной оборот. Обнаружилось жестокое воспаление легких. Преданный всей семье домашний врач Донкин счел положение Маркса почти безнадежным. Ленхен и Элеонора, едва державшиеся на ногах от переутомления, самоотверженно ухаживали за двумя тяжелобольными. Они не раздевались и почти не спали целых три недели.

В первой комнате лежала Женни, а в маленькой спаленке рядом находился Карл. Оба они беспокоились и тосковали друг о друге. Отличный уход спас Марксу жизнь, и он поборол болезнь. Почувствовав себя несколько лучше, Карл направился к жене. Их свидание было трогательно нежным и полным безграничной влюбленности. Женни и Карл как бы прощались перед скорой

вечной разлукой. Ленхен и Тусси долго не входили в спальню, чтобы не нарушать торжественных трагических минут, протекавших в глубоком молчании. Женни гладила белоснежную голову мужа, шепча:

— Мой единственный, любимый. Дитя мое большое. Будь мужествен, каким ты был всегда. Не ты ли говорил, что день сменяется ночью, это и есть жизнь.

Когда к больной вошли Ленхен и Элеонора и она подметила скорбь на их лицах, то мгновенно улыбнулась и принялась подшучивать над ними, называя паникершами и заверяя, что никогда не чувствовала себя столь бодрой.

— Я намерена посрамить медицину и жить дольше Мафусаила, вопреки всем предсказаниям врачей,— повторяла Женни.

И, только оставаясь одна, она погружалась в печальные мысли о том, каким горем для Карла и семьи будет ее исчезновение. Она вспомнила слова Нинон де Ланкло, этой мудрой и легкомысленной Аспазии XVII века, которая, умирая, с улыбкой говорила горюющим друзьям:

Разве вы не смертны?
Право, по меньшей мере
Недальновидно ваше отчаяние —
Я только вас опережаю, и больше ничего.
Пусть тщетная надежда не появляется,
Чтобы нарушить мое спокойствие.

Закрывая усталые глаза и едва справляясь с усиливающейся мучительной болью, Женни видела перед собой коммунарок, павших на баррикадах, молодых и сильных.

«Они умерли такими юными. Это непреложный закон бытия,— думала она.— Я прожила не худшую из жизней и не хотела бы иной».

Чем ближе подступало то, что атеистка Женни называла «ничто», тем больше любви и сострадания к близким и всему человечеству пробуждалось в ней.

«Силы, силы, как много их нужно именно теперь, только бы они мне не изменили»,— тревожилась она и продолжала успокаивать окружающих.

С покорной, тихой грустью прощалась Женни с небом, которое любила больше всего в природе за его краски, величие далей, за безбрежность; с деревьями, цветами, с жизнью во всех ее больших и малых проявлениях. Снова в последний раз вызвала она из памяти дорогие лица

и голоса умерших родных, детей, друзей. Она уносила их с собой, как и они, исчезая, забрали частицу ее. Людвиг фон Вестфален умирал на ее глазах как истый философ и дал ей высокий образец не только того, как надо жить, но и как покидать землю достойно и мудро.

Но пока не наступило небытие, казавшееся ей сперва удушьем, а затем глубоким непробудным сном без видений, Женни не сокращала оставшиеся дни бесцельным страхом. Наоборот, она старалась вобрать в себя все от жизни и радовалась, как дитя, общению с любимыми и дорогими существами. Как узник, потерявший свободу, она оценила заново, насколько чудесен мир и природа. Даже дождь и туман казались ей отныне прекрасными. Они были частью жизни. Ее по-прежнему интересовали действия людей и их идейная борьба. С детским нетерпением ждала Женни итогов выборов в германский рейхстаг и чрезвычайно обрадовалась, узнав о победе социал-демократов. Но Карл невыносимо страдал, тревожась за жизнь жены.

Второго декабря 1881 года Женни умерла. До последней минуты она сохраняла сознание. Когда ей стало трудно говорить, она, чтобы ободрить близких, попыталась пожать им руки. Ее последние слова, сказанные по-английски, были обращены к тому, кого она любила больше всего в жизни:

— Чарли, силы мои сломлены.

Глаза, устремленные на мужа, вдруг широко, удивленно раскрылись, стали снова яркими и лучистыми, как в ранней юности, и в последний раз отразили величие и глубину сердца этой необыкновенной женщины. В них была та безмерная любовь, которая одна облегчила ей смерть.

Когда Женни не стало, Карл как бы перестал чувствовать и мыслить. Он окаменел. Сила удара была чрезмерна. Это было тяжелее, нежели любой другой пароксизм горя, и врачи тщетно старались вывести Маркса из состояния полной прострации. Энгельс опасался именно таких последствий и, страдая сам чрезвычайно, сказал убитым голосом:

— Мавр тоже умер.

Слова эти, показавшиеся жестокими, глубоко уязвили Элеонору, и только позднее она поняла, сколь прони-

цателен был Генерал. Какая-то наиболее жизнеспособная часть души Маркса погибла вместе с Женни. Горе свалило титана. Сам он все еще не был вполне здоров после только что перенесенного воспаления легких. Поэтому врачи и родные настояли на том, чтобы он не провожал умершую жену на кладбище.

Женни Маркс похоронили на неосвященной земле кладбища Хайгейт, на которое так часто она смотрела с вершины Хэмпстедских холмов.

Сильно заикаясь от волнения и не стыдясь слез, над открытой могилой с прощальным словом выступил Энгельс.

— Друзья,— начал он и окинул взглядом скорбные фигуры собравшихся.— Женщина прекрасной души, которую мы хороним, родилась в Зальцведеле, в тысяча восемьсот четырнадцатом году...

Энгельс остановился. Горько рыдала, склонившись над гробом, Ленхен. Было темно. Черно-желтый туман наползал на Лондон. Ленхен заглянула в большую яму, где, согласно желанию покойной Женни, когда-нибудь будет стоять гроб и с ее останками, и несколько успокоилась.

Энгельс между тем рассказывал о Женни, делившей судьбу Маркса, о ее вдумчивости и отваге в революционной борьбе, о силе духа в изгнании, о жертвах, принесенных ради рабочего движения.

— Но видеть, как все партии, правительственные и оппозиционные (феодалы, либералы, так называемые демократы), объединившиеся против ее мужа, возводят на него самую низкую и подлую клевету, видеть, как вся без исключения печать была для него закрыта, как он был беспомощен и беззащитен перед противниками, которых и он и она презирали,— это причиняло ей жгучую боль. А это продолжалось долгие годы.— Голос Энгельса окреп.— Но не бесконечно. Мало-помалу европейский рабочий класс оказался в таких политических условиях, которые давали ему некоторую возможность действовать. Было основано Международное Товарищество Рабочих. Оно втягивало в борьбу одну цивилизованную нацию за другой, и в этой борьбе первым среди первых сражался ее муж. Наконец, наступило время, которое начало вознаграждать ее за пережитые страдания. Она дожила до того, чтобы увидеть, как была развеяна в прах всякого рода низкая клевета, возводившаяся на ее мужа: она дожила

до того, чтобы услышать, как учение ее мужа, которое реакционеры всех стран пытались удушить, открыто и победоносно провозглашалось во всех цивилизованных странах, на всех цивилизованных языках. Она дожила до того, чтобы увидеть, как революционное движение пролетариата, уверенного в своей победе, охватывало одну страну за другой, от России до Америки. Одной из последних ее радостей было полученное ею на смертном одре блестящее доказательство неукротимой жизненной силы, которое дал, наперекор всем репрессивным законам, немецкий рабочий класс на последних выборах.

То, что эта жизнь, свидетельствующая о столь ясном и критическом уме, о столь верном политическом такте, о такой страстной энергии, о такой великой самоотверженности, сделала для революционного движения, не выставлялось напоказ перед публикой, не оглашалось на столбцах печати. То, что она сделала, известно только тем, кто жил вместе с ней. Но одно я знаю: мы не раз еще будем сожалеть об отсутствии ее смелых и благоразумных советов; смелых без бахвальства, благоразумных без ущерба для чести.

Мне незачем говорить о ее личных качествах. Ее друзья знают их и никогда их не забудут. Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других,— то это была она.

Марксу предстояло жить без Женни. Для больших сердец и умов не наступает поры увядания. Чем выше духовный мир человека, тем дороже для него мудрость, опыт, знание жизни — все то, что должно нести с собой прожитое время.

Для гениев нет старости. Маркс с годами становился все более мощен духовно. Его мышление, творчество парило над человечеством. Но смерть жены подкосила его. Были месяцы, когда он вовсе не мог писать.

— Смерть — несчастье не для умершего, а для оставшегося в живых,— горестно повторял он слова Эпикура.

Чрезвычайно подавленный потерей, он не мог противоборствовать болезням, и они легко сваливали его. Через две недели после смерти Женни он писал за океан одному из своих друзей и соратников:

«Из последней болезни я вышел вдвойне инвалидом: морально — из-за смерти моей жены и физически — вследствие того, что после болезни осталось уплотнение плевры и повышенная раздражимость бронхов.

Некоторое время мне, к сожалению, придется целиком затратить на восстановление своего здоровья».

Всю нежность, которой так много было в его сердце, Маркс перенес на своих дочерей. Он всегда горячо любил детей. Все ребятишки прилегающего к Мейтленд-парк квартала знали, что в карманах Маркса для них обязательно найдутся леденцы и сахар. Оставшись без Женни, Карл надеялся заполнить бездонную пустоту, образовавшуюся в его сердце, обязанностями дедушки.

«Только что Тусси с помощью Энгельса отвезла на извозчике,— писал он Женнихен Лонге в том же декабре, когда похоронил свою дорогую Женни,— в транспортную контору ящик с рождественскими подарками для наших малышей. *Елена* просит, чтобы я специально указал, что *от нее* одна курточка для Гарри, одна — для Эдди и шерстяная шапочка для Па [1]; затем для того же Па «голубое платьице» от *Лауры;* от меня — матросский костюм для моего дорогого Джонни. Мемхен так весело смеялась в один из последних дней своей жизни, рассказывая Лауре, как мы с тобой и с Джонни поехали в Париж и там ему выбрали костюм, в котором он выглядел, как маленький «мещанин во дворянстве».

Маркс бежал от сердечного одиночества в семьи своих дочерей, но, несмотря на огромное желание быть всегда с ними, это не могло осуществиться. Здоровье его непрерывно ухудшалось. Климат Лондона был очень неблагоприятен для легочных и горловых заболеваний. Пришлось поехать на остров Уайт, в приморский курортный городок Вентнор. Но и там погода точно ополчилась на людей. Ливни и пронзительно холодные ветры не унимались. Маркс, и без того тяжело больной, схватил плеврит и слег. Подле него неотступно находилась Элеонора. Похоронив мать, она все еще не могла обрести душевный покой. Чрезвычайно впечатлительную девушку мучили бессонница и внезапные нервные конвульсии.

---

[1] Прозвище Марселя Лонге.

Маркса огорчало, что Тусси вынуждена быть при нем чем-то вроде сиделки и молодость ее так печальна. Он, впрочем, скрывал от дочери свои невеселые мысли о ее судьбе, делясь ими только с Энгельсом. Элеонора не нашла еще своего назначения в жизни и металась, не зная, на чем ей остановиться: на театре ли, где она изредка уже с успехом выступала, стать ли писательницей или посвятить себя общественной и педагогической деятельности. Страстно любя с детства творчество гения из Стратфорд-он-Эйвон, она состояла деятельным членом шекспировского общества и перевела с немецкого на английский несколько статей о великом драматурге.

Склад характера и дарования Элеоноры Маркс открывали перед ней разные пути. У нее был проникновенный, гибкий голос, четкая дикция, незаурядная, привлекательная внешность. Знаменитая актриса Эллен Терри, которой гордилась Англия, как век назад великой Сарой Сиддонс, пленила ее своей игрой. Выступая иногда на сцене в ролях шекспировских героинь, Элеонора старалась чуть вздрагивающими и неестественно патетическими интонациями, а также особой, пластически совершенной жестикуляцией походить на этих великих исполнительниц. Маркс не возражал против того, чтобы дочь посвятила себя театру, и поощрял ее, когда она училась у известного в Лондоне педагога мадам Юнг.

В поисках тепла и солнца больной Маркс один отправился в Алжир. Но и там погода в это время оказалась для его здоровья весьма вредной. Жаркие дневные часы сменялись холодными ночами, а ветер приносил едкую разъедающую горло пыль из Сахары. Маркс задыхался. Начались песчаные бури, затем дожди, закончившиеся изнуряющими сирокко. Зима — опасное, климатически предательское время в Африке. Больной чувствовал себя все хуже; его душил режущий надрывный кашель с ползучей, густой мокротой, он испытывал гнетущее ощущение тупой боли в боку, постоянную тоску. Он признавался в этом Энгельсу:

«Ты знаешь, что мне более чем кому-либо чужд демонстративный пафос; однако было бы ложью не признаться, что мои мысли большей частью поглощены воспоминаниями о моей жене, которая неотделима от всего того, что было самого светлого в моей жизни».

Он искал сходства с нею во всех встречающихся ему женщинах, вздрагивал, когда слышал чей-то похожий смех. Время не отдаляло, а приближало к нему Женни.

В Алжире Маркс поселился на гористой улице Верхний Мустафа в гостинице «Виктория». Отвесные сады, алые кусты цветущего граната спускались к морю террасами, как легендарный цветник Семирамиды. Комната Маркса на втором этаже выходила на крытую галерею, с которой открывалась великолепная приморская панорама. Как-то, сидя в комнате, он услышал извне цокающие резкие звуки и вышел посмотреть, откуда они доносятся. На улице, под самой террасой отеля нищий-негр, перебирая металлическими кастаньетами, извивался, принимая пластические позы, изображая нечто вроде восточного ритуального танца. Затем он стал просить милостыню. Закутанный в покрывало, будто в тогу, бронзовый мавр — уличный продавец кур и апельсинов — долго смотрел на это представление. Подле него прохаживался гордый павлин. Вдруг павлин взмахнул пестрым хвостом и раскрыл ослепительно яркий громадный веер. Невозможно было оторвать глаза от прекрасного оперения царственной птицы. Павлин охорашивался, поводил длинной сапфирово-синей шеей, и перья его, чуть шевелясь, как струны лютни, издавали странные волнующие звуки. Природа с удивительной щедростью одарила эту чудо-птицу, расписав ее множеством редчайших красок, которые вдохновляли художников и поэтов Востока.

Мавров в Алжире называли арабами. По мнению Маркса, любой из них превосходил величайшего европейского актера в искусстве драпироваться плащом и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства — двигался ли он или стоял неподвижно.

«...*когда они едут* на своих мулах или ослах,— писал Маркс дочери,— а изредка и на лошадях, они, как правило, сидят на них не *верхом,* как европейцы, а спустив обе ноги на одну сторону и являют собой воплощенную ленивую мечтательность».

Алжир утомлял больного своей броской, ослепительной, режуще-яркой красотой. Маркс среди этого пиршества красок, света, ароматов острее чувствовал боль незаживающей в сердце раны. Он был один, навсегда один, без Женни. Если б они вдвоем совершили это великолепное путешествие в край сказок тысяча и одной ночи,

страну, барахтающуюся в когтях колониального рабства, полную резких контрастов: роскоши и нищеты, пестрой, шумной, библейской!

Из Алжира Маркс выехал на Французскую Ривьеру и остановился в княжестве Монако, в Монте-Карло. Осматривая все достопримечательности этого города игроков, расположенного на крутом выступе над Средиземным морем, Маркс зашел в казино, где в умопомрачении азарта мужчины и женщины, съехавшиеся со всего мира, ставили на рулетку свое состояние в надежде обогатиться. Позади игорного дома, в кипарисовой аллее, находился «обрыв самоубийц».

Рассматривая залы казино и людей, охваченных лихорадкой наживы, Маркс сказал себе: «Можно подумать, что ты попал в сумасшедший дом».

В читальне он нашел интересовавшие его итальянские и французские газеты, что показалось ему самым значительным в Монте-Карло.

Немного подлечив плеврит, Маркс наконец прибыл в желанный Аржантёй, к дочери и внукам. Там, среди детей, он несколько ожил и успокоился душевно. Лечение серными ваннами в соседнем Энгиене к тому же помогло его больному горлу.

В каждом новом городе его лечили одинаково. Мушки на спину, выпотные втирания, компрессы и без числа микстуры и настои утомляли его больше, нежели приносили облегчение.

Вместе с дочерью Лаурой Маркс поехал на шесть недель в Веве на Женевское озеро. Но разве можно уйти от самого себя. Куда бы он ни отправлялся, с ним оставалось неизбывное горе, мысли о Женни и сознание, что нет силы на земле, чтобы вернуть ее. Чего бы не отдал он за звук ее голоса, один живой взгляд, слово. Ничто не приносило ему забытья, убийственная тоска возрастала. От нее некуда было бежать. Болезнь усиливала остроту восприятия и переживаний. Роковой круг смыкался.

Утомившись кочевым образом жизни, Маркс рвался домой. И наконец медики разрешили ему вернуться в Англию, с тем, чтобы время туманов он проводил вне Лондона, на южном побережье острова.

И снова Маркс очутился в доме на Мейтленд-парк роуд, где жила и умерла Женни. Время, как чистая вода, намывает из золотоносного песка драгоценные крупинки,

и вот уже в памяти из прошлого не остается ничего случайного: пустячных размолвок, недовольства, обид, и во всем подлинном объеме встает то, что было присуще одному неповторимому человеку, которого нет и не будет никогда больше.

Маркс ходил из комнаты в комнату, как бы ища что-то. В своем кабинете он подолгу простаивал у окна, прислонившись спиной к косяку рамы. Лицо его, сильно похудевшее и состарившееся, перекосила гримаса страшного горя.

— Женни, Женни...

Наверху уже спали Ленхен и Элеонора. Ночь была непроглядно черна от густого липкого тумана, пробивающегося в щели стен. Остро пахло повсюду угольной копотью. Маркс медленно вышел из своей комнаты, прошел по коридору и с подсвечником в руке направился в комнату покойной жены. Все там осталось таким же, как было в пору долгой ее болезни. Об этом позаботилась Ленхен. Маленькие бархатные домашние туфли все еще стояли подле кровати. На одном из них не было пунцового шерстяного пушистого помпона. С зеркала не сняли белой кисеи. Все вокруг было то же, но у дома не было его души — Женни. Утром Маркс выглядел еще более больным.

Все это время Маркс мечтал приняться за работу и набело переписать второй том «Капитала». Он твердо решил посвятить этот свой труд покойной жене.

Но очень скоро, в ноябре 1882 года, из-за ядовитой осенней погоды, Маркс занедужил и вынужден был отправиться в Вентнор на острове Уайт. Однако и там слякоть и холод только ослабили его; одна простуда следовала за другой. Вынужденный оставаться дома, часто не вставая с постели, он заметно терял силы и работоспособность, но старался перебороть себя и продолжал много читать.

Как только здоровье его становилось хоть немного лучше, в краткие перерывы между болезнями Маркс напряженно работал над подготовкой третьего немецкого издания «Капитала». Одновременно он изучал математику, читал по-русски Воронцова — «Судьбы капитализма в России» и даже знакомился с состоянием финансов в Египте.

В январе в Вентноре шли дожди. С моря дул холодный ветер. В комнате отеля, где жил Маркс, было холодно и неуютно. Поленья в камине едва тлели.

Смутные мысли окутали больного. Он думал о Женни, испытывая горькую усладу, и о том, что люди умирают преждевременно, не дожив до естественного конца, до пробуждения инстинкта смерти, неизбежного в природе, как потребность жизни в цветущем возрасте.

Маркс вспомнил свою молодость и радужную веру в то, что будет жить в новом обществе, где станет властвовать труд. Увы, он давно осознал, что родился слишком рано и, хотя проник мыслью в будущее, обречен умереть, не увидев того, чему пожертвовал всем в жизни. Но, как всегда, он не отчаивался, уверенный в пришествии иной эры, несущей грядущим поколениям равенство и счастье.

«Если я,— размышлял Маркс,— избрав долю пролетария, познал все его унижения, лишения, страдания и даже болезни, то моим внукам предстоит разделить радости полной победы трудящихся».

Если б физические силы его не были в такой степени подорваны, он нашел бы исцеление в умственном труде, всегда его спасавшем, но болезнь развивалась, вынуждая работать не в полную меру. Мозг же его был в полном расцвете. Между тем жизнь готовила Марксу еще один смертельный удар. 11 января умерла Женни Лонге. Очевидно, не только астма, но и быстротечный рак привели ее к столь преждевременной могиле.

Получив страшное известие о смерти сестры, Элеонора бросилась к отцу в Вентнор. Много пришлось молодой девушке пережить горьких минут, но вряд ли они могли сравниться с тем, что перечувствовала она, пересекая на маленьком катере море. Ей предстояло быть вестницей огромного несчастья. Покойной Женни Лонге минуло всего тридцать восемь лет. Она хотела жить, четверо ее сыновей были еще очень малы, и совсем недавно у нее родилась дочь, названная тоже Женни.

«Я везу отцу смертный приговор»,— думала Элеонора, в черный дождливый день подъезжая к гостинице Вентнора. Войдя к Марксу, она не могла произнести ни слова, тщетно ища, как бы ей подготовить его к столь неожиданному и страшному известию, но измученные, как бы оголенные нервы Маркса, его нечеловеческая проницательность были таковы, что, взглянув на искаженное отчаянием лицо дочери, он вытянул вперед руки, как бы загораживаясь от того, что случилось, и, задыхаясь, произнес:

— Наша Женнихен умерла.

С этого часа началась душевная агония Маркса. Но внешне он все еще сохранял самообладание. Собрав последние силы, отец велел дочери немедленно ехать в Париж к осиротевшим детям. Элеонора пыталась возражать, боясь оставить Маркса одного,— он был непреклонен.

Уже через полчаса девушка пустилась в безрадостный путь на континент. Вскоре в Лондон вернулся Маркс. Тоненькая цепочка, соединявшая его с жизнью после смерти жены, начала окончательно рваться.

Энгельс и Елена Демут, как все эти годы, пытались спасти Маркса, но, вернувшись домой, глубоко подавленный и замкнувшийся в себе, он слег в постель с бронхитом и воспалением гортани, от которого лишился не только голоса, но и возможности глотать. Маркс, стоически переносивший величайшие страдания, предпочитал питаться ненавистным ему молоком, нежели принимать твердую пищу, такие боли она ему причиняла. В феврале врачи обнаружили нагноение в легком. Маркс потерял аппетит и худел катастрофически. Хотя глотать ему стало легче, он мучился от резкого колотья в груди, кашля и гнойной пахнущей мокроты. Болел ли он гангреной или раком легких? Диагноз уже не имел значения. Он был обречен. Силы его стремительно падали, и впервые за всю сознательную жизнь он не мог более читать. Мысли об умершей дочери добивали его. Утомленный, спокойный, он равнодушно ждал вечной ночи.

Два верных друга упорно боролись за его жизнь и не теряли надежды, которую поддерживали и врачи. Ни одна мать не могла бы лучше ухаживать за своим ребенком, нежели это делала Елена Демут, окружившая больного лаской и заботой. Ей помогала Элеонора.

Энгельс призвал к постели Маркса известных врачей Лондона и советовался со многими научными светилами. Не довольствуясь этим, он изучил все относящееся к нарывам и другим опасным заболеваниям легких. Не доверяя другим, он сам рассматривал под микроскопом мокроту больного и выделяющуюся при кашле легочную ткань, зная, как велика опасность прободения стенки кровеносных сосудов. Для него не осталось более тайн в области подобных заболеваний.

В течение шести недель, каждое утро, поворачивая за угол Мейтленд-парк роуд и приближаясь к полукруглому

скверу, где жил Маркс, Энгельс в смертельном страхе, едва усмиряя отчаянно бьющееся сердце, смотрел, опущены или нет шторы в доме № 41.

Если бы можно было отдать за Маркса свою жизнь, он почел бы это великим счастьем. Энгельс горячо любил друга, гордился им и неоднократно подчеркивал со всей присущей ему скромностью, что величайшие открытия в области научного коммунизма принадлежат в первую очередь Марксу.

— Я не могу отрицать,— говорил Энгельс,— что я и до и во время моей сорокалетней работы с Марксом принимал известное самостоятельное участие как в обосновании, так и в особенности в разработке теории, о которой идет речь. Но огромнейшая часть основных руководящих мыслей, особенно в экономической и исторической области, и, еще больше, их окончательная резкая формулировка принадлежат Марксу. То, что внес я, Маркс мог легко сделать и без меня, за исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А того, что сделал Маркс, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоит выше, видит дальше, обозревает больше и скорее всех нас. Маркс — гений, мы, в лучшем случае,— таланты. Без него наша теория далеко не была бы теперь тем, чем она есть. Поэтому она справедливо называется его именем.

Четырнадцатого марта Маркс проснулся, чувствуя себя значительно лучше. Он с удовольствием выпил вина, молока и поел супа. Природа в последний раз собрала остаток сил и, как это часто бывает перед концом, обманула на одно мгновение мнимым выздоровлением. Вспышка надежды осветила дом, у Ленхен распрямились плечи. Тусси впервые за долгие месяцы улыбалась.

Но вдруг все переменилось. У Маркса появилось кровохарканье. Все засуетились, растерялись, заплакали. Только больной остался по-прежнему безразличен. Так как лежа ему было тяжело дышать, близкие усадили его в большом, обитом желтым полосатым репсом кресле подле незатухающего камина. Предельно ослабев от потери крови, он, казалось, задремал, когда Ленхен, стараясь не нарушать его отдыха, в мягких туфлях сошла вниз навстречу Энгельсу. Было около трех часов дня.

— Вы можете войти, он в полусне,— сказала она шепотом и пропустила друга вперед.

За ней в комнату больного вошла на цыпочках и

Элеонора. Маркс сидел, откинувшись на спинку, как две минуты до того, когда Елена вышла из комнаты. Веки его были опущены. Он выглядел безмятежно спокойным, погруженным в размышления, счастливым.

Маркс опочил навеки.

«Человечество стало ниже на одну голову и притом на самую значительную из всех, которыми оно в наше время обладало»,— писал Энгельс соратникам.

Семнадцатого марта, в субботу, на Хайгейтском кладбище, в той самой могиле, в которой пятнадцать месяцев назад была зарыта Женни, похоронили Маркса.

Шарль Лонге прочел телеграммы от испанской и французской рабочих партий. От имени немцев простился с Марксом его друг и ученик Либкнехт. Было оглашено обращение русских социалистов:

«... Угас один из величайших умов; умер один из энергичнейших борцов против эксплуататоров пролетариата».

Весенний ветер играл красными лентами, обвивающими цветы, которых было очень много над свежей могилой. Их прислали рабочие и студенты, газеты и Коммунистическое просветительное рабочее общество Лондона. По просьбе петербургских студентов и курсисток, переславших для этого деньги, Энгельс возложил на гроб усопшего друга венки. Горе его было безмерным. Заметно осунувшийся, потерявший слух на левое ухо, но по-прежнему несгибаемо-волевой, он на похоронах друга как бы обратился ко всему миру, к будущим поколениям и векам. Только в заикании сказывалось его волнение, прорывалась душевная боль.

— ...Маркс был прежде всего революционер. Принимать тем или иным образом участие в ниспровержении капиталистического общества и созданных им государственных учреждений, участвовать в деле освобождения современного пролетариата, которому *он* впервые дал сознание его собственного положения и его потребностей, сознание условий его освобождения,— вот что было в действительности его жизненным призванием. Его стихией была борьба.

Энгельс провел рукой по гладким каштановым, без седины, волосам.

С Хэмпстедских холмов ветер донес аромат весенних трав. Там вдалеке была харчевня дядюшки Джека Строу, где так часто в течение нескольких десятилетий бывал Маркс с семьей и друзьями. Энгельс не мог отвести глаз от лица усопшего друга. Белые волосы Маркса были едва различимы на атласной подушке, усыпанной красными тюльпанами, узкие крепкие руки с тонкими удлиненными пальцами, желтые как туберозы, застыли на черном сукне сюртука. Их цвет больше, нежели разрытая могила, говорил о трагизме смерти.

В гроб друга Энгельс положил исполненный на стекле портрет его жены, фотографию дочери Женнихен и старинный пожелтевший дагерротип, на котором был изображен юстиции советник Генрих Маркс. Эти три человека были наиболее дороги Карлу Марксу.

Внезапно пароксизм горя подступил к горлу Энгельса. Наступило молчание, прерываемое чьим-то горестным всхлипыванием. Ленхен и Элеонора громко рыдали. Возле гроба, не отрывая глаз от лица усопшего друга, стоял портной Лесснер, один из самых непоколебимых, надежных соратников и проводников идей Маркса.

Энгельс, переведя дыхание и несколько успокоившись, снова заговорил неожиданно громко и отрывисто. Он перечислил газеты, в которых сотрудничал Маркс, его работу в изгнании, рассказал о создании им Международного Товарищества Рабочих.

— ...Маркс был тем человеком, которого больше всего ненавидели и на которого больше всего клеветали. Правительства — и самодержавные и республиканские — высылали его, буржуа — и консервативные и ультрадемократические — наперебой осыпали его клеветой и проклятиями. Он сметал все это, как паутину, со своего пути, не уделяя этому внимания, отвечая лишь при крайней необходимости. И он умер, почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революционных соратников во всей Европе и Америке, от сибирских рудников до Калифорнии, и я смело могу сказать: у него могло быть много противников, но вряд ли был хоть один личный враг.

Энгельс наклонился к гробу и вдохновенно пророчески предрек, что имя Маркса и его дело переживут века.

Последний взмах заступа над насыпью могилы положил конец напряжению, которое приходит вместе со

смертью. И тогда у близких появилось ощущение бездонной пустоты и потери, от которой леденеют сердца.

Спустились сумерки. Цветы покорно умирали на сырой земле могильного холмика.

У ограды кладбища стояло несколько карет. В одну из них сели Энгельс, Лесснер и Либкнехт.

— Мало нас осталось, старых ветеранов, совсем мало,— сказал после долгого молчания Фридрих Лесснер.— Раз-два, и обчелся.

— Похороны Мавра были такими, как он бы сам хотел,— тихо отозвался Либкнехт. — Он терпеть не мог помпезности, церемоний, как и вообще всякого проявления внешней популярности.

— Мавр был слишком велик для суетного честолюбия,— помолчав, продолжал Лесснер.— Теперь тебе, Генерал, предстоит много работы. Одному за двоих.

— Ничто и никто не заменит нам его,— заметил Энгельс.— Я всегда играл вторую скрипку и думаю, что делал свое дело довольно сносно, так как у меня была такая великолепная первая скрипка, как Маркс.

Больше никто не произнес ни одного слова.

Энгельс остановил извозчика и сошел у полукруглого сквера на Мейтленд-парк роуд. Входная дверь дома была незапертой. На вешалке в прихожей висело пальто покойного и в углу сиротливо стоял постоянный спутник многих лет его жизни — черный свернутый дождевой зонт.

Тяжело вздохнув, Энгельс прошел в кабинет Маркса. Там находились дочери Маркса, его зятья и Ленхен, уже вернувшиеся с кладбища. Энгельс грузно опустился на кушетку, возле которой стояло кресло Маркса.

Ленхен впервые за много лет никуда не торопилась, не хлопотала по дому. Лафарг раздувал пламя в камине. Никогда климат английской столицы не казался ему более отвратительным.

— Мавр умер преждевременно, в расцвете творческих сил,— сказал он громко.

— Как рано оба они ушли из жизни,— всхлипывая отозвалась Ленхен.— Проклятая нищета. Если бы не логово на Дин-стрит, не смерть малышей и вечные долги... Да Карл и не мог жить без Женни. Они давно уже стали единым существом и любили друг друга, как лебеди. Смерть одного из них означает гибель для другого.

Снова стало тихо.

Поздней ночью Энгельс вернулся к себе домой. Он нашел некоторое утешение в письмах к соратникам. Они были неразрывно связаны, как и он, с памятью Маркса. Им предстояло сообща нести его учение, создавать и укреплять пролетарские партии. Унынию и отчаянию не было места. Жизнь настоятельно звала к действию. Энгельс знал, что не имеет права на слабость, так как дружба обязывает и требует не одних слов, не только слез, но удвоенной силы и деятельности.

Некоторые труды Маркса, написанные в последние годы, нуждались в окончательном завершении. Два последующих тома «Капитала» были готовы лишь вчерне, а человечество ждало их. Надо было жить. Ради этого Энгельс, во имя дружбы и любви, крепился в часы испытания. Он сообщал друзьям в разные концы земли о страшной потере, понесенной пролетариатом.

«Старый дружище! — писал Энгельс щеточнику Беккеру в Женеву.— ...Самый могучий ум нашей партии перестал мыслить, самое сильное сердце, которое я когда-либо знал, перестало биться.

Теперь мы с тобой, пожалуй, последние из старой гвардии времен до 1848 года. Ну, что ж, мы останемся на посту. Пули свистят, падают друзья, но нам обоим это не в диковинку. И если кого-нибудь из нас и сразит пуля — пусть так, лишь бы она как следует засела, чтобы не корчиться слишком долго.

Твой старый боевой товарищ

Ф. Энгельс».

Разбирая страницы рукописного наследства друга, Энгельс чувствовал себя менее одиноким. Связь его с Марксом как бы не обрывалась. Часто после напряженного труда он подолгу смотрел в пылающее жерло камина, думая о том, что истинно гениальное проверяется временем и отныне люди вечно будут черпать мысли из бездонной сокровищницы ума Маркса, идти за ним, постигая глубинную сущность жизни.

1962

Предшествие

роман

Весной 1884 года Элеонора Маркс получила приглашение на вечер к госпоже Вест, меценатке и благотворительнице. Молодой доцент социалист Эдуард Эвелинг был тоже зван и пришел, чтобы сопровождать Элеонору, любви которой открыто домогался.

— Не знаю, пойти ли мне,— сказала девушка. — Я робею. Там будет актриса Эллен Терри, главный идол в моей кумирне. Не легко встретиться с живым божеством. А что, если наступит разочарование? Иногда, как говорил Гете, пафос дистанции — лучшее в отношениях между людьми. Он помогает сохранять иллюзии. Может статься, великая Терри — всего лишь напыщенная гусыня. А я так ценю ее талант.

— Не страшитесь. Актриса приятна и умна в обыденной жизни, как и на сцене. К тому же вы познакомитесь там с самым оригинальным моим соотечественником Бернардом Шоу и сможете еще раз отдать должное ирландцам.

— Удивительный остров. На знамени его повстанцев мелодичнейший инструмент — арфа. Не символ ли это души народа, поющей при малейшем дуновении ветра? Мне кажется, музы Эллады переселились в Ирландию.

— А как с вечером? Прошу вас,— настаивал Эвелинг.

— Хорошо. Будь что будет.

К семи все гости расселись в большой столовой, освещенной множеством свечей в бронзовых и серебряных канделябрах. Газовое освещение не было модным на больших приемах.

Хозяйка дома, богатая плантаторша, овдовев, неистово поклонялась театру и мистическому теософскому учению Блаватской о бессмертии и перевоплощении души. Она

попеременно приносила жертвы на оба столь различных алтаря, делая это с одинаковым пылом.

Сервировка стола была ослепительна. Накрахмаленные белые салфетки, не сгибаясь, чинно выстроились рядами, как девушки на конфирмации. В плоских круглых каменных вазах плавали камелии и розы без стеблей. От бесчисленных ножей, вилок и хрусталя отраженный свет падал на склоненные над тарелками, отрешенные от всего лица. Впрочем, блюда, замысловато украшенные бумажными султанами, вовсе не отличались достоинствами, равными роскоши, с какой их подавали.

Сосед Тусси, как любили называть Элеонору, сухопарый молодой человек с большим широким носом, какой в простонародье называют «картошкой», с обветренным розовым лицом пахаря, доедал пастообразный суп. Встряхнув густыми прямыми волосами, он сказал:

— Припомните, как по-разному поглощают снедь люди. Бритты обгладывают кости солидно, без похотливого причмокивания галлов и мрачной жадности гуннов и саксов. А веселый экстаз греков, когда они насыщаются, или торопливость монголов?

— Вы весьма наблюдательны. Где вам пришлось подметить национальные особенности едоков? — спросила, смеясь, заинтересованная Тусси.

— Главным образом, конечно, на обедах знати, в высшем обществе,— не улыбаясь и снова тряхнув светлой головой, ответил молодой человек.

Эвелинг, сидевший за столом по другую сторону от Элеоноры, прошептал:

— Я вижу, дорогая, что мистер Шоу увлек вас своей беседой. С ним трудно соревноваться.

— Так это Шоу? Он прост и непосредствен.

— Простота тоже может оказаться позой.

— Тогда это уже игра в простоту.

Официанты предложили похожий на башню пломбир «Мельба», затем тридцать сортов сыра и кофе по-венски, по-турецки, по-немецки и по-польски.

Мужчины, громко переговариваясь, вышли в зал для курения, дамы, ревниво оглядывая друг друга с головы до пят, направились в гостиную, примыкавшую к зимнему саду.

В даме, поправляющей прическу у трюмо, Элеонора узнала Эллен Терри. Она считала Терри талантливейшей

актрисой современности и была убеждена, что ни одна актриса не могла бы превзойти ее в исполнении ролей Порции, Офелии и Джульетты. Ученица знаменитого Чарлза Кина и его жены Эллен Три, чью фамилию, слегка изменив, избрала она для своего псевдонима, увлеклась идеями художников-прерафаэлитов и воскресила в этих ролях дух итальянского Возрождения. Не только в приглушенном, волнующем голосе актрисы, но и в непрерывно меняющемся, чрезвычайно подвижном лице, в каждом жесте ее проявлялась высшая правда искусства.

Элеонора, глядя на пропорционально сложенную и оттого, несмотря на средний рост, казавшуюся высокой Эллен Терри, вспоминала каждую ее роль. Никто на подмостках не умел так от души смеяться или плакать, как Терри. Благородство и строгость, страсть и поэтичность сопутствовали ей всегда.

— Я рада, что могу сказать вам, как много счастья дарите вы зрителям. Вы сумели в «Венецианском купце» по-новому увидеть сущность Порции, а мне с детства казалось, что я знаю ее, как сестру. Ваша Порция — неподкупный судья. Она — олицетворение справедливости. Мне кажется, Шекспир одобрил бы такую трактовку своей бессмертной пьесы.

Эллен Терри с нарастающим интересом смотрела на взволнованную девушку, говорившую с заражающей убежденностью. Густые темные брови актрисы приподнялись, острое, худое лицо с длинно разрезанными блестящими глазами покрылось румянцем.

— Спасибо. Я полюбила Порцию и возненавидела Шейлока. Мне кажется, таких, как он, много вокруг нас, и они не заслуживают пощады.

Госпожа Вест, появившись в дверях под руку со знаменитым актером Генри Ирвингом, пригласила всех в зал, где ученик Листа, пианист из Франции, должен был играть «Лунную сонату» Бетховена. Эллен Терри и Элеонора сели рядом на обитый атласом диван.

— Вам, вероятно, покажется забавным,— сказала великая актриса,— что эта гениальная соната напоминает мне о штопке чулок. Ее всегда играла моя сестра Кэт в годы нашей юности. Я постоянно сражалась с огромными дырами на чулках моих братьев и втыкала иглу, делая стежок в такт музыке. Несмотря на доброту окру-

жавших меня людей, я ненавидела тогда жизнь, так как не ждала ни в чем удачи. Родители мои были актерами, но успеха не знали. Зато Кэт уже в ранней молодости начала пожинать лавры.

Элеонора Маркс вынесла об Эллен Терри самое выгодное впечатление и сказала об этом Эвелингу:

— Такой должна быть первая в мире артистка: образованной, честной, скромной. Это ведь тоже талант.

— Талант души,— согласился Эдуард.— Терри могла бы многое рассказать вам, Тусси, о живописи. Россетти, Бёрн-Джонс да, пожалуй, все прерафаэлиты — ее друзья. Первый муж актрисы, Уотс, тоже был художник.

— Прерафаэлиты, с их шумными, похожими на рекламу призывами к дорафаэлевскому периоду в искусстве, с их преклонением перед наивным четырнадцатым столетием и культом красоты, которую только они, оказывается, понимают правильно, не так уж интересны в наши дни,— холодно ответила Элеонора.

— Да, но их духовный отец Джон Рёскин — все-таки человек необыкновенный,— возразил Эдуард.

— Особенно когда мечтает вернуть человечество к патриархальному, старому, так называемому доброму времени, придуманному утопистами.

— Правильно, мисс Маркс,— раздался веселый голос Шоу,— назад, в пещеры. Я с удовольствием опояшу чресла тигровой шкурой. Вот только как бы не схватить насморка. Думаю, климат Англии вряд ли подойдет для Аркадии мистера Рёскина. Ведь он видит все зло мира в машинной индустрии. То ли дело жить в шалаше и питаться желудями! Прометей — вот кто принес на землю беды, добыв нашим прапредкам огонь. Я лично был бы рад познакомиться с господином Змием и госпожой Евой при условии, если она не столь истощена и уныла, как девушки на полотнах Россетти и других прерафаэлитов.

— Мужчины, оспаривающие красоту Евы,— враги всех женщин. Мы чтим свою праматерь,— вмешалась в беседу миссис Вест, весьма внушительной комплекции дама с дряблым лицом и двумя округлыми подбородками.

— В наши дни пышнотелые и здоровые пьют лимонный сок и мечтают о чахотке. Мы изменяем чувственно прекрасным античным богиням. Я верен Праксителю. Он постиг тайное тайных природы,— повысив голос, сказал Эвелинг.

Хозяйка дома объявила о начале спиритического сеанса и пригласила желающих в свой кабинет.

— Таинство! — комически вскинул вверх большие запавшие глаза Эдуард.— Они идут вызывать духов Заратустры, может быть, Питта и Дизраэли. Те же дервиши! Но, не желая вертеться самим до умопомрачения, они всяческими фокусами заставляют крутиться тарелку. Безумье века.

— Не века, а пресыщенных и праздных.

Элеонора и Эвелинг направились в зимний сад.

У столика с прохладительными напитками и сигарами стояли, громко споря и весело смеясь, Герберт Уэллс, приобретавший известность молодой писатель, и столь же юные и деятельные супруги Вебб, недавно учредившие общество, о котором много писали и говорили в Лондоне. Члены этого общества окрестили себя именем римского полководца Фабия Максима, прозванного «Кунктатором», то есть Медлителем, применявшего в войне с карфагенянами вместо решительных боев выжидательную и уклончивую тактику. Фабианцы отвергали классовую борьбу, верили в мирное сотрудничество всех сословий и предлагали «муниципальный социализм». Создание общественных бань, прачечных, хлебопекарен, городского транспорта должно было стать основой для преобразования общества. Так большие экономические вопросы подменялись мелкими проектами местного самоуправления.

Эвелинг хотел представить Веббов и Уэллса дочери Маркса, но она остановила его:

— Подождите немного, Эдуард. Мне хочется рассмотреть их повнимательнее. К тому же они так поглощены разговором, что неловко вторгаться.

Элеонора, пытливая и жадная до людей, верила первому впечатлению. Свежее, гладкое лицо Герберта Уэллса с мягкими чертами говорило об отличном физическом и душевном здоровье и могло бы принадлежать школьному учителю, преуспевающему торговцу или служащему. Ни одного лишнего жеста или необдуманного движения. Худенькая, остролицая, громкоголосая шатенка Беатриса Вебб удивляла подвижностью и порывистостью. Настойчивая и трудоспособная, она осуществляла все, что задумывала, и никто не мог противостоять напору ее рассудительной энергии. Неуклюжий, малорослый, близорукий,

весь какой-то округлый Сидней Вебб находился полностью под влиянием жены.

Все эти три человека были исключением в своей среде. Один обещал многое как писатель с огромным воображением и трезвым сердцем, а двое других — как ученые-экономисты. Их объединяли добрые поиски всеобщего блага, работа мысли, потребность знания и моральная ответственность за происходящее вокруг. И Элеонора, понимая, сколь ничтожно малы социальные требования фабианцев, как осторожны они и опасливы, все-таки уважала этих представителей зажиточной интеллигенции, которые тоже томятся и ощущают великое страдание большинства человечества.

«Может быть, они дотянутся до понимания сущности всех бед, прозреют»,— подумала дочь Маркса и сказала Эдуарду:

— Пойдемте, познакомьте же меня с этими людьми.

— О, доктор Эвелинг,— протянула Беатриса и поджала насмешливые губы. Трудно было понять, рада она ему или нет.— Мы не теряем надежды видеть вас под знаменем Фабия Кунктатора.

— Боюсь, что напрасно, дорогая миссис Вебб. Я окончил естественный факультет. Изучая земноводных, я всегда испытывал особое нерасположение к черепахам.

— Однако они неутомимы и перегоняют слонов. Festina lente [1],— отпарировала Беатриса.

— Ряды фабианцев и так непрерывно пополняются. Известные писатели, чувствительные филантропы, сентиментальные социальные реформаторы. Община растет,— продолжал Эвелинг.

— Общество,— поправил Сидней Вебб и почему-то стянул двумя пальцами очки с переносицы прямо на большой, мягкий, бугристый нос.

— Я хочу представить вам мисс Элеонору Маркс.

— Дочь Карла Маркса? — полюбопытствовала Беатриса.

— Да, самую младшую.

— Очень рада, и мой муж, я уверена, тоже.

— Еще бы. Очень приятно,— подтвердил Сидней, и лицо его стало добрым.

---

[1] Торопись медленно *(лат.)*.

— Ваш отец, независимо от того, что мы с мистером Веббом не разделяем ни его учения, ни тактики, был, безусловно, человек необыкновенный: живя столь скромно, не имея своих газет и денег для пропаганды и рекламы, он стал широко известен не только среди патрициев, с которыми боролся, но и среди плебса. Это поразительно. И добился всего он даже не на своей родине, а в изгнании. Да, с ним можно спорить и сражаться, но нельзя не воздать ему должное. И все-таки не следует забывать, что революция опаснее тайфуна, чумы, и надо искать путей иных — бескровных. Поверьте, можно осуществить равенство и благоденствие на земле с помощью разума, уговоров, целесообразности.

Беатриса и Сидней Вебб были одного с Элеонорой поколения, но они вдруг показались ей старыми и скучными. Мило улыбаясь, Элеонора ушла от них, внезапно почувствовав усталость. Она ощутила китовый ус и шнурки затянутого корсета, боль в ногах от высоких французских каблучков. Слоняющиеся по залу гости начали раздражать ее, как суетливая толпа на ярмарке.

— Уйдемте, и поскорее,— попросила она Эвелинга,— здесь душно.

Они вышли на тихую Кенсингтон-парк. Фонари освещали большие лужи, и казалось, что на черную мостовую пролилось густое масло. Эвелинг подозвал кеб и привез Тусси к себе.

— Забудем обо всем человечестве, как будто мы на необитаемом острове,— сказал он, прижимая ее к себе,— сейчас на земле ты да я. Умоляю, отрешись хоть на миг от мыслей обо всей вселенной. Черт с ней! И в аду есть счастье, если встречаются двое любящих. В тебе одной я нашел всех женщин, о которых мечтал. Чтобы вылепить Фрину, скульптор приглашал множество натурщиц. У одной ему нравилась грудь, у другой ноги, у третьей спина. Так появилось совершенство, которому могла бы поучиться природа. Ты так же умна, проницательна, как и прекрасна. Возлюбленная моя! Единственная! Если когда-нибудь я причиню тебе хоть самую маленькую боль, пусть все стихии обрушатся на меня. Клянусь любовью сделать тебя счастливою!

Элеонора знала, как подчас великая беда парализует человека, бросает его в бездну, из которой нелегко выкарабкаться. Она потеряла мать, сестру, с которой была

душевно очень близка, маленького племянника и отца. Дом, где столько лет все жили в любви и согласии, где бывало множество замечательных людей века, внезапно опустел и стал страшен.

В жизни каждого человека есть пора, роковая для него, будто зрелище собственной смерти. Это — расставание с родителями навечно.

Повышенно чувствительная и страстно привязанная к отцу и матери, Элеонора, похоронив близких и покинув счастливое жилище на Мейтленд-парк, долгое время находилась как бы в душевной пустоте.

— Мудрец Тао учил, что первое условие счастья — это живые отец и мать. Я потеряла их...

Энгельс и Елена Демут были по-родственному близки Элеоноре с самого ее рождения. В их присутствии девушка старалась казаться спокойной и деятельной. Постепенно горе утихало.

В это время она снова встретила доктора Эдуарда Эвелинга. Впервые они увиделись давно. Эвелинг читал лекцию о цветах и насекомых детям рабочей школы для сирот в Хаверсток-хилл. Среди слушателей оказалось немало взрослых. Элеонора пришла вместе с отцом и матерью. С любопытством рассматривала она лектора, о котором слыхала, что он сын ирландского пастора. С детских лет Тусси тянулась к Зеленому острову, родине жены Энгельса, ирландки Лиззи Бёрнс, и многих замечательных борцов.

Карл и Женни Маркс любезно похвалили Эвелинга, отдав должное не только широте его познаний, но и убедительной простоте изложения. На прощание Элеонора улыбнулась юноше, ослепив его белизной зубов и иссиня-черными светящимися глазами. Она была хороша собой, и даже несколько большой нос не портил этого впечатления. Маркс показался Эвелингу человеком на редкость физически сильным, а его жена отличалась светскостью и женственностью. Он навсегда запомнил этих людей. Эвелинг окончил в Оксфорде не только медицинский, но и естественный факультет. Он стал доцентом и пылко отстаивал правоту теорий Дарвина и Гексли. Казалось, будущее его предопределено: кафедра и научные изыскания. Но с юных лет в даровитом ирландце проявились особенности его характера. Он был чрезвычайно увлекающимся и неустойчивым человеком, равно способным на

доброе и на дурное. Эвелинг остыл к науке, решив, что истинное его призвание — драматургия. Как знать, не суждено ли ему удивить мир произведениями, равными шекспировским?

Элеонора сохранила цельность сердца. Она глубоко знала жизнь. Ей казалось, что она разбирается в людях, но в этой самой трудной из наук девушка мало преуспела. Те, кто ее окружал с детства, были доподлинно лучшими из лучших. И девушка была беззащитна, не зная бесчисленных противоречий людской натуры. Весьма красноречивый, начитанный и бунтарски настроенный ирландец нравился ей.

Элеонору и Эдуарда сблизила обоим им присущая неодолимая страсть к театру. Они не пропускали ни одной премьеры, преклонялись перед дарованием Ирвинга, Эллен Терри, Элеоноры Дузе. Элеонора и сама была как бы создана для театра, да и Эвелинг отличался незаурядной сценической наружностью: стройный, мускулистый.

В лице его, крайне нервном и меняющемся, было нечто аскетическое и вместе разгульное. Жидкие волосы, открывая широкий и прямой лоб, прядями падали на плечи, широко раскрытые глаза смотрели тревожно и растерянно, а подчас неприятно-надменно. Он легко переходил от одной крайности к другой, проявляя то необузданное бесстрашие, то пугливую меланхолию. Человек отзывчивый, щедрый, он подчас становился мелочно придирчивым, эгоистичным и жестоким. Менее всего казался он бесхарактерным и самовлюбленным, каким был на самом деле.

Элеонора видела в Эдуарде только хорошее, а то, что могло бы ее предостеречь в его поступках и словах, относила сначала к ребячливости и к тому, что его, очевидно, захвалили и избаловали друзья.

«Я была бы плохим диалектиком, если бы предположила, что мир населен людьми, окрашенными одной краской, сплошь черной или белой. Люди не ангелы и не черти. Все мы противоречивы и далеки от совершенства. Наверное, Эдди лучше, нежели я. После смерти Мавра, Мэмэ и Женнихен я стала сама несносно чувствительна и трудна для окружающих»,— думала про себя девушка...

Театры, которые в течение двух веков беспощадно уничтожались пуританами, вернули себе кое-какие права в пору монархической реставрации. После прославленных

актеров Сары Сиддонс, Гаррика, Кина на английской сцене ярко загорелись новые имена Генри Ирвинга и Эллен Терри.

В воскресные дни английские города томительно скучают. Все зрелища запрещены, и только бойко торгуют угодные церкви и парламенту бессчетные пивные заведения. Они являются могущественными союзниками надоевшей, зачитанной Библии и оскорбленного благочестия. Адвокаты отрыли в парламентском хламе обветшалый закон, и крестоносцы-пивовары объявили поход на театры, концертные залы и мюзик-холлы, пытавшиеся получить разрешение работать по воскресеньям. Начался отчаянный бой, исход которого предстояло решить верховному судье — парламенту. Мюзик-холлы обещали вносить более ста тысяч фунтов на госпитали и приюты для бедных. Воскресные программы должны были склонить зрителя к добру и благотворительности.

В это же время служители культов обходили квартиры избирателей или обращались к ним письменно с угрозами рассчитаться на ближайших выборах, если их депутат решит ввергнуть себя в ад и голосовать за разрешение зрелищ и развлечений в праздники. Газеты заполняли свои столбцы статьями, плаксивыми письмами в редакцию и сообщениями о семейном разладе, вызванном священной войной пива и муз. Взвыли против воскресных спектаклей отставные чинуши, истеричные старухи и сборщики рент. Пивовары, оплачивающие ханжей, окопались в сектантских храмах и в день парламентских дебатов, решавших судьбу жаркой схватки между Библией, пивом и зрелищами, организовали крестный ход с хоругвями, псалмами и молениями. В дождливый зимний полдень несколько сот пилигримов, поднявшихся на защиту старины, лицемерия и барышей пивоваров, подошли к Вестминстерскому собору. К парламенту их не допустили. Став на колени в сквере близ аббатства, они затянули церковные песнопения, молясь о том, чтобы разумение снизошло на членов палаты общин.

Парламент после долгих дебатов постановил: законы предков не отменять. Пиво дает счастье, веселье, радость и здоровье. Оно для Англии то же, что вино для бургундца. Жалкая, иногда единственная отрада и воодушевление для жителей Ист-Энда и доков — этого беднейшего округа столицы.

Элеонора Маркс знала Лондон и его обитателей. Она отмечала перемены, которые происходили в огромной колониальной державе.

Восьмидесятые годы при мнимой тишине и отсутствии войн казались Элеоноре грозными. Отличная ученица своего отца, хорошо знавшая «Капитал», Тусси понимала, почему рассыпаются и гибнут мелкие промышленные предприятия и приходят, поглотив их, грохоча и все покоряя, индустриальные гиганты. На заводы лавиной хлынули разорившиеся мелкие буржуа, безземельные крестьяне, кустари, городская голытьба. Росли мощные тресты. Фантастически обогащались одни и нищали другие. Никогда ранее дочь Маркса не видела такой нищеты на окраинах, не встречала более истощенных, похожих на живые скелеты женщин и детей. Сердце Элеоноры не выдерживало зрелища покорного горя, тупого отчаяния, которое открывалось ей в лачугах Уайтчапеля, Ист-Энда, в домиках вокруг гавани Темзы. Щемящее материнское чувство к людям, придавленным нищетой, охватывало ее.

«Пробудить их к действию, к борьбе! — мечтала Элеонора.— Они настолько несчастны, что уже не способны отдавать себе в этом отчет. В них убита воля к жизни, понимание своей роли в обществе и своих прав. Отогреть их, поднять на бой с пауками из Сити!»

Свершилось то, о чем Энгельс боялся думать. Ему предстояло отныне жить без друга. В течение всей болезни Маркса он ежедневно, пересиливая сердцебиение, сворачивал за угол на Мейтленд-парк роуд. С этого места он видел дом № 41, в котором умирал самый дорогой для него человек.

Микробы, убивавшие Маркса, представлялись ему могучим, коварным войском, которое надо было уничтожить. Чтобы быть во всеоружии, Генерал, как со дней франко-прусской войны близкие звали Энгельса, прочитал все учебники по болезням легких, совещался с известнейшими врачами. Он не умел смиренно встречать противника. Но подступающая к Марксу смерть была самым могучим врагом, с которым он столкнулся. И друг, спасавший Карла от нищеты, сражавшийся всегда рядом, сейчас ничего не мог сделать.

Кончина Карла не сразила Фридриха, потому что он больше самого себя любил покойного. Энгельс не позволял себе отчаиваться. Это могло бы ослабить его силы, которых было нужно так много, когда он остался один.

Еще целый год дом, где долго жил и умер Мавр, оставался арендованным Энгельсом. Ни одна бумага друга не пропала, рукописи и архив были вывезены без спешки. Елена Демут переселилась к Энгельсу, в его просторную квартиру на Риджентс-парк, и взяла все его хозяйство в свои неутомимые руки. Искренняя, старая дружба связывала Энгельса и Ленхен, и они относились друг к другу заботливо, уважительно и, главное, с предельным доверием и пониманием.

Ленхен Демут, умудренная жизнью и долгим общением со многими необыкновенными, духовно могучими людьми, была для Энгельса постоянным собеседником. Часто по вечерам, когда он отдыхал после позднего обеда за чашкой кофе и сигарой, она приходила в его кабинет и усаживалась в кресло подле письменного стола. Как-то, заметив, что Фридрих печален, она сказала:

— Я вспоминаю, что в детстве мой отец читал молитву, в которой, прося бога избавить его от многих искушений, перечислял также отчаяние и уныние. Будь мы верующими, я тоже сказала бы, что это состояние духа — порождение дьявола. Когда я начинаю горевать, вспоминая наших незабвенных покойников, у меня опускаются руки, болит сердце, ну прямо хоть помирай. А я ведь еще гожусь для работы. Не правда ли, Фридрих, тебе, да и Тусси я еще очень нужна?

— Не знаю, право, как я обходился бы без твоей помощи,— с чувством ответил Энгельс.

— Признаться, в последнее время я часто боюсь надолго занемочь. Быть кому-нибудь в тягость — худшая из напастей. Ну, не хмурься, старый дружище. Ты у нас богатырь, а это — главное. И Элеонора тоже хороша. Вот только этот Эвелинг... Я, видно, от дорогой Женни и Мавра переняла отвращение к кривлянью.

— Не будь слишком строга, Ленхен. Не всем удается в молодости избежать этого. Я уверен, Тусси его вылечит, если они поженятся. Эвелинг — прирожденный революционер и, что несомненно, разносторонне образованный человек.

Обсудив с Энгельсом меню на завтрашний день и разные хозяйственные дела, Елена вышла.

Кабинет Энгельса состоял из двух комнат, прибранных и чистых, где для каждой вещи навсегда было определено место и с неистовством изгонялась пыль. Так же выглядели и другие комнаты. Уклад дома был строго выверен. В его спальной с постоянно открытыми окнами господствовал порядок, которому могла бы позавидовать самая аккуратная и придирчивая хозяйка. Кресло у камина казалось привинченным к полу, и в комоде, пропахшем лавандой и мятой, белье было сложено стопками, перевязанными белыми шнурами. Чистота дома казалась наивысшей роскошью.

Пунктуальность отличала Фридриха с малолетства. Тетради, книги, перья, которыми он пользовался, лежали на одном и том же месте, как и промокательный пресс, ножницы и перочинные ножи. С закрытыми глазами, в темноте Энгельс мог бы найти все, что ему было нужно. Он считал, что время, потраченное на приведение вещей в определенный порядок и в систему, окупается позже во много раз и сберегает нервную энергию, растрачиваемую на поиски. Нарушение привычного ритма работы могло вызвать вспышку недовольства, а то и заставить выйти из себя выдержанного и по природе нераздражительного Фридриха.

После трех мрачных недель, последовавших за кончиной Маркса, Энгельс целиком отдался труду над его литературным наследством — самым дорогим для него сокровищем. Он не ожидал, что труд будет таким огромным. Ему предстояло отныне быть постоянно с Мавром. Вначале он работал один. Поль и Лаура Лафарг прочно осели в Париже. Тусси пожелала поселиться самостоятельно. Она сняла две маленькие комнаты неподалеку от читального зала Британского музея. До дома Энгельса оттуда было не более получаса пути. Девушка занялась литературным трудом, дававшим ей кое-какой заработок, и много времени посвящала пропаганде социализма в наиболее бедных округах столицы. У нее появились свои знакомые, и Энгельс счел за благо не вмешиваться в ее отношения со сверстниками. После неудачного сватовства Лиссагаре, отвергнутого не столько девушкой, сколько ее родителями, Тусси не встречала на своем пути никого, кто мог бы стать ее мужем. А годы шли.

— Байрон говорил, что тот, кто примирится с двадцатью пятью годами, примирится со всем на свете,— шутила Элеонора.— Мне уже несколько больше, но я не сдаюсь.

Энгельс зажег свечи на камине и долго вглядывался в запечатленные на портрете черты Маркса. Он достал альбом и принялся медленно перелистывать страницы, отыскивая фотографии друга. Каждая из них воскрешала в памяти картины их общей трудной судьбы. Самые лучшие были сделаны в замечательнейшие годы.

Мавр в 1867 году... Его глаза отражают могучую силу духа и убежденность. Прекрасный лоб точно купол совершенного по форме храма Петра в Риме. Густые седые волосы как нимб. Прометей-провидец бросает вызов Зевсу. В этом году был закончен первый том «Капитала».

Тысяча восемьсот семьдесят второй год... Спокойное, величавое лицо, глаза с нависшими веками, с треугольной линией бровей, крепким носом с подвижными ноздрями, раздувающимися в минуты гнева. Мир, озаренный на миг светом Парижской коммуны, погружен во тьму, но ничто уже не остановит движения истории. Победа пролетариата неизбежна.

На снимке 1875 года Карл Маркс одновременно похож на Саваофа в Сикстинской капелле и на шейха бедуинского племени. Похудевшее смуглое лицо неповторимо красиво и одухотворенно. Горестно-саркастические линии, пролегшие от крыльев носа до подбородка, углубились, стали резче, и заметно состарились руки.

Последний раз Маркс фотографировался после смерти своей жены. Фридрих не мог без боли смотреть на старика в окладе белоснежных волос, на чужое, растерянное выражение в прищуренных глазах. Горе сломило колосса.

«Лучше небытие, нежели бессилие, медленное умирание, невозможность трудиться. Поверженный недугами гений... Это было бы трагедией,— думал Энгельс.— Смерть, скосив Женни, подсекла и Мавра, но она оказалась бессильной перед его творениями. До последней строчки, небрежно брошенной им вчерне, я обязан все выискать, собрать, передать человечеству».

На следующее утро Фридрих, выбрав лучшую из фотографий друга, направился к стоянке омнибуса. Энгельс казался совсем еще молодым человеком, стройным, изящным и легким в движениях. Особенно хороши были его

прямые, чуть откинутые назад, могучие плечи бойца, не знающего страха. Никто не давал Энгельсу его лет. Лицо, почти без морщин, сохраняло ту четкость овала, какую обычно рано портит равнодушное время. К густой русой шевелюре, к большим спускающимся усам и пышной, холеной, с более бронзовым отливом, чем волосы на висках, бороде не прикоснулась седина. Серые глаза его не теряли блеска и легко загорались и от смеха и от гнева. Всегда тщательно одетый, педантично чистоплотный, он вовсе не был чопорным, недоступным. Никто не располагал так к откровенности, не воодушевлял, не привлекал к себе, как этот человек высокого роста, атлетически сложенный, с выправкой военного и лицом ученого.

И сейчас, когда он шел, спокойно опираясь на трость, прохожие с невольным почтением смотрели на него и старались вспомнить, кто этот человек, не сомневаясь, что перед ними личность известная, незаурядная.

Фридрих Энгельс торопился к Мейоллу, одному из самых лучших фотографов Лондона. Мистер Мейолл встретил клиента заученной улыбкой и пригласил его в обитую бархатом приемную.

Энгельс вынул из бумажника снимок Маркса и попросил Мейолла размножить его.

— Мне нужно не менее двухсот портретов кабинетного формата. Будьте добры назвать время, когда я смогу получить их, а также цену.

— Я не беру ничего за фотографии знаменитостей. Это честь для моей фирмы — выполнить такую работу. В наше время заслуженно прославившихся людей не так уж много, и поэтому мое правило — не брать денег за их изображение. Это не грозит фирме разорением. Благодарю вас, сэр, за доверие. Маркс — это большое имя. Все будет исполнено тип-топ, и те, кто получит фото покойного доктора Маркса со штемпелем на обороте «Мейолл, Лондон», будут всегда испытывать только удовольствие. Спасибо!

Фридрих чувствовал себя в затруднительном положении.

— Видите ли, мистер Мейолл, я вовсе не хотел бы получить несколько сот снимков бесплатно. В этом нет никакой необходимости. Поверьте, что мы платежеспособны.

— Но для моей фирмы это лучшая реклама. Все в порядке, сэр. До свидания.

Энгельс едва сдержался от выражения досады. Коммерческая сноровка, которую он приобрел, служа многие годы конторщиком на фабрике «Эрмен и Энгельс», выручила его. Он убедил Мейолла, что в данном случае является не частным лицом, а представителем немецкой книготорговли. И фотограф согласился принять положенную сумму.

Покончив с заказом карточек, которые Энгельс предназначал для многочисленных друзей и единомышленников Маркса, а также для газет и издательств в различных странах мира, он вернулся домой и снова погрузился в просмотр рукописного наследства друга. Перед ним в многочисленных тетрадях, на листах бумаги запечатлелась душа Маркса, его мысли, искания, труд.

Почти сорок лет Энгельс и Маркс фактически не расставались. Переписка побеждала разлуку, уничтожала расстояния. Они знали друг о друге все и достигли той высоты понимания, доверия, духовной близости, когда совершается чудо, человек как бы сбрасывает оболочку одиночества и становится частью другого. Два мозга тогда творят согласно. Это уже не только дружба, но и духовное побратимство — редчайший дар жизни.

Энгельс не перенес бы потери друга, если бы воспринял его кончину как полное исчезновение. Но Карл продолжал для него оставаться живым. Он ощущал его присутствие в себе самом. Мысли Маркса, его творения, общность их дел, открытий, воспоминаний уничтожали в сознании Энгельса боль утраты.

Такая дружба не могла оборваться со смертью одного из двоих. Она продолжалась. Сила ее, испытанная во времени и борьбе, и суть ее были бессмертны.

Энгельс не чувствовал себя одиноким. Маркс был рядом и требовал действия.

Многие годы Фридрих Энгельс служил в фабричной конторе, чтобы гений Маркса мог обрести крылья и взлететь, создав такие нетленные в веках творения, как «Капитал», и совершив такие деяния, как организация Интернационала. Теперь Энгельс призван был завершить и обработать прерванный труд друга, возглавить борьбу за пролетарскую революцию. Энгельсу надо было также отдать людям свои открытия в естествознании и в истории. Когда есть цель, находятся силы, чтобы ее достичь.

Для Энгельса часы духовных, мысленных свиданий с другом были едва ли не самые воодушевляющие. Он победил ими разлуку, разорвал одиночество, радовался жизни, которую всю подчинил одной цели.

Энгельс был счастлив. «Я снова с тобой, друг»,— думал он, внимательно перебирая бесценные творения уже погасшего человеческого мозга. Энгельс жадно искал в массе хаотически сложенных бумаг различные варианты второго тома «Капитала». Маркс тщательно скрывал от самых близких ему людей эту свою работу. Он знал, что Фридрих, Женни и Ленхен будут торопить его закончить труд и опубликовать. Он же хотел довести все до предельного совершенства, проверить, пополнить, отточить все грани, отшлифовать каждую мысль и фразу.

Маркс был не только гениальный ученый и воин, он нес в сердце пламя поэта, художника, всегда не удовлетворенного достигнутым, стремящегося к недостижимым высотам. Как и Энгельс, он поднялся над тщеславием и славолюбием, зная, сколь мелки подобные чувства. Оба эти человека принадлежали не только своим современникам, но и будущим поколениям и ощущали ответственность перед теми, кто еще должен был родиться, чтобы сражаться за идею и победить.

«Есть или нет второй том «Капитала»? Где эта рукопись? Мавр сказал Тусси перед смертью: «Энгельс должен с этим что-нибудь сделать». Фридрих томился сомнениями и с присущей ему тщательностью перебирал и складывал по-новому листы, исписанные дьявольски трудно разбираемыми, маленькими, витыми буквами. Энгельс, как и покойная Женни, с трудом находил пути в этом лабиринте вязи почерка Мавра. Иногда письмена эти были похожи на сплошные линии с внезапными закорючками, точно рисунок, воспроизводящий ток крови.

«Неужели враги наши, возвещающие в прессе о том, что Марксу больше нечего сказать, что он выдохся, ибо в природе нет второго тома «Капитала», не получат должного отпора?» — продолжал размышлять Энгельс.

Его охватывало смятение. Карл, который делился с ним всем самым сокровенным, уклонялся от ясного ответа, когда его спрашивали, закончен ли второй том и на каком этапе работа над третьим. Но вместе с тем Мавр говорил, что обязательно посвятит книгу Женни. Значит,

труд его близился к завершению. А что, если, переделывая заново главы, он, недовольный собой, уничтожил написанное? С ним ведь такое случалось. Вряд ли существовал на свете человек, который судил бы свои произведения столь строго, как Маркс.

Энгельс развязал большую папку бумаг и открыл первый лист. Лицо его загорелось. Мелкие росинки пота покрыли лоб. Он еще и еще раз прочел начало, перелистал страницы и тщательно просмотрел конец...

Вот он.

Вот он, второй том! Эврика!

Энгельс перелистывал желанные страницы, вчитывался в отдельные строчки, тщательно рассматривал в лупу неразборчивые слова. Он удивился тому, что рукопись написана готическими буквами. Значит, решил Энгельс, она создавалась до 1873 года, нет, до 1870 года. Именно с той поры Маркс начал писать только латинскими буквами.

«Итак, Мавр тщательно скрывал от нас свое творение, чтобы еще и еще шлифовать его, править. Какое счастье для нас всех, что рукопись сохранилась!»

Он позвал Ленхен. Узнав о бесценной находке, она всплакнула и долго не могла успокоиться. Затем сказала добродушно:

— Этакий притвора наш Мавр! Сколько раз дорогая Женни и я спрашивали его, ворча, почему все же не дописан второй том, а он отшучивался. Итак, более десяти лет он вылизывал, как сам любил говорить, свое дитя и при этом помалкивал. Кстати, Фридрих, кто это попытался оклеветать Карла, утверждая, что в природе нет второго тома «Капитала»? Хотелось бы мне увидеть эту злобную рожу, когда книга выйдет из печати.

— Лориа из Мантуи. Мелкая душонка, инфузория, которая мнит себя ученым.

— Маркс и из гроба скажет им всем свое слово. Я уверена, ты отыщешь в его бумагах еще не одну начиненную динамитом мину против буржуа и их лизоблюдов. Я сейчас же сообщу Тусси о найденном кладе и, хочешь или нет, не дожидаясь воскресенья, устрою праздничный пир.

— Превосходная идея, Ленхен. Не поскупись на рейнландское вино. У нас, кажется, еще есть кое-какие запасы, присланные с родины.

Энгельс принялся бережно укладывать бумаги в широкий старинный сейф. Когда обитая железом дверца захлопнулась, замок издал протяжный звук, похожий на вздох. Этот таинственный несгораемый шкаф называли то Франкенштейном, то Гомункулусом — фантастическими существами, о которых было написано уже немало книг.

Елена Демут в приподнятом настроении отправилась в огромную кухню, чтобы приняться за стряпню. Совсем недавно Ленхен была моложава и здорова, несмотря на свои шестьдесят лет, но после кончины обеих Женни, Карла и маленького Гарри Лонге голова ее поседела, на лице пролегли глубокие морщины горя, спина сгорбилась, не вынеся тяжести свалившихся бед. Однако голос, взгляд, жесты были по-прежнему бодрыми.

В день, когда была обнаружена желанная рукопись второго тома «Капитала», после вкусного ужина в обществе дорогих людей, хозяин дома ушел к себе в кабинет, но пробыл за письменным столом недолго. Находясь под сильным впечатлением находки, он написал в Нью-Йорк своему боевому соратнику:

«Дорогой Зорге!

...Из периода до 1848 г. спасено почти все — не только написанные тогда им и мной рукописи сохранились почти полностью (за исключением того, что изъедено мышами), но и переписка; разумеется, также с 1849 г. все целиком, а после 1862 г. даже в некотором порядке; имеется также весьма обширный рукописный материал, относящийся к Интернационалу, достаточный, я полагаю, для полной его истории, но подробнее посмотреть его мне еще не удалось...

Не будь такой массы американского и русского материала (по одной только русской статистике более двух кубических метров книг), второй том был бы давно напечатан...»

Несколько позднее Энгельс разобрал и русскую библиотеку Маркса и решил передать ее через Лаврова русским революционным эмигрантам.

Энгельс испытывал ни с чем не сравнимое чувство, когда писал о Марксе. Казалось, его друг воскрес. В письмах к общим знакомым и соратникам Фридрих постоянно касался тем, над которыми работал Маркс.

Одновременно он готовил переиздание первого тома «Капитала», который следовало расширить согласно пометкам покойного. Работа эта оказалась крайне кропотливой и нелегкой.

В ту же пору в бумагах Маркса Энгельс сделал приятное для себя открытие, найдя изрядно потемневший от времени листок, на котором Георг Веерт в 1846 году написал стихи, никогда доселе не публиковавшиеся. Воспоминание об острослове, весельчаке, умнице и неустрашимом первом и лучшем революционном поэте, как лунный тихий свет, озарило Фридриха. С Веертом он дружил с юности до последних лет его жизни. Было нечто схожее в их биографиях: оба происходили из купеческих семей и занимались ненавистной им коммерцией, оба любили жизнь во всех ее проявлениях, оба стали коммунистами и сотрудничали в «Новой Рейнской газете». Веерт умер молодым от воспаления мозга в Гаване в трудные для революционеров пятидесятые годы. Тогда Маркс решил написать очерк об этом выдающемся поэте и недюжинном человеке, но не осуществил своего намерения, потому что опубликование такого некролога было невозможно в обстановке реакции, царившей в те годы в Германии. Энгельс дал себе слово, что доведет до конца все, что не удалось завершить другу.

Вызвав Ленхен, он начал с того, что прочел ей случайно сохранившееся неведомое стихотворение «Песня подмастерья»:

Под вишнею цветущей
Мы кров себе нашли,
Под вишнею цветущей
Во Франкфурте нашли.

И нам сказал трактирщик:
«Одеты вы в тряпье...» —
«Молчи, трактирщик вшивый,
Ведь дело не твое!

Неси-ка лучше пива,
Вина еще налей,
Подай к вину и пиву
Жаркого поскорей!»

Кран скрипнул, и густая
Струя пошла, журча.
Хлебнули — дрянь какая!
Ни дать ни взять — моча.

Принес хозяин зайца
В гарнире овощном,
Принес хозяин зайца,
А заяц был с душком.

Когда ж в свои постели
Легли мы, помолясь,
Всю ночь клопы в постели
Нещадно ели нас.

Во Франкфурте прекрасном
Несладко было нам.
И это знает каждый,
Кто горе мыкал там.

Посылая неопубликованное стихотворение Веерта «Песня подмастерья» в Цюрих, в газету Германской социал-демократической партии, Энгельс сопроводил его статьей, в которой тепло писал о жизни, борьбе и стихах поэта.

— Долг перед памятью Георга нами выполнен,— сказал он Ленхен, когда вернулся с почты.

В осенний сентябрьский день в Лондон приехал Герман Лопатин, отважный, неуемный революционер, первый переводчик части «Капитала» на русский язык, друг Маркса, Энгельса и их близких. Как родному, обрадовались ему на Риджентс-парк.

Минувшие годы прошли для Лопатина бурно и тяжко, но он был в том возрасте, когда испытания еще не сгибают, не грозят сломить волю и здоровье, а напротив, закаляют истинно сильного человека. Герман возмужал, окреп в схватках.

Фридрих крепко обнял его.

— Ты молодец, Герман, и знаю: как всегда, смел до безумия. Надеюсь все-таки, что смелость ты привез с собой, но безумие оставил на родине,— сказал он ему по-русски.

От радостного волнения, которое не хотелось скрывать, Лопатин молчал, не выпуская руки того, кого считал одним из величайших умов века.

— Увы, ты опоздал,— продолжал уже тише Энгельс. — Мавра нет с нами. Как он высоко ценил тебя, дружище! «Не многих людей я так люблю и уважаю, как его»,— сказал о тебе Маркс. Ты можешь этим гордиться.

Хладнокровие и выдержка, присущие в любых случаях Лопатину, на миг покинули его. Он отвернулся к стене и снял очки.

— Какое несчастье, что я прибыл из России слишком поздно! В день смерти Мавра, не ведая этого, я перешел границу и мысленно уже видел себя в Лондоне. Когда в Женеве мне сказали, что не стало Маркса, я крикнул: «Не может быть!» И сейчас я готов повторить: «Не может быть. Не должно быть!»

Широкоплечий, высокий, ростом почти с Энгельса, Лопатин согнулся от горя.

— Есть люди,— продолжал он,— ради которых многие из нас не задумываясь пожертвовали бы жизнью. Они нужны человечеству, как солнечные лучи. А смерть не щадит и их.

В кабинет вошла Ленхен. Притянув Лопатина, она поцеловала его в по-молодому круглые, свежие щеки.

— Как хорошо, что вы снова с нами! Я всегда тревожусь о наших друзьях-русских. Царь не очень-то церемонится со своими подданными. Это настоящий кровопийца. Для него виселицы — что качели. Только и слышим о новых жертвах. Я хотела бы дожить до революции в России и увидеть, как метла рабочего человека очистит ваш край от всякой нечисти. Мавр и Генерал предсказывали не раз, что русские банкиры и деспоты полетят-таки вверх тормашками.

— Если бы это было не так, я считал бы себя и своих товарищей окончательными банкротами и ослами,— оживился Лопатин.

— Ты прав,— начал Энгельс, подвинув Герману сигары и спички.— В России сочетаются все условия, необходимые для того, чтобы произошел революционный взрыв. Возможно, революцию у тебя на родине, Герман, начнут высшие классы Петербурга, может быть, даже правительственные сферы, но народ этим не удовольствуется, пойдет дальше и выведет ее за грань первой, конституционной фазы. А может случиться так, что царя вынудят созвать Земский собор, а это неизбежно приведет к радикальному не только политическому, но и социальному переустройству.

Энгельс курил, медленно затягиваясь и с заметным удовольствием выпуская дым замысловатыми кольцами.

Ленхен шире распахнула окно. Был ясный день, и небо казалось зеленовато-голубым, как морская гладь.

— Карл и я всегда верили в громадное значение выборов. Это школа для народа. Открытая избирательная борьба — наилучшая пропаганда, более успешная, нежели любые книжки, тайные листовки и разъяснения,— громко продолжал Энгельс. В последнее время, особенно после смерти Маркса, он стал туг на левое ухо и, недостаточно хорошо слыша, часто повышал голос в разговоре.— Мы с Карлом считали, и не ошиблись, что Россия похожа на минированное поле и к бикфордову шнуру остается только поднести огонь, чтобы деспотизм взлетел на воздух. Царизм вступает во все более вопиющее противоречие со взглядами просвещенных классов, в особенности со взглядами растущей буржуазии. Самодержавие то делает уступки либерализму, то с испугу берет их обратно и тем самым запутывается все сильнее и подрывает к себе всякое доверие в народе. Но я еще не слышал, как удалось тебе тайно вырваться из России, где, надо думать, по тебе плачут жандармы... А вот и Тусси, твой старый, верный друг!

Элеонора радостно протянула Герману руку.

— Вы живы, здоровы — это главное. Как были бы рады вам Мавр и Мэмэ!..

Резким движением Элеонора сбросила шляпку с густой траурной вуалью и поправила черные плерезы на платье.

Когда она уселась в кресле, бульдог с отвислой нижней челюстью, явившийся из соседней комнаты, тотчас улегся у ее ног. Лопатин невольно вспомнил день первого знакомства с девушкой и ее родителями, вспомнил, что в доме Маркса всегда было много животных.

— Вы верны своим привязанностям,— кивнул он на бульдога. — Но пес Виски и кошка Томми, которую доктор Маркс прозвал ведьмою, наверное, покинули сей свет. А помните наши занятия? Никогда не забыть мне ваших уроков английского языка. Вы были весьма строгой и требовательной учительницей. Если я теперь хоть и плохо, но изъясняюсь по-английски и меня понимают, то этим я обязан только вам.

— Полноте, не скромничайте. У вас несомненные лингвистические способности. Не правда ли, Генерал, его произношение вполне удовлетворительно? Но когда вы

приехали к нам впервые, то с редкой развязностью пользовались прелестной смесью из французских, немецких, английских и еще каких-то, очевидно, славянских слов. Однако мама, Мавр и мы все вас понимали превосходно.

— Да... — улыбнулся Лопатин. — Отчаянье от того, что я не овладел еще как следует ни одним иностранным языком, и притом адское желание быть понятым, привело к тому, что я тогда старался прикрыть свое невежество беглостью речи, усердной мимикой и дикой жестикуляцией.

— Все было не так уж драматично. Мои родители полюбили вас с первой встречи. Мама, помню, сразу же предложила вам поселиться в нашем доме.

— За всю свою жизнь я не встречал более гостеприимных и любезных людей, нежели доктор Маркс и его супруга. А как я страшился холодного приема! Ведь знаменитости бывают иногда несносно чопорны, надменны, равнодушны. Подобных Марксу и вам, Энгельс, нет больше людей на свете. Истинно гениальное всегда просто.

— Та-та-та, замолчи, дружище,— прервал Германа Энгельс.— О Марксе мы рады слышать все, что вырывается из твоего сердца, но обо мне прошу никогда не декламировать в столь патетическом тоне, иначе это испортит наши добрые отношения. Мы с Марксом всегда жестоко высмеивали, а то и ругали за такие попытки. Ну, а теперь, покуда наступит блаженное время обеда, мы с тобой поговорим о России. Это, несомненно, страна великой судьбы. Я часто думаю о том, сколько крови свободолюбцев уже пролилось ради будущей победы революции. Твоя родина, Герман, это Франция нынешнего века. Она закономерно явится первооткрывательницей совершенно нового социального переустройства. Так-то, мой молодой друг! Я жду взрыва в России. Более того, ты, несомненно, увидишь великое преобразование своей страны. Если б я был моложе! Но ты принадлежишь к счастливому поколению. Не могу не завидовать тебе. В русском народе накоплено уже много взрывчатых сил. Негодование растет вместе с эксплуатацией и жестокостью режима. Если даже правящая клика решилась бы спасаться с помощью либеральной конституции, этого ей не удастся сделать без экономических перестроек. Факты, статистика, опыт учат нас, что в России есть уже все, чтобы перестраивать общество по-новому.

— Как вы думаете, возможно ли моментальное осуществление коммунизма в моей отчизне? — спросил Лопатин, слушавший Энгельса с пылающим лицом. Он то и дело снимал очки, которые в этот раз не помогали ему, а мешали видеть сидевшего за столом Энгельса.

— Я не верю в мгновенные чудеса, даже если они — осуществление мечты всей нашей жизни. Коммунизм неизбежно победит повсеместно, и ваша страна будет, надеюсь, в этом первой. Ясно, что царизм себя изжил, народ начал понимать это. Нет сомнения, что русский пролетариат сумеет безошибочно найти дельных выразителей своих нужд и чаяний. Твоя родина — сокровищница талантливых людей и бесстрашных революционных бойцов. Русские в наши дни не перестают удивлять мир своим искусством, наукой и бесстрашием в борьбе за справедливость. Поразительна быстрота, с которой твои соотечественники начинают первенствовать в самых различных областях.

Энгельс и Лопатин говорили о грядущей русской революции, о путях политического и социального возрождения замечательного северного государства. Герман с полуслова понимал того, кого с любовью называл про себя учителем. Нередко Энгельс договаривал и углублял мысли своего собеседника.

Столь важен и увлекателен был для Германа этот разговор, что, придя в полночь в «гостевую» комнату на втором этаже квартиры Энгельса, он долго не мог уснуть, записывая и стараясь запомнить все, что слышал.

Лопатин мучительно выбирал, с кем идти ему дальше по революционной стезе. Отчаянно храбрый, упорный, он нередко действовал в одиночку, то сближаясь, то отходя от различных групп и не вступая формально ни в какую революционную организацию.

Оставаться за рубежом Лопатин не хотел и твердо решил вернуться на родину, чтобы бороться с врагами лицом к лицу. Общество «Освобождение труда», только что возникшее, виделось неистовому революционеру беспомощным, оторванным от трудящихся.

«Когда еще оно проникнет в толщу русского народа!» — думал Герман. Ждать он не хотел, да и не умел. Он решил, что сможет возглавить и привести к победе преследуемых бойцов разбитой «Народной воли». Россия казалась ему все еще погруженной в спячку.

Всколыхнуть ее надо было, по мнению Лопатина, любыми, пусть самыми опасными, средствами, к которым прибегали террористы.

Приезд молодого русского вызвал у Тусси множество воспоминаний. С той поры как она осиротела, дом Энгельса и особенно уютная, тихая, уставленная давно знакомыми вещами комната Ленхен заменили девушке потерянный родительский кров. Подобрав ноги, забиралась она в большое старое кресло у камина, брала на руки рыжего кота, любимца Энгельса, и, прислушиваясь к треску горящих поленьев, мечтала, как в детстве, либо поверяла своей второй матери мысли и заботы. Со стен смотрели на нее с портретов в тяжелых черных с золотом рамах бабушка, баронесса фон Вестфален, полная дама с припухшими веками и строгим лицом; совсем еще юная и прекрасная мать; отец, на которого Тусси была так похожа; умершая любимая сестра Женнихен и красавица Лаура. На выступе камина стоял под стеклом дагерротип с изображением большелобого, темноглазого мальчика, брата Тусси, маленького Эдгара, прозванного Мушем. Он скончался за несколько месяцев до ее рождения.

— Никто не заменил его в сердце Мавра, не так ли, Ленхен? — спрашивала Тусси.

— Тот, кто видел наше сокровище, не мог уже забыть его никогда. Муш был бы таким же великим человеком, как Мавр. Он рассуждал обо всем по-особенному и был не по-детски мудр и добр. Бедняжка погиб от нашей нищеты. Если бы ты знала, как мы мучились на Дин-стрит! Что это было за проклятое логово, совсем без света и воздуха! Порой я варила на обед одну только картошку без капли жира. Мы голодали, как самые бедные безработные в доках. К счастью, ты появилась, когда мы перебрались из Сохо на здоровую окраину Лондона, и хотя ты видала в детстве много черных дней, но была кругленькая и румяная, как яблочко.

— Жаль все же, что я не родилась мальчиком, чтобы утешить хоть немного Мавра в его потере.

— Что до шалостей, ты стоила десятка мальчуганов и была настоящим чертенком.

В этот день Ленхен, оставшись наедине с Тусси в своей комнате, пахнущей лечебными травами, которые она берегла на случай болезни, спросила, хитро улыбаясь:

— Теперь, когда ты уже взрослая, сознайся, этот русский парень был-таки предметом твоей первой любви? Мы с незабвенной Женни не раз шутили на этот счет.

Элеонора не пошевелилась и ответила после недолгого раздумья:

— Как тебе сказать... Я ведь росла неутомимой выдумщицей. Герман всколыхнул мое воображение. Я фантазировала и мечтала, как мы с ним будем вместе сражаться на баррикадах, как объездим весь мир, повсюду зажигая революционное пламя. Чего только я не думала о нем и о себе! Может быть, это и есть любовь. Когда он внезапно исчез, не предупредив никого, и уехал в Россию, я спряталась, чтобы скрыть от всех слезы.

— Скажу тебе по секрету, моя девочка, что Мавр и Женни желали, чтобы, когда ты подрастешь, Лопатин стал твоим мужем. Они привязались к нему, как к сыну, и верили, что он даровитый и смелый малый.

— А Герман, как оказалось, был уже в то время женат. Никто у нас этого не предполагал,— улыбнулась Тусси.

— Если бы удачно, а то ведь счастья в браке он не нашел.

— А каково счастье в наше время? — тихо произнесла девушка и поднялась. — Борьба — вот оно счастье, как говаривал Мавр. Я добавлю к этому: борьба и победа.

У лестницы, соединяющей этажи квартиры, расположенной, как это водится в Англии, не вширь, а вверх, Элеонору и Ленхен встретил Энгельс и позвал их к себе для разговора о памятнике на могиле Маркса. Мысль об этом не оставляла его. Сначала он хотел воздвигнуть мраморное изваяние друга в полный рост, затем начал склоняться к тому, чтобы увенчать могилу бюстом, сделанным по фотографии. Его тревожило лишь опасение, что камень не передаст духовный огонь гения. Где найти ваятеля, который поймет душу Маркса? Не каждому резцу дано воскресить неповторимый образ, сочетавший в себе одном величайшего мудреца, провидца, ученого, борца и вместе с тем просто человека, избравшего к тому же для себя удел обездоленных и бесправных. Холодной рукой, водимой расчетливым умом и равнодушным сердцем, нельзя высечь памятник человеку, заслуживающему бессмертия.

Элеонора и Ленхен воспротивились Энгельсу. Для них стала священной надгробная плита, которую Маркс сам выбрал для своей жены, зная, что она прикроет и его гроб. Теперь на ней были начертаны уже три имени: Женни Маркс, Карла и маленького Гарри Лонге, последовавшего за дедом в том же проклятом марте.

Кладбище Хайгейт, где погребен прах Маркса и его близких, предельно уплотнено. Гробы членов одной семьи нередко устанавливаются один поверх другого, покуда последний из них не упрется в каменный заслон надгробья. Среди однообразных, тесно соприкасающихся могильных гряд находится последнее пристанище Маркса. Оно уместилось меж бессчетных обреченных на забвение могил мелких лавочников, клерков, журналистской голытьбы, военных и штатских пенсионеров. Плоские плиты в одинаковом порядке сообщают имя, возраст, дату смерти, а иногда и последний адрес покойника.

Нередко кладбище Хайгейт посещали Энгельс с Ленхен и Тусси. На этот раз к ним присоединился и Герман Лопатин.

Немало перемен произошло во внешнем облике Лондона за последние несколько лет. Чище стали центральные улицы, отстроились нарядные жилые районы вокруг Хемпстеда и Примроз-хилл. Появился первый трамвай, объявленный чудом наступающего электрического века. Его с явным недоброжелательством и опаской встретили многочисленные столичные извозчики и владельцы омнибусов. Энгельс охотно толковал об этом со случайными собеседниками на улице. И сейчас, наняв громоздкий, неповоротливый кеб и усадив в него Ленхен, Элеонору и Германа, он завел разговор с возницей, едва видимым на облучке под грузной ливреей и высоченным цилиндром. Кучер, погоняя пегих лошадей, тотчас принялся сетовать на серьезного конкурента, бегающего покуда, правда, только по главным дорогам города.

— Машина машиной и останется,— начал он.— Ей, как коню, не прикажешь, где остановиться, а где прибавить ходу или свернуть по прихоти седока... А куда, спрашивается, спешить? Или костей не жалко? Трамвай немало людей перекалечит, он что поезд. Так ведь тот по полям несется. Я слыхал, что скоро по улицам поскачут машины наподобие карет, но не по рельсам. Я сожалею о своих внуках. Все это чертова мельница, видит бог. Ког-

да я был молодым — мне сейчас без году семьдесят,— на Бонд-стрит встречались только пешеходы и кареты да еще изредка телеги. Никто не суетился, разве что пьяные у трактиров. Мы, извозчики, дружили и охотно перекидывались друг с другом словечком с козел. Конкуренции не было. Всем хватало седоков. Да и заработки были хорошие. Лошади никогда нас не подводили. А господа ценили искусную езду, знали толк в лошадиной породе. Воздух в Лондоне был тогда не хуже, чем в Истборне. Бывало, прибавишь ходу, и женщины зарумянятся на ветру. Старики любили поспать на мягком сиденье, покачиваясь, будто в люльке. А каким событием для всех было появление резиновых шин. Колеса перестали громыхать и портить мостовые. Колокольчики, бывало, на лошадиных шеях бренчали и пели, как соборный орган. Счастливая старая Англия. Теперь ей приходит конец.

Извозчик смолк. Энгельс угостил его сигарой и сказал:

— Увы, сэр, нам, старым людям, часто кажется, что лучшее уже позади. А ведь оно-то впереди. Я сам страстный любитель лошадей и не знаю большего наслаждения, чем верховая езда. Уверен, что наши потомки согласятся со мной и будут неистово предаваться этому спорту. Я думаю, лошадь и собака никогда не исчезнут на земле, пока существует человек. Как далеко ни шагнут цивилизация и техника, люди будут с еще большим увлечением заниматься охотой, рыболовством, устраивать скачки с препятствиями, дружить с домашними животными. А трамвай... Да это детская игрушка по сравнению с теми великолепными машинами, которые скоро запрудят улицы, поднимутся в воздух.

— Об этом сказано уже в Библии,— мрачно возвестил возница.— Время близко, сему надлежит быть вскоре.

— Ба,— оживился Энгельс,— да он повторяет слова из Апокалипсиса. Примерно месяц назад я поместил в журнале «Прогресс» статью о Книге откровений, которую цитирует наш кебмен. Прелюбопытное, должен сказать, произведение некоего Иоанна, не претендующего даже на звание апостола. Что сей Иоанн еврей, я установил, прочитав текст в оригинале. Его откровения написаны на плохом греческом языке, изобилующем гебраизмами. В них полно грамматических ошибок. Этим они резко отличаются от других, тоже не вполне безупречных в смысле грамотности, книг Нового завета. Несомненно, что

Иоанн из так называемого Евангелия и автор Откровений тоже Иоанн, разные люди, а их часто смешивают.

— Вам следует, Герман, прочесть статью Генерала,— сказала Ленхен. — В детстве меня только и учили что закону божьему. Я часто слыхала, как отец читал Откровения. Мои родители считали их пророческими и утверждали, что конец мира приближается. И все, особенно дети, жили в постоянном страхе. Дома у нас поминали какого-то зверя, и дед вещал: «А зверь, которого ты видел, был и нет его, но он еще появится». Я боялась тем сильнее, что не понимала Откровений, их таинственных всадников на конях и «семь голов, которые суть семь гор, на которых сидит жена». Страшная сказка.

— Да, да,— продолжала Тусси.— Представьте, Герман, тревожащая многие поколения суеверных людей Книга откровений, в которых Иоанн называет каббалистическое число шестьсот шестнадцать или шестьсот шестьдесят шесть, отныне ясна каждому. Покров с тайны сорван.

— Это верно,— подтвердил Энгельс.— Секта христиан в начале нашей эры смертельно страшилась своего гонителя Нерона. Тацит сообщал в «Анналах», как после смерти Нерона распространился слух, что цезарь не погиб, и вернется, и наведет ужас на весь мир. Но тогда бог разрушит Рим, город зла, и закует антихриста на тысячу лет. Не правда ли интересно, что цифровое обозначение шестьсот шестнадцать или шестьсот шестьдесят шесть означает всего лишь имя Нерон. Цифры — своеобразный шифр. Но Откровения привлекли меня не только мистической и, в конце концов, наивной таинственностью. Автору их удалось дать достоверную, хотя и на первый взгляд трудно понимаемую картину своего времени, поры изначального христианства. Я думаю, эта книга значительнее для истории, нежели все остальные книги Нового завета, вместе взятые. Она написана, как я высчитал, в шестьдесят восьмом году или в январе шестьдесят девятого года нашей эры, не позже. Это единственное произведение из всего цикла Нового завета, дата создания которого теперь точно установлена. В первом веке в Риме существовало множество различных сект, вплоть до поборников «свободной любви». Любопытная особенность: в каждом революционном движении — а христианство было именно таким в дни своего возникновения и создавалось

народными массами — вопрос о «свободной любви» обязательно поднимается на поверхность. Для одних это желание сбросить традиционные узы, потерявшие смысл, для других удобное прикрытие всякого рода легких и кратких отношений между мужчиной и женщиной... Но вот и хайгейтский пригород. Я, кажется, успел прочесть вам лекцию.

— С Энгельсом не заметишь, как летит время, даже если пойдешь с ним пешком вокруг света,— отозвалась Ленхен.

Кеб, раскачиваясь, двигался по далеким от центра улицам. Низкие дома с палисадниками почернели от времени и угольного чада. Их строили в первой половине века, и они были современниками коричневых в крапинку сюртуков и редингнотов, клетчатых жилетов, мелко завитых бород и пышных бакенбард. Годы не меняли и обведенное железной оградой кладбище Хайгейт. У ворот стоял черный с посеревшими султанами на балдахине катафалк, запряженный четырьмя лошадьми под попонами с бахромой.

На таких же дрогах привозили сюда гробы Женни, Карла и маленького Гарри. Кладбищенский сторож учтиво поклонился Энгельсу и его спутникам как старым знакомым. Ленхен открыла у могилы привезенную с собой корзинку и достала ведерко. Элеонора принесла воды, и они тщательно обмыли плиту и затем покрыли ее привезенными с собой хризантемами. Все молчали. Лопатина подавил вид кладбища. Он, как большинство людей, гнал от себя мысль о смерти. Молодость и здоровье служили ему прочной гарантией долгой жизни. Тоскливо перечитывая надписи на каменном надгробье, он вдруг постиг не разумом, но сердцем, что Маркса нет, и ощутил колкую жалость к самому себе. Энгельс, стоявший рядом, выглядел спокойным и невозмутимым. Мысль о медленном разрушении тела под землей долгое время ужасала его, точно кощунство. Верный правилу не навязывать близким свои ощущения и, главное, не огорчать их, он молчал, но уже давно твердо решил, что его прах должен быть сожжен.

«Никаких фетишей, никакого поклонения тлену, распадающейся материи,— думал он.— Что может быть печальнее, чем забытая всеми могила, олицетворяющая смерть в памяти людской! А это неизбежно. Поколения

сменяют поколения, время все убивает, стирает даже воспоминания».

Любя, как и Маркс, изречение древних о том, что жаль не умерших, а живых, Энгельс старался всем, чем мог, утешить Элеонору, Лауру и Ленхен, но сам не допускал в себе мысли о вечной разлуке с другом. Нет, Маркс для Энгельса не умирал. Оттого чужой оставалась для него могила на Хайгейтском кладбище.

Цвет воды озера Леман, близ которого расположены Женева и Лозанна, в ясный безветренный день режуще ярок. Множество белых пароходиков и лодок — точно визитные карточки на сине-голубом эмалированном подносе. Дремотное довольство преисполняет всю Швейцарию.

Скромный дом, в котором жили Георгий Валентинович и его жена Розалия Марковна, прятался в небольшом ухоженном садике. В часы послеобеденного отдыха Плеханов обычно прогуливался по набережной, читая на ходу какую-нибудь книгу. Он одевался опрятно и весьма строго. Может быть, впечатление некоторой даже щеголеватости создавалось благодаря военной выправке и тому, что костюм его был отлично отутюжен, а ботинки и шляпа настолько чисты, что всегда казались новыми. Овальное лицо Плеханова отличалось редкой соразмерностью черт, вдумчивым и властным выражением больших продолговатых глаз. Тщательно подстриженная густая, но недлинная бородка, суживаясь, поднималась до самых висков. Прямые темно-русые волосы он откидывал назад и тщательно приглаживал волосок к волоску. Хороши были его широкий выпуклый лоб и безупречного рисунка уши.

В минуты раздражения и гнева Плеханов не знал удержу. Он был вспыльчив и не терпел возражений.

В 1883 году Георгию Валентиновичу исполнилось двадцать семь лет. Три последних года он провел в эмиграции, где напряженно и успешно работал.

Однажды к едва видимому за густыми каштанами дому подошла женщина лет тридцати, в клетчатом платье с кружевными оборками, узеньком спереди и пышном на талии сзади. Боа из розовых страусовых перьев в виде шарфа, так же как и юбка тюрнюр, только начинали входить в моду. Шляпка, напоминавшая индейскую пирогу,

была тоже вычурна, как и все на молодой посетительнице. Привратница загляделась на необычный наряд незнакомки, а узнав, что она из России, любезно пропустила ее в дом.

Анна Павловна Бах приходилась дальней родственницей Плеханову. Она приехала к нему прямо из Тамбовской губернии. Имение ее родителей находилось в Липецком уезде, неподалеку от села Гудаловки, где родился Георгий Валентинович.

— Вот кого не предполагал видеть в Швейцарии! — удивился Плеханов, привечая гостью.

С трудом стянув белые лайковые перчатки, Анна Павловна, стараясь не уколоть пальцев, вытащила длинные булавки, придерживавшие на взбитых локонах необычную шляпку. Затем она уселась в кресло и, подозрительно оглядываясь по сторонам, заговорила шепотом:

— Я привезла письма вашему обществу.

— Вижу, ты все еще под гнетом российского пресса,— улыбнулся Плеханов. — Говори громче.

— Ты прав, Жорж. Я в каждом встречном подозреваю филера. Никак не могу поверить, что жандармы и урядники здесь не властны, что их попросту нет. Последние годы страх непрерывно унижал меня. Постоянные казни, аресты... Гибель Софьи, Геси и других друзей не выходит из головы, давит.

— С семьдесят девятого года и мой арест был неминуем. Члены «Черного передела» заставили-таки меня покинуть Россию.

— Я слышала, как благодаря своей находчивости ты не был арестован на границе. Неужели правда, что ты внушительностью своего тона и поведения сумел заставить жандарма отнести свой чемодан в вагон?

— Да, было. А ты не пересмотрела ли своих взглядов? Народоволка?

— Для России есть только один путь — террор. Кравчинский прав. Бомба стоит всех теорий. Толпа, увы, пассивна.

— Заблуждение, стоившее жизни таким борцам, как Кибальчич, Желябов, и десяткам других. Горсточка храбрецов, обреченных на гибель. Нужна планомерная политическая борьба с развивающимся в России капитализмом. Кто же заинтересован в победе больше, нежели мастеровые? Читала ли ты «Коммунистический

манифест», написанный двумя великими немецкими теоретиками?

— Кажется, нет.

— Значит, не читала. Его нельзя забыть. Вот возьми. Я перевел его на русский язык и в прошлом году издал в Женеве. Однако я не спросил тебя, где ты остановилась.

— В отеле «Виктория». Но мои финансы не таковы, чтобы...

— У всех нас с деньгами хронически плохо. Но это поправимо, если работать и работать. Днями в Женеву вернутся Вера Ивановна Засулич и жена, и мы сообща поможем тебе. Ты не сказала главного: как удалось тебе сбросить гименеевы узы? Где сейчас почтеннейший господин Бах, преуспевающий буржуа, первой гильдии купец? Как он относится к побегу супруги, своей prima votto?[1]

— С этим покончено, надеюсь, навсегда.— Анна вздохнула.— Недавно я побывала в родных нам местах, повидала твою мать, исповедалась перед ней. Она меня поняла, благословила...

— Мать...— сказал Плеханов, и с его лица слетело выражение холодной невозмутимости.

Плеханов горячо любил мать, полагая, что лучшим в себе самом он обязан ей.

Отец Плеханова был, как говорили о нем крепостные, «борз на руку» и жестоко расправлялся с крестьянами за малейшую провинность. Рачительный хозяин, человек редкой трудоспособности, но весьма высокомерный, он отличался неуравновешенностью характера, внезапно впадал в хандру и прятался от людей, покуда не проходил приступ необъяснимой тоски. Очевидно, психика его была не вполне здоровой.

Мария Федоровна, мать Плеханова, приходившаяся родственницей Виссариону Белинскому, отличалась смелостью в поступках и суждениях. Ей, однако, пришлось довольствоваться неприметной долей жены мелкопоместного дворянина. Болезненная, незлобивая, она отдала всю свою душевную страстность сыну.

Жорж узнал от нее о мучениях крепостных, о Разине, Пугачеве и декабристах. Она была подлинным учителем революции для Жоржа. И когда двадцатилетний петербургский студент вступил в тайный кружок «бунтарей»,

---

[1] Первой законной *(лат.)*.

вскоре слившийся с боевой организацией «Земля и воля», мать его, догадываясь об этом, проводила сына, как на войну, стараясь укрепить его силы, ничем не выказывая тревоги. Вскоре Плеханов возглавил первую петербургскую политическую демонстрацию в 1876 году на площади у Казанского собора. Он вел за собой толпы рабочих. В произнесенной им жаркой речи молодой революционный вожак изобличал самодержавие и превозносил идеи ссыльного Чернышевского. После этого Плеханову, за которым охотилась полиция, пришлось перейти на нелегальное положение. Так он окунулся в огненную купель революции. Скрываясь от преследования, живя в подполье под чужими паспортами, Георгий Валентинович, однако, усердно посещал столичную публичную библиотеку, жадно поглощал книги.

В те годы он преклонялся перед Чернышевским и Белинским, Герценом и Добролюбовым и считал их своими учителями. Он быстро стал теоретиком народничества и, согласно своим взглядам, отправился «в народ». В поддевке и сапогах ходил молодой человек по российским селам и пытался учительствовать. Он надеялся поднять крестьян на восстание, верил, что социальную революцию могут совершить только наиболее многочисленные в России хлебопашцы, темные и нищие, недавно отпущенные на волю рабы, под руководством героических личностей, готовых на любой террористический акт и собственную гибель. Внимание Плеханова привлекали и рабочие. Он охотно выступал на их собраниях, толковал с ними, узнавал их быт, помогал устраивать стачки. Постепенно Плеханова начали одолевать сомнения.

«Нет, одному отсталому крестьянину не совершить революцию в России. Не бомба, а наука революционной борьбы нужна народу»,— думал он.

Плеханов в своих исканиях пришел к учению о научном коммунизме. Он давно уже изучил творения Гегеля и Фейербаха. Молодой революционер зачитывался «Манифестом Коммунистической партии» и, понимая его взрывную силу, переводил на русский язык.

В семидесятые годы Плеханов дважды подвергался арестам. Ему грозила жестокая кара, и в 1880 году он вынужден был покинуть родину. Прибыв за границу, он принялся за самостоятельную работу, попытался развивать далее теорию революционной борьбы. Недюжинный

ум и талант привлекли к Плеханову многих русских изгнанников.

Когда Анна Павловна прибыла в Женеву, ее родственник вместе со своими единомышленниками уже создал и руководил здесь марксистской группой «Освобождение труда».

Анна издавна дружила с Софьей Перовской и Гесей Гельфман, страстными воительницами «Народной воли». Одну из них повесили, казнь другой по беременности отсрочили. Геся Гельфман родила, чтобы тотчас же лишиться ребенка, которого у нее отобрали, и умерла от послеродовой горячки в тюремном каземате. Анна тщетно пыталась исхлопотать для своей подруги помилование. Добилась она лишь того, что вызвала серьезные подозрения в III Отделении. Какая связь могла быть между женой преуспевающего, богатого купца, дворянкой по рождению, матерью четырех детей, и отчаянной храбрости революционеркой, участницей покушения на царя? Анна, однако, тайно уже более пяти лет состояла членом партии «Народная воля». Она выполняла опасные поручения, распространяла листовки, прятала у себя деньги партийной кассы, которую умело пополняла. Дважды с другими единомышленниками ей удалось помочь бежать с этапа арестованным борцам.

У нее был природный дар конспиратора. Даже Иосиф Федорович Бах, с которым десять лет она состояла в браке, считал, что жена его крайне легкомысленна, склонна к мотовству, более всего занята своей внешностью. Частые отлучки Анны из дома он объяснял ее пристрастием заказывать новые наряды и устраивать благотворительные балы. В последнее время он стал ревнив и, случалось, безо всяких оснований обвинял Анну в чрезмерном желании нравиться мужчинам. Мысль о ее неверности начала преследовать его с той поры, когда он сам завел себе любовницу. Иосиф Федорович считал, что этим нисколько не ущемляет интересы семьи и поступает «как все». Под этим он понимал поведение столь же обеспеченных, независимых, двигающих торговлю, умеющих добывать деньги. Предки Баха переселились в Россию давно, при царе Алексее. Дед его, бакалейный торговец, менее всего заботился о генеалогическом древе своего скромного рода.

Свекор Анны разбогател на продаже сахара и чая. На огромных вывесках принадлежавших ему магазинов появилась надпись «Федор Бах и сын».

Анне пришлось выйти замуж, чтобы облегчить катастрофическое положение семьи — матери, шестерых малолетних сестер и двух братьев, когда ее отец застрелился ввиду полного разорения. Помощи ждать было не от кого, а Иосиф Федорович Бах, окончивший юридический факультет, весьма учтивый и предупредительный, казался преданным и влюбленным и не только не перестал посещать семью банкрота, но еще настойчивее домогался согласия Анны на брак.

Чувство благодарности у людей, способных испытывать его, схоже с любовью. Анне казалось, что она счастлива. Долгое время она попросту не знала своего мужа. Его умение молчать она принимала за глубину и скрытность, его тупое упорство казалось ей незаурядной волей. Богатство и власть над людьми придают самым ничтожным людям видимость значительности. Они, как дорогостоящий костюм, прикрывают подчас уродство. Иосиф Федорович привык с детства к властному обращению с множеством зависящих от него приказчиков и служащих. В жизни он твердо придерживался одного правила: быть как все люди его среды.

Через шесть лет после брака Анна наконец поняла своего мужа и отвернулась от него, скрыв негодование. Он был отцом четырех ее детей.

В доме Перовского, видного государственного чиновника, Анна познакомилась с его сестрой Софьей. Строгая девушка, державшаяся обособленно от окружающего общества, чем-то неуловимым поразила Анну, и она, как сама говорила, «напросилась» к ней в дружбу. Через месяц после этой встречи Перовская доверила госпоже Бах баул со «взрывной, подземной» литературой. Анна с честью прошла испытание на доверие и бесстрашие. В кожаных переплетах романов Сю и Золя Анна берегла призывные сочинения Чернышевского, Герцена и других властителей дум ее поколения. Анна считала, что Россия — страна крестьянская, особенная, и только «Народная воля» приведет ее к полному социальному переустройству.

Жена первой гильдии купца Баха с единомышленниками тайно готовила взрыв 1 марта, но оказалась столь

умело законспирированной, что имя ее ни разу не появлялось в досье жандармов. Однако ходатайство за Гельфман и другие косвенные улики едва не вызвали ее ареста.

Петербургский полицмейстер, встретившись с Бахом, отвел его в сторону и сообщил об этом. Иосиф Федорович остолбенел было, а затем вдруг шумно рассмеялся.

— Я серьезно обеспокоен состоянием здоровья вашего превосходительства,— сказал он.— Моя жена связана с террористами? Ха-ха-ха! Да она за всю свою жизнь не читала в газетах ничего, кроме объявлений парфюмерных и галантерейных лавок. Я был бы оскорблен вашим заявлением, если бы не знал, как часто жандармерия проявляет пагубную близорукость, зато подозревает тех, кто является опорой престола. Гибель нашего царя-освободителя тому подтверждение. Что и говорить! Взять под сомнение мать семейства, недавно подарившую мне сына,— это, право, не делает чести вашим подчиненным.

Бах долго не мог успокоиться, но жене не сказал ни слова, только установил за ней неусыпный надзор внутри дома. Анна быстро обнаружила двух шпиков — горничную и швейцара, которые ходили за ней по пятам. Впервые между мужем и женой произошла унизительная ссора. После многих лет совместной жизни оба ощутили, как далеки они друг от друга.

— У нас дети, и мы считались согласной, любящей парой, а на деле оказываемся совсем чужими, более того, враждебными людьми. И ведь мы не одни такие. Ложь, ненависть вместо любви. Как же так?

— Ошибка, инерция,— злобно отозвался Иосиф Федорович и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Однако прошло еще несколько лет, холодных, изнуряющих, потерянных, прежде чем Анна решилась оставить детей на попечение сестры, попросила у мужа письменного согласия на развод и уехала тайком из дома. Она оказалась в Швейцарии, стране, подобно Англии, приютившей многих иноземцев в трудную для них пору.

Плеханов, выслушав исповедь своей родственницы, принял участие в ее судьбе и познакомил Анну с Верой Засулич, которую назвал при этом одной из самых упорных и знающих марксисток.

— А характер у нее, добавлю к этому, кипяток,— сказал Георгий Валентинович, щуря в улыбке глаза.

Старость надвигалась неотвратимо, подобная сумеркам. От нее некуда было скрыться. Она сопровождала портного Лесснера повсюду, как тень.

«Что это,— думал портной, все чаще ощущая боль в суставах и мышцах, гневаясь на ослабевшие глаза,— только ли старость? Долгая жизнь утомляет наше тело, но не душу. Отдать все людям и рассыпаться, как потухшая звезда. Вот она, старость».

С того мрачного, слякотного дня, когда умер Карл Маркс, Лесснер впервые почувствовал себя одряхлевшим. Сначала его подавляла мысль, что жизнь идет так же безостановочно, хотя лучшего из людей больше нет на земле. Стиснув крепкие челюсти, Лесснер думал о смерти и бессмертии, о законах обновления всего живущего, то ожесточаясь, то, наоборот, смягчаясь сердцем. Фридрих Лесснер был борцом за идею. В этом для него заключался смысл бытия. Когда-то, прочитав книги утопистов, он вообразил, что коммунизм на пороге и он обязательно будет жить при этом общественном строе.

Сейчас, вспоминая свою юность и увлечение книгой Вейтлинга «Гарантия гармонии и свободы», он добродушно улыбался. Нет, видно, ему не достичь цели. Однако он ни о чем не жалел. Все было правильно. Иной доли он для себя не хотел.

Борьба не всегда обещает скорую победу, но воин снова и снова бросается в атаку, вовсе не будучи уверенным, что войдет в землю обетованную.

Жизнь не баловала Лесснера. Отца он потерял в младенчестве, а суровый, придирчивый отчим попрекал его каждой ложкой похлебки. Школу он посещал недолго и то урывками. В памяти осталось весьма немногое из того, чему его обучали, помнил он еще тощего учителя по естественной истории, налетавшего на новичков с одним и тем же вопросом:

— Почему всемогущий бог заставляет день сменяться ночью лишь постепенно, а не сразу?

Не дожидаясь ответа, ученый муж изрекал, весьма гордясь собственным научным открытием:

— Для того, олух, чтобы люди не ослепли.

Скитаясь по Европе в поисках работы, Лесснер хорошо узнал нищенские окраины многих промышленных городов и их обитателей и напряженно искал объяснения несчастий большинства человечества.

Сомнения научили его критически думать. Двадцати двух лет Лесснер сказал себе: «Мир мог бы быть устроен иначе. Я всегда был недоволен своей судьбой, да и какой рабочий доволен ею! Мысль привела меня к бунту. Я как будто переродился. Низменные удовольствия, которыми я заполнял мой небольшой досуг, осточертели мне, я их устыдился. Единственное чувство, которое мной движет,— это желание борьбы».

Он нетерпеливо ждал революции.

— Первая вспышка коммунистической мысли ослепила меня,— признавался Лесснер.

В 1848 году, вместо того чтобы отбывать военную службу, Лесснер отправился в Англию. Его приезд на остров совпал с бурными днями «Манифеста Коммунистической партии».

Он был одним из первых его читателей, так как получал в типографии и передавал оттиски этого документа своему единомышленнику, тоже немцу, Карлу Шапперу, человеку атлетического сложения и крайне неспокойной, чувствительной души.

— В этой маленькой книжечке больше логики и фактов, чем в тысячах толстых томов мировой истории,— заключил Лесснер.

Тогда же он увидел обоих авторов «Манифеста Коммунистической партии». Судьбы создателей науки о коммунизме и рядового борца отныне сплелись навсегда. Одновременно вошли они в Союз коммунистов, участвовали в революции 1848 года, отправились затем в изгнание, создавали Международное Товарищество Рабочих, отстаивали Парижскую коммуну. Лесснер часто сопровождал Маркса в его прогулках по лондонским пригородам. Он гордился доверием вождя Интернационала и поверял ему свои заботы, делился раздумьями.

На кладбище Хайгейт он последним склонился над могучим, окруженным нимбом снежно-белых волос лбом мертвого мудреца-вождя и поцеловал его. Никогда до этих дней портной не испытывал столь тягостного отчаяния. В полную меру ощутил он свое бессилие и проклял его. Смерть дорогого человека всегда умерщвляет и частичку сердца оставшихся в живых.

Коренастый, физически и душевно сильный, большелобый, суровый, похожий на героев «Песни о Нибелунгах», Лесснер выглядел моложе своих лет. Но теперь он

их остро чувствовал, с горечью подсчитывая потери. Его сверстники, члены Союза коммунистов, в большинстве своем уже не существовали. Их уход казался ему доказательством собственной старости. Какие это были люди! Стоило жить, чтобы их встретить, узнать и назвать друзьями. Молль, Шаппер, Вейдемейер, Вольф, Шрамм. Они на миг осветили землю, пронесясь стремительно и бурно по жизни. Но среди миллионов навсегда пропавших имен они останутся в памяти грядущих поколений. Истинно доброе вечно. Все эти люди посвятили свои короткие жизни работе для народа, борьбе за его счастье.

После кончины Карла Маркса еще дороже, нужнее стал для Лесснера Фридрих Энгельс. Они часто встречались и вместе обсуждали все, что волновало рабочих и революционеров в мире.

Скопив немного денег, Фридрих Лесснер решил истратить их на путешествие в Германию. Он много лет не был на родине и ехал, скрываясь под чужим паспортом. Но возможность увидеть места, где прошла его молодость, побывать в Кёльне, священном для него по боевым воспоминаниям, всколыхнула портного. Давно не испытываемое нетерпение гнало его прочь из Англии. Он словно скинул в пути десяток лет.

«Что такое родина? — думал Лесснер, прохаживаясь по палубе пароходика, везущего его из Дувра.— Вроде бы люди сами придумали это понятие, кочевали сначала, потом осели, возвели границы, пошли друг на друга войной за них. Родина... Недолго же мы гостим на земле, а затем исчезаем навсегда, превращаясь в пыль! Не все ли равно, где проваландаться шестьдесят — восемьдесят лет? Так вот нет же, превыше всего привязываемся мы к месту, где сделали свои первые шаги в жизни. Рос я почти сиротой, а меня неудержимо тянет в Тюрингию, погреться на солнце подле родимого порога. Может, дома того уже нет и в помине. Ну что ж! Хочется послушать немецкий говор и попробовать пусть хоть прогорклого, но веймарского пива в родном местечке Бланкенгайн».

Свою Германию старый портной не узнал, столь резко изменилась она после франко-прусской войны. На тысячи километров пролегли железные дороги. Города кичились новыми, большими домами и великолепием шумных вокзалов. Над страной будто пролился золотой дождь, обогативший капиталистов и спекулянтов. Их роскошные

дворцы, тяжелые выезды, их женщины, вычурно, ослепительно одетые, сами они, надменные, нагловатые, заполнили Берлин. Быстро нагоняя упущенное время, поднималась крупная промышленность. Металлургические заводы в изобилующих каменным углем и железными рудами областях создавались в соответствии с новейшими достижениями технической науки.

В 1881 году появилась первая трамвайная линия, соединявшая Берлин с Лихтенфельдом. Электрический мотор настойчиво вытеснял паровую машину. Особенно неожиданным было для Лесснера яркое освещение, которое в больших городах заменяло керосиновую лампу и газовый фонарь. Новые фабрики и заводы потребовали рабочих. Их стало во много раз больше. На одном заводе Круппа насчитывались десятки тысяч пролетариев.

Почти неизменным оставался только быт трудового люда. Рабочий день длился не менее двенадцати часов, оплата труда оставалась ниже, чем в Англии и Франции.

В родном селе старый коммунист убедился, что, несмотря на бурное развитие промышленности, в сельском хозяйстве перемен почти не было. Так же маялся крестьянин, зависимый от воли помещика. Рядом с огромными имениями ютились деревушки. В стране насчитывалось более трех миллионов карликовых хозяйств. Германия как была, так и осталась государством крупного юнкерского землевладения.

Все еще действовал принятый в 1878 году, предложенный Бисмарком, исключительный закон, согласно которому власти получили право объявлять временное осадное положение всюду, где народ негодовал, и высылать без суда и следствия лиц, заподозренных в симпатиях к социалистам. Однако не запрещалось выставлять и избирать кандидатов от социалистов и рабочих на выборах в рейхстаг. Благодаря этому были избраны Август Бебель и Вильгельм Либкнехт — ученики и соратники Маркса и Энгельса. Годы, когда действовал исключительный закон, революционизировали немецких пролетариев, закалили их, научили бороться и тайно, и в открытом бою. Правительство вынуждено было отступать перед грозной силой народа и соглашаться на некоторые уступки.

— Если бы у нас не было социал-демократии,— признал «железный канцлер» Бисмарк,— и если бы многие не страшились ее, мы не могли бы похвалиться и теми

умеренными успехами в социальных реформах, которых мы теперь достигли.

Фридрих Лесснер превыше всего интересовался своими единомышленниками, рабочими.

— Вся сила на земле не в машинах, не в громадах каменных, а в людях,— любил он повторять.

Лесснер поселился у дальнего родственника, в прошлом владельца маленькой кустарной мастерской, разорившегося до основания и вынужденного пойти на новую фабрику анилиновых красок. Несмотря на многие беды, обрушившиеся на него в жизни, Мартин Клейн оставался неунывающим балагуром, убежденным, что все на свете складывается для него наилучшим образом.

— Ты подумай сам,— убеждал он Лесснера, когда они выпили по третьей кружке бурого пива,— насколько мне живется легче с тех пор, как я развязался со своим предприятием! Я ведь все время был банкротом. Теперь пусть хозяин беспокоится, чтобы не прогореть. Правда, заработок мой не может прокормить даже нас со старухой, но дети уже сами добывают пропитание. Я скажу тебе, что в наше время надо иметь зубы, а я, как видишь, сохранил всего только два, и те качаются.

Мартин растянул толстые губы и показал Фридриху мокрый темный рот, в котором торчали два похожих на гвозди клыка.

— Мой хозяин, фабрикант, набил полную пасть чистым золотом. Когда пробует улыбаться, она светится, как электрическая лампа. Нет, ты подумай, до чего дошло! Тридцать два золотых зуба — это ведь состояние. Что же едят такими штуками? Наверное, только заморских птиц, знаешь, тех, чьи перья украшают шляпу королевы прусской! Вот что получается из пота рабочего — чистейший желтый металл. И все-таки я тебе скажу по секрету: прочитав кое-что у Маркса, я понял, что мы, беззубые, проглотим-таки их, золотозубых. А? Ха-ха-ха!

В Дрездене Лесснер повидался с Августом Бебелем. Они познакомились несколько лет назад в Англии. Сорокатрехлетний руководитель Германской социал-демократической партии, жестоко преследуемый Бисмарком, член рейхстага, истый пролетарий, человек огромных знаний, отличный оратор и практик революционной борьбы, внушал уважение даже лютым своим врагам. Он вступил в пору расцвета своих сил.

«Вот она, рабочая косточка, токарь!» — с гордостью подумал Лесснер и крепко несколько раз встряхнул твердую, уверенную руку Бебеля, который нетерпеливо спрашивал:

— Как наш Генерал, часто ли ты бываешь у него, старина? После смерти Мавра я было попросил его переселиться к нам поближе, в Германию либо в Швейцарию, да он наотрез отказался и написал, что не поедет ни в какую страну, откуда его могут выслать. Этого, по его мнению, можно избежать только в Англии. Он взял на себя доработку оставшихся после Маркса трудов. Так и должно быть. Кроме него, никто не может подняться на такую высоту. Только второму из двух колоссов это под силу.

— Лишь бы он все выдюжил! Ведь не молод и один теперь за двоих,— ответил Лесснер.— Но то, что другого согнет в дугу, ему нипочем. А уезжать из Англии Генералу ни к чему. Даже находясь на этом острове, в этом спокойном убежище, где никто не мешает его работе, он тратит много времени на газетную полемику и политические дела. Он должен заниматься прежде всего теоретическими вопросами, а то ведь есть еще и среди социал-демократов люди, которые за скалами не видят океана. Фридрих не утратил ясности взгляда, сейчас он больше всего времени отдает второму тому «Капитала» и обещает скоро взяться за третий. Отвечать на письма во все концы света ему приходится одному. Раньше они с Мавром делили эту обязанность. Нельзя же теперь разорвать нити, связывающие коммунистов в разных странах! Они постепенно становятся крепче корабельного каната. Наш Энгельс всегда повторяет: «Теперь для нас всех важно строгое разделение труда, а если загремит труба, как в тысяча восемьсот сорок восьмом году, я снова сяду на коня». Он прав.

— Хотелось бы мне побывать в Лондоне, повидаться с Фридрихом и поклониться могиле Маркса... Кстати, члены немецкой социал-демократической партии очень желали поставить памятник Марксу, но семья решительно воспротивилась. Вот письмо об этом от Энгельса из Лондона. Писано после твоего отъезда оттуда.

Лесснер узнал хорошо знакомый ему почерк. Впервые он увидел его в дни, когда в типографии набирался «Коммунистический манифест», более тридцати пяти лет на-

зад. Леснеру нравились эти буквы, разборчивые, прямые, как будто устремленные вперед. Они соответствовали характеру Энгельса, щедрому, энергичному, открытому, честному и красивому в каждом проявлении.

— А как твои дела? Бисмарк, чувствуется, год от году становится все бóльшим реакционером. Он толст, как пивной бочонок, и зол, как бык.

— Что тебе сказать? Ты ведь знаешь, что я оказался выбранным в парламент, когда был еще неопытным в политике щенком, двадцати семи лет от роду. Пришлось учиться всему от «а» до «я» у Маркса и Энгельса. Сколько случалось мне плутать, но выбирался кое-как из чащобы с помощью опытных бойцов! По правде сказать, Леснер, я рад был бы не сидеть более в рейхстаге. Наша агитационная деятельность, в особенности парламентская, в нынешних условиях не стоит тех сил и времени, которые тратятся. Я хотел бы написать книгу, и не одну. Но Энгельс неумолим. Он настаивает, чтобы я занимал этот свой пост. Значит, придется подчиниться и ждать новых выборов в Гамбурге. Генерал согласен со мной, что парламентская сутолока, часто бесплодная, приедается, но он шутит, что это похоже на рекламу и коммивояжерство,— успех приходит не скоро, а иной раз его и не жди совсем. Однако любое дело надо довести до конца, иначе пропадет впустую весь затраченный труд. При исключительном законе, действующем в Германии, надо пользоваться единственной открытой форточкой. Так-то, друг.

— Успеха тебе, Август. Ты первый рабочий-социалист, избранный в парламент. Представляю, как здорово тузите ты и Либкнехт самого Бисмарка во время прений. Достается и другим заправилам: им, пожалуй, труднее справиться с такими борцами, как ты и наша партия, нежели с французами во время войны. Хотел бы я посмотреть одним глазом, как бесятся эти князья, бароны и денежные тузы. Привыкли, что перед ними гнут спину, лизоблюдствуют. Ан не тут-то было! Язык у марксистов колючий. Взять тебя, ты в университетах не обучался, а таких учителей имел, какие Бисмарку оказались не по зубам. Я-то помню, как он к Марксу сватов засылал, звал в сотрудники, кафедру в Пруссии сулил.

Леснер познакомился со многими молодыми социалистами. Но особенно пришелся ему по душе Юлиус Моттелер, «красный почтмейстер».

Это был проницательнейший, деловой человек с наружностью, весьма пригодной для конспиратора. Упитанный, розовощекий весельчак как бы с заспанным лицом, он менее всего походил на многоопытного и бесстрашного партийного организатора, который, переняв дерзкую сметку и ловкость контрабандистов, рискуя жизнью, с помощью таких же отчаянно храбрых и преданных революции людей переправлял из Цюриха в Германию запрещенный и преследуемый печатный орган «Социал-демократ».

На типографию и контору газеты была брошена густая сеть шпионажа. Агенты кайзеровской Германии под разной личиной пытались втереться в доверие к работникам редакции. В Швейцарии немецкая полиция не могла открыто преследовать социалистов, но она пыталась любой ценой, с помощью предателей, провокаторов помешать транспортировке боевой газеты на родину. Полицейские агенты контролировали швейцарско-немецкую и швейцарско-французскую границу, подкарауливали почтарей, отправляемых хитроумным Моттелером с запрещенным грузом. Трудно было оставаться незамеченным во время погрузки тюков с газетами в Цюрихе. Чтобы видеть, нет ли засады вблизи от конторы, бдительный почтмейстер поселился в квартире на втором этаже, откуда мог обозревать всю малозастроенную местность. Его склад находился на огромном пустыре.

До 1882 года помощницей Моттелера была совсем молодая девушка Клара. Юлиус Моттелер сожалел об ее отъезде из Цюриха в Париж, где она вышла замуж за эмигранта из России, видного революционера Осипа Цеткина.

— Мне говорили товарищи, что эта Клара — порох и в придачу умна и образованна? — спросил Лесснер «красного почтмейстера».

— Девушка — сущий клад. Ей можно доверить самый опасный груз. Шпиков она чует за версту и околпачивает их, как никто другой. Никакой работой не брезгует, контору ли убрать, корреспонденцию укладывать или, переодевшись, идти на границу — ей все нипочем. То прикинется чопорной барышней, то развеселой крестьянкой, то придурковатой монахиней, но почту доставит в неприкосновенности. Ни разу не попалась, а ее предшественник, сапожник, отчаянный парень, угодил-таки полиции в ла-

пы, хорошо еще, что не застрелили. Бедняга по сей день в тюрьме.

— Да, в вашем деле человек проверяется быстро. Тут одной преданности партии мало,— согласился Лесснер,— нужны, как я понимаю, чертова находчивость, осмотрительность и смелость. Не у всякого мужчины найдешь все это...

— Ты прав, старина, переправлять контрабандой социалистическую газету — то же, что возить оружие. Ничего не стоит поплатиться жизнью. Каждый раз, когда мои помощники уходят за границу, они могут получить в лоб пулю полицейского или таможенника.

— Хорошая закалка для борца, что и говорить.

— У Клары на этот счет свой девиз — стихи Шиллера:

> Ставь жизнь свою на кон в игре боевой
> И жизнь сохранишь ты, и выигрыш — твой!

— Молодец девушка! — восхитился портной.— Появилась, значит, и у нас своя Луиза Мишель. Жаль, я не могу ее увидеть.

— Успеешь, такие, как она, не затеряются.

По приглашению Моттелера старый коммунист побывал в Цюрихе в «Клубе мавров», как в честь Маркса назвали свои собрания немецкие социал-демократы в этом городе.

— «Клуб мавров»?— с приятным удивлением спросил «красного почтмейстера» Лесснер. — Доныне не слыхивал о таком. Вот посмеялся бы Мавр, если бы узнал о вашей затее!

— А ведь он, может, и слыхал об этом. Клуб существует уже несколько лет и очень полюбился нам и нашим семьям. Есть где душу отвести, повеселиться, поспорить. В наших квартиренках не разгуляешься, тесновато. Вот мы и арендуем помещение, не бог весть какое, но места хватает, чтобы поплясать, поиграть в шахматы, послушать лекцию, отпраздновать чей-либо юбилей или рождение ребенка. В общем, сам все увидишь. Сегодня мы устраиваем вечеринку в твою честь. Все «мавры» всполошились, узнав, что ты близко знал самого Маркса.

В семь часов Лесснер вошел в «Клуб мавров» — большой зал, убранный, как гостиная зажиточного лавочника середины века. На стенах висели картины, прославляю-

щие молочный скот и отели Швейцарии, круглые часы в резной оправе громко отбивали время, пузатые горки темного дерева с бронзовыми инкрустациями были наполнены фарфоровыми сервизами. Длинные жесткие диваны и множество лиловых гардин с золотыми шнурами на окнах, дверях, нишах вызывали почтительное восхищение живущих более чем скудно социалистов.

Лесснера встретили загримированные молодые люди. Они надели черные парики, приклеили бороды, зачернили лица и укутались в бурнусы — под мавров. Куплеты песни, которую они громко распевали, заканчивались припевом:

Мудрый мавр, славный мавр!

Лесснера закружили, затем принялись здороваться с ним на восточный манер, прикладывая руку ко лбу и сердцу. Старика весь этот неожиданный маскарад развеселил.

— Мы слыхали,— сказал ему помощник Моттелера,— что Карл Маркс был веселый человек и любил шутки.

— Еще бы! — ответил Лесснер.— Мавр часто говорил, что работа, если она не чередуется с игрой, притупляет мозги.

— Вот это правильно! После напряженных дней и ночей как хорошо бывает поразвлечься в кругу друзей, отдохнуть и набраться сил!

Жена Моттелера, уроженка Бадена, светящаяся добротой и стыдящаяся этого, как слабости, и несколько других женщин раскладывали на больших тарелках соблазнительные закуски, пухлые сосиски, покуда на спиртовках кипятился кофе. Бутылки с вином и закрытые наглухо кувшины с пивом свидетельствовали, что «мавры» не давали обета суровой трезвости. Лесснера усадили в центре стола, и трапеза началась. Разговор коснулся и положения в Германии, и Бисмарка, которого Энгельс иногда сравнивал в ту пору с Наполеоном III.

— Скоро ли избирателям опротивеет добровольное ярмо, под которое они подставили свои шеи? — спросил кто-то.

— Да,— сказал Моттелер,— дураку и то уже ясно, что полная победа канцлера принесла всем одни дурные последствия и в политической и в нравственной жизни.

— С чего этот железный барон везде изображает из

себя чуть ли не полководца? Что-то никогда я не слыхала о его военной доблести,— заключила жена Моттелера.

— Как же,— вмешался Лесснер,— германский император объявил его героем за исключительный закон против социалистов. Он сказал, что канцлер схватил быка за рога.

— «И родина благословит вас за это» — так сказал ему Вильгельм Первый. Черт помогает Бисмарку.

— Э, сколько их уже было, деспотов и тиранов,— отозвался Лесснер.— Толстых и тощих, рослых и маленьких правителей, умевших измором и коварством брать крепости, томить и губить людей! А издохнут — и что? Бисмарк властолюбив, расчетлив, груб, хитер и умен, изворотлив, но непреклонен только в одном: в ненависти к демократии. И все-таки все будет не так, как он хочет. Ветер в Германии повернул против реакции и набирает силу. Близится ураган.

— За сильный ветер! — крикнули «мавры».

— За ту страну,— возгласил кто-то,— где зарождаются революционные ветры, пусть пронесутся они по всему миру!

— Мчитесь, свежие ветры!

После ужина Лесснера забросали вопросами об Энгельсе. Легко говорить о человеке, которого искренне чтишь и любишь, и Лесснер с наслаждением поверял окружавшим его новым друзьям то, что знал или недавно слыхал из уст Генерала.

— Нечего сомневаться. Партия наша стремительно завоевывает сердца народа, обретает твердую почву под ногами вопреки преследованиям. А немецкая полиция? Свистуны! Их уже не только не страшится рабочий, но и высмеивает по заслугам. Энгельс находит, что среди так называемых рабочих вождей немало гнилья, но в массы он верит безусловно. Да и вообще, по его словам, народ лучше тех, кто им управляет. Таковы уроки истории. Опыт приобретается ежечасно в борьбе, и немецкий пролетариат за очень короткий срок научился совместно действовать и дружно шагать в ногу. Поэтому следует спокойно ожидать часа, когда затрубят сбор.

До полуночи старый боец рассказывал о Марксе, о революции 1848 года, об Интернационале.

С горечью покидая Германию, где он пробыл, не имея на то прав, не смея назваться своим именем, Лесснер

снова думал о родине: «У каждого есть своя неповторимая земля. Быть может, прах умерших предков, удобрив ее, притягивает нас? Может, память, доставшаяся нам от исчезнувших поколений, тревожит душу воспоминаниями? Или счастье знакомства с солнцем и звездами незабываемо? Может, и первое слово, и мысль, зазвучавшие на родном языке, приковывают к отчизне? И любишь ее, пусть подчас не мать, а равнодушную мачеху... И если живут на ней такие люди, как Бебель, Либкнехт, Клара Цеткин и многие другие, то еще роднее она, моя Германия!..»

Вера Ивановна Засулич была до крайности застенчива и скромна. Глядя на темноволосую строгую хрупкую женщину, трудно было представить себе, как настойчива в каждом поступке, отважна до безумства, сострадательна к людям была эта революционерка с незаурядным умом и склонностью к теоретическим исканиям и обобщениям.

Много на Руси было душевно прекрасных женщин, самоотверженных и готовых на подвижничество. Их великая доброта распространялась на весь русский угнетенный народ. Зачастую они оставляли дворянские усадьбы, отрекались от своей среды и шли поднимать народ — против гнета и кривды.

Анна Бах и Вера Засулич поселились вместе. Хотя раньше они не знали друг друга, их роднили и схожесть детских воспоминаний, и пути в борьбе, и, главное, одни и те же друзья. Вера Ивановна порвала к этому времени с «Народной волей» и стала убежденной последовательницей Маркса и Энгельса. Анна Павловна все еще оставалась правоверной народоволкой, но это их не ссорило. Засулич была природным пропагандистом и верила, что способна приобщить к научному социализму всякого.

Вера родилась в 1849 году в небогатой дворянской семье. Отец ее, отставной капитан, горький пьяница, умер, когда ей было всего три года, оставив вдову с пятью малолетними детьми в крайней бедности. Родственники побогаче приютили Веру и ее сестер и затем отдали учиться в женский пансион. Окончив его, девушка предпочла наняться письмоводительницей к мировому судье, чем пойти в гувернантки, что ей прочили с детства. В пансионе Засулич познакомилась с молодежью, близкой

к революционному движению. Вскоре она и сама вступила в кружок, члены которого открыли школу для неграмотных, переплетную и швейную мастерские на артельных началах. Вера Засулич, как и все ее поколение революционеров, зачитывалась Чернышевским и Герценом. Она стала народницей.

В 1878 году раздался выстрел Веры Засулич в Трепова — петербургского градоначальника.

Генерал-лейтенант Трепов, посетив дом предварительного заключения, увидел нескольких арестантов и среди них студента Боголюбова, настоящая фамилия которого была Емельянов. Узники совершали прогулку по тюремному двору. Боголюбов не снял фуражки перед градоначальником, и Трепов ударом кулака сбил ее с его головы и затем приказал увести студента в карцер. Это распоряжение вызвало шумный протест во всех камерах. Тогда Трепов распорядился высечь Боголюбова розгами. В тот же день с ведома министра юстиции экзекуция совершилась в коридоре тюрьмы. Боголюбов, не выдержав порки, сошел с ума.

В январский день в приемную известного своей утонченной жестокостью сановника вошла девушка в шубке и серой меховой шапочке. Дождавшись появления Трепова, она вынула из муфты пистолет и, четко выговорив: «Это за Боголюбова!» — в упор выстрелила в него.

— Как ты смогла это сделать? Жутко, трудно? — выспрашивала Анна.

Вера Ивановна протянула свой дневник:

— Читай.

...Сейчас самой дико. Бессмысленная затея. А тогда мне казалось, что иду на великое дело. Я была спокойна: со свободой я в мыслях давно покончила — была уже не жизнь, а какое-то переходное состояние, с которым хотелось скорее покончить.

...Заранее представляла себе завтрашнее утро: этот час у градоначальника, когда он вдруг приблизится там вплотную... В удаче я была уверена,— все пройдет без малейшей зацепинки, совсем не трудно и ничуть не страшно... Не испытывала ничего, кроме усталости, даже спать хотелось. Но как только я заснула, начался

кошмар. Мне казалось, что я лежу на спине и вдруг чувствую, что схожу с ума, и выражается это в том, что меня неодолимо тянет встать, выйти в коридор и там кричать. Я знаю, что это безумно, изо всех сил себя удерживаю и все-таки иду в коридор и кричу, кричу. Просыпаюсь. Опять засыпаю, и опять тот же сон: против воли выхожу и кричу: знаю, что это безумие, и все-таки кричу, и так несколько раз...

Пора вставать — часов у нас нет, но начинает сереть, и у хозяйки что-то стукнуло. К Трепову надо поспеть к девяти — до начала приема, чтобы естественным образом спросить у дежурного офицера, принимает ли генерал Трепов, и если окажется, что принимает помощник, незаметно уйти.

Пальто и шляпу надеваю старые и, уже одевшись, выхожу из комнаты; новая тальма и шляпа уложены в саквояж. Это нужно, потому что хозяйка непременно пожелает проститься. Она думает, что я уезжаю из Питера, я избаловала ее разговорами — будет хвалить тальму, советовать не надевать в дорогу. А завтра эта тальма будет во всех газетах и наведет ее на мысли. Было же мне время все обдумать до мельчайших подробностей.

На улице рассвело. Я переодеваюсь и еду. Холодно, мрачно выглядят улицы.

У градоначальника уже собралось около десятка посетителей.

— Градоначальник принимает?

— Принимает: сейчас выйдет!

Кто-то будто нарочно для меня переспрашивает: «Сам принимает?» Ответ утвердительный.

Какая-то женщина, плохо одетая, с заплаканными глазами, подсаживается ко мне и просит взглянуть на ее прошение: так ли там написано? В прошении какая-то несообразность. Я советую ей показать прошение офицеру, так как видела, что он уже чье-то просматривал. Она боится, просит, чтобы я показала. Я подхожу с ней к офицеру и обращаю его внимание на посетительницу. Голос обыкновенный,— ни в чем не проявляется волнение. Я довольна. Кошмарной тяжести, давившей меня со вчерашнего вечера, нет и следа. Ничего на душе, кроме заботы, чтобы все сошло как задумано.

Адъютант повел нас в следующую комнату, меня первую, и поставил с краю, а в это же время из других

дверей вышел Трепов с целой свитой военных, и все направились ко мне.

— О чем прошение?

— О выдаче свидетельства о поведении.

Черкнул что-то карандашом и обратился к соседке.

Револьвер уже в руке, нажала собачку... Осечка.

Екнуло сердце, выстрел...

«Теперь должны броситься бить»,— значилось в моей столько раз пережитой картине будущего.

Но произошла пауза. Она, вероятно, длилась всего несколько секунд, но я ее почувствовала.

Револьвер я бросила — это тоже было решено заранее, иначе в свалке он мог сам собой выстрелить. Стояла и ждала.

«На преступницу напал столбняк»,— писали потом в газетах.

Вдруг все задвигалось: просители разбегались, чины полиции бросились ко мне, схватили с двух сторон.

Передо мной очутилось существо — глаза совершенно круглые, из широко раскрытого рта раздается рычание, и две огромные руки со скрюченными пальцами направляются мне прямо в глаза. Я их зажмурила изо всех сил, он ободрал мне только щеку. Посыпались удары, меня повалили и продолжали бить.

Все шло так, как я ожидала, излишним было только покушение на мои глаза, теперь я лежала лицом вниз, и они были в безопасности. Но что было совершенно неожиданно — я не чувствовала ни малейшей боли; ощущала удары, а боли не было. Она пришла только ночью, когда меня заперли наконец в камере.

— Вы убьете ее!

— Уже убили, кажется.

— Так нельзя: оставьте, оставьте,— нужно же произвести следствие!

Мне помогли встать и усадили на стул... Я была все в той же комнате, где подавала прошение... Предо мной, несколько влево у стены, шла вверх широкая лестница без площадки, до самого верха противоположной стены, и по ней, спеша и толкаясь, с шумом и восклицаниями, спускались люди. Она тотчас приковала мое внимание: откуда взялась тут лестница, раньше ее как будто не было, и какая-то она точно ненастоящая, и люди тоже ненастоящие. Может быть, мне это только кажется, мельк-

нуло тут же в голове. Но меня увели в другую комнату, и вопрос о лестнице так и остался у меня под сомнением, и почему-то целый день, как только оставят меня на минуту в покое, так она и вспомнится.

Комната, в какую меня перевели, была большая, гораздо больше первой, у одной из стен стояли большие столы, вдоль другой шла широкая скамья. В комнате в этот момент было мало народу, из свиты градоначальника, кажется, никого.

— Придется вас обыскать,— обратился ко мне господин каким-то нерешительным тоном, несмотря на полицейский мундир, какой-то он был неподходящий к этому месту и времени: руки дрожат, голос тихий и ничего враждебного.

— Для этого надо позвать женщину,— возразила я.

— Да где же тут женщина?

— Неужели не найдете? — И сейчас же придумала: — При всех частях есть казенная акушерка — вот за ней и пошлите,— посоветовала я.

— Пока-то ее найдут, а ведь при вас может быть оружие? Сохрани господи, что-нибудь случится...

— Ничего больше не случится; уж лучше вы свяжите меня, если так боитесь.

— Да я не за себя боюсь,— в меня не станете палить. Чем же связать-то?

Я усмехнулась: вот я же его учить должна!

— Если нет веревки, можно и полотенцем связать.

Тут же в комнате он отпер ящик в столе и вынул чистое полотенце, но вязать не торопился.

— За что вы его? — спросил он как-то робко.

— За Боголюбова.

— Ага! — В тоне слышалось, что именно это он и ожидал.

Между тем весть, очевидно, уже распространилась. Комната начала наполняться: прибывали особы военные и штатские и с более или менее грозным видом направлялись в мою сторону. В глубине комнаты появились солдаты, городовые. Мой странный собеседник куда-то исчез, и я его больше не видала. Но стянули мне за спиной локти его полотенцем. Распоряжался какой-то шумный офицер. Он подозвал двух солдат, поставил их за моей спиною и велел держать за руки.

На несколько минут нас оставили в стороне, и солдаты начали перешептываться.

— Ведь скажет тоже: связана девка, два солдата держат, а он: берегись — пырнет!

— И где это ты стрелять выучилась? — шепнул стражник над самым ухом.

В этом «ты» не было ничего враждебного,— так, по-мужицки.

— Уж выучилась! Невелика наука,— ответила я так же тихо.

— Училась, да не доучилась,— сказал другой солдат. — Плохо попала-то! Жив остался.

Общественное мнение страны оказалось на стороне террористки. Суд присяжных единогласно оправдал Веру Засулич. Имя молодой девушки было отныне у всех на устах. Она стала всемирно известной.

Тургенев воспел Веру Засулич в стихотворении в прозе.

«Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог,—знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю,— отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

— Знаю.

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

— Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

— Войди!

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — принеслось откуда-то в ответ».

В Женеве очень часто Анну Бах и Веру Засулич посещал Сергей Кравчинский.

Молодой бунтарь с на редкость отзывчивым сердцем, красноречивый рассказчик, он приобрел широкую известность как писатель с тех пор, как, вынужденный бежать из России, занялся в эмиграции литературным трудом под псевдонимом Степняк. Так он назвал себя в память дорогого ему Приднепровья, безлесной Херсонской губернии, где родился в 1851 году. Выходец из разночинной среды, учащийся артиллерийского училища, Сергей Михайлович с юности был захвачен мечтой о служении народу, о небывалом подвиге. Под влиянием «апостола разрушения» Бакунина, бросившего властный призыв: «Ступайте в народ, молодые друзья!» — Кравчинский примкнул к кружку, возглавляемому Чайковским, и отправился, захватив узелок с книгами, в посконной рубахе, серой поддевке, смазных сапогах и картузе, в села и деревни необозримой Российской империи. Поднять крестьян против царизма, возглавить это восстание — вот что казалось ему возможным. Косая сажень в плечах, коротконосый, скуластый, истый богатырь из былин, он был известен своей необыкновенной силой. В секретном приказе о задержании Кравчинского значилось, что для

ареста этого важного преступника, если местонахождение его будет открыто, «надлежит откомандировать, ввиду чрезвычайной его физической силы, несколько особенно здоровых жандармских нижних чинов».

Однажды полиции удалось захватить Сергея, но он спасся с помощью крестьян.

Беспечность его не знала предела, и удача действительно сопутствовала ему в борьбе. Когда арест его стал неизбежен, друзья с большим трудом настояли на побеге Сергея из России. Но неукротимо бурная натура его не терпела покоя. В 1877 году Кравчинский добровольно вступил в войско славян, боровшихся против турецкого ига. Затем русский революционер отправился в Италию, где с безрассудно отчаянными последователями Бакунина попытался поднять восстание. Когда повстанцы были разбиты и окружены, Сергей отстреливался до последней пули. Он был пленен, судим и приговорен к смертной казни. Но и долгое, десятимесячное ожидание конца в смертной камере не подорвало его воли. Кравчинский не дрогнул и продолжал готовиться к дальнейшей борьбе. Он изучил за это время итальянский в придачу к французскому, английскому и немецкому, которые знал с детства. Этим новым для него языком Сергей овладел в совершенстве, как будто вырос на Апеннинском полуострове.

— Не все ли тебе равно, раз ты был приговорен к смертной казни, явиться перед всевышним со знанием или без знания итальянского языка? — шутили его друзья.

— Ну нет, ошибаетесь,— отвечал он весело.— Я надеялся, что за знание именно этого языка святой Петр окажет мне протекцию и простятся многие мои грехи.

Природа наделила его исключительным здоровьем, редкой трудоспособностью, упорством и разнообразными талантами. Когда ему говорили: «Сергей, ты проживешь сто лет»,— он отвечал, широко и добродушно улыбаясь: «Не сто, а полтораста. Сто без лекарств, а пятьдесят с помощью снадобий».

В итальянской тюрьме он просидел до восшествия на престол нового короля Умберта, который амнистировал всех осужденных. За время его заключения многое изменилось в России. Тысячи «ходоков»-народников оказались в острогах. «Летучая» пропаганда была заменена оседлой. Революционеры стремились работать в глухих деревнях

учителями, фельдшерами, библиотекарями и таким образом общаться с крестьянами. Но и это не укрепило партию. Полиция свирепствовала. Жандармы избивали и мучили арестованных. Не выдержав страданий и унижений, многие узники кончали жизнь самоубийством или сходили с ума. Гибли в застенках борцы за освободительную идею. Среди народников началось брожение.

Вернувшийся на родину Кравчинский с горечью писал, что «млеко любви» превращается в «желчь ненависти».

Сам он тотчас же ринулся в опасную схватку с самодержавием, отвергая какие бы то ни было научные социалистические теории, объявляя, что спор с царем о народоправстве должен решить только динамит. Романтика конспирации увлекла многие неопытные души.

Чтобы не быть узнанным, Сергей Михайлович одевался как знатный богатый барин и проживал в Петербурге с подложными документами кавказского князя. Хозяйка меблированных комнат, начальница женского пансиона и дворник почтительно величали его «ваше сиятельство». Щедрые чаевые и громкий титул производили заметное впечатление, отводили от Сергея какие-либо подозрения.

В дни выстрела Веры Засулич Кравчинский писал: «Потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое, тебе воспоет свою хвалебную песнь потому, что в ряду тех подвигов, которыми куплено будет его счастье, твой — один из величайших... Бессмертная в истории, ты будешь бессмертна в поэзии, потому что не одного великого поэта вдохновит твой образ».

Вера Засулич невольно своим поступком открыла новую страницу в истории подпольной «Земли и воли». Началась еще более упорная борьба с правительством. Последователи Бакунина и Бланки сочли террор наилучшим средством, ведущим к победе, хотя история всех революций опровергала это.

Кравчинский мысленно видел себя то Брутом, то Вильгельмом Теллем, то Зандом. Поступок Засулич не давал ему покоя. Он решил, что шеф жандармов генерал Мезенцев, из-за притеснений которого многократно объявляли голодовку узники Петропавловской крепости, должен пасть от его руки. Тщетно немногие здравомыслящие революционеры пытались остановить Сергея.

— Всех не уничтожишь,— говорили они,— вместо Мезенцева появится тотчас же другой такой же, а то и хуже. Их — тьма. Надо уничтожить самую систему царизма, сменить ее. Учись на опыте других стран, читай книги о революционной борьбе.

— Все это не для нас, русских,— ответил Кравчинский.— Надо ускорить черепаший ход истории. У нас своя особая стать и своя судьба.

И Кравчинский начал готовиться. Подражая во многом своему кумиру Бакунину, он торжественно объявил:

— Я встречу Мезенцева лицом к лицу.

Из Москвы пригнали заслуженного рысака Варвара, лошадь эта уже дважды спасала народовольцев от полиции. Купили нарядный кабриолет. Помощником Сергея согласился быть Александр Баранников, бывший воспитанник Павловского военного училища. Любимой поговоркой этого смуглолицего, черноволосого юноши, с виду заносчивого хвастуна, а в действительности неуверенного в себе и даже застенчивого человека, было: «Мне жандарма зарубить, что капусту искрошить».

Шеф жандармов был заколот Кравчинским на тротуаре. Происшествие, окончившееся благополучным исчезновением пролетки с двумя седоками, ошеломило Петербург. Вся полиция царской России была поднята на ноги, Кравчинский же продолжал жить в столице и не принимал никаких мер предосторожности, беспечно разгуливая по улицам рядом с ищущими его полицейскими. Тщетно товарищи просили его поостеречься. Наконец они решили с помощью хитрости отправить Сергея за границу. Предлог был найден: ему поручили уехать за кордон для изучения динамитного дела.

— Еду на самое короткое время. Скоро вернусь,— объявил он.

Кравчинский благополучно перешел границу, не предполагая, что оставил Россию навсегда.

В Женеве неожиданно проявился его врожденный дар беллетриста. Не умея отдавать какому-либо делу лишь часть своей души, он весь ушел в литературу. В ту же пору Сергей женился на миловидной и преданной ему девушке, приехавшей по его зову из России в Швейцарию. Человек крайне увлекающийся и поддающийся настроениям, он оказался, однако, однолюбом и превосходным семьянином.

В Швейцарии его положение вскоре стало весьма двусмысленным и опасным. Как убийца Мезенцева, он не был в безопасности даже в этой демократической стране, предоставлявшей убежище только политическим беглецам. Ранее Швейцария выдала русским властям Нечаева, совершившего уголовное преступление, и могла в любой момент сделать то же с Кравчинским. Поэтому он проживал в Женеве под чужим именем, но русские эмигранты хорошо знали, кто такой Сергей, и могли проболтаться агентам III Отделения.

Первая книга Сергея, «Подпольная Россия», познакомившая Европу с русскими борцами за свободу, сразу же понравилась читателям. У автора была редкая способность распознавать людей и зарисовывать их с глубокой психологической проникновенностью. Встречая нового человека, Кравчинский обыкновенно помалкивал и сидел с опущенной головой, изредка вмешиваясь в разговор, но внезапно исподлобья устремлял на нового знакомого острый взгляд, а затем опять погружался в размышления.

Он всегда предпочитал видеть в человеке только лучшее, значительное. «Современники,— утверждал он,— плохие ценители выдающихся людей своей эпохи. Припомните, как знаменитая мадам Ролан жаловалась в своих записках, сделанных во время Великой революции, на отсутствие между ее современниками крупных людей. А теперь эти Робеспьеры, Дантоны, Сен-Жюсты кажутся нам гигантами. Вот так же и вам всем видятся обыкновенными людьми те, которые, по-моему, являются очень крупными. Чтобы познать действительные их размеры, надо перенестись мысленно в будущее».

Жизнь русских изгнанников в Женеве плелась томительно и трудно. Постоянное безденежье, безработица, узкий круг, в котором вынужденно находились люди, желавшие для себя иной, боевой доли, не могли не коверкать характеры, не порождать раздоры и неурядицы. Изгнание, особенно в иноязычном государстве,— мучительное испытание для революционеров.

Беглецы остро тосковали в стране, где природа и быт разнились от российских. Только снег в горах был таким же радужным, живым, как на неоглядных просторах родины, да еще весной так же шумно бежали ручьи к озеру Леман.

Кравчинский ладил с людьми, умел постичь их глубинную добрую сущность. Он сторонился ссор и сплетен и одинаково сердечно относился и к народникам, и к представителям группы «Освобождение труда», враждовавшим между собой. Он часто посещал «хлопцев», как звали единомышленников Плеханова и Засулич. Но окончательно примкнуть к марксистам Сергей отказался и в общество не вступил. В разговоре с ними он, по обыкновению, долго глядел себе под ноги, изредка вскидывая глаза на собеседника и ограничиваясь невнятными междометиями. Однажды, решительно тряхнув курчавым вихром, выпалил:

— Нет уж, не зазывайте меня, молодца. Останусь я ни в тех, ни в сех, вольным казаком.

Литература властно подчинила себе недавнего террориста. Он писал свои книги не только по-русски, но с одинаковой легкостью по-итальянски и по-английски. В 1884 году он переселился на постоянное жительство в Лондон. Кравчинскому хотелось поскорее увидеть Энгельса, которого он уже знал по его трудам, и, получив приглашение на Риджентс-парк, тотчас же отправился туда. Встреча положила начало добрым отношениям между ними. Энгельс радушно принял у себя русского силача, соединявшего в себе отвагу льва с непосредственностью ребенка и впечатлительностью художника. При всей разности возрастов, биографий, масштаба дарований и общественной значимости, в характерах Энгельса и Кравчинского было нечто схожее. Оба отличались предельной правдивостью, бесстрашием, трудоспособностью, жизнелюбием и добросердечностью.

Энгельс, знакомясь с новым человеком, сам составлял о нем мнение, что бы ни слыхивал ранее от других. Он никогда не поддавался ни хвале, ни хуле на тех, кого не видел лично. Так же оценивал он книгу либо произведение искусства и сурово осуждал людей, рабски доверявшихся чужому впечатлению.

Степняк, как называл Сергея Кравчинского Энгельс, произвел на всех в доме на Риджентс-парк выгодное впечатление. Ленхен угостила его превосходным кофе с домашним печеньем; бульдог, сменивший издохшего от старости Дидо, оказал русскому гостю особое доверие, подав ему лапу.

Энгельс с уважительным вниманием выслушивал увлекательный рассказ о борьбе народников с царизмом. Особенно подробно поведал Кравчинский о том, как сам ходил «в народ». Чтобы не вызвать подозрений у полиции и заслужить доброе отношение крестьян, Сергей досконально изучал разные ремесла. Он стал плотником, столяром и кузнецом. Физический труд всегда доставлял ему истинную радость.

— Не нужно ли вам, гражданин Энгельс, проложить в доме газовые трубы или покрасить полы? — сказал он, готовый немедленно приступить к делу.— Я ведь рабочий человек и, поверьте мне, сделаю все на совесть, с удовольствием для себя. Меня в русских селениях мужики за поделки всегда привечали и, не скрою, отлично кормили. Вот только однажды попал я в такое село, что истощал там сильно. Очутился у сектантов.

— Не к молоканам ли вы забрели? — поинтересовался Энгельс.— У них, как известно, суровые посты длятся по нескольку суток, и в это время они питаются только что воздухом и росой божьей. А работают в полную меру.

— Именно так. Не ожидал, что вы столь сведущи и в этом. Да, я жил среди молокан. Они настойчиво пытались наставлять меня и привести к своей вере, а я, в свою очередь, тянул их к иной, революционной.

— И кто же кого перетянул на свою сторону? — рассмеялся Энгельс.

— Кое-чего достиг я. Ведь земная правда наша. Вчерашние рабы де-юре — они и сейчас рабы де-факто и влачат жалкое существование в ожидании загробной компенсации.

Энгельса очень интересовали члены группы «Освобождение труда», которых хорошо знал Кравчинский. С присущей Сергею способностью возвышать человека рассказывал он о Плеханове и его соратниках. Особенно восхищался Верой Засулич, застенчивой, серьезной, волевой.

— Я рад слышать все это о своей корреспондентке. Тем более рад, что она взялась за перевод «Нищеты философии» Маркса. Выход этой книги на русском языке будет праздником для дочерей Маркса и меня. Кстати, она пишет мне, что среди русских непрерывно возрастает интерес к изучению книг по теории социализма. Превосходное явление! Теоретический и критический дух, увы,

почти исчез из немецких философских школ, чтобы, очевидно, обосноваться в России.

— Вера Ивановна — одна из самых образованных русских женщин нашего времени,— горячо сказал Степняк.— Она, кажется, перевела и ваше произведение.

— Да, и сделала это безукоризненно точно. Но особенно ценны для нас ее переводы сочинений Маркса. В этом ведь так нуждается Россия!..

Энгельс любил жизнь и берег каждую секунду времени, стремясь взять от бытия возможно больше радостей, находя их в бесконечности знания, мышления, впечатлениях, общении с интересными, по его мнению, людьми. Он был крайне сдержан, молчалив с чужими по духу и мировоззрению и прост, приветлив, откровенен с соратниками, но никогда не прощал никому лицемерия и ненатуральности поведения.

Чем бы ни занимался Энгельс, наука во всем многообразии постоянно привлекала его внимание, и он знакомился с новыми открытиями в физике, естествознании, медицине, математике, экономике и особенно в военном деле. Не пропуская ничего значительного в мировой литературе и музыке, он по-прежнему увлекался филологией. Он вызывал восхищение испанцев, португальцев, итальянцев безупречным знанием их родного языка. Его письма на русском, польском, румынском, голландском отличались совершенством формы и богатством словаря. Но, не довольствуясь тем, что владел более чем двадцатью языками, Энгельс изучал диалекты и безошибочно отличал миланца от римлянина, кастильца от мадридца, провансальца от лионца. Шутки ради он свободно изъяснялся на парижском арго, лондонском кокни и с уэльсцем говорил на его наречии, а шотландца учил произносить слова так, как говорили при дворе Марии Стюарт. Зная все местные особенности, объяснялся он по-ирландски и порадовал этим журналиста Бернарда Шоу, когда тот однажды переступил порог его дома.

Хотя Шоу и слыхал об Энгельсе как о человеке чрезвычайно образованном и замечательном полиглоте, его поразил выговор и подбор чисто ирландских оборотов в речи хозяина дома.

— Если вы не родились в Дублине, сэр, то это произошло вопреки здравому смыслу и явно по недоразумению.

— Вместо меня поблизости от ирландской столицы появилась на свет моя покойная жена.

Кабинет Энгельса обескуражил Шоу.

«Где тут расположиться? Подобный порядок и чистота буквально парализуют обыкновенного пыльного лондонца, даже если он достаточно часто принимает ванну и употребляет при этом мочалку».

— Скажите, мистер Энгельс,— начал он,— вы, вероятно, никогда не болеете?

— Я был бы выселен с острова, если бы не отдавал дань двум-трем инфлюэнцам в год, как всякий добропорядочный британец,— улыбаясь, ответил Энгельс.

— В таком случае не бациллы заражают нас, а мы бацилл. В атмосфере вашей квартиры вряд ли осмелилась бы задержаться какая-либо бактерия. Бедняге здесь негде устроиться. Как стерилизуете вы воздух вашего кабинета?

Энгельс рассмеялся:

— Дочери Маркса дразнили меня старой девой за педантизм, но это только привычка и продуманная система быта и, главное, работы. Терпеть не могу тратить время на поиски нужных предметов. Что, однако, привело вас ко мне?

— Я прошу разрешения перевести на английский вашу книгу «Развитие социализма от утопии к науке».

— Вы, верно, хорошо владеете немецким языком?

— Я его вовсе не знаю. К сожалению, так как из-за этого не смог до сих пор ознакомиться с гениальным «Капиталом» Маркса.

— Доктор Мур и я переводим его на английский, и скоро вы сможете восполнить пробел. Надеюсь, вы получите немалое удовольствие.

— Уверен, сэр, что так. Взбираться на вершины было всегда моей страстью. Я неплохой альпинист и рвусь к чистому воздуху мысли, но покуда мало знаком с философией, если не считать английской.

— Не знаю, какие именно труды вам известны, но помните, что Гималаи в любой науке так же редки, как и в природе, и бойтесь поэтому на плоской равнине при-

нять за высокую гору всего лишь кочку. Но отложим эту беседу до того времени, когда вы возьмете приступом высочайшее творение Маркса. А сейчас, не зная немецкого языка, вы собираетесь именно с него переводить книгу? Это забавно.— Энгельс мягко улыбнулся.

— Я пытаюсь сделать это с французского.

— Очевидно, зная французский в совершенстве?

— О нет. Я слабоват и в нем. Но уникум, подобный вам в языкознании, то же, что ихтиозавр, который водится только в музеях. В нашу эру переводчики, как правило, не знают языков, с которых переводят. И представьте, это на пользу дела.

— Вот как? Вы совершили открытие. Я назвал бы, однако, подобный метод шарлатанским.

— Нет более сомнений в том, что вы человек первозданный или скорее какой-либо формации грядущего.— Шоу смотрел на Энгельса с явным восхищением.

— Я только нормален и, главное, глубоко презираю всяческий карьеризм и невежество, которые, к сожалению, присущи некоторым молодым литераторам,— живо возразил Энгельс. — Вы, кажется, фабианец?

— Да, но собираюсь расстаться с этим обществом укротителей строптивости в политике и перейти в будущем, когда она наконец организуется, в социал-демократическую федерацию.

— Эвелинг говорил мне об этом нарождающемся социалистически-либеральствующем гибриде.

— Прошу вас, сэр, не торопитесь покуда с выводами,— сказал Шоу.— Может быть, этот гибрид окажется полезен.

— Что ж. Пусть произрастает, посмотрим, что из этого получится. Насколько я помню, вы, мистер Шоу, пишете повести?

— Ради хлеба насущного я начинал в литературе именно с этого и настрочил целых пять штук. Теперь кончено. Хотя не все из них остались у меня для домашнего пользования. Самая плохая была напечатана в одном социалистическом журнале и продолжает преследовать меня уже не во сне, а наяву. Таков рок. Плохие повести печатаются обычно обязательно, хорошие же — только в крайнем случае.

— Кто определил качество ваших произведений: вы сами, читатель или критика? — спросил Энгельс.

— Читатель? О нет. Его писк не решает судьбы книг. Критика? Извольте, я выскажу вам откровенно свое мнение о ней. Каждому деспоту, когда он зажмет рот своим подданным, чтобы не сойти с ума, ради скуки нужен один, заметьте, только один противоборец. Короли заводили для такой потехи исповедников или фигляров. Демократия вручила суверенный скипетр народу и...

— Вот как! Где же нашли вы такую страну и такую демократию?

— Я не теоретик и бегу от прописных истин. Может быть, я опередил действительность или придумал ее. Словом, народ должен иметь исповедника или шута, который будет тешить его или перечить ему. Это и есть критика.

— Вы, верно, еще не узнали настоящих великих мастеров критики, каков немец Бёрне, француз Сент-Бёв, русские Белинский, Добролюбов, Писарев. Они опровергли бы ваш скепсис. Критика, какая она должна быть,— это ведущая сила литературы.

— Не знаю русских, но знаю англичан. Критика потрафляет гадкому чувству зависти, когда растаптывает истинно великое и прекрасное. Она дает выход, как труба дыму, чувству энтузиазма, когда по ей одной известным причинам восхваляет не всегда достойные творения. Критика взывает к инстинктам, и часто низшим.

Энгельс снова улыбнулся:

— Видимо, эта самая критика ощутимо искусала ваши икры. Итак, вы решили отомстить человечеству и заняться переводами книг с языка, вовсе вам неизвестного. Но ведь предмет вы избрали точный.

— Я не воспринимаю жизнь как нечто безусловно серьезное, мистер Энгельс. Мне не хватает достаточных знаний, чтобы стать иным. Я молод и не хочу сесть на мель. Может быть, займусь драматургией. Тогда уже нельзя будет не быть по-настоящему серьезным. Мой любимый драматический писатель — второй гений после Шекспира, великий Генри Филдинг. Это человек, которым должна гордиться Англия.

— Верно. Но Филдинг посвятил свое перо нелегкому и смелому изображению борьбы с парламентскими мошенниками. И, насколько я помню, взяточник Вальполь с помощью цензуры запретил с тех пор пьесы на столь животрепещущие темы.

— Бедняга драматург Филдинг, который из-за Вальполя не смог стать английским Мольером, взялся за ремесло прозаика Сервантеса. Да будет вам известно, что и сегодня «королевский чтец драматических произведений», как называется господин цензор, гасит, подобно фонарщику, дух малейшего правдолюбия и мешает отражению истинного положения дел в Англии. Как видите, я основательно изучил разные ремесла и не тороплюсь с окончательным выбором литературного жанра.

— Надеюсь, вы правильно изберете свою стезю. Писатель — тот, кто мыслит, а значит, многое неизбежно подвергает сомнению в поисках истины.

Анна Павловна тяжело переносила изгнание, разлуку с детьми, разрыв с семьей и смятение, вызванное в ее душе новыми мыслями. Она часто приходила к Плехановым. Несмотря на постоянную нехватку денег, они жили хотя и в маленькой и тесной квартирке, но по-семейному уютно. В детской шумели две девочки, прозванные в шутку рептилиями. Розалия Марковна заканчивала медицинский факультет и писала за столом в кухне диссертацию. Завидя гостей, она подносила пальчик ко рту, жалобно призывая их не мешать ей и Георгию Валентиновичу. Несмотря на длительный, изнуряющий недуг, лежа в постели, он делал извлечения из книг карандашом в широкой разлинованной тетради. Если лихорадка ослабляла его окончательно, он просил Анну Павловну или Веру Ивановну почитать ему вслух. Плеханов резко исхудал, лицо его с четко очерченными скулами, блестящими узкими глазами и темной бородкой часто лоснилось от пота. Иногда, полузакрыв глаза, Жорж предавался воспоминаниям в ответ на расспросы о том, почему он порвал с партией «Народная воля» и как стал марксистом. Для Анны эти рассказы были полны особого значения. Она сама оказалась на распутье. Ей хотелось знать о рабочих, с которыми Плеханов встречался. В Саратове, в Киеве и других городах он помогал устраивать стачки, составлял листовки и распространял их среди пролетариев.

В Петербурге Георгий Валентинович руководил бунтом на фортепьянной фабрике Беккера и на новой бумагопрядильне богача Кенига. Рабочие требовали тогда повышения заработной платы, сносных бытовых условий и

укорочения часов работы. Вместе с опытным подпольщиком и конспиратором унтер-офицером Гоббстом Плеханов писал требования фабрикантам, распределял денежные пособия, разгонял штрейкбрехеров.

— Но в главном рабочие не доверяли нам, считали чужеродным телом, называли в издевку «студентами»,— признавался Плеханов Анне.

— Почему, Жорж?

— Очень просто. Пролетариат кровно заинтересован в прибавке заработной платы, в том, чтобы прижать хозяев и мастеров, укротить свирепого городового, а социалисты разглагольствуют о том, что, по существу, интересует их самих, а не рабочего, преподносят народу всякие сложные теории, призывают людей, живущих в скотских условиях и работающих четырнадцать часов в сутки, чуть не к высшему образованию. А у тех в это время от голода животы подводит. Лицемерие, пустословие, пусть и невольное, но мерзостное.

Плеханов осуждал бывших соратников за непонимание роли пролетариата в грядущем социальном перевороте, за предпочтение, оказываемое ими отсталому, забитому крестьянству.

В 1878 году Георгий Валентинович отправился в Ростов и связался там с донскими казаками. Он одобрял острое недовольство донцов, которым правительство в это время навязало земство взамен бывшего до того самоуправления. Речи Плеханова прозвучали громом.

«Народная воля» приняла на своем съезде решение о терроре. Тщетно Плеханов предупреждал, что жертвенный героизм одиночек всегда обречен и, принеся гибель самым отважным бойцам партии, отнюдь не даст победы народовольцам.

Его увещевания не произвели никакого впечатления на нетерпеливых, самоотверженных и отчаявшихся молодых людей. Плеханов тотчас же ушел из партии. Одиночество недолго томило его, как и поиски нового пути. Встреча с приехавшими из Швейцарии товарищами, среди которых были Вера Засулич и Лев Дейч, определила для Плеханова будущее. Решительно отвергая террор, эти бывшие народовольцы основали газету «Черный передел», первый же номер которой был конфискован полицией. Газета издавалась поэтому на чужбине. Плеханов и его единомышленники, преследуемые жандармами, с

немалым трудом сумели выбраться за кордон. Там они углубились в изучение книг по научному социализму и скоро провозгласили своим лозунгом слова Маркса: «Всякая борьба есть борьба политическая» — и уяснили, что победа обеспечена только в классовой борьбе.

Так было покончено с «Черным переделом» и появилась первая самостоятельная социал-демократическая русская группа «Освобождение труда».

— Но как же отступиться от святых календаря революции, от светлой памяти Перовской, Желябова, Кибальчича и остальных? Они принесли себя в жертву, чтобы встряхнуть Россию, ее совесть, ее сознание, мысль! — горестно восклицала Анна.

— Мы горюем над их преждевременными могилами и земно кланяемся казненным. Но действовать, как они,— значит бесполезно погубить наших героев. Борьба за революцию — строгая наука, а не только самоотверженность и всесокрушающий порыв негодования и отчаяния.

Плеханов давал Анне одну за другой книги Маркса и Энгельса. Но читать их ей было трудно, а подчас и малоинтересно.

— Я революционерка по сердцу, а не по уму. Мне по-матерински жалко обездоленных людей. Я хочу счастья для всех людей, но, право, не могу одолеть прибавочную стоимость или философские размышления Гегеля и Маркса. Я маленькая, а они колоссы. Не дотянуться мне. Верно, не дал бог ума глубокого.

Плеханов успокаивал Анну, высмеивал ее самоуничижение и просил покуда не перенапрягаться в теории.

— Знаешь что, Анна,— говорила ей Вера Засулич,— ты не сетуй, не наговаривай на себя. Моя воспитательница, или, как ее громко называли, бонна, Мимина, а по крещению Матрена, говаривала мне в детстве, когда я забывала слова непонятных молитв: «Ты, матушка моя, просто кверху руки подыми и повторяй что-нибудь от самого сердца. Не словами, а делами бог постигается». Так вот, мой друг, ты не мудрствуй лукаво, не истязай себя рефлексиями, а дело делай. Авось жизнь тебе все подскажет. Ведь Маркс-то учит нас не начетничеству, не слепому повторению его мыслей, а требует усвоения метода мышления, особого метода.

— Метода? Что ты хочешь этим сказать? — широко раскрыв немного косящие серо-коричневые глаза, спрашивала Анна.

— Да, представь, это ключ ко всем замкам. Метод марксизма помогает понять общий исторический смысл сложившихся обстоятельств, а не только выводов, иногда омертвелых. Ну, как тебе пояснить? Вот Жорж — а он родился теоретически мыслящим существом — говорит: мы только указываем нашим товарищам направление, — запомни, направление! — в котором нужно искать решение интересующих их революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибочный критерий, с помощью которого они смогут наконец сорвать с себя лохмотья революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами... Мы указываем на диалектику, эту алгебру революции, в интересах революционного воспитания рабочего класса... Так-то.

И Анна решила действовать и учиться боевому марксизму у самой жизни. Вместе с одним из основателей группы «Освобождение труда», отважным и образованным марксистом Львом Дейчем, она должна была доставить из Женевы в Россию первые издания «освобожденцев». Это было опасное и трудноосуществимое предприятие, к которому Дейч, наиболее предприимчивый и деятельный член группы, готовился с большой осторожностью. Для переправы социалистической литературы нужны были также немалые денежные средства.

После болезни Плеханов направился в лекционную поездку по всей Швейцарии, и всюду его выступления — глубокие по мысли, остроумные, неотразимые по силе фактов — вызывали одобрение не только легко увлекающейся молодежи, но и предубежденных пожилых людей. Это путешествие с выступлениями принесло Плеханову, а тем самым и кассе «Освобождения труда» хотя и небольшую, но прибыль. Женевские марксисты терпели ощутимую нужду и с трудом изворачивались, тщетно ожидая некоего благотворителя, который явится и даст им крупную сумму денег на прожитие и, главное, на издание и распространение пропагандистской литературы. Они вспоминали, что Фурье столь упрямо верил в подобное чудо, что ежедневно, в заранее назначенные им часы, усаживался у окна своей квартиры и ждал знатного

посетителя, который, оценив учение, озолотит его творца. Однажды к Плеханову действительно явился богатый помещик. Но не пожертвование, а огромный фолиант, путанейший продукт графоманства, принес он Плеханову, предлагая его для издания.

Готовясь к нелегальному отъезду в Россию, Дейч, Анна и Вера Засулич обычно приходили обедать к Плехановым, чтобы обсудить все предстоящие дела. Позднее, к вечернему кофе, туда являлись Игнатов и Аксельрод. Засиживаясь допоздна, они решали, как переправить через границу литературу, заготовленную в Швейцарии.

Евгений — таков был революционный псевдоним Дейча — заведовал первой русской женевской наборной. Все рабочие типографии ранее были, как и пять основателей группы «Освобождение труда», чернопередельцами. Став марксистами, работая по убеждению, они получали только самые необходимые деньги за свой труд, и то в соответствии с состоянием общей партийной кассы.

Сборы в дорогу Дейча и Анны Павловны наконец окончились. Запасшись подложными паспортами и распрощавшись с друзьями, они направились в Цюрих к Юлиусу Моттелеру. Посылать транспорт прямо из Женевы на русско-германскую границу Дейч не решился. У Моттелера его и Анну ждало неожиданное разочарование. Один из помощников «красного почтмейстера» был в пути захвачен жандармами вместе с грузом. В течение ближайшего времени пытаться пройти оцепление на границе было безрассудно. Моттелер уговаривал Евгения и Анну обождать в Цюрихе, покуда немецкие социал-демократы не устроят им надежную переправу.

Но русские избегали лишних проволочек и боялись обратить на себя внимание в чужом городе. Они решили доставить литературу по назначению без чьей-либо помощи. Дейч и Анна отправились в Базель, разложив предназначавшийся для перевозки на родину груз в двух сундуках, прикрыв его мужскими и женскими носильными вещами. Знакомый швейцарец, имевший друзей в немецкой таможне, взялся сопровождать их через границу. Осмотр багажа прошел вполне благополучно. Слегка приоткрыв сундуки и не вороша поклажу, чиновник прикрепил на крышки необходимые ярлычки. Казалось, все трудности были уже обойдены. Дейч надеялся в ближайшем германском городе, где ему предстояло получить деньги взаймы,

сделать остановку, упаковать брошюры в посылки и отправить по условленному и надежному адресу в городок близ границы, откуда знакомые контрабандисты доставили бы их в Россию.

— Неужели все наше предприятие в действительности так просто? А я-то ждала страшных испытаний. Невероятно,— сказала Анна, когда очутилась с Евгением в купе поезда, идущего во Фрейбург.— А вдруг что-нибудь с нами все-таки случится?

— Что же теперь может произойти? — удивился Дейч.— Худшее уже позади.— Но и его томили странные предчувствия.

...Через два дня Анна и Евгений очутились во Фрейбургской тюрьме, откуда их, значительно позднее, вместе с конфискованной литературой отправили под конвоем на русскую границу и передали царским жандармам.

Эвелинг признался Элеоноре, что у него в Ирландии осталась жена и двое детей. Развод по закону был невозможен, хотя уже много лет Эдуард фактически ничего общего не имел с семьей.

Тусси опустила голову на руки, чтобы он не видел ее глаз, и молчала.

— Эллен Терри много лет прожила в гражданском браке с замечательным человеком, архитектором Годвином. Их сын, талантливый актер Гордон Крэг, уже обратил на себя внимание в театре. Помнишь его? Тебе так понравилась игра Крэга в «Юджине Араме». Наконец, первый брак мистера Энгельса с Мери Бёрнс так и остался гражданским, а с Лиззи Бёрнс он зарегистрировался в мэрии только за несколько часов до ее смерти. Генерал всегда колко высмеивает формальности такого рода.

Эвелинг наклонился и попытался отвести руки от лица Элеоноры.

— Не надо, Эдди,— сказала она чуть слышно.— Не в этом дело. Ты ведь знаешь, что я никогда не предлагала венчания. Но ты умолчал о своем браке.

— Это не было ложью. Я ведь давным-давно не видел той женщины.

— Но у вас дети.

— Дети? Я плачу за совершенную ошибку и буду это делать впредь, как всякий честный человек, но ведь серд-

цу не прикажешь. Я оставил семью задолго до знакомства с тобой. Не казни же себя, пожалуйста.

Эдуард попытался развеселить Тусси и, как это обычно делал, поднял ее вместе со стулом, на котором она сидела.

— Нет, нет, оставь меня сейчас одну. Прости, но я не могу еще освоиться с этой новостью.

— Не напрасно тебя долго звали беби. Ты действительно дитя. Неужели, Тусси, ты надеялась встретить мужчину моих лет, который был бы непорочен, как дева Мария? Ведь это требуется только от женщин. Мужчина природой создан по-иному. Да, у меня была жена, однако я не донжуан, и мое прошлое, вероятно, скромнее, чем у многих других молодых людей. Я не отрицаю, конечно, увлекался. Ведь не по книгам же было мне изучать жизнь!

— Значит, были и еще близкие тебе женщины?

Эвелинг громко рассмеялся.

— Бедняжка, ты непростительно наивна. Иллюзии отроковицы. Вот они, последствия чтения. Ну, а Байрон, Смоллет или тот же Свифт, мой соотечественник, разве они не меняли своих привязанностей? Жизнь, моя милая, это жизнь.

— То, что у других были ошибки, не служит нам оправданием, когда мы спотыкаемся,— сухо заметила Элеонора. Она с горечью почувствовала, что Эвелинг стал ей сразу чужим.

И чуткий, нервный Эдуард тотчас поежился от возникшего холода. Он почтительно прикоснулся губами к руке женщины, которая считала его женихом, и печально попросил:

— Позови меня. Я приду, дорогая. Жду.

Элеонора осталась одна.

Квартира была убрана в типично английском стиле того времени. Множество книг, цветов, диван с подушечками в тонко расшитых самой хозяйкой наволочках, большая лампа с зеленым абажуром на письменном столе, несколько портретов, картин и репродукций в простых рамах составляли убранство первой комнаты, во второй — строгой спальне — стояли кровать, шкаф и умывальный столик. Почти всегда открытое настежь окно впускало холод и сырость, и комната казалась нежилой, неуютной.

Перед тем как укладываться спать, Элеонора обычно растапливала маленький серый, как и обои, камин и прятала под шерстяные розовые одеяла грелки с горячей водой. Ей нравилось прикосновение влажного, несогретого воздуха к закаленному гимнастикой и водой телу, когда, протянув вверх руки, она быстро надевала длинную, до пят, ночную полотняную сорочку.

Вытянувшись на хрустящей, накрахмаленной простыне, ощущая приятное тепло согретой постели, Тусси могла отдаваться думам. Воображение ее с детства было чрезмерно щедрым, ум — глубоким, неспокойным. Хотя с юности девушка общалась с различными людьми, обладала недюжинной наблюдательностью и сталкивалась больше со злом, нежели с добром, она привыкла верить людям. Полюбив Эвелинга и сблизившись с ним, она боялась оскорбить его недоверчивыми вопросами, убежденная, что сердце ее — самый надежный компас и не может ошибаться.

Запоздалое признание Эвелинга в том, что он оставил семью, подавило Тусси. Она вовсе не стремилась к узаконенному браку, не придавая формальностям в любви никакого значения, но мысль об оставленных детях мучила ее.

Младшую дочь Маркса тревожили рассуждения человека, которого она избрала, будто мужчины самой природой предназначены для иной личной жизни, нежели женщины. Тусси знала, что это взгляды, утвердившиеся среди буржуа и зажиточной интеллигенции. Но почему она не слыхала подобных рассуждений на рабочих окраинах, среди бедняков, ютящихся на бесцветных улицах Уайтчапеля? Никогда не могли бы сказать ничего подобного ни ее отец, ни Энгельс, ни Либкнехт...

«Кто пил, тот будет пить»,— вспомнила Тусси французскую народную поговорку.— Кто привык изменять и мыслит, как Эдуард, будет снова искать новых любовных утех».

Но любовь — самое мощное и чудотворное чувство. Эдуард оставлял других женщин потому, что не любил их. Он правдив, это главное, и он называет меня единственной. А все остальное уже позади».

В памяти встали перед ней образы отца и матери.

«Счастье в том, чтобы найти одну любовь и пронести ее через всю жизнь».

Ее сестра Лаура и Поль Лафарг нашли друг друга. Элеоноре не довелось встретить такую радость. Но виноват ли Эдуард в том, что судьба поздно свела его с нею? Нельзя терзаться тем, что непоправимо. «И разве в золотоносной жиле,— думала она,— вместе с золотом нет песка и камней?»

Думая о родителях, Элеонора всегда вспоминала и Энгельса. Мудрец считал вторым условием счастья находку верного друга. Энгельс обрел его в Марксе, как и Маркс в Энгельсе. Были ли в истории людей подобные примеры? Тусси медленно перебирала героев греческой мифологии. Пилад, верный в годину горя друг злосчастного Ореста, убившего мать за измену его отцу. Но прекрасная дружба эта не казалась Элеоноре точным прообразом отношений отца и Энгельса. Даже в жертвенности может быть или не быть равенства. Его-то и не существовало между принцем Орестом и самоотверженным слугой Пиладом.

В стремительной памяти молодой женщины вспыхнули иные имена. Дамон и Финтий! Вот безупречный образец дружбы равных. Два уроженца Сиракуз, не терпящие насилия, гордые, знатные пифагорейцы. Финтий был схвачен деспотом Дионисием II, заподозрившим его в покушении на свою жизнь, и приговорен к смерти. Дамон, знавший, что его друг жаждет проститься с семьей и уладить дела, предложил себя в заложники. Финтия отпустили домой на строго отсчитанное время. Оно, однако, миновало, а он не вернулся в указанный срок. Дамона отвели на площадь, и палач уже поднял секиру, когда, задыхаясь от бега, к плахе примчался осужденный. Народ, собравшийся к лобному месту, пораженный проявлением столь большой взаимной преданности, потребовал прощения смертнику, и Дионисий II не только помиловал его, но попросил столь верных друг другу людей стать его друзьями. Финтий и Дамон отказались. «Дружба — дар богов»,— считали древние.

— И любовь тоже редкий дар судьбы,— добавила Тусси.

Энгельс, с которым, как и с Ленхен, она делилась всем, что было у нее на сердце, хорошо встречал Эвелинга.

— С каждым днем он нравится мне все больше,— признавался Генерал своей любимице Элеоноре.

Молодой ирландец всячески старался заслужить доверие второго отца и друга Элеоноры. Эвелинг бывал подку-

пающе искренен и обаятелен в обществе. Хорошая память, обширные знания, умение красно говорить и показать себя с лучшей стороны располагали, как и милая ребячливость, всегда радующая Элеонору, которая, подмечая проявления эгоизма, лени, переменчивости, легкомыслия в поступках Эдуарда, старалась убедить себя, что под влиянием Энгельса и других сильных духом людей он еще станет цельным и последовательным.

Ни медицина, ни естествознание, которыми в молодости увлекался Эвелинг, его больше по-настоящему не интересовали. Хотя он и считал себя одаренным драматургом и даже артистом, зрители этого не признавали. Политическая борьба, особенно после знакомства с Элеонорой, казалось, поглотила Эвелинга. Вместе с Элеонорой он состоял в Социал-демократической федерации. Руководство в этой организации, объединявшей преимущественно интеллигенцию, находилось в руках реформистов, которые проводили оппортунистическую политику. Виной всему стал ее лидер Гайндман, резко возражавший против работы членов федерации в тред-юнионах под предлогом их реакционности. Главной целью Гайндман объявлял завоевание мест в парламенте. Ловкий, двуличный карьерист с лакейской душой на деле срывал борьбу пролетариев.

— Рабочие слишком слабы. Только мы, сверху, сможем изменить их тягостное положение,—заявлял Гайндман и скоро был оценен по достоинству реакционерами, которые не поскупились и дали ему изрядный денежный куш на избирательную кампанию.

Эвелинг и Элеонора порвали с неудачливым детищем Гайндмана. Они создали Социалистическую лигу, смело и настойчиво защищавшую идеи международного товарищества в рабочем движении.

В это же время Элеонора руководила одним из рабочих профсоюзов. Известность ее на окраинах возрастала. Чтобы читать лекции и вести работу среди многочисленных еврейских пролетариев и ремесленников, живущих в обойденном солнцем и радостью гнилостном, дымном Уайтчапеле, дочь Маркса выучила также и еврейский язык. Как Энгельс и вся семья Маркса, Элеонора была выдающимся полиглотом. Молодая, похорошевшая от счастья разделенной любви, веселая, излучающая доброту, она приходила на заводы, фабрики, в бараки и домиш-

ки, готовая отдать все, что собрала за свою жизнь, неутомимо трудясь, храня знания, как сокровища.

Ее любили дети. Как некогда Маркс, она одаривала их леденцами, рассказывала забавные сказки. Женщины поверяли Элеоноре свои заботы, горести, секреты, мужчины признавали в ней товарища, многоопытного, готового к сражению воина. Но особенно хороша была она на трибуне. Ее глубокий, низкий голос, которому могла бы позавидовать выдающаяся актриса, четкая дикция, душевная щедрость, проницательность заражали слушателей, заставляли до конца верить оратору, идти за ним.

И казалось вполне естественным, что женщину, не достигшую тридцати лет, люди с окраин называли «наша матушка», как сорок лет назад молодого Маркса рабочие прозвали «отец Маркс».

Трудовой день Энгельса был строго продуман, налажен, установлен раз и навсегда. Он вставал в одно и то же время, чтобы оказаться за письменным столом без опоздания. Обычно утренние и часть дневных часов Энгельс посвящал основной работе. По вечерам он просматривал газеты и отвечал на письма друзей и соратников. Изо дня в день Энгельс зорко следил за развитием социалистического движения в Германии и Америке, России и Франции — повсюду. Он был убежден, что коммунистическое движение должно развиваться по-разному в каждой стране, и поэтому отказывался давать советы однотипные, вне учета особенностей страны и тех, кто ее населяет.

Зимой 1884 года, разбирая бумаги Маркса, он наткнулся на взволновавшие его тетради. Таинственно переплетенными буквами, вязью, приводившей на память начертания ассирийцев и финикиян на камнях, Маркс сделал выписки из книги прогрессивного американского ученого Моргана «Древнее общество», сопроводив их своими замечаниями и раздумьями. В тетрадях друга Энгельс нашел немало мыслей, посвященных этой теме.

Много вечеров провели они оба несколько лет назад в беседах о бытии человечества на ранних этапах его истории, стараясь восстановить прошлое, понять семейные отношения во времена дикости и варварства и то, что привело к созданию государства, что крылось в самой его сущности. Еще при жизни Маркса Энгельс опубликовал

свои исследования по истории Греции, Рима, древней Ирландии.

И сейчас ему предстояло путешествие в глубь веков, к самым истокам человечества. Вооруженный, как ни один следопыт на земле, острым, подобно скальпелю, методом исторического материализма, он мог смело пуститься в путь. Понадобилось всего два месяца, и, несмотря на занятость другими делами, гений и трудолюбие Энгельса, как всегда, победили, и книга его о происхождении семьи, частной собственности и государства была закончена. Это явилось итогом небывалого вдохновения, подобного тому, что охватывало Бетховена, давшего людям дивные симфонии; вдохновения, знакомого Микеланджело, когда он создал Давида.

Все, что ни делал Энгельс, он освящал именем навсегда ушедшего друга. В предисловии к своей новой книге он указал, что, написав ее, выполнил завещание Маркса, чьи записи легли в основу замысла. Он отважно вторгся в далекое прошлое человечества, срывая покров за покровом с его тайн, заглядывая в глубинную сущность человеческих отношений, приведших к созданию различных форм государственности.

Каждая мысль, высказанная на страницах произведения Энгельса, родилась в итоге бесчисленных, кропотливых поисков, сопоставлений и строгой проверки. Сотни различных исследований были тщательно продуманы и разработаны Энгельсом раньше, чем он взял их в союзники или беспощадно опроверг и отбросил как помеху истине.

Энгельс как бы расщепил нить паутины, чтобы открыть заново то, что, не оставив почти никаких следов на земле, кануло в вечность. И под его пером прах ожил.

Основа тончайшего труда Энгельса, его неоспоримое первооткрытие — это история возникновения, развития и грядущего отмирания государства. Показывая человека в его движении к познанию самого себя и мира, прослеживая шаг за шагом постепенное возникновение семьи, Энгельс выясняет, как произошло деление людей на классы и укреплялось государство, видоизменяясь в разное время. Энгельс отверг теории буржуазных ученых о надклассовых особенностях государства, доказав на фактах истории, что там, где мир делится на угнетателей и угнетенных, власть всегда в руках богатых и сильных.

В античном государстве правили рабовладельцы, в пору средневековья — феодалы. В XIX веке государство, защищая выгоду привилегированных, служит им орудием против рабочих. И демократическая буржуазная республика не является исключением.

Однако раз история знала уже времена, когда не было государства, то неизбежно человечество, обретя крылья и взлетев на неоглядную высоту, не будет более нуждаться в нем.

«С исчезновением классов,— предрек Энгельс в своей книге,— исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором».

Среди друзей Энгельса был один, обществом которого он особенно дорожил. Маркс в свое время тоже радовался встречам с этим жизнерадостным немцем, одним из основоположников современной органической химии, коммунистом Карлом Шорлеммером. Его специальностью стали парафины, содержащиеся в нефти. Шорлеммер поначалу избрал предметом своих научных изысканий простейшие химические тела, состоящие из углерода и водорода, и, заменяя части этих элементов другими, обнаружил новые соединения с различными свойствами.

Опыты, которые он ставил, были очень трудны и часто опасны. В шестидесятых годах, когда тридцатилетний химик впервые познакомился с Энгельсом и Марксом в Манчестере, он являлся к ним нередко прямо из лаборатории с обожженным лицом и кровоподтеками на руках.

— С парафином шутки плохи,— говорил Энгельс.

— Да, опять небольшой взрыв. Природа, как вражеская крепость, не хочет сдаваться. Только в боях можно овладеть ее сокровищами,— отшучивался Шорлеммер.

— Хорошо, дорогой Карл, что твои глаза защищены очками, не то ты давно лишился бы зрения. Рубцы на твоем лице — верное тому доказательство. Ты, впрочем, можешь гордиться столь почетными ранениями.

Шорлеммер был широкообразованным человеком, основательно занимался также и теоретической химией.

Энгельс, сам страстно увлеченный естествознанием, с особым наслаждением слушал Шорлеммера. Они обсуждали спорные, неразрешенные вопросы, и часто химик находил в Энгельсе необыкновенно проницательного и знающего учителя.

— А помнишь ли, Фред, как ты заставил меня броситься в пучину гегелевских размышлений? — не раз в шутку укорял Шорлеммер своего друга.

— Зато ты теперь единственный естествоиспытатель, знающий диалектику, презираемую невеждами и филистерами.

— Да, я высоко ценю этот метод.

— Справедливо! Нельзя достичь ничего значительного в сфере общего естествознания, если рассматривать явления природы как нечто неизменное, раз и навсегда установившееся. А так, увы, считает большинство исследователей.

Убежденный коммунист, Шорлеммер, делясь с Энгельсом и Марксом тем, что приобрел в естествознании, черпал у них знания в области экономики и в науке революционной и партийной борьбы. Шорлеммер с годами все сильнее ощущал себя борцом, хотя жизнь его проходила главным образом в лаборатории. Из года в год он становился все более известным. В тридцать семь лет Шорлеммер стал членом Лондонского королевского ученого общества. Он возглавил новую кафедру по органической химии. Но почести и личное благосостояние нисколько не изменили ученого, достаточно умного и бывалого, чтобы искренне вышучивать всякую чопорность и зазнайство. Шорлеммер чурался льстецов и, правильно оценивая себя, оставался очень скромным, доступным, умеющим радоваться жизни, природе и людям.

После смерти Маркса дружба с Шорлеммером стала еще дороже Энгельсу. Знаменитый ученый не жил в Лондоне, но, приезжая в столицу, неизменно поселялся на Риджентс-парк.

Все близкие друзья Энгельса обычно становились также друзьями Ленхен Демут. Профессор Шорлеммер не был исключением. В этот раз он явился к Энгельсу не из Манчестера, а из Германии, где отдыхал у матери, но запоздал из-за шторма на Ла-Манше, задержавшего прибытие парохода. Ленхен в нескрываемой тревоге встретила его на каменном крыльце и разразилась упреками.

— Дорогая мисс Демут, посудину, в которой я переплыл взбесившийся пролив, трепало так, что я вообще не рассчитывал вас более видеть. Но все равно я прошу прощения за то, что наука еще не подчинила себе водную стихию или не создала моста из Лондона в Кале, например. Я, конечно, мог бы прилететь на воздушном шаре, но его унесло бы в Исландию. Будем ждать аэропоездов более надежных. Потерпите немного, и я стану аккуратнее самого Энгельса. Кстати, дома ли он?

— Конечно, ведь это часы его работы, но даже и наш великий оптимист начал беспокоиться, не настигло ли вас в пути несчастье.

На пороге холла появился Энгельс и, широко улыбаясь, приветствовал друга:

— Шорлеммер, дружище, ты, как, впрочем, я и был уверен, жив и невредим. Женщины, как некогда Кассандра, склонны всегда вещать о худшем. Но если тебя не коснулся на нашей благословенной родине драконов закон против социалистов, ты огнеупорен и не можешь потонуть в бурных водах пролива.

— Не торопись с выводами, Фридрих. Представь, я едва не был судим как контрабандист. Помнишь песенку контрабандистов из «Кармен»? Дивная музыка!

Снимая плащ, цилиндр и складывая мокрый зонтик, Шорлеммер, изрядно перевирая, напевал понравившийся ему мотив, а Энгельс с увлечением дирижировал, слегка подпевая. Ленхен постояла в холле, затем, не то осуждающе, не то поощрительно махнув рукой, отправилась хлопотать по хозяйству.

Оба друга, не прекращая пения и взявшись под руки, вошли в кабинет.

— Выпей-ка пуншу, Карл. Ты, я вижу, отсырел под дождем. Так не мудрено схватить инфлюэнцу. И расскажи, пожалуйста, как попал все-таки в отряд красного Моттелера.

Шорлеммер с комическими подробностями принялся повествовать о своем путешествии из Швейцарии в Дармштадт. Он пересек границу в то самое время, когда в руки германской полиции попал ящик с несколькими пудами запрещенной газеты «Социал-демократ», издававшейся в Цюрихе. И подозрение пало на странствовавшего по Европе профессора.

— Еще бы! — прервал Энгельс рассказ друга.— По полицейским понятиям, химик, конечно же, научно вымуштрованный контрабандист. И даже твоя внешность добропорядочного ученого не способна разубедить ищеек Бисмарка. А действительно, Карл, кто, кроме профессора, мог провезти столь взрывную контрабанду? Ну, признавайся же.

— Не пойман — не вор. Скандал, однако же, назревал большущий. Покуда я, ничего не зная о возникшем обвинении, следовал в Хёхст, к моей матушке и брату явились с обыском. Вообрази, какой переполох в почтенном семействе! Едва я сам прибыл на место, как был тщательно освидетельствован, так сказать, просмотрен со всех сторон, и как описать тебе пренеприятное удивление борзых, когда они обнаружили при мне английский паспорт с всесильным львом в гербе. Как ты знаешь, я принял английское подданство после введения узаконенного зверства, называемого законом против социалистов. Да, я смог насладиться видом полиции, растерявшейся перед подданным ее величества английской королевы. В нашем любезном отечестве остерегаются дипломатических осложнений с сильными державами. Я не пожелал довольствоваться притворными гримасами и извинениями местных сатрапов и расшумелся. Получилось все как нельзя более кстати для наших товарищей. И в итоге происшедшего на подоспевших выборах социалисты получили по меньшей мере пятьсот лишних голосов. Неплохо, дружище?

— Еще бы! — весело подтвердил Энгельс. — Ты, Карл, не только знаменитый химик, но и великий стратег, а может быть, как знать, и контрабандист! Посему после пятичасового чая отправимся-ка в город повеселиться на людях, зайдем в театр или мюзик-холл и выпьем на обратном пути по кружечке крепкого эля. Идет?

В сумерки Энгельс и Шорлеммер отправились пешком по широкому Стрэнду к площади Пиккадилли, где расположились театры. Дождь прекратился, но город остался как бы погруженным в густой серый кисель. В маленьком сквере ярко зеленела трава.

— Я нигде не встречал таких газонов,— заметил профессор.— Хрестоматийный рассказ сообщает о разговоре садовника с иностранцем, спросившим, как достичь такой густоты зеленого ковра. «Нужно подстригать его ежедневно»,— последовал ответ. «И долго ли?» — «Двести лет».

Энгельс живо ответил:

— В этом я усматриваю немалый смысл. Так же вот коса английской буржуазии подстригала бедняков, а сейчас с особенным старанием — пролетариат. Двести лет капитализма — это трагедия и это же величайшая школа для здешнего народа. Англичан теперь не проймешь одними проповедями. Колонии приносят огромные доходы, сверхприбыли небывалые, верхушка рабочего класса подкуплена подачками и высокой заработной платой. В социалистическое движение на острове рабочие массы по-настоящему еще не вступили. Раздробленные группы социалистов похожи на секты...— Помолчав, он закончил: — Иное дело Россия, только что высвободившаяся из кандалов крепостничества. Она стоит на пороге своего тысяча семьсот восемьдесят девятого года, и, как это ни парадоксально, ей, самой отсталой стране, суждено открыть новую революционную эру человечества. Достаточно легкого толчка, чтобы лавина сдвинулась...

Энгельс любил музыку. Романсы Шуберта и Шумана, арии из опер Моцарта он знал наизусть и часто напевал их один или с друзьями. Он не только читал музыкальные пьесы с листа, но и мог дирижировать хором. Вскоре после смерти Маркса длительная болезнь приковала его к постели, но, оправившись, если изредка выпадало свободное время, он посещал концерты и театры, что называлось у него «покутить». Актерская труппа, в которой играли Ирвинг и Эллен Терри, отправилась на несколько лет гастролировать в Америку, и лондонцы считали, что на их сцене остались одни посредственности. Энгельс и Шорлеммер зашли, однако, в театр. Но пьеса оказалась столь ненатуральной, что зрители громко смеялись над самыми трагическими происшествиями. Веселились и оба друга, остро подмечавшие фальшь на подмостках и презиравшие ходульность и надуманность. Английскую сцену заполонили чувствительные драмы, где героями стали принципиальные холостяки и охотящиеся за женихами девицы, продажные парламентские циники и добрые обманутые короли, унылый, проедающий отцово наследство титулованный бездельник-сверхчеловек и придурковатый американский делец. Похождения добродетельных проституток и проституирующих светских дам, приключения, связанные с хитроумными попытками развода, любовная

канитель, ведущая к неравному браку, к грабежу и убийству,— таково было содержание наиболее ходовых пьес.

Сидя в небольшой таверне за кружкой пива, Энгельс заметил:

— Не правда ли, Карл, кроме великих артистов, как обе сестры Терри, Ирвинг и кое-кто еще, игра английских актеров обычно старательна и посредственна, редко — вовсе плоха, еще реже — хороша! Если бы не было Шекспира, Шеридана и двух-трех звезд, значительно меньших по размеру, бриттам нечем было бы гордиться. А сейчас один Шекспир поднимает их театр в поднебесье.

Ради Шорлеммера Энгельс отложил вечернюю работу. Прежде чем разойтись по своим спальням, друзья уселись перед камином в кабинете Фридриха. Ленхен, вязавшая кофточку одному из маленьких Лонге, внуков Маркса, примостилась с работой на диване. Она заметно одряхлела и часто погружалась в тягостные раздумья, как мать, потерявшая детей.

«Отчего это в старости мы с таким трудом волочим свое тело и оно кажется нам все тяжелее и тяжелее?» — вопрошала Ленхен сама себя, чувствуя, что работа, раньше казавшаяся ей совсем легкой, стала непосильной. Характер Ленхен тоже менялся, она становилась строже и одновременно спокойнее. Иногда ей хотелось вспылить, разгневаться, но не получалось, и, устало махнув рукой, она отделывалась молчанием. Живо откликаясь на все события в мире и в доме, она вместе с тем как-то отдалилась от всего и оценила одиночество и созерцание прошлого. Несчастья и смерти наваливаются и пугают душу, как гроза страшила пещерного человека. Будет ли иначе? Новое общество должно обуздать несчастья, такие, как нищета, неравенство, несправедливый суд, клевета без ответа, незаслуженные приговоры. И смерть отодвинется, а человек, дожив до глубокой старости, тихо склонится, как древний кедр перед временем.

Ленхен, глубоко задумавшись, не сразу отозвалась, когда Энгельс, повысив голос, вызвал ее из мира мыслей.

— Ты устала, дорогая Елена. Весь день не щадила себя в чрезмерной работе. Я, право, чувствую себя жестоким эксплуататором, когда вижу, как ты не присаживаешься ни на минуту до самого вечера. Вот уж действительно проклятый труд! Хотелось бы мне дожить до того

дня, когда вся кропотливая и неблагодарная, суетная и тяжелая возня с домашним хозяйством, которая выполняется теперь индивидуально, превратится в мощную отрасль общественного производства.

— Чего только Фридрих не придумает! — сказала Ленхен с доброй улыбкой.— Сомневаюсь, чтобы машина угодила тебе и вычистила твой письменный стол, как тебе нравится.

— В бытовом педантизме наш Энгельс превзошел даже Канта,— пошутил Шорлеммер.

— Поздно отступать от привычек. Но я уверен, что впоследствии будут созданы особые предприятия с весьма обученными специалистами. Они-то и возьмут на себя все обязанности по домашнему обиходу. Это ничуть не менее важное дело, нежели любое иное. И никто тогда не будет переутомляться. Ведь на помощь придут сложнейшие устройства.

— Вот он, рай на земле для женщин! — заметила Ленхен.

— Рай? Английские феминистки добиваются другого. Кстати, на днях в знак протеста против привилегий мужчин, требуя равноправия, они побили окна в конторах Сити.

— Видно, хотят, чтобы их эксплуатировали так же, как и мужчин. Я говорю о женщинах-пролетарках, конечно. Но они-то меньше всего думают о битье стекол...

До полуночи не замолкал оживленный разговор в кабинете Энгельса. Спустя несколько дней Шорлеммер уехал.

Жизнь в доме на Риджентс-парк проходила в напряженном труде. Энгельс, помимо работы над вторым и третьим томами «Капитала» и статьями, редактировал труды Маркса и свои на французском, итальянском, датском и английском языках. И по-прежнему он писал пространные письма соратникам, не забывая вовремя отправить деньги нуждающимся старым друзьям. Каждое письмо его пронизано живой мыслью, нередко юмором и душевным теплом. Кажется, что это творения юного человека с неиссякаемой энергией, острым и веселым умом. И только огромность знаний и опыт бывалого полководца революции заставляют задуматься: столь ли молод автор необыкновенных посланий в разные страны света единомышленникам-коммунистам?

Творчество — всегда признак молодости. Старость — это молчание. Энгельс ощущал себя одной из едва видимых частичек бесконечной вселенной, и душа его никогда не слабела.

Клотильда считала жизнь ношей и хотела, чтобы она была не слишком тяжелой.

— Не воспринимайте беды чересчур трагически и, главное, относитесь менее серьезно к препятствиям и людям: это принесет вам долголетие и предохранит сердце и щеки от морщин,— любила говорить высокая тоненькая женщина, гордившаяся тем, что, имея за плечами всего двадцать пять лет, она уже давно признана мастером своего дела.

— Я не какая-нибудь дармоедка и бездельница. Мой дед, как Огюст Бланки, потерял почти три десятка лет за решеткой. Не было такого бунта против тиранов, в котором он не заслужил бы хорошего рубца. Когда я была маленькой, этот ветеран однажды показал мне, как драгоценные ордена, шрамы от пуль солдат Кавеньяка и Тьера. Ни одного ранения он не получил в спину. Вот какой человек! Кому не судьба быть убитым, нечего бояться даже кладбища Пер-Лашез. Дед подарил мне кокарду и засохшую гвоздику, которую к его груди прикрепила сама Луиза Мишель, когда он командовал отрядом, выпустившим немало крови из проклятых версальцев, прорвавшихся в Париж. Я жалею, что не была с ним в ту пору, а пасла овец у бабушки в деревне. Наверно, не хуже других детей подбирала бы патроны, которых не хватало. Но судьба этого не хотела.

Родители Клотильды, два опытных мастера-парикмахера работали на бульваре Распайль. Сначала девочка помогала им, исполняя черную работу, убирая мраморные столики, унося тазы и кувшины, подметая с пола клочья волос разного цвета — от блеклого, будто луч газовой лампы под потолком, до черных, лоснящихся, как цилиндры на головах щеголей, появляющихся по вечерам у подъезда Большой оперы.

Клотильда нетерпеливо стремилась научиться красить волосы, как ее отец, завивать, взбивать и укладывать локоны, прикрепляя к ним банты и цветы, не хуже матери. Нелегко оказалось достичь цели. Раскаленные докрасна

щипцы обжигали ей пальцы и могли испортить пряди, особенно ломкие, если подвергались воздействию перекиси водорода и были окрашены в золотистый цвет или модный бронзовый. Ножницы и бритва приводили Клотильду в отчаяние, а без них даже самый нежный затылок не был таким, как диктовала мода. Два-три небрежно повисших завитка должны были обязательно выглядывать из-за мочки уха. Клотильда понимала, сколь именно они украшают лицо, придавая ему особую женственную прелесть и вызывая нечто схожее с умилением.

— Надо любить свое ремесло, как я,— говорила парикмахерша.— Сколько раз я сама диву давалась, глядя на свою работу! Придет какая-нибудь неряха, кикимора, а уходит фея! Прическа меняет женщину. Она из будней делает праздник.

Оглядев со всех сторон голову клиентки, испытывая при этом волнение, Клотильда решительно говорила:

— Вам нельзя ни взбивать по бокам коки, ни делать корзинку. Посмотрите в профиль на свой нос. Он острый и прямой. Челку тоже уберем. Такой лоб надо показывать. Я знаю, что вам пойдет. Я уложу на вашем затылке замечательный пучок и закрою уши, как у содержанки наследника английского престола. Ее считают самой красивой женщиной на свете, но у бедняжки огромные уши. Судьба всегда справедлива. Нельзя же одному существу дать все: и красоту, и богатство, и знатного любовника, а другому — ничего. Все поэтому разделено, правда, не совсем точно, но главное — не огорчаться и не принимать плохое близко к сердцу. Этому учила меня одна маркиза, которую я причесывала несколько лет. Она выглядела на сорок, когда ей было восемьдесят, и открыла мне свой секрет. Горести должны касаться только нашей рубашки. Не ближе.

Клотильда говорила необыкновенно быстро, в то же время проворно расплетая косу и расчесывая ее легкими движениями. Затем осторожно подстригала расщепившиеся концы волос.

— Как у вас секутся волосы! Полощите их запаренной ромашкой, чтобы придать им шелковистость и блеск. Это необходимо.

Больше всего не любила Клотильда молчаливых посетительниц, с недовольным выражением лиц следивших за ее работой.

— Если вы, мадам, не будете чаще улыбаться,— говорила она с подчеркнутым состраданием,— то очень скоро состаритесь. У вас уже сейчас очень глубокие морщины между носом и ртом. Их называют скорбными, но они скорее злые и, уверяю вас, очень не нравятся мужчинам. Простите, я сейчас вынуждена сосредоточиться и не могу больше болтать.— Это было приглашением к обоюдной беседе.

Клиентки заменили Клотильде школу, которой она никогда не посещала, оставшись полуграмотной. Они стали для нее поставщиками различных новостей и сведений, заменив газету. Бульвар Распайль и прилегающие к нему улицы населяли зажиточные, нередко образованные люди, и парикмахерша очень скоро приобрела утонченные манеры, изящество и обороты речи своего квартала.

Женщины, которых она причесывала, были преимущественно многоречивы, легко впадали в откровенность, поверяя свои самые затаенные желания, обиды и маленькие тайны. Клотильда, стоя за своим креслом, узнавала многое о нравах и жизни парижанок. Чаще других в парикмахерскую приходили продавщицы больших магазинов, которые по роду своего труда обязаны быть внешне привлекательными. Они также старались всегда улыбаться, как Клотильда. Этого требовал хозяин. И девушки носили улыбку, как маску, с раннего утра до позднего вечера, добросовестно и безжизненно, похожие на балерин, напряженно отсчитывающих про себя ритм танца. Как и парикмахершам, им не полагалось присаживаться и чем-либо выявлять утомление. После многих часов стояния ступни их ног в нарядных ботинках отекали и кожа лица синела под дешевой пудрой. Они страшились перепутать однотипные коробки и подать покупателю галстук вместо фильдеперсовых чулок или перчаток. Купец в лавке или надзиратель в магазине тотчас же выгонял с работы продавщицу, если она не знала в совершенстве размеров и номеров штучных товаров, свойств и происхождения разных тканей, не могла ответить на возникающие вопросы и сомнения посетителей.

Изредка к парикмахерской подъезжала карета с гербом и появлялась какая-нибудь богатая или знатная дама.

Как-то, укладывая сотый локон на башнеобразном возвышении из волос, Клотильда впервые услыхала про генерала Жоржа Эрнеста Буланже. Женщина, до подбо-

родка закутанная в белую простыню, произнесла это имя с придыханием и многозначительно закатила глаза.

— О, вы не знаете, моя милая,— добавила она,— сколько в этом любимце богов затаенной силы, мужества, политической хватки! О нем покуда говорят с восторгом только избранные, но скоро его узнает весь мир. Франция так нуждается в сильной личности. Людям из народа надо это запомнить.

Клотильда прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Внучка коммунара была очень сообразительна, когда чувствовала опасность.

— Интересно было бы увидеть такого героя,— сладенько улыбнувшись, сказала она.— А чем мадам хочет увенчать свой шиньон? Цветами, перьями, бантом?

— О нет, моя милая, я надену старинную диадему, но позже. Кстати, вы действительно очень искусны в своем деле. Я давно не была так довольна своей прической. Не могли бы вы посещать меня на дому? Плата меня не заботит. Поверите ли, я впервые в таком ужасном заведении, как эта ваша парикмахерская, но делать нечего. Мой постоянный фигаро сегодня утром скончался, никто вовремя меня не уведомил. Через час бал в честь генерала Буланже. Вот это и заставило меня приехать сюда. Ужасно! — Она презрительно поджала губы.— Мой особняк недалеко отсюда. Хорошо, что вы мне повстречались.

— Я охотно буду причесывать вас, где прикажете.

— Отлично. Горничная или лакей придут за вами.

Важная госпожа проследовала к карете, а Клотильда придирчиво оглядела широкий зал и перегороженные, закрывающиеся бархатными алыми портьерами отдельные кабинки. Сколько тут умещалось зеркал, люстр, обитых плюшем кресел с золочеными ручками! «Красиво и богато, как в Опере»,— подумала парикмахерша, глядя на горы белых салфеток и простынь, на посеребренные тазики, фаянсовые кувшины и ведра. А воздух! Он пропах духами, пудрой, кремом и бриолином. Сколько женщин уходило отсюда, разрумянившихся от радости, улыбающихся своему изображению на зеркальных стеклах, искренне благодарных!..

«Украшайтесь еще и еще, будьте прекрасны, как цветы»,— хотелось сказать им Клотильде. Она никогда никому не завидовала, как не может творец быть врагом своего создания, и сама не знала всей силы своей

доброжелательности к окружающим, проводя в работе почти всю свою жизнь.

Клотильда не выходила замуж. Пять лет назад ее жених, работавший на газовом заводе, умер от ожогов, полученных во время взрыва. Несмотря на недурной заработок и чаевые, Клотильда жила очень скромно и отправляла большую часть денег в деревню, куда вернулись ее престарелые родители. Мать разбил паралич, и только отец с трудом занимался хозяйством.

— Когда я одряхлею, то возвращусь на родину и буду разводить там страусов и других птиц, которые не только несут яйца, но и годятся как украшения для причесок и шляп,— шутила девушка и никогда не унывала.

В квартире, где Клотильда снимала небольшую комнату, поселилась семья русского изгнанника, с которой она быстро сблизилась. Жену его звали Кларой. Фамилию легко было произносить по-французски: Цеткин.

В восьмидесятых годах XIX века, как бывало и в прошлом, Париж снова стал пристанищем политических изгнанников и беглецов. Высланные с родины немецкие социал-демократы, преследуемые охранкой русские революционеры, бунтари — поляки и румыны, часто с семьями, оседали во французской столице, с трудом добывая пропитание. В огромном городе растворялся человек, предоставленный себе. Особенно трудно было людям, профессией которых стало преподавание. Незавидная судьба так называемого «свободного учителя» вызывала жалость. Он зависел от случая, от незнакомых людей, чьих детей он вынужден был наставлять. Заплатят ли ему за уроки или обманут, урежут ли обещанную сумму, заставят ли обивать пороги, чтобы получить свой заработок?

Бывшая помощница «красного почтмейстера» Клара, приехав в Париж и поселившись в меблированных комнатах, рядом с Клотильдой, начала давать частные уроки. Ей повезло. Бойкая, хорошо воспитанная и образованная, внушающая доверие, молодая немка нравилась даже очень придирчивым матерям и отцам, и они охотно брали ее учительницей к своим детям. В редакциях газет ей давали переводы. Чтобы побывать у всех учеников, Кларе приходилось ездить в разные концы города, взбираться по сотням ступеней.

Ее ноги к вечеру мучительно болели, точно она поднималась на горные вершины, как недавно, когда надо было

переправлять через границу многопудовые тюки с запретным «Социал-демократом».

Клотильда, не любившая немцев со времен франко-прусской войны, сначала враждебно посматривала на Клару, но постепенно, помимо своей воли, прониклась к ней почтительной нежностью. Эта чужеземка искренне и по-доброму относилась к французам, таким, как Клотильда.

— Для нас все нации равны,— сказала она как-то парикмахерше. Обе они тяжело работали и очень уставали к вечеру. Придя домой, ставили на пол фаянсовые тазы с теплой водой и опускали в них усталые, перетруженные за день ноги.

— Содовый раствор великолепно снимает отек и утомление,— говорила Клотильда, передавая Кларе большой флакон.— Берите, Клер. Женщина должна быть легка на ноги, как лань. Мне не приходилось давать вам советы всегда сохранять веселье. И без того вы жизнерадостны, даже тогда, когда на ужин у вас одни песенки.

При всей своей общительности Клара была очень сдержанна, и Клотильда не решалась приставать к ней с вопросами, хотя ее очень интересовало все в этой светловолосой, румяной, необыкновенной женщине.

Когда Клара вышла замуж за Осипа, они сняли одну меблированную клетушку. Как и жена, Осип перебивался переводческим трудом и частными уроками. Через два года у молодой четы было уже двое сыновей, и оставаться в маленькой комнатушке стало невозможно.

Клотильда помогла семье Цеткин подыскать дешевую двухкомнатную квартирку, где можно было расположиться с некоторыми удобствами. Клара кормила грудью сына, возилась по хозяйству, давала уроки, выполняла много партийных поручений, а временами удивляла друзей редкими кулинарными способностями. Рабочий день этой женщины, воплощавшей кипучую жизнеутверждающую энергию, был строго определен, над ее письменным столом висело расписание по часам. Только в полночь, когда дети уже спали, она принималась за переводы и статьи и просматривала ученические тетрадки.

Трудолюбие Клары и Осипа Цеткиных не принесло им, однако, достатка. Сытыми были только дети.

Когда Осипу удавалось получить за перевод солидную плату, Клара устраивала пир. Однажды ей пришлось

поджарить около сотни бифштексов, чтобы накормить соратников. Но такой заработок перепадал редко, и Клотильда, искренне привязавшаяся к своим бывшим соседям, не раз заставала их в предельной нужде. Однажды она пришла в трагическую минуту, когда домовладелец поздно вечером привел полицию к злостным неплательщикам Цеткиным. Тщетно Клара просила его повременить с выселением, а Клотильда предложила в залог кое-что из своих вещей. Полиция ворвалась в квартиру, когда оба мальчика находились в ванне и мать купала их, набросив на себя ночную кофточку. С полуодетыми детьми на руках Цеткины оказались на улице. Кларе после долгих препирательств отдали только накидку, все остальное имущество, даже детское белье, было конфисковано в счет квартирной платы. Настала ночь, Цеткины уселись на скамейке в ближайшем парке. Никто в столь позднюю пору не пожелал пустить семью в дом.

Положение казалось безвыходным, но вдруг Клотильда в одиноко идущей по парку женщине узнала знакомую клиентку. Дама была русской революционеркой, бежавшей из сибирской ссылки и живущей в отдельной квартире.

Землячка Осипа без колебаний предложила ему свое жилище, а сама согласилась переночевать у Клотильды.

Кларе, выросшей в довольстве, пришлось познать горькую нужду и жить в лишениях, какие настигали только самых обездоленных пролетариев. Как ни крепилась молодая женщина, призывая на помощь редкую волю и целеустремленность, физические силы ей часто изменяли, она начала прихварывать. Здоровье надорвалось. Зато в изгнании ей открылась та правда, которую, живя у родителей, она никогда иначе бы не узнала: жестокая истина о нищете, неустроенности, неуверенности в грядущем дне. Клара была очень привлекательна в эти годы. Русая челка прикрывала ее лоб до самых бровей. Глаза смотрели прямо, испытующе. Когда Клара смеялась, нижние веки ее чуть-чуть вздрагивали.

Клотильда была очень набожна. Она считала религию бальзамом от разных недугов. Еще в детстве парикмахерша наслушалась печальных историй о святых. Их жертвенность была объяснима, они рвались к смерти, которая вела их в рай. Революционеры же, подобные Цеткиным, не верили в загробную жизнь и ничего не ждали за то,

что поступились всеми благами жизни, и этого Клотильда не могла себе объяснить. Прожить жизнь в постоянном отказе от всего самого необходимого, ради того чтобы сгинуть навсегда, раствориться в земле, ничего не получив взамен?.. Подобных святых не знала и католическая церковь. Она всегда сулила возмездие за зло и вознаграждение за подвижничество. Клотильда считала, что отмщения на земле нет. Примером, по ее мнению, был покойный владелец парикмахерской господин Антуан. В июньские дни он участвовал в избиениях пленных рабочих солдатами Каваньяка. И хотя он ради молоденькой любовницы свел в могилу жену, хотя он издевался над служившими у него людьми, обсчитывал их, лгал на каждом шагу, воровал, господин Антуан процветал, был во всем удачлив и стал кавалером ордена Почетного легиона. Он скопил немалые деньги, избирался согражданами в разные учреждения, стал владельцем десятка парикмахерских, всегда выигрывал на бирже и умер от удара без особых страданий, оплакиваемый кварталом, где жил в особняке, даже случайно не сделав ничего доброго ни одному человеку. Его хоронили с почестями. Он оставил своей юной жене большое состояние.

Жизнь господина Антуана убедила Клотильду в том, что небо не всегда торопится проявить справедливость. Но что же тогда давало столь завидную силу людям, подобным Кларе, ее мужу и их многочисленным друзьям? Клотильда решила проникнуть в «катакомбы», как она про себя называла клубы революционеров. Вместе с Кларой она побывала в Парижском объединении немецких социалистов, где Осип читал лекции не только общеобразовательные, но и посвященные революционной теории и тактике.

Осип Цеткин, скромный, как лучшие последователи Маркса и Энгельса, всегда чему-то учившийся, не щадящий себя, несмотря на слабое здоровье, согласно ходовому выражению американцев, «сделал себя сам». В этом он не был исключением среди своих современников-революционеров. Родившись в небогатой семье, Осип, естественно, не получил от родителей капитала в виде знания иностранных языков и первоначальных основ образования, изученных с гувернантками. Цеткин не унаследовал даже хорошего здоровья, а царская тюрьма окончательно подорвала его.

Но, наперекор всем препятствиям, он хотел быть полезным людям, высокообразованным человеком. Клара гордилась своим мужем, который многое из приобретенных знаний передал ей, способнейшей из своих учениц. Нелегальная немецкая газета «Социал-демократ» сделала Цеткина своим парижским корреспондентом. Он посылал также злободневные статьи в берлинскую «Народную газету» и венскую газету «Равенство». И хотя под ними всегда стояло только «Осип Цеткин», их порой писала и Клара, подписываясь именем мужа, так как многие редакции значительно ниже оплачивали труд женщин. Постепенно Клара становилась опытной журналисткой. Ей нравились сражения на переднем боевом участке борьбы, каким стала социалистическая печать.

Осип и его жена были связаны не только с немецкими социалистами, но и с Французской рабочей партией, где господствовали два течения: поссибилистов, боявшихся классовых схваток и стремившихся к сотрудничеству с буржуазией, и марксистов, поборников революционной борьбы. Как-то Клара предложила Клотильде пойти на собрание. Там должны были выступать Гед и Лафарг.

Клотильда думала, что социалисты встречаются где-нибудь на окраине среди развалин или хотя бы в потайных подземных помещениях. Но зал собраний вовсе не походил на катакомбы. Он был залит светом, просторен, а люди тут меньше всего напоминали аскетов и мучеников. Особенно поразили Клотильду своей представительностью и красотой Лафарги.

— Вот это светская чета! Только на королевских приемах, я уверена, увидишь таких! — громко восхищалась она, разглядывая с головы до пят Лауру и Поля. — Что ни говорите, Клер, эта дама, все равно, социалистка она или нет,— настоящая аристократка, я-то их знаю.

— Ее отец — величайший человек нашего времени, а мать действительно происходила из знати.

— Ну вот видите, значит, я права, приняв ее за принцессу. Какая осанка, движения и отличная прическа! — тараторила неугомонная парикмахерша.— А ее муж, господин Лафарг,— вельможа с каких-нибудь дальних островов, может быть с Мартиники. У него горящие глаза и профиль индийского магараджи.

Клотильда почти не слушала того, о чем говорили с трибуны ораторы, но она не упустила ни слова из разго-

вора Клары Цеткин и Лауры Лафарг, давно ставших друзьями. Обе они стремились приохотить женщин к общественной деятельности. Нелегкая была эта задача. Работницы на фабриках, швеи, модистки, вышивальщицы, корсетницы из мастерских и домашние хозяйки, жены трудящихся, мало интересовались политической борьбой партии, хотя в минуты опасности для революции храбро сражались на баррикадах и защищали истинную свободу.

К тому же у французской партии много лет не было газеты, первого учителя революционеров. Когда же наконец появился печатный «Социалист», Лаура Лафарг и Клара Цеткин принялись помогать ее распространению. Много собственных денег истратили они на покупку газеты, чтобы затем унести ее в наиболее бедные рабочие кварталы. Они становились не только пропагандистами, но и чтицами, так как не все женщины были достаточно грамотными и не все могли сами прочесть и понять статьи. На окраинах Лаура и Клара познакомились с семьями погибших коммунаров, с безыменными героинями, принимавшими участие в боях за Коммуну. Они нашли в них преданных подруг и привлекли к партии новых опытных деятельниц. Об этом говорили дочь Маркса и немецкая социал-демократка. Но внезапно на полуслове они смолкли. Клотильда подняла глаза на трибуну. Там стоял Жюль Гед, друг Лафарга, один из руководителей французских марксистов.

Бывший анархист, близко знавший Бакунина, давно стал убежденным последователем Маркса и Энгельса, одним из организаторов новой партии.

В Париже его заметили еще тогда, когда он ораторствовал в скромном кафе «Суфле» перед молодежью, увлекающейся социальными теориями и гадающей о грядущих судьбах Франции и мира. С тех пор он вместе с Лафаргом сумел завоевать сердца многих рабочих и внушить беспокойство правящей буржуазии. Если зять Маркса, значительно более сильный теоретик и тактик, чем его друг, казался всегда готовым извергнуться вулканом новых идей и мыслей, то Гед превосходил Лафарга выдержкой и склонностью к практическим действиям. Оба эти человека вызывали к себе или пылкую любовь, или лютую ненависть.

— Эти социалисты называют себя поссибилистами,— сказал Гед в тот вечер, когда его впервые слушала Кло-

тильда.— Этим все сказано. «Поссибль», возможное,— вот за что они готовы бороться. Но революционер стремится к невозможному. Невозможному — по мнению капиталиста.

Жюль Гед был великий агитатор. Он вкладывал в каждое слово и мысль всю силу сердца, убежденность, граничащую с фанатизмом, и преодолевал равнодушие любого, даже чуждого ему собрания. Это было высоким искусством, и, как подлинное искусство, оно рождалось огромной убежденностью. Клотильда чувствовала, как подпадает под влияние простых и справедливых слов оратора. Она пыталась сопротивляться этому необыкновенному человеку, такому же, как Цеткины, с их страстной и, как казалось ей, опасной верой.

Гед заканчивал свою речь:

— Мы требуем восьмичасового рабочего дня, заслуженной рабочим оплаты труда, боремся за равенство, истинную свободу, счастье трудящихся. Мы за то, чтобы невозможное стало возможным. И так будет!

Клотильда подумала о своем бунтаре-деде, много лет отсидевшем в тюрьме, и содрогнулась. Она не желала страданий, а потому не хотела борьбы. «Жизнь слишком коротка,— убеждала себя девушка,— чтобы приносить в жертву хоть маленькую ее частичку. Не надо делать зла, но и добро должно быть не во вред доброхоту. Им всем кажется, что у них три-четыре жизни и можно разбрасывать годы, как медные монеты. Но я не так легко теряю разум, не опьяняюсь речами. Все они немножечко безумцы».

Когда, низко пригнув голову, Клотильда тайком пудрила свой нос, над ее ухом раздался суховатый мужской голос:

— Вы что-нибудь потеряли, гражданка? Я помогу вам найти.

— Нет, нет, благодарю вас, все на месте.— Клотильда повернулась и взглянула на человека, сидевшего позади нее.

Немолодой, просто одетый, с черной бородкой и волосами, подчеркивавшими бледность лица, он не мог особенно заинтересовать ее своею внешностью. И все-таки в его светлых глазах застыла такая умная, располагающая к доверию усмешка, что Клотильда охотно продолжила раз-

говор. Они познакомились. Он оказался врачом Борисом Ивушкиным.

— Приходите, пожалуйста, я буду вам рада,— сказала девушка просто, когда он проводил ее до дому.

Они условились о свидании на ближайшее воскресенье. А на другой день горничная графини Юз пришла за Клотильдой.

— Мы устраиваем большой прием по случаю победы нашей партии на выборах в палату депутатов. Мой муж радикал; конечно, он избран... впрочем, вы, вероятно, ничего не смыслите в политике, да и к чему вам она,— сказала знатная клиентка, когда Клотильда принялась разогревать на спиртовых машинках несколько пар щипцов, прежде чем начать завивать ей волосы.

— Но после игры в рулетку я не знаю более волнующего ощущения, чем влиять, пусть через мужа, на дела государства. Надеюсь, что умеренные республиканцы и радикалы раз и навсегда положат конец подлинной эпидемии стачек и вечного недовольства среди рабочих. Им чем щедрее даешь, тем больше они требуют. Это напоминает аппетит одного хрюкающего животного. Не хочется называть его вслух. Неприлично.

Клотильда молчала.

— Через два дня приходите снова,— сказала графиня, отпуская мастерицу,— у вас будет тогда счастливый случай увидеть издали самого генерала Буланже. Вы сможете рассказать о нем своим друзьям. Это великий человек.

Честолюбивый сверх всякой меры, нетерпеливо рвущийся к власти, самонадеянный и самовлюбленный, жадный до женщин, пирушек и лести, генерал снискал мрачную известность как один из ревностных палачей Парижской коммуны. Сластолюбцы всегда жестоки. Он был по природе тираничен и любил давать волю своим дурным инстинктам.

Жорж Буланже не без успеха проверял силу своего воздействия и обаяния на женщинах. Подтянутый, нарядный генерал выходил всегда победителем в схватках, где противником была дама из столичного общества или привлекательная простолюдинка. Но это были всего лишь маленькие утехи в часы досуга. Первый раз он почувствовал себя действительно рожденным для больших завоеваний, когда его, по рекомендации влиятельного радикала Клемансо, назначили военным министром. Получив столь вы-

сокий пост, он постарался приобрести популярность в народе, без чего невозможно проложить дорогу к верховной власти.

Буланже, как некогда Луи Бонапарт, начал свою карьеру со словесных посулов, которые вовсе не собирался осуществлять когда бы то ни было. Он попытался расположить к себе население Франции и, главное, заполучить их голоса в час выборов и возможную поддержку, если понадобится прибегнуть к восстанию. Он хотел приобрести симпатии низших чинов армии, обещав, что сократит обязательную военную службу с пяти до трех лет. Основательно изучив технику переворотов и диктатуры, претендент на высшую власть в стране понял, что главная сила — это трудовой народ, и решил выступить в печати против участия воинских частей в подавлении стачек.

Некоторые люди обладают несчастной способностью забывать беды и унижения. Не всем дано усвоить спасительный опыт прошлого, чтобы воспротивиться любому самовластью, никогда в истории человечества не приносившему людям счастья. Буланже удалось приобрести симпатии небогатых чиновников, среднего достатка лавочников и даже части рабочих. Это было опасным признаком. Ведь действительный план генерала был рассчитан на другое. Он родился в 1837 году, когда имя Наполеона I было еще хорошо памятно. Буланже восхищался Луи Бонапартом, взобравшимся на трон с ловкостью, достойной своего дяди. Любуясь собой в зеркале, Буланже находил, что достаточно представителен и значителен для императорской короны. Его поддерживали и щедро снабжали деньгами крупные банкиры и монархисты, пытавшиеся расшатать устои республики.

После смерти бездетного претендента на французский престол, прямого потомка Бурбонов графа Шамбора, произошло слияние различных групп монархистов. Отныне ставленником их был объявлен граф Парижский, правнук Луи-Филиппа. Буланже было безразлично, из какой мошны ему дают деньги. Он не скупился на обещания, векселя, услужливые обязательства, как истый и убежденный авантюрист. Лишь бы дорваться до власти, тогда можно обмануть всех, кто помог ему добиться осуществления головокружительной карьеры. Правда, генерал был уже немолод, он приближался к пятидесяти годам. По метко-

му замечанию не менее тщеславного, чем он, но более знающего и опытного в политике дельца Клемансо, в его годы Наполеон I был уже свергнут и отправлен в изгнание. Однако Буланже, подобно каждому преуспевающему и азартному человеку, поставившему большую ставку в игре, чувствовал себя совсем еще молодым и сильным. Любившие его юные и зрелые женщины говорили ему об этом. Льстецы льнули к нему, как липкие улитки. Что может привлекать к себе больше, нежели человек, успешно завоевавший власть и славу? Но море политики в буржуазном государстве самое неверное и бурное на свете. Неожиданно челн генерала Буланже опрокинулся. Кабинет, в котором он управлял военными делами, пал. После долгих переговоров образовалось правительство из членов умеренной республиканской партии. Оно отказалось от сплочения всех республиканских сил и столковалось с правыми, обещав не противопоставлять своих требований. Был заключен мир с духовенством и консерваторами для совместной осады радикалов, поддерживавших Буланже. Это была «политика успокоения».

Генерал, видевший себя президентом, а затем диктатором, вынужден был отправиться в тихий Клермон, чтобы командовать там армейским корпусом. Его сторонники устроили в час его отъезда на вокзале шумную манифестацию и принялись ожесточенно поносить правительство. Чтобы опорочить во мнении народа неугомонного карьериста, недруги Буланже напали на его друга, начальника штаба военного министерства, и обвинили его в различных аферах. Он был смещен с поста за торговлю орденами Почетного легиона. Это был удар по Буланже. Но в ответ сторонники генерала раскрыли мошенничества зятя президента Греви, который получил огромные взятки за раздачу выгодных общественных должностей и знаков отличия. Громкий скандал разразился в Париже, где спекулятивная горячка, финансовые жульничества, взяточничество дошли до апогея, особенно среди видных деятелей различных республиканских партий Третьей республики.

Буланже, поднявшийся на гребне грязной волны, появился снова в Париже, готовый действовать и добиваться диктатуры. Президент Греви, невзирая на разоблачения всех махинаций его родственника, медлил подавать в отставку. Репутации видных буржуазных политических

деятелей лопались в эти дни, как мыльные пузыри. Смрадный чад вырывался наружу из Тюильрийского дворца, и газеты не скупились на подробности при описании всех темных махинаций в правительственных кругах. Толпа народа собралась перед палатой депутатов, чтобы потребовать выборов нового президента. Тайно прибывший в столицу Буланже вместе с радикалами, боясь, что высший пост в республике перейдет в руки нежелательного им кандидата, обещали Греви поддержку. Две ночи, прозванные «историческими», шел торг между разными группами. Заседала не только палата, но и сенат, требуя вместе с народом ухода скомпрометированного главы республики. Греви пришлось уступить, и он в пространном послании попросил своего отстранения от дел.

Клотильда увидела Жоржа Буланже в день, когда он считал, что близок час его коронования. Его тесным кольцом окружила цезаристская партия, желавшая скорейшей диктатуры. Не позднее чем через год он рассчитывал достичь цели.

Герой всегда кажется существом необыкновенным, хотя история учит тому, что истинно великие люди отличались значительной человечностью и простотой и не легко было сразу распознать их в толпе, подобно тому как в первый момент не всякий глаз отличит среди граненых подделок из стекла истинный бриллиант.

Буланже, жестокий и ничтожный, был убежден, что производит ошеломляющее впечатление даже своей величавой походкой, а в действительности он походил на расфранченного и начавшего жиреть фигляра. Тщетно Клотильда, которой графиня Юз, затратившая немало денег на то, чтобы подготовить нового коронованного кумира, и гордившаяся своей миссией, разрешила из прихожей полюбоваться генералом, искала в нем чего-либо замечательного.

«Зачем он так выпячивает грудь и надувает щеки»,— раздумывала Клотильда, глядя на упитанного военного, у которого все лоснилось — щеки, нос, волосы, сапоги, пояс.

...Вместе с Борисом Ивушкиным в жизнь Клотильды вошла радость. По-разному бывает на свете. Девушке казалось, что замужеству предшествует долгое знакомство,

испытание чувства временем. Она осуждала подруг, которые решались связать себя с людьми мало проверенными.

— Нужно посоветоваться с родителями и аббатом, у которого исповедуешься. Брак не покупка шкафа, а нечто такое, что исправить невозможно.

Но с Борисом все получилось совсем по-другому. Они знали друг друга не больше месяца, когда он сказал ей о любви и предложил поселиться вместе.

— Я революционер-изгнанник, ты должна знать все. Тебя это не пугает? — спросил он. В глазах его, сине-зеленых, всегда ясных, жили грусть, ум и легкая усмешка.

— Это хорошо, что ты русский. Подруги говорили мне, что в этой стране живут очень богатые и необыкновенно щедрые люди, которые любят наших женщин.

— А я небогат, скорее совсем беден,— улыбнулся Борис.

— И это хорошо. Ведь у меня нет приданого, и ты не сможешь упрекать меня. Я так мало нажила, что не гожусь в невесты, и к тому же я — старая дева. Мне уже двадцать семь, и никакого богатства. Все деньги посылаю в деревню родителям. Моя мечта — на старости лет жить на собственной ферме.

— Отлично, Кло. Мы с тобой ровня и, значит, будем счастливы.

В тот вечер Борис не ушел к себе, а на другой день и совсем переселился к Клотильде. Вскоре они зарегистрировали свой брак в мэрии. О церкви Борис не хотел и слушать. Клотильда утешилась мыслью, что браки заключаются не под сводами церкви, а на небесах.

Так неожиданно мастерица из салона на бульваре Распайль стала женой одного из почитаемых в марксистских кругах революционеров, члена Французской рабочей партии, друга Геда и Лафарга.

В эту пору большое горе постигло Цеткиных. Осип тяжело занедужил. Сказались лишения многих лет и непосильный труд. Его убивала быстро развивающаяся чахотка.

Безденежье острее всего ощущается, когда в доме прочно обосновывается хворь. Впервые в жизни Клара испугалась, что отчаяние подкосит ее силы. Она и сама едва держалась на ногах. Совсем неожиданно пришла помощь, отвергнуть которую она не решалась. Родители Клары,

осуждавшие ее революционную деятельность, от друзей узнали о катастрофе в семье дочери и прислали ей денег. Это позволило Осипу лечиться в хорошей лечебнице, а Кларе с детьми отправиться в Лейпциг, куда она давно стремилась, остро тоскуя по Германии. Там ей предстояло открыть в себе недюжинный дар оратора, понимаемого и ценимого слушателями.

Как артист никогда не забывает своего дебюта, хотя проходит много лет и он почти ежедневно выходит на подмостки, так и врожденный оратор сохраняет в памяти волнение, страх и радость первого выступления. Большое подпольное собрание, на котором должна была говорить Клара, было окутано таинственностью, ввиду преследования полиции, опирающейся на исключительный закон против социалистов. У входа в здание и в его коридорах стояли рабочие пикеты на случай нападения. Председатель призвал к тишине сотни наполнивших до отказа зал слушателей. Неповторимое мгновение. Растерявшаяся перед столь значительным скоплением людей Клара стояла, потеряв нить мыслей, чувствуя только прыгающее отчаянно сердце. Испуг сковал ее. Но воля, этот могучий рычаг, превозмогла все. И полилась плавная, умная, интересная речь о борьбе парижских трудящихся, о трудностях, заботах и удачах французских социалистов.

С этого дня Клара, скрываясь от родных, радующихся дочери и внукам, по нескольку раз в неделю выступала перед лейпцигскими рабочими с докладами. У нее завязалось много знакомств, появились новые друзья. Вместе со своими мальчиками она часто бывала в Борсдорфе, где жил выселенный властями из Лейпцига Вильгельм Либкнехт с семьей. Старейший вождь немецких социал-демократов по-отечески журил и поучал Клару, которая не береглась и нарушала конспирацию, что легко могло привести к ее аресту. Он уговаривал молодую соратницу поскорее ехать к больному мужу в Париж и не испытывать чрезмерно терпение полицейских драконов. Отъезд Клары был торжествен. Сотни рабочих провожали ее на вокзале. Когда поезд тронулся, они, размахивая шапками, громко возгласили:

— Да здравствует международная социал-демократия!

А в Париже, где Клару на перроне обняли Клотильда и Борис, мучительно и медленно умирал Осип Цеткин.

В довершение к туберкулезу у него парализовало обе ноги. Но мозг, казалось, хотел все объять, продумать и творить в то короткое время, которое еще оставалось ему жить.

— О, как тяжело бывает подчас жить, но умирать значительно труднее,— шептал он запекшимися, почерневшими губами. Его лечили многие врачи, но верил и слушался он только своего земляка Ивушкина.

Ивушкин и Цеткин подружились, когда одному из них оставалось жить всего несколько месяцев. Врач проводил ночи у постели угасающего друга. С ним приходила и жена, чтобы помочь Кларе по хозяйству, дать возможность в полуночные часы писать в газету заказанные статьи.

Днем Клотильда работала в парикмахерской, а Борис — в небольшом медицинском учреждении на окраине Парижа.

Цеткин крепился в эти страшные для него дни, когда проверяется воля и характер человека. Он старался, как мог, поддержать бодрость духа в Кларе и не тревожить покоя маленьких сыновей. Интересуясь всем без исключения в жизни других, он расспрашивал Ивушкина о его прошлом. Борис начинал свой революционный путь народником, окончил медицинский факультет и пошел работать в больницу заштатного городка в центральной России. То, что он увидел там, не покидало его памяти.

— Лекарь, которого я подменял,— рассказывал он Цеткину,— был немец, плохо знал русский язык и откровенно презирал своих пациентов. Крестьяне окружных деревень боялись больницы и говорили обычно, что там залечивают до смерти. Больных ко мне привозили на телегах, когда они бывали уже в очень тяжелом состоянии. Средств на лекарства не было, кормили плохо, и я сам нередко покупал дрова на свои деньги, чтобы обогреть холодное и мрачное помещение, больше похожее на тюрьму. Вспоминать все это и то грустно. Черт знает какие там были условия для больного и для врача! Выздоровевших отправляли в деревню из этой морильницы по этапу вместе с арестантами и сдавали в волости под расписку, чтобы затем взыскать с общины плату за лечение. Особенно мрачны у нас отделения для душевнобольных. Несчастных держали часто в цепях, как в каземате. Врач в селе покуда такая редкость, что крестьяне видят его

только во время рекрутчины, повальных болезней и при вскрытии мертвецов, таинственно скончавшихся. Народ предпочитает лечиться у священника, знахаря, а если попадется,— у доброй помещицы, имеющей обычно весьма смутное понятие о медицине.

Часто Борис читал Осипу различные книги по истории и однажды наткнулся на многозначительную фразу из письма короля Фридриха Вольтеру. «Я рассматриваю людей как стадо оленей в парке крупнейшего помещика,— писал прусский король,— задача которого состоит исключительно в том, чтобы населять парк».

— Вот так цинизм,— глухо, так как почти совсем потерял голос, сказал Цеткин.

— Ты прав. В этом отношении с коронованным философом из Сан-Суси конкурировал Наполеон Первый, видевший в народе пушечное мясо. У обоих монархов много общего.

— А в чем действительно смысл? — спросила вдруг Клотильда, сидевшая поодаль и, казалось, поглощенная рукоделием.

— Скажи-ка нам, Боб, что ты думаешь об этом,— подхватил Цеткин. Он слегка приподнял голову с подушки, и худоба его лица, детски слабая шея с двигающимся кадыком и огромные лучистые глаза заставили Клотильду схватиться за ручку кресла, чтобы удержаться от горестного стона. Ее вернул к спокойствию сочный голос Клары. Отложив перо, не вставая из-за письменного стола, она живо заметила:

— Эта мысль волнует умы человечества уже несколько тысячелетий. Философы жертвовали ради этого своей жизнью.

— Маркс,— с трудом превозмогая острую слабость, произнес Цеткин, и лоб его покрылся каплями пота, похожими на прозрачные зерна сагового дерева,— Маркс считал, что жить стоит ради борьбы.

— Это дивная мысль,— возбужденно согласился Ивушкин.— Формы борьбы могут быть разные, но главное — человек: бесстрашный, пытливый, многогранный. Чем вместительнее станет наша душа и мозг, тем интереснее будет жить, думать, действовать, чувствовать. Не было смысла родиться ради того, чтобы жрать, спать и услаждать свои инстинкты, подчас почти так же, как животные.

— А что такое душа? — спросила Клотильда.

— Единение, слитность ума и сердца,— не раздумывая ответил Ивушкин.

Осип слушал друга, закрыв глаза, устало уйдя головой в подушку. Страшную желтизну его кожи оттеняла белая свежая наволочка.

— Мы в долгу за то, что имели счастье жить, и обязаны воздать природе сторицей за это. Отдавая, мы берем,— прошептал он едва слышно.— Мне скоро уже не придется ни мысленно шагать по планете, ни видеть светлячков вселенной — звезды. Я уйду в сон.

В борьбе за жизнь Осипа Цеткина любовь, дружба — все оказалось бессильным. Умирал молодой человек с замечательной душой. Осип верил и ждал революции в России, а погибал на чужбине, оставляя семью и верных друзей. Это было жестокостью и бессмыслицей, которая повергала в смятение даже Клотильду, умевшую прятаться от тяжелых мыслей и переживаний, как от ливня или грозы. Думая о Кларе, она страшилась овдоветь.

— Ты должен жить, Борис, долго, долго,— заклинала она мужа, когда они возвращались от Цеткиных, унося часть печали, густо окутавшей жилище умирающего.

Однажды соседка Цеткиных сказала Клотильде, что Осип еврей. В парикмахерской она услыхала, что быть иудеем плохо. Но Цеткин, по мнению Клотильды, был одним из самых лучших людей, каких она видела за всю свою жизнь. Возмущаясь юдофобством, она сказала Борису:

— Как это дико — делить людей на чистых и нечистых. В каждом народе есть хорошие и плохие. Я часто думаю о том, зачем нужна рознь между людьми. Мы живем так недолго, а в земле одинаково гниют люди всех национальностей. И еще объясни мне, Боб, кто проверил нашу кровь. Да и зачем проверять. Мой отец, все говорят, похож на араба, а мать вылитая немка. Не надо забивать себе мозги пустяками. От этого может заболеть голова.

— Ты права, Кло,— подтвердил Борис.

Смерть всегда трагедия для человека, сколько бы ни было ему лет, как бы ни прожил он жизнь. И больше всего страдает тот, кто навсегда уходит. Никто не в силах ослабить эту муку, как бы ни хотел.

Осип Цеткин еще раз прошел по минувшему времени, мысленно земно поклонился отчизне и без слов оплакал будущее, которого не имел. Агония не пощадила его, не лишила сознания. Он умер, все видя и понимая, лишь изредка забываясь в отрывочных видениях. Тогда будто сострадательная рука покрывала на миг его лицо маской с крепким наркозом. Он так и не дожил до желанного взрыва революции. Большая процессия рабочих и собратьев по эмиграции и партии проводила его прах в могилу.

Энгельс часто болел. Он чувствовал, что тело его как бы сковано и движения поэтому крайне затруднены. Около полугода он лежал в постели или на диване. Болели руки. Только с помощью особых приспособлений он понемногу передвигался по комнате.

По совету Ленхен Энгельс решился на то, чего всю жизнь избегал: пригласил опытного секретаря, которому начал диктовать. Сверх ожидания работа быстро двинулась вперед. Лист за листом росла драгоценная рукопись второго тома «Капитала», хотя и это дело было не из легких. «...Долго разбирать почерк Маркса при искусственном освещении нельзя, если не хочешь ослепнуть»,— как пояснил Энгельс в письме в Цюрих редакторам «Социал-демократа».

Ленхен, когда ее старый друг хворал, брала на себя все без исключения заботы по дому, а также отправляла и приносила почту и ведала денежными делами.

Чем больше времени проходило со дня смерти Маркса, тем яснее становилось, как неизмеримо много потеряло человечество 14 марта 1883 года, когда остановилось сердце гения. Время, как вода, схлынувшая с айсберга, открыло все его величие и мощь, ранее невидимые в пучине. С каждым месяцем Энгельс тосковал сильнее. Когда умирает дорогой человек, ошеломленные ударом близкие вначале не в состоянии осознать, кого они лишились. Постепенно, как бы уходя вдаль, обозначаются подлинный масштаб и значимость того, кого больше нет.

Энгельс писал верному своему и Маркса соратнику по многим прошлым битвам, старику щеточнику Беккеру, живущему в Женеве: «У меня местное,— правда, временами докучливое,— заболевание, но оно нисколько не

влияет на общее состояние здоровья, и его даже нельзя считать безусловно неизлечимым; в худшем случае оно делает меня негодным к военной службе, но возможно, что через несколько лет я все же смогу опять ездить верхом. В течение четырех месяцев я не мог писать, но диктую и почти закончил II книгу «Капитала», а также отредактировал английский перевод первой книги... Беда в том, что с тех пор, как мы потеряли Маркса, я должен его заменять... Когда же мне теперь в вопросах теории вдруг приходится занимать место Маркса и играть первую скрипку, то дело не может обходиться без промахов, и никто этого не чувствует сильнее, чем я сам. Но только тогда, когда настанут более бурные времена, мы по-настоящему почувствуем, что́ мы потеряли в лице Маркса. Никто из нас не обладает той широтой кругозора, с которой он в нужный момент, когда надо было действовать быстро, всегда умел найти правильное решение, и тотчас же направить удар в решающее место. В спокойные времена, правда, иной раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в революционные моменты его суждение было почти безошибочно».

В феврале 1885 года напряженная работа над вторым томом «Капитала» подошла к концу. Энгельс договорился с давнишним издателем Маркса Отто Мейснером об издании книги, и несколько месяцев спустя книга, которую ждали с нетерпением приверженцы Маркса во всем мире, вышла в свет.

Лондон не похож ни на одну столицу Европы. Несмотря на то что в его пределах, как в любом другом главном городе, расположены биржи, парламент, рынки, театры, молельни, заводы, винные лавки и кварталы бедняков, Лондон сохраняет свою неповторимость. Одна из особенностей Лондона — чудовищное однообразие. Если Вест-Энд — фешенебельный район, включающий парки, дворец королевы, нарядные магазины, театры,— и напоминает города континента, то эта небольшая часть столицы совершенно затеряна среди бескрайнего однообразия.

Суровая пора, наставшая некогда для феодалов и короля Карла I, научила их потомков предусмотрительности и осторожности. Они сумели извлечь наибольшую выгоду из пуританского учения, ловко приспособив его

в качестве лицемерных вериг, надетых, однако, поверх охраняющей тело шелковой рубашки.

В Лондоне нет привлекающих взоры, раздражающих крикливой роскошью вилл, которые спешит построить себе континентальный нувориш, забывая об опасности быть сытым среди голодных. Жилища английских миллионеров внешним видом почти не отличаются от других скромных владений. Трудно, глядя на обыкновенную оправу этих домов-сундуков, представить себе действительную стоимость собранных в них сокровищ. А ведь за непритязательными стенами многих особняков хранятся непревзойденные коллекции драгоценных картин, скульптур, средневековой и античной утвари, восточных ковров, фарфора, древних рукописей и книг. Статуи, фонтаны, беседки, резные металлические ограды — весь этот дорогой хлам, которым без всякого чувства меры разукрашивает выставляющий напоказ свои богатства, вздымающийся Монбланом чванства европейский и американский буржуа,— не стоят и сотой доли того, что тщательно скрыто от посторонних взглядов в холле лондонского магната.

Чужеземцу нелегко свыкнуться с хмурым небом и необщительными, суровыми обитателями острова. Особенно трудно приходилось рейнландцам, привыкшим к безоблачной лазури, избытку солнца, веселым людям.

И все-таки Энгельс привык к Лондону и полюбил его, хотя, как сам говорил, был вынужден обуздать принесенную с континента жизненную энергию и понизить барометр жизнерадостности. Он убедился, что британцы прямее и энергичнее многих народов, а жизнь без полицейских придирок искупает некоторые неудобства быта. В Лондоне можно было не отвлекаться от умственного труда. А это явилось наиболее важным преимуществом для Энгельса.

В часы досуга он совершал долгие прогулки по городу с кем-нибудь из знакомых. Когда в Лондон в гости к сыну приехала писательница социал-демократка Минна Каутская, Энгельс нашел в ней интересного собеседника и выносливого попутчика в странствиях по столичным окраинам. Минне Каутской было пятьдесят лет. Несмотря на хроническую болезнь, вынудившую ее рано оставить театр, на сцене которого она достигла уже известности, Минна сохранила и складную фигуру, и моложавое лицо, на котором выделялись живые, наблюдательные глаза и

улыбка, приподымавшая уголки губ и образующая на щеках и подбородке веселые ямочки. Особенностью творчества Минны была отвага, с которой она, вторгаясь в жизнь рабочего класса, пыталась разрешить наболевшие вопросы социальных отношений. Именно это редкое свойство и привлекло к произведениям немецкой социалистки внимание Маркса и Энгельса и внушало им уважение к ее дарованию. Они считали книги Каутской не только талантливыми, но и весьма полезными для развивающегося социал-демократического движения.

Минна была умная, образованная женщина и потому резко отличалась от зазнавшихся, аффектированных писательниц, считавших себя гениальными. Она могла бы показаться даже чересчур обыкновенной, так чуждалась жеманства, оставаясь скромной и простой в обращении. Эти свойства оценил Энгельс, который ненавидел всякое кривляние и заносчивость, считая, что они, как правило, прикрывают пошлость, невежество и бездарность.

В летнее воскресное утро Энгельс и Каутская решили погулять по хайгейтским возвышенностям. Эта местность была особенно дорога Энгельсу: сколько раз рядом с Марксом мерил он здесь бугристую желто-серую землю!

По пути за город Энгельс и Каутская сошли с омнибуса на площади Марбль-Арч, чтобы пройтись по Гайд-парку. У входа в сад старушка в форме офицера «Армии спасения» и ее «вестовой» — толстяк, похожий на оплывшую свечу, с завидным воодушевлением дирижировали хором, распевающим псалмы царя Давида. Неподалеку с переносной кафедры неистовый оратор требовал независимости Палестины, а рядом проповедовал фабианец, сотрясая своим негодованием стремянку, на которую взобрался. Он доказывал, что государственные бани — преддверие к социалистическому раю. Единственная слушательница последователя супругов Вебб, глухая леди в шляпе, на которой с завидным комфортом разместилось чучело птицы с выводком птенцов, тщетно искала в сумке слуховой рожок.

Митинги на тротуаре у входа в сад исчезали и возникали, подобно пузырям на воде. К ним был совершенно безразличен полицейский, торжественно управлявший движением на ближайшем перекрестке.

Каутская и Энгельс миновали незадачливых ораторов и по густой траве Гайд-парка дошли до пруда, обсаженно-

го плакучими ивами. Городской гул остался позади, на соседнем лугу паслись овцы. Энгельс и его спутница сели на скамью. Писательница, разгребая кончиком кружевного зонта песок, взволнованно делилась тяготами своей профессии.

Путь женщины в литературе всегда тернист. Ей приходится преодолевать предубеждение, связанное с тысячелетиями неравенства, в мужчине она встречает жестокого и сильного конкурента. Еще в конце XVIII века, во времена Великой французской революции, одаренная мемуаристка Манон Ролан, жена жирондистского министра, размышляя о выборе профессии, пришла к грустному выводу: «Если книги женщины плохи, ее беспощадно высмеивают. Если хороши, их приписывают другим».

Мадам де Сталь поняла, что женщине не прощают славы. Жорж Санд не посмела выступить под своим именем и скрылась под мужским псевдонимом, чтобы облегчить путь своим книгам.

Минна Каутская писала в своих романах о рабочих и крестьянах и этим смело, как очень немногие австрийские писательницы, вторглась в новую тему, казавшуюся до тех пор скучной, убогой и изложенной лишь в форме филантропических, жалостливых описаний. Героями Минны оказались живые, деятельные люди, взывающие не к состраданию, а к борьбе.

Обо всем этом шел разговор между писательницей и Энгельсом, покуда они гуляли по окраинам столицы. День был умиротворяюще светел, и легкая дымка затянула небо.

Спустившись с хайгейтских холмов, Энгельс и Каутская пришли на Мейтленд-парк, к дому, где жил и умер Маркс, и в молчании постояли перед серыми стенами. Всю обратную дорогу Минна настойчиво расспрашивала Энгельса о его друге. А Фридрих, как всегда, когда речь шла о Марксе, охотно и неутомимо вспоминал их общее прошлое.

Вскоре мать Карла Каутского вернулась в Вену, откуда прислала Энгельсу свой новый роман «Старые и новые», рассказывающий о борьбе рабочих австрийских соляных промыслов. Минна блеснула в своей книге также знанием венского высшего общества и актерской среды.

В ответном письме писательнице Энгельс между прочим писал:

«Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политическая тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из обстановки и действия, ее не следует особо подчеркивать, и писатель не обязан преподносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов... Вы доказали, что умеете относиться к своим героям с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением».

Анна впервые очутилась в заключении. Случайность привела ее и Дейча в тюрьму. Гостиница «Фрейбургское подворье», где они остановились, находилась в эти дни под особым наблюдением, так как полиция охотилась за газетой «Социал-демократ». Как и предупреждал Моттелер, «опасный груз» был недавно обнаружен и слежка за всеми приезжавшими из Швейцарии усилилась. Русских с их огромными сундуками сочли помощниками «красного почтмейстера». Во время внезапного обыска немецкие агенты предполагали обнаружить запрещенную газету, а нашли русскую революционную литературу. Дейч был давно на особом учете, и петербургская охранка потребовала его выдачи. Между германским и царским правительствами началась оживленная переписка по этому поводу.

По поручению князя Бисмарка, статс-секретарь, рассмотрев дело Дейча и Анны, доложил первому канцлеру:

— Позволю себе заметить, что для наших политических отношений с Россией было бы полезно, если бы в этом случае мы удовлетворили справедливое желание русского правительства относительно выдачи ему опасных революционеров.

И Бисмарк обратился к баденскому министерству, в ведении которого находился Фрейбург и его тюрьма, со следующим посланием:

«Его величество, русский император, придает большое значение тому, чтобы эти опасные и замешанные в разных преступлениях нигилисты могли быть привлечены в России к ответственности. Исполнение или, наоборот, отклонение указанного желания не останется поэтому без влияния на чувства, которые император Александр питает к немецкой политике и которые мы нашей внешней политикой неустанно и с успехом поддерживали в интересах мира. По русскому государственному праву личные убеждения и чувства императора являются решающими в политике великой соседней нам страны. Ввиду этих обстоятельств, политические соображения требуют, чтобы исполнено было желание русского правительства. Если же, несмотря на все это, в выдаче будет отказано, то иностранное министерство и дипломатия принуждены будут отклонить от себя ответственность за последствия, которые вызовет этот отказ в отношениях Германской империи и России».

Так был решен вопрос о выдаче двух женевских изгнанников. Дейча после долгих скитаний по тюрьмам приговорили к тринадцати годам каторги, а судьба Анны Бах сложилась несколько иначе, так как за ней не числилось ни прежних политических судимостей, ни побегов. Только на немецко-русской границе Анна, увидев жандармов, с подчеркнутой, слащавой вежливостью заговоривших с нею, поняла, что лишилась самого дорогого на свете — свободы — и больше себе вовсе не принадлежит. Она всматривалась в лица агентов охранки, одетых в приметную серо-голубую форму, и мучительно ощущала свою полную зависимость.

Анну везли как особо важную государственную преступницу. В Петербурге она оказалась сначала в одиночном заключении. Истязанце тишиной, неизвестностью, мраком камеры, где маленькое с матовым стеклом оконце под потолком почти не пропускало света, она выносила сначала внешне спокойно. Впрочем, это неестественное спокойствие предвещало взрыв.

Издалека доносился бой крепостных часов, и куранты играли первый куплет гимна «Коль славен наш Господь в Сионе». Звуки прорывали тишину каземата с его смердящим, сырым, застоявшимся воздухом. Так прошли сутки. Внезапно Анна очнулась, охватила не только внешним, но и внутренним взором все окружающее и зары-

дала громко, охая, как деревенская баба. У волчка кто-то зашевелился. С нудным скрипом отодвинули засов, затем повернули ключ в большом висячем замке. Вошел надзиратель, совсем не страшный, бородатый и сероллицый, как тюремные стены.

— Чего это вы? — спросил он с удивлением.— Знали поди, на что идете. Как веревочка ни вейся, а все равно кончик словится,— перефразировал он старую поговорку.— Тут, в коридоре, еще господа разные находятся, а вот никто не безобразничает. Да-с.

Не поднимая головы, Анна продолжала плакать, и такая тоска была в ее стенаниях, что даже много видевший надзиратель почел за лучшее доложить начальству. Может, узница рехнулась? В этом хмуром доме такое случалось нередко.

Вскоре явился сам смотритель крепости, осанистый и бравый полковник. Он вперил в Анну рачий взгляд, пошевелил густыми, выхоленными усами и сказал с мертвящей вежливостью:

— А мы думали, что вы, госпожа Бах, вроде как бы Жанна д'Арк. Рекомендую вам успокоиться. Санкт-Петербург, как и Москва, слезам не верит. Истерика у нас не в моде. К тому же я всего лишь смотритель, мне доверено содержание преступников, а не ведение их дел. Слезы ваши, следовательно, бесцельны. Если вы не перестанете нарушать тишину своим, извините за грубость, ревом, то вынудите меня препроводить вас в места более уединенные и менее комфортабельные.

С трудом совладав с собой, разбитая душевно, Анна умолкла.

Мебели, кроме железной койки и откидного столика, а также отхожего ведра, тут не было. Нервный озноб, охвативший арестантку, усиливался от острого холода. Тоненькое бумажное одеяло, покрывавшее тюфяк, не грело. Анна принялась ходить из угла в угол.

На день заключенным давалось два фунта черного хлеба, а также миска борща и каши. К холоду постоянно присоединялся сосущий, унизительный голод. Удручало Анну и казенное обмундирование: полосатая куртка, грубое исподнее белье, чулки и шлепанцы.

Книг первое время ей не давали, а прогулка, длившаяся пятнадцать минут, только усиливала тоску. Анна жестоко казнила себя за душевную слабость, которую

никак не могла побороть. Мечась в полумраке камеры, она старалась внушить себе волю и веру в хороший исход дела. Анна призывала на помощь героические тени Перовской и Гельфман. Чтобы не страдать от одиночества, она погружалась в воспоминания и мысленно перечитала заново книги, которые знала, побывала в знакомых городах и воскресила все чувства, какие испытала когда-то. Снова выслушала она признания в любви и продумала все ошибки и удачи своей женской судьбы. Особенно мучили ее раздумья о детях и желание увидеть их, чтобы больше не расставаться.

«Какая уж я революционерка, плакса я»,— мысленно винилась Анна. Постепенно к ней вернулось не только спокойствие, но и снизошла, как она сама назвала эту безмятежность и легкость, благодать. В этот день сырой кислый хлеб казался узнице слаще пирожных из кондитерской Тортони, которые так любил покупать к чаю ее супруг. Она с добродушной иронией вспомнила о его торжественной самоуверенности и дородности. Тюрьма на время потеряла над ней свою умертвляющую власть. «Будь что будет. Надо же наконец не только на словах схватиться с произволом. Неужели жить сыто и праздно интереснее и правильнее?»

Однажды, направляясь к прогулочному дворику, Анна заметила необычную суету в коридорах, которые тщательно отмывались и чистились. Нетрудно было догадаться, что ждали какую-то важную персону. Действительно, приехал сам министр юстиции. В сопровождении большой свиты он обходил камеры и пришел также к Анне. В глазах сановника она прочла нескрываемое любопытство. Наклоняясь вперед и приложив руку ковшиком к правому уху, министр переспросил молодого человека, шедшего с ним рядом:

— Это она? Жена того самого Баха?

Анна молчала, чуть скосив серо-коричневые глаза, смотрела на неожиданного посетителя, не задавая вопросов.

— Могу вас порадовать. Мы решили перевести вас до суда в дом предварительного заключения. Вам разрешено также свидание с мужем. Скорбь его беспредельна. Бедный отец и супруг! Не пожелаете ли вы что-либо сказать? Написанные вами показания мне очень понравились своей прямотой. Но, согласитесь, матери семейства

не следовало бы ставить на карту свое будущее и обрекать детей на сиротство. Да-с! Так называемые революционерки напоминают мне кукушек. Многомиллионное государство всегда будет иметь какую-то горсточку недовольных. Но почему в их числе вы, женщина добрых правил, морали? — Министр развел руками и с театральным пафосом добавил: — Я уверен, что дорогой ценой вы, однако, обретете здравомыслие и вернетесь сокрушенною в избранное общество, которое пытались отвергнуть.

В доме предварительного заключения, куда перевезли Анну, ей вернули все вещи, вплоть до колец и часиков на длинной золотой цепи.

После оглушительной тишины, господствовавшей в крепости, здесь было шумно, как на птичьем базаре. Отовсюду доносились разнообразные звуки, напоминавшие цех большой фабрики. Вначале они причиняли Анне почти физическую боль. Но это продолжалось недолго. Выйдя на прогулку, которая длилась целых сорок пять минут, узница очутилась в маленьком загончике, который арестанты называли «скотским». Из коридоров, выходивших окнами на улицу, слышались звонки конки, игра шарманки, окрики извозчиков, цокот копыт, грохот карет и фаэтонов.

Без особого труда Анна научилась перестукиваться и охотно переговаривалась таким образом с соседями. Точно дятлы, прижавшись к стене, как к стволу, коротали время заключенные, отрывисто стуча друг другу.

Так в эти дни ожидания суда Анна узнала о казни Ипполита Мышкина, своего друга по «Народной воле». Этот человек был одним из тех, кто прошел по жизни, самозабвенно любя народ, и погиб, не стерпев несправедливости. Сын солдата, с детства жаждущий знаний и собиравший их по крупицам, военный топограф, учитель, стенограф и, наконец, владелец типографии в Москве, он родился мечтателем и правдоискателем, подлинным рыцарем революции. Малоприметный, физически очень выносливый, он отличался горячностью и неукротимостью всегда, когда сталкивался с насилием и кривдой. Увлекшись учением Чернышевского, Мышкин задумал освободить его из заключения и пробрался к захолустному Вилюйску. Когда Чернышевского вели из острога, он стрелял в казаков-конвоиров, но не отбил узника, а был

сам схвачен и осужден на каторгу. Тогда-то и началось его хождение по всем кругам ада. Мышкин, не стерпев издевательств изувера смотрителя над заключенными, набросился на него и свалил с ног. За это он был переведен в Иркутский острог. Но и там не сломился его неустрашимый дух. В тюремной церкви над гробом товарища он произнес речь, которая разнеслась далеко по России. Мышкин бросил вызов царизму. Арестанту прибавили еще пятнадцать лет заточения.

Спустя два года Мышкина привезли на Кару. Он бежал с каторги, но во Владивостоке был опознан и пойман. Мышкин стал уже легендой. Его решили заживо похоронить, поместив в Шлиссельбург, но ничто не могло усмирить этого вольнодумца, который надеялся один на один сразиться со злом даже в каменном мешке, будучи осужденным более чем на двадцать лет.

Не стерпев произвола и пыток, которым беззаконно подвергали в казематах узников, Мышкин восстал и попытался расправиться с местным жандармским начальником, доведшим до самоубийства и умопомешательства нескольких арестантов. Военный суд приговорил Ипполита Мышкина к расстрелу. Он был казнен на плацу Шлиссельбургской крепости. Там же зарыли его труп.

Тяжелая это полоса была в жизни России. Тюрьмы заполонили «политики». Казни должны были навести страх на смельчаков, осуждавших порядки Александра III. Боязнь покушения делала царя пленником телохранителей, жандармов, которые, почувствовав себя хозяевами положения, раздували слухи о заговорах. Террор правительства обрушился на студенческую молодежь, на все передовое, истинно гуманное в стране.

«Бедная моя родина,— думала Анна,— но как безмерно исстари богата Россия талантами и выдающимися людьми!»

Бесстрашные, как Сусанин, многогранные, как Ломоносов, поэтические, как Некрасов и Кольцов, несгибаемые и мудрые, как Чернышевский и Герцен, неунывающие и человеколюбивые, они будто генераторы мыслей и чувств, где господствует свое особое высоковольтное напряжение. И тюрьма, где томились и часто гибли лучшие сыны и дочери России, больше не пугала Анну. Ей легче дышалось в смрадной камере. Она знала, что среди многочисленных узников находится Герман Александрович Ло-

патин. Он был вырван из жизни в 1884 году. В эту пору в разных городах арестовали много людей по делу Лопатина. Приехав из-за границы и задавшись отчаянной, обреченной на неудачу целью возродить разрушенную организацию партии «Народная воля», Герман Лопатин завел обширные знакомства. Не допуская мысли о провале, он просто записывал на листке бумаги, не шифруя, фамилии и беглые характеристики своих единомышленников, а также случайно встреченных людей. Жандармы схватили Лопатина на улице, налетев внезапно сзади и закрутив ему руки за спину. Как ни отбивался он, чтобы успеть проглотить находившийся при нем список имен, это ему не удалось. Самонадеянность и оплошность, обычно несвойственные опытному конспиратору, дорого обошлись многим людям. Некоторые из них даже не успели определить свои политические симпатии, как оказались под арестом.

Хотя министр юстиции позволил Иосифу Федоровичу Баху свидание с женой, купец не торопился воспользоваться разрешением. Правда, он отправлял Анне деньги, одежду и продукты, но под описью вещей ставил короткое «от семьи».

Через месяц в камеру Анны прибыл присяжный поверенный Станичевский, которому предстояло защищать ее на суде. Несколько лет назад этот модный, дорогостоящий адвокат бывал у нее на званых обедах. Она хорошо запомнила его лицо с бородкой а-ля Генрих IV, которая должна была скрыть почти полное отсутствие подбородка и изменить профиль, сократив его огромный, как бы перебитый посредине нос (правда, дамы, которым он нравился, сравнивали Станичевского с Сирано де Бержераком). Но особенно неожиданными и неприятными были на большом и рыхлом лице знаменитого адвоката его маленькие, почти без ресниц глаза с красными ободками больных век.

Положив на стол палку с серебряным набалдашником, он сказал:

— Анна Павловна, голубушка, вот где я не хотел бы встретиться с вами. Но жизнь — это мышеловка. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Как же вам все-таки выбраться из столь плачевного положения? Будем действовать...

— Простите,— прервала элегантного защитника Анна,— я хотела бы знать, почему вы взяли на себя столь нелегкое дело. Я сама сумею постоять за себя на суде.

— Уважаю, голубушка, любые убеждения. В наш век, когда бессмертные жены декабристов показали, на что способна русская женщина, ничто уже не может удивить мыслящего человека. Теруань де Мерпкур, мадам Ролан и вот теперь вы, представительница высокого духа великой России. Вы, в чьих жилах кровь истинного дворянства. Я должен выиграть ваш процесс. Должен. Хотя это сопряжено с большими трудностями. Но кто не дерзает, тот не выигрывает. Увы! Обстоятельства дела и показания свидетелей отяжеляют вашу судьбу. Некто Мирский Леон Филиппович, студент-медик, обвиненный в покушении на жизнь шефа жандармов Дрентельна, указал, что вы состояли в террористической организации, знали о предстоящем цареубийстве. Как видите, положение ваше столь опасно, что без умелой защиты вас ждет каторга. Знакомство с Перовской, Гельфман...

Довольный произведенным впечатлением, адвокат показал Анне свой необыкновенный профиль.

«Значит, Мирский — предатель,— не отвечая Станичевскому, размышляла Анна, тщетно стараясь припомнить лицо этого человека. — Как давно он уже заточен? Кто-то стучал мне, что его много лет держат в Алексеевском равелине и собираются повесить».

Анна, как и другие заключенные, не знала, что Леон Мирский, спасаясь от виселицы, стал матерым провокатором. Перестукиваясь с соседями, он вызывал их на откровенность, выведывая партийные тайны, и немедленно сообщал все тюремной администрации. Так он провалил готовившийся побег одного из важных политических заключенных. Жандармы не оставались у него в долгу, и хотя Мирский и не получил свободы, но жил вольготно, кормили его досыта, и «тридцать сребреников» Иуды заменялись фруктами и сластями. До конца своей жизни Мирский так и не был раскрыт революционерами как предатель.

Защитник по-своему объяснил неразговорчивость узницы.

— Неужели вы не хотите доверить мне своей судьбы? Напрасно. Я человек либеральных взглядов и не люблю насилия, от кого бы оно ни исходило. Дело ваше я уже

изучил досконально и уверен, что мы его не проиграем. Надо добиться вольного поселения. У нас есть козыри: мать семейства, жена уважаемого человека. Теперь все зависит от вас, от степени любви к своим близким.

Раскланиваясь, как на светском рауте, и улыбаясь сообщнически, Станичевский удалился.

А через день Анну вызвали на свидание с мужем.

Никогда она не предполагала, что встреча эта принесет ей столько муки. Иосиф Федорович явился в черном сюртуке и выглядел так торжественно и мрачно, точно пришел на отпевание или погребение. Даже носовой платок, которым он часто протирал стекла очков в золотой оправе, был почему-то с темной каймой. Он глубоко вздыхал и смотрел на жену, как на покойницу.

— Вот как довелось нам встретиться, Нюра,— сказал он почему-то аффектированным шепотом и добавил по-английски: — Офул, офул.— А затем, как бы переводя это слово тюремному служащему, пояснил: — Ужас, ужас!

— Ничего особенного. Право же, здесь лучше, чем, например, в некоторых ночлежках, на которые вы жертвуете деньги. А публика вокруг просто-таки избранная.

— Да-да, о времена, о нравы,— растерянно подтвердил господин Бах.— Дети так соскучились по тебе! Ты ведь была безупречной матерью. Что же теперь с ними будет? — С лица купца вдруг как бы упала маска печали, и оно стало злым, разъяренным.— Вы меня поставили своим поведением в позорное, нелепое положение. Сколь двоедушны вы оказались! Морочить меня за все то доброе, что я сделал для вас и вашей семьи. Взял бесприданницу, женился, ни с чем не считаясь. Так одурачить мужа могла бы только совсем потерявшая себя женщина. Чего вам не хваталю? А? Брильянты, выезд, деньги на тряпки и прихоти, все вы имели и, однако, предпочли общество моральных уродов, стриженых истеричек и немытых голодранцев. Вы монстр, как все нигилистки, которых я сам бы перевешал на фонарях Невского проспекта, чтобы неповадно было остальным. Ничего в вас не сохранилось: ни веры, ни доброты. Вы аморальная женщина.

Анна, нахмурив брови, молча, внимательно рассматривала человека, с которым прижила четверых детей,

оставаясь ему верной женой. И он по-своему любил ее когда-то. Правда, не так сильно, как ненавидел сейчас.

— Я согласна на развод,— предложила Анна мужу.

— О нет, это слишком просто,— возразил Бах.

— Понимаю. Вам приятно чувствовать себя моей жертвой, принимать знаки соболезнования знакомых и предержащих властей. Как трогательно! Несчастный, обманутый в лучших чувствах супруг. Жена, представьте, оказалась ре-во-лю-ционеркой. Такой фабулы не было еще в светских романах.

— Вы смеете издеваться? И это за все, что я сделал, чтобы спасти вас от кандалов, от падения в пропасть! Это уж слишком. Я готов заподозрить, не болен ли ваш рассудок, или же вы неисправимы в своих заблуждениях. Так можно кончить виселицей. Вы могли бы подумать об имени, которое носите.

— Чего вы хотите?

— Подпишите покаянное прошение на высочайшее имя, остальное я возьму на себя. Царь милостив. У меня есть заслуги перед престолом. Вы уедете в мое имение на несколько лет, и все будет забыто. Я тогда буду готов ради семьи простить вас.

Анна не могла сдержать улыбки.

— Никогда,— сказала она просто и тихо.

Надзиратель объявил, что время свидания кончилось. Последних слов мужа: «Тогда пеняйте на себя»,— Анна не услышала. Стук захлопнувшейся за ней двери заглушил их.

Приближались святки, наиболее веселые дни в Англии. Христмас — это слово дорого всем живущим на острове. Наступлению праздников предшествует радостная суета и оживление, которыми охвачены лондонцы от мала до велика. Начинается лихорадка покупок. Все готовят друг другу подарки. Россия, Бельгия, Франция, страны Скандинавии и Южной Европы отправляют английским магазинам в удвоенном количестве битую птицу, муку, фрукты и ягоды, рыбу и цветы. Бойко идет распродажа товаров, не находивших покупателей в течение всего года. На прилавках расставлены горы серебряных и фарфоровых столовых и чайных сервизов, цветочные вазы, тяжелые лампы, костяные божки, плетения Индии, кружева с ост-

ровов Святой Елены и Мартиники, шкуры зверей и драгоценные камни из Южной Африки.

В одном из самых посещаемых универсальных магазинов в витринах плясали вокруг елки гномы и эльфы. Владельцем этого многоэтажного склада вещей был миллионер Сульфридж. Сульфридж некогда чистил сапоги, продавал газеты в Америке, прежде чем, проявив предпринимательский нюх, изворотливость и мертвую хватку, сумел спекуляциями обогатиться в смутные годы кризисов и разорений. На биржу он пришел в качестве клерка одной из нью-йоркских контор и сразу же удачно купил акции. Никогда не теряя присутствия духа, он скупал за доллары английские бумаги, когда фунт падал, приобретал дома, предназначенные на слом, за бесценок брал оптом товары, на которые не было спроса. Будучи американцем, не имея за плечами тянущего ко дну мешка с каменными феодальными традициями и правилами поведения, Сульфридж копил деньги и стал купцом, банкиром, предпринимателем. Чтобы расширить свой магазин, он скупил все дома на прилегающих улицах.

— Торговля строится на жертвах,— говорил он, снося богадельни, школы и церкви.

Разбогатевший до многозначных цифр, бывший люмпен-пролетарий породнился с аристократией, выдав дочь за графа, не имевшего никаких достоинств, кроме пустозвонного титула.

В дни Христмаса на всех прилавках Англии лежат подарки, будь то набор иголок и ниток в нарядной коробке, собачьи ошейники, кухонная посуда, игрушки или проспект и фотографии обстановки для шестикомнатной квартиры, карета, двухколесный шарабан и яхта. Поставщик многомиллионного среднего сословия, Сульфридж учел пожелания покупателей и их возможности.

В подвальном отделении огромной лавки горничные из особняков богатейшего и чопорнейшего Гровенор-сквера находили модные платья почти вроде бы такие же, какие видели на своей госпоже. Но это была всего лишь скверная подделка, как все купленное в помещении дешевых вещей. Тут можно было достать жемчуга из рыбьей чешуи, ботинки на картонной подметке, сумки из клеенки «под кожу», серебряные ложки из таинственных сплавов металла и хрустальную посуду из стекла. Это была свал-

ка брака и хлама, который удачно укреплял иллюзии и осуществлял мечту. Официантки из ресторана, продавщицы, служанки находили здесь товары по доступным им ценам. Подделки из стекляруса и бус доставляли им ту же радость, что господам, которых они обслуживали, предметы прославленной роскоши.

На первом этаже магазина продавались вещи, похожие на те, что лежали в подвале, но качеством выше. Здесь одевались клерки, мелкие чиновники, владельцы лавок из провинции, средней руки фермеры. И только на третьем этаже были вещи, за добротность которых купец отвечал. Но цены на все предметы выставлялись тут такие, что редко решались подняться в этот отдел покупатели снизу, разве чтобы посмотреть на манекены, разодетые по последней моде.

Элеонора и Эллен, племянница Энгельса по покойной жене Лиззи, закупали подарки. Устав, они зашли позавтракать в ресторан на площадь Марбль-Арч, подле Гайд-парка. Это был зал, рассчитанный на то, чтобы поразить малоразборчивого посетителя великолепием потолков, размалеванных изображениями дельфинов, морских звезд, крабов, обвитых гипсовыми водорослями колонн и замысловатых ламп-раковин — всеми атрибутами морского царства в наивном представлении неискушенных людей. С зеленых стен улыбались дебелые сирены, более пригодные в качестве эмблем для вывески добросовестной прачечной.

Доедая вываренную до полной потери вкусовых особенностей камбалу с гарниром из брюссельской капусты, Элеонора сказала Эллен, которой как нельзя более подходило ее прозвище Пумпс, так много ямочек было на ее пухлом лице:

— Не правда ли, пища здесь такой же суррогат, как и живопись, от которой у меня начинается морская болезнь.

— А у меня рябит в глазах, и мне хочется ради пользы человечества взять кисть и забелить всю эту мазню. Нельзя же пичкать людей подобной дрянью безнаказанно,— ответила Эллен.

— Боюсь, что тебя бы линчевали. Убеждена, что очень многим все здесь кажется прекрасным. Очевидно, воспитание чувства красоты не такое уж легкое дело. Тут тоже надо пройти через периоды дикости и варварства.

Дядя Фридрих мог бы рассказать нам, как и почему формировался вкус у людей. В Африке есть племена, которые превыше всего ценят женщин с длинными шеями. Когда рождается девочка, ее шею окольцовывают и каждые полгода прибавляют новый ободок. К совершеннолетию она становится похожа на жирафа или страуса, и, если кольца снять, бедняжка умирает. А серьга в носу или черные зубы у некоторых островитян Малайи?

— Ой, как много ты знаешь. Разговор с дядей Фредом и с тобой все равно что курс лекций в Оксфордском университете.

— Неужели с нами так скучно и тяжело? — улыбнулась Тусси.

— Ты ведь моя первая учительница. Мы с мужем слывем, в свою очередь, весьма учеными людьми. А это так льстит самолюбию.

Обе молодые женщины рассмеялись и, быстро покончив с пудингом и мороженым, вышли на улицу.

Вечером, за большим праздничным столом у Энгельса собрались Эвелинги, Каутские, Эллен с мужем и Шорлеммер. Настроение у всех было вначале невеселым из-за смерти одного из друзей Маркса и Энгельса, старого коммуниста Боркхейма.

— Пули падают в наш квадрат. Валятся старые ветераны, могучие дубы,— посасывая сигару, негромко заметил Энгельс. Помолчал и, распрямив плечи, поднял бокал, предлагая тост за густую молодую поросль социалистов во всем мире.

— Помнишь, как надрывался Боркхейм, работая еженощно до рассвета, чтобы изучить русский язык в небывало короткий срок по ему одному ведомому методу,— вспомнила Элеонора.

— Да, он занимался, даже будучи тяжело больным, и не только русским. Он полемизировал, как писал мне твой отец, с самим богом и чертом,— сказал Энгельс.

— Кажется, незадолго до Парижской коммуны Боркхейм был при смерти, и мы все очень за него тревожились. Мавр, несмотря на то что сам был очень слаб после болезни, отправился навестить его. У него подозревали тогда тиф,— добавила Ленхен.

— Никто не хотел бы такой жизни. Последние двенадцать лет бедняга провел в постели. Чахотка съедала его. Он был почти полностью парализован, но переносил

свои страдания, как настоящий стоик: мужественно и с юмором.

В разговор вмешался Карл Каутский:

— До самого конца Боркхейм не переставал следить за социальными схватками и до дыр зачитывал «Социал-демократ». Он был когда-то отличным публицистом. Жаль его. Но что же делать... Повторим вслед за Шиллером:

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий.

Ужин был превосходен. Об этом особо постаралась Ленхен, которой в стряпне помогала Тусси. Не обошлось без традиционного пудинга с коринкой, украшенного ярко-зелеными колючими ветками остролистника. Маленькая елочка, освещенная разноцветными свечками, украшенная игрушками из ваты, пестрыми шарами, золочеными орехами и отборными яблоками, выглядела красиво. Глядя на деревцо, Энгельс вспомнил большой чопорный дом в Бармене, отца в черном сюртуке, читавшего нараспев Библию и Евангелие в рождественский вечер всему многочисленному семейству, мать, жизнерадостную, остроумную...

Вокруг Энгельса в этот вечер были молодые, счастливые, влюбленные люди. Всего, что ранее омрачало союз Элеоноры и Эдуарда, теперь больше уже не существовало. После свадебного путешествия в горы Девоншира они вернулись преображенными, страстно привязанными друг к другу. Эллен-Пумпс давно уже была замужем и растила детей. Энгельс напомнил ей, как лет шесть назад, до брака, была она увлечена Карлом Каутским. Тот отвечал ей взаимностью, но так долго анализировал свое чувство, что девушка, не дождавшись признания, избрала другого. Теперь и Каутский был женат. Его жена Луиза была очень предприимчивая, деловая и несколько сентиментальная женщина. О ней Ленхен как-то сказала Тусси: «Луиза не Пумпс. Не успел Каутский подумать о том, нравится она ему или нет, как очутился уже в кирхе и был обвенчан. Эта девушка не даст мужчине опомниться. Она вполне эмансипирована».

— Только мы с тобой, Шорлеммер, да еще наша Ним — бобыли,— пошутил Энгельс.

— Послушайте, Карл,— спросил Шорлеммер Каутского, когда, по английскому обычаю, после ужина мужчины,

оставив ненадолго женщин, перешли курить и отдыхать в кабинет,— как могло случиться, что поначалу вы не поняли Маркса и пытались даже выступать против него?

На большелобом, ширококостом лице Каутского с нахмуренными жидкими бровями и напряженным взглядом из-под очков в металлической оправе ничего не отразилось. Так бывало всегда, когда к нему обращались. Казалось, он что-то обдумывает и сейчас разразится длинной и бурной тирадой. Но отвечал он тихо и сухо.

— Дело в том, что я еще до введения исключительного закона окончил сравнительно большое произведение — «Влияние размножения населения на общественный прогресс». Оно, по существу, было направлено против Маркса. Я, видите ли, смертельно боялся подпасть под влияние какого-либо авторитета или школы и, считая себя самостоятельно мыслящей личностью, дорожил такой свободой. С враждебностью и недоверием приступил я к изучению произведений Маркса и ваших, Генерал.

— Это весьма интересная исповедь,— оживился Энгельс.

— Чем меньше я понимал сущность, тем выше поднимался в собственном мнении, высмеивая «односторонность» — ставлю это слово в кавычки — Маркса и Энгельса и чувствуя неодолимую потребность раскритиковать и разделать их в пух и прах.

— Презабавно,— вырвалось у Шорлеммера, жадно слушавшего Каутского.

— Я мечтал превзойти Маркса и Энгельса. Признаюсь, это было самонадеянное невежество. Но оно принесло мне большую пользу. Теперь, пройдя через эту болезнь, я не только исцелен, но и закален и сразу узнаю признаки подобного заболевания у школяров социализма, у безнадежных невежд и зазнаек, которые, как и я некогда, мнят себя научно зрелыми и передовыми. «Превзойти» — опять-таки в кавычках — Маркса несравненно проще, нежели понять его, и я тоже начинал с этой более легкой задачи.

Вскоре все мужчины вернулись в гостиную, где находились Тусси, Эллен, Луиза и Ленхен. Завязалась общая веселая беседа.

Карл Каутский оживился и принялся рассказывать о Вене, где вырос.

— Отец мой был чех, а мать немка,— таким образом, я несу в себе также, а может быть, главным образом славянское начало. Я родился в Праге, но в одиннадцать лет оказался уже в Вене и, как чех, ненавидел поработителей родины отца — австрийцев. Чехи были в годы моего детства наиболее преследуемы и угнетены в блестящей Австро-Венгерской империи. Как я мечтал о чешской республике, сочувствовал коммунарам, изучал французскую революцию и зачитывался Гейне, Боклем и немецкими дарвинистами Эрнстом Геккелем и Людвигом Бюхнером!

— Вы всегда отдавали предпочтение книгам перед людьми,—сказала Эллен, вспомнив, как стеснителен и замкнут был Каутский, который так и не решился сказать ей о любви. Она дразнила его, кокетничая с другими, но не дождалась объяснения. Как большинство женщин, Эллен не могла ни забыть, ни простить такого пренебрежения или робости, хотя давно любила другого, имела семью.

Но и сейчас Каутский остался невозмутим.

— Действительно. Я пришел к марксизму умозрительно, как к единственно правильной науке.

— А я, как поэт, влюбившись! — громко воскликнул Эвелинг, поблескивая широко открытыми глазами, и добавил: — Я хотел бы переложить «Капитал» на музыку, если бы природа не лишила меня не то что дара композиции, но и приличного слуха. Это тем более досадно, что моя Ирландия — страна мелодий.

Настроение у собравшихся заметно улучшилось, и, когда Шорлеммер предложил испытать Эвелинга и заставить его исполнить какую-нибудь народную песню, все бурно присоединились к этому. Эдуарда выручил Энгельс. Он спел с ним несколько шуточных ирландских и шотландских песенок. Затем пришла очередь женщин. Элеонора прочла монолог Порции из «Венецианского купца».

— Боже мой, какую большую актрису потерял театр! Да ведь она не хуже Эллен Терри,— сказала Луиза Каутская взволнованно.

На мгновение лицо Тусси слегка помрачнело. Но, встряхнув темными вьющимися, очень густыми волосами, она как бы отогнала гнетущую мысль, и снова заблестели черные глаза с голубыми ободками белков. Никогда младшая дочь Маркса не была краше, чем сейчас. Могучий интеллект, доброта и жизнеутверждающая сила, иногда

пугавшая ее самое, щедрость, не знавшая предела нежность и любовь, дающая счастье,— все это прорывалось наружу, как ослепительный свет, и делало ее прекрасной. С материнской тревогой посмотрела на нее Ленхен и тотчас же пытливо перевела глаза на Эдуарда. Он был общителен, умен. Поведение его казалось искренним, но иногда вдруг проскальзывала едва видимая рисовка, и наблюдательная старая женщина поймала его быстрый взгляд в зеркало и самодовольную улыбку, пробежавшую и тут же исчезнувшую, будто тень.

А Эллен в это время говорила о новых модах, о выставке картин в Тет-Галлери, о предстоящих гастролях итальянских певцов и о том, что у мужа так много дел, что каждый день он возвращается домой усталым и с ним от этого скучно. Луиза слушала ее покровительственно, как маленького, избалованного, милого ребенка. Жена Каутского увлекалась политикой и социальными битвами.

Оставив Эллен, Луиза подсела поближе к Энгельсу, на которого смотрела с нескрываемым восхищением.

Речь шла о Германии и о ближайших ее перспективах. Энгельс, несмотря на свои шестьдесят пять лет, казался нисколько не старше всех собравшихся. Лицо его, когда он говорил о том, что его особенно живо интересовало, еще более молодело. В волосах не было ни одной седой пряди, и серые, чуть близорукие глаза по-юношески задорно блестели. Эластичности кожи на его лице мог бы позавидовать каждый из тех, кто годился ему в сыновья. Совсем молоды были и его сильные, большие, неспокойные руки. Не считая себя умелым оратором из-за легкого заикания, он не любил произносить длинных речей с трибуны, но легко увлекался в застольном разговоре и был замечательным собеседником. Стремительность его мысли, образность и богатство словесных красок в сочетании с моложавостью, прекрасной осанкой совершенно уничтожали ощущение преграды, какая невольно возникает между людьми разных поколений. Молодежь тянулась к Энгельсу, как к равному, и он не только не разрушал этого ощущения, а поддерживал его и легко переходил на «ты» с совсем еще юными, если они сумели внушить ему уважение к себе.

В этот вечер среди любящих, преданных друзей Энгельс говорил с особым воодушевлением:

— Я верю, все движется к намеченной нами цели. Опыт подтверждает, что настоящему искусству воевать мы обучаемся в боях, на войне. Что ж, история, думается, и дальше не лишит молодых революционеров этой школы. Но умелое маневрирование подчас стоит сражения. Тактика в военном деле очень часто важнее бессмысленной отваги. Право же, можно дать почувствовать железную руку сквозь бархатную перчатку, но необходимо, чтобы враг при этом ощутил твою силу.

Каутский, наморщив большой и вместе с тем плоский лоб и пошевелив жидкими бровями, изрек своим сухим, лишенным гибкости, скучным голосом:

— Наши немецкие соратники маневрируют довольно ловко и плывут, как Одиссей, между Сциллой и Харибдой.

— Да, они напоминают мне иногда канатоходцев. Гонения на социалистов, как и положено по законам диалектики, принесли партии не только жестокий вред, но и кой-какую пользу,— вставил Шорлеммер.

— Правильно, Карл.— Энгельс протянул химику бокал своего любимого рейнландского вина.— Лишь благодаря упорному и умному сопротивлению мы стали силой и заставили филистеров уважать нас. Того, кто идет на уступки, филистер всегда презирает. Выпьем же за нашу победу! Она неизбежна!

Лаура Лафарг, по общему мнению, была красивейшей из дочерей Маркса. В сорок с лишним лет она сохранила редкую моложавость лица и юную стать. Как и Элеонора, она обращала на себя внимание удивительным цветом лица и волос. Но высоко взбитые кудри были у нее не темными, как у младшей сестры, а того особенного цвета меди и бронзы, который так прельщал художников эпохи Возрождения — Тициана и Гвидо Рени. Лаура унаследовала от шотландских предков по матери яркий цвет густых и длинных прядей, их она укладывала башенкой по английской моде, спуская вдоль ушей по три тугих локона.

Не у многих женщин, выросших в городах, остается столь естественный румянец, как бы наложенный пастелью на округлые, упругие щеки. Продолговатые глаза ее, зеленовато-карие, с золотистым отливом, всегда со-

храняли искреннее, ласковое выражение с печатью грусти, которую наложила смерть троих детей и многих близких. Выпуклый лоб, смелый разлет густых дугообразных бровей и небольшие, женственно мягкие нос и рот были прекрасны.

«Красавица»,— говорили прохожие, заглядываясь на тоненькую женщину чуть выше среднего роста, всегда изящно одетую. А Париж знает толк в красоте.

Хорош собой был и муж Лауры, которого хлесткие репортеры часто сравнивали с кем-нибудь из титулованных придворных XVIII столетия. Поль Лафарг — один из вождей рабочего движения Франции — выглядел действительно как представитель старой аристократии. Атлетически сложенный, с высокой шеей, увенчанной большой головой, с соразмерными чертами лица, бритым волевым подбородком, сильным носом и правильным лбом, уходящим под непослушные волнистые волосы, он всегда казался собранным и, однако, очень вспыльчивым. Трудно было найти натуру более деятельную, неукротимую. Лафарг был сама энергия и страсть. В течение дня он успевал переделать множество дел. И ни одно из них не обходилось без Лауры, ее совета и помощи.

Лаура обладала незаурядными литературными способностями. Одним из ее прозвищ в семье родителей было «поэтесса». С годами она все реже писала стихи, посвятив себя преимущественно работе над переводами серьезнейших философских, экономических и политических трудов. Ее речь была богата красками и неожиданными оборотами. Даже Энгельс посылал свои переводы для проверки Лауре и ее мужу. И во французском языке, родном для Лафарга, Лаура стала непререкаемым судьей.

Стиль отца был ей особенно близок, и, сверяя французский перевод статьи Маркса о Прудоне, сделанный Энгельсом, она довела текст до совершенства, воскресив все своеобразие языка автора. Энгельс, отправляя рукопись в Париж, писал: «Маркс не из таких людей, которых можно переводить на скорую руку. Надеюсь, что Лаура добьется того, чтобы текст был передан хорошо и точно...»

Столь же превосходно, как немецким и французским, владела Лаура английским языком, и Энгельс просил ее взять на себя перевод одной из глав «Капитала».

Лафарги обжились в Париже, привязались к своеобычному городу. Чем моложе и деятельнее человек, тем

шире его дом. Он не довольствуется только тишиной своей рабочей комнаты.

Лаура и Поль отлично знали город. Каждая его улица, кафе, театр, рынок как бы дополняют отдельное жилище, становятся его частью. Этим французская столица чем-то отдаленно родственна общительной, веселой Вене, значительно разнится от недоверчивого, скучного Берлина и особенно от глубоко эгоистического Лондона. Нигде в мире не завязываются так легко знакомства и не отступает одиночество. Темперамент прохожих зажигателен, и достаточно искры, чтобы вспыхнул интерес к первому встречному человеку. Повсюду толпились русские, американцы, англичане, поляки, скандинавы, и все они хотели походить на парижан.

Каждый район Парижа отличался от другого, подобно его обитателям. Монмартр издавна арендовали дети муз. Сент-Оноре заняли породнившиеся с титулованными банкротами богачи, улицы округа Пуассоньер оккупировала, застроив своими крикливыми особняками, крупная торговая буржуазия, на Шоссе-д'Антен расположились банки и их владельцы, а Сен-Жерменское предместье сохранили кичащиеся геральдическими знаками и древностью рода дворяне, мечтавшие о королях. Вокруг этих невидимых бастионов селились рабочие, служилая голытьба, студенты и мелкие рантье.

Биография революционера конца XIX века включает обычно и время, проведенное в заключении. Гед и Лафарг не были исключением из этого горестного правила. Их выступления с трибуны не раз завершались арестом. Полиция, исказив в протоколах смысл их речей, обвиняла руководителей социалистической партии в подстрекательстве к убийствам.

Поль Лафарг несколько месяцев провел в тюрьме Сен-Пелажи, одной из старейших в Париже. В ее стенах в годы Великой французской революции сидели оставившие четкий след в истории бойцы, сражавшиеся по обе стороны баррикад,— республиканцы и монархисты. Лафарг любил странствовать по прошлому, мысленно оживляя его. В затхлых тюремных коридорах, где камни хранили невидимые отпечатки тысяч человеческих ног, Поль вспоминал якобинцев и жирондистов, участников «Заговора равных» Бабёфа, пытавшихся воспротивиться произволу буржуазной директории, народных бойцов революций

1830 и 1848 годов и героев Коммуны. В тюрьме Лафарг и Гед много читали и писали комментарии к программе Французской рабочей партии.

Лаура всегда, когда муж отправлялся в пропагандистскую поездку, готовилась и к тому, чтобы встретить его невредимым, и к тому, чтобы отправиться с протестом в полицию и с передачей в тюрьму. Она не теряла присутствия духа, выслушав от какого-либо посланца Лафарга, что он задержан. Как-то весть об аресте Поля принес ей один из его соратников по партии и одновременно вручил переданный мужем букет ярко-зеленых листьев салата, который должен был быть в этот день съеден за семейным столом.

— Надо ж, чтобы осел полицейский комиссар, черт бы его побрал, помешал мне приготовить мужу его любимый салат! Теперь я вынуждена обедать одна,— пошутила Лаура.— Никогда не знаешь в этой стране и в наше время, что может произойти.

Часто к Лафаргам приходили внуки Маркса — сыновья и дочь покойной Женни Лонге. Все три мальчика были неутомимыми шалунами, и сладить с их резвостью и изобретательностью в хитроумных проказах не всегда удавалось.

С тех пор как Лафарги переселились в пригородную сельскую местность Ле-Перрё, невдалеке от Парижской заставы, нашествия маленьких вандалов, как шутил Лафарг, завидев врывающихся в дом Эдгара, Жана и Марселя, участились. Лаура, как могла, заменяла детям мать, заботилась об их здоровье и развитии. Самым способным к наукам оказался Эдгар. Жан, названный сызмала на английский лад Джонни, избалованный и неусидчивый, учился хуже и не мог одолеть немецкой грамматики и латыни. Марсель, самый младший, унаследовал от своего отца склонность к лени и скрытности; но в озорстве нисколько не уступал братьям.

Уезжая на взморье, Лафарги иногда брали детей с собой. Поль тщетно добивался дисциплины от малышей, которые часто карабкались на утесы и скалы, откуда легко могли сорваться в море. Но Лаура, никогда не терявшая самообладания, успокаивала вспыльчивого мужа и урезонивала сорванцов.

Поэзия и литература оставались для дочери Маркса постоянной отрадой. Она любила фольклор, записывала

народные песни на разных языках и диалектах. Понравился ей сумрачный Бодлер, и она переводила его «Цветы зла» на английский и немецкий языки. Гетевский «Фауст» поразил Лауру бездонностью философского мироощущения, а Шамиссо в «Саласе-и-Гомесе» — необычностью, терпкостью, как определил Энгельс, языка его терцин, столь схожих с Дантовыми. Душевная близость Лауры и Энгельса была такой полной, что молодая женщина торопилась сообщить ему каждый перевод, выношенную мысль, сомнение. Он гордился ее умом, даровитостью, глубоким знанием экономики, политики, истории и литературы.

Жена Лафарга часто посещала парализованного, тяжелобольного коммунара Эжена Потье, автора «Интернационала». Поэту перевалило за семьдесят. Мозг его был еще столь же силен, сколь слабой была медленно умиравшая плоть. Как это часто бывает у изнуренных недугом, но не сокрушенных духом людей, его внутренняя сила прорывалась во взгляде. На дряхлом, некрасивом лице Потье молодо сияли глаза. Видя, что смерть приближается к многострадальному старику, Лаура пыталась развлечь его чтением стихов. Она знала наизусть почти все, что создал Потье.

— Обещаю вам, Эжен,— сказала она, прикасаясь к холодной, недвижимой руке поэта,— сделать все, чтобы ваши прекрасные сонеты и песни стали известны во множестве чужих стран. Я переведу их на все языки, какие знаю, и добьюсь, чтобы тысячи и тысячи людей полюбили вас и ваши стихи, как любим их мы.

Вскоре после смерти Эжена Потье хор рабочих города Лилля впервые спел великий гимн, написанный в трагические дни гибели Коммуны. Музыку, столь же простую и гениальную, как и слова «Интернационала», создал рабочий Пьер Дегейтер, самоучка-композитор. «Интернационал» стал торжественной песней всех рабочих.

Анна Павловна вела с собой суровую борьбу. Все чаще ее охватывала апатия. Заключенная погружалась в каменное молчание тюрьмы, переставала чувствовать и думать. Это была еще не самая тяжелая мука. Следом наступало вызывавшее озноб понимание, что навсегда, невозвратимо уходит жизнь.

«Разве мало дней я теряла? — думала Анна.— Проводила их бессмысленно, ничего не получая, не производя, только растрачивая себя, топчась на месте. Десятки лет провалялась я в постели, сотни часов упустила, заняв их пустословием, суетой, разглядыванием себя в зеркале, бездумными поисками ненужных вещей... Почему же прежде, безрассудно транжиря время, разменивая его на пустяки, я не чувствовала так остро, как теперь, что уплывают минута за минутой? Не потому ли, что, лишившись всего, впервые увидела себя такой, какая есть?»

Анна плакала от непоправимой досады и недовольства собой, от сознания мизерности своих прежних стремлений и сухости сердца. А ведь все считали ее доброй и умной. Ничего не значащие определения! Они теперь ее раздражали. Самой большой пыткой узницы стали запоздалые сожаления, какие поднимаются в душе над гробом дорогих людей. Совесть будто схватила ее за горло. Она вспомнила все обиды, нанесенные ею матери и совсем чужим людям, и, хотя обиды те были вовсе незначительны, принялась казнить себя строже самого жестокого судьи. Все, кому с самого детства она не помогла или причинила незаслуженную боль, прощали ее, оправдывали, но Анна не хотела этого снисхождения.

— Сколько я могла сделать действительно хорошего, а прошла мимо, поленилась, поскупилась, поторопилась! — шептала Анна, исходя слезами. Анна поняла свою малость по сравнению с громадой народа. Полной мерой изведала она одиночество, и смирение постепенно наполнило ее, делая такой сильной, не пробиваемой испытаниями, какой она и не мечтала стать.

Несколько раз приходил к Анне щеголеватый защитник, но она вежливо обрывала его многословие.

На одном кратком допросе она узнала, в чем ее обвиняют. Два бывших народовольца показали, что Анна не только знала о цареубийстве, но и помогала совершить его. Она также была уличена в перевозке из-за рубежа запрещенной литературы. Обратиться к царю с прошением о снисхождении узница снова решительно отказалась.

Наступил день военного суда. Зал был до отказа полон самой избранной публикой, и Анна Павловна узнала многих из тех, кто раньше посещал ее гостеприимный салон. Иосиф Федорович не явился. По словам адвоката, он заболел, не выдержав несчастья и позора.

Прокурор потребовал для Анны, которую назвал государственной преступницей, посягнувшей на святая святых отечества, пятнадцати лет каторги. Адвокат, играя золотой цепочкой часов, медоточиво говорил о четырех невинных агнцах и о сиром их отце, о заблуждениях и доверчивости, присущих женщинам, выросшим в дворянских усадьбах, вдали от мира, о пагубных влияниях нигилизма и социализма. Анна едва сдерживалась, чтобы не вскочить и не прервать гладкую и ровную речь, но постепенно безразличие снова овладело ею.

Последнее слово подсудимой было коротко. Не признав себя виновной в уголовном преступлении, Анна сказала:

— Не считая террор решающей силой в борьбе с царским произволом, я теперь против убийства отдельных лиц, кто бы они ни были. Я — за уничтожение всей системы социальных бесчинств, жестокости и несправедливости.

Лицо узницы, казавшееся обтянутым хрупкой папиросной бумагой, совершенно обесцвеченное, вдруг порозовело. Провалившиеся, в черных обводах глаза ожили и засветились. Анна вновь стала красивой.

— Да здравствует всемирная социальная революция! — крикнула она.

Анна Павловна Бах была приговорена к четырнадцати годам каторжных работ.

Перед зданием суда ее поджидала крытая колымага с железными решетками, запряженная парой белых, в яблоках битюгов. С Анной на скамью сел надзиратель. Дверь кареты наглухо закрыли и в железные дужки протянули большой висячий замок. Рядом с кучером примостился жандарм. Колымагу оцепил взвод вооруженных солдат, а его кольцом окружили верховые казаки. Впереди этой мрачной процессии следовал полицмейстер, а позади — пристав.

Надзиратель, усатый, истощенный, похожий на высохшего таракана старик, был, очевидно, тяжело болен.

— У всякого своя беда, конечно. У меня вот, к примеру, завелась в желудке язва-мучительница,— пожаловался он Анне, сидевшей с легкой улыбкой на губах. Непонятное облегчение, отрадный покой овладели ею.

— Пройдет,— сказала она твердо.— С едой поостерегитесь и спиртным себя не обжигайте.

— Водку я бросил,— тоскливо тянул свое полицейский. — Масло пью топленое. Надо, чтобы она зажила. Советуют мягчительного побольше. Может, вы знаете, как лечить-то ее, а?

Анна, внимательно поглядев на стражника, вдруг догадалась, что его убивает рак, а он хочет жить, где и как угодно, лишь бы не умереть. Каторга ли, тюрьма, только бы продлить жизнь...

«Значит, бывает горе погорше моего. Выдюжу, должна выдюжить. И за решеткой живут люди. А вот рядом со мной свободный человек, но он смертник!»

И ей стало очень жаль больного, захотелось обнадежить его.

— Бодритесь, сударь, тогда и хворь уйдет. Где дух крепится, там и телу легче. Поправитесь.

В камере Анна, тихо напевая, принялась шагать из угла в угол.

«Что это я такое на суде говорила? То, о чем от Засулич слыхала. Уж не марксисткой ли становлюсь? Вот удивились бы Жорж и друзья из группы «Освобождение труда»!

Анна надеялась, что скоро оставит навсегда каменную сырую дыру без света. Она истосковалась по шуму, по людскому говору. Одиночество притупило ее слух. Она заметила, что плохо соразмеряет силу голоса и хуже слышит. На суде Анна с трудом понимала речи других, слова сливались в один невнятный звук.

Молодая женщина не знала, что, будучи осужденной как уголовница, она могла очутиться на Сахалине, на Каре, а также в Шлиссельбургской крепости. В те самые дни, когда она, обретя новые душевные силы, готовилась в далекий путь на Север, к ней явился председатель военного суда и объявил, что содержать ее будут впредь до особого распоряжения по-прежнему в одиночном заключении. Такого решения Анна вовсе не ждала, и тем сильнее был удар. Ей предложили свидание с детьми. Не задумываясь, узница отказалась. «Мать за решеткой! — подумала она. — Малыши испугаются, и навсегда в их памяти сохранится мой жуткий, чужой образ». Она собрала все силы, чтобы не поддаться искушению: покой детей был ей дороже минутного счастья встречи. «Увидеть на мгновение и снова потерять их — непереносимое испытание»,— продолжала размышлять Анна.

Деньги от Иосифа Федоровича она также решительно отвергла.

— Я не лучше тех, кто ничего не имеет. Буду с большинством. От чужих ничего не приму.

И Анна окунулась в могильную тишину. Надежда исчезла. Как мечтала Анна об обществе людей, таких же отверженных, как она сама! Но отныне она была пешкой в чьих-то руках. Ее переставляли с места на место, не спрашивая.

В долгом одиночестве заключенный всегда оказывается на грани безумия. Сны его незаметно сливаются с явью, явь — со снами. Нервная восприимчивость обострена до мистических предвосхищений и особой зримости на расстоянии. Узник, оставленный на годы наедине с собой, без внешних впечатлений, ведет отчаянную борьбу с инстинктами, которые глухо толкают его к действию. Зрение мучается постоянным зрелищем окружающего уродства, слух словно заткнут ватой вечного безмолвия, обоняние причиняет острые страдания: вонь аммиака и сырости душит. Анна напряженно воскрешала в памяти запах свежего сена на лугу, кувшинок в пруду и резеды на садовом газоне. Иногда ей снилось, что она гладит головки своих детей, пахнущие тополиным пухом. И рука ее, как рука умирающего, искала прикосновения к родному, живому телу.

Она хотела бы выхаживать тяжелобольных, не гнушаясь ничем. Любое проявление жизни, пусть самое грубое, трогало ее. Она вздрагивала и долго не могла успокоиться, когда слышала где-то вдали кашель, шарканье ног, чей-то храп. Все это была жизнь. А время стремительно убегало, не принося перемен.

Однажды в темницу принесли книги. Среди них оказалась «Война и мир». Жадно перелистав книгу, Анна прочла о Пьере Безухове, находящемся в плену. Полураздетый, с отмороженными ногами, в болячках, он сидел на холодной земле и смеялся, осознав, что мысль его нельзя полонить, зарыть, изуродовать. Мысль, невзирая на тюремные затворы, неслась высоко над миром, не зная преград, никому не доступная. С этой поры Толстой стал постоянным собеседником Анны, ее другом. Только покорности его она не принимала. Хрупкое спокойствие вселилось в ее душу. Надолго ли? Она знала, что в тюрьме душа непослушна, переменчива. То, кажется, угомонился

человек, овладел собой, а вдруг точно налетел ветер и разрушил обретенное с огромным трудом равновесие. Тогда смерть кажется милостью. В такие страшные, похожие на душевный смерч минуты Анна принималась роптать на мать: зачем родила ее на свет и тем обрекла на непереносимые муки? Но приходил час просветления, и, устыдившись, она вдруг осознавала жертвенность материнской любви. Разве мать Перовской страдала меньше, чем ее дочь на эшафоте? «А что ждет моих детей?» — с ужасом спрашивала себя Анна.

Так открылось ей, сколь безбрежно вместительно человеческое сердце для страданий.

Сновидения наполняли ночи на тюремной койке особым смыслом. Они бывали то отдыхом, то пыткой. Иногда отчаяние тащило Анну ко дну. Мысль о самоубийстве приносила ей облегчение. Она думала, что есть все-таки выход из смрадной гробницы. Тогда, обливаясь слезами, Анна снова вспоминала своих детей, всю свою жизнь с ними, с минуты их рождения до разлуки. Память возвращала ей не только детский смех, их прихоти, дни болезней, выздоровления, но и множество мелочей — таких, как выбор игрушек, сюрпризы святочных елок.

«Как я могла оставить детей и уехать в Женеву! — терзалась она.— Но разве у коммунарок, погибших на баррикадах, не осталось детей? А Геся Гельфман... Нет, я не могла поступить иначе. А теперь я всего лишь живой мертвец. Может, лучше было бы повиснуть в петле, как Перовская? Или получить пулю карателя, выйдя на демонстрацию? Смерть, какая она? Бесчувственность и отдых».

Тяжелые мысли разрывали голову. Припоминалась виденная в какой-то книге иллюстрация: разъяренные фанатики привязали к хвосту лошади молодую женщину, и вот уж конь несется вскачь по каменистой почве, умерщвляя жертву. «Не так ли тащит меня судьба?»

Когда приступ горя проходил, она с трудом могла понять минувшее состояние духа и снова несла горестную ношу. Иногда ей, как в детстве, хотелось обратиться к богу. Но слова молитв только мешали, и она принималась жаловаться на судьбу и разговаривать вслух с кем-то неведомым и, однако, сочувствующим ей.

Шли месяцы. Минул год. Анна начала забывать, какова ее внешность. В памяти оживали дагерротипы, на

которых она была снята в открытых бальных платьях. То было совсем другое существо. В кадке с водой она видела колеблющееся отражение простоволосой женщины с искаженным, незнакомым лицом.

К одиночному заключению нельзя привыкнуть. Оно непоправимо калечит. Едва зарубцовывается одна рана, начинает кровоточить другая. Анна не единожды пережила в мыслях прошлое. Ей казалось, что она вывернула память, как огромный мешок, и вытрясла его безжалостно. Но ей осталось мышление. Оно одно спасло узницу от безумия. Думы и мечты неотделимы.

Однажды, когда Анна мыслью витала далеко за пределами крепостных стен, ее вызвали, выдали ей собственные вещи, мятые, бесформенные, как бы шитые на совсем иного человека, и прочли решение об отправке в Сибирь.

Это было подобно взрыву. Ужас перед новизной, необходимостью двигаться, что-то предпринимать, значительно превзошел радость наконец сбывшегося желания. С тоской покинула она каменный гроб, как называла про себя камеру. Житейский шум и яркий свет показались ей невыносимее тишины и полумрака. Анну покачивало и тошнило. Ей выдали арестантский халат с «бубновым тузом» на спине. Впереди предстояла каторга. Но так как была зима, а партии осужденных отправляли в Сибирь обычно только весною, Анну доставили под конвоем в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму, где сколачивались этапы.

После обыска в большом коридоре каторжанку повели через двор в башню, прозванную Пугачевской в память о великом бунтаре, находившемся там перед казнью. Узенькая винтовая лесенка соединяла три площадки этажей. Камера неправильной треугольной формы была выкрашена желтой раздражающей краской. Оконце, как бойница, пропускало мало света, но после каменной щели, где содержали Анну, все окружающее показалось ей прекрасным. Не прошло и нескольких минут, как она смогла поговорить с товарками по заключению, которые также ждали весны для отправки в Сибирь. Осужденных на каторгу женщин было только трое, остальные шли на поселение.

Полуторалетнее молчание Анны кончилось. Она не могла наговориться со встретившимися ей узницами, иногда пугаясь своей неуемной говорливости и нездорового

возбуждения. Перед совсем чужими людьми она торопилась выложить все о себе, своих детях, семье. Ее слушали участливо, как тяжелобольную, не прерывая. Прошла неделя, вторая, и арестантка начала приходить в себя. Она даже получила свидание с приехавшими из провинции младшими сестрами, которых в свое время выучила и поставила на ноги. Встреча была нелегкой для всех троих. Но Анна не плакала и даже утешала двух красивых молодых женщин, преданных ей, как матери. Свидания происходили в конторе, в присутствии смотрителя, незлобивого пожилого человека, стеснявшегося своей службы.

— Ну что это вы тут потоп всемирный устроили? — сказала Анна нарочито сухо.— Видите, другие шутят, смеются. Всюду люди живут. И тут тоже. Ничего особенного ведь не случилось. На каторге не без добрых душ. Если совесть чиста, право же, все равно, где жить. Счастье, оно, как тень, за нами шествует. Не всегда его видим только.

— Боже мой, не толстовкой ли ты стала? — спросила одна из сестер и заплакала.— Впрочем, это лучше, нежели террористкой. Аннета, да ведь ты в детстве, увидев, как курицу резали, не ела птичьего мяса. Добрей тебя не было никого в нашем семействе.— И снова полились слезы.

Чтобы успокоить родных, Анна согласилась принимать от них постоянную помощь и, в свою очередь, препоручила им заботу о своих детях.

— Мужчины в нашей среде,— сказала она с грустью,— любят детей, если любят их мать. Дорога она, и чужой ребенок будет им люб, как свой собственный. Иосиф меня отныне ненавидит пуще лютого врага, и, значит, незаметно могут опостылеть ему и наши малыши. Отделит он их от себя боннами, гувернантками, то-то горя нахлебаются, бедненькие!

— Что ты! Такие мысли не держи. Глупости! Иосиф Федорович чадолюбив: ведь дети — наследники его имени, фирмы,— возражали сестры, но все-таки поклялись заменять племянникам отсутствующую мать.

— Мне бы только на поселение выйти, я тотчас бы детей к себе взяла,— вздохнула Анна.

Вернувшись в камеру, она свалилась с острой сердечной болью. Спазм, как змея, обвил ее сердце и пополз

к горлу, грозя задушить. Это случалось все чаще, особенно по утрам, когда, просыпаясь, она осознавала, что находится в тюрьме. В такие минуты Анна призывала смерть. Потом тяжелый сон отключал ее сознание. Снилось, будто чужие люди прячут ее от кого-то, но вдруг мужчина в расстегнутой рубашке, с волосатой грудью и смоляной бородой выскакивал из толпы, взбирался на возвышение и, бросаясь к ней, узким острым ножом прокалывал сердце.

— Чего кричишь, не спятила ли? — разбудил узницу надзиратель, тряся ее за плечо.

— Убивали меня,— смущенно прошептала Анна.

— Ну, этого не бойся, в этих стенах понадежнее, чем на Кузнецком мосту. Тут кругом охрана,— успокаивал надзиратель.

...Ко времени отправки этапа Анна несколько окрепла, но тревожное, вопрошающее выражение глаз ее не исчезало. Она преодолела говорливость, старалась быть ровной с людьми и беречь то, что открылось ей в минуты скорби.

Заключение — величайшее испытание души человеческой: сильная — крепнет, слабая — надламывается. Но никто, за кем на годы захлопнулась железная дверь одиночной камеры, не выходил из нее таким, каким вошел.

Бутырская тюрьма, когда Анна находилась в ней, представляла собой маленький островок отверженных в одной из двух столиц Российской империи. Революционный Красный Крест и родственники делали все возможное, чтобы облегчить существование политических заключенных, пожертвовавших собой во имя идеи. Книги, еда и лекарства постоянно доставлялись на тщательно охраняемый пересыльный пункт. Число заключенных все возрастало по мере приближения весны. За немногими исключениями, это были интеллигенты, преимущественно молодежь. Пожилых встречалось меньше. Анна перестукивалась с тремя рабочими, два из них шли на каторгу, а один — в ссылку. Административно-ссыльных приговаривали заочно, и обвинения, предъявленные им, ничем обычно не были подтверждены.

Тяжелая была пора. На престоле, охраняемом угрюмым орлом «о двух головах», восседал Александр III. Страна изнывала под тенью виселиц. Не было конца произволу, расправе с последователями Чернышевского, с бунтарями, революционерами. Особенно усилились гоне-

ния против рабочих и студентов. Министром внутренних дел стал граф Дмитрий Толстой, упрямый тяжелодум и мракобес, убежденный, что бурю можно остановить розгами и смертными приговорами.

И все-таки борьба не замирала, и даже далеко стоящие от какой-либо партии люди, мучимые страхом, взаимным недоверием, охватывающими Россию, предсказывали, что конституция будет дана царем или взята у него силой. «Народная воля» доживала последние дни. Наиболее испытанные члены ее были казнены либо схвачены и заточены в Шлиссельбургской крепости. Но новые поколения бунтарей, охваченные нестерпимым состраданием к погибшим и жаждой мести, снова бросились в неравный бой с самодержавием.

Анна оплакивала юных героев, принявших мученический конец на виселице.

В тюрьме шла своя, особая жизнь.

Хотя никто из социалистов, заключенных в Бутырках, не придерживался никакой религии и часто по рождению вообще принадлежал к различным вероисповеданиям, все были рады поводу совместно отпраздновать пасху. К этому дню члены Красного Креста и родные снабдили арестантов всяческой снедью и лакомствами. Огромные куличи и сырные пасхи были очень соблазнительны. Губернатор разрешил каторжанам и административно высылаемым совместно встретить «светлое воскресенье» под надзором помощника смотрителя.

Никогда Анна не бывала на собрании более сердечном и грустном. Особое чувство испытывают заключенные в этапе. К радости встречи сразу же примешивается горечь разлуки. Люди находят друг друга, чтобы тотчас же, может навсегда, потерять. Несмотря на веселые песни, пляски под откуда-то появившуюся гармонь, всех этих людей ни на секунду не покидало сознание того, что они рабы, лишенные всех прав на счастье. Звук кандалов на ногах мужчин, их бритые до голубизны головы, серые куртки с черными рукавами и черным тузом на спине делали пир в тюремной башне за решетками мрачным и зловещим. Анна вспомнила полотна Гойи, которые всегда поражали ее проникновением в человеческие страдания. И чем больше теней лежало на лицах арестантов, мертвенных, как суглинок, тем сильнее захлестывало ее волной нежности к ним.

Все торопились побольше рассказать о себе, послушать товарищей, чтобы закрепить случайно возникшую дружбу. Молодой студент, осужденный на поселение по «делу Лопатина», привлек всеобщее внимание, поведав, что несколько дней назад обратился к вице-губернатору с вопросом, можно ли взять с собой в этап «Капитал» Маркса.

— Как же это вы возьмете чужой капитал? — спросил удивленный чиновник.

В мае этап, в котором отправляли Анну, тронулся в путь. Из тюрьмы на вокзал арестанты шли пешком. Встречные останавливались и сочувственно кивали головами. Старушки охали, бежали за унылой процессией, крестились и просили стражников передать подаяние. На станции, когда каторжан грузили в вагоны, какая-то убогая женщина, прорвавшись сквозь цепь полицейских, сунула Анне и двум ее товаркам по копеечке.

— Возьмите, несчастные. Ради моих грехов примите милостыню,—настаивала она, и Анна смущенно опустила монету в карман своей полосатой куртки — «на счастье».

Когда поезд тронулся, арестанты стройно запели «Ермака», затем украинскую «Ой, там за Дунаем».

Все тоскливее становилось на душе у Анны. Что ждало ее? Как вынести будущее?

Несмотря на теплый, сияющий день, она ежилась от холода. Снова спазм зашевелился под сердцем. Страшно. Ночью ей привиделся сон, будто она, обнаженная, скатилась с высокой вершины в пропасть, где лежит никогда не тающий снег. Если не двигаться — скоро замерзнешь, и она начала карабкаться по острым выступам скал, но, так и не выбравшись из бездны, проснулась.

В Нижнем всю партию погрузили на арестантскую баржу, буксируемую пароходом. Предстояло плыть по Волге и Каме до Перми. Было лучшее время года. Цвели ландыши. Безмятежность природы угнетала кандальников. Из Перми Анну по железной дороге доставили в Екатеринбург, маленький, но набиравший уже тогда большую силу уральский городок. Острог, где провели ночь арестанты, был сырой и грязный. До Тюмени, первого сибирского города, Анна ехала на переполненной людьми телеге. Тройка неслась по бугристым дорогам. Весна за Уралом только наступала, чуть зазеленели деревья, к вечеру воздух становился особенно прозрачным и свежим.

В Тюмени несколько каторжан, в их числе три женщины, были выделены из этапной партии. Анна снова очутилась на барже. Ей предстояло две недели плыть по различным рекам, прежде чем, пройдя три тысячи верст, добраться до реки Томи, на которой расположен Томск. Грустное зрелище открылось узникам по обе стороны широко разлившихся по весне сибирских рек. Чем дальше двигались они на север, тем холоднее и пустыннее была встречная земля. Из глухих лесов изредка выходили местные жители, спаиваемые купцами и скупщиками пушнины. Время от времени буксирный пароход и баржа приставали к берегу, чтобы запастись топливом. Тягостное впечатление произвел на Анну поселок Нарым, где было много ссыльных. В покосившихся низких деревянных избах жили изможденные люди.

В Томске Анну заперли в пересыльной тюрьме, состоявшей из нескольких прогнивших бараков. Огромные крысы сражались с заключенными за хлеб, клопы усеяли нары. Более тысячи уголовных находились тут рядом с политическими, и Анна впервые почувствовала себя на дне.

Красивая девчонка с цыганскими вспыхивающими глазами, с большим, расплющенным ртом, осужденная за убийство, присела к ней на скамью и сказала сипло:

— На каторгу идешь, краля. Четырнадцать лет — это ведь вся жизнь. Дай денег, я тебя сменяю. Мне все равно одна дорога—пропасть, а тебе жить, верно, хочется. Я на воле долго не стерплю, опять схватят, а у тебя дети.

— Что ты мне предлагаешь? — спросила Анна взволнованно.

— Дорого не возьму. Сорок рублей. Знаешь про сменку?

Анна слышала, что были случаи, когда уголовники подменяли политических и этим облегчали им побег. Но тюремщики ввели большие строгости, конвой точно знал, кого везет, в делах лежали фотографии заключенных.

— Невозможно,— отказалась Анна.— И тебе и мне хуже будет.

— А ты попробуй, барынька. Все шито-крыто останется. Есть тут одна погань, тихушница, так ей все равно не жить. А ростом, волосами вся в тебя. Придушу ее, гадюку, переодену в твою одежку, рожу так ей всю искрошу, мать родная не опознает. Брошу вон в тот колодезь,

Пущай вытаскивают. А ты уже далеко будешь. Верное дело. Убегла, мол, уголовница, политическую зарезала и убегла.

Анна почувствовала, как обуревает ее дурнота. Она не могла оторвать глаз от подвижных, как пиявки, пальцев молодой преступницы.

— Уйди,— сказала Анна. — Мерзости у тебя на уме. Никогда я на такое не пойду. Не нужна мне сменка. Каторга так каторга.

— Думаешь, там дом родной? А денег мне все равно дай. Курить хочу, тоскую,— не отступалась заключенная.

Анна протянула ей рубль, лишь бы остаться одной.

— Ты, милка, привыкай. Мы с тобой вместе на Кару назначены. Мытари мы теперь. Ну, ты не горюй. Я тебе помогу. Меня вся артель знает. За хорошее, помни, десять раз отплачу, а за плохое — сто.

В маленькой, смрадной камере, на нарах в два яруса и под ними, на полу, спали женщины. Анна с ужасом смотрела на их изможденные лица. Только в ночлежках большого города можно было увидеть такое сборище несчастных, телесно и душевно искалеченных жизнью людей. Широко раскрыв рты, ловили они воздух, храпели, метались, кричали, мучились кошмарами. Только совершенно безмятежный, счастливый, здоровый человек привлекателен во сне. Особенно прекрасны спящие дети. Годы, болезни, горе кладут свою нестираемую мету на облик людей. И сон уже не приходит, чтобы обновить их, подобно весне.

Есть легенда, размышляла Анна, будто Будда в жаркую ночь увидел своих невольников спящими и так много рассказали ему их искаженные лица, что он ушел на много лет прочь от людей.

Мытарства начались, когда партия отверженных вынуждена была сквозь глухую тайгу пешком пробираться к намеченному месту. Кучка политических растворилась в большой массе уголовников — убийц, воров и тех, кто назывался бродягами, но промышлял любым видом преступления ради самой мелкой наживы, возможности играть в карты и пьянствовать.

Анна почувствовала себя снова, как в долгом одиночном заключении, слабой перед надвинувшимися испытаниями и начала искать в себе силу, которая должна была одна помочь ей устоять, выжить.

Ни Маркс, ни Энгельс никогда не были одиноки. Истинно большие люди внушают большие чувства. Оба они, вызывая ярость врагов, познали великую преданность и любовь единомышленников и тех, кто способен подняться до самостоятельности в своих симпатиях и в своей оценке других.

Рядом с Карлом и Фридрихом строились плотные шеренги борцов. Не случайно уже в середине сороковых годов дряхлеющий Меттерних с тревогой слушал донесения о двух молодых ученых, которые на кончиках пера несли огонь. Проницательный Бисмарк также понял силу двух колоссов. В революцию 1848 года редактируемая Марксом «Новая Рейнская газета» сразилась с реакционной «Прусской газетой», душой которой был канцлер. Этот поединок и свое поражение вождь прусского юнкерства не позабыл и всячески стремился склонить Маркса к сотрудничеству. Годы Интернационала, появление «Капитала», дни Парижской коммуны сделали имена Маркса и Энгельса всемирно известными. В Европе и Америке о них писали чаще всего небылицы, за ними следили.

После кончины друга Энгельс один возглавил международное социалистическое рабочее движение. Особенностью его характера была стойкая верность идее и друзьям. Черта эта присуща только смелой и чистой душе. Энгельс никогда не забывал и не оставлял в беде тех, кому доверял, с кем сражался рядом. В числе близких ему людей был Иоганн Филипп Беккер, уроженец баварского Пфальца, с юности участвовавший в политическом движении Германии. В начале века Беккер боролся на стороне защитников демократии и свободы кантонов Швейцарии. Позднее пытался прийти на помощь отрядам Гарибальди. Отправившись в Марсель, он набрал там добровольцев и зафрахтовал корабль, чтобы идти спасать Римскую республику. Но Беккера предупредили, что судно затопят, если он рискнет выйти из гавани. В это время началась революция в Германии, и он повернул на север.

Особенно прославился Беккер в баденско-пфальцской военной кампании. Огромного роста, богатырского телосложения, с длинной фиолетово-черной бородой и обжигающими глазами, верхом на могучем коне, Беккер напоминал легендарного рыцаря.

В Бадене, по мнению Энгельса, Беккер сделал неизмеримо больше других командиров. Он умел проникнуть в родную ему душу солдата, и его сподвижники чувствовали это. Он знал, как ободрить их соленой шуткой, уговорить и воодушевить. Народная, случайно собранная, необученная армия была ему понятна и близка. Там, где офицеры, воспитанные в школе регулярных дисциплинированных войск, терялись и ярились от бессилья, Беккер оказывался в своей стихии. Непокорные волонтеры из его частей не только не дезертировали, но и успешно воевали, храбро переходя в наступление в открытом поле, и сражались с отлично вымуштрованными прусскими частями. Беккер был истинным самородком в военном искусстве. И сила его слагалась не только из мужества, находчивости, ума, но и из глубокой убежденности. Заражая окружающих необыкновенным спокойствием истинно здорового духа, являя пример бесстрашия, он сумел вдохновить плохо вооруженных, необученных солдат и унтер-офицеров на ратные подвиги в защиту революции. Они проявили доблесть в неравных схватках с сытой и численно значительно превосходящей их королевской армией. За сорок восемь часов войско Беккера сделало переход в восемьдесят километров, продвигаясь как арьергард повстанческих армий. Это был славный марш, достойный выдающегося военачальника. Поздней ночью Беккер провел свой отряд через линию неприятеля в совершенном порядке. Утром его бойцы перешли в наступление, помогая этим отходящим полкам.

Отступление революционной армии и переход ее на швейцарскую землю заставили о многом задуматься стихийного бунтаря, не очень сильного в теории, живущего больше сердцем, нежели рассудком. Энгельс, хорошо знавший Беккера, сказал о нем: «Коммунист по чувству стал сознательным коммунистом». Беккер понял, что буржуазия повсюду была ядром реакционных партий. Только пролетариат подлинно революционен.

Хотя в 1860 году итальянское правительство предложило Беккеру чин полковника, большие деньги, командование легионом, который он должен был сформировать для предстоящей войны, пролетарский полководец отказался, так как его хотели использовать не для дела народа, а в интересах крепнущей монархии. С королями Беккер не желал иметь ничего общего.

Могучий телом и духом, всегда уравновешенный и жизнелюбивый, немецкий коммунист стал одним из видных деятелей Международного Товарищества Рабочих. С обычной неутомимостью и настойчивостью он боролся отныне с анархистами, для чего объединил немецких рабочих Романской Швейцарии. На Гаагском конгрессе Беккер был с теми, кто изобличил Бакунина, предательски взрывавшего изнутри Интернационал.

Маркс и Энгельс чтили ветерана и постоянно поддерживали с ним живую связь. В изгнании ему жилось, однако, нелегко. Он долгое время работал щеточником. Энгельс помогал ему деньгами.

Семидесяти семи лет Иоганн Филипп Беккер решил побывать в местах, где прошла его буйная молодость. Он приехал из Швейцарии в Пфальц и Баден, поклонился низко земле, политой кровью революционных бойцов, и, все такой же высокий, бородатый, но теперь совершенно седой, похожий на микеланджеловского Моисея, отправился в Лондон погостить у Энгельса. Это были две счастливые недели, когда друзья могли вдоволь поговорить. Иногда в их беседу включался и Лесснер, а также молодежь семьи Маркса. Беккер был участником освободительной борьбы трех поколений, живой летописью всех революций XIX века.

Он помнил русских казаков, проходивших через Германию в 1814 году, когда пал Наполеон, видел казнь Занда, заколовшего писателя-шпиона Коцебу, и всю жизнь сражался с деспотизмом.

— Да, старый дружище,— говорил ему Энгельс,— ты единственный немецкий революционный генерал, которого мы имеем.

Но Беккер, несмотря на преклонные годы не потерявший способности смущаться, когда его хвалили, протестовал и отвечал полусерьезно:

— Генерал у нас только ты, Фридрих. Это признано Марксом и всей партией, я был всего лишь тактик, ничего не сведущий в теории военного дела. Когда-то я отверг звание полковника, предложенное итальянским правительством, фактически продавшимся короне. Из твоих рук я его принимаю.

Энгельс откровенно любовался старостью Беккера и думал о нем с нежностью: «Этот редкий человек столь гармоничен физически и духовно, что ему можно было

следовать в жизни природным инстинктам, ведущим его по правильному пути. И, приближаясь к восьмидесяти годам, он так же бодро стоит в первых рядах движения, как и в юности. Никогда не был он мрачным идейным невеждой, как многие «серьезные» республиканцы незабываемого тысяча восемьсот сорок восьмого года. Как он дорог мне тем, что, как истинный жизнерадостный сын веселого Пфальца, никогда не притворялся и не хуже всякого другого любил вино, женщин и песни».

Казалось, Беккер еще долго будет противостоять смерти. А прошло всего два месяца после его отъезда из Англии в Женеву, и белый телеграфный бланк оповестил Энгельса о том, что старого его друга более нет в живых.

— Искусство управления в наши дни состоит в проповедях идолопоклонничества. Дикарь преклоняется перед истуканами, сделанными из камня и дерева, а цивилизованный человек — перед идолами из плоти и крови. Мы окружаем себя всевозможными кумирами, не уставая фабриковать их скопом и поодиночке, а потом удивляемся, откуда они берутся на нашу беду. Молох был, право же, не самым страшным произведением такого именно рода.

Сказав это, Шоу как бы сорвался с низкого кресла и принялся прохаживаться по маленькой гостиной Эллен Терри. Он был легок, тонок, высок и весь устремлен кудато ввысь. Очень светлые шелковистые волосы на его удивительной голове казались то желтыми, то розоватыми. Русая бородка лопатой и лохматые усы не скрывали подвижного, смеющегося рта с приподнятыми вверх уголками. Запавшие чистые, светлые глаза искрились.

«Это чуткий, добрый и весьма одаренный человек,— думала Эллен Терри.— У него грубоватое крестьянское лицо, а нос — точно ком брошенного наугад теста. Главное в этом лице — прекрасный, выпуклый лоб. Необыкновенный человек. С ним становишься умнее и лучше».

А Бернард Шоу уже говорил о Генри Ирвинге, великом актере Англии, о его исполнении роли Макбета в театре «Лицеум».

— Ирвинг — превосходнейший из всех Макбетов, каких я знал. Он понял эту роль не холодным умом, а по наитию.

— Да, его игра хороша, но мне все-таки дороже Гамлет,— возразила Терри.

Шоу проворно обернулся к ней, но не успел ничего сказать.

— Мистер Генри Ирвинг,— доложила горничная, вынырнув из-за портьер и тотчас же скрывшись.

Вошел широкоплечий, представительный мужчина средних лет в изящно отделанной тесьмой короткой куртке поверх светлого жилета и рубашки с накрахмаленным воротником. На широком атласном галстуке вспыхивал большой бриллиант на булавке. Узкие брюки подчеркивали безукоризненные линии торса и длинных ног. Но не только фигура, какой мог позавидовать наездник или танцовщик, обращала на себя внимание. У признанного короля театра было лицо, которое не забывается, как произведение истинного искусства,— заостренное книзу, лишенное припухлости, с эластичной матово-бледной кожей, с тонким вырисованным ртом и красивым носом. Прямые брови, глаза с приспущенными наружными углами, невысокий, но широкий лоб, прикрытый начесами седеющих волос, дополняли необычный облик. Редко природа создает столь гармоничную наружность. Самый притязательный художник, глядя на Ирвинга, не смог бы ничего изменить или дорисовать в его внешности, столь благоприятной для актера. Ирвинг легко превращался в Джингля, героя «Записок Пикквикского клуба», в шекспировских Шейлока, Гамлета и многих других персонажей, всегда достигая совершенства.

— Дорогой Генри, мистер Шоу только что хвалил ваше толкование Макбета.

— Этим он показал не только отвагу, так как многие присяжные критики недовольны мною, но и истинное понимание. Я убежден в том, что Макбет мне удался. А уж кому-кому, как не актеру, знать, что́ играет он лучше всего.

— Женщины и люди творческие всегда сознают свои достоинства и недостатки,— сказала Терри, поежилась, взяла расшитую цветами шаль, набросила ее на плечи и продолжала: — Воображение Ирвинга — его лютый враг. Повинуясь ему, он стремится к невозможному, всегда не удовлетворен сделанным и горько от этого страдает.

— Вы правы, Эллен. Воображение — бич, который подгоняет нас, пока мы не падаем, как путники в пустыне, влекомые миражами.

— Но Макбет в последнем действии — это не мираж, мистер Ирвинг, это реальность. Вы поражаете зрителей каждым жестом, словом, мимикой. Тот, кто слыхал ваш монолог, никогда не выйдет из-под его очарования:

Ты меж людей единственный, с кем встречи
Я избегал...

Вся сцена после битвы и поражения заражает нас фатализмом. Судьба, хотите вы сказать, только она одна вершит миром и людьми. Могучий Макбет обречен! Такова ваша философия. С ней можно не соглашаться в целом, но она очень убедительна. Вы, несомненно, мистик, мистер Ирвинг.

— Вы не только саркастичны, но и проницательны! — удивленно воскликнула актриса.— Генри действительно увлекается всем таинственным, сверхъестественным. Я же бегу от всякой чертовщины. Не мне, а ему следовало бы играть леди Макбет. Он был бы неповторим в сцене безумия, где столько колдовских чар.

— Я уже не раз доказывал вам, дорогая Эллен, что именно ваш характер соответствует этой роли,— с легкой улыбкой заявил Ирвинг и поднялся, прощаясь. Он торопился к поезду в Эдинбург, чтобы уточнить там еще раз детали для постановки шекспировского спектакля.

Когда он вышел, Терри сказала:

— Если б вы знали, как неутомим Ирвинг, когда он погружается в работу над пьесой! Нет большего знатока Шекспира, нежели он. Мне пришлось ездить с ним по тем местам, где происходит действие «Макбета». Мы тогда исколесили всю Шотландию. Искали «выжженную степь». Помните, конечно? Вместо нее нам открылось цветущее картофельное поле, на редкость красивое и безмятежное. Пришлось нам самим придумывать, как выглядело бы это место после пожарища.

Эллен Терри показала Шоу рисунки декораций и костюмов. Ей предстояло впервые выступить в роли необузданной, тщеславной леди Макбет. Шоу увидел ярко-рыжий парик, платье, вышитое зелеными жучками, шаль цвета старого мха и вялой травы, столь любимого прерафаэлитами.

— Освещение на сцене будет как бы сквозь разноцветные витражи, в костюмах удлиненные линии, а краски те же, что и на полотнах Россетти,— пояснила актриса. Затем она продолжала, все более увлекаясь: — Таинство исполнения непостижимо. Все, даже то, как носишь платье, роняешь платок, должно быть проникнуто поэтичностью, иначе охладит зрителя, вместо того чтобы сделать его одним из сопричастных к сцене. Не правда ли, лучший спектакль тот, о котором вспоминаешь, как о первом свидании? Драматическое действие обязательно должно полонить зрение, слух, ум и сердце, тогда оно несет на себе благословение Аполлона.

Даже когда Эллен Терри говорила несколько патетично, это было настолько искренне, что не вызывало в Шоу, очень чувствительном к фальши, никакого раздражения. Все в этой исключительной женщине нравилось ему, вызывало его уважение и восхищение. Молодой литератор ушел от великой актрисы, ободренный дружеским приемом, в раздумье над тем, не заняться ли ему самому драматургией. Он побаивался этого жанра тем сильнее, что тянулся к нему как к чему-то наиболее увлекательному и дорогому. Малейший неуспех в театре казался ему, обычно спокойно и насмешливо относившемуся к другим профессиональным неудачам, гибельным.

Под защитной маской сарказма и юмора Бернард Шоу упрятал очень мягкое и впечатлительное сердце. В двадцать пять лет, после того как побывал на бойне, он стал вегетарианцем. Он совершенно не выносил женских слез и горестей ребенка. Сострадание к рабочему классу погнало его к социальному бунту, но он побоялся всякого насилия, даже во имя свободы и справедливости. Шоу оставался фабианцем, хотя часто возмущался хитрой медлительностью своих единомышленников. В эти годы в читальне Британского музея он впервые прочел «Капитал» и поразился гениальности открытий, сделанных Карлом Марксом. Он написал об этом статью и навсегда сохранил чувство преклонения перед титаническим умом, создавшим столь стройную систему взглядов. Но, поняв их и приняв как единственно верную теоретически науку об экономике, Шоу испуганно отступил от философии марксизма и его тактики. Он боялся очистительной бури, которая, как ему казалось, могла принести с собой разрушение.

Чем-то едва уловимым Шоу был сродни Генри Ирвингу. Истинный художник, он слышал пульс цветов и тосковал по выдуманному раю. Он обладал безбрежным воображением, и оно часто уберегало его от опасности любопытства, оставляя целомудренным и чистым.

«Нетрудно вообразить себе, что произойдет, если я начну так, от нечего делать, волочиться за какой-нибудь женщиной»,— думал он. В его мозгу с калейдоскопической быстротой проносились различные картины. Он мысленно озвучивал их, а в конце концов разражался смехом. Шаг за шагом Шоу прослеживал развитие возможного сюжета, и все получалось во много раз интереснее и забавнее, чем если бы он спешил превратить его в действительность. Точно так же он не стремился к путешествиям. У него была своеобразная, неисчерпаемая фантазия, и он видел себя странствующим по всему миру, преодолевающим препятствия, радующимся приключениям и знакомствам, не выезжая, однако, за пределы Лондона. Он не хотел разочаровываться в яви и наслаждался мышлением и воображением, напряженно расширяя свои знания и встречаясь с людьми разных классов в огромной столице Англии. В этом многоликом людском становище он нашел и героев для своей первой пьесы, которую писал влюбленно и бережно.

Бернард Шоу часто встречался с Эвелингами. Ему очень нравилась Элеонора, в которой он чувствовал ту же внутреннюю простоту и ясность духа, которые так берег в себе самом. Но Эвелинг был ему неприятен.

Два ирландца, уроженцы Дублина, оставались чуждыми друг другу. Шоу отличался совершенным душевным и физическим здоровьем, он никогда не лгал и любил глубину мыслей и чувств. Эвелинг был нервным, неуравновешенным человеком, уклончивым и лгавшим часто даже самому себе, легко скользившим по поверхности явлений. Он старался казаться натурой сложной, вдохновенной, хотя был, по сути, трезв, низмен, расчетлив и свысока посматривал на Шоу, считая его мудрое остроумие клоунадой. Зная, что Тусси и Энгельс презирают фразерство, Эвелинг пытался прослыть ребячески доверчивым, непосредственным человеком. Как многие слабохарактерные люди, он иногда искренне верил, что таков от природы. Но эта роль часто утомляла его и сердила. Он любил лесть, ласкающую сердце каждого честолюбца. Среди бо-

гемы, второсортных актрис и неудачливых литераторов Эвелинг чувствовал себя куда более удовлетворенным, чем в обществе Тусси и ее друзей.

Энгельс, приглядываясь к тому, что писал и делал Шоу, постепенно проникся к нему симпатией как к несомненному таланту. Тем огорчительнее была для него верность Шоу фабианскому обществу и его откровенные колебания в пору напряженной борьбы пролетариев.

Семейная жизнь не приносила Тусси радости. Эвелинг, как все эгоисты, уязвлял самолюбие жены: подавлял ее мелкими придирками, мучил длительными исчезновениями из дому, увертливостью и ложью. Неистощимы обиды, наносимые близкому и преданному человеку тем, кто сам не дорожит любовью.

Претензии молодого журналиста были велики, заработки нищенские. Элеонора изо всех сил старалась переводами, литературным трудом добыть побольше денег. Но это не всегда ей удавалось. Обращаться к Энгельсу она решительно отказывалась. Эвелинг же не брезговал займами у случайных знакомых, схватывался и скандалил с критиками, будто бы не оценившими по достоинству его пьесы. Элеоноре приходилось заглаживать дурные выходки мужа. С материнской осторожностью пыталась она успокоить его, ободрить, когда он впадал в уныние по поводу материальной неустроенности.

— Ах, Тусси, ты готова жить в лишениях, как твои подопечные в Уайтчапеле и Ист-Энде,— укорял он жену.— Ты можешь питаться и одеваться, как они, отказывать себе в комфорте и развлечениях. Я тоже не меньше тебя делаю для продвижения социализма, но именно поэтому не могу довольствоваться столь малым, как ты. Жизнь только для людей, для борьбы, избранная тобой, вовсе не красит женщину. А я, увы, эстет. Посмотри на себя в зеркало! Ты заметно стареешь и дурнеешь, теряешь женственность.

Элеонора, которой было всего тридцать с небольшим лет, чувствовала себя виноватой. Но чем больше она старалась угодить мужу, тем придирчивее он становился. Так избалованный ребенок тиранит слишком податливую и нежную мать. Равнодушие Эвелинга, его скучающий взгляд, когда он оставался один на один с женой, и его

оживление в обществе выбивали молодую женщину из обычного равновесия. Она была слишком горда, значительна, чиста, чтобы пытаться бороться за любовь мужа с помощью разных уловок, которые всегда презирала.

Есть обиды, подчас кажущиеся совсем маленькими, которыми мужчина больно ранит женщину в самое сердце. Они, словно едва видимые трещины, со временем способны, однако, расколоть даже камень. Незаметно для других, мимоходом Эвелинг мучил Тусси. То это была брезгливая гримаса, то пренебрежительное невнимание, когда она, принарядившись, встречала его на пороге, то грубое слово или резкое обращение к ней без имени.

В один из вечеров Эдуард казался особенно недовольным и капризным.

— Зачем,— сказал он,— ты снова купила мне галстук? У тебя нет понимания, что нужно мужчине. Опять выброшенные деньги!

Элеонора продолжала работать над заказанным переводом и ничего не ответила.

— Я видел сегодня мисс Перси, актрису из Свободного театра,— продолжал Эдуард, отбросив злополучный подарок, с таким тщанием выбранный для него женой.— Какой у нее прелестный нос. Клеопатра. Не то у тебя! Бедняжка, ты, верно, очень страдала из-за формы своего носа.

За ужином Эдуард, видя, что Тусси спокойна и, как всегда, приветлива, сказал ей раздраженно:

— Как некрасиво ты опять ешь. Извини, но у меня пропадает аппетит.

Через несколько минут он оделся и поспешно вышел из дома.

Тусси, как это часто бывало, осталась одна с кипой книг, бумаг и крадущимися тихо по квартире черными кошками, своими любимицами. Стараясь отвлечься от гнетущих мыслей, она взяла с полки книгу Роберта Браунинга, поэта, стихи которого очень любили в семье Маркса.

Элеонора вспомнила удивительную поэму Браунинга «Флейтист из Гаммельна».

Тусси зажгла камин и раскрыла заветный томик. Большой и сложный поэт сочетался в Браунинге с человеком огромной души и воли. Таким именно должен быть

писатель. Не только творчество, но и вся жизнь его учит, как относиться к людям.

...Есть у меня особый дар:
Волшебной силой тайных чар
Вести повсюду за собою
Живое существо любое,
Что ходит, плавает, летает,
В горах иль в море обитает.
Но чаще всего за собой я веду
Различную тварь, что несет нам беду:
Гадюк, пауков вызываю я свистом,
И люди зовут меня пестрым флейтистом.

Печальная улыбка долго не исчезала с лица Тусси. Легкие углубления между крыльями носа и верхней губой, как русло для будущих морщин, пролегли уже на ее все еще свежем, милом лице...

Имя Роберта Браунинга навсегда связано с именем Элизабет Баррет, на которой он женился еще в 1846 году. Через пятнадцать прекрасных лет он похоронил жену в Венеции.

Их роман стал сюжетом для многих книг и пьес.

Элизабет была в течение долгих лет неизлечимо больна и прикована к постели. Богатый, набожный и деспотичный купец Баррет держал свою дочь в жестоком повиновении. Элизабет было уже сорок лет, когда она познакомилась с Браунингом. Она проводила дни в чтении и писала стихи. Зная жизнь лишь благодаря острому зрению сердца и мысли, она первая написала о маленьких рабах, проданных на фабрики, о детях, гибнущих от непосильного труда и голода. Ее «Плач детей» потряс мир, как созданная в те же годы «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу.

И в далекой России великий русский поэт-демократ Н. А. Некрасов опубликовал на страницах журнала «Современник» перевод этого печального стихотворения.

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства
Все живое — счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:

Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим!
. . . .
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!
Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать...»

Роберт Браунинг и Элизабет Баррет, найдя друг друга, с первой встречи поняли, в чем их общее счастье. Но не могло быть и речи о том, чтобы отец полупарализованной калеки согласился на ее брак с бедняком поэтом.

Не сразу решилась Элизабет на побег из родного дома, понимая, что станет обузой любимому, который к тому же был значительно ее моложе. Но любовь и тут совершила чудо.

Крепкий духом и телом, Браунинг силой своего большого чувства сумел внушить поверившей ему Элизабет ощущение здоровья. Никогда не стоявшая ранее на ногах женщина неожиданно начала ходить. Тайком покинула она мрачный, удушающий кров отца и вырвалась к солнцу, людям и творчеству.

Вспоминая чудесную историю жизни двух английских поэтов, Элеонора перенеслась мыслью к покойным отцу и матери, к их любви, столь же верной и сильной...

Поздно ночью домой вернулся Эвелинг, снова ласковый, ребячливый. Он закружил Тусси в танце, сам принялся подогревать ожидавший его ужин, подразнил кошку по прозвищу Ведьма и в лицах изобразил тех, с кем провел вечер.

И снова в маленькой квартирке стало весело и тепло.

«Главное — верить,— думала Тусси.— Доверие накапливается крупинками, а исчезает глыбой».

Она решила, что несправедлива к мужу, слишком уж чувствительна к мелочам. Ведь Эдуард — талантливый взрослый ребенок, смелый и деятельный революционер, образованнейший человек, способный пожертвовать собой ради их общей цели. В эту ночь Тусси заснула с мыслью о том, что она будет счастлива до глубокой старости, до самой смерти. Жизнь без Эдуарда казалась ей немыслимой.

Нередко Эвелинги ездили в Стратфорд-он-Эйвон. В этом историческом уголке свято берегли средневековые архитектурные памятники, восстанавливая или копируя разрушившиеся от времени коричневые здания с узкими зарешеченными окнами, в стиле ранней готики. Века не изменили трактиров с раскачиваемыми ветром резными вывесками и фонарями. В низких залах, на выступах больших продымленных, почерневших очагов, как сотни лет назад, стояли кувшины и тарелки, к стенам прижимались сундуки и стулья с высокими спинками. Они могли бы многое рассказать о давно исчезнувших посетителях этих домов.

Над городом возвышалась далеко видимая серая церковь. В ней, под простой плитой в полу, покоился прах человека, возвеличившего свою родину значительно больше, нежели битвы при Ватерлоо, пиратские захваты островов и дальних стран.

От могилы Шекспира до двухэтажного, ничем особо не примечательного домика, где он умер, очень близко.

В небольшом саду, посыпанном гравием, растут кустарники и деревья, сменившие зеленых современников Шекспира.

Тусси нравился обвитый жимолостью и легендами колодец, расположенный неподалеку от железной ограды. Этот водоем считался магическим. Как гласило предание, стоило, заглянув в его темное зеркало, произнести три раза заветное желание, чтобы оно осуществилось. И Тусси, любившая сказки, наклонялась и пытливо заглядывала в узкий пролет, где стоячая зеленоватая вода пропахла водорослями. В ясные ночи в колодце отражались звезды.

«Легка была бы жизнь, если бы фантазия управляла ею»,— думала Тусси.

В шекспировскую годовщину в непритязательном, вместительном театре маленького городка ставились пьесы, принадлежавшие, как «Илиада» и «Одиссея», вечности. Эвелинги никогда не пропускали торжественных представлений.

Пребывание в городке Шекспира радовало Тусси. Общение с великим поэтом началось для нее так давно, что она не могла бы вспомнить, когда и как. Он стал частью ее самой, другом в радости и печали. Тусси знала наизусть каждое слово и вздох леди Макбет, Порции, Дездемоны, Офелии. Она не раз исполняла эти роли на

подмостках. Хотя Тусси не стала профессиональной актрисой, ей приходилось играть в театре не только в шекспировских пьесах, но и в современных. Она нередко выступала вместе с мужем.

В Стратфорде Тусси любила каждый тихий тупичок и витой переулок. Ей нравилось под руку с Эдуардом гулять по городу, как бы задержавшему время на несколько столетий. Некоторые улицы приводили их в поле. По вечерам они пили эль в старой таверне. Им очень не хотелось возвращаться в Лондон, разрушать очарование прошлого, покидать ставшую дорогой могилу, на которой, согласно желанию Шекспира, был высечен наивный сонет.

Как и Эвелинга, Тусси томила загадка, которой было окутано имя гения. Кто же на самом деле автор бессмертных творений, известных всему миру?

Мог ли небогатый владелец театра, часто странствовавший по Англии актер, который жил и умер в маленьком, привольном, открытом со всех сторон ветрам и солнцу городке Стратфорде, на меланхолической речке Эйвон, написать произведения, требующие не только поразительного проникновения в душу человека, но и редчайших знаний? Где и когда изучил он столь глубоко всемирную историю, географию, медицину, военное дело, сказания и эпос, особенности разных диалектов родного языка?

Быть актером и писать пьесы в век Елизаветы считалось позором для знатного человека. Светский театр, далекий от христианских мистерий, дополнял во мнении аристократии затеи скоморохов и шутов. Память о величии и славе античных постановок вытоптала инквизиция, прокляла клерикальная власть.

Может быть, Шекспир прикрыл своим именем какого-нибудь друга, талантливого ученого, блестящего собеседника, знатока небесных тел и земли, поэта лорда Бэкона или других титулованных господ, посвятивших перо феерической сцене, ее жрецам и жрицам?

После смерти Вильяма Шекспира, в минуты прощания, в соборе собрались все его друзья, много выдающихся умов времени, и каждый положил у гроба усопшего стихи и другие изъявления скорби на бумаге. Кто знает, не в каменной ли гробнице, в подвале собора, находится ответ на сомнения, обуревавшие многих? Но в Англии

погребенный прах священен, и никто не прикасается к саркофагу.

Покидая могилу, Тусси земно кланялась тому, кто так щедро обогатил людей.

— Все равно, кто б ни был ты, гений, создавший Кориолана, Виндзорских проказниц, Гамлета! Мы называем тебя Шекспир. Мы чтим это имя,— говорила Тусси.

Она размышляла над бессмертием, которое несут в себе великие произведения, поднимающие человека, одаривающие его познанием и счастьем. Исчезают цивилизации, города, меняется общественный строй, а слепой Гомер, безымянные творцы эпических поэм, мыслитель и поэт Шекспир, как феникс, встают из пепла, еще более молодыми. После смерти же великих властолюбцев, разрушителей, эгоистов и завоевателей остаются только руины, хаос, вековое горе. Даже имена этих людей символизируют деспотизм. Человечество тяготится злом и увековечивает добро.

Больше, чем сходные вкусы в литературе, чем пылкое влечение к театру, Элеонору и Эдуарда спаяли единая идея и боевой темперамент в политической борьбе. Сдержанная, отлично воспитанная Тусси была олицетворением спокойствия в семье и среди друзей, но на трибуне, в комитете, руководившем забастовкой, в уличной схватке с полицейскими она загоралась, становилась неистово смелой. Когда начальник лондонской полиции запретил митинг безработных, рабочие попробовали пробить себе дорогу на одну из самых больших площадей столицы — Трафальгар-сквер. Это было нелегким делом. К Трафальгар-скверу примыкали улицы, населенные зажиточными лавочниками и чиновниками. Неподалеку расположились казармы. Чтобы загородить узкие переулки, хватало одного взвода солдат.

Элеонора не признавала отступлений.

— Вперед, друзья! — крикнула она.— Это всего лишь маленькое препятствие. Пусть знает полиция, что мы ее не боимся!

— Вперед! — раздалось со всех сторон.

Навстречу демонстрантам двинулись полицейские, размахивая увесистыми дубинками.

— Пусть будет стыдно тем, кто воюет с мирными, безоружными людьми, требующими труда! — снова раздался звучный голос предводительницы безработных.

Внезапно со стороны Сент-Джеймсского сквера показались вооруженные солдаты: начальник лондонской полиции Уоррен призвал на помощь войска. В рядах демонстрантов началось смятение. Перевес сил был не на стороне рабочих. Эдуард Эвелинг тщетно призывал свою группу остаться на поле боя.

— Зачем рисковать головами? Мы хотим работы, а не крови,— говорили вокруг. Ряды шедших на митинг заметно таяли. Эвелингу пришлось отойти. Однако на противоположном конце, неподалеку от колонны, увенчанной статуей Нельсона, Элеонора и несколько ее друзей-докеров продолжали сражаться. Дочь Маркса упорно сопротивлялась, пока ее не арестовали.

Лишь к вечеру она была выпущена на свободу, и в воинственном настроении, но крайне растерзанном виде Тусси добралась до дома Энгельса, где ее ждали встревоженные близкие. Подкрепившись крепким чаем, Элеонора написала саркастическое, резкое письмо в газету «The Pall Mall Gazette», рассказывая с возмущением обо всем происшедшем у подножия горделивой колонны Нельсона, воздвигнутой в честь победы Англии над Наполеоном.

Энгельс, постоянно переписывавшийся с Лаурой и Полем Лафаргом, сообщил им подробности происшествия с Элеонорой, не преминув рассказать о ее мужественном поведении.

«Дело будет решаться в суде... — добавлял он,— возмущение рабочих грубостью полиции так велико, что в ближайшее воскресенье возможно новое столкновение».

Он писал о филистерах, относя это презренное понятие не только к представителям буржуазии, но и к некоторым рабочим. Острый глаз его увидел среди английских пролетариев этот новый и опасный тип приспособленца. «Поскольку филистер, как буржуа, так и рабочий, стоит за действия в рамках законности, можно ожидать, что следующая демонстрация окажется слишком слабой, чтобы попытаться сделать что-либо серьезное. И тогда было бы жаль видеть, как лучшие люди жертвуют собой, чтобы спасти честь трусов, которые отступают уже теперь»,— заканчивал Энгельс свое письмо в Париж.

Нет большей беды для труженика, нежели безработица. С нею приходят голод и унижения. Над убогими жилищами окраин, почерневшими от дыма очагов, над золо-

тушными присмиревшими детьми, над женщинами без возраста, скрывающими нищету под заштопанными платками, липким туманом нависает тогда отчаяние. Безработица! Несколько грошей — подачка благотворителей — не могут вывести из тупика здоровых людей, ищущих труда.

С утра до сумерек к комитетам стекались безработные в стоптанной обуви и полинявшей одежде. Нередко у входа в Гайд-парк или на Трафальгар-сквер собирались люди на собрания, прозванные «поднебесным парламентом». Не обращая внимания на погоду, в туман либо дождь, выступали здесь с речами Элеонора и Эдуард.

В Гайд-парке также встречались с рабочими Энгельс и Лесснер. Оба друга, как бравые воины, бодро шли по дорожкам. Энгельс, однако, не расставался с крепкой палкой. У него уже несколько лет побаливали ноги и заметно ослабели мышцы. Врачи и он сам, отлично знавший медицину, не могли доискаться этому причины.

Поиски заработка выгнали на улицу докеров, мускулистых и потемневших в гавани от непогод и ветра. В одном из переулков Бекер-стрит Энгельсу и Лесснеру повстречался ярко-рыжий парень, исполнявший глуховатым и ломким голосом под собственный аккомпанемент на волынке куплеты о Мери.

— Вот уж правда, нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет,— угрюмо заметил Лесснер.

— Знает ли этот молодец, кто написал слова исполняемой им песни? Великий Бёрнс!

Энгельс и Лесснер разговорились с уличным певцом. Он оказался безработным рудокопом, странствующим уже несколько месяцев по городам и селам острова. Покинув навсегда сырую Северную Шотландию, страну рудников и лесов, он работал близ Лондона на прокладке дороги.

— Тысячи углекопов и ткачей превращены теперь в портных,— внезапно пояснил он.

— В портных? — оживился Лесснер.— Как же так? Я, братец, тоже из этого цеха.

— Мы перекраивали и перешивали дорогу. Распарывая швы асфальта, наставляли заплаты, вделывали клинья, расширяли полотно, закругляли края.

— А-а, вот оно что! — разочарованно улыбнулся Лесснер.

— Да, дружище Лесснер, он тебе не коллега.

— Отчего же? — рассмеялся парень. — Пыхтящий утюг-пресс точь-в-точь отглаживал складки, заплатки и подшитые куски на шоссе, как борта твоих сюртуков. Это была не худшая работа, хотя часто мы спали, подложив камень под голову, и насчет харчей было не густо. Да только как кончили чинить дорогу, нас рассчитали. Долго я бродил по рудникам. Ничего не нашел. Тут-то и вспомнил я про дедову волынку и песни, которые пела покойница мать.

Энгельс решил направить его в комитет безработных к Элеоноре, а пока снабдил небольшой суммой.

Прощаясь, шотландец пожелал спеть новым знакомым шуточную песенку о бережливости своих земляков. Припев ее заканчивался словами:

Прощай, моя радость, любовь моя,
Я готов умереть ради тебя,
Но, увы, подсчитал, мои похороны
Обойдутся в целых две гинеи.

— Сколько у тебя детей? — спросил Лесснер.

— Пока четверо. — Рудокоп сразу погрустнел. — Жена, да хворый, дряхлый отец, да семья брата, убитого обвалом в шахте.

— Многовато. Так уж повелось у пролетария. Есть нечего, а семья куда больше, чем у человека с деньгами. Шотландские богачи особенно прижимистый народ. Они соединяют в себе редкий деловой, прямо-таки торгашеский нюх, лукавство, врожденную насмешливость с редчайшим ханжеством,— добавил Энгельс. — Кстати, Шотландия на протяжении многих веков поставляла Англии королей, королев, священников, министров и парламентских вожаков. Представьте, за последние годы почти все премьеры были шотландцами. Один Гладстон чего стоит...

— Что и говорить. Медоточивая оса. Глаза всегда устремлены в небо, а лапы шарят по земле: скаред и лицемер, реакционер, прикидывающийся святошей,— сердито сказал Лесснер.

— Правильно, старина. Зажиточные шотландцы славятся пристрастием к богословскому чтению и финансам. Стоит вспомнить великого финансиста, банкира Джона Ло. До того неутомим он был в делах и столь влеком к наживе, что в восемнадцатом веке уже побывал в таин-

ственной России, а тогда это была смелая затея. Да... В любой гостинице Шотландии на ночном столике лежит пухлая Библия, пугающая грешников адом и возмездием, и все же нигде на острове не смеются громче и раскатистей, не пляшут веселее, не поют мелодичнее и проникновеннее, чем на улицах шотландских селений.

Этап гужом и пешим строем двигался по сибирской тайге к Нерчинской каторге.

Я вынести могу разлуку,
Грусть по родному очагу,
Я вынести могу и муку —
Жить в вечной праздной
тишине,

Но прозябать с живой душою,
Колодой гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти травою,
Нет, это выше моих сил.

Обычно в пути эту старую тюремную песню запевала Анна. Ей вторили идущие рядом каторжники. Заунывный, протяжный мотив сливался с кандальным лязгом и звоном. Дорога к Чите пролегала сквозь таежные дебри. Гигантские кедры и сосны, яркие поляны, усыпанные огненными цветами, подавляли Анну. Ей казалось, что она снова стала маленькой девочкой и пугается, читая сказки. Глухая чащоба жила таинственно и будила беспокойство и недоумение. Природа равнодушно взирала на идущего мимо человека.

Но вот этап добрел до отлогого ската сопки, спускавшегося к небольшой речке. Серо-желтая Кара, приток полноводной, капризной Шилки, протекала между высоких холмов. Сопки, поросшие густым, зимой над снегами казавшимся черным, хвойным лесом, крепостной стеной окружали остроги, угрюмо приткнувшиеся к большому частоколу. Точно тяжелая дождевая туча упала, разорвавшись клочьями, и заволокла тут землю.

У самого устья Кары находилась женская политическая тюрьма и при ней небольшая швейная мастерская, а в нескольких верстах выше, по берегу, выстроились здания политической мужской каторги, комендатура,

больница и гауптвахта для провинившейся стражи. Поодаль стояли большие дома для уголовников.

Река Кара тянулась не более чем на двадцать пять верст. Истоки ее заняло Горное управление. Край изобиловал золотыми приисками, принадлежащими царю. На них и работали каторжане.

В двух женских камерах находилось в ту пору всего десять каторжанок, совсем еще молодых, преимущественно народоволок. Две из них принадлежали к разгромленным кружкам Нечаева и Каракозова. Все они были революционерки крепкой воли и целеустремленной энергии. В большой и довольно светлой комнате с зарешеченными окнами, нарами вдоль стен, длинным, добела выскобленным столом, на котором лежали стопки книг, бумаги, карандаши и перья, Анна почувствовала себя словно дома. На высокой полке, затянутой ситцевой занавеской, виднелась различная посуда, хлеб и снедь. Глиняный горшок с цветущей геранью, поразительная чистота пола, табуретов, постелей, свежевыбеленная большая печь придавали помещению своеобразный уют.

Несколько женщин в ситцевых темных платьях под серыми арестантскими халатами окружили ее с теми экзальтированными, но вполне искренними, идущими от сердца возгласами, какие обычно сопровождают появление нового узника среди людей, проведших много дней без свежих впечатлений, в замкнутом кругу.

Анну забрасывали вопросами, и она едва успевала отвечать. На Каре уже слыхали о провале Дейча и Анны во Фрейбурге, о выдаче их немецким правительством жандармам России.

— Вы тоже состояли в группе «Освобождение труда»? Последовательница Маркса и Энгельса? Кстати, ваш попутчик Лев Дейч уже прибыл на Кару. Он прислал нам недавно письмо и спрашивал о вас.

— Я осуждена как член «Народной воли»,— уклончиво ответила Анна.

— Мы тоже,— сообщили несколько голосов.

Одна из каторжанок, молоденькая, стриженая, с круглым детским личиком, принесла Анне книгу и, плутовато подмигнув, сказала:

— Вот что мы сейчас читаем.

«Государственное право», сочинение Чичерина, Анну не заинтересовало.

— Откройте же книгу! — подсказали ей. Это оказался первый том «Капитала» Маркса на русском языке, переплетенный в маскирующую обложку. В камере Анна нашла и номер газеты «Социал-демократ», издававшейся в Цюрихе. С этого мгновения она уже больше не удивлялась тому, что ее окружало.

Узниками Карийской политической каторжной тюрьмы были неукротимые бойцы, готовые отстаивать и защищать свое достоинство и идеи не только на свободе, но и в заточении. В глуши, на далекой сибирской окраине, какой была Нерчинская каторга и ее отделение Кара, их судьба часто полностью зависела от того или иного человека, пользовавшегося вместе со своими подчиненными безраздельной властью над арестантами.

Нигде человеческая личность не подвергалась стольким испытаниям, как в тайниках тюрем, крепостей и на каторге. Смотритель тюрьмы и комендант каторги могли по своей воле спасти или очень быстро свести в могилу заключенного. И большей частью эти должности замещались черствыми, выжившими из души, как некогда сказал Герцен, существами. Но бывали исключения, и на таком посту оказывался человек совсем иного склада. Таким был полковник Кананович, начальник Карийского политического каторжного острога. Более справедливого, умного, вежливого и сердечного коменданта ни до его появления, ни после не знала ни одна из многострадальных каторг Российской империи.

По требованию генерал-губернатора края барона Корфа, заявившего, что «тюрьма не дворец», все корпуса обнесли высокими остроконечными палями. Но быт внутри ограды, под замками благодаря Кананович был сравнительно вольготный и не калечил душевно и без того измученных разлукой с близкими, выброшенных из общества людей.

В пору, когда Кананович был комендантом тюрем на Каре, там появилась большая библиотека. Заключенные могли получать также журналы и учебники, изучать языки, науки, общаться иногда друг с другом, переписываться и часто получать свидания с родными.

Когда за Анной захлопнулись ворота Усть-Карийской тюрьмы, жизнь в камерах била ключом. Политические каторжане создали спаянную самоуправляющуюся артель, где господствовали дружба и равенство. Это была крошеч-

ная республика, в которой законодательной властью стало общее собрание, а исполнительной — староста, избираемый большинством в каждой отдельной ячейке — камере.

Все деньги, поступавшие извне, от родных либо от Красного Креста, а также выделенные на содержание каторжан государством, составляли единую кассу, подконтрольную доверенным лицам. Часть этих средств выделялась на общее питание и отдельно — на значительно улучшенное для больных товарищей, а также на покупку книг и другие нужды. Остаток делился поровну между всеми заключенными. Обычно вещи, присланные из дому кому-либо из заключенных, отдавались наиболее нуждающимся или же разыгрывались в лотерею, а продукты обязательно распределялись между всеми.

Но особенно заботились все участники этой добровольной артели о своей библиотеке. Тюремное начальство не вмешивалось в выписку литературы и почти не проверяло ее. В переплетах с самыми невинными названиями хранились многие произведения Маркса и Энгельса. Их учение вызывало постоянные громкие споры между народовольцами и марксистами. Во время частых свиданий с близкими карийцы без труда передавали и получали от них книги, которые служили им также средством тайной переписки.

Анне очень нравился веселый рукописный журнал, составлявшийся совместно мужской и женской тюрьмой, «Кара и кукиш» и возникшее позже приложение к нему — шуточный «Листок объявлений». Каторжане выписывали «Вестник Европы» и «Ниву».

Различные работы в мастерских, заготовка дров скрашивали дни, поскольку были посильны и не сопровождались принуждением и грубостью. Но особенно радовали Анну дружба и братство, которые связали неразрывно женщин ее камеры. Расхождения по вопросам революционной теории и стратегии не разобщали их. Это были совместные поиски, трудные раздумья вслух людей чистых и отважных, готовых без малейшего колебания отдать жизнь за победу социализма, за революцию. Диспуты устраивались во всей тюрьме, и никто не стыдился признать себя неправым, когда осознавал это.

Самым близким другом Анны стала Мария Калюжная, высокая, немного сутулящаяся девушка с каштановыми прямыми стрижеными волосами и лучистыми глазами,

которые как бы вбирали в себя все, на что устремлялись. Анна так бывала захвачена этим ясным, вопрошающим и жадным взглядом, что не видела на лице подруги ни вздернутого носа, ни пухлого рта, ни обильных веснушек.

Рядом с Марией Калюжной на нарах помещалась ее невестка — задорная, прехорошенькая Надюша Смирницкая, лучшим украшением которой была длинная русая коса.

Иван Васильевич Калюжный, брат Марии, был мужем маленькой Смирницкой. Он тоже отбывал свой срок в мужской политической тюрьме на Каре. Через разбитного уголовника по прозвищу «Голубь», работавшего хлеборезом и ежедневно разносившего «пайки», Калюжный посылал письма жене и сестре и получал от них ответы. В этой же камере жили молчаливая, много читавшая и учившаяся Мария Павловна Ковалевская и Лиза Ковальская, истощенная чахоткой, однако весьма деятельная и подвижная, отзывчивая и прямодушная молодая женщина.

Жизнь карийских заключенных замыкалась тюремной оградой, но так велики были их духовные запросы, так суровы требования к себе и своему поведению, что она почти не омрачалась унизительными столкновениями, сплетнями либо ссорами. Тяжкое это испытание: долгие годы непрерывно находясь вместе, без живительного притока новых впечатлений, сохранить внутренний свет и не проникнуться недоброжелательством к тем, кто насильственно скован с тобой одной цепью.

Был на Каре небольшой одиночный корпус, куда по особому ходатайству иногда уходили из общих помещений каторжане. Там они занимались самообразованием или писали свои труды.

В праздники узникам из расположенных на небольшом расстоянии одна от другой тюрем разрешалось проводить время вместе. Устраивались шахматные турниры, а летом состязания в городки и веселые чаепития. Далеко в сопках эхом перекатывались звуки стройного хорового пения, оживленный говор и раскатистый молодой смех.

С приходом весны заключенные работали на обширных огородах. Возвращаясь вечером в тюрьму, каторжанки сажали цветы. Вдоль крыльца, подле остроконечной ограды, Анна посадила непритязательные петуньи,

садовые ромашки, гвоздики и настурции. Но коротко было их цветение.

Однако Кананович пробыл в Каре всего четыре года. Смелость и честность чуть не довели полковника до разжалования и наказания. В перехваченном властями письме карийского заключенного говорилось, что комендант каторги не зверь, как другие, а человек. Это вызвало недовольство губернатора. Доносы сослуживцев Канановича довершили дело. Он попал в опалу. Вызванный к начальнику края, Кананович не боялся протестовать против предложенных ему изменений условий быта политических каторжан. Он написал об этом рапорт.

— Полковник, с вашими взглядами вы не можете служить начальником каторги,— заявил ему сановник,— сомневаюсь даже, чтобы вы вообще могли оставаться далее на государственной службе.

Но особенное возмущение комендант вызвал среди полицейских. Нерчинский исправник утверждал, что Канановича следовало бы самого засадить в каторжный централ. Вскоре полковника отстранили от должности и перевели на военную службу.

Сразу же после его ухода отношение администрации к заключенным карийцам резко изменилось. Напуганный угрозами подпольных организаций Александр III потребовал самой жестокой расправы с революционерами, где бы они ни находились. Политические каторжане, которых пытались запереть в одиночные камеры либо поселить вместе с уголовными, заковать в кандалы, лишить переписки с родными и права получать с воли посылки и книги, возмутились. В знак протеста они объявили голодовку. Началась длительная, изнурительная борьба. В этот раз губернатор Иркутска уступил и восстановил те условия, которые создались при Кананович, но ненадолго.

Проходило лето, другое, третье... Анна старалась не думать о времени.

В этом ни с чем не сравнимом мире отверженных существовала своя изустная почта. Иногда известия, связанные с судьбами единомышленников, несколько запаздывали, но все же проникали во все, даже строжайше охраняемые уголки. Так на голой скале пробивается трава, вырастает деревцо. Покуда дышит и мыслит человек и рядом есть ему подобные, вокруг него образуется нечто

схожее с естественной атмосферой. Иначе наступает смерть.

Свидетельством этому служит история Сергея Нечаева, угодливо выданного в семидесятых годах швейцарским правительством Александру II, который заточил его «навсегда» в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Узник был закован в ножные и ручные кандалы, и под оконцем его похожей на сырой склеп камеры постоянно сменялись часовые. За стражей наблюдали четыре особо для этого выделенных унтер-офицера, следившие также за смотрителем, который, в свою очередь, не выпускал их из виду. Сложная система взаимного контроля была установлена в этом застенке, чтобы никто и никак не мог связаться с опасным заключенным, ненавидимым самим царем. Еженедельно шефу жандармов подавались донесения, в которых описывалось все касавшееся узника.

«В последнее время,— сообщал начальник крепости,— государственный преступник начал смотреть в глаза, тогда как прежде этого не делал, отвечал отрывисто, резким тоном, с опущенными глазами и понуренной головой».

Все эти сведения передавались непосредственно царю, где бы он ни находился. Казалось, ни один звук извне не достигал каменной могилы, из которой мало кто выходил живым. И, однако, сила воли и дар убеждения совершили небывалое во всех летописях русской тюрьмы. Стражники, которым был доверен заключенный, превратились в его пособников и помогли ему установить прочную письменную связь с партией «Народная воля». Это длилось несколько месяцев. Не один, не два часовых, а десятки их присоединялись к тем идеям, за которые погибал необыкновенный бунтарь. Он сумел найти путь к уму и сердцу каждого из весьма несхожих людей, и это при том, что им строжайше запрещалось слушать и говорить с ним.

Они стали его соратниками. Нечаев расположил их к себе, ему приносили газеты и пищу, покупаемую на деньги стражей. Превосходный агитатор, он растолковал, объяснил этим людям, пришедшим из деревни, жалкое, унизительное положение крестьян и солдат, необходимость раздела помещичьих земель между хлебопашцами, предрек грядущую передачу фабрик и заводов единственным законным хозяевам — рабочим.

В письме исполнительному комитету «Народной воли» узник Алексеевского равелина сообщал о солдатах охраны, которые отныне приобщились к революционным идеям:

«В бога они не верят, царя считают извергом и причиной всего зла, ожидают бунта, который истребит все начальство и богачей и установит народное счастье всеобщего равенства и свободу».

С помощью часовых заключенный установил связи и с соседними камерами. Так, несмотря на чрезвычайные меры полной изоляции, он через семь лет после своего заточения разрушил для себя неопровержимостью революционных доводов крепостные стены и все непроницаемые преграды. Жизнь в Алексеевском равелине изменилась не только для узника, но и для стражей. В дежурке охраны обсуждались злободневные политические вопросы, читались прокламации и последние номера подпольной газеты «Народная воля». Кое-кто из унтер-офицеров обучался тайнам шифра и исподволь готовил побег узника.

Ни один из жандармов и часовых не оказался предателем. Иудой стал заключенный Мирский, с которым переписывался Нечаев.

Есть люди, которые подобны смертному дереву анчар. Одно приближение к ним гибельно, и беда кружит над тем, кто этого не знает. Мирский, которого никто никогда не заподозрил в том, что на его совести много человеческих жизней, выдал тайну Алексеевского равелина. Шестьдесят восемь жандармских унтер-офицеров и рядовых были арестованы и предстали перед царским судом. На докладной записке обо всем случившемся Александр III написал: «Более постыдного дела для военной команды и ее начальства, я думаю, не бывало до сих пор». Смотрителя равелина отправили в ссылку, а его помощник сам стал арестантом Петропавловской крепости.

По предписанию царя Нечаеву создали такие условия непрестанной пытки холодом, голодом, отсутствием свежего воздуха, лишением книг, что уже через пять месяцев он скончался.

От прибывших новичков старожилы Кары узнали о казни пятерых студентов, осужденных по делу, названному «второе» «первое марта». Их имена со священным трепетом долго повторяла вся тюрьма. Александр Ульянов, Андреюшкин, Генералов, Осипанов и Шевырев. Пять пра-

ведников, отдавших жизнь за социализм, за освобождение народа. Они готовились повторить то, что сделали Желябов, Кибальчич, Перовская с соратниками,— хотели взорвать Александра III, погубившего сотни бойцов за народоправство, превратившего Россию в застенок для честной мысли, смелого слова, дерзания, правды.

Нет ничего более пагубного для государства, нежели всемогущий трус на троне. Александр III не только не извлек урока из кровавых ошибок своего отца, но, запершись в Гатчине, творил суд и расправу тем более деспотически, что жил в постоянном страхе.

Восьмого мая 1887 года на рассвете пятерых юношей, не оставшихся равнодушными свидетелями бездумной, зверской тирании, господствовавшей в России, вывели из камер Шлиссельбургской крепости. На широком тюремном дворе стояла виселица. Смертников подвели к эшафоту. Андреюшкин успел произнести: «Да здравствует народная воля!» — прежде чем палач затянул петлю и вышиб скамейку из-под его ног. Генералов произнес: «Да здравствует...» — и смолк. Тело его закружилось в воздухе. Осипанов срывающимся голосом выкрикнул: «Да здравствует исполнительный комитет!»

Осужденных Ульянова и Шевырева обрекли на получасовую пытку ожидания, пока не затихли конвульсии повешенных товарищей и тела их не были сняты. В героическом спокойствии ждали они своей очереди к смерти.

Александр Ульянов погиб в возрасте двадцати одного года. Это был человеколюбец в самом высоком значении слова. Он отдал себя в жертву за счастье большинства людей. За свою короткую жизнь Александр многое успел передумать и перечувствовать. Юноша Ульянов читал произведения Маркса и Энгельса и принес их учение в свой дом, семью. Сжигаемый сочувствием к трудящимся, к бесправным, к погибшим и заживо погребенным товарищам, он выбрал путь, казавшийся ему самым близким к намеченной цели. Себя он не пощадил.

— Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые представляют ему собственные недостатки и

слабости; для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать себе твердый и непоколебимый характер,— говорил Александр Ульянов.

О гибели пятерых героев долго скорбели Анна и все политические заключенные на Каре.

— Матерям их каково? Сестрам, братьям? Такие молодые! — печалилась Лиза Ковальская.

— Пали смертью храбрых. Лучшая из смертей в наши дни,— возразила Калюжная. — Я хотела бы такой для себя.

— Россия, моя родина,— сказала тихо Анна,— сколько уже крови пролилось на алтарь твоей свободы! Когда же те, ради кого мы гибнем, прозреют и сбросят иго палачей? Кто скажет нам, что делать дальше, какими тропами пробиваться?

— Бомба, кинжал, револьвер, кровь за кровь, око за око! — вспыхнула Калюжная.

— Я отвергаю индивидуальный террор,— отозвалась Анна. — Он уничтожил также и нашу партию. Мы сбиваем стебли, а корень остается, и с новой силой растет древо зла. Надо уничтожить корень, всю систему, надо приобщать наиболее эксплуатируемых...

— Испортили тебя марксисты, Аннушка. От ума все это, от дьявола. Не размышлять, а действовать надо! И кто это несчастнее нашего мужика? Уж не мастеровой ли?

— Глупости, Маша,— вспыхнула Анна.— Все они одна семья. Вчерашний крестьянин — сегодня пролетарий. А донкихотство наше превратилось в трагедию.

Жгучий спор затягивался до самого отбоя. Анну не удавалось переубедить ни Марии, ни маленькой настойчивой Смирницкой. Ковалевская же предпочитала молчать и не поднимала головы от какого-нибудь учебника или вышивания.

В заключении человек был совершенно беззащитен и потому никогда не знал, что может с ним случиться. Опасность этапа, увоза в иную тюрьму или на доследствие, провокация и прихоть начальника, имевшего безраздельную власть, оскорбление, оговор — все это грозило каждому обитателю каторги. Анне часто казалось, что душа ее как бы покрылась льдом. Но тонкий и хрупкий слой едва сдерживал бурный поток, готовый ринуться и затопить самое Анну.

Постоянная подавленность в течение долгих лет искалечила нервы узников. И многие из них напоминали мины без бикфордова шнура. Стоило поднести его и зажечь, чтобы произошел всеразрушающий взрыв того отчаяния, которое могущественнее отваги. Но пока ничто не предвещало страшной драмы, приведшей к мучительным страданиям и смерти нескольких обитателей Карийской каторги, а затем и ее закрытию.

Был август 1888 года. Небо без единого облачка казалось затянутым пеленой пыли, солнце — выпуклым и желтым. Во дворе тюрьмы Усть-Кары распускались цветы. Каторжанки поливали их, возвращаясь с огородов, где толстели ухоженные тыквы, набирались силы капуста и картофель. После работы в мастерской и на огороде обитательницы двух женских камер читали, писали письма, обсуждали набежавшие события и, принявшись за рукоделие, мечтали вслух о свободе. Во дворе трещали кузнечики, и из-за палей доносились голоса караульных. На утренней поверке стало известно о предстоящем прибытии на Кару приамурского генерал-губернатора.

— Опять начнется маскарад, чтобы начальство осталось довольно,— мрачно сказала Калюжная.

И действительно, в панической суете по каторге забегали комендант Масюков, тучный мужчина с глуповатым багровым лицом и маленькими глазками без белков, точно между мятых век его торчали два кусочка антрацита, и молодой, сухопарый, всегда взвинченный, крикливый и как бы пьяный смотритель Бобровский. За ними в величайшем усердии пробегали чины поменьше — надзиратели и стражники.

Узникам приказали заново вымыть нужники, стены, полы, нары, столы, полить землю во дворе и надеть арестантские халаты. Ко времени прибытия краевого начальства тюрьма прибралась. Головы каторжан были наголо выбриты. На кухне вкусно запахло жирным борщом и кашей.

Барон Корф, человек с выправкой бравого жандарма, со светло-серым лицом и злыми глазами, входя в острог, надел белые перчатки, подчеркивая этим свое отвращение к подобному месту.

— Цветы зачем? Фу! — поморщился он.— Не надо забывать, что здесь находятся государственные преступники. Необходимо создать им такие условия, чтобы они

постоянно чувствовали это. Лучшие из сброда пусть предаются покаянию, а худших следует держать в оковах и полной игнорации. Они враги отечества, восставшие против священной особы нашего императора, и потому, если их останется меньше, это будет на пользу России.

Комендант каторжной тюрьмы Масюков понимающе поклонился.

Барон Корф, разжав сухие губы с опущенными к подбородку углами, вошел в одну из женских камер и обвел змеиным взглядом стоящих у стены женщин. Затем вышел и увидел во дворе узницу, оставшуюся при его приближении сидящей на скамье. Не желая подводить подруг своим неповиновением власти, она вышла из здания тюрьмы, думая, что останется незамеченной. Но случилось другое.

Комендант тюрьмы заорал:

— Встать!

Но заключенная не шелохнулась. Закинув голову, она смотрела прямо на губернатора. Глаза их скрестились, точно ножи. Барон Корф, знавший особенность своего ядовитого взгляда, на мгновение застыл, пораженный смелостью худенькой молодой женщины.

— Встать! — закричали несколько мужских голосов.— Перед вами сам генерал-губернатор. Вы обязаны подняться!

Оставаясь на месте, заключенная сказала, отчеканивая каждое слово:

— Я сослана сюда за то, что не признаю вашего правительства, и перед его представителями не встаю.

Барон вскинул было руку в перчатке, но, с трудом овладев собой, медленно опустил ее, играя пальцами.

— Поднять ее штыками! — проскрипел он.

Свита его растерянно топталась на месте.

— Как фамилия этой, этой?..— задыхаясь от бешенства, спросил фон Корф.

— Ковальская,— угодливо ответили Масюков и Бобровский.

— Перевести в Читинскую тюрьму,— распорядился, уходя, хозяин Приамурского края.— Там ее быстро образумят. Немедленно донести о выполнении мне лично.

Так взметнулся над Карой смерч, и ничто уже не могло остановить его смертоносного кружения.

В ту же ночь в камеру, где находилась Ковальская, вошли комендант каторги и жандармы, подняли ее с постели, завернули в одеяло, заткнув рот тряпкой, и вынесли, не обращая внимания на шумные протесты остальных заключенных. На подводе Ковальскую доставили в караульную избу, где в присутствии смотрителя Усть-Карийской тюрьмы Бобровского и двух уголовных арестантов надзирательница раздела ее и затем обрядила в каторжную одежду с бубновым тузом на спине. Ее снова связали и доставили под усиленным конвоем в Верхнеудинский тюремный замок. Барон Корф направил туда тайное указание о том, как содержать «секретную арестантку № 3». Так отныне должна была называться молодая революционерка. Даже смотритель тюрьмы не знал ее имени. Генерал-губернатор Приамурского края повелевал ему: «Не допускать с ней, помимо лично себя, никаких сношений ни с кем, даже с чинами надзора, никогда не вступать с ней в какие бы то ни было разговоры, не давать никаких книг, кроме Евангелия, в соседние камеры никого не помещать, особенно государственных преступниц».

К Ковальской разрешалось входить только военному губернатору, областному прокурору и лицам, командированным самим бароном Корфом. Такова была месть начальника края. Но покуда жив человек, все еще может измениться в его судьбе.

Увоз Ковальской, сопровождавшийся произволом, попранием человеческого достоинства — того, что свято оберегали революционеры в заключении,— стал тем огнем, поджегшим бикфордов шнур.

Все искусственно создаваемое ради того, чтобы выстоять, перенести испытание, вдруг рухнуло, превратилось в ничто. Действительность открылась узникам в своей наготе. Они снова увидели уродство каторжной тюрьмы, цветы, выросшие как бы на могилах, острия решеток и палей, грубых часовых, узкий, тоскливый двор, заменявший им в течение многих лет весь земной шар, и дальние сопки, будто бескрайнее кладбище гигантов. Политические каторжане взроптали и поднялись, чтобы, защищая друг друга, отстоять себя. Женщины потребовали отставки коменданта Масюкова, распоряжавшегося насильственной отправкой Ковальской, издевавшегося над ней. Они объявили голодовку, требуя расследования всего

происшедшего. Губернатор, получив сообщение врача о тяжелом состоянии голодающих, ответил:

— Администрации безразлично, будут они есть или нет. Нужно только, чтобы им ежедневно приносили пищу.

Жандармское начальство отвергло все требования карийцев. Масюков остался. Несколько каторжанок были переведены в уголовную тюрьму, где их лишили переписки с родными и иных прежних льгот.

В поздний час, после проверки, загромыхал железный засов и распахнулась дверь камеры, где находились Анна, Калюжная, Смирницкая и Ковалевская. Вошла совсем юная на вид узница. Серый, небрежно наброшенный на плечи арестантский халат не обезобразил по-девичьи тонкой фигуры. «Гимназистка какая-то»,— подумала Анна и, будучи старостой, принялась выбирать для прибывшей место, разбирать постель и подогревать на печи жестяной чайник, чтобы покормить и напоить ее с дороги.

— Нет, прошу вас, не беспокойтесь, мне ничего, ничего не надо,— сказала узница, глядя перед собой так, точно никого и ничего не видела. Широко расставленные карие глаза ее то наполнялись слезами, то внезапно высыхали, она мяла в руках только что полученное в канцелярии тюрьмы извещение о смерти в пути, на Сахалинскую каторгу, ее мужа.

«Что с ней? Не к добру это». Анна подсела к молодой женщине и по-матерински погладила ее темные волосы. Искреннее участие нигде не потрясает так сердце, как в заключении.

— Как вас зовут? — спросила Анна тихо.

— Надежда Малаксионо-Сигида,— раздалось в ответ.

— Неужели вы замужем?

— Я... овдовела. Только что прочла, что нет в живых...

Так в камере узнали о большом горе Нади. Только очень несчастные и не озлобившиеся от этого люди способны понять скорбь утраты, чужую печаль и разделить с другим последний ломоть горького хлеба. Всё потерявшие ничего уже не страшатся. Счастливый бежит прочь и от своих и от чужих неприятностей.

Надежда Константиновна о себе почти ничего не рассказывала, никто не знал, за что она попала на каторгу. Но столько искренности, простоты, скромности, обаяния и доброжелательности было в ней, что она внушила сим-

патию даже такой недоверчивой и сдержанной женщине, как Мария Павловна Ковалевская.

Анна, самая старшая из всех, привязалась к Сигиде, как к младшей сестре, старалась отогреть и успокоить ее, догадываясь, как порывиста и неуравновешенна была Надя. Более трех лет находилась Сигида в заключении, но страдала она мучительно не о себе, а о престарелых родителях, сестрах и братьях, единственной опорой и кормильцем которых была, работая учительницей в школе и давая частные уроки.

Гречанка по отцу, Надя унаследовала от него оливкового цвета кожу и прекрасные строгие черты лица. Она родилась и выросла в Таганроге, где в восьмидесятых годах проживало много политических ссыльных. Молоденькая учительница сблизилась с ними, увлеклась неведомыми ей доселе идеями и книгами. Встреча с Акимом Сигидой, опытным и смелым революционером, укрепила Надежду Константиновну в ее решении бороться за свержение самодержавия.

В 1884 году, после ареста Германа Лопатина и многих бойцов, таганрогские народовольцы потеряли всякие связи с другими организациями и решили включиться в новую, южнорусскую группу. Понадобилось срочно устроить тайную типографию. Захолустный, неприметный Таганрог показался лучшим местом для этой цели. Аким Сигида служил когда-то наборщиком. Ему и было поручено создать типографию.

Надежде Константиновне, к этому времени вышедшей замуж за Акима, поручили поселиться в доме в роли хозяйки конспиративной квартиры, где предстояло отныне печатать листовки, прокламации и документы уцелевших народовольцев. Работа шла дружно. Надежда Константиновна продолжала учить детей грамоте и вести пропаганду в рабочих кружках в Касперовке — предместье Таганрога. Ничто, казалось, не предвещало горя. Однако нашелся провокатор, который выдал типографию. Муж и жена Сигида были приговорены к каторге.

На одном из этапов по дороге в Сибирь Надежда Константиновна узнала от пересыльных, что после долгого следствия вместе с большой группой соратников Лопатин предстал перед военно-окружным судом. В своей речи он отказался признать царских сатрапов законными судьями своих действий.

— Есть суд высший, который произнесет со временем свой правдивый и честный приговор. Этот суд — история,— сказал он.

Вместе с тринадцатью товарищами Герман Лопатин был приговорен к смертной казни. Почти три недели ждал он виселицы. Страшнее, нежели сама смерть, ожидание исполнения приговора. Нет в арсенале жестокости нравственной пытки более тяжкой. Лопатин наружно ничем не проявил того, что пережил, ожидая казни.

Когда осужденных помиловали, заменив скорую смерть медленным умерщвлением на каторге и в крепости, они встретили это известие так же спокойно, как и приговор к повешению. Постепенно воля к жизни и радость бытия вновь вернулись к ним.

Герман Лопатин был осужден на пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости. Отныне его лишили собственного имени. Он значился по номеру своей одиночной камеры государственным преступником № 27.

Узнав о случившемся с Ковальской, Надежда Сигида тотчас же решила отомстить за поругание чести незнакомой ей женщины. Тщетно Анна убеждала разгоряченную, экзальтированную подругу сдержать свое негодование и гнев.

— Не хочу и не могу,—отвечала ей Надежда.— Как же можно жить при таком произволе? Я не умею покоряться злу, я не понимаю, что значит подставить левую щеку, когда бьют по правой.

— Но, может быть, нас хитростью толкают к бунту в тюрьме? Мы здесь бессильны. А Корф ищет возможности расправиться с Карой.

— Пусть так. Может, я и взаправду иду на самоубийство? Ну и что ж. Жалко мне только родных, а себя ничуть. Что терять нам? Эту братскую могилу? Тысячу порций борща и каши? Бороться надо всюду, где бы мы ни находились. Бороться за наши взгляды, за наших погибших товарищей. С виселиц они взывают о мщении. Мой девиз: и на земле и под землей борись и сохраняй до конца честь и человеческое достоинство!

Анна постепенно сдалась на доводы Сигиды.

— Ты, вероятно, права. Социализм, ради которого принесено столько жертв, не только идея. Он больше. Он наша вера, освященная мученической смертью погибших на эшафотах и в застенках.

— Да, да! — воскликнула Надежда, и лицо ее поразило Анну полной отрешенностью от земных мелочей.— Мы не смеем отступать, предавать знамя, обагренное кровью борцов, мы не можем прощать ничего. Понимаешь, ничего! Отступление, предательство начинается с мелочей. Я должна искупить свой грех.

— Какой грех? — вздрогнула Анна.

— Грех слабости духа. Я струсила, ослабела и написала после суда прошение о помиловании. Это мой вечный позор, мое преступление. Я не скрываю его от товарищей.

— Не казни себя, Надя. Мы все знаем об этом и не корим тебя.

— Вы меня жалеете, и я себя накажу сама. Мой долг — рассчитаться с палачами за Ковальскую, за всех нас. Пусть бесстрашие иногда безумно, но и разум часто нас только ослабляет.

— Действуй, как подсказывает сердце. Я, право, не знаю, что сказать. Только стоит ли умереть на радость масюковым и корфам? Отдай жизнь подороже, она ведь у нас одна-единственная.

— Головастенькая ты, Анна.

Надежда Константиновна до полуночи писала родным. Ей хотелось всю силу своей любви, тоски и жалости уместить на листе бумаги и отправить его в далекий Таганрог.

«Родные, дорогие, добрые мои! Голубочка, дорогаечка, родная маманя... Я такая же торопливая, как и была на воле: так же гонюсь за временем, спешу как можно побольше успеть в занятиях французским и немецким, все учебники перезубрила, теперь читаю свободно да заучиваю из хрестоматии. Бывают только минуты, когда помимо воли я взываю к вам... Родная! Скажи, голубочка, опять мне одно слово прощения, да вы все, добрые, почаще милуйте меня. Не плачьте, я вернусь здоровая и бодрая».

Сигида решила ударить Масюкова и этим ускорить его отставку с должности коменданта. Надежда Константиновна долго колебалась и размышляла о целесообразности такого поступка. Она не питала каких-либо личных враждебных чувств к Масюкову, который казался ей ничтожным, глупым и бесхарактерным человеком, бездумно выполняющим любой приказ начальства. Сам по себе он не

был способен ни на добрые, ни на злые поступки и оставался совершенно безразличным к заключенным. Но Сигида считала, что Масюков олицетворяет ту власть, с которой она хотела как-то свести счеты за других. Не желая вмешивать и делать ответственными сокамерниц, Сигида попросила, чтобы начальник вызвал ее в контору «на личные переговоры». Там-то и бросила она вызов тюремной администрации. Впрочем, ударить Масюкова не удалось, Сигиду остановил караульный, когда она замахнулась на коменданта, но символически все же пощечина как бы прозвучала. Надежда Константиновна выбежала из комендатуры, крайне возбужденная, повторяя громко, что требует немедленного оповещения генерал-губернатора Корфа о происшедшем. Никто из тюремной администрации вначале не придавал этому столкновению серьезного значения, кроме перепуганного Масюкова, который настолько растерялся, что вылез из окна, чтобы в дверях снова не столкнуться с каторжанкой. Он настоял на помещении Сигиды в домике караула, где к ней приставили часового.

Женская тюрьма, прослышав о поступке Сигиды, взбудоражилась. Никто из узниц не хотел, чтобы отвечала одна только Надежда Константиновна,— борьба за увольнение Масюкова началась задолго до ее приезда.

Атмосфера в Усть-Каре стала зловещей. И вскоре случилось нечто более страшное, чем смертная казнь. Барон Корф распорядился наказать ссыльнокаторжную государственную преступницу Сигиду ста ударами розог. Экзекуцию он предложил произвести в тюрьме лично смотрителю Бобровскому. Решение объявили всем политическим заключенным на общей утренней поверке. Чтобы не было беспорядков и протестов, дворы тюрем оцепили взводы солдат. Комендант и его помощники читали приказ, в котором Корф предписывал также наказывать розгами всех политических, без исключения, за малейшее неповиновение и в случае надобности применять к ним вооруженную силу, не боясь никаких последствий. Это было явное подстрекательство к бунту.

Седьмого ноября Бобровский привел в исполнение приказ в присутствии врача и караула. После порки окровавленную, опозоренную женщину приволокли в общую камеру, где находились Анна, Ковалевская, Калюжная и Смирницкая.

Анна и Маша Калюжная опустились на колени у крайней нары, на которой лежала избитая Надежда Константиновна. Ковалевская стояла у окна, глядя сквозь зарешеченное стекло на остроконечную, почерневшую от дождей ограду. Смирницкая протяжно всхлипнула, уткнувшись в подушку. Казалось, в камере нечем дышать, хотя створка окна была открыта и холодный ветер шарил по углам. Никто не затопил в этот день печь. Сигида смотрела перед собой остановившимся, немигающим взглядом. Черты ее лица обострились.

Есть нечто более значительное, чем жизнь, то, что делает человека человеком: это — сознание собственного достоинства.

«Можем ли мы уподобиться рабам, которых хлещет плетью хозяин? — думала Анна, прижимая к губам холодную, узенькую, детскую руку Сигиды.— Надя права, смерть может явиться избавителем. Что бы мы делали, если бы не могли утешиться ею!»

Решение покончить с собой возникло у всех узниц одновременно. Каждая из женщин разделяла отчаяние Сигиды, как если бы не ее, а их раздели донага и прилюдно высекли палачи. Надежда Константиновна была так слаба, рубцы на спине причиняли ей столь нестерпимую боль, что, приняв морфий, она на миг как бы обрела себя и облегченно вздохнула.

— Прощайте, товарищи! Отныне я свободна,— произнесла она чуть слышно.

Ковалевская поднесла к губам кружку с ядом, как человек, терпевший многодневную жажду и наконец-таки добравшийся до воды. Третьей отравилась Анна, а за ней — Калюжная и Смирницкая.

Сигида умерла очень быстро: надорванный организм не сопротивлялся. Остальные в жестоких физических муках были доставлены в тюремную больницу. Агония их затянулась. Мария Павловна Ковалевская страдала меньше, так как потеряла сознание и скончалась в бреду. Анна, принявшая слишком большую дозу морфия, единственная оказалась вне опасности. Почувствовав, что ей лучше, она горько зарыдала. Ей так хотелось поскорее умереть... Жизнь стала страшнее пытки. Калюжная и Смирницкая сохраняли ясность мыслей и отказывались принимать противоядие и пить воду, хотя яд огнем сжигал их. Когда терпеть стало невмоготу и Калюжная за-

стонала, Смирницкая с помощью сиделки подползла к своей родственнице и принялась ее убаюкивать, пока та не успокоилась навсегда. Последней скончалась двадцатипятилетняя Смирницкая.

В эти же дни стрелялся студент из вольной команды и произошли массовые покушения на самоубийство в мужской каторжной политической тюрьме. По заранее условленному сигналу — пению в одной из камер — многие узники после вечерней поверки приняли яд. Одним из умерших был Калюжный. Он не захотел пережить гибель жены и сестры.

Много было тяжких испытаний, которым подвергали заключенных: цепи, приковывание к тачке, медленное убийство голодом, отсутствием света и воздуха,— но ничто не могло сравниться с телесными наказаниями, унижавшими душу человека. Заключенные Кары готовы были покончить с собой, лишь бы никогда не подвергнуться избиению розгами. Все может потерять человек, кроме самоуважения.

Анна долго и опасно болела после всего пережитого. Совершенно неожиданно для нее, как это всегда бывало в заточении, узницу вызвали в этап и увезли с каторги.

В пересыльной тюрьме Анна от уголовников узнала о судьбе Ковальской. За неудавшуюся попытку совершить побег из Верхнеудинской тюрьмы ее перевели в отдаленный Горный Зерентуй, один из острогов Нерчинской каторги. Смотрителем этой суровой тюрьмы был тот самый Бобровский, который нанес сто ударов розгами Надежде Константиновне Сигиде. Узнав об этом, Ковальская добыла кинжал, бросилась на него, когда он появился в ее камере, с возгласом: «Палач!» Ее обезоружили. По настоянию Бобровского об этом случае не было составлено протокола. После смерти Сигиды смотритель испытывал длительные приступы меланхолии. Отказавшись начать дело против Ковальской, он прилюдно осудил себя сам. «Она права. Я подлец, меня нужно уничтожить»,— заявил Бобровский.

Вскоре чахотка убила этого человека, которого заставили совершить противное его характеру преступление. До последнего вздоха, в бреду он вспоминал замученную Сигиду.

События на Каре вынудили правительство отменить телесные наказания для заключенных. Особая полити-

ческая каторжная тюрьма, где произошли массовые самоубийства, была закрыта. Тех узников, которых не отправили в ссылку, увезли на Акатуй.

Анну Бах по ходатайству родных переводили на вольное поселение в одну из деревень Красноярского края.

Ранним утром колонна заключенных двинулась к Чите, и снова Анна затянула унылую тюремную песню, и ее подхватили идущие рядом узники:

...Но прозябать с живой душою,
Колодой гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти травою —
Нет, это выше моих сил.

Лучшие пароходы, курсировавшие между Англией и Северной Америкой, принадлежали компании «Кьюнард Лайн». Плавание длилось, если не было сильных штормов, неделю.

В конце лета 1888 года на большом судне «Сити оф Берлин» Фридрих Энгельс впервые в жизни отправился в Нью-Йорк. С ним поехали Карл Шорлеммер и побывавшие недавно в Новом Свете с пропагандистскими лекциями супруги Эвелинг.

В молодости, долго странствуя по морю, Энгельс перечитал книги по мореходству, увлекся этим, вел бортовой дневник и основательно изучил навигацию. Он со знанием дела рассказывал о причинах поражения Великой Армады, о свойствах каравелл и фрегатов. Он умел ставить паруса и постиг особенности новейших паровых двигателей.

Море действовало на Фридриха укрепляюще. Он не скрыл своей радости, когда ступил на палубу и, раздув ноздри короткого, чуть вздернутого носа, глубоко вобрал в себя знакомый запах освежающего бриза. Из гавани приятно пахнуло дегтем, водорослями и мокрым канатом. Медленно удалялись плоские, болотистые берега Англии, и долго еще подмигивал океану убогий глазок деревянного, похожего на каланчу маяка Данджнесс. Вооружившись биноклем, Энгельс следил за уплывающей в тумане землей, а когда ее не стало видно, прикрыл глаза защитными очками. В последние годы зрение его значительно ухудшилось, болели веки, и эта беда ограничивала возможность письма и чтения.

В природе ничто не может сравниться с подавляющей силой океана. Громадный корабль — ничто среди океанских волн. Энгельс чутко ощущал масштабы планеты и вселенной.

— Вот она, еще не обузданная энергия, занимающая так много места на Земле. И ее подчинит себе человек, хотя мозг его — всего лишь песчинка по сравнению с этими колоссальными валами.

Высокий, ладный, с прямой спиной юноши, все еще не утративший военной выправки, Энгельс легко двигался вдоль борта. Ветер, точно пронизанный электрическими искрами, шевелил его густые русые волосы.

— Посмотри,— сказала Элеонора Эвелингу,— наш Генерал не только сын бога войны, но и в родстве с Нептуном. Уверена, Фридрих хотел бы испытать грозный шторм...

В это время Энгельс подошел к Тусси и, как бы угадывая ее мысли, сказал:

— Буря в океане!.. Это — величественное зрелище.

— Нас изрядно трепало здесь полтора года тому назад. По правде сказать, я думала, ураган разнесет судно в щепы.

— Ну, нет,— возразил Энгельс. — Современное кораблестроение учло любую силу ветра, и десять баллов для нашего «Сити оф Берлин» не страшны. Кстати, каково совпадение! Мы, истые немцы, отправились к устью Гудзона на пароходе «Город Берлин». Не попахивает ли это шовинизмом?

— И все-таки здесь лучше, чем на «Сити оф Чикаго». Мы возвращались из Нью-Йорка на этом же «Сити оф Берлин». Капитан — сущий морской волк, интересный рассказчик,— ответила Тусси.

— А главное,— вмешался в беседу Шорлеммер и скорчил веселую гримасу,— главное, друзья, в здешнем буфете мартовское американское пиво. Первый сорт. Что до сухих вин, не похвалю, им не догнать Старый Свет. Вкус неплохой, но никакого букета.

— Итак, все складывается хорошо. Выехали в срок,— заключил Эвелинг.— Фридрих терпеть не может отклонений от намеченного плана.

— Надеюсь, что, хотя мы все, кроме Эвелинга, родились на континенте, нам не грозит морская болезнь,— сказал Энгельс.— В себе я уверен. Кстати, я захватил

несколько увлекательных книг, сказки Салтыкова-Щедрина, например. Они, правда, на русском языке, но я смогу перевести вам кое-что. Есть и роман, написанный по-румынски. Я, кажется, теперь значительно лучше освоился с этим оригинальным романским языком.

— А я везу с собой «Городскую девушку»,— отозвалась Элеонора.— Ты так одобрительно отозвался об этой повести, что мы с Эдди решили прочесть ее. Где же, как не в океане, можно спокойно нагнать упущенное!

— Вы, несомненно, не заснете над книгой Маргариты Гаркнесс,— оживился Энгельс.— Я обычно предубежден против дамского рукоделия в литературе и боюсь так называемых гениальных женщин. Они развязнее Ксантиппы, всякое критическое замечание мужчины объявляют проявлением насилия привилегированного пола. Но «Городская девушка» — это маленький шедевр. Он делает честь своему автору, обладающему мужеством настоящего художника: ведь без отваги нет искусства.

— Сюжет, кажется, не нов? — спросила Элеонора.

— Да, пролетарка соблазнена зажиточным человеком. Но даже изрядно потрепанная фабула оживает и обновляется под талантливым пером. Гаркнесс удалось, помимо правдивости деталей, создать типичные характеры в типичных обстоятельствах. Я писал ей, что реализм, который я имею в виду, проявляется независимо от взглядов автора. Бальзак, которого я считаю самым крупным мастером реализма, несмотря на симпатии к аристократии, раскрыл передо мной больше убедительных, чисто экономических деталей, чем историки, статистики, писавшие о французском обществе.

— Ты и Мавр всегда восхищались Бальзаком,— сказала Элеонора.

— Еще бы! Это великий художник. Его «Человеческая комедия» — элегия, посвященная разложению высшего общества. Но как ни любит он представителей «голубой крови», его ирония бывает горше, а сатира — убийственней, когда он заставляет действовать этих дорогих его сердцу людей. Я не раз говорил тебе и о том же писал Гаркнесс, что считаю величайшей победой реализма и ценнейшим достижением Бальзака то обстоятельство, что писатель сумел выступить против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков. Он видел неизбежность падения титулованного дворянства

и не оправдывал его, и он же отгадал настоящих людей будущего среди тех, где единственно можно было их найти.

В пути Энгельс с откровенным интересом приглядывался к американцам, которых было немало на пароходе. Женщины, рослые, с энергичными лицами, в белых блузочках и длинных колоколообразных юбках, напомнили ему своей внешностью шведок и немок.

— Смотри, Тусси,— сказал Энгельс, прогуливаясь с ней по палубе,— как ни стараются заокеанские дамы продемонстрировать свою принадлежность к самому новому обществу мира, а получается это очень наивно. Такая же припрыгивающая походка и целомудренный испуг, когда ветер поднимает подол их платья, как и у наших немецких деревенских красоток. Им куда более подошло бы приседать в реверансе, чем расхаживать под руку с мужчинами. Бедняжкам никак не скрыть изрядной доли физической и духовной неуклюжести, являющейся наследственной чертой нашей германской расы. Побеседовал с ними за обедом и разочаровался. Судя по первому впечатлению, американцы обоего пола вовсе не обладают превосходством над нами, европейцами. Ничто не выявляет в них новый, молодой национальный тип. Наоборот, мне думается, они придерживаются мелкобуржуазных привычек, какие давно устарели в Европе, и напоминают мне провинциалов на парижских улицах.

— Тебя ждет еще много сюрпризов,— предупредила Тусси.

— Внешнюю культуру янки приобретут, конечно, но с духовной им будет труднее.

Океан доставил Энгельсу и его спутникам, не боявшимся качки, неизъяснимое наслаждение.

Переезд прошел благополучно, и на восьмой день «Сити оф Берлин» вошел в широкое устье Гудзона и мимо бессчетных паромов, судов, яхт и верфей приблизился к статуе Свободы.

Небольшой буксирный катер доставил пассажиров на берег, к длинному деревянному сараю, где таможенники произвели осмотр багажа. И вот перед спутниками открылся длинный и мало чем примечательный Нью-Йорк. От порта к центру шел трамвай. Невысокие дома из коричневого камня были однообразны, но зато особняки на Пятой авеню, где жили богачи, резко отличались своей

архитектурой. Рядом с копией изящного французского шато с берегов Луары высился нескладный деревянный сруб, напоминавший постройку, в которой ютились первые ирландские колонисты в Виргинии. Тут же наживший большое состояние промышленник, выходец из Польши, выстроил себе белоснежный дом наподобие костела, а его сосед решил удивить город, воспроизведя палаццо, восхитившее его в Венеции. Все стили зодчества нашли приверженцев среди новоиспеченной буржуазии.

— Это весьма сумбурная выставка архитектуры и, главное, чванства процветающего капитала, кричащего о толщине своей мошны. Типичные нувориши. На всех материках они одни и те же,— заметил Шорлеммер, когда нескладный, хоть и поставленный на добротные рессоры экипаж проезжал по улице миллионеров.

На набережной Нью-Йорка возводили первый четырнадцатиэтажный дом — самый высокий на всей планете. Толпы любопытных бродили вокруг строительных лесов, упиравшихся, как говорили, в самое небо.

Энгельс с друзьями направился к этому великану, чтобы посмотреть на работу каменщиков. Узнав в них итальянцев, он заговорил с ними на их родном языке.

Безработица и нищета погнали венецианцев за океан, здесь они считались лучшими мастерами своего дела.

Шорлеммер поинтересовался известковым раствором, склепывающим громады, и взял мастерок, чтобы испытать смесь. При этом он рассказал, что свыше двух тысяч лет назад римляне впервые в истории человечества применили, вместо сухой кладки из огромных тесаных каменных блоков, небольшие камни, скрепленные особым раствором.

— Вначале,— объяснил ученый-химик окружившим его строителям,— раствор укладывали между двумя стенками пригнанных друг к другу камней, а позже — кирпичей. Тогда же люди начали широко пользоваться бетоном и обожженным кирпичом, а для облицовки — мрамором. Изобретение раствора произвело революцию в строительном деле. Немногих искусных каменотесов Древнего Египта, Греции и Рима заменили необученные рабочие, часто рабы. Их руками и были созданы громадные здания и бетонные древнеримские своды, которые стоят и поныне.

— По сооружениям, воздвигнутым руками каменщиков, легко проследить все этапы развития мировой цивилизации,— сказал Энгельс.— Пирамиды, крупнейшие из сооружений, когда-либо созданных человеком, стоят в Египте уже пять тысяч лет. Добыча камня в каменоломне, отеска его блоков, доставка к месту стройки, подъем и укладка при уровне техники в царствование, например, Рамзеса Второго, требовали соединенных усилий огромного числа людей.

— Вы, верно, зодчие, не так ли? — спросил один из каменщиков.

Тусси, не слушая завязавшегося оживленного разговора рабочих с Энгельсом и Шорлеммером, закинув голову, смотрела на вздымавшуюся перед ней многоэтажную громаду. Таких она еще никогда нигде не видывала. Это было строение будущего века. Молодая женщина вспомнила маленькие дома Лондона, где прошла ее жизнь. Они показались ей копилками горестей и радостей семьи Маркса.

Вестминстерское аббатство, Тауэр, собор Парижской богоматери принадлежали прошлому. Тусси думала о том, что дома с неопровержимой точностью рассказывают о людях, в них живших, о войнах и революциях. Многие из них вошли в историю человечества и охраняются как реликвии.

На строительном дворе четырнадцатиэтажного дома стоял неумолкаемый гул. Энгельсу и Тусси нравился хаос созидания, груды кирпича, балок, бадьи с раствором, похожие на паутину механизмы. Незаметно их вовлек в свой круговорот порыв, которым здесь жили люди. Америка строилась и меняла свой захолустный облик.

Напротив дома, где остановились ненадолго Энгельс, Шорлеммер и Эвелинги, быстро вырастало высокое здание нового, самого большого в Америке универсального магазина. Просыпаясь, Энгельс подходил к окну, чтобы посмотреть, как за ночь каменщики подняли стены строящегося крыла дома. Утром он часто видел каменщиков во весь рост, а возвращаясь поздно вечером домой, находил на фоне темнеющего неба только их плечи и головы поверх свежевыложенной ленты стены.

Зрелище за окном доставляло Фридриху куда больше удовольствия, чем то, что он видел в гостинице, где обстановка поражала старомодностью. В спальне стояла гро-

моздкая мебель допотопного образца с латунными дугами вместо ручек и множество разностильных этажерок, кресел, настолько тяжелых, неудобных и претенциозных, что время изгнало их из употребления европейцев еще в начале века. В этом молодом государстве, возникшем на девственных тучных землях, жили люди, накрепко привязавшиеся к наследству давно ушедших поколений. Удивляли Энгельса и повозки на нью-йоркских улицах, столь нелепые, что их невозможно было бы отыскать даже в самом бедном крестьянском хозяйстве Старого Света.

— Вероятно, ими пользовались первые переселенцы, и по сей день они милы их потомкам,— посмеивался Энгельс,— впрочем, эти уроды не одиноки на мостовых. Здесь сохранился и другой тип транспортного ихтиозавра, наемная карета, которую сорок лет назад изгнали с лондонских улиц. Пассажиры вталкивают друг друга в это сооружение сзади и рассаживаются внутри, как в омнибусе. Теснота там такая, что люди сталкиваются лбами, сворачивают друг другу носы набок, а уж что происходит с брюками, юбками и обувью, невозможно описать.

Необычное впечатление производила на европейцев и городская толпа, весьма разнородная и пестро одетая. Особенно бросалось в глаза пристрастие зажиточных женщин к огромным кашмирским шалям, заменявшим им верхнюю одежду, к широким вышитым тальмам, шляпам, украшенным множеством перьев и цветов, и к различным драгоценностям.

Чтобы узнать, каков Нью-Йорк на самом деле, Энгельс побывал в районе Бауэри. Туда устремлялись эмигранты, которых сотнями ежедневно выбрасывали в карантин на Острове слез трюмы прибывающих издалека пароходов. Американцы считали их чужаками и обрекали на страдания, прежде чем давали права гражданства. Но надежда, напоминавшая азарт игроков, сообщала новоприбывшим силы. Забывая о неудачниках, они мечтали оказаться в числе тех немногих, которые, прибыв в Нью-Йорк без гроша, стали впоследствии миллионерами.

Горькую чашу испил попервоначалу и «человек упрямой справедливости», друг Маркса и Энгельса, немец-изгнанник Фридрих Адольф Зорге. В Америке он очутился в 1852 году совершенно случайно: будучи больным, перепутал пароход и лишь в океане узнал, что едет не в

Австралию, куда намеревался переселиться, а в Нью-Йорк. Так решилась его судьба.

Негостеприимной оказалась для него новая земля. Часто Зорге не имел крова и пищи. Ночи напролет проводил он на скамейке парка под открытым небом. Все, казалось, ополчилось на него, даже звезды и холодное пустое солнце на рассвете. Но в такие-то времена, как на войне либо в тюрьме, лучше познаются люди.

Сын священника, солдат баденско-пфальцской повстанческой армии, Зорге покинул Германию с отступающим революционным войском, так как был заочно приговорен судом к расстрелу. В Швейцарии он жил впроголодь, питаясь чашкой кофе и куском хлеба, на которые зарабатывал, то батрача в деревнях, то нанимаясь чистить ружья в тире и на стрелковых состязаниях. Зато именно в Женеве встретил он Вильгельма Либкнехта и стал членом местного просветительного общества немецких тружеников. На всю жизнь подружился он с Иоганном Беккером и другими коммунистами, соратниками Маркса и Энгельса, и эти люди привели его к науке о коммунизме. От них он узнал о «Манифесте Коммунистической партии». Зорге оказался ревностным посетителем Общества рабочих.

Есть ли миг в жизни более значительный, чем тот, когда хаос бытия вдруг озаряется могучим лучом мысли и мятущийся человек обретает себя и устремляется по единственно нужному ему направлению?!

В конце 1851 года власти заставили Зорге покинуть Швейцарию. Его деятельность в просветительском обществе стала тому причиной.

Начались скитания. Из Бельгии, где он давал уроки немецкого языка в частной школе и находился под надзором полиции, его вскоре выслали по доносам, полученным из Швейцарии. Упорно прячущий под внешней суровостью и резкостью большую душевную мягкость и чувствительность, настойчивый в любом деле и верный до самозабвения, Зорге слыл у одних медведем и грубияном, у других — надежнейшим и простодушнейшим из людей.

Преследуемый, изгоняемый отовсюду, он отправился в Англию, где на Дин-стрит в крайне стесненных обстоятельствах жил тогда с семьей Маркс. Эта встреча глубоко запала в сердце одинокого революционного странника.

Автор произведений, которые определили навсегда взгляды Зорге, оказался таким, каким он и хотел его увидеть. Чувство доверия и уважения к учителю еще более возросло у ученика.

Так и не найдя подходящей работы в сырой английской столице, Зорге отправился искать пристанища в Австралию, но очутился в Нью-Йорке.

Как и в Швейцарии, лишения и материальные невзгоды не помешали ему найти настоящих друзей. Познакомившись с молодой немкой, он полюбил ее и встретил полную взаимность. Катарина навсегда стала его неизменным спутником и подругой. Девушку не смутило, что имущество обоих после свадьбы состояло всего из одного стула, стола и койки.

С детства Зорге хорошо играл на разных инструментах и пел. Его родители, разносторонне образованные люди, увлекались музыкой. Дед, отец Зорге и он сам сызмала проводили много времени, извлекая волнующие глуховатые протяжные звуки из церковного органа. Зорге хорошо знал также народные мелодии и мастерски исполнял романсы, которые любил напевать и Энгельс.

Связь Зорге с Энгельсом, благодаря непрекращающейся переписке, продолжалась. Как и в годы существования Интернационала, Фридрих Зорге возглавлял развивавшееся пролетарское движение в Соединенных Штатах.

...Разомкнув объятия, два Фридриха — учитель и ученик — взволнованно и нежно всматривались друг в друга. Зорге был на восемь лет моложе Энгельса, но выглядел значительно старше. Жизнь изрядно потрепала его, как и многих натурализовавшихся в Америке иноземцев, привезших с родины пустой кошелек. Проверенный в боях ветеран, один из руководителей Международного Товарищества Рабочих, последователь Маркса, он поднял меч на божество молодой державы — капитал. Началась непрерывная война с его жрецами.

Энгельс, слегка заикаясь, как всегда, когда его обуревали сильные чувства, заговорил первым:

— Рад, очень рад видеть тебя здоровым и боеспособным. Ведь нас, участников баденско-пфальцского похода, осталось всего два-три — и обчелся. Лесснер, ты да я... Время, знаешь ли, беспощадный палач. Хорошо еще, что я успел добраться сюда, прежде чем песенка моя будет спета.

— Ты, Генерал, обещал мне побывать в Новом Свете еще во времена Гаагского конгресса. Сколько же лет, однако, я ждал тебя!

— Действительно, Мавр и я собирались за океан. Да, частенько мы с ним мечтали о таком путешествии...

Два однополчанина беспорядочно, как это всегда бывает после разлуки, перебивая друг друга, вспоминали прошлое.

Долго не могли они наговориться. Общие воспоминания спаяли их, многого из того, о чем они толковали, никто более не знал на земле, оно исчезло даже для всепроникающей истории, ибо, не оставив осязаемого следа, жило теперь только в памяти двух-трех людей.

Когда к старым друзьям подошла Тусси, Зорге взял ее за руку и сказал тепло:

— Приятно видеть снова дочь нашего Мавра. Кстати, Энгельс, ты представить себе не можешь, каким успехом пользовались полтора года назад ее лекции в Штатах. Молодец! Ваш муж, Элеонора, тоже талантливый оратор. К тому же особенно важно, что оба вы выступали не только перед немецкими, но и перед английскими слушателями. У вас такое хорошее американское произношение.

— О, не говорите об этом. Язык янки — это камень преткновения для лондонских жителей,— сказала живо Элеонора.— Англичане растягивают гласные, а в Новом Свете их вообще заглатывают.

— Более того,— вмешался в разговор Энгельс,— южане здесь выговаривают английские слова таким образом, что их с трудом понимают северяне. Это напоминает мне йоркширцев с их картавостью и лондонский кокни. Им никогда не сговориться.

— Миссис Маркс-Эвелинг просто и содержательно объясняла, в чем суть социализма, и привлекла этим в нашу партию много новых членов. Что и говорить, супруги Эвелинг и Либкнехт были настоящими послами социалистической Европы!

— Я не сомневался в том, что их миссия будет выполнена должным образом. Тусси еще в восьмилетнем возрасте проявляла повышенный интерес к политике. Она писала письма к самому президенту Аврааму Линкольну, и Мавр обещал их отправить через океан,— подмигнув молодой женщине, заметил Генерал.

— И представьте, я была так наивна, что верила, будто отец отсылал мои каракули в Белый дом.

Жена Зорге, пожилая гостеприимная женщина, позвала Тусси, чтобы показать ей своего внучонка.

Энгельс попросил Зорге никого не оповещать о его приезде.

— Я здесь по настоянию врачей, отправивших меня за океан для перемены климата, и не более чем турист, частное лицо, приехал ненадолго, чтобы обнять тебя. Признаться, хотелось также, прежде чем отправлюсь к праотцам, самому увидеть страну Колумба, дополнить своими наблюдениями то, что знаю из твоих писем, статей и разных книг.

Разговор длился долго.

Окрепнув и захватив власть, буржуазия Соединенных Штатов тотчас же принялась сгонять индейцев с исконно принадлежавших им земель. Получив в свою собственность бескрайние, не тронутые плугом поля, капиталисты и фермеры за гроши скупали труд негров и бездомных переселенцев. Повсюду закипела работа. Земледелие и индустрия процветали. Начался бурный экономический рост нового государства, быстро нагонявшего дряхлеющие европейские державы. Возможность получить сказочно высокие прибыли соблазнила денежных магнатов Англии, Франции и Германии, и они охотно укрепляли США своими займами и вкладами. Богатейшие природные условия, буржуазно-демократический строй, свободный от тяжелой ноши феодальных пережитков, непрерывно пополняющийся эмигрантами запас рабочей силы способствовали тому, что страна за несколько десятилетий превратилась из чисто земледельческой в могучую промышленно-аграрную. Притом океан стал для молодой республики надежной крепостной стеной, непроходимым барьером, и она могла не разорять своей казны содержанием дорогостоящих армий.

С удивительной скоростью множились железные дороги, развивалась индустрия, небывало наживались капиталисты, а рабочие жили все хуже. Отчаявшиеся, изнемогшие от постоянной нужды, безработицы, неверия в будущее, они легко склонялись к бунту анархистами и проповедниками различных социальных сект, групп, обществ. Ирландцы, немцы, поляки, евреи, скандинавы, итальянцы, чехи, французы, китайцы не всегда умели

сговориться между собой, зная лишь родной язык, но, несмотря на несхожесть привычек, темпераментов, понятий, стремились к содружеству. Они понимали, что сильны только купно. Как бы ни назывались рабочие объединения — орденом ли рыцарей труда, лигой или обычным союзом,— они все боролись за восьмичасовой рабочий день и сносный заработок.

Хотя прошло уже два года после страшного происшествия в Чикаго, оно продолжало тревожить умы не только социалистов, но и всех справедливых людей. Зорге знал участников трагедии и говорил о них с суровой горечью.

— Ты присутствовал на суде? — спросил Энгельс.

— Да. Это было издевательство над законностью. Весь процесс от начала до конца превратился в вызов правде ради классовых инстинктов и расчета,— с глубоким возмущением рассказывал Зорге.— Еще раз мир убедился, что победившая буржуазия — это хищный зверь, не знающий жалости к тем, кто угрожает его собственности и власти. Нет ничего более чудовищного, чем республика Соединенных Штатов. Председательствующий на суде и не старался отрицать свою заинтересованность в том, чтобы осудить невиновных, убить их во что бы то ни стало. Четверо вождей чикагских рабочих были повешены.

— Я так надеялась, что палачи не решатся их казнить,— с тоской сказала Тусси.

— Увы, общественное мнение честных людей оказалось бессильным, и Парсонс, Шпис, Энгель и Фишер умерли геройски.

— Ничто не порождает большей зоологической злобы, нежели та, что обуревает собственника, когда он пугается за свой капитал,— заметил Энгельс.

— Буржуазия проклятого города на озере Мичиган, верная себе, не только оплатила суд изуверов, но и поставила за свой счет на площади Хеймаркет памятник, на котором возвышается полицейский с дубинкой в руке. Беспримерный случай!

— Не расскажете ли вы, Зорге, как все это было,— попросил Шорлеммер.

— Извольте. Начну с характеристики Шписа, Фишера и Парсонса, которые руководили чикагскими рабочими. Хотя взгляды их не всегда совпадали с нашими марксистскими, но это были достойные уважения, мужествен-

ные люди, которых даже враги не могли опорочить, как ни старались. Все трое редактировали смелые и, более того, часто дерзкие рабочие газеты — это их погубило — и отличались необычной для американцев образованностью. Да, такие парни — клад, гордость социалистического движения. Прокурор знал, что делает, когда, оклеветав, добивался их казни. А дело было так. Чикаго, как вы все знаете, после пожара семьдесят первого года не только отстроился заново, но и стал крупнейшим и красивейшим городом Штатов. Чего там только нет! В знаменитых скотобойнях живая свинья за пятнадцать минут превращается в сосиски, ветчину, крем для укрепления волос и переплеты для Библии. Заводов множество, миллионеров тоже. Таков этот многоликий город среди бесконечных прерий.

— Еще бы, Чикаго! — отозвался Эвелинг.

— Десятки железных дорог соединяют город со всеми уголками Америки и Канады,— продолжал Зорге. — Пароходы без числа снуют по внутренним озерам. Интересно, что население города космополитическое. Немцев примерно треть, ирландцев тоже. Затем французы, итальянцы, славяне. Сущий Вавилон, смешение языков и народов. А тысяча восемьсот восемьдесят шестой год, когда случилось несчастье, был вообще очень бурный. Стачка железнодорожников, столкновения между должностными лицами и членами ордена рыцарей труда, а также с поддержавшей их Американской федерацией рабочих. И тут еще после сумятицы на пивоваренном заводе и у булочников, объявивших, что объединяются в союзы, началась забастовка у Маккормика. Этот шотландец производит косилки и прославился как редкий кровопийца. Черт знает что!.. Недавно сам голодал в Глазго и прибыл в Америку в трюме, нищим — и уже все забыл. Не желая поднять заработную плату и сократить часы труда, эта сволочь уволила бастующих и стала набирать «скэбов» — так здесь называют штрейкбрехеров. Рабочие, вспылив, вышли на улицу, требуя своего. Этого только и ждали ищейки Маккормика. Несколько провокаторов смутили толпу. В цеху, где взамен уволенных расположились «скэбы», выбили окна. Началась драка. Появился отряд полиции. В сваре несколько блюстителей порядка были оттиснуты. Не больше. Тогда раздался залп по безоружным трудящимся. Многие упали мертвыми либо ране-

ными. Потрясенный виденным Шпис бросился в редакцию своей газеты, написал и опубликовал на немецком и английском языках листовку, которую затем распространил по городу.

Зорге достал из папки узкий лист с печатным текстом и протянул Тусси. Она прочла его вслух. Этот документ стоил впоследствии жизни его автору.

«Месть! Месть! Рабочие, к оружию! Трудящиеся, сегодня после полудня цепные псы ваших эксплуататоров убили шесть ваших братьев у Маккормика. За что убили их? За то, что они нашли в себе смелость быть недовольными участью, которой их наделили эксплуататоры. Они требовали хлеба, а получили свинец: мертвые надежнее молчат!»

— Что же было дальше? Откуда взялась бомба? — не терпелось Шорлеммеру.

— Чикаго не смирился. В этом, однако, были повинны власти. Они подстрекали через своих агентов народ к беспорядкам. Распознав провокацию, тот же Шпис и его сотоварищи выпустили газеты с призывом к спокойствию. «Спокойствие!» — взывали плакаты. На другой день на площади Хеймаркет стихийно возник митинг. Хотя речи ораторов были миролюбивыми, собравшихся оцепили сомкнутым строем двести полицейских. Командир отряда потребовал распустить собрание. Последний из ораторов, англичанин Филден, соскочил с импровизированной кафедры — помоста на телеге — со словами: «Расходитесь, друзья, наши намерения мирные!» В это именно мгновение в рядах полиции взорвалась бомба. Кто ее бросил, зачем? Почти никого из казненных вообще не было на площади.

— Мне писали из Чикаго,— сказал Энгельс,— что капиталисты устроили пир людоедов и плясали от радости. Все конституционные гарантии личной свободы были растоптаны. Произвол дубины утвердился в рабочем Чикаго. Последовало запрещение профессиональных союзов, собраний. Полиция арестовывала всякого, кого хотела, и врывалась в квартиры, производя там обыски. В городе фактически утвердилось осадное положение.

— Да, так было, Генерал. Весь состав редакции немецкой газеты, руководимой Шписом, вплоть до наборщиков, оказался в тюрьме. Бургомистр Чикаго, хвастаясь тогда перед представителями прессы, сказал, подчеркивая

могущество буржуазии: «Если бы английская королева поступила таким же образом, как мы в эти дни, она потеряла бы и корону и страну». Наглость и цинизм судей на процессе Шписа и его единомышленников не знали предела. Председательствующий громогласно признал, что суд вовсе и не утверждает, будто бомба была брошена этими обвиняемыми. Их алиби оказалось неопровержимым,— закончил Зорге и, помолчав, присовокупил: — И все-таки их повесили.

И Энгельса и Зорге беспокоило укрепление во Франции монархистов, объединившихся вокруг бывшего военного министра генерала Буланже.

— Без императора нет империи, без Бонапарта нет бонапартизма. Система скроена по человеку, на нем она держится, с ним она падает. Я это объяснил Бебелю и рад, что ты согласен со мной, мой старый дружище. Идол вроде Бонапарта может быть и о трех головах, как Триглав у древних славян Поморья. Не в этом дело. Главное, чтобы он не появился. Теперь французские монархисты объединились для коронования Буланже. Совершенно неважно, что представляет собой этот новый выскочка — глуп или умен, добр или зол. Чем он ничтожнее, тем выгоднее для тех, кто его возвеличивает. Без Буланже нет буланжизма. И его не должно быть, чего бы это ни стоило. Лафарги и Гед недооценивают опасность диктатуры, нависшей над Францией. Они объяснили успех нового божка на выборах его солидарностью с интересами народа. Непростительное верхоглядство!

Энгельс ударил кулаком по столу и начал заикаться от возбуждения.

— Доверчивость в политике граничит с преступлением. Нам, свидетелям кровавых дел прохвоста Луи Бонапарта, ясно, чем может кончиться недомыслие и медлительность левых партий в борьбе с авантюристами, которых, как резиновый мяч, надувают монархисты и буржуа.

Зорге, обеими руками опершись о стол, с нескрываемой любовью смотрел на вспылившего Энгельса и не прерывал его. Американский друг Генерала был невысоким, широкоплечим, сутулым человеком с неулыбчивым, грубоватым лицом и острыми глазами, выражение которых могло быть то суровым, холодным, то насмешливым, то мечтательным и добрым. Как все сильные, много испытавшие люди, Зорге был разным в разных обстоятель-

ствах. Но единственное, в чем он оставался неизменным,— это резко выраженное чувство правды и справедливости. Редко у кого были столь «говорящие» и проницательные глаза.

...Нью-Йорк нравился Энгельсу яркостью красок неба, обилием солнечного света. После хмурого Лондона этот город казался особенно веселым и даже пестрым, как его шумливые, громко спорящие, всегда куда-то торопящиеся жители. Грохот надземной железной дороги и перекличка пароходных сирен вливались в симфонию города, растянувшегося в длину, как коса на реке. Пучком лучей казался издалека Бруклинский мост, прекрасное плетение из стали, чудо механики и искусства, висящее над водой так высоко, что под ним свободно движутся большие суда.

Из Нью-Йорка Энгельс и его спутники поездом отправились в Бостон. В вагонах, в противоположность английским, где царит тишина, было шумно. Всюду валялись окурки и клочки бумаги.

Как и в гостиницах, в коридорах вагонов стояли плевательницы, но это, как и красноречивые приглашения на стенах ими пользоваться, не действовало на публику. Привычка плеваться, по мнению американцев, явилась следствием курения крепких сигар, сухости воздуха и чрезмерно натопленных паром помещений, а часто и желанием показать всем свое право делать, что хочется.

Бостон оказался тихим городом, раскинувшимся на большом пространстве, с низкими домами и деревьями вдоль выложенных кирпичом тротуаров.

В предыдущую четырехмесячную поездку по Соединенным Штатам Тусси многое уяснила в этой противоречивой, необычной стране, насчитывающей менее двух столетий существования. Выступая с лекциями вместе с мужем, она объездила большие и малые города, приобрела друзей и знакомых среди представителей разных классов. Дочь Маркса заметила, что зажиточные женщины более развиты, начитанны, воспитанны и сердечны, нежели мужчины, превратившиеся в постоянно действующую машину для добычи долларов. Нередко жены и дочери стеснялись их. Дамы побогаче увлекались музыкой, театром, собирали предметы искусства, путешествовали, меценатствовали, окружали себя свободолюбивыми бунтарями

и художниками не то от скуки и прихоти, не то из тщеславия.

Но чтобы изучить живую Америку, где люди так же различны, как страны, которые они покинули, где климат столь разнообразен, что, когда в Нью-Йорке бушует метель, во Флориде зреют апельсины, нужно привыкнуть к ней.

Тусси избегала поспешных обобщений. Новый Свет чем-то пугал ее. Не имея своей уходящей в глубь веков истории, как ствол без корня, этот обжитой шестьюдесятью тремя миллионами человек материк нес в себе загадочные неожиданности. Десятки вероисповеданий, предрассудков, смутных представлений о прошлом, слившись, образовали здесь полноводную, бурную и мутную реку. Каково будет ее течение, что принесет она в океан человечества?

Из Бостона Энгельс с друзьями отправился на Ниагарский водопад и затем в Канаду. Фридрих по-прежнему был самым неутомимым и бодрым из всех путешественников. В спортивных брюках и ботинках, в удобном полосатом пиджаке с множеством карманов, размахивая палкой, он шел всегда впереди своих спутников, подбадривая их и подшучивая над Шорлеммером, который постоянно отставал. Великий водопад всем казался давным-давно виденным, так часто его огромные водяные пряди воспроизводили на всевозможных картинах. Но оглушающий рев воды поражал своей дикой мелодией.

Тусси, глядя на водопад, испытывала странное чувство: ее тянуло броситься вниз, в пучину, умчаться неведомо куда. Солнце, пробившись сквозь струи, окрашивало их в лазоревые тона. Когда же оно скрылось, очертания берегов стали строгими, мрачными. Шорлеммер так загляделся на меняющий цвет водяной поток, что едва не упал со скалы.

— Когда снизу смотришь на это величайшее из явлений природы,— сказал он, отряхивая промокшую плащ-разлетайку,— кажется, что седая женщина, громадная, как атлант, распростерлась в воде и опустила вниз свои волосы.

— Браво, очарованный химик! Ниагара вдохновила тебя, пробудила поэта в душе ученого. Однако обопрись на мою руку, дружище. Я боюсь, что сирены заманят тебя и утопят. Слышишь мощное пение? Каким слабень-

ким кажется по сравнению с ним голосок нашей Лорелеи с тихого Рейна! Его заглушил бы вой не прекращающейся здесь грозы. Все так относительно на свете.

— И как, однако, прекрасно! И милый Мозель, и чудесная Ниагара. Смотрите, ведь она светится! — громко сказала Тусси.

Энгельс положил руки на плечи стоявших по обе стороны от него Тусси и Эдуарда. По-юношески радовался он впечатлениям, которые с такой щедростью разбросаны обычно на дорогах путешественников в незнакомых странах. Для него Америка была не просто источником новых впечатлений. На ее землях жили некогда племена, о которых он писал недавно в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

— На этих берегах обитали первобытные люди,— говорил он, когда небольшой пароход вошел из озера Онтарио в реку Святого Лаврентия.— Они мало чем отличались от нас, но были, однако, совершенными дикарями. Найдя огонь, они познали божество. Их женщины, должно быть, были красивы, с волосами до пят, а мужчины храбры. Тогда трусливые погибали рано.

Энгельс жил всегда в нескольких измерениях. Мысль его уносилась ввысь, проникая во вселенную; она охватывала всю планету и притом обладала способностью глубоко проникать во время, добираясь до начала начал. Пульс жизни бился для него с удесятеренной силой, и в лексиконе не было плоских слов «скука» или «уныние». Великий гуманист, интересовавшийся человечеством от самого его исторического детства, принимал бытие как нечто безбрежное и драгоценное. Старость и неизбежность конца не только не умаляли дара жизни, а делали его значительно дороже. «Не родиться вовсе, не жить из страха перед небытием — какая трусливая глупость!» — думал Энгельс. Он, как все деятельные натуры, любил сосредоточенное одиночество. Тусси легко угадывала, когда Генерал погружался в размышления: ей удавалось поймать его отсутствующий взгляд.

— Пойдемте,— сказала Тусси мужу и Шорлеммеру, увидев, что Энгельс задумался.— Не надо мешать ему. Пусть останется наедине с собой.

— Отлично,— проговорил химик,— но вряд ли он один, а не в чьем-то обществе. Может быть, про себя пробирает, ну, скажем, Либкнехта или кого-нибудь еще.

— Нет, нет! — Тусси улыбнулась.— Только не надо сердиться на Либкнехта. После Энгельса он был мне всегда самым родным.

— Надеюсь, так было до моего появления,— сказал Эвелинг, притворяясь рассерженным, и патетически закончил, став в позу грозного судьи: — Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

Мгновенно входя в роль, Тусси ответила, растягивая слова и придыхая, как Элеонора Дузе:

— О мой Отелло, любовь к тебе не может ни с чем сравниться... То были чувства земные. Ты же мне послан небом.

— У Шекспира не так, но для данного случая точность необязательна,— весело смеясь, закончил сцену Шорлеммер. И толстыми короткопалыми руками принялся аплодировать.

Решив провести в Америке не более месяца, Энгельс строго придерживался намеченного маршрута. Осмотрев малонаселенную, прекрасную своими лесами и реками Канаду, он направился в Адирондак. Старого, тренированного альпиниста всегда тянуло в горы. Чем выше Энгельс поднимался, тем бодрее себя чувствовал. Оставив позади леса, затем кустарники, путешественники очутились в тумане и наконец увидели скалы вершин и солнце. Эвелинги и Шорлеммер едва поспевали за Энгельсом.

Химик, у которого был гулкий бас, мог, дав себе волю, петь на просторе и фальшивить на верхних нотах или удивлять Тусси нижней октавой. Впрочем, Энгельс, обладавший чутким слухом, называл пение Шорлеммера чревовещанием.

— Советую слушать нашего достопочтенного ученого, приложив ухо к последней пуговице его жилета. Вот откуда извлекает он нижнее соль.

Говоря это, Генерал презабавно подмигивал Эвелингам, а Шорлеммер отвечал, притворяясь возмущенным:

— Профанация. Все, что говорит вам Фридрих, порождено завистью. У бедняги баритональный тенор, а характер баса-профундо. Какое печальное несоответствие!

Вдоволь посмеявшись, вся компания отправлялась дальше. Энгельс говорил, что по сравнению с местными колымагами прусские дорожные повозки времен царя Гороха показались бы роскошными каретами. Пассажиры устраивались на козлах, на крыше и на узеньких сидень-

ях для шести человек. Дороги вполне соответствовали транспорту. Они представляли собой две колеи в песчано-глинистой бугристой почве.

— Да-с, вот когда мы смогли насладиться всеми достижениями культуры времен Тридцатилетней войны,— с обычным юмором заключил Генерал.

Путникам часто встречались негры. Белые американцы нередко звали их просто Джорджами, и они охотно откликались. В память о президенте Вашингтоне многие действительно носили это имя.

В провинции чернокожие фактически продолжали оставаться рабами. На одном из пароходов прохаживалась пышно разряженная дама, очевидно плантаторша с Юга, при ней находился согбенный, высохший, как тростник зимой, негр. У него были густейшие, постриженные бобриком волосы, и когда его белотелой хозяйке требовались шпильки, она привычным жестом доставала их из его похожей на шерстяную подушечку головы. Булавки с разноцветными металлическими головками торчали во все стороны из черных с сединой, коротких волос.

Молодые негритянки отличались стройностью. Они смазывали лица глицерином, считая блестящую кожу своим украшением. Тусси замечала, что Эвелинг засматривается на черных красавиц, но подавляла в себе чувство ревности, казавшееся ей недостойным, гадким.

В пути Энгельс всегда отдыхал. Сейчас он решительно не желал встречаться с немецкими эмигрантами и назойливыми репортерами газет. Но в Нью-Йорке, куда снова прибыл Энгельс с друзьями, чтобы отправиться пароходом в Англию, ему не удалось избежать встречи с журналистом, записавшим для печати краткую беседу с ним. Представителем немецкой газеты, подкараулившим его, оказался маленький Теодор Куно, многолетний знакомый Энгельса, один из рьяных борцов против Бакунина в Интернационале. Несколько лет назад Куно побывал в Лондоне.

Когда бы его ни сводила судьба с Энгельсом, они говорили о счастливых днях Гаагского конгресса. Есть особое свойство в жестоких испытаниях, если они прошли и не сломили души. Воспоминания о них становятся отрадными и укрепляют волю. Так однополчане хранят гордую память о сражениях и тяготах войны, окончившихся победой. Гаагский конгресс стал открытым поединком меж-

ду последователями Маркса и Энгельса и анархистами, не побрезговавшими клеветой, чтобы уничтожить Интернационал.

— Да, это была схватка не на живот, а на смерть. Мы столкнулись впервые в истории рабочего класса с тайным заговором, прямо-таки с адской машиной, подложенной для взрыва не каких-либо эксплуататоров, а нашего товарищества самим сатаной Бакуниным! — взволнованно, как будто не прошло шестнадцати лет, припомнил Энгельс, когда Куно, бывший председателем следственной комиссии съезда, принялся вспоминать прошлое.

Куно особенно гордился тем, что едва не был убит одним из анархистов, который бросился к нему, подняв заряженный пистолет и угрожая: «Такой человек, как ты, заслужил пули!»

— Погибнуть от руки идейного противоборца — честь,— размышлял Куно.— Ненависть противника подчас приятна. Человек нуждается лишь в любви друзей. Только тот, кто очень низко пал, не имеет врагов.

Энгельс, Шорлеммер и Эвелинги начали собираться в обратную дорогу.

Тусси уезжала опечаленная. Вот уже четыре года, как Эвелинг писал для театра и несколько раз сам пытался играть на сцене. В Америке шли три пьесы, написанные им самим, и одна — в соавторстве. Это, как и в первую поездку, явилось причиной его особенно настойчивого желания оказаться в Новом Свете. Тусси, с каждым днем любившая Эдуарда все сильнее, относилась к его произведениям с чрезмерной чувствительностью и не могла сохранять присущего ей во всем остальном острого критического чутья. Любовь, ослепляя, делала ее пристрастной. Она находила, что Эвелинг талантливый, но еще недостаточно оцененный публикой драматург. Пьесы Эдуарда на сценах американских театров шли без того громкого успеха, которого тщеславный ирландец так ждал. В глубине души Тусси все же сознавала, что муж ее, как всякий начитанный и бойкий журналист, может кропать не более чем литературные поделки. Но писателем не делаются, а рождаются, мозг и сердце художника — особый, сложный инструмент, такой же, как гортань и голосовые связки певца.

Пять прожитых совместно с Эдуардом лет не были легкими для Тусси. Ей приходилось не только угождать

в быту, ухаживать за мужем — все это для молодой женщины с неудовлетворенным чувством материнства было не в тягость, но самовлюбленный, всегда немного позирующий Эдуард обрушивал на нее свои капризы, дурное настроение непонятого гения и требовал удобств и роскоши не по средствам. Как проказливый и злой ребенок, он всегда жаловался на нездоровье, скуку и добивался права развлекаться, как ему хочется: играть в карты, посещать заведомо легкомысленных людей и доступных женщин, преимущественно актрис, будто бы нужных для исполнения ролей в его пьесах. Только почтительный страх перед Энгельсом удерживал Эвелинга от того, чтобы не отдаться низменным страстям и развлечениям, а Тусси, догадавшись об этом, вдруг поняла, какие несчастья ждут ее в будущем.

Ни Генерал, ни Шорлеммер ничего не знали о том, что происходит в душе Элеоноры. Полнейшая противоположность мужу, она больше всего старалась не огорчать дорогих ей людей и прятала свою тревогу.

Энгельс остался весьма доволен путешествием. Он чувствовал себя помолодевшим на много лет. Различные недомогания исчезли, и даже больным глазам стало лучше. Он вспоминал с восхищением Ниагарский водопад, где солнце такое же ласкающее, как в Ломбардии, а в ресторане всегда есть рейнландские вина.

Сентябрьским утром самое мощное новое судно, «Сити оф Нью-Йорк», вышло в свой четвертый рейс из Америки в Европу, и сначала ничто не предвещало осложнений в плавании. Внезапно начался сильный шторм. Палубы опустели, качка свалила многих пассажиров. Одна из машин отказала, вторая избежала аварии, но работала с чрезмерным напряжением. Энгельс и Тусси поднялись на закрытую верхнюю палубу.

— Вот уж прямо-таки библейский потоп, воистину разверзлись хляби небесные,— улыбаясь, сказала молодая женщина.

«Сити оф Нью-Йорк», казавшийся в порту огромным и несокрушимым, то падал в бездну, то взлетал к туманному небу. С оглушительным шумом схлестывались огромные валы и тучи. То была чудовищная схватка стихий с крошечным, но могущественным творением человеческого мозга и рук. Буря вслепую кидалась на корабль.

Он же спасался, зарываясь в пучину, ныряя и взбираясь снова на горы океанских волн.

Страх дикаря поднимался из прапамяти перед этим нашествием взбаламученных вод. Побеждать его разумом и сознательной волей было радостно. Тусси вдруг захотелось перекричать ветер, но голоса ее не было слышно. Она засмеялась беспечно, как в детстве, когда выбегала в грозу ловить молнию.

К берегам Англии пароход пришел с двухдневным опозданием, но невредимым.

Елена Демут заметила, что ее ослабевшие ноги отекли. Она задыхалась, когда по старой привычке сбегала по лестнице в кухню или бросалась открывать входную дверь.

«Что это со мной?» — спрашивала она себя с недоумением.

Иногда Ленхен казалось, что она здорова. Тогда она принималась за уборку комнат. И сразу же острая боль возобновлялась.

«Когда сердце здорово, мы забываем о нем. Тащи, мол, ты ведь безотказное»,— думала Ленхен. Она никому не говорила о том, что больна. Потеряв Женни и Карла, Ленхен перестала бояться смерти. Страх полного исчезновения, казалось ей, происходит от жадности, зависти и неблагодарности. Но Елена Демут давно поняла, что все на земле принадлежит живым. Она никогда никому не завидовала. И, главное, она испытывала великую благодарность к жизни, которую считала всего лишь одним мгновением, давшим ей, однако, счастье видеть, мыслить и чувствовать.

Ленхен решительно отвергла помощь врачей, не желая, чтобы они выдали друзьям ее тайну. На все расспросы о здоровье она отвечала, что не намерена умирать раньше, чем утвердится на земле правда и равенство, и чувствует себя превосходно. Ей не хотелось тревожить Энгельса, всегда занятого многочисленными делами.

В Лондон приехали из Парижа погостить четверо внуков Маркса. Дом на Риджентс-парк, степенный и тихий, зашумел, как птичник. Ежедневно к маленьким парижанам приходили не менее шаловливые дети Эллен-Пумпс. У Ленхен появилось много новых забот и обязанностей.

По-прежнему любимцем ее оставался старший из сыновей покойной Женни Лонге, Джонни. Он значительно вырос, но остался неутомимым заводилой всех забав и шалостей.

— Ним! — громко кричал он, взлетая на второй этаж и скатываясь вниз по перилам лестницы.— Ним, дай нам простыни, чтобы сделать бурнусы! Мы зуавы, воюем с племенем бедуинов.

Начиналась игра.

Сбиваясь с ног, Ленхен с трудом усмиряла оба войска, когда они собирались оккупировать рабочие комнаты Энгельса.

Вечерами Джонни и послушная ему команда меньших детей властно требовали сказок. Тусси усаживала их у камина и, охотно превращаясь в Шехерезаду, принималась фантазировать. Ленхен, сидя в кресле с неизменным вязаньем, наслаждалась нескончаемыми историями.

Тусси была великолепным рассказчиком. Подчас ее сменяла Пумпс, но, лишенная воображения, она предпочитала читать вслух какую-нибудь книгу.

Дети требовали сказку о приключениях Алисы в Стране Чудес.

Все обитатели Модена-Вилла еще двадцать лет назад прочли впервые фантастическую повесть оксфордского профессора математики Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Ученый внес в свое творение много остроумных и дерзких представлений, отчего книга его понравилась не только детям, но и взрослым. Она оказалась крылатой и облетела весь мир. Сам Льюис Кэрролл не любил странствий и только единожды покинул родную Англию, чтобы отправиться в страну, привлекшую его своей противоречивостью и таинственностью. Это была Россия.

Ленхен отложила вязанье, чтобы еще раз послушать и посмеяться над разговором Алисы с Чеширским котом.

Вместе с маленькими Лонге Елена Демут несколько раз ходила в театр смотреть славившиеся английские пантомимы.

Одной из прекраснейших постановок была феерия «Ганс-лодочник», где играли дети и участвовали животные.

Покуда юные гости развлекались, озорничали, гуляли по городу в сопровождении Ленхен и Пумпс, Энгельс, за-

першись у себя, работал над подготовкой документов к парижскому конгрессу.

К Энгельсу неожиданно нагрянул Шорлеммер. В доме были крайне взбудоражены известием о разводе Каутских.

Разлад в семье Каутских огорчил Ленхен, Тусси, Шорлеммера и Энгельса. Они не скрывали неприятного удивления. Письмо Луизы к Эдуарду Бернштейну, другу Каутского, многократно перечитывалось всеми. Оно было написано покинутой женщиной умно, с большим чувством собственного достоинства и желанием во что бы то ни стало оправдать оставившего ее мужа. Луиза самозабвенно любила Карла, гордилась им. Даже когда он жестоко ее обидел, она его оправдывала и защищала.

— Поразительная женщина! — горячилась Ленхен.— Она считает своего Карла натурой столь исключительной, что готова принести себя в жертву ради его покоя и счастья с другой. А этот несносный сухарь не понимает, что его новая возлюбленная не захочет восхищаться им постоянно.

— Ты права, Ним,— сказала Тусси.— Предмет новой страсти Карла уже охладел к нему и обручился с Гансом, младшим из братьев Каутских.

— Это возмездие. Но вернется ли он к Луизе?

— Вряд ли. Да и зачем? Склеенная посуда недолговечна,— заметила грустно после небольшой паузы Тусси.— Ларошфуко пишет, что никаким притворством нельзя ни скрыть любовь там, где она есть, ни выказать ее там, где ее нет. Очевидно, Каутский слабохарактерен,— Тусси чуть не добавила «тоже слабохарактерен», подумав при этом о своем муже,— а чем безвольнее человек, тем чаще он меняет свои привязанности. Бедная Луиза!

Много в этот день говорилось в доме Энгельса о любви и браке.

— Когда-нибудь утром Карл проснется от глубокого сна и поймет, что совершил величайшую глупость в жизни,— сказал Фридрих.

Вечером, оставшись у себя в кабинете, он принялся за письмо к Луизе Каутской, которую уважал и ценил все больше и больше, по мере того как ближе ее узнавал.

«...Известие, которое Эде сообщил уже Нимми, поразило всех нас как гром среди ясного неба. Но когда я прочитал Ваше письмо, я вообще перестал что-либо понимать.

...Но все это ничто,— продолжал он,— по сравнению с тем восхищением, которое вызывает во мне Ваше героическое и исключительно великодушное письмо,— и это не только мое впечатление, это впечатление всех, кто его читал... В тот момент, когда на Вас обрушивается самый жестокий удар, какой только может получить женщина,— в этот момент Вы находите в себе достаточно самообладания, чтобы оправдывать мужчину, рука которого все же нанесла этот удар. Отказаться от такой великодушной женщины после пяти лет совместной жизни — этого я не в состоянии понять.

Вы говорите, что о виновности Карла не может быть и речи. Хорошо, в этом Вы — высший судья. Но это еще не дает права нам быть несправедливыми к Вам... Вы говорите о разводе как о единственно правильном выходе при ваших характерах. Но если бы с вашими характерами действительно нельзя было ужиться, то мы ведь тоже должны были бы это заметить и давно уже ждали бы развода как чего-то естественного и неизбежного...

Вы говорите о Карле: без любви, без страсти его натура гибнет. Если эта натура проявляется в том, что каждую пару лет требует новой любви, то он сам ведь должен будет признать, что при нынешних условиях или такую натуру следует обуздать, или она запутает его и других в бесконечных трагических конфликтах...

Вообще ведь наши общественные отношения таковы, что мужчине куда легче совершить по отношению к женщине очень большую несправедливость, и много ли найдется таких мужчин, которые могли бы считать себя совершенно свободными от подобных обвинений? «Подите, вы не достойны женщин!» — сказал один из величайших людей, лучше всего знавший это по собственному опыту. И мне пришлось повторить это себе, когда я читал Ваше письмо...

...Но, что бы ни случилось, в одном я уверен: с Вашим мужеством Вы преодолеете все трудности, выйдете победительницей из всякой борьбы. Наши — мои и Ним — сердечнейшие пожелания будут Вам сопутствовать. Мы

с радостью сделаем для Вас все, что можем,— располагайте нами безусловно, и если когда-либо судьба снова приведет Вас сюда, считайте при всех условиях наш дом своим собственным».

После поездки в Америку зрение Энгельса несколько окрепло и глаза болели меньше. Но более двух часов подряд он не мог проводить за письменным столом. Мысль о необходимости довести до конца работу над третьим томом «Капитала» тревожила его постоянно, и он часто жертвовал перепиской с друзьями ради этого. Однако развод Каутских настолько неприятно поразил его, что спустя несколько дней после письма к Луизе Энгельс обратился и к Карлу, желая предотвратить разрыв его с женой.

«...Твои родные не были довольны вашим браком,— писал Энгельс.— Я знаю по опыту в моей собственной семье, как трудно, а порой и невозможно, родителям быть справедливыми по отношению к зятю или невестке, вошедшим в семью вопреки их воле. При всем том родители убеждены в наилучших своих намерениях, но эти наилучшие намерения большей частью приводят лишь к тому, что создается ад для нового члена семьи, а косвенно и для собственного сына или дочери. Каждый муж может найти какие-нибудь недостатки в своей жене, и наоборот; это в порядке вещей. Но в результате благонамеренного вмешательства третьих лиц это критическое отношение может перерасти в неприязненное чувство и длительный разлад. Если у вас это было так, то вы оба правы: Луиза в том, что нет оснований для разлада между вами, а ты в том, что отношения фактически разладились».

Энгельс отложил перо и, откинувшись в кресле, задумался. Он вспомнил свою покойную жену, так и не признанную его матерью и многочисленными братьями и сестрами.

«Филистеры, ханжи,— размышлял Фридрих о своих родных.— Никто из них не встретил на своем пути такие любящие и честные сердца».

Энгельс продолжил письмо Каутскому:

«Если же разлад, безразлично по какой причине, был настолько значителен, что ты серьезно принял решение разойтись, то следовало, по-моему, прежде всего взвесить

различие в положении жены и мужа при современных условиях. Мужу развод в общественном смысле не наносит абсолютно никакого ущерба, он сохраняет целиком свое положение, просто снова становится холостяком. Жена теряет все свое положение, должна опять начинать все сначала и притом в более тяжелых условиях. Поэтому когда жена говорит о разрыве, то муж может делать все, просить и умолять, не унижая себя; напротив, если муж лишь слегка намекнет на разрыв, то жена, если она себя уважает, почти вынуждена тотчас же пойти ему навстречу. Из этого следует, что муж лишь в крайнем случае, лишь после зрелого размышления, лишь вполне уяснив себе необходимость этого, имеет право решиться на этот крайний шаг и то лишь в самой деликатной форме.

...Если же ты, несмотря на это, захотел сделать первый шаг, то Луиза, право же, заслужила от тебя того, чтобы ты сделал его, вполне отдавая себе в этом отчет, а не в том угаре, в котором ты находился... и которому так скоро суждено было рассеяться...

Ты говоришь, что тебе, очевидно, придется остаться в Вене... Я бы на твоем месте испытывал потребность прежде всего наедине с самим собою, вдали от всех участников этой истории, разобраться в подлинном характере и последствиях всего происшедшего».

Любил ли Каутский Луизу когда́-нибудь или брак их основывался только на ее чувстве и поэтому был заранее обречен на неудачу? Это уже не имело значения. Узнав, что Каутские окончательно разошлись, Тусси вспомнила слова отца, что развод лишь утверждает факт в действительности уже умерших отношений.

Стачечное движение в Англии нарастало. Рабочие прекращали на время работу, добиваясь надбавки к нищенской заработной плате. Летом забастовали работницы спичечной фабрики в Ист-Энде — районе отверженных, где много лет бывала Элеонора. Дочь Маркса не покидала осажденной, будто крепость, небольшой фабрики, покуда представители рабочих и руководившие стачкой социалисты спорили с хозяином. Вскоре он вынужден был уступить, и заработок работниц несколько увеличился. Успех этот обнадежил других.

Тусси никогда не чуралась, казалось бы, незаметной, черновой, повседневной организационной работы, понимая, что из маленьких кирпичей строится огромное здание. Превосходный агитатор и публицист, она смело переходила от малого к большому, одинаково легко разбираясь и в вопросах, касавшихся всего человечества, и в повседневных заботах отдельных людей.

Для нее не было скучных тем, если они касались жизни рабочих. Эта особенность, перенятая Тусси от отца и Энгельса, делала ее нужной народу и любимой им.

Никогда не бывая безразличной, она бросалась на помощь каждому обойденному. Поэтому Ист-Энд, Уайтчапель и доки были ей ближе, нежели районы зажиточных людей вокруг Бон-стрит, Гровенор-сквера или Кенсингтона.

Положение английских докеров было самым тяжелым. Они никогда не имели постоянной работы и толпились у Темзы, жадно вглядываясь в туманную даль в ожидании пароходов, разгружать которые их нанимали за гроши.

Энгельс называл докеров отверженными из отверженных.

Вест-индские доки... В деревянных закутах, с окнами без стекол, затянутыми тряпьем, в лучшем случае слюдой, прозябали жалкие, голодные и полураздетые люди.

Англичане слыли рослыми, здоровыми людьми. Нарядные прохожие на Чаррингтон-Кросс в такой же мере подтверждали это, как люди доков опровергали. Узкогрудые, изможденные, хотя и выносливые, грузчики редко доживали до старости. Элеонора посещала их семьи, где дети гибли от рахита, недаром прозванного английской болезнью, страдали трахомой и туберкулезом, а многие женщины с отчаянием выклянчивали милостыню и пьянствовали.

Потеряв терпение, недополучив при расчете плату за разгрузку, докеры забастовали. Через несколько дней из вест-индских доков стачечное движение перебросилось к другим грузчикам. Десять тысяч трудящихся прекратили работу. Крупнейшая гавань мира пустовала. Темза притихла.

Забастовкой руководили несколько докеров, Эвелинг и Элеонора. Тусси стала секретарем забастовочного комитета.

С этого часа она не покидала своего поста ни днем, ни ночью. Ей доверили деньги, и она распределяла пособия среди безработных, нумеровала и проверяла рабочие книжки стачечников. Дверь в комнату, где она находилась, не закрывалась, и люди всех возрастов приходили к ней за советом и помощью. Докеры полюбили эту женщину.

После напряженных недель стачка кончилась успешно для рабочих.

Уже несколько лет Элеонора работала также среди крайне эксплуатируемых и обездоленных пролетариев газовых предприятий.

В день, когда чаша терпения тружеников переполнилась, Тусси пошла на завод рано. Над Лондоном еще не взошло солнце. Английская столица на рассвете, в слякотное, туманное утро, способна вселить отчаяние в самую жизнерадостную душу. Точно страшный мор опустился на землю. Едва видимые во тьме силуэты согнувшихся под зонтами, укутанных в плащи людей напоминали похоронную процессию. Глухой перезвон трамваев и извозчичьих карет и протяжный, ноющий звук гонгов, предупреждающих о возможности столкновения, создавали гнетущее настроение.

Газовый завод, куда направилась Тусси, был расположен на пустыре. Его здания без окон напоминали огромные тюремные корпуса. Двор, заваленный коксом и шлаком, казался бескрайней мусорной свалкой. Смердящий воздух пропитали ядовитая пыль и гарь.

Вдыхая дым тлеющего кокса и видя грязный, уродливый заводской двор, Тусси вспомнила о Дантовом аде. В этот раз, едва она вошла в ворота, ее окружили десятки рабочих.

— Нас снова обсчитали: мы получили всего два дня отдыха за весь месяц. Довольно! Мы — люди!

Даже заранее подготовленная стачка всегда возникает подобно порыву, буре, стихии. Она лишь всполох зарницы. Но гроза может приблизиться, и молния сожжет леса. Первые забастовки пугали буржуазию, как далекий гром.

Элеонора увидела посередине двора сооруженную из ящиков трибуну. С других заводов все прибывали рабочие, присоединившиеся к протесту. Многозначительно, вызывающе смотрели в небо жерла труб, из которых не вырывался в этот день дым.

— Таких, как вы, тысячи на дорогах Англии,— сиплым басом кричал один из представителей газовой компании,— безработных сейчас больше, чем медуз в океане! У вас нет квалификации. Вы всего лишь чернорабочие. Мы из жалости не рассчитываем вас тотчас же. Будете еще просить нас, но поздно. Бог свидетель, бунтом вы ничего не добьетесь. Лучше добром приступайте к работе.

Шум нарастал. На трибуне очутился пожилой рабочий, поникший и жалкий.

— Братья! Сейчас мы имеем дома хоть немного хлеба, похлебку и крышу над головой. У меня жена, шестеро малолетних детей, старуха мать и больная сестра-вдова. Как могу я обречь их на смерть от голода? Я не зверь. Но у меня семья. У меня девять голодных ртов.

Десятки бережных рук подняли Элеонору на трибуну. Взглянув вниз, она увидела приближающихся Эвелинга и еще несколько друзей. Как всякий оратор, борец, Тусси немного волновалась. Ворота завода стояли открытыми настежь, и весь огромный двор, а также пустырь за ним заполнили люди. Их возбуждение, беспокойство током передавались стоявшей на возвышении женщине.

Тусси начала свою речь. Люди умолкли.

— Друзья, братья, вы работаете по четырнадцати часов в день, отдыхаете всего два раза в месяц и получаете за это гроши, на которые не можете ни накормить, ни одеть свои семьи. Вашими руками зажигается свет во всей столице, отапливаются дома, ваш газ приводит в движение тысячи машин. Рабочие на этих машинах создают все необходимое для человека. Сотни кровососов — буржуа, владельцы фабрик, акционеры газовых и других компаний — обогащаются. Вы подлинные хозяева тех богатств, которые присваивает себе кучка эксплуататоров. Но вы еще разобщены. Мощь и единение! — Элеонора подняла руку.— Каждый из нас в отдельности слаб, как паутинка, но, когда пролетариев тысячи и тысячи, нет силы, которая устоит. Из нитей ткутся полотнища для парусов, не боящиеся никакого ветра и урагана.

Оратор всегда чувствует пульс аудитории. Между ними должна возникнуть связь, они образуют точно одну кровеносную систему. Если этого нет — происходит крушение. Элеонора выступала часто и всегда ощущала радость общения со слушателями. Эти минуты всегда

вознаграждали ее сторицей за все заботы и постоянный труд для людей. И Эвелинг был ей особенно дорог, может быть, прежде всего потому, что так же увлеченно отстаивал социализм.

Комитет газовщиков, в который с начала забастовки входила также и Элеонора, помещался в низком конурообразном здании у входа на один из заводов. Раньше это был склад отслужившего металлического инвентаря. Все дни и ночи стачки Тусси не бывала дома. То приходилось урезонивать штрейкбрехеров или ссориться с ними, то выдавать пособия, посещать семьи стачечников, чтобы успокоить их, уговорить, то поддерживать бодрость в мужьях, отцах, сыновьях. Нередко Элеонора выступала перед малодушными и давала советы бесстрашным. Все свои деньги она, не раздумывая, вложила в кассу бастующих.

С детства Элеонора была неутомима именно в трудные дни. Любовь к борьбе, к преодолению препятствий, бесстрашие она унаследовала от отца, укрепила в дружбе с Энгельсом.

В дни схватки рабочих газовых предприятий с капиталистами Элеонора добилась создания первого в Англии профсоюза чернорабочих и стала членом его центрального комитета. Она уходила из комитета только для того, чтобы посоветоваться с Энгельсом, который зорко следил за всем происходящим на газовых заводах и сообщал об этом Лафаргам в Париж и соратникам в разные страны. Элеонора хорошо понимала, что многого могут достичь женщины в революционном движении — не только на баррикадах, в дни великих боев, но и в повседневной, изнурительной борьбе с капиталистами. Ей удалось создать в профессиональной организации особые женские секции.

В течение года союз объединил около ста тысяч пролетариев Англии и Северной Ирландии. Перед этой силищей пришлось отступить газовым компаниям. Они ввели восьмичасовой рабочий день и подняли заработную плату на шесть пенсов за каждую смену. Беспримерная в истории победа рабочих явилась подлинным триумфом младшей дочери Маркса.

Ощутив на деле, как много несет объединение, докеры встали в ряды профсоюзов. Это было еще одной победой социалистов.

Друг покойного Цеткина, русский изгнанник врач Ивушкин и жена его жили в эту пору в большой тревоге. Клотильде предстояло стать матерью и поэтому лишиться работы. Беременная женщина, как бы искусна и усердна она ни была, не могла оставаться ни за прилавком большого магазина, ни у кресла модного парикмахерского салона. Продавщицы магазина и мастерицы из парикмахерских должны были нравиться покупателям и клиентам, всегда сохраняя изящество и миловидность. Хозяева не нанимали замужних, а о матерях не могло быть и речи. Конкуренция же была чрезвычайно велика.

Желая сохранить в тайне свое положение и не потерять место, Клотильда носила корсет более мучительный, нежели оковы, продолжала зашнуровывать высокие узкие ботинки на тонких каблуках. Но стоять целый день на ногах становилось все труднее. Под румянами заметно синели щеки, и заученная улыбка походила на кривую гримасу боли. Однако Клотильда не сдавалась, и еще громче звучал ее немного писклявый голос:

— Даже пустая женская головка, мадам, если хорошо причесана, кажется мужчине наполненной восхитительными мыслями, а простоволосая неряха, пусть умная, как господин Вольтер, выглядит дурой.

Посетительниц парикмахерской становилось с каждым днем все больше. Приближалась Всемирная выставка. Парижане сравнивали ее с находкой золотоносных жил. Всем виделась баснословная и легкая нажива. Тысячи мотов-иностранцев должны были прибыть в столицу со всех сторон света. Расширялись и ремонтировались гостиницы, игорные залы, магазины, рестораны и публичные дома. Клотильде хотелось подкопить денег, прежде чем лишиться заработка. Каждые два дня за ней приходила горничная графини.

— А, мой Фигаро в юбке,— благосклонно встречала в своем будуаре Клотильду знатная дама.— Турнюры и банты вытеснили широкие юбки. Надо менять прическу. Сделайте мне чуть скошенную челку до самых бровей и пригладьте виски, на затылке уложите цепочку из волос и спустите завитушки. Это женственно. А знаете, моя милая, генерал Буланже снова в Париже. Он немного пополнел, но это придает ему величавости. Я убеждена, очень скоро он получит большинство голосов не только на частичных выборах, но и пятого мая, когда за него

выскажется вся столица. Императорский орел слетит наконец на его плечо! Вы, конечно, не знаете историю Франции. Бедный Наполеон Третий неоднократно терпел поражения, прежде чем ему улыбнулась фортуна и он вернул скипетр своего дяди. Проигрыш — иногда только отсрочка. Мой муж порвал с радикалами и ушел от них за то, что они изменили своему избраннику. Нас повсюду называют «синдикатом недовольных», так оно и есть на самом деле. Мы, душечка, недовольны и не хотим более жить среди хаоса, называемого республикой. Невозможно ждать, пока из трущоб вылезут красные дикари, как было в семьдесят первом. Это же вандалы, людоеды.

— Мой дед был коммунаром! — вдруг вспыхнула Клотильда.— Это добрейший, честный человек.

— О милая, чего доброго, вы мечтаете о мести? Напрасно, генерал Буланже полон дружеских чувств к простолюдинам. Он так много обещал им хорошего, что они охотно голосуют за него. Им ведь тоже хочется сильной и справедливой власти. Разве не было великих людей среди королей? Они не раз помогали нищим и сирым. Красивые девушки могли рассчитывать тогда на особую милость. Прочтите книги о мадам Помпадур, графине Дюбарри. Счастливые, как им повезло! Они правили Францией. Сказочное время! А сейчас... Я надеюсь, что вы верующая и поэтому не можете сочувствовать социалистам. Они, говорят, призывают к общности имущества, женщин и разным другим мерзостям. Поверьте мне, все они убийцы и воры.

— Неправда! — возмутилась Клотильда и нечаянно прижгла раскаленными щипцами кончик уха графини.

Раздался яростный вопль:

— Вон отсюда! Фурия! Бешеная! Твое место в Кайенне, проклятая социалистка!

Лакей и горничная вытолкнули Клотильду за дверь, бросив вдогонку ее тальму и шляпку.

Случившееся обескуражило молодую женщину. Оно не совпадало с ее жизненными правилами: никогда не совать нос в политику и, главное, не принимать близко к сердцу слова и поступки окружающих. Но чувство досады на свою несдержанность постепенно проходило. Не желая возвращаться в парикмахерскую, Клотильда решила отправиться на Монмартр.

На Монмартрском холме высился ярко-белый храм Сакре-Кёр — Святого Сердца. Когда национальные гвардейцы, восстав, вступили здесь в бой с войсками предателя Тьера, а затем вместе с подоспевшими им на помощь рабочими ринулись в город, никакой церкви здесь не было. Это место стало тогда священным для коммунаров, как купель первой пролетарской революции. На зеленых возвышенностях в ранние дни Коммуны часто раздавались бодрые песни. В мае 1871 года землю Монмартра обильно смочила кровь героев. Каждая пядь ее отдавалась врагу с боем.

Ставленник Тьера Мак-Магон предложил парламенту отпустить деньги на постройку собора отнюдь не из религиозного усердия, а скорее из политических расчетов. Буржуазия и церковники решили воздвигнуть Сакре-Кёр как символ победы над рабочими.

— Народ должен искупить свои грехи, а самым страшным из них была Коммуна,— сказал Мак-Магон.

Церковь Святого Сердца, построенная в подражательном, грубо искаженном романском стиле, не украсила священного для истории холма.

Клотильда сидела бездумно, отдыхая на зеленой траве неподалеку от паперти. Она никуда не спешила. Муж в больнице до вечера, и домой идти не хотелось. Когда стемнело, женщина медленно пошла по мощенной булыжником улице, поглощенная мыслями о неведомом ей ребенке, который настойчиво объявлял толчками о своем бытии.

Низкие дома с палисадником, бурьян и трава напомнили молодой женщине деревню, где она выросла. И настроение ее снова стало беспечным. На углу она заметила таверну с ярко размалеванной вывеской: санкюлот во фригийском колпаке протягивал стеклянную кружку с пунцовой влагой. Клотильде хотелось пить, и она вошла внутрь. За длинным деревянным, ничем не покрытым столом сидели, оживленно беседуя, человек десять мужчин. В одном из них, крепко ухватившем раскинутыми руками углы стола и громко говорившем, парикмахерша сразу узнала Геда. Прямые темные волосы его были откинуты назад, открывая очень бледный лоб.

— Между чумой и холерой не выбирают. А таковы Буланже и нынешний премьер Ферри. Их обоих надо пригвоздить к позорному столбу! — яростно выкрикнул

Гед, выпятив узкие губы.— Огонь наш мы должны направить на обе эти мишени. Когда настанет время, мы двинемся вперед с боями.

— Вроде бы ты и прав! Буланже или Ферри! Что в лоб, что по лбу, однако буланжизм — пока только угроза. Может, и не стоит заранее палить? — возразил один из сидевших рядом с Гедом рабочих.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Плохое говоришь. Из тебе подобных получаются толены. Знаешь такого? Чеканщик Толен. Бежал в пору Коммуны к версальцам. Предатель рабочих, а теперь сенатор. В своей карете ездит,— сказал хмурый старик.

— Чего ты на парня навалился? Он еще молод, похлебки Кавеньяка и Бонапарта не хлебал. При Тьере, верно, еще под столом ползал.

Сказав это, Гед встал и прошелся по таверне. Костюм на нем казался сшитым не по мерке, был слишком широким. Гед держался прямо, как трость, и переставлял ноги так, точно они у него были на шарнирах. Длинный, как клюв дятла, нос его касался растрепанных усов. Некрасивый, он, однако, чем-то очень привлекал, может быть, прорывающейся наружу силой ума и несокрушимой убежденностью. Без внутреннего душевного огня даже самое красивое лицо с соразмерными чертами отталкивает.

— Лафарг и я работаем над манифестом к избирателям. Близятся выборы. В этом документе мы скажем о буланжизме. Вы, вожаки отрядов рабочей партии на самых крупных заводах Парижа, должны знать, что мы думаем. Часть народа, доведенная до отчаяния нищетой и притеснениями, а также разочарованием, из ненависти к настоящему жаждет восстановить прошлое, тогда как надо решительно устремиться вперед. Нельзя заменять одного господина другим. К черту выдуманных героев, годных стать владыками! Всех их надо гнать и уничтожать. Мне противны и улица Сед, где расположился комитет прохвоста Буланже, и улица Каде, где находится так называемый коалиционный штаб республиканцев. Пусть различные буржуазные партии грызутся между собой за власть, а мы если будем вмешиваться, то лишь для того, чтобы бить по ним разом. Сейчас в драке сцепились радикалы, клерикалы, оппортунисты, буланжисты — спорят, кому и как ловчее грабить рабочих. Богачи

обворовывают трудящихся, а те их обмиллионивают. Это больше, чем обогащают.

Гед, сняв очки, говорил, нагнувшись над столом и вперив в пространство заметно близорукие темно-синие горящие глаза.

— Все эти нынешние противники, равно как и сторонники Буланже, были заодно, когда уничтожали Коммуну, и объединятся в тот великий день, когда мы поднимемся, как один, против них. А пока мы не будем выступать против Буланже. Этот выскочка нам не опасен.

— Ты не прав, Жюль Гед, ждать нельзя,— вмешалась Клотильда, заговорив под магическим воздействием его слов, голоса, жестикуляции.— Волчицы из логова Буланже уже оттачивают костяные наконечники на своих зонтиках, чтобы выкалывать нам глаза. Опасно сидеть сложа руки. Я видела этого генерала. Злобный боров! Смотрите, чтобы не было слишком поздно. Он из тех животных, что съедают даже своих детенышей.

— Кто эта женщина? — надевая очки, явно заинтересовавшись, спросил Гед.— Вспоминаю, я видел вас где-то. У меня точная память на лица. Не с Кларой ли Цеткин и Лаурой Лафарг вы были? Во всяком случае, откуда бы вы ни явились, я вам рукоплещу! Ваша короткая речь из тех, что сродни речам наших героинь — Мишель, Капитэн. Жаль, что здесь нет красных гвоздик. Эта эмблема Коммуны должна всегда украшать вашу грудь.

Клотильде захотелось высказать все, что ее томило. Сбивчиво и сердито рассказала она о графском особняке, о планах сторонников Буланже. Подражая интонации знатной дамы, страстной поклонницы генерала, она закончила тирадой:

— Красные вылезут из своих трущоб! Нет больше Тьера! Кто же поможет спасти цивилизацию от нашествия дикарей социалистов? Никто, кроме генерала Буланже и нас, его опоры.

Гед сидел молча. Лицо его казалось очень утомленным.

При рождении Жюль Гед был записан в мэрии как Матьё Жюль Базиль, по отцу, но в ранней молодости он взял фамилию матери и навсегда отбросил первое из двух своих имен. Короткие, резкие звуки — Жюль Гед — отлично подходили угловатому, неутомимому бойцу, который вместе с Полем Лафаргом возглавил первую партию

пролетариата Франции. Страстный и остроумный проповедник коммунизма, воинственный революционер и пылкий мечтатель, родившийся в пору напряженной борьбы, он был всегда готов к защите и нападению. Противники ненавидели его и боялись. «Великий инквизитор коллективизма», — писали о нем.

Значительно менее начитанный, вдумчивый и последовательный, нежели Лафарг, Гед, однако, был в эти годы фанатически предан идеям Маркса и Энгельса. Язвительное, своеобразное красноречие Геда принесло много пользы рабочей партии, он стал ее глашатаем и волей, в то время как Поль Лафарг оставался ее рассудком и совестью. Крепкая дружба спаяла этих людей.

Клотильда настороженно глядела на Геда, словно старалась выискать в нем скрытые недостатки. Внезапно он сказал ей, дружелюбно протянув стакан лимонада:

— Пейте, вы устали. Я рад, что познакомился с вами, гражданка. Берегите себя. У меня тоже дети. А у вашего будет смелая мать. Нет ничего более дорогого и важного для будущих поколений, чем воспитательницы, которые научат их бороться за социальную революцию. Пусть дети наши принадлежат рабочей партии и ее идее и не боятся не только тюрьмы, но если понадобится, то и стены, у которой расстреливают героев.

Круг знакомых Лафаргов был весьма широк, разнообразен и многоплеменен. Среди немцев Лаура особо выделяла Клару Цеткин, в которой усмотрела широкий ум, знания и волю крупного революционного организатора. Друзья помогли Кларе пережить горе потери мужа. Она принадлежала к редким натурам однолюбов. Остались два сына, на которых отныне она сосредоточила всю свою женскую нежность и заботу. Неистовая работа отвлекала вдову от горестных раздумий. Клара, не щадя себя, смешивая дни и ночи, писала статьи, готовила доклады и одновременно продолжала давать уроки ради заработка, обстирывать, кормить, растить детей.

В эти месяцы началась подготовка к Международному социалистическому конгрессу. На этом поприще Кларе и Лауре предстояло многое сделать. Революционному движению пригодилось их отменное знание многих языков. Им пришлось вести переписку с рабочими партиями раз-

ных стран, переводить документы. Клара Цеткин приняла участие не только в созыве международного пролетарского съезда. Ей предстояло выступить на нем с большой речью.

Подчинить себе горе, остаться жить после непоправимой беды и сохранить в сердце свет — значит стать во много раз тверже духом. Лаура дивилась силе Клары, ее спокойствию и сердечности. Обе эти женщины познали личное горе, схоронили дорогих им людей, трудно добывали средства к существованию и, однако, никогда не обременяли других жалобами и тоской, любили людей и боролись за их будущее.

Напряженно ждали социалисты своего конгресса. И в те же месяцы Париж с жаром и рвением достраивал павильоны выставочных зданий на Марсовом поле. Над городом все выше поднималась сплетенная из металла дерзновенная башня, которую возводил инженер Эйфель, прозванный газетами «чудодеем». Гостиницы готовились принять тысячи постояльцев, рынки — накормить их. Предпраздничное воодушевление не исчезало с улиц и площадей столицы.

Незадолго до созыва Международного социалистического конгресса Лауре поручили нанять помещение, где могли бы разместиться приезжие делегаты. Лаура обладала редким даром общения с людьми разной среды, достатка, воспитания и возраста, располагала к себе души, так что ей поверяли, часто при первом знакомстве, самые сокровенные переживания и секреты; притом любое поручение партии она выполняла, как, впрочем, все, что делала в жизни, тщательно, точно, исчерпывающе: ей было присуще чувство долга, верности данному слову, унаследованное от отца и матери.

Клотильде казалось, что над ее головой пронесся губительный град. Она не раз видела, как, внезапно налетая, неся с собой острый холод, ледяной дождь уничтожал цвет яблонь и в один миг погибали безмятежно радующиеся солнцу, доверчивые цветы.

Первым горем Клотильды было исчезновение мужа. Борис Ивушкин выехал по поручению группы русских эмигрантов в Варшаву с заготовленными в Париже революционными листовками и типографским шрифтом для

подпольной польской партии «Пролетариат». Границу с помощью местных контрабандистов Борис пересек без всяких осложнений и прислал жене бодрое письмо. Но затем замолк, и следы его потерялись. Все это случилось вскоре после рождения маленького Коли, как назвали Ивушкины своего первенца. Минуло еще три месяца, а вестей из Польши не приходило. Клара Цеткин, Лаура Лафарг и другие друзья Ивушкиных одобрили желание Клотильды отправиться на поиски в Россию. Колю пришлось отдать в деревню на попечение деда и бабушки. Желая заработать на дорогу, а не брать денег из эмигрантской кассы взаимопомощи, Клотильда нанялась в дамский парикмахерский салон на Всемирной выставке. Там не было отбоя от клиентов, и мастера получали щедрые чаевые.

Парикмахерская находилась подле широкой Каирской улицы и напоминала безвкусный ярмарочный балаган из фанеры и пестрого тряпья. Заведение называлось «Альгамбра». Рядом с «салоном» расположились лавчонка, бойко торговавшая засахаренными фруктами из Алжира, и сарай, где танцовщица, похожая на шелковичный кокон, задрапированная до самых глаз белой шалью, под звуки бубна и флейты, то сгибаясь, то разгибаясь, не сходя с места, раскачивала бедрами, все ускоряя темп и удивляя зрителей необыкновенной подвижностью мышц. «Танец живота» пользовался большим успехом, и у кассы стояла всегда длинная очередь. Неподалеку под деревом высохший старик заставлял двух кобр плясать под самодельную дудку.

По улице медленно шествовали ослы. Верхом на них сидели, мотая длинными ногами, молчаливые англичане, немцы и скандинавы в клетчатых костюмах и широких пелеринах и болтливые, пышно разряженные русские купцы и купчихи.

Клотильда быстро освоилась.

С утра до вечера на ногах, в жарком, накаленном спиртовками «салоне», она с отвращением смотрела на хозяев выставки и на покупателей, швырявших деньгами, ищущих развлечений и выставляющих напоказ свои богатства. Нажива и процветание одних, рубища и нищета других не могли укрыться и на этой демонстрации торгового и промышленного процветания. Все вокруг продавалось.

Неподалеку от Сены расположилось селение североафриканского племени. Там за низкими глиняными оградами стояли жалкие мазанки. Смуглолицые, чернобородые мужчины, в грязных лохмотьях наподобие балахонов, в полинявших тюрбанах на головах, торговали, усевшись на корточки под навесами, различными амулетами, винными ягодами, миндалем. На ломаном французском языке, переходя внезапно на гортанный арабский, они громко зазывали прохожих. Покуривая длинные трубки, переговариваясь друг с другом, разражались веселым смехом, обнажая при этом необыкновенно белые зубы. Этих нищенски одетых жителей французских колоний парижане свысока называли дикарями.

Малыши со вздутыми животами, на кривых рахитичных ножках клянчили милостыню и предлагали посмотреть, как живут их родители.

— Десять сантимов,— кричал мальчуган постарше.— Дайте десять сантимов! — Получив требуемые медяки, маленький алжирец приоткрывал дверь мазанки. На циновке молодая женщина, в грязном белом покрывале на голове, с босыми ногами, кормила грудью голого младенца. В углу громко храпел мужчина, накрытый рваным бурнусом. Смрадный, пропахший пеленками и прогорклым жиром воздух вызывал головокружение и тошноту.

На Марокканской улице белые хатки уступали место низким домам с плоскими крышами, на которых расположились кофейные и рестораны.

Клотильда брала с собой кусок хлеба с сыром и в течение дня выпивала несколько чашечек густого турецкого кофе — его продавали в одном из киосков. Вечером она шла к Кларе Цеткин.

— Что нового? — спрашивала мастерица еще с порога и протягивала леденцы своим любимцам, сыновьям подруги.

— Поссибилисты готовят отдельное сборище. Ни на какие уступки не идут. Это раскольники,— ответила както Клара.— Подумать только, перед капиталистами они зайцы и готовы на все, а против своих — волки. Я говорю одному из них сегодня: вы добиваетесь только безусловно возможного, какие же вы, черт возьми, революционеры, бойцы! А он нагло отвечает: «Возможное только и достигается. Мало ли чего хочется! Надо отличать реальность от фантазии». Поссибилисты к тому же лицемерны.

— И предатели,— добавила Клотильда, вспомнив, что так называл их Борис. Она с трудом стащила туфли с отекших ног и уселась на тахту, чтобы немного отдохнуть.

Распри с поссибилистами особенно усилились именно в это время. В феврале 1889 года в тихой Гааге собрались на конференцию делегаты рабочих организаций нескольких стран. Она была созвана по предложению Энгельса представителями социал-демократической фракции германского рейхстага, чтобы выработать условия созыва Международного рабочего конгресса в Париже. Каждое рабочее объединение, не желавшее примириться с бесправием, могло прислать на этот съезд по одному делегату. В предварительно намеченной повестке дня указывались три вопроса: международное законодательство о труде, инспекция положения пролетариата, пути и средства, обеспечивающие выполнение законов. Энгельс одобрил итоги Гаагского совещания.

«Используйте завоеванную в Гааге позицию как отправной пункт, как первую позицию, отбитую у неприятеля, и как основу будущих успехов... Вы,— указывал Энгельс Лафаргу,— уже наполовину выиграли сражение».

Французские поссибилисты, нашедшие поддержку у отщепенца и юркого проныры Гайндмана и его реформистской группы, наотрез отвергли решения социалистов. Вильгельм Либкнехт, который иногда терялся в трудных условиях, предложил отложить конгресс на год и собраться не в Париже, а в Женеве. Энгельс встретил этот план в штыки. Ради съезда он отложил даже то, что считал теперь главной задачей,— работу над третьим томом «Капитала». В засилье отступников среди социалистов Энгельс видел опасность, которой надо дать мощный отпор.

«Он вам необходим, этот конгресс,— объяснял Энгельс Лафаргу,— иначе вы рискуете исчезнуть на целые годы с международной арены».

По его мнению, победа поссибилистов могла пагубно повлиять на все рабочие партии. Даже одно выпавшее звено уничтожает целостность цепи. Энгельс знал законы политической борьбы. Опытный тактик, он учел также значимость времени. Нельзя было медлить далее. Быстрота обеспечивала успех.

«Дорогой Либкнехт,— писал Энгельс в Германию.— ...Я вижу, что, как обычно, когда доходит до дела, мы сильно расходимся.

Твой совет французам при известных условиях найти путь к какому-либо соглашению... то есть пойти и подставить спину, чтобы получить пинок, естественно взбесил их. Этот совет и твое возмущение тем, что мы — а брошюра написана по моей инициативе и почти целиком мною отредактирована — показали поссибилистов такими, какие они есть, то есть людьми, получающими средства из рептильного фонда оппортунистов, то есть финансовых тузов; и что мы этим открыли глаза значительной части англичан на вещи, которые намеренно от них скрывали,— становятся понятными только в том случае, если ты хотел оставить себе лазейку, чтобы даже после полученного вами от поссибилистов пинка затеять еще маленькое дельце на страх и риск немецкой партии. Если это соответствует действительности, то я ничуть не огорчен тем, что вставил тебе тут палочку в колеса».

Энгельс доказывал соратникам, что встреча представителей рабочего класса всех стран будет означать либо подчинение, либо разгром оппортунизма, этой ржавчины, исподволь разъедающей железное единство. Засилье отступников в среде социалистов казалось Энгельсу той опасностью, которую надо встретить грудью и которой надо дать резкий отпор. Скрытая угроза всегда самая серьезная в политике. Необходимо вызвать противника на открытое сражение.

Днем открытия Международного социалистического конгресса выбрали 14 июля — день столетней годовщины штурма Бастилии.

Март, апрель и май Энгельс занимался исключительно делами предстоящего конгресса, направляя работу Лафаргов во Франции, Бебеля и Либкнехта в Германии, Элеоноры и Эдуарда в Англии. Он редактировал все основные документы, указывал, где и сколько печатать статей, куда рассылать воззвания. По его настоянию были опубликованы решения Гаагской конференции. Под редакцией Энгельса германский социал-демократ Эдуард Бернштейн написал памфлет, в котором разоблачалась клевета поссибилистов и Гайндмана. Незадолго до начала конгресса Энгельс через Элеонору и Эдуарда Бернштейна

попытался в последний раз склонить поссибилистов к единству действий. Но оппортунисты отказались.

— Не теряйте ни одного дня,— напутствовал соратников Энгельс.

Долго размышлявшие и сомневавшиеся Либкнехт и Бебель наконец решились на открытую борьбу.

В перечне вопросов, которые предстояло обсудить на Международном конгрессе, появился еще один: о ликвидации постоянных армий и вооружении народа.

Воззвание организационного комитета подписали представители Французской рабочей партии, синдикатов и центральный революционный штаб бланкистов.

Борьба сопутствует прорыву доселе неведомых источников энергии. Врагам иногда обязан человек многими своими достижениями.

Опасность, которую несли поссибилисты всему рабочему движению, привела к сплочению революционеров. Энгельс возглавил боевой поход. Благодаря его упорной работе съездом заинтересовались социалисты всех стран Европы и Соединенных Штатов. Текст извещения о созыве Международного социалистического конгресса в Париже подписали шестьдесят семь руководителей рабочего движения из двенадцати стран. Его раздавали в виде листовки, и оно летело из страны в страну. В ответ на это поссибилисты обратились к парижскому муниципалитету с просьбой о денежной помощи для организации своего конгресса. Они пытались затмить и оттеснить марксистов. Французские буржуазные газеты назвали предстоящее совещание реформистов истинно национальным и поддерживали его деньгами и рекламой. Против последователей Маркса и Энгельса в это же время выступали и анархисты.

Элеонора и ее друзья устраивали многолюдные митинги в Лондоне и провинции. Социалистическая лига, Шотландская рабочая партия и отдельные профсоюзы выбирали делегатов на парижский конгресс. Социал-демократическая фракция германского рейхстага послала туда Бебеля и Либкнехта.

Всполошилась русская жандармерия, опасавшаяся, что русские представители также отправятся на конгресс. Полиция получила особые секретные инструкции о влиянии марксистов на рабочее движение в России.

Хотя Лаура, Поль и остальные единомышленники настойчиво призывали Энгельса в Париж, он отказался лично участвовать в работе конгресса, который был его творением, и остался в Лондоне ради подготовки третьего тома «Капитала» для печати. Этого никто, кроме Энгельса, не смог бы сделать.

Погрузившись в дорогие для него рукописи, Энгельс по-прежнему вмешивался во все дела предстоящего конгресса, вел переписку, обсуждал каждую организационную мелочь. Он твердо поддержал протест Бебеля против закрытых заседаний. По мнению Энгельса, все происходящее на съезде должно было предаваться в целях пропаганды широкой огласке.

Младшую дочь Маркса, избранную делегаткой конгресса, пригласили быть переводчицей. Она выехала в Париж в начале июля и ясным, жарким утром сошла с катера в Кале. Через несколько часов Элеонора уже обедала в обществе сестры и зятя в их тесной, заваленной книгами и газетами квартире.

Никогда раньше Тусси не видела Париж таким многолюдным и пестрым. Тысячи досужих иностранцев нахлынули в столицу, чтобы побывать на Всемирной выставке. Толпы слоняющихся людей, очереди у кафе и ресторанов, грохот переполненных пассажирами омнибусов на раскаленных июльским солнцем улицах и густая пыль, как дым пожарища, были необычны. Город, казалось, был сдан внаем чужеземцам. Французскую речь заглушали десятки иноплеменных языков.

Тусси и Лаура решили побывать на Марсовом поле, куда с утра устремлялись вереницы карет и валом валила публика.

В Трокадеро, около входа на выставку, барышники бойко торговали входными билетами, которых уже давно не осталось в кассах. Толстяк ажан басом призывал посетителей к осторожности:

— Берегите кошельки, господа, берегите карманы!

Вертлявые мальчуганы навязывали прохожим открытки с видами различных наспех сколоченных павильонов, киосков и фонтанов. Богатые англичане привлекали внимание необычными светлыми костюмами и чопорностью, русские дворяне и купцы — мотовством и щеголеватостью, немцы в мундирах казались раздраженными и готовыми к сваре. Толпа двигалась от ворот в расположенный

поблизости антропологический музей, где стояли нескладные, унылые манекены.

Лаура и Тусси прошли по мосту на противоположный берег Сены: там находилась башня Эйфеля, магнетически притягивающая к себе посетителей выставки. У ее подножия сдавались за несколько су внаем стулья, и многочисленные зеваки подолгу сидели, закинув вверх головы, с изумлением взирая на ажурное строительное чудо. Трехъярусное металлическое сооружение непривычной формы, как бы составленное из гигантских прутьев, с видимыми и непрерывно движущимися вверх подъемными вагончиками, с круглыми, огороженными площадками, по которым прогуливались люди, показалось дочерям Маркса архитектурным предвестником приближающегося XX века. Они вспомнили о наклоненной и как бы падающей Пизанской башне, она была реликвией далекого прошлого. Эйфель же устремился в будущее.

Купив билеты, Лаура и Тусси вошли в деревянную клетку; раздался свисток, наглухо закрылись дверцы. Заскрипели блоки, завизжали колеса, катящиеся по вертикально установленным рельсам, и ящик пошел ввысь. Одна из дам, очевидно итальянка, принялась истово перебирать четки и молиться, другая взвизгнула. Какая-то чопорная старушка ухватила за рукав Тусси, в ужасе моргая сухими темными веками. Наконец душный вагончик остановился. Кондуктор отворил дверь. Тусси и Лаура ступили на балкон, как бы повисший в воздухе. Париж был внизу, видимый со всех сторон, исчезающий в тумане на горизонте, огромный и прекрасный.

На площадке расположилась эльзасская пивная. Все столики были заняты. Официантки в полосатых чулках, в шерстяных зеленых юбках, блузках с широкими буфами, в бархатных лифах с черной шнуровкой на груди и шляпах из лент, образующих подобие рогов, разносили глиняные кружки с элем, тарелки с сосисками, чернильницы и перья. Посетители смачно ели, писали на родину открытки со штемпелем Эйфелевой башни. Особенно неутомимыми были шведы и англичане, перед которыми лежали пухлые стопки открытых писем. Деловито и сосредоточенно, заглядывая в записные книжки с перечнем родственников и знакомых, надписывали они свои открытки с обязательной башней на обороте.

— Посмотри на этого раздувшегося от жирной пищи и житейских удач буржуа,— сказала Лаура, подтолкнув сестру и указав на огромного толстяка с багрово-красным затылком.— Я знаю,— продолжала она,— что он сочинил сейчас в письме на родину: «С высоты, на которой не парит даже орел, с пика новой вавилонской башни, я вижу весь мир и приветствую фирму Тух-Пух, главой которой являюсь».

Сестры спустились вниз, наскоро закусили в одном из сотен ресторанов Дюваля и пошли по песчаным дорожкам. Рядом с ними рабочие выставки в нанковых блузах и синих кепи с красным кантом катили перед собой кресла на колесах, в которых восседали дамы и господа.

— Это что еще за французские рикши? — удивилась Тусси.

Выставка походила на необъятный вещевой склад. Никакой системы в ее планировке не было. Кто мог уплатить побольше, занимал лучшее место на Марсовом поле и рекламировал свои товары успешнее.

В нескольких павильонах, где были выставлены воздушные шары, находились таинственные машины, трубы, электродвигатели — провозвестники приближающегося нового века, оттесняющего пар — энергию, дотоле правившую в мире.

Заметным успехом у посетителей пользовалась русская изба со скворечней на шесте у входа. Переодетые в сарафаны француженки, не знавшие русского языка, продавали деревянные резные игрушки, крестики, ларцы с украшениями из фольги. За прилавком на полке возвышались тульский самовар и лукошки новгородской работы. В углу висела темная икона с серебряным венчиком.

Фитилек в лампаде зеленого стекла вздрагивал и чуть теплился.

Главным комиссаром русского отдела на выставке был Андреев, известный деятель ремесленного и профессионального образования, создатель первых школ для рабочих.

По его приглашению переводчицей среди русских кустарей, прибывших на выставку в Париж, поехала Екатерина Григорьевна Бартенева. Однако выставка была для нее только предлогом. Она стремилась на конгресс объединенных социалистов, которым везла обращение от

харьковских рабочих. Клотильда познакомилась с Бартеневой в кофейне.

— Вы говорите по-французски не хуже меня,— сказала мастерица из дамского салона.— Русские удивительные люди. Если они знают что-нибудь, то лучше всех других. Я ведь сама немного ваша землячка, мой муж ваш соотечественник.

Екатерина Григорьевна заинтересовалась парикмахершей. Она рассказала ей вкратце о себе. Все в жизни Бартеневой оказалось необычным. Но Клотильда считала русских людьми особого склада и странных судеб и поэтому не очень удивилась тому, что узнала.

Екатерина Григорьевна была участницей борьбы за Коммуну. Вместе с Елизаветой Дмитриевой и Анной Корвин-Круковской в кровавую неделю мая семьдесят первого года перевязывала она раненых на улицах Парижа, заботилась о детях и стариках, исполняла многообразные поручения Союза женщин по защите столицы от войск Тьера и Бисмарка. Она выступала перед рабочими и рассказывала им о Марксе. Клотильда, не отрывая глаз от одухотворенного и нежного лица Бартеневой, спросила:

— А не знали ли вы моего дедушку? Он ведь тоже был ранен в майскую неделю, сражаясь на баррикаде Луизы Мишель. Он, знаете, такой лысоватый, всегда веселый был старик. Носил в то время фригийский колпак.

Бартенева в эти дни видела только раны, только кровь и людское горе.

— Их было так много, лысоватых, веселых, в фригийских колпаках, раненых и убитых! — сказала она, искренне сожалея, что не помнит деда мастерицы.

— Простите, я, право, задала глупый вопрос,— покраснев, спохватилась Клотильда.— Дед позднее часто рассказывал мне о Коммуне и нападении версальцев. Там было не до знакомств и болтовни.

Особенно удивляло Клотильду, что Бартенева, дворянка, была на редкость скромной и нетребовательной и как бы стеснялась того, что, как говорила сама, досталось ей от родителей «без всяких на то оснований». Получив наследство после смерти отца в 1863 году, она вместе с мужем уехала в деревню, чтобы улучшить положение своих бывших крепостных. В 1866 году Бартеневы решили отдать большую часть своей земли крестьянам безвозмездно, а самим вернуться в Петербург. Одна из первых

русских женщин, она занялась обучением неграмотных рабочих. Отличный стенограф, полиглот, широко образованный, честный, смелый человек, Екатерина Григорьевна стала очень нужной революционному движению. Организаторы конгресса обрадовались ее приезду и предложили работать одним из секретарей съезда.

Екатерина Григорьевна говорила Клотильде:

— Я, право, счастлива, что смогу быть полезной и мои знания пригодятся. Секретарство даст мне также возможность близко изучить ход дела и ознакомиться с документами, которые по обширности вряд ли все будут прочитаны на заседаниях. Предвижу, что некоторые из них будут подлинными статистическими сборниками. Значит, я увижу весь мир. Цифры — как сказочные птицы: они помогают проникнуть в самые потаенные углы и все понять.

— Вы поэтесса. Для меня цифры враги. Я в них не разбираюсь,— улыбнулась парикмахерша.

— Конгресс не только встреча,— продолжала с увлечением Бартенева,— не только разговор, это грандиозное исследование положения рабочих в Европе и даже Америке. Клад для публициста, ученого и даже государственного деятеля.

— А я думала, что конгресс — это наши военные маневры, смотр, перекличка.

— Вы правы, Клотильда.

— Мы обе правы.

Четырнадцатого июля Париж обычно просыпался рано. На каждом углу с утра продавались цветы, пионы разных оттенков, от бледно-кремового до жгуче-малинового, гвоздики и розы, которыми так богата летом Франция. Площади и улицы к вечеру превращались в бальные площадки. Там, где некогда высилась тюрьма, снесенная до основания гневом народа, танцы начинались с полудня. Земля, слышавшая некогда только стоны пытаемых и плач заживо погребенных, отныне служила радости и веселью. Париж праздновал сто лет со дня низвержения Бастилии, когда в большом, затененном портьерами зале Петрелль открылся Международный конгресс объединенных социалистов. Из двадцати различных стран прибыло около четырехсот делегатов и множество гостей.

Зал, до отказа полный людьми, был пышно украшен алыми знаменами и гирляндами зелени. Борцы Коммуны принесли с собой простреленные священные стяги, которые в глубокой тайне много лет сохранялись от контрреволюционеров. На груди делегатов рдели гвоздики — эмблема коммунаров. Длинный стол был покрыт пламенеющим сукном. Красный цвет, столь любимый революционерами, радуя глаз, господствовал на конгрессе. Более чем на двадцати языках говорили люди, собравшиеся сюда со всех концов света.

Конгресс открыл Поль Лафарг.

— Сегодня,— сказал он,— у Франции великий юбилей. Ровно сто лет назад буржуазная революция выбила из-под ног Луи Капета его могучую опору — мрачный застенок — Бастилию.

Поль Лафарг не умел быть равнодушным. Чем дольше он говорил, тем ярче блестели его глаза и громче звучал голос.

— Но что же мы видим сейчас, чем стала Франция для рабочих спустя век после падения Бурбонов? Буржуазия всю страну превратила в Бастилию для пролетариата. Этого нельзя долее терпеть...

Рукоплескания остановили речь Лафарга. После минутной паузы он заговорил о целях и значении конгресса.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Снова, как в минуты наибольших испытаний, прозвучали эти вещие слова Маркса и Энгельса.

Символизируя братство французских и немецких рабочих, Либкнехт поднялся и крепко пожал протянутую ему руку участника Интернационала и Коммуны Эдуарда Мари Вайяна.

Сменялись ораторы на трибуне. Они говорили о том, как нужен планете мир, как истощены, искалечены войнами народы, отдающие жизни своей молодежи за обогащение кучки магнатов, они призывали заменить хищную политику буржуазных правительств демократической оборонительной политикой вооруженного и организованного народа.

Француз Вайян сказал:

— Конгресс блестяще начинает новую эру — эру сознательных систематических требований угнетенными своих прав, планомерных, единодушных действий интер-

национального пролетариата и социалистического движения.

После Вайяна выступил Либкнехт.

Шестьдесят три нелегко прожитых Вильгельмом Либкнехтом года заметно сказались на его здоровье. Он сгорбился, отяжелел, большое лицо его с широкими скулами огрубело, щеки запали, глаза потускнели и прятались в дряблых веках.

После введения исключительного закона Либкнехт сиживал не раз в тюрьме и жил долго в ссылке, где очень нуждался. Человек несильной воли, он в последние годы начал терять уверенность в скорой победе рабочих и склонялся к некоторым уступкам. Энгельс, а ранее при своей жизни и Маркс сурово критиковали его за это, заставляли одуматься и продолжать борьбу без малейшего отступничества.

Споры эти, однако, никогда не приводили единомышленников к окончательному разрыву, и Либкнехт оставался в строю. Безусловная честность и преданность рабочему движению, трудный путь и участие во многих революционных сражениях, близость к Марксу и Энгельсу высоко подняли Либкнехта во мнении социалистов, и появление его на трибуне вызвало искреннюю радость. Под сердечные рукоплескания ветеран начал свою речь. Он призвал тени замученных героев Парижской коммуны, и зал почтил их память.

— Этот конгресс,— продолжал он,— является исходным пунктом интернационального сотрудничества мирового пролетариата. Наш долг — полностью осуществить программу Международного Товарищества Рабочих, сделать национальные организации еще более сильными, еще теснее сплотить интернациональный союз.

Либкнехт считал, что интернациональное рабочее движение расширилось чрезмерно для рамок одной какой-нибудь организации.

В первый же день конгресс постановил, что все вопросы будут решаться только открытым голосованием.

Екатерина Григорьевна Бартенева, которую на конгрессе называли Артеновой, передала для оглашения Полю Лафаргу привезенный ею приветственный адрес от русских рабочих. Под ним стояло пятьдесят три креста вместо подписей. Делегаты благоговейно выслушали добрые пожелания своих братьев по классу из страны, где

преследования революционного рабочего движения были так суровы, что требовалась строгая конспирация. Конгресс послал ответное приветствие русским рабочим.

Когда вечернее заседание закрылось и делегаты вышли на улицу, в городе уже зажглись огни иллюминации. Всюду звучала музыка. На площадях танцевали и пели. Парижане праздновали победу своих предков над деспотизмом. Старики восседали на вынесенных из квартир стульях, и матери с детьми на руках вышли из домов. На выставке зажегся фейерверк. Золотые змеи, шипя и рассыпаясь в полете, то появлялись, то исчезали в небе.

Клара, Лаура и Элеонора, взявшись под руки, допоздна гуляли по многолюдному бульвару. Они обращали на себя внимание не столько скромным изяществом кисейных светлых платьев, сколько особым выражением лиц, мыслью, озаряющей светом их глаза. Красота — это прорывающееся наружу борение чувств и дум, бушующая жизнь сердца и рассудка. Все это было присуще трем молодым женщинам.

В эти же июльские дни в Париже собрались на свой особый съезд женщины из разных стран. Россию представляли: замечательный математик Софья Ковалевская, поборница женского равноправия Каптерева и оперная певица Святловская. Но одной из главных деятельниц этого женского собора, готовившей отчет о феминистическом движении на своей родине, была Бартенева.

Она отличалась неутомимостью и энергией, присущей всем освещенным идеей людям. Обычно подобный душевный огонь ярко горит в годы победоносных революций, и только избранные натуры, самоотверженные и не спокойные духом, сохраняют его таким же мощным в тяжелые дни гонений и спада.

Выросшая среди родовитой знати, Бартенева знала цену всему, ради чего нередко теряют себя жадные и малодушные. В юности она отринула соблазны и предрассудки и поняла, что смысл жизни в высоких запросах мысли и борьбе за справедливое, счастливое общество равных. И, приближаясь к пятидесяти годам, она ничуть не утратила прежнего пыла. В Париже Бартенева работала и в Секретариате Международного социалистического рабочего конгресса, и на съезде женщин; посещала французский конгресс по образованию, писала много статей о Всемирной выставке в русскую газету «Новости» и о революци-

онном движении на родине в иностранные социалистические газеты, встречалась с друзьями.

Клотильда не была на открытии конгресса. Она не решилась попросить гостевой билет, а друзья, поглощенные предсъездовской суетой, позабыли о ней, тем более что зал заседаний не вместил всех желающих присутствовать на этом вече социалистов. Для следующих собраний пришлось тотчас же нанять более обширное помещение.

Зайдя к Клотильде и пожурив ее за излишнюю застенчивость, нежелательную для бойца, Клара достала из бархатного шитого бисером мешочка и протянула подруге пропуск, сказав:

— Давно пора нам, женщинам, сказать свое слово в политике. Кровь, пролитая женщинами во всех революциях, дает это право.

— О-ла-ла, боюсь я политики, как пороховой бочки. Сядь на нее, того и гляди, взлетишь в воздух,— пошутила Клотильда.

— Э, все эти страхи проходят после первого боевого крещения на трибуне рабочего собрания,— улыбнулась Клара Цеткин.

Рано утром мастерица направилась на конгресс. Она сошла с омнибуса на улице Ланкре, чтобы посмотреть, открылся ли съезд поссибилистов. Они сняли зал, где обычно устраивали банкеты торговцы. Клотильда узнала, что сторонники уступок и сговора с буржуазией в этот день начали свое совещание. Не скрывая своего удовольствия, она тут же установила, что прибывших из других стран делегатов было мало, меньше, нежели французов, и к тому же многие иноземцы представляли не рабочие организации, синдикаты или клубы, а всего лишь самих себя.

Клотильда давно ополчилась на отщепенцев и трусов, как она называла поссибилистов. Увидев знакомого, одного из лидеров французской федерации трудящихся, Лави, мастерица остановила его коротким:

— Где брат твой Авель, Лави?

Опешив на мгновение, женообразный, вспыльчивый Лави разразился в ответ длинной тирадой, ругая немецких и французских марксистов, Лафарга и Геда, Либкнехта и Бебеля, которые, по его словам, раскололи мировое рабочее движение.

Клотильда наняла фиакр, чтобы не опоздать на утреннее заседание социалистического конгресса. Нахмурив неровные рыжеватые брови, она размышляла о Лави.

«Он обвиняет во всех смертных грехах именно марксистов и клянется, что владеет истиной. Как же так? Поссибилисты — проповедники медлительности, осторожности, как они говорят — возможного,— повторяют, однако, те же слова, что и Гед, Цеткин. Кто же из них совершенно честен, кто прав? А может, все честны! Бывают ведь заблуждения не только от зла? Ох, как трудно что-нибудь понять, когда плывешь по реке из слов. Слова, слова! В любви, в обыденной жизни, в политике — везде много одинаковых слов».

В любви. Эта область была понятнее Клотильде. Тот, кто искренне привязан, и тот, кому фраза служит для того, чтобы скрыть отсутствие настоящего чувства, часто говорят одно и то же.

Вдруг Клотильда откинулась на сиденье наемной кареты и всплеснула по-детски руками в нитяных митенках.

— Я нашла, где правда! Она только в действии. В политике, повседневности, любви те же законы. Истина тогда истина, когда она подтверждается делом. Лави только что обозвал Клару Цеткин чуть ли не недругом рабочего движения.

Вспомнив это, Клотильда не могла сдержать улыбки. Клара была олицетворением деятельности и борьбы. Лави же тормозил революцию. Он был откровенным приспособленцем ко времени и обстоятельствам. Родись этот человек в иной, богатой среде, он и не подумал бы о рабочем или социалистическом движении. Но он рос в бедности и мечтал прожить жизнь лучше, не считаясь с принципами. Это делец, который мог бы наняться в надсмотрщики. Политика для него — средство карьеры.

Клотильду увлекли неожиданные открытия, сделанные наедине с собой. Она не сразу узнала здание, у которого оживленно шумела толпа народа.

Когда Клотильда протиснулась в переполненный зал, присутствующие бурными рукоплесканиями приветствовали Плеханова.

Он казался рожденным для трибуны, для того, чтобы вести за собой народ. Красословьем, продуманной заранее жестикуляцией, игрой голоса и внезапностью пауз,

строгой логикой диалектически отточенной мысли, знанием предмета, разящей иронией, подчас язвительностью и терпеливым умением объяснить и убедить слушателей был силен Плеханов. И как настоящий борец всегда и всюду, он не оставался равнодушным и на трибуне, стремился преодолеть сомнения, убедить, вооружить словом и фактом всех, кого видел перед собой. Это было для него не личным делом, а смыслом всей жизни, целью.

В своей речи Плеханов, один из шести делегатов от России, противопоставил творческое учение марксистов опасным своей увлекательной путаницей взглядам народовольцев:

— Граждане!

...Русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью поддерживать реакцию во всех странах — от Пруссии до Италии и Испании.

...Вот почему торжество революционного движения в России было бы торжеством европейских рабочих.

...Промышленный пролетариат, сознание которого начинает пробуждаться, нанесет смертельный удар самодержавию.

А пока наша задача состоит в том, чтобы вместе с вами отстаивать дело международного социализма, всеми средствами распространять учение социал-демократии среди русских рабочих и повести их на штурм твердыни самодержавия.

А в заключение повторяю — и настаиваю на этом важном пункте: революционное движение в России восторжествует только как рабочее движение или же никогда не восторжествует.

Требования и программа действий марксистов на конгрессе нашли полную поддержку у делегатов — горняков, стеклодувов, моряков, кельнеров, шахтеров, ткачей и докеров.

Клотильда жадно вглядывалась в лица нескольких сотен рабочих, заполнивших зал конгресса. Она узнавала их не столько по лицам, сколько по рукам. Выросшая среди людей труда, она не интересовалась ни их национальностью, ни возрастом. Но натруженные, огрубевшие ладони и пальцы раскрывали ей человеческие судьбы и

уничтожали любые преграды. Так отыскивала она своих братьев, тех, кому могла довериться. Клотильда следила за большой, уверенной, как молот, рукой польского делегата, шахтера, говорившего на незнакомом ей языке о чем-то очень важном и зовущем к свету. Поляк закончил речь свою по-французски, переводом стихов Мицкевича:

Кто ребенком в колыбели оторвал головку гидре,
Тот юношей задушит Кентавра.

Свежий, все впитывающий, пробудившийся, будто земля по весне, мозг Клотильды вобрал эти строчки гениального поэта как семя.

— Слава пролетариям всего мира! — крикнул кто-то, и все подхватили эти слова.

Появление дорогого, долгожданного человека всегда вызывает острую тревогу. Именно это испытала Клотильда, когда на трибуну взошла Клара Цеткин. И покуда Клара не заговорила, звонко и порывисто, Клотильда не могла перевести дыхания, как если бы это она стояла на освещенной трибуне перед молчаливо выжидающим, переполненным людьми залом.

От имени работниц Клара поздравила делегатов сотен многонациональных рабочих объединений с великим событием, каким стал конгресс для людей труда.

Клара говорила, все больше воодушевляясь и заражая этим других, о двойном гнете в жизни пролетарки — о труде и семье. Она доказывала, что нельзя отделить освобождение женщин от борьбы за социализм.

— Как в отношении жертв и обязанностей, так и в отношении прав мы хотим быть для мужчин ни больше, ни меньше как товарищами по оружию, которые при равных условиях будут приниматься в ряды бойцов... Пролетарии, борющиеся за освобождение человечества, не должны мириться с экономической зависимостью женщины и тем обрекать на рабство половину человеческого рода!

Клотильда не отрывала глаз от Клары, чей голос заполнил огромное помещение, набирал силу по мере нараставшего в зале сопротивления словам оратора.

«Неужели она не убедит их, не пробьет броню мужского предубеждения?»

В зале сидели по преимуществу одни только мужчины. Делегаток-женщин было так же мало, как и женщин-гостей. Клара страстно призывала делегатов воспитывать

из работниц равных, а не подчиненных, друзей и соратниц, уважать в них полноценную личность в труде. Разве не сражаются женщины повседневно плечом к плечу с мужьями, братьями за лучшее устройство мира? Устами Клары Цеткин женщина-труженица, угнетаемая предпринимателем, неравная в семье, требовала, первый раз в истории с трибуны представительного конгресса, своих прав.

Речь Клары, однако, не вызвала того одобрения и восхищения, которого заслуживала.

Вне себя от возмущения, наблюдала Клотильда, как иронически посмеивались и переговаривались между собой некоторые делегаты. Никакого единодушия в том, чтобы женщины были уравнены с мужчинами, в зале конгресса не было.

— Женщина в политику принесет лишнюю суету и мелочность. Это ведь не подворотня и не кухня. Пусть воспитывает детей, которых рожает, да заботится о муже, дел у нее и так невпроворот,— раздавалось в рядах делегатов.

— Пока что пролетарки в большинстве своем невежественны и полны суеверий. Они потащат нас назад, а не вперед. Дайте им право голоса, и они выберут монахов и кюре, к которым бегают исповедоваться,— сказал железнодорожник из Лилля.

— Нам снижают заработную плату с тех пор, как женщины пришли на заводы. Они превратились в конкурентов мужчин, а работать так, как мы, никогда не смогут,— пожаловался один из немецких ткачей.

Клара с места пыталась возражать против опасного заблуждения некоторых социалистов в вопросе о женских правах.

— Без женщин-соратниц и вам, мужчинам, не сбросить своих цепей,— раздался голос Бебеля.

Клару поддержали также Лафарг, Гед, Либкнехт и другие дальновидные марксисты.

Прошло всего сто лет с той поры, когда в клубе якобинцев, в пору французской буржуазной революции, шли ожесточенные споры о том, есть ли у женщины душа и можно ли считать ее существом, имеющим те же свойства ума, которыми обладает мужчина. Никаких прав, кроме права бороться и умирать рядом с представителями «сильного» пола в дни революционных схваток и защиты-

вать петиции в Конвенте, француженки, отстоявшие буржуазную республику и разрушившие вместе с мужчинами Бастилию, так и не добились. После недолгого существования их клубы были запрещены.

Героизм коммунарок украсил историю человечества, но равенства они не успели получить.

Социалистический конгресс с каждым часом набирал силу.

Делегаты немецких профсоюзов Нью-Йорка говорили, что в Соединенных Штатах монополии и тресты в промышленности и в сельском хозяйстве достигли вершины грабительской системы XIX века.

— Мы стремимся предотвратить,— заявил один из них,— применение насильственных средств, но буржуазия в конце концов применит их сама, чем и вызовет катастрофу.

Американские делегаты напомнили конгрессу о чикагской трагедии в мае 1886 года и ее героических жертвах.

С обычной силой выступил Гед. Он был еще более худ, чем всегда. Гед напоминал средневекового мыслителя, готового взойти на костер за истину, которую провозглашал. Как всегда, он покорил собравшихся, и его высокий, скрипящий голос был слышен повсюду.

— Я верю, придет новая Коммуна. Ошибки первой не повторятся. Новая Коммуна победит! — сказал он под аплодисменты.

Победа социалистического конгресса означала крах съезда реформистов. Они поняли, что симпатии передовых рабочих на стороне марксистов. Не имея общей программы, эти люди, искавшие возможности предотвратить социальные бои и сговориться с господствующими классами, принялись поспешно искать пути к сердцам разочаровавшихся в них пролетариев. Реформисты вынуждены были объявить, что согласны с тем, чтобы в будущем средства производства стали общественной собственностью. Но они оговаривались, что борьба за улучшение положения рабочих не должна считаться подготовкой к революции. Только мирными средствами хотели они получить реформы, и усиление рабочих и социалистических союзов казалось им прочной основой для сотрудничества с капиталистами.

Когда повестка дня конгресса была исчерпана, один из делегатов французской федерации синдикатов огласил

проект резолюции о международной манифестации в честь мирового единства пролетариата в день памятной даты событий в Чикаго — первого мая. Рабочие во всех странах должны были собираться в этот весенний день и предъявлять властям требование о восьмичасовом рабочем дне и других изменениях в труде, принятых на Парижском конгрессе.

«Резолюция о 1 мая была лучшей из принятых нашим конгрессом»,— писал Энгельс дочери Маркса Лауре.

Поль Лафарг, сообщавший ежедневно Энгельсу обо всем происходящем в Париже, не скрывал своей радости: «Поссибилисты совершенно деморализованы, на последнем заседании их конгресса присутствовало, включая делегатов, всего пятьдесят восемь человек».

Удача марксистов вызвала тревогу среди реакционеров.

«Марксистский конгресс,— сообщало прусское бюро социальной политики,— гораздо значительнее другого, так как его участники были крайне революционными социалистами. В ходе его выявилось, что немцы своей организацией и успехами подают пример всем другим нациям».

Степень удачи любого революционного начинания, как точный барометр, отмечала полиция.

Министерство внутренних дел Австрии разослало циркуляр о подготовке полиции к борьбе с первомайской демонстрацией. Во всех странах усилился надзор за руководителями рабочих союзов.

Энгельс торжествовал. Он добился разоблачения реформистов, он собрал под одно знамя огромную рать воинствующих пролетариев и еще более утвердил гегемонию марксистского учения.

Через несколько дней после возвращения Тусси из Парижа Энгельс выехал с Еленой Демут на месячный отдых к морю.

В Истборне Энгельс бывал не раз, всегда предпочитая это приморское селение всем другим в Англии. Канал казался здесь не менее могучим, чем океан. Неровный, скалистый берег, местами поросший деревьями, напоминал Скандинавию. Вдоль моря пролегала дорога, которую Энгельс давно облюбовал для своих долгих прогулок. Одна

скала, выступавшая из воды, неподалеку от причала, напоминала ему то кипарис, то парус. Он подолгу смотрел отсюда на отливающие сталью волны. Сколько тысячелетий вот так же шумели они, отступая в часы отлива? Ничто на земле не твердит столь упорно о бесконечности жизни, как море.

Мысли Энгельса витали над всем миром. Думая о России, он испытывал особое волнующее чувство, веря в необыкновенное революционное будущее этой страны.

Русские революционеры были, как и много лет до этого, в числе близких и чтимых Энгельсом людей. Он горевал о судьбе Лопатина, заживо погребенного в тюрьме, гордился успехами Плеханова, переписывался с Верой Засулич, с многолетним другом своим народником Лавровым, с одним из переводчиков «Капитала» Даниельсоном, встречался со Степняком-Кравчинским, чья душевная щедрость отражала характер всей великой нации.

По вечерам Энгельс из-за переутомления глаз не мог работать и усаживался с Ленхен за игру в карты. На маленьком столике, покрытом скатерью с длинной бахромой, стояла бутылка пильзенского пива и графин с кларетом. Елена жаловалась на боли во всем теле, и Генерал убеждал ее выпить на ночь грога, но, кроме пива, она ничего не признавала.

— Это у тебя мышечные боли, Ним. Легкая атака ревматизма. Бедняжка Лиззи тоже страдала от них. Уверен, что это простуда. Тебе надо согреться.

— Вот я и выиграла, пока ты занимался медициной. Тебе, Генерал, сдавать. Ты не бережешь козыри и все время проигрываешь.

— Тем лучше для противника.

— Я вовсе не так тщеславна. Меня интересует не столько выигрыш, сколько борьба.

— Молодец, Нимми. Ты всегда была прежде всего боец. Но смысл сражения все-таки в победе.

Проведать Энгельса и Ленхен часто приезжали Пумпс с мужем Перси, Эвелинги, и как-то по пути в Германию явился Шорлеммер, которого в доме Энгельса, в шутку переиначив его фамилию, называли также и Джоллимейером. Ученый заметно похудел за последние годы, глубоко запавшие глаза часто смотрели тревожно, как у человека, несущего в себе еще неведомый, но грозный недуг. Лицо его, с обострившимся носом и сухой, темной кожей,

казалось всегда утомленным и печальным. Энгельс потчевал друга черным элем, который усиливал аппетит.

— Тебе бы разжиреть, как Либкнехту, дорогой Джоллимейер,— убеждал его Фридрих.— Правда, Вильгельму нелегко стало теперь таскать перед собой толстое пузо. Но зато он очень представителен, как и положено члену рейхстага. Его всю жизнь спасала самоуверенность и веселое умонастроение, а также сакраментальная фраза: «Все идет великолепно». Он повторяет ее все сорок лет, которые мы знаем друг друга. Ты же, дружище, слишком часто сомневаешься в себе. От этого худеют.

Ленхен угощала Шорлеммера его любимым яблочным штруделем и кофе со взбитыми сливками.

На прогулках друзья говорили о конгрессе, который превзошел все ожидания марксистов.

— Рептильная пресса Бисмарка помалкивает. Она боится рекламировать наши достижения, о которых, однако, знают все, кому надо,— говорил Энгельс.

— Да, сущий заговор замалчивания,— отозвался Шорлеммер.

— Кстати, Карлуша,— пошутил Генерал,— в Германии тебя опять примут если не за контрабандиста, то уж обязательно за главного конспиратора. Будь осторожен. Гейне всегда говорил, что прусские шпионы самые опасные. Им никогда не платят, вот они и надеются выслужиться и кое-что заработать. Это подстегивает их к деятельности и сообразительности. Если Пруссия будет им платить, они ничего не будут стоить.

Шорлеммер разразился чистосердечным, ребяческим смехом. Ему вторил Энгельс.

— Что до буржуазии, то я по-прежнему считаю, что она делает положенное ей дело и, работая на себя, тем самым работает на нас.

— Ты прав, мой старый Генерал.

— Сегодня мне попалась в руки пожелтевшая от времени брошюрка, которую я написал давным-давно. Сейчас мне почти семьдесят, и что же? — я повторил бы каждое ее слово. Мы не стареем в чем-то главном. Не правда ли, Карлуша? Впрочем, ты еще совсем молод. Тебе всего пятьдесят пять.

— Оставь, Фридрих. Ты-то, как доброе вино, с годами становишься крепче.

— Я готов повторить сегодня, может только упростив слог, свои слова, обращенные к людям в юности.— Энгельс прочитал вслух написанное им давным-давно: «...вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, эта твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдет со своей дороги, хотя бы весь мир обратился против нее,— вот истинная религия каждого подлинного философа... Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее — она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его жестокие глаза и сражаться до последнего вздоха! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышутся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»

Борис Ивушкин вез свой груз с большими предосторожностями. Ввиду нескольких провалов на границе он решил пробраться в Варшаву из Бреславля через Краков. Крестьяне-контрабандисты, зная, какую кладь им придется перевозить, заломили неслыханную цену.

— Это не кружева или духи, не дамские чулки: за такой товар, если попадешься, на Акатуй угодишь,— говорили они Ивушкину, попивая вино в корчме у городской заставы.

— В том-то и дело, чтобы все по-доброму,— возражал Борис.

Наконец поладили и ударили по рукам. Договорились и о том, чтобы кладь за русской границей была поначалу припрятана в избе, покуда на помощь Ивушкину из Варшавы не прибудет доверенный человек.

Ночью крестьянские возы, доверху заваленные сеном, двинулись из Кракова к пограничной станции Шица. Не доезжая границы, контрабандисты свернули в лес, выпрягли лошадей, достали из-под сена тяжелые сундуки и улеглись на траве, требуя того же и от Ивушкина. Издали донесся свист. Контрабандисты ответили кваканьем. Было очень темно. Борис встревожился: не западня ли?

Но из чащи вышел бородатый старик и шепотом сообщил, что опасности нет. Перекрестившись, контрабандисты взвалили на спины груз и гуськом двинулись в темноту. Издали слышались голоса объездчиков и лай собак. Дорога была трудной. Ноги утопали в сыром мху. Постепенно лес редел, появилась речка. Пошли вброд. Шум воды мог привлечь внимание, и спутники Бориса, волнуясь, призывали на помощь то бога, то Николая-угодника. Внезапно послышался окрик:

— Стой! Кто идет?

Все замерли, и стало слышно, как в траве гудели жуки. Объездчик прошел где-то рядом и скрылся за деревьями. Наступил опасный миг. Взобраться на крутой берег из воды было нелегко, и обычно русские пограничники здесь подстерегали добычу. Однако все обошлось.

Промокший насквозь Ивушкин и его спутники уложили сундуки на поджидавший их воз и беспрепятственно добрались до деревни. В Варшаве Борис передал друзьям-подпольщикам все, что привез: документы, бланки, типографский шрифт и запретную литературу. Он с головой окунулся в партийную работу и то выступал на подпольных собраниях с рассказом о работе эмигрантов и французской партии, то помогал налаживать новую типографию, где должны были печататься социалистические газеты «Пролетариат» и «Молот». Но его поджидала беда.

«Отцом русской провокации» называли Судейкина, опутавшего Россию густой паутиной шпионажа. В самом исполнительном комитете «Народной воли» оказался предатель Сергей Дегаев, молодой, приятной внешности студент, с редким хладнокровием отправивший на смерть многих близких товарищей. Уличенный в измене и кровавых преступлениях, Дегаев принес повинную партии и вынужден был пойти на убийство того самого Судейкина, которому служил много лет.

Судейкин был честолюбцем, готовым на любое преступление ради своей выгоды. Стремясь выслужиться перед царем и стать сенатором и министром, он заготовил серию покушений. План был прост. Судейкин предложил Дегаеву организовать террористический акт на него, Судейкина, с тем, однако, чтобы рана была легкой. Он предполагал затем выйти в отставку и временно отойти от дел, чтобы спровоцированные Дегаевым народовольцы за это время убили директора департамента полиции Плеве

и министра внутренних дел Толстого. Александр III должен был убедиться в том, что без Судейкина невозможно справиться с революционерами, и призвать его на помощь, предложив один из самых высоких постов в правительстве. Однако Судейкин, превзошедший в коварстве Фуше, ответившего Наполеону, что заговоры прекратятся лишь вместе с существованием полиции, просчитался.

Омерзительнее палача — его лакей. Дегаев, вовлекавший в террористические кружки доверчивую молодежь и отправлявший ее затем на виселицу, уличенный в этом, без колебаний предал и помог убить Судейкина.

Школа провокации и внутреннего шпионажа не исчезла со смертью Судейкина. Борис Ивушкин встретил на улице давнишнего друга и, хотя из привычной осторожности не сообщил, зачем находится в Варшаве, дал ему свой адрес. Днем позже его арестовали. Улик никаких не было, но за нелегальный переход границы ему грозила отправка на поселение в Сибирь.

Клотильда, приехав в Варшаву, узнала, что муж ее заключен в старую тюрьму Павяк. Она добилась с ним свидания и осталась ждать суда. По совету друзей Бориса француженка поселилась в домике Бернарда Отраба, сыновья которого за принадлежность к боевой партии «Пролетариат» находились на каторге.

Пани Ева Отраб, говорливая старушка, необыкновенно маленького роста, полная и подвижная, хорошо знавшая французский язык, обрадовалась весьма вежливой и услужливой собеседнице, какой и по натуре и по профессии была Клотильда. Странные отношения между супругами Отраб, жившими в противоположных концах дома и видавшимися редко, скоро стали понятными мастерице. Пани Отраб рассказала ей свою жизнь, не являвшуюся в чем-либо исключением в среде зажиточной шляхты и торговцев.

Ева родилась в семье богатого купца.

— Я всегда была некрасивой. Меня дразнили жабкой из-за выпуклых глаз и растянутых губ. Однако молодость всех красит, и я нравилась приказчикам отцовой фирмы. Но в нашем доме все хотели быть не тем, чем родились. Деньги кружат голову. Отец нанял мне учителя чистописания, который для каждой буквы придумал виньетку. Мой почерк и сейчас — это вышивание бисером. Сплошные завитушки. Учитель мой преподавал в семье наместника

края и в семьях знати. Поэтому отец платил ему очень дорого. Как видите, я изучила французский, хотя вовсе не сильна в польском. Пишу красиво, но с ошибками. Когда мне минуло двадцать, отец решил купить мне мужа. Он так и говорил — купить. Никто не спрашивал моего мнения об этом. Наконец нашли «товар». Отец так и называл женихов: товар. Это был управляющий имениями графа Потоцкого, пан Отраб. Ничего не скажешь плохого о его внешности, особенно тогда. Высокий, чистолицый. Немного портили впечатление очки. Но отцу и очки нравились. Солидно. Пану Отрабу я не полюбилась. У него было столько красивых любовниц. Говорят, в деревнях графа Потоцкого у крестьянок немало детей — точная копия управляющего. Меня все это не интересовало. Я знала, что рано или поздно выйду замуж. За кого? Но это ведь всегда лотерея. Любовь приводит к несчастью. А браки без любви кончаются порой счастьем. Кто может знать? Пан Отраб не хотел жениться меньше чем за сорок тысяч. Отец мой был азартный человек. Он хотел, чтобы все было так, как ему хочется. И он дал сорок тысяч. Через год родилась у нас дочь Елизавета, и пан Отраб, забрав все деньги, сказал, что я ему противна, а он хочет любить, и вскоре уехал в Монте-Карло. Не один, а с какой-то хорошенькой женщиной. Я вернулась к отцу. Что говорить? Мне было грустно в доме, где нас с дочерью постоянно упрекали. Но разве будешь мил насильно? Прошло девять лет. Пан Отраб прокутил все деньги и вернулся снова на службу к графу Потоцкому. Я его видела как-то на улице. Он стал еще красивее. Его очень украсила седая прядь и печальное выражение лица. Отец вызвал его к себе. Они торговались несколько дней. Мой добрый отец не пожалел еще сорока тысяч, но решил выплачивать их постепенно. Это заставило моего мужа оставаться со мной довольно долго. Родились наши дети Эдмунд, Иосиф и Леонтина. Они не успели подрасти, и пан Отраб вновь стал тяготиться мною. Но отец, умирая, завещал мне немалые деньги и этот дом... И мы, как видите, перед людьми соблюдаем приличия. Пан Отраб купил нашим дочерям мужей с положением. Елизавета за врачом. У них есть выезд и квартира из пяти комнат. Правда, там нет счастья. Леонтина, она красавица, вся в отца, вышла замуж за инженера. Бедняжка почему-то чахнет и все время болеет. Зато они бывают даже у

губернатора. Ну, а сыновья мои такие строптивые. Они ненавидят отца и всегда заступаются за меня, хотя я этого совсем не хочу.

Пани Отраб тяжело вздохнула:

— Мальчики говорят, что наша семья — уродство, которого никогда не будет после какой-то там революции. Но я в это не верю.

Клотильда прониклась дочерним состраданием к Еве Отраб, которая, оставаясь умом и сердцем ребенком даже в шестьдесят лет, к счастью для нее, не понимала той мелодрамы, в какую обратилась жизнь ее семьи.

Могучая двухметровая стряпуха Текла, деспотическая любовница пана Отраба, управляла всем домом. Она возненавидела Клотильду, заподозрив в ней возможную соперницу, и выжила ее. Француженка нашла пристанище у старушки, поглощенной заботами о ксендзе своего прихода и ручной канарейке. По вечерам Клотильда выслушивала все касавшееся этих двух привязанностей хозяйки квартиры. Но это длилось недолго. Суд приговорил Ивушкина к трем годам вольного поселения в Сибири. Его жена выхлопотала разрешение следовать за ним этапом.

В последний раз глядя в зарешеченное окно тюремного вагона на неукротимый город, Клотильда остро почувствовала, как полюбилась ей эта гордая, протестующая страна. Издавна Франция и Польша тянулись друг к другу.

Узники запели «Варшавянку». Есть на земле бессмертные песни, такие, как «Интернационал» и «Марсельеза». «Варшавянка» из их числа. Она стала отныне подругой и спутником дней Клотильды, которая больше не боялась испытаний. Она поняла, что родилась в годы, когда нельзя, подобно страусу, прятать голову под крыло. Укрыться стало негде. Горе, как пуля, проникает повсюду. И Клотильда повторяла слова прославленного польского революционера Варынского, замученного в Шлиссельбургской крепости:

— Враги наши желают борьбы? Борьба будет!

Поезд шел на север. Заключенные запели «Кандальную мазурку», любимую песню польских борцов за рабочее дело.

Эй, мазурку запляшите
Бунтовской семьею.
Веселее в пляс спешите,
Варшава с Карою!

Враг грозит нам кандалами,
Каторгой, тюрьмою.
Но звенят нам наши цепи
Мазуркой лихою.

Впереди был долгий скорбный путь, остановки в пересыльных тюрьмах, утомительные пешие переходы, холод и голод, но никто не сожалел о будущих загубленных годах. Особенно мужественны были члены партии «Пролетариат», уже много принесшей человеческих жертв ради освобождения рабочего класса Польши.

Велик свиток с именами героев, мученически погибших за людей. Клотильда слушала о недавно казненном студенте Куницком и юношах рабочих Петрусинском и Оссовском.

Во всем мире под разными широтами рождаются такие человечнейшие из человечнейших душ. Счастье добывается кровью и слезами. Как это, однако, страшно. Клотильда плакала от такого открытия. И она думала о несовершенстве мира и населяющих его существ.

— Я родилась слишком рано, люди еще несмышленые дети. Они только начали прозревать.

Внезапно она вспомнила, как Борис читал ей, останавливаясь, чтобы растолковать трудные места, книги Маркса.

— Мы живем в предыстории,— пояснял ей муж мысль великого философа,— человечество только поднимается в боях. История начнется вместе с социальной революцией.

— Скорее бы, скорее,— шептала Клотильда.

Почти в то же время тюремный этап, в котором находилась Анна Бах, прибыл в Читу. В читинской колонии ссыльнопоселенцев господствовали порядки, которые были когда-то и на Каре, в бытность комендантом полковника Канановича. Ссыльные жили дружной коммуной, работали в своей столярной мастерской, много читали и помогали всем политическим, проходящим через пересыльный пункт. Анне удалось повидать знаменитого рабочего Обнорского, который вместе со Степаном Халтуриным взорвал столовую в Зимнем дворце. Обнорский был также организатором «Северного союза русских рабочих». Чле-

ны этого объединения считали политическую борьбу необходимостью, такой же важной, как и борьба за освобождение рабочего класса.

Партия ссыльных двинулась к Байкалу. Снова, как пять лет назад, Анна видела бурятские селения. Заслышав звон кандалов и окрики стражи, жители выбегали из войлочных юрт, садились на корточки и с любопытством разглядывали арестантов. Женщины, не смея садиться в один ряд с мужчинами, жались с детьми на руках поодаль. Резко выделялись среди убогой толпы с длинными косами, в которые вплетался черный шелк, выбритые головы пестро разряженных лам.

Но вот кончилась степь и начались горы. Этапируемые вышли к могучему Байкалу с высокими скалистыми берегами, к необозримой тайге. На барже заключенных перевезли на противоположный берег бурного озера. Природа, как и везде, была тут таинственно равнодушна к человеческим несчастьям. Еще не забыт был «Забайкальский бунт» польских повстанцев 1863 года. В избе на отвесной вершине, где отдыхал в пути этап, вспоминали героев, пытавшихся взять приступом свободу и бежать из страшной байкальской тюрьмы через Китай во Францию. Побег их не увенчался успехом. Одни умерли, заблудившись в сибирских непроходимых лесах, других выловили местные жители, третьи с отчаяния и голода сами сдались преследователям. Вожаки бунта погибли на виселице. Более недели шла Анна этапом по земле отверженных. В Нижнеудинске она распростилась со своими спутниками.

«Увижу ли кого-нибудь еще? В тюрьме нет завтрашнего дня, так как никто не знает, каков он будет. Нет даже следующего часа. Все может измениться в мгновение ока. Узник себе не принадлежит. Бывает, что ничтожный пустяк превращается внезапно в великую беду и стоит жизни людям».

Из Нижнеудинска Анну отправили в Красноярск. С нею вместе ехали несколько ссыльнопоселенцев. Впереди предстояло все же какое-то подобие хромой свободы, и настроение у лишенных прав было приподнятое.

Славься свобода,
Честный наш труд,
Пусть нас за правду
В темницу запрут.

С этой песней этап вошел в Красноярскую тюрьму, откуда ссыльных должны были препроводить под конвоем к предназначенным им местам поселения. Анне Бах положено было проживать в деревне Емельяново по Старо-Московскому грунтовому тракту, в двадцати шести верстах от Красноярска. В волостном селе Арейском, называемом также Зеледеево, находился острог, из которого бывшая каторжанка вышла наконец на свободу. Деревушка, где предстояло жить отныне Анне, была неподалеку. Перекинув торбу со скарбом через плечо, ссыльная направилась к добротным избам. Внезапно из-за овина ей навстречу вышла высокая, гибкая женщина с несколько надменным умным лицом, в городском широком платье и коротком черном жакете.

— Вас только что выпустили на свободу, не так ли? Я уже слыхала про вашу печальную историю. С Кары? Я хочу вам помочь. Вы ведь сейчас что новорожденная... Все сначала. Это трудно.

Анна Бах с недоумением заглянула в беспокойные черные глаза неожиданной доброхотицы и сразу поверила ей.

— Вы тоже ссыльная? — спросила она мягко.

— Нет, то есть почти что. Муж мой сослан, лишен всех прав и состояния.

— А, вот что! Давайте же знакомиться. Бах, Анна Павловна.

— Давыдовская Елизавета Лукинична. Может, слыхали о Дмитриевой-Томановской?

Анна отрицательно покачала головой, но крепко пожала протянутую ей длинную узкую руку.

— Значит, обо мне никогда ничего не слыхали? Жаль,— упавшим голосом сказала Давыдовская.

Анна невольно залюбовалась ее точеным профилем, гордой линией прямого носа, широкими, густыми бровями, скорбно приподнятыми над переносицей, густыми черными волосами и высокой, царственной шеей. «Какая странная и вместе прекрасная собой женщина!» — подумала она.

— Пойдемте же. Узнав, что вас привезли в острог, я присмотрела вам комнатку у порядочных людей. Мы же здесь, увы, старожилы и знаем всех. Есть ли у вас деньги, смена белья, платье?

— Не беспокойтесь. Я ни в чем не нуждаюсь.

— Вот и славно. Ссылка не легкое житье. Тут не мудрено опуститься. Мы живем семьей. Я, муж мой и две наши девочки. Ира и Вера. Муж — превеликий прожектер. Чем только не пытался заниматься, чтоб зарабатывать, и всегда терпел фиаско. Теперь придумал открыть вон в той роще скипидарный заводик, на котором работает сам. Ну что ж, хорошо, что занят делом. А я... Ну, да вы к нам скоро наведаетесь.

По совету Давыдовской Анна наняла комнатку у местного крестьянина. Изба была большая, светлая, теплая и без клопов.

— Приходите поскорее и не стесняйтесь, скажите прямо, если что понадобится,— сказала Елизавета Лукинична.— Там, у въезда в село,— она указала рукой на видневшийся аккуратный двухэтажный домик,— мы приютились. Милости просим.

И вдруг с какой-то необычайной решимостью она сказала, тревожно глядя на Анну:

— Приходите. Я так устала в постоянном одиночестве со своими необычайными воспоминаниями! Знаете ли вы, что я защищала Коммуну, до последнего часа отстаивала с другими баррикаду, чудом спаслась, перейдя с Франкелем границу? Раненная, ушла из Парижа и добралась до Швейцарии. Я была членом русской секции Интернационала. Жизнь щедро меня одарила. Я знала Маркса и Энгельса. Не просто знала, а заслужила их доверие. Сколько вечеров провели в доверительных беседах с дочерьми Маркса Женнихен и Лаурой! И вот сейчас... Вы верите мне? Скажите, прошу вас.

Анна Бах хотела сказать: «Да, верю, конечно, верю»,— но внезапно она усомнилась именно оттого, что ее спросили об этом. Она ответила уклончиво:

— Все, что вы мне сказали, так интересно, так необычно. Надеюсь, мы еще вернемся к столь удивительным событиям. Человек, близко знавший Маркса... Да ведь это — чудо! Я столько наслышалась о Марксе от Засулич и Плеханова, а им так и не удалось повидаться с ним. Только я не слыхала в Женеве вашего имени.

Елизавета Лукинична поспешно пошла в сторону своего дома. Девочки-подростки бежали к ней навстречу. Распрямив согнувшиеся плечи, она крикнула им что-то, и все трое свернули к лесу.

После многих лет тюремного заключения Анне все казалось новью. Она занялась устройством своего скромного быта. Поначалу ей не хотелось вовсе видеть людей, чтобы в полную меру насладиться той видимой, бесконечно дорогой свободой, о которой она не смела в последние годы думать. Она могла отныне закрыть дверь на крючок или оставить открытой по собственной воле. Никто не следил за каждым ее шагом. Кончились «подъемы» и «отбои», ежедневные поверки и внезапные обыски, окрики стражи и кандальный лязг. Анна не сразу осознала свалившееся на нее счастье. Она могла ходить, куда ей вздумается, и лежать после восхода солнца хоть весь день. Хозяйка приносила ей парного молока и краюху хлеба, благостно улыбаясь.

Второе рождение. Новое понимание счастья, найденного в капле росы, в цветении черемухи, в закате и звездах, в смехе ребенка, в медленном течении маленькой речки Качи и бранчливом лае собак в селе. Анна жадно приникла к жизни. Все сильнее ощущала она необходимость труда и общения с людьми.

Село Арейское и деревни Емельяново и Установо образовали большое поселение, где жили зажиточные крестьяне и немало ссыльных. Была тут больничка, двухклассная школа, этапная тюрьма, церковь и базар. Местность была сухая, здоровая, окруженная великолепным лесом. Неподалеку протекала Кача, приток Енисея. Солнцу, казалось, полюбился этот нетронутый край, и во все времена года оно баловало его. Найти работу Анна, не знавшая ремесла, не смогла. Жизнь на средства родных казалась ей тягостной и недопустимой. Она мечтала взять к себе детей, но Бах воспротивился этому, пообещав, однако, ненадолго прислать двух старших девочек погостить к матери.

Словоохотливые и общительные политические ссыльные рассказали Анне о Елизавете Лукиничне много дурного. Все они относились к ее мужу, а потому и к ней с недоверием.

Иван Михайлович Давыдовский, русобородый, подчеркнуто предупредительный и заметно слабохарактерный человек, был осужден по грязному уголовному делу «червонных валетов».

Елизавета Лукинична безраздельно верила тому, что муж ее не виноват в подделке векселей, вымогательстве

и шантаже, окончившихся убийством, в которых его обвинили вместе с несколькими стремившимися к легкой наживе студентами-недоучками и отставными военными из обедневших дворян.

Защищая Давыдовского на суде, Елизавета Лукинична говорила, что он невинная жертва мстительных врагов.

Участница I Интернационала, героиня Коммуны, друг Маркса и его семьи, она всегда была верна до конца революционной идее. Некогда очень богатая, она отдала почти все свое состояние на дело революции. Теперь, в изгнании, ее денежные дела были плохи. Бартенева помогала Давыдовской во всех ее стараниях оправдать и освободить мужа.

Однако Давыдовского признали виновным. Без всяких колебаний поехала в Сибирь вслед за осужденным и его жена. Ничто не могло сломить ее убеждения в полной невиновности Ивана Михайловича.

Всего этого не хотели знать политические ссыльнопоселенцы Арейского. Они отдалились от Давыдовских, обвинили Елизавету Лукиничну в склонности сочинять о себе небылицы и даже считали ее психически не вполне здоровой. Постепенно самолюбивая, глубоко оскорбленная таким отношением женщина начала сама избегать этих людей.

Анна Бах терялась в возникших сомнениях, тем более что сердцем тянулась к позаботившейся о ней женщине. Но Давыдовские сами не искали с ней сближения.

Летом ежедневно на рассвете Елизавета Лукинична доила корову, а затем гнала ее на пастбище. Две миловидные девочки-погодки запрягали лошадь, косили сено, ходили по воду и возились на огороде. Под вечер в маленьком палисаднике мать занималась с ними различными предметами и языками.

Анна непрошеной гостьей пришла к Давыдовским. Труд и любовь к музыке, чтению, наукам обосновались в этом доме. Там было пианино, глобус, и на рабочих столиках всех членов семьи лежали журналы, книги на разных языках, географические и астрономические атласы, что особенно удивило гостью. Хозяйки не было дома: она отправилась в Арейское, чтобы узнать, нет ли знакомых в остановившемся в пути на Нерчинскую каторгу этапе. Она стремилась помочь тем, кто в этом нуждался.

Поджидая Давыдовскую, Анна разговорилась с Верой и Ирой, не по годам развитыми, скромными девочками с потемневшими от загара лицами. Старшей было уже шестнадцать лет. Обе были воспитаны в любви ко всякому труду и с одинаковым удовольствием доили корову, пололи грядки, играли прелюдии Шопена и решали сложные математические задачи.

Вернувшись к себе, Анна долго не могла избавиться от мучившего ее чувства какой-то большой несправедливости, которая окружала Давыдовскую.

«Кто же она на самом деле? — напряженно думала Анна.— Неужели и впрямь друг Маркса, участница великого Интернационала, воительница Коммуны? Но могла ли такая женщина выйти замуж за светского афериста, каким, по общему мнению, являлся Давыдовский? А может, и он не таков? В ссылке в нем никто не приметил худого. Трудится, не пьет и охотно помогает нашему брату. За что же тогда подвергли их бойкоту? А если все-таки эта Елизавета Лукинична, как говорят ссыльные, не вполне здорова? Может, и сочиняет по болезни? Или ловит простодушных? Кого не заинтересует имя Маркса? И все-таки в чем-то мы все не правы. А если она не лжет? С такими-то глазами человек не может быть плохим. Никто же не оспаривает ее учености, знаний. Откуда все это? Откуда могла бы помещица из Псковской губернии узнать то, о чем свободно толкует Давыдовская? Зачем ей Интернационал и Коммуна? И простота особенная в ней, какая-то родная простота. Нет, нет! Что-то не так. Не хлестаковщина это».

Анну до того взбудоражили такие мысли и сомнения, что она почувствовала недомогание. Хотела было прилечь, но хозяйка позвала помочь ей сладить со скотиной, вернувшейся с поля. Со времени поселения, за два месяца, Анна научилась всему, что делали местные крестьянки, и, вставая с восходом солнца, уходила на скотный двор. Коровы, которых до того она очень боялась, ластились к ней шелковистыми мордами.

В этот вечер ей долго не спалось, и, выйдя из жаркой избы на улицу, она пошла по дороге к полю. Наступила ночь, и звезды на чистом небе казались выпуклыми. Вдруг у края деревни Анна увидела Елизавету Лукиничну. Запрокинув голову, та смотрела на небо и что-то шептала.

«Неужели бедняжка действительно душевнобольная?»

Анна остановилась, продолжая наблюдать за Давыдовской, которая, заложив руки назад, медленно ворочая головой, продолжала смотреть в ночное небо.

— Анна Павловна,— неожиданно произнесла она, обернувшись,— не думайте, что я невменяема. Издавна интересуюсь астрономией. К сожалению, мне никогда не представлялась возможность серьезно изучить эту науку, такую же необъятную по своим возможностям, как,— Давыдовская раскинула руки,— эта чудесная вселенная. Да, я всего лишь дилетант, а не астроном. Если б только я могла, то построила бы здесь башню, чтобы по ночам смотреть в подзорную трубу на звезды и разгадывать их тайны. Политическая экономия, наука о революции, и астрономия — вот самое увлекательное на земле.

Анна Бах смотрела на Елизавету Лукиничну во все глаза.

— Когда в тысяча восемьсот семьдесят третьем году я стала женой, к тому же сначала гражданской женой, Ивана Михайловича и потом, когда его оклеветали и запутали без вины в грязное дело, почти все родственники и друзья покинули меня. Вокруг нас был очерчен дьявольский круг. Никто не захотел переступить через него. Но могла ли я бросить близкого человека в беде, им вовсе не заслуженной? Чего стоит тот, кто изменяет идее, кто не верен любви в минуты испытаний? Я никогда не была трусом, отступником, не была предателем. И теперь я, как говорили часто в семье Маркса, иду в жизни через тернии.— Елизавета Лукинична попыталась улыбнуться, но от этого лицо ее стало еще более грустным.— Тернии и звезды. Я могла бы начертать их на несуществующем моем гербе.

В эту ночь Елизавета Лукинична рассказала Анне Бах о своем девичестве в имении самодура отца, о матери, добрейшей и отзывчивой женщине из Курляндии, Каролине Доротее, немке, принявшей православие и названной Натальей. Книги, счастливые встречи привели Елизавету Лукиничну к поискам смысла бытия, к революционным идеям. Фиктивный брак дал возможность покинуть родной дом и Россию. Она отдала революционерам почти все свои средства. Это было так естественно. Затем поручение от русской секции Интернационала при-

вело ее к Марксу в Лондон. Там она узнала настоящих, необычных по мощи духа, гениальных людей.

— Ради таких дней, как те, когда прогремела Коммуна, стоило родиться на свет. Ими оправдана вся моя жизнь, как бы она ни была потом плачевна. Что ж, у каждого своя Кайенна. Но главное, незабываемое, великое — оно было. Его у меня не отнять. Страшно, когда от рождения и до смерти человек не горит, а тлеет, чадит. Я же видела в людях только огонь.

Рассвело. Анна распростилась с Элизой.

Этим же летом сестра привезла Анне ее дочерей, двойняшек Тату и Нату. Им было по одиннадцати лет. Расфранченные, завитые, девочки не помнили матери и искоса, не поднимая глаз, поглядывали на ее огрубевшие руки, застиранное ситцевое платье в белые горошины, на стриженые волосы. Думая о побеге, она начала их отращивать, и неровные кудри небрежно падали на ее затылок.

После приезда детей Анна проплакала всю ночь. Она думала, что потеряла дочерей навсегда — такими чужими они оказались. Началась упорная, не приносящая успеха борьба Анны за сердце Наты и Таты. Девочки, однако, рвались к отцу, к роскоши, с которой был обставлен его дом, скучали по гувернантке и с пренебрежением относились к матери. Изредка им становилось ее жалко. И это для нее было еще огорчительнее. Все вокруг казалось им уродливым и нищенским. Привольным сибирским просторам они предпочитали узкие дорожки столичного парка, деревне — огражденную забором дачу с мраморным фонтаном перед террасой.

В течение нескольких лет Иосиф Федорович Бах объявлял всем, что жена его умерла, и дети привыкли к тому, что они сироты. Известие, что мать жива, удивило, но не обрадовало близнецов. В доме не было ни одной ее фотографии, в памяти их не осталось ни ее образа, ни каких-либо воспоминаний.

Однажды маленькой Тате показалось, что шарф случайной гостьи пахнет мамой.

— Это мамина шаль,— настаивала девочка. Ее обоняние сберегло запах материнских духов.

К осени дочери Анны должны были вернуться в Петербург, чтобы пойти в гимназию. Несмотря на полное равнодушие и неуловимое осуждение со стороны детей,

мать все больше привязывалась к ним, и страдания ее возрастали.

«Нужны годы, чтобы они полюбили и поняли меня. Как же быть? — металась Анна.— Отказаться от служения благой идее, превратиться в бонну, всем пожертвовать, перечеркнуть прошлое, забыть Кару, погибших Перовскую, Гельфман, друзей, Плеханова и Засулич, прочитанные и ставшие частью меня самой книги, думы мои, чувства? К чему я так томлюсь? Раба, бесправная вещь в руках любого околоточного и жандарма. Какая я мать?»

Думая так, Анна сидела в хозяйской горнице. Перед избой Ната и Тата, сторонясь деревенских ребят, вдвоем играли в мяч.

На столе у киота в красном углу, под иконами, лежало Евангелие. Анна, вспомнив детство, открыла его наугад. Читавшая Фейербаха, Ренана и особенно философские сочинения Маркса и Энгельса, она с интересом перечитывала отдельные страницы древней книги. Шутки ради она загадала, как делала это в тюрьме, что скажет ей та или иная случайно увиденная строчка.

«Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят.

И будете ненавидимы всеми за имя мое».

Анна невольно улыбнулась и захлопнула книгу. Фраза евангелиста Луки совпадала с ее мыслями о путях революционеров, о необычном жребии борцов за идею.

Вскоре девочки уехали. Анна начала работать в больнице кастеляншей и сиделкой.

Наступили теплые осенние дни. В Арейское прибыл этап поляков. Двоих заключенных должны были выпустить из острога. Им предстояло обосноваться в этих местах. Остальных отправляли на каторгу в Акатуй.

Анна пошла к этапному двору, чтобы встретить новых поселенцев. Ждать пришлось недолго. С котомками на спинах из ворот вышли обросший густой бородой мужчина и рыжеволосая, нерусского типа женщина. Это были Борис и Клотильда Ивушкины. Ивушкин, как врач, оказался очень нужным человеком в деревне и скоро заслужил добрую славу на много верст кругом. Больных привозили на телегах. Анна и Клотильда, помогавшая мужу, обмывали их, переодевали в пожелтевшее от кипячения чистое белье и укладывали на топчаны. Они сами готови-

ли еду и различные настои, убирали больницу, стирали, кипятили инструменты, собирали дикорастущие травы, так как двенадцати рублей тридцати шести копеек, отпускаемых казной на лекарства для сельской больницы, было вовсе не достаточно, а жертвователей не находилось.

Осенью начались эпидемии тифа и кровавого поноса. Врач и две его сиделки дни и ночи проводили подле тяжелобольных. Анна и Клотильда тоже переболели дизентерией и едва уцелели.

Ивушкин за несколько месяцев своей службы помог шести тысячам больных. Сиделки падали с ног от утомления и, однако, считали себя счастливыми. Жизнь их получила огромный смысл: они работали для людей.

Окрестные деревни узнали и полюбили самоотверженных медиков, не щадивших себя в труде. Анна постепенно выучилась у Ивушкина акушерству и заменила бабок и знахарок. Но ее особенно удручало, что не только восприемницей жизни, но и свидетельницей смерти приходилось ей часто быть.

— Что и толковать о нашей родине! — говорил Ивушкин. — Продолжительность жизни русского человека — в среднем всего двадцать восемь лет. Холера, тифы быстро расправляются с ослабленным чрезмерным трудом и постоянным недоеданием рабочим человеком. Каждый год у нас мрет лишних два-три миллиона нестарых людей, благо земли много, есть где похоронить.

— Все это понятно мне. Для каждого начинания одна надежда — перемены в общественном строе, революция, власть народа. Но когда же это будет, когда? — спрашивала Анна.

— Неверующий Фома, я знаю, что увижу новый мир! — весело и убежденно твердила Клотильда.— На что мне ваши теории? Борис знает их все за нас двоих. Но чувство — это уже мое дело. Поверь, что я никогда не ошибаюсь. Сама не знаю отчего, но убеждена, что увижу революцию. Все равно, где она начнется: Россия так Россия. Это ведь теперь и моя родина. Лишь бы зажегся свет. Он, как солнце, осветит всю планету.

Приближалась зима. Ивушкин с первого часа ареста лелеял мысль о побеге. Клотильда ничего не скрывала от Анны, которая не раз тоже обдумывала, как ей вырваться из ссылки. Все трое долго обсуждали план действия. Решено было, чтобы Клотильда через Петербург, не вызывая

никаких подозрений, отправилась во Францию, будто бы для того, чтобы забрать в Арейское сына. Затем с помощью Анны и нескольких друзей через Дальний Восток, по маршруту Бакунина, предстояло бежать Ивушкину. Анна отложила свой побег до весны.

На прощальный ужин у Ивушкиных собралось много ссыльных. Клотильду снова забросали вопросами о Международном социалистическом конгрессе, на котором она была более года назад. Как всегда, бурный спор возник у народовольцев и членов польского «Пролетариата» с немногочисленными марксистами, сторонниками группы «Освобождение труда». К их числу принадлежал Ивушкин. У него была завидная память на прочитанное, и он безошибочно повторял многие мысли Маркса и Энгельса, разбивая сторонников террора со спокойствием человека, убежденного в преимуществе и силе своего оружия. Клотильда наказывала Анне, как ей одной лучше вести больничное хозяйство, кипятить и чистить инструменты и готовить сложные настойки из трав для больных.

— Особенно хороша для тех, у кого кровоточат десны, соленая черемша. Мы с тобой вовремя заготовили целую бочку этого бальзама. Как жаль, что черемша не растет у нас во Франции. Она нужна всем бедным людям,— говорила по-французски бывшая парикмахерша.— Прошу тебя, Аннет, не печалься о своих дочках. У меня ведь тоже сын вдалеке. Он не знает ни матери, ни отца. О, это ничего. Я не тужу. Придет время, и наши дети к нам вернутся и будут гордиться такими родителями. Ведь не ради зла, а во имя добра мы отвергли толстозадых богачей и пошли в эту преисподнюю. О, я не завидую буржуа, их песенка скоро будет спета. Что ж, у них длинная кишка и вместительное брюхо, а у наших друзей непомерно великое сердце и голова.

Вечеринка не обошлась без хорового пения, и Клотильду попросили спеть новую и малоизвестную в России песню «Интернационал». Хотя слова были французские, припев подхватили поляки и русские.

На другой день Клотильда оставила Арейское и, преодолев немало трудностей, прибыла в Петербург. Бартенева приютила ее в своем небольшом домике.

Петербург произвел громадное впечатление на молодую иностранку. До этого она думала, что в мире есть только один красивый, величественный город — Париж.

Клотильде нравились площади и набережные, дворцы и памятники прекрасной русской столицы.

Поражала ее, как и в Париже, гостеприимная Бартенева. Клотильда редко видела более деятельных, жизнерадостных и волевых женщин. Бартенева, приближавшаяся к пятидесяти годам, сохранила все признаки молодости. Она отлично плясала, пела и заметно хорошела во время увлекательной беседы. Три взрослых сына не чаяли в ней души и относились к матери с предупредительностью, как добрые друзья. Муж Бартеневой отдавал ей во всем предпочтение, и Клотильда подметила гордость и восхищение, когда он слушал ее увлекательные рассказы о пережитом.

Однажды в декабрьский вечер в доме Бартеневых раздался звонок, испуганно охнула горничная. Нагрянули с обыском жандармы. Клотильда вернулась с прогулки, и ей почудилось, что по всем комнатам пронесся снежный вихрь. Горы бумаг валялись на полу, картины на стенах сдвинулись, шкафы остались раскрытыми. На столе лежали изъятые книги, тетради, вырезки из иностранной печати.

— Итак, госпожа Бартенева, вы, оказывается, сотрудничали чуть ли не во всех красных газетах мира. Извольте сами посмотреть: опаснейшие издания, возмущающие спокойствие порядочного общества. Вы также поставляли зловредные сведения и в нью-йоркскую социалистическую прессу. Мне жаль, что такая образованная женщина клеветала на нашего монарха, на мудрые законы своего отечества. Трудно верится, что вы столбовая дворянка, наследница по матери славного рода Мининых.

Жандармский полковник, притворяясь сокрушенным, покачал надушенной головой с гладко прилизанными, едва прикрывающими лысину волосами. Негодование его все возрастало по мере того, как увеличивались пачки изъятых им бумаг.

— Ай-яй-яй, да ведь эта ваша рукопись восхваляет запретную газету «Народное дело»! Так! Значит, возмущались казнью Александра Ульянова, Шевырева и других государственных преступников, стремившихся посягнуть на жизнь государя императора. Тут и ваша защита Софьи Гинзбург. Значит, и она была вам лично знакома.

— Прошу не говорить со мной об этой великомученице. Разве вам мало, что она, такая молодая и одаренная,

месяц назад покончила с собой, не выдержав пытки Шлиссельбургской крепости?! Ее ведь содержали в камере рядом с двумя душевнобольными. Это было настоящим убийством.

— Я, право, поражен, Екатерина Григорьевна, вашей осведомленностью. Мне ничего не известно о смерти Гинзбург.

— Зато об этом знает уже вся передовая, честная Россия.

Дело дворянки Екатерины Бартеневой, заведенное после обыска жандармским управлением, ждало решения министра внутренних дел.

В семидесятых годах в Петербурге появились первые кружки рабочих. В зиму 1890 года их было уже более двух десятков для грамотных и не умеющих читать и писать. Преподавали студенты разных учебных заведений и наиболее развитые рабочие.

Бартенева и ее старший сын, Виктор, часто бывали в этих кружках, состоявших из нескольких человек и имевших каждый свою кассу. Часть средств отчислялась в кассу центрального комитета всех рабочих групп, остальные деньги тратились на книги и на помощь стачечникам. В центральной кассе оказывалось подчас по нескольку тысяч рублей. Помимо отчислений кружков немалые суммы поступали от устройства лотерей, благотворительных концертов и вечеров, а также от жертвователей. Все эти деньги хранились у Бартеневой, муж и сын которой также сочувствовали социал-демократам.

Несколько раз в неделю Бартенева надолго уходила из своего скромного деревянного домика на Песках и окольными путями пробиралась на Петербургскую сторону. Там, на Газовой улице, стоял небольшой особняк, с сумерек освещенный многозначительным красным фонарем. По вечерам в публичный дом приходили мужчины. За толстыми шторами слышалась музыка.

Нельзя было догадаться, что во дворе этого же дома, во флигеле, находится конспиративная квартира. Ее снимала молчаливая, неприметная портниха. Там и занимался рабочий кружок, и вела его Софья Александровна, как звалась на Петербургской стороне Екатерина Григорьевна. Фамилию ее никто не сообщал.

В кружке Бартенева читала и разъясняла наиболее доступные работы Маркса и Энгельса, статьи Чернышевского, Писарева и Шелгунова. Иногда занятия состояли только из вопросов и ответов. Кроме политики, экономики, истории, обсуждались вопросы естествознания. Бартенева была увлекательным рассказчиком и много знающим человеком. Жизнь обогатила ее знакомством с необыкновенными людьми, да и сама она много испытала. Ткачихи, швеи, печатники не переводя дыхания слушали подробности боев за Парижскую коммуну, воспоминания о Международном конгрессе, рассказы о Марксе, Энгельсе и других пролетарских борцах.

В конспиративной квартире на Газовой хранилось немало подпольной литературы. Случалось, там устраивались обширные тайные собрания рабочих под видом разудалых вечеринок в честь чьих-либо именин.

Незадолго до отъезда Клотильды в Париж Бартенева привела ее в свой кружок.

Внучка коммунара почувствовала себя счастливой среди людей, близких ей по духу, по труду. Зная всего несколько слов по-русски, она, однако, сумела передать им тепло своего сердца.

Руки! Утомленные, шершавые, с похожими на мертвые жемчужины мозолями на ладонях. Точь-в-точь такие же были у ее деда. По ним она всегда судила о прожитой жизни. И слова стали ненужными. Их заменили рукопожатия.

Получив условную телеграмму от Бориса Ивушкина, из которой поняла, что муж готов к побегу, Клотильда начала собираться во Францию. Бартенева передала ей письма и статьи для социалистических газет разных стран, в которых сотрудничала.

Дело Бартеневой к этому времени закончилось. Благодаря хлопотам деверя, сенатора, приговор был мягким. Ее отдали под гласный надзор полиции и предложили на четыре года выехать в ссылку в город, не столичный и не имеющий высших учебных заведений, по собственному выбору. Поразмыслив, Бартенева решила поселиться в Пскове.

Последние часы перед разлукой француженка и русская провели в доверительной беседе.

— Я прежде мечтала,— сказала Клотильда,— избегать борьбы и трудностей и быть всегда беспечной и

счастливой. Но такой жизни для нас, тружеников, нет на земле.

— Да, ее нет для мыслящих, нуждающихся в справедливости, как в свежем воздухе, людей,— добавила Бартенева.— Но надо не покладая рук трудиться.

— Бороться!

Коттедж, где за городом поселились супруги Вебб, был совсем маленький, густо обвитый жимолостью и диким виноградом. Издали он казался небольшим холмом, густо поросшим травой. Бородатый шотландский терьер с желтой шерстью и меланхолическими черными глазами первым встретил гостей посередине открытой поляны, примыкавшей к дому. Беатриса Вебб появилась вслед за ним и деловито пригласила гостей в крошечный холл.

— Алло, Шоу! Вы не один? Превосходно. Рада видеть миссис Маркс-Эвелинг и мистера Эвелинга. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, дорога вас не утомила? Я рада, что вы приняли мое приглашение. Я послала его в начале года, а теперь уже весна. Мистера Шоу, нашего будущего Шекспира, мы имели честь видеть у себя уже несколько раз за это время. Прошу всех подняться по этой лесенке наверх. Там, направо, ваша комната, Бернард, налево — все готово для четы Эвелингов. Ждем вас к пятичасовому чаю.

Тусси и Эдуард вошли в спальню, вынули из чемодана вечернюю одежду, развесили на плечиках и принялись умываться. Элеонора несколько раз выглядывала из окна. Луга убегали к горизонту, терялись на отлогих возвышенностях. Все было покрыто свежей, будто только что вымытой зеленью.

Через два часа хозяева и гости встретились в узенькой столовой. Две тарелки с тонкими ломтиками хлеба, смазанными маслом, с прослойкой огурца, ветчины или сыра и пять чашек с темно-зеленой жидкостью стояли на столике с колесиками. Беатриса предложила гостям сандвичи и первая принялась пить ароматный, неподслащенный индийский напиток.

— Я видела вашего земляка Оскара Уайльда. Он вычурен и женоподобен. Весь напоказ,— сказала она недружелюбно.

— Еще бы. Любимец английских салонов, завивает волосы под принца-регента, опуская на лоб нечто вроде челки. Кто-то из его критиков писал недавно, что его волнистые пряди под стать волнистым зубам,— поддержал миссис Вебб Эвелинг.

— Ирландец против ирландца, междоусобица,— пошутил Шоу.— Ясно одно. В наши дни человек должен быть вооружен крепкими зубами. Я хотел бы иметь, по крайней мере, пасть тигра. У бедняги Уайльда действительно некрасивые, а главное, слабые зубы. Разговаривая, он по-дамски прикрывает рот рукой, чтобы скрыть этот недостаток. Что ж, бард, особенно в Англии, по традиции, идущей от Байрона и Шелли, должен быть красив.

— Оскар Уайльд не исключение, по-моему. К тому же он талантлив, своеобразен и весьма остроумен.

— Феодалы на нашем острове не приглашали одновременно нескольких герцогов. Мы слишком много времени уделяем великосветскому Уайльду на пиру, где находятся два драматурга,— властно вмешалась в беседу Беатриса.

— Ты права, как всегда, моя дорогая,— оживился Сидней Вебб, до этого молча и с аппетитом уничтожавший ломтики хлеба с огурцом.— Мы ждем вашего произведения, Бернард, я уже заранее радуюсь взрыву в так называемой добропорядочной среде. Как называется пьеса?

— «Трущобы».

— Надеюсь, именно идеи фабианцев вдохновили вас? Не правда ли? — глядя победоносно на Эвелингов, спросила Беатриса.

— Боюсь, что я презрел осторожность, которую так усиленно проповедует наше почтеннейшее общество,— улыбнулся Шоу.— Я стремлюсь показать, как пресловутый средний класс, щеголяющий постоянно благородством своих убеждений, и молодые пустоцветы из аристократии жиреют за счет голытьбы, ютящейся в трущобах. Тема малоприятная для светских салонов, но животрепещущая. Меня томит множество неразрешенных вопросов, как и всякого драматурга, не правда ли, Эвелинг?

— Еще бы! — ответил муж Элеоноры.— Я социалист и этим главным образом руководствуюсь в выборе сюжета.

— Есть вопросы, в которых я остаюсь, однако, индивидуалистом,— продолжал Шоу. — Незачем бояться правды, она кусается меньше, если мы берем ее в союзники. Я хотел бы написать о проституирующих профессиях, таких, как драматургия, журналистика, не говоря уже о юристах, врачах, священниках и профессиональных политиках. Не исключаю и себя из этой среды. Увы, если мы лжем, поступаем наперекор своему действительному разумению, размениваем способности и лучшее в себе черт знает на что. По сравнению с этим продажная женщина — невинный ангел. Люди без убеждений опаснее бедных женщин без целомудрия.

— Значит, выход только один,— сказала Элеонора.

— Ну конечно же, перестройка мира и общества, ну конечно же, социальные реформы. С этим никто не спорит. Но, милая Элеонора, вспомните сожженные Кромвелем и Монком селения. Кровь, слезы, пепел — вот что несут с собой люди, объятые социальным безумием. Революция, когда ее совершает отчаявшийся, полудикий народ, слишком дорого стоит всему человечеству и, главное, культуре. Мы и так многим жертвуем для пока еще темного народа. Мы, то есть образованные люди. Как добыть свободу и равенство? Вот сложнейшая из задач современности, и мы, слава небесам, нашли средство, ведущее мир к совершенству без всяких жертв. А это — главное.

Беатриса произнесла свой монолог стоя. Ее узкое, острое лицо побледнело, как у всех страстных, не очень добрых, волевых людей. Элеонора вспомнила дешевые открытки с изображением католических монахинь. Миссис Вебб походила в эту минуту на многогрешную игуменью монастыря, ставшую затем святой Терезой из Гренады.

— Милая Беатриса,— сказал Шоу весело.— Слушая вас, я вспомнил изречение Фомы Аквината: «Я боюсь человека, прочитавшего в течение всей своей жизни лишь одну книгу». Я боюсь фанатиков, которые убеждены, что постигли истину, и готовы уничтожить всех с ними несогласных. Кто знает, может быть, мы, фабианцы, слепые щенки. Конгресс в Париже, победив, осмеял всех нас.

— Как вы можете так богохульствовать? — возмутился Сидней Вебб.— Беатриса права. Мы и так многое делаем для неимущих классов. Не надо забывать, что наш учебный, а также имущественный ценз, положение в свете могли бы дать нам другие судьбы, но мы жертвуем всем,

Тем не менее нельзя же считать нас и рабочих ровней. У Англии своя история, свой особый путь. Я против хирургии в политике.

— Даже если нужна ампутация, иначе человек обречен на смерть? — злорадно спросил Эвелинг.

— Прошу вас всех прекратить споры. Время идти на прогулку до ужина,— повелительно заявила хозяйка дома.

Гости послушно встали, надели ватерпруфы, запаслись на всякий случай зонтиками и вышли на поляну. Впереди пошла Беатриса с длинноногим Шоу. За ними — Элеонора, Сидней и Эдуард. Желтошерстый бородатый пес по имени Санди заключал шествие. Он вел себя столь же солидно и уверенно, как и его хозяева.

— Я недавно послал господину Энгельсу, которого считаю выдающимся ученым, свою книгу «Фабианские исследования о социализме». Предвижу с сожалением, что он, по-видимому, не одобрит мой труд,— сказал Сидней.

Мгновенно преодолев колебания, Элеонора ответила сухо:

— Вы не ошиблись в этом предположении. Насколько мне известно со слов господина Энгельса — я сама пока еще не прочла вашей книги,— опираясь на вульгарные и порочные экономические теории, вы пытаетесь опровергнуть учение Маркса, а также доказать возможность осуществления социалистических идей посредством сговора с буржуазией, добиваясь от нее подачек в виде реформ.

Сидней Вебб остановился. Щеки его стали пунцовыми. Он снял очки и уныло моргал припухшими веками. Его маленькие близорукие глаза округлились.

— Простите,— добавила Элеонора,— но вы затронули самое важное для нас — идею.

— Конечно, конечно, миссис Эвелинг. Я благодарен вам за прямоту, за смелость. Не все умеют говорить честно. Я и не рассчитывал привлечь вас и мистера Энгельса к фабианцам. Надо всегда прежде всего быть терпимым и не лгать. Шоу прав: худшее — это фанатизм. Будем спорить, господа, на уровне девятнадцатого столетия. Но не сейчас. Не правда ли, здесь легко дышится? Воздух беспрепятственно проникает к нам с моря. Оттого он так освежающ.

Разговор коснулся новейших открытий в естествознании. В этой области был силен Эвелинг. О минутной раз-

молвке сразу же забыли. Беатриса заставила все общество пройти целых четыре мили. Это была ее обязательная вечерняя «порция».

— Ходьба — заряд, без которого я не гожусь для работы и жизни,— говорила она, двигаясь с такой скоростью, что за ней едва поспевали все остальные. Она выбирала наиболее трудные дороги, отыскивала возвышенности, поднималась и затем, приподняв пальцами широкую юбку, обшитую тесьмой, сбегала вниз. Шоу был таким же тренированным ходоком. Издали он казался Элеоноре легким, подвижным, тонким. Ветерок шевелил его пушистые волосы. Он часто простодушно и громко смеялся.

«Какой чистый, гармоничный человек!» — думала о нем Элеонора.

Эвелинг беспричинно сердился на Тусси и шел молча, раздраженно сбивая тростью головки желтых лютиков, неосторожно расцветших у самой дороги. Дурное настроение мужа тотчас же передалось впечатлительной и нервной Элеоноре. У нее было одно из тех лиц, на которых мгновенно отражаются чувства. Лицо молодой женщины потемнело, глаза потускнели. Она казалась заболевшей. Шоу, отличавшийся особой наблюдательностью, заметил это и попытался развеселить ее, но тщетно. Прогулка заканчивалась. Сидней Вебб расхваливал просторы вокруг Лондона и удобства загородной жизни. Беатриса восхищалась наследником престола принцем Уэльским, который недавно танцевал с дочерью бывшего докера на благотворительном балу. Она вскользь добавила, что отец этой девушки оказал большие услуги Англии в качестве руководителя одного тред-юниона и его, несомненно, со временем сделают лордом.

К ужину, согласно светским правилам, которым следовали Веббы, хозяева и гости пришли в вечерних туалетах. Декольтированное платье Беатрисы было в стиле ампир, точь-в-точь как на портрете знаменитой мадам Рекамье. Элеонора оделась по современной моде. Ее темно-красное платье с узким лифом и коротенькими пышными рукавчиками было отделано кружевами. Этот наряд был куплен в Париже по выбору обладавшей незаурядным вкусом Лауры Лафарг и очень украшал Тусси. Ей пришлось попудрить щеки, чтобы скрыть следы слез. Размолвка с Эвелингом все еще продолжалась. Он капризничал и жа-

ловался на боль в сердце, зная, как пугали такие сетования жену.

За столом говорила преимущественно одна Беатриса и явно была этому рада. Она смогла вдоволь похвастаться своей работой в обществе и перечислить различные бани, прачечные, мастерские, которыми были облагодетельствованы нуждающиеся жители окраин. И снова, как при первом знакомстве на балу, Элеонора испытала мучительную скуку и едва справилась с собой, чтобы не зевнуть. После ужина Беатриса сыграла «Песнь без слов» Мендельсона и этюд Генделя. Затем, выкурив папироску, руководительница фабианцев высказала свое беспокойство по поводу того, не хочет ли Япония в конце концов отторгнуть у Англии ее колонию Австралию.

— Чтобы не беспокоиться на этот счет, не лучше ли дать автономию всем колониям? Пусть они и тревожатся,— сказала Элеонора.

— Всему свое время,— отрезала Беатриса.

Шоу попросил Эвелинга прочесть отрывок из своей последней пьесы, и он исполнил это. Затем все обратились к Шоу.

— Что вы, вечер подходит к концу, а мы еще не произнесли самого модного имени наших дней — Ибсен! Я уверен, что «Нора» покорила уже сердца всех здесь присутствующих. Эта пьеса — целая эпоха. А что могу сказать я, начинающий драматург? «Трущобы» написаны давно, сейчас кое-что переделываю и добавляю. Надеюсь, королевский цензор отнесется к ней благожелательнее, чем публика. Предвосхищаю возмущение господ из среднего сословия. Но давно пора пробить брешь в их окаменелом сознании с помощью канонады из театральных произведений, книг и светской музыки.

Переночевав в домике Веббов, Эвелинги утром отправились назад, в Лондон.

Энгельс был в отличном настроении. Он недавно поздравил Либкнехта с победой на выборах, доставивших ему пальму первенства, и писал в Дрезден:

«Мы не имеем права позволить сбивать нас с толку на нашем победоносном пути, наносить вред нашему собственному делу, мы не должны мешать нашим врагам

работать на нас. Поэтому я согласен с тобой, что *в данный момент* мы должны выступать, насколько возможно, мирно и легально и избегать всяких предлогов для столкновений. Но, без сомнения, твои филиппики против насилия в любой форме и при всех обстоятельствах я нахожу неприемлемыми, во-первых, потому, что ни один противник тебе в этом все равно не поверит,— ведь не настолько же они глупы,— а во-вторых, потому, что по твоей теории я и Маркс тоже оказались бы анархистами, так как мы никогда не собирались подобно добрым квакерам подставлять левую щеку, если кому-нибудь вздумалось бы ударить нас по правой. На этот раз ты, несомненно, несколько хватил через край...

Сообщи мне, пожалуйста, заранее, когда ты намерен переплыть Ла-Манш и приехать к нам. У нас свободна только одна комната, а весной ее иногда занимают — на пасхе, например, Шорлеммер; возможно также, что приедут Лафарги или Луиза Каутская, так что придется, пожалуй, как-то позаботиться о том, чтобы комната была свободна для тебя».

Элеонора поделилась с Энгельсом впечатлениями от посещения Веббов. С присущей ей живостью, преобразившись, она в лицах передала Ним и Энгельсу монологи властолюбивой учредительницы фабианского общества и ее покорного, неглупого, но неспособного к широким и смелым обобщениям мужа. Поразмыслив и пожевав сигару, Энгельс сказал с улыбкой:

— Твоя оценка взглядов достопочтенного муниципального вождя Вебба вполне совпадает с моей. Мышиные горизонты и грубая пигмейская попытка наскочить на учение Маркса. У обоих супругов умственная близорукость и большая самоуверенность. Что и говорить, фабианцы — это, как сказал бы Мавр, люди с тряпичными душами. История сбросит их, как хлам, в мусорный ящик. Что до Шоу, то он как писатель очень талантлив и остроумен, но ничего не стоит как экономист и политик, хотя честен и не карьерист — в этом я убедился. Но перейдем к главному, к Германии. Несомненно, выборы там знаменуют начало конца правления Бисмарка. Наконец-то!

— Как долго мы ждали этого поворота, как упорно боролись за него немецкие социал-демократы! Нет боль-

шего счастья на свете, чем увидеть победу дела, ради которого сражался столько лет! — воскликнула Тусси.

— Ты увидишь еще много праздников истории. Это только прелюдия. Начинается эра решающих боев и побед.

Энгельс разжег потухшую было сигару. Он и Элеонора подумали об одном и том же. В этом году Энгельсу должно было исполниться семьдесят лет. На письменном столе Генерала лежала рукопись его биографии для энциклопедического словаря. Большая, сложная жизнь была спрессована до размеров статьи, в которую Энгельс внес исправления и добавления.

Элеонора стеснялась внешне проявлять дочерне нежную любовь, которую с детства питала к Энгельсу. Но иногда она не могла сдержать естественного порыва и, глядя на седеющую бороду и утомленные веки своего второго отца и учителя, пожимала с глубокой признательностью его большую, все еще сильную руку.

Энгельс понимал этот жест.

— Это за те двадцать лет, когда ты обрек себя на египетское пленение и служил проклятой коммерции ради Мавра и всех нас, и за то, что ты делаешь сейчас сам для людей и для наследства Мавра. А твое краткое энциклопедическое жизнеописание для словаря — только схема, контуры человека, но не ты, дорогой дядя Энгельс.

Сам Энгельс вовсе не был удовлетворен тем, что уже успел сделать с наследием Маркса. Он считал, что труд умершего друга совершит переворот во всей экономической науке и отныне теория получает несокрушимый фундамент, а борцы за социальную революцию — победоносное оружие.

Зрение Энгельса ухудшилось, третий том приходилось диктовать. Он получал от рукописей Маркса наивысшее наслаждение и повторял, что каждое слово покойного измеряется на вес золота.

Общение с Марксом было ему необходимо, как воздух и свет, и он боялся лишь одного — дня, когда его труд подойдет к концу. Тогда ему предстояло бы жить без друга, а этого он не мог.

А дел становилось с каждым днем все больше. Скандинавы и немцы, румыны и русские, французы и англичане, итальянцы, испанцы, американцы обращались к

Энгельсу с письмами, стремились повидаться с ним. Простота, доступность, внимательность к тем, кто был или мог стать единомышленником, к трудовому люду, к молодежи были у Энгельса безграничны. По воскресным дням дом на Риджентс-парк был полон людей, и Ленхен едва успевала накормить и напоить чаем и кофе всех, кто стремился пожать руку, посоветоваться, послушать революционного вождя, друга Маркса, поднявшего с ним над миром незатухающий факел: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Степняк-Кравчинский был всегда желанным гостем. Талантливый революционер и писатель обязательно заходил к Елене Демут, чтобы расспросить о ее здоровье и предложить свою помощь по хозяйству. Затем он направлялся в кабинет хозяина. Энгельс встречал его русским «здравствуйте» и «добро пожаловать», и беседа начиналась.

— Я все еще под впечатлением событий на Карийской каторге,— сказал Энгельс.— Ничего более чудовищного и вместе героического в летописях тюрем, среди людей, закованных в кандалы, невозможно себе представить. А подвиг этой удивительной русской молодой женщины Надежды Сигиды, я уверен, никогда не забудется. Трагедия на Каре достойна открыть историю жизнеописания святых героев и мучеников за революцию. Я думаю, в настоящий момент вера либералов в освободительный пыл царя изрядно поколеблена. Есть отчего! Страшные вести из Сибири, с Нерчинской каторги, статьи об условиях политических ссыльных господина Кеннана и, наконец, университетские волнения в разных городах вашего отечества многим откроют глаза, дорогой мой Степняк.

— Чем хуже, тем лучше, Генерал.

— Для современной России, по-видимому, так.

— И однако,— продолжал писатель,— у меня нет больше сил пассивно смотреть на родину, превращенную реакционерами в застенок для всего передового, думающего. Я должен быть там, а недописанная книга держит меня в Англии.

— Скажите, Степняк, знаете ли вы кого-либо из карийских героев?

— Еще бы! Там находится Лев Дейч, один из пяти организаторов группы «Освобождение труда», друг Плеханова и Засулич, убежденнейший марксист.

— Не он ли попался во Фрейбурге с грузом нелегальной литературы? Помню, что охотились за «красным Моттелером» и нашим «Социал-демократом», а поймали Дейча. Бисмарк выдал его царю. Так, кажется, было?

— Да, именно так. У вас превосходная память. Прошло уже пять лет, как Дейч в кандалах. Отважный хлопец.

— Хлопец? — с любопытством переспросил Энгельс.— Это, кажется, не русское слово.

— Так «освобожденцев» называют их друзья в Женеве. Действительно, «хлопец» — малороссийское слово, но оно в ходу и у русских.

— Хлопец — парень, юноша, не так ли? — поинтересовался Энгельс и записал что-то в тетрадь, лежавшую на столе.

Заговорили о делах международных.

— Мир напоминает закипающий закрытый котел,— сказал Энгельс,— который в конце концов должен все-таки взорваться. Франция счастливо избежала еще одной бонапартистской лихорадки. Первый приступ ее был с настоящим Бонапартом, второй — с лжебонапартом, третий — с личностью, которая не могла называться даже лжебонапартом, а была лжегенералом, лжегероем, вообще сплошной ложью и грязью. Согласен, Степняк?

— Конечно, Генерал. Вы правы. Говорят, юркий, как блоха, Буланже являл весьма комическое зрелище верхом на своем зловеще-черном рысаке. Самый пронырливый из претендентов на престол струхнул, когда надо было действовать самому, а не только по указке, и сбежал в кусты. Вульгарный проходимец.

— И однако, история даже с этим шарлатаном могла обернуться для Франции весьма трагически. Но кризис прошел, опасность миновала. Будем надеяться, что французский народ покончил с такими цезаристскими лихорадками навсегда. Прошла же чума на земле, чтобы больше почти не повторяться.

Ленхен позвала собеседников в столовую. Ее глубоко поразили подробности случившегося на Каре, и она принялась снова расспрашивать Степняка об этом.

— Какое упорство, человеческая гордость и какое отчаяние,— сказала она, выслушав подробный рассказ о гибели Сигиды и ее подруг.— И сколь сильное презрение к смерти.— Ленхен задумалась.

Если бы люди слышали шаги смерти, ее коварное приближение. Впрочем, несвойственная Ленхен тревога иногда охватывала ее. Она не могла дать себе тогда отчета, что это с нею. Любимые люди были здоровы, дела партии, которые всегда волновали Елену Демут, значительно улучшились. Казалось, вовсе не было причин для беспокойства и тоски, и, однако, от тревоги некуда было деться. Болезнь заметно развивалась, усилилась одышка, боли, слабость. Но ни разу Ним не пожаловалась Тусси или Энгельсу на свое здоровье. Наоборот, в ней появилась необъяснимая беспечность по отношению к себе. И чем дальше, тем больше внушала себе смертельно больная женщина, что ей лучше.

Странная особенность. Люди, слегка прихварывающие, подчас значительно преувеличивают и пугают себя постигшим их недугом. Они ходят по лекарям, принимают пилюли, пьют микстуры и постоянно ищут сочувствия у окружающих. А те, кого медленно убивает неизлечимая болезнь, не отдают себе в этом отчета, избегают лечения, трудятся сверх сил, пока не сваливаются, подсеченные смертью.

Ленхен по-прежнему ревниво относилась к работе и старалась поменьше нагружать ею приходящую помощницу. Она допоздна читала, стараясь побороть усилившуюся бессонницу. Ее руки всегда были заняты то штопкой и вязанием, то глажкой или стряпней. В седьмую годовщину смерти Карла она долго пробыла на могиле, которую давно привыкла считать пристанищем и для своего праха. Сны и мысли о далеком прошлом навещали ее все чаще. Она вспоминала день, когда в 1837 году впервые переступила порог дома Вестфаленов на Римской улице в Трире. Баронесса Каролина фон Вестфален обладала редкой остроты глазом. Она увидела, каким сокровищем была четырнадцатилетняя белобрысая девочка, поступившая к ней в горничные. Жизненный опыт помог баронессе понять, что редчайшими свойствами человека являются правдивость и верность. Их-то и открыла она у своей служанки и решила многому обучить ее в домоводстве. Когда Женни фон Вестфален вышла замуж, мать, назвав это лучшим из своих даров, отправила к дочери свою работницу и воспитанницу. И с тех пор Ленхен уже не обособляла себя от своих друзей Женни и Карла. Затем круг близких ей людей все расширялся. Она вошла в сре-

ду коммунистов, прониклась их тревогами и делами. Для детей Маркса Ленхен стала второй матерью, для Энгельса — преданнейшим и самоотверженным другом. Так прошло более пятидесяти лет. Ленхен состарилась. Но сердце, даже больное, не подвержено действию лет. Оно может вечно оставаться верным и любящим.

Женни Маркс умерла шестидесяти семи лет, и Ленхен часто вспоминала об этом. Ей было уже столько же. Не приближались ли ее сроки? Она в последнее время не задумывалась больше об этом. После трудового долгого дня ей хотелось отдыха, полного покоя. И подчас она только усилием воли заставляла себя двигаться. А быть в тягость другим казалось ей самым большим наказанием на земле.

Тусси слишком любила Ним, чтобы думать, как ей жить, если старушки не будет. Не будет Ленхен! Эта мысль была святотатственной. Дорогой человек не укладывается в понятие потери. Он вечен, поскольку каждый хотел бы умереть раньше, не пережив его. И деятельная, матерински добрая Ленхен без труда разгоняла зародившееся беспокойство у окружающих. Но она доживала последние месяцы своей жизни.

Энгельс, как всегда, был чрезвычайно занят, но так же пунктуален в переписке с единомышленниками и учениками. Вера Засулич порадовала его тщательно выполненным переводом на русский язык его статьи «Внешняя политика русского царизма». Он придавал большое значение русской дипломатии, этому мирному влиятельному воинству господствующего класса.

«С тех пор,— писал он в Женеву Засулич,— как существует революционное движение в самой России, ничего уже больше не удается когда-то непобедимой русской дипломатии. И это очень хорошо, потому что эта дипломатия — самый опасный враг, как ваш, так и наш. Это пока единственная непоколебимая сила в России, где даже сама армия ускользает из рук царей, о чем свидетельствуют многочисленные аресты среди офицеров, доказывающие, что русское офицерство по своему общему развитию и моральным качествам бесконечно выше прусского. И как только у вас появятся сторонники и надеж-

ные люди в рядах дипломатии — у вас или хотя бы у конституционалистов,— ваше дело выиграно».

Энгельс присоединялся к мнению Засулич о необходимости решительных выступлений против народничества.

«Совершенно согласен с Вами,— писал Энгельс,— что необходимо везде и всюду бороться против народничества — немецкого, французского, английского или русского. Но это не меняет моего мнения, что было бы лучше, если бы те вещи, которые пришлось сказать мне, были сказаны кем-либо из русских».

Приближалось Первое мая. Впервые в истории рабочие готовились выйти на улицу и требовать у буржуазии изменения условий труда и жизни. Энгельс и Эвелинги готовились к этому дню. Он должен был стать победоносным сражением и праздником во всех странах, чьи делегаты съехались в Париж в 1889 году на Международный социалистический конгресс.

Стояли чистые, светлые весенние дни. Зацвела вишня в садике подле дома на Риджентс-парк. Ленхен рано поутру шумно оповестила об этом Энгельса. Он встал, как всегда, в восемь часов и отправился полюбоваться трогательно нежным цветением, вызвавшим много воспоминаний о других ушедших веснах и садах. Радость и грусть смешались в его сердце. Неужели он прожил уже без нескольких месяцев целых семьдесят лет? Они так быстро пробежали. Энгельс сел на скамью и смотрел неотрывно на тонкое, прекрасно убранное цветами деревцо. Мысли набегали одна за другой, схлестывались и бушевали. Вспомнилась девушка, похожая на это деревцо, в пышном платье и прозрачном шарфе на оголенных плечах. Ему было тогда всего двадцать лет. То была его первая любовь. Но счастье оказалось кратким. Они разлучились вопреки его желанию. Отчаяние Энгельса было острым, он хотел смерти и в поисках забвения отправился путешествовать в Швейцарию и Северную Италию, где видел много чудесных пейзажей, любовался цепью глетчеров от Юнгфрау до перевалов Септимера и Юлия. Но ничто не освобождало его от тоски по любимой. На вершине Ютлиберга, в деревянном шале, где находилась таверна, Фридрих за стаканом вина и родниковой воды просматривал книгу, в которой гости оставляли свои записи.

Пошлость и глупость были увековечены в этом рукописном собрании признаний. Энгельс думал, насмешливо сощурив глаза и закусив полную верхнюю губу: «Каждый филистер считает эти памятные книги средством для своего прославления и пользуется случаем, чтобы передать потомству свое никому не ведомое имя и ту или другую из своих безнадежно тривиальных мыслей. Купцы стремятся доказать, что наряду с кофе, ворванью или хлопком в их сердце сохранено местечко для красавицы природы, которая создала все это и в придачу золото; женщины изливают в них потоки своих чувств».

С раздражением перелистывал молодой странник тетрадь и хотел уже закрыть ее, чтобы не видеть патетических излияний путешествующих немцев, французов и англичан, как вдруг на глаза ему попался сонет Петрарки на итальянском языке. Его вписал какой-то Трибони из Генуи, но Энгельс почувствовал в нем друга. Оба были безнадежно влюблены и покинуты.

Я поднят был мечтой к жилищу милой,
Та, что ищу я на земле напрасно,
Мне ласковой и ангельски прекрасной
Предстала в сфере третьего светила.

Дав руку мне, она проговорила:
«Нас здесь разъединить судьба не властна;
Я — та, что мучила тебя всечасно
И до заката день свой завершила.

Ах, людям не понять, как я блаженна!
Тебя лишь жду и мой покров, тобою
Любимый и оставшийся в юдоли».

Зачем она умолкла так мгновенно?
Еще бы звук,— и, прелестью святою
Пронзен, я б с неба не вернулся боле.

Переписав сонет, молодой человек болезненно ощутил свою первую любовную неудачу и вспомнил, что всего месяц назад испытал казавшееся ему теперь безбрежным счастье. Сердце его было израненным и опустошенным. А в горных долинах цвели серебристые нарциссы и вишни.

«И какая скорбь имеет большее право излиться перед лицом прекрасной природы, как не самое благородное, самое возвышенное из всех личных страданий — страдание любви?» — с такими мыслями, повторяя строчки из соне-

та великого итальянского поэта, Энгельс отправился дальше.

Как давно это было? Прошло почти полстолетия. Энгельс вернулся в свой кабинет и долго курил, глядя на стоявшую перед ним на столе веточку вишневого дерева в хрустальной вазе.

Настало Первое мая. К этому дню в Лондоне появились пунцовые гвоздики — эмблема Коммуны, цветок революции. Так как воскресенье приходилось на четвертое число, решено было назначить майскую демонстрацию в этот именно день.

Элеонора проводила дни на заводах, собирая рабочих, разъясняя им суть и цель знаменательного дня.

Особый комитет, состоявший из делегатов профсоюзов и рабочих клубов, разработал план шествий и опубликовал его.

В канун Первого мая Энгельс, Эвелинги, Ленхен и приехавший из Парижа Лафарг испытали немалую тревогу. Рождался праздник, символизирующий единение в борьбе, грозное предупреждение угнетателям и деспотам.

Союз рабочих газовых предприятий ратовал за восьмичасовой рабочий день, установленный, однако, не по личной воле отдельных хозяев, а правительственным законом. Реформисты хотели сами провести собрание, но народ не пошел с ними. Эвелинг получил у председателя комиссии по общественным работам разрешение на семь трибун в Гайд-парке, по числу организаций, давших согласие участвовать в параде.

«Это *наша первая крупная победа в Лондоне,*— сообщал Энгельс,— она доказывает, что *мы* теперь и здесь имеем за собой массы. *С нами пойдут четыре больших секции* Социал-демократической федерации... Весь Ист-Энд идет с нами».

Торжество превзошло все ожидания устроителей. Шествовало двести пятьдесят — триста тысяч человек, по преимуществу рабочих. Никогда островная столица не видела такого внушительного и вдохновенного парада. Колонны шли под музыку оркестров. Сотни знаменосцев несли красные стяги.

В Гайд-парке, на расстоянии ста пятидесяти метров одна от другой, стояли семь трибун.

Огромное поле посреди Лондона до отказа заполнил народ.

Энгельс, с красной гвоздикой в петлице, рядом с Элеонорой и Полем Лафаргом шел во главе процессии. Все они были в том состоянии, какое испытывают бойцы, когда после многолетних сражений и осады они наконец становятся победителями.

Многообразно людское счастье, но вряд ли бывает оно больше, чем когда мечта становится явью и достигнута цель.

«Чего бы я не дал за то, чтобы Маркс дожил до этого пробуждения: он так зорко следил за малейшими его симптомами именно здесь, в Англии! Сначала наша победа на выборах в Германии. И вот впервые после сорока лет вновь я слышу мощный голос английского пролетариата, так отчаянно и храбро боровшегося когда-то за хартию»,— думал Энгельс.

— Это и есть счастье,— пылко сказала Тусси,— ради таких дней во всех странах идут на бой, на смерть лучшие из людей.

— Я убежден,— продолжил уже вслух свою мысль Энгельс,— пролетариат, после некоторых колебаний, покончит с проявлением личного честолюбия, с соперничеством разных сект и поставит все и всех на свое место. Массовое движение всегда поднимает интернациональный дух.

Громкими рукоплесканиями сопроводил народ речь Элеоноры.

— Наша матушка выступает, слушайте.

— Наша матушка,— слышалось в первых рядах демонстрантов, где стояли газовщики.

После речи младшей дочери Маркса выступали также Эвелинг, Лафарг и Степняк-Кравчинский.

Русский революционер за всю свою жизнь не испытал большего волнения, чем когда стоял на грубо сколоченных подмостках, установленных на большой грузовой платформе, перед тысячами людей, жадно ожидавших его слов. Он сказал им о России и своей убежденности в скором объединении всех тех, кто трудится и кому должен принадлежать мир и право на счастье.

Покуда ораторы обращались к народу, Энгельс стоял рядом с ними на шаткой трибуне.

Он сошел с нее с высоко поднятой головой.

Вечером за ужином у Энгельса собралось много дорогих ему людей. Пришли Степняк и Фридрих Лесснер. Мо-

гучие плечи портного еще больше ссутулились, резче обозначились скулы, он заметно постарел, но по-прежнему молодо смотрели умные, глубоко запавшие, внимательные глаза.

Лафарг рассказывал о победе марксистов в Париже, о том, что Гед стал редактором их газеты «Комба».

— Мы с ним соревнуемся в работе, пытаемся доказать, что сон — это лень. Жюль исхудал, будто Дон-Кихот и конь Россинант одновременно, а я держусь.

— Естественно, пригодилась кровь чернокожей бабушки,— добавила Элеонора.

— Хотите ли вы узнать последние новости о Луизе Мишель?

— Еще бы,— заинтересовались все собравшиеся.

— Героиня Коммуны живет на окраине Парижа в Лаваллуа-Перре.

— О, да это дальнее предместье. Там, кажется, нет ни конок, ни извозчиков. Убогие, тихие улицы. Так? — вмешался в беседу Энгельс.

— Да, но на авеню Виктор Гюго есть высокие мрачные дома. Недавно я побывал у Луизы Мишель. Она живет под самой крышей. Крутая лестница, ведущая на шестой этаж, показалась мне бесконечной. Луиза редко выходит из дома.

— Но кто же заботится о ней?

— Хозяйка квартиры и ее молоденькая дочь. У Мишель бывает много посетителей.

— Ей ведь уже более пятидесяти, не так ли?

— Выглядит она не очень старой. Других таких проникновенных карих глаз нет на свете. У нее короткие, вьющиеся, сильно поседевшие каштановые волосы. И все тот же гордый, смелый нос.

— Как странно ты говоришь о носе,— удивилась было Ленхен.

— Английские писатели особенно старательно описывают рот, считая его наиболее характерной чертой человеческого лица, ну а мне бросаются всегда в глаза, во-первых, линии носа.

— Оригинально! Мы замечаем глаза, лоб, но не задумываемся о носе,— засмеялся Эвелинг.

— Замечу,— вмешался в беседу Степняк,— что великий Пушкин любовался красивыми ножками, а Лермонтов искал красивую форму носа на женских лицах.

— Все это тоже интересно, но речь шла о Луизе Мишель, однако,— вставил Лесснер.

— Да, конечно. Закончу вкратце ее портрет. В Каледонии она потеряла зубы, и от этого рот ввалился, но голос ее звучен и молод. Цвет лица у воительницы болезненный, щеки в красных прожилках. Когда я пришел к ней, в комнате было очень холодно. Мерзла не только сама Луиза, но и два ручных попугая, сидевших на шесте, а также обезьянка в фланелевой рубашке. Кроме этих приехавших из Каледонии существ, у Мишель есть небольшая сердитая собачка. «У меня,— сказала мне Луиза,— только что были две газетные корреспондентки. Они задали много в общем праздных вопросов и пожелали узнать, когда возникли у меня духовные стремления, руководившие всей моей жизнью. Но разве можно заметить час, когда идея берет в нас свое начало и где ее конец? Человек ведь не может довольствоваться только личной жизнью. Конечно, нет. Иначе он обречен страдать от скуки. Так естественно видеть себя частицей вселенной, не более, впрочем, атома. Но есть глупые личности, которые считают себя центром мироздания».

— Она всегда была не только мужественна, но и умна,— сказала Тусси.— А дальше о чем вы говорили?

— «Я люблю русских и немцев»,— сообщила Луиза Мишель. Она показала мне стихи, которые посвятила русским, и добавила, что немцы, как и славяне, ценят науку, а это поможет им в будущем.

— Проницательная женщина! — восхитился Лесснер.— А что она делает теперь?

— Недавно ездила на свою родину в Бретань. Собрала под вековым дубом крестьян и прочла им лекцию на социальную тему. Она основала общество жен моряков. Эти бедные женщины часто рано становятся вдовами и обречены с детьми на нищенское существование. Им подчас ничего не остается, как выпрашивать милостыню. Теперь морячки получат кассу и общество взаимопомощи. Вот все, что я узнал. Великая коммунарка не любит рассказывать о себе. Она живет не прошлым, а настоящим и будущим и старается по-прежнему приносить пользу людям. Характер у нее трудный, своевольный, великодушный и самоотверженный.

Ровно в восемь часов Ленхен позвала всех к столу. После овощного супа с мучными клецками она поставила

перед Энгельсом огромное блюдо с телячьей ножкой, пахнущей специями и политой дымящимся соусом. Вооружившись большим сверкающим ножом, хозяин дома принялся резать мясо и раскладывать его на тарелки. Энгельс делал это очень искусно и с явным удовольствием.

— Без мясной пищи, вопреки проповедям господ вегетарианцев,— начал он,— человек не мог бы стать человеком. Нам нет теперь никакого дела до того, что наши предки велетабы или вальцы еще в десятом веке поедали своих родителей. Прошу не корчить гримас. Даже мой достопочтенный, умнейший кот, с тех пор как его прапрародители начали питаться смешанной мясной и растительной пищей, стал тем, что есть, способным к планомерным и преднамеренным действиям. Я постоянно наблюдаю у своих кота и собаки акты хитрости, стоящие на одном уровне с такими же актами у детей. Употребление мясной пищи, припоминаю, привело к двум новым решающим достижениям: к пользованию огнем и приручению животных. А потому, друзья, прошу навалиться на это превосходно приготовленное мисс Демут блюдо, не позабыв о картофеле, огурцах и прочем гарнире. Не могу предложить вам вина, ибо, о ужас, я и отсутствующий, к сожалению, за этой трапезой мой верный друг Шорлеммер в одно и то же время вынуждены были уступить тирании эскулапов и стать поневоле строгими трезвенниками. Надеемся получить амнистию осенью. А пока свои полномочия в этом приятнейшем из дел передаю Лесснеру. Он все еще пьет пильзенское пиво цистернами. Но по части вин здесь нет более опытного дегустатора, чем Поль Лафарг. Он также мастер импровизировать тосты.

Закончив монолог, Генерал принялся за сочный кусок телячьей ножки.

Гости разошлись только в полночь.

...Работая над подготовкой четвертого издания своей книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства», Энгельс прочитал научные новинки. Ему попалась, в числе других, книга старого знакомого Ковалевского. Мысли о современных обычаях и древних законах России, высказанные этим признанным русским ученым-социологом, заинтересовали Энгельса.

Обычно каждую новую публикацию своих трудов Энгельс воспринимал как первопечатание и тщательно заново проверял, дополнял, исправлял замеченные неточности и огрехи.

В эти дни он узнал о смерти великого ученого, революционера-демократа, писателя Чернышевского. В письме к Даниельсону он тотчас же выразил свои соболезнования и скорбь по поводу этой утраты. Смерть вплотную подошла к поколению, к которому принадлежал и Энгельс.

— Чернышевский был на восемь лет моложе, и его уже нет,— сказал он Ленхен.— Надо торопиться.

— Но ведь ты так и делаешь.

— Недостаточно. Я не имею права умереть, не отдав людям все, что оставил им Маркс.

— Но и ты, очевидно, еще не все отдал людям. Мавр и ты, Генерал, равны. Вы как две одинаковые горные вершины.

— Нет, мне до Маркса далеко.

Ленхен устало махнула рукой. Спорить с Энгельсом было нелегко.

Закончив предисловие к четвертому немецкому изданию первого тома «Капитала», Энгельс вместе с неизменным Шорлеммером выехал на пароходе в Норвегию.

Поездка оказалась очень удачной. Оба друга, несмотря на преклонный возраст, сохранили юношескую любознательность, подвижность, острое восприятие жизни. В Тронхейме они с аппетитом и шутками бессмертных героев Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэля, отведали огромных омаров и запили их пивом. Затем отправились смотреть водопад. Они добрались до Нордкапа, где ели треску собственного улова.

Пять суток пароход двигался при непрерывном дневном свете. Настали белые ночи. Низкорослые лапландцы, люди смешанной расы, по мнению Энгельса, жили еще на три четверти в каменном веке. Опрятные, черноволосые человечки с монголоидными глазами очень заинтересовали путешественников. Они учились у них запрягать оленей и ловить треску, которую местные жители после улова складывали на берегу, как поленницу.

Вернувшись из Тромсё, Энгельс и Шорлеммер двинулись по норвежским городам и деревням. Как и в Америке, их удивил сугубо обособленный быт. На расстоянии

нескольких километров друг от друга жили хуторяне, отрезанные от всего мира. Возделанная ими земля, несмотря на окружающие скалы, могла бы прокормить не одну семью, а значительно больше ртов. Обитатели этих суровых мест красивы, сильны, находчивы, отважны и фанатически религиозны. Города показались Энгельсу разительно похожими на приморские германские и голландские.

Путешествие по зелено-серым гладководным шхерам оказалось чрезвычайно успокаивающим. Там господствовала глубокая тишина, и Энгельсу показалось, что даже самое маленькое альпийское озеро по сравнению с ними бурлит океаном. Высадившись в Молле, Энгельс с другом поднялись на вершину Мольдегай. Им повстречались немецкие лейтенанты флота, стоянка которого была внизу. Молодой германский император путешествовал в эти дни по Норвегии.

— Ба, дружище Джоллимейер, не в Потсдаме ли мы с тобой? Прислушайся к беседе этих немецких парней. Их остроты родились еще во времена царя Гороха. А вот и адмиралы, ну и нагуляли они себе жиру. Достойные королевские моряки. Зато матросы один в один, молодцы, их не стыдно показать в любом государстве. Кстати, я понял, почему молодой Вильгельм избрал для своего визита именно Норвегию. Здесь он может разыгрывать моряка, не рискуя заболеть морской болезнью.

На севере, в Свартисене, Энгельс уговорил Шорлеммера взобраться на глетчер.

— Бодрись, ты еще юнец, Карлуша. Тебе всего каких-нибудь пятьдесят шесть лет. Не притворяйся стариком, я все равно в это не поверю. Прибавь шагу, дружище. Посмотри-ка с крутизны. Мы отделены от моря только низкой мореной. Глетчер поднимается над уровнем воды всего на сто футов. Нам ровно ничего не грозит вплоть до семьдесят первого градуса широты, раз тут есть пиво не хуже немецкого.

— Оно в бутылках, черт возьми, а это уже не то, что из бочки,— отшучивался Шорлеммер, у которого, однако, непрерывно закладывало уши от перемены давления.

В Бергене друзья узнали о существовании социал-демократического товарищества, которое вызвало переполох в общественном мнении тем, что решило продавать в своем клубе пиво. Ханжи города, притворявшиеся трезвенниками и охотно поглощавшие у себя дома напитки куда

большей крепости, обрушились на социалистов с хулой и проклятиями.

На обратном пути в Лондон, снова на пароходе, Энгельс и его друг разговорились о виденном.

— Я восхищен природой и разочарован духовной культурой Норвегии, как это было и в Америке, этой новой стране обетованной,— сказал Шорлеммер. — Проклятый индивидуализм, он ослепляет и творит лицемеров. Признаюсь, я не этого ждал от страны Ибсена.

— Верно, дорогой Джоллимейер. В данное время Норвегия и Америка по своим природным данным являются основой того, что филистер называет «индивидуализмом». И все же за последние двадцать лет Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться за такое же время ни одна страна, кроме России.

Вернувшись домой, Энгельс принялся за ответы на многочисленные письма, которые пришли в его отсутствие или проездили в его кармане почти целый месяц.

Одному из своих берлинских корреспондентов он писал между прочим:

«...наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново...

...Одной из величайших услуг, оказанных нам законом против социалистов, было то, что он освободил нас от навязчивости немецкого студента с социалистическим налетом. Теперь мы достаточно сильны, чтобы вынести и этого немецкого студента, который снова очень уж заважничал... как мало среди молодых литераторов, связанных с партией, таких, которые дают себе труд изучать политическую экономию, историю политической экономии, историю торговли, промышленности, земледелия, общественных формаций... Самомнение журналиста должно все преодолеть, а этому соответствуют и результаты. Эти господа воображают, что для рабочих все годится. Если бы они знали, что Маркс считал свои лучшие вещи все еще недостаточно хорошими для рабочих, что он считал преступлением предлагать рабочим что-нибудь не самое лучшее!

К нашим рабочим, и только к ним... я питаю безусловное доверие. Как и всякой большой партии, им не избе-

жать в ходе развития отдельных ошибок, возможно даже и больших. Массы учатся ведь только на последствиях своих собственных ошибок, приобретая опыт на своей собственной шкуре. Но все это будет преодолено...»

Отвечая на вопрос барона Бёнигка, лектора Бреславльского университета, об особенностях нового, социалистического общества, Энгельс писал:

«Милостивый государь!

На Ваши вопросы я могу ответить лишь коротко и в общих чертах — иначе, чтобы ответить на первый вопрос, мне пришлось бы написать целый трактат.

1. Так называемое «социалистическое общество» не является, по моему мнению, какой-то раз навсегда данной вещью, а как и всякий другой общественный строй его следует рассматривать как подверженное постоянным изменениям и преобразованиям. Решающее его отличие от нынешнего строя состоит, конечно, в организации производства на основе общей собственности сначала отдельной нации на все средства производства. На пути осуществления завтра же этого переворота — речь идет о постепенном осуществлении — я не вижу совершенно никаких трудностей. Что наши рабочие способны на это, доказывают их многочисленные производственные и потребительские товарищества, которые там, где полиция не подрывала их намеренно, управлялись так же хорошо и гораздо более честно, чем буржуазные акционерные общества. Я не могу понять, как можете Вы говорить о невежестве масс в Германии после блестящего доказательства политической зрелости, которое наши рабочие дали в победоносной борьбе против закона о социалистах. Мнимоученое чванство наших так называемых образованных представляется мне гораздо более серьезным препятствием. Конечно, нам не хватает еще техников, агрономов, инженеров, химиков, архитекторов и т. д., но на худой конец мы можем купить их для себя так же, как это делают капиталисты, а если несколько предателей — которые наверняка окажутся в этом обществе — будут наказаны как следует в назидание другим, то они поймут, что в их же интересах не обкрадывать нас больше. Но за исключением этих специалистов, к которым я отношу также и школьных учителей, мы прекрасно можем обойтись без остальных «образованных», и, к примеру,

нынешний сильный наплыв в партию литераторов и студентов сопряжен со всяческим вредом, если только не держать этих господ в должных рамках...»

Отмена исключительного закона и перемена в тактике борьбы господствующих классов с пролетариями взбудоражили Германскую социал-демократическую партию. Разбушевались объявлявшие себя «левыми» неоперившиеся болтливые литераторы и студенты. Они бросили обвинение соратникам Бебеля и Либкнехта в том, что те защищают мелкую буржуазию. Когда в своей «Саксонской рабочей газете» они попытались объявить и Энгельса солидарным с их противниками, он воспользовался случаем и выступил против тех, кто безобразно, по его мнению, исказил марксизм. Это была гневная и насмешливая отповедь.

«Пусть же они поймут, что их «академическое образование», требующее к тому же основательной критической самопроверки, вовсе не дает им офицерского чина с правом на соответствующий пост в партии; что в нашей партии каждый должен начинать свою службу с низшей должности; что для занятия ответственных постов в партии недостаточно только литературного таланта и теоретических знаний, даже когда и то и другое бесспорно налицо, но что для этого требуется также основательное знание условий партийной борьбы и усвоение ее форм, испытанная личная честность и твердость характера и, наконец, добровольное включение себя в ряды борцов; одним словом, что им... в общем и целом гораздо больше надо учиться у рабочих, чем рабочим у них».

С пророческой проникновенностью Энгельс рассмотрел в этих краснобаях чужих людей. Многие из них вскоре, побушевав и навредив, ушли из партии и навсегда порвали с революционными идеями или же скатились к крикливому и губительному анархизму.

Но ни в коем случае, считал Энгельс, нельзя членов партии необоснованно преследовать.

«Не создавайте,— писал он Либкнехту,— без необходимости мучеников, покажите, что у вас царит свобода критики, и *если* уж необходимо кого-либо исключить, то только в тех случаях, когда налицо «открытые действия», на самом деле яркие и полностью доказуемые *факты* низости и предательства! Таково мое мнение».

Щедрый для социалистов 1890 год был полон впечатлений и для Элеоноры. Она встречалась с интересными людьми, обогатилась мыслями и наблюдениями. В больших делах растворились для Тусси семейные неурядицы с мужем. Увлекательные события в эту пору сблизили супругов. Будни часто превращались для них в праздники.

В октябре Эвелинги поехали на съезд Французской рабочей партии в промышленный городок Лилль. Они представляли английских социалистов и были восторженно приняты собравшимися. Элеонора огласила с трибуны приветствие от союза пролетариев газовых предприятий и чернорабочих Лондона. Звучный голос дочери Маркса заполнил зал и придал особую значительность тому, что она говорила.

— Дорогие товарищи. Мы, рабочие Англии и Ирландии, посылаем привет нашим братьям на материке, желаем им полного успеха и надеемся, что съезд будет содействовать тому объединению рабочих всего мира, которое одно только и может привести нас к окончательной победе.

Бурная овация была ответом на эти слова.

Не раз Тусси думала о том, что не ошиблась, посвятив себя революционной деятельности и отринув мысль стать актрисой. Общение с единомышленниками, революционное творчество, жаркие речи с трибуны, нужные людям, дали ей счастье.

Лилльский съезд обратился с посланием к рабочим двух континентов, выступившим 1 Мая с требованием восьмичасового рабочего дня и показавшим этим мощь нового Интернационала.

Было решено повторить в ближайшем году манифестацию в тот же день.

На одном из заседаний предстояло председательствовать Элеоноре. Об этом сообщили объявления, расклеенные на улицах. Увидев свою фамилию на плакате, Тусси испытала тягостное беспокойство, как будто ей надо было сдавать экзамен по самому трудному предмету. Мелькнула даже несбыточная мысль, не убежать ли заблаговременно. Едва передвигая ноги, шла она к зданию, где заседал съезд. Однако все прошло для нее как нельзя лучше.

После окончания съезда Эвелинг отправился в приморский городок Кале, а Элеонора, Гед и еще два фран-

цуза — в Германию, на съезд Социал-демократической партии в Галле.

Жюль Гед в обыденной жизни был беспомощнее младенца. Он отличался такой рассеянностью, что плутал на знакомых улицах и всюду запаздывал. Собранность мышления и поглощенность делами партии приводили к тому, что в повседневности он терялся, как в непроходимой чаще. Близорукость еще усугубляла эту особенность.

Тусси скоро убедилась, что ее попутчик нуждается в постоянной опеке. Два его товарища оказались такими же вдохновенными и мало приспособленными к житейским трудностям людьми, как и Гед. Последствия не замедлили сказаться. Тусси, смеясь, заявила, что ей легче было бы путешествовать с двумя грудными и полдюжиной детей постарше, чем с этими тремя бородатыми, исполненными благих намерений, но тотчас же все забывавшими в быту мужчинами. Они умудрились потерять билеты и, хотя в пути обязались бодрствовать, «проспали» Бельгию. В Кёльне Тусси усадила их в привокзальном ресторане завтракать и потребовала, чтобы они ей не мешали действовать самой. Она позаботилась о багаже и взяла билеты до Галле, но, покуда собирала на перроне своих попутчиков, поезд уже ушел. Пришлось снова менять в спешке билеты. Но и на этом не кончились дорожные испытания. На вокзале в Галле, несмотря на посланную ею, но, очевидно, не дошедшую телеграмму, спутников никто не встретил. Было уже очень поздно. Тусси смутно помнила адрес, сообщенный ей в Лилле. Но улицы, которую она назвала, там не существовало. Пришлось отправиться в первую попавшуюся гостиницу. Но и тут не обошлось без нового курьеза. Гед и его друзья уныло спросили у Элеоноры, нельзя ли им где-нибудь поужинать. За весь день из-за ряда происшествий они ничего не ели. Тщетно неутомимая Тусси пыталась достать хотя бы хлеба. Ей не повезло. Насытившись вдоволь смехом и шутками, все улеглись спать.

Съезд в Галле был триумфален. Он собрался вскоре после отмены исключительного закона против социалистов, стоившего стольких жертв и страданий немецким рабочим.

Представители Франции, Англии, Австрии и многих других стран прибыли в Германию поздравить едино-

мышленников. Пятьдесят пять приветственных адресов и двести пятьдесят телеграмм оглашены были с трибуны.

Вильгельм Либкнехт, счастливый, что дожил до победы партии, помолодевший и гордый, сделал, по мнению Тусси, превосходный доклад. Не обошлось, однако, без споров с противниками. Они потребовали от социал-демократов уступок буржуазии и сговора с представителями существующего в стране монархического строя. Соглашатель Фольмар пытался убедить делегатов съезда в добрых намерениях правительства, которое отменило исключительный закон и отныне стремится к истинной дружбе с социал-демократами в интересах всего народа. Критикуя марксистскую теорию государства, он проповедовал постепенное мирное развитие революции и отвергал борьбу.

— Я предлагаю начисто изменить тактику социал-демократии. Доброй воле, откуда бы она ни исходила, мы протянем раскрытую ладонь, злой воле — кулак! — закончил он свою речь.

Против Фольмара и его медоточивых посулов выступил Бебель. Гнев родит борца. Речь его была сокрушительной. Он напомнил, к чему ведет измена марксизму,— к гибели. Только верность идее и умелая тактика обеспечили отступление реакционеров и отмену закона против социалистов.

Бебеля и Либкнехта, проявивших в этот раз неустрашимость и твердость, поддержал съезд.

Было избрано правление партии, а газета «Форвертс» объявлена центральным органом социал-демократии. Порешили собраться на конгресс Второго Интернационала в следующем году.

— Приглашаю вас вместе со мной трижды воскликнуть: да здравствует немецкая, да здравствует интернациональная, освобождающая народы социальная демократия! — воскликнул, закрывая съезд, председатель.

И трижды зал повторил эти заветные слова и закончил их «Рабочей Марсельезой»:

Марш, марш,
Марш, марш,
Хотя бы на смерть!
Ведь недаром же
У нас красное знамя.

Фридрих Энгельс не позволил себе переоценивать достигнутое, чтобы не терять зоркости и не упустить времени для действия. Для полководца революционных войск, теоретика и стратега, все добытое было только захватом маленьких рубежей, подступов.

Удача в Галле его ободрила.

— Всю эту неделю мы были для прессы всего мира великой державой первого ранга,— говорил он друзьям с веселой улыбкой.

В разгар оживленных споров, партийных съездов, счастливого перелома в рабочем движении слегла, занедужив, Елена Демут. Энгельс внезапно понял, что она не просто занемогла, как это бывало нередко. Ленхен умирала. Сильных болей у нее не было, но для Фридриха открылась страшная правда. Его неизменный, добрый друг уходил навсегда.

Энгельс старался владеть собой, чтобы поддержать мужество в заподозрившей опасность Тусси. Врачи, которых он созвал, беспомощно разводили руками.

Грипп, осложненный воспалением легких, столь частые болезни в ноябре, когда над Лондоном повисали черные и желтые жгучие убийственные туманы, или что другое? Диагноз уже не имел значения. Больное сердце не боролось за жизнь, оно устало и просилось на полный покой.

Тусси и Энгельс не покидали комнаты Ленхен, где господствовала особая удручающая напряженность, сопутствующая ожиданию у порога родильного дома или операционной. Больная лежала, глядя широко открытыми глазами перед собой, совершенно безразличная к окружающему. Никто никогда не знал ее такой. Трудно было понять, о чем она думала. Лицо ее посвежело, и она выглядела совсем молодой.

«Нимми, не уходи, не оставляй нас!» — хотелось крикнуть Тусси. Чтобы не тревожить умирающую, она пряталась в алькове и там предавалась своей печали.

С Ленхен Демут уходили для Энгельса самые счастливые воспоминания, рвалась еще одна цепь, связывавшая его с Марксом. Рушились барьеры. Смерть приблизилась и к нему.

— Нимми, скажи что-нибудь,— попросил он. Но ответа не было.

Слезы полились из глаз Энгельса, когда замер последний вздох Елены Демут.

— Умерла, угасла. Совсем недавно была она на ногах, сохраняла энергию, приветливость. Жила ведь только для других, всю свою жизнь отдала людям. Ничего не хотела для себя... Самая скромная, верная, чистая, самоотверженная, праведная из женщин,— рыдая, твердила Тусси.

Поздно вечером Энгельс заперся один в своем кабинете.

«Мы прожили с ней в этом доме семь счастливых лет. Мы были двое последних из старой гвардии времен до 1848 года. Теперь я снова остался один».

Энгельс отложил письмо к Зорге и погрузился в скорбные раздумья. Видения прошлого надолго захватили его. В Брюсселе более сорока лет назад он впервые увидел румяную, недоверчиво рассматривавшую его исподлобья молодую деревенскую девушку.

«Кто бы мог тогда подумать, что она так от природы одарена, разумна, дальновидна. Какое поистине золотое сердце остановилось. Она была нам всем и другом и сестрой, а иногда и матерью. Сколько разумных советов в партийных делах получили мы, Мавр и я, от нее»,— думал Энгельс, шагая по комнате.

Горе не дает спать. Он вспоминал, как много дала ему дружба с Ленхен. В течение долгих лет Маркс, а после его смерти и он могли спокойно работать, не зная житейских треволнений, раздражающих бытовых помех. Неизмеримо добра и вместе сильна была Елена Демут.

В эту ночь, с четвертого на пятое ноября, Энгельс и Тусси так и не сомкнули глаз. Они снова воскресили, чтобы оплакать и почтить, многих дорогих им людей, которых, как и они, горячо любила покойная.

Через три дня раскрылась могила, в которой лежал прах Карла, Женни и их маленького внука. Раскрылась, чтобы принять еще один гроб, как того хотела жена Маркса. Тело Елены Демут погребли рядом с наиболее дорогими ей людьми.

На кладбище Хайгейт в сырой, унылый полдень собрались друзья и близкие усопшей. Пришел Лесснер. Из

Манчестера приехал сын Елены Демут, Фридрих, которого Тусси, считавшая Ленхен своей второй матерью, звала братом.

Раня сердца живых, в крышку гроба вонзились гвозди. Удары молотка прозвучали как грозное напоминание о всеобщности смерти.

Прежде чем опустили в землю гроб, не скрывая горя, заговорил Энгельс:

— Маркс частенько обращался к ней за советом в трудных и запутанных партийных вопросах. Что касается меня, то та работа, которую я оказался в состоянии выполнить после смерти Маркса, проделана была главным образом благодаря тому теплу и помощи, которую она внесла в мой дом, оказав мне честь своим пребыванием в нем после смерти Маркса.

Пока тело дорогого человека еще находилось рядом и похоронная суета отвлекала мысли об утрате и образовавшейся внезапно пустоте, Энгельсу было легче. Но, вернувшись с кладбища, он услышал не ухом, а сердцем ту оглушающую тишину, которая приходит в дом вслед за выносом, и понял, что никогда больше не услышит мягкий, с материнскими требовательными интонациями голос Ленхен. На лестнице не раздастся шлепанье ее туфель, как раньше, когда утром она спускалась в кухню. Энгельс вспомнил, как заразительно, раскатисто и громко смеялась старушка, радуясь приезду внуков Маркса, Лафаргов или появлению старых соратников — Либкнехта и Лесснера.

Энгельс думал о том, что близятся и его сроки. Эти же тяжелые мысли посещали и Тусси. Болезненно свыкаясь со смертью Нимми, она с ужасом думала о том, что может лишиться своего второго отца.

Ее, однако, успокаивало то, каким бодрым, деятельным, моложавым был Генерал. Наклоняясь над ним, когда он сидел в кресле, она не могла обнаружить седины в его каштановых волосах, хотя борода, растущая вкривь и вкось, слегка уже побелела.

— Если судить по твоей шевелюре, то ты моложе многих из нас. Редко кто так легко несет бремя лет. Ты бодр телом и душой и по-прежнему придерживаешься святого правила не обходить встреченные препятствия, а перелезать, перескакивать через них.

Настал большой праздник для всех социалистов и революционеров мира. Энгельсу исполнилось семьдесят лет. Эту дату отмечали на различных широтах планеты.

Двадцать восьмого ноября, в пятницу, над Лондоном занялся, как всегда в эту пору, поздний, хмурый день. Незадолго до этого на Риджентс-парк приехала, чтобы помочь Энгельсу спокойно работать, бывшая жена Каутского, Луиза. Она решила остаться работать домоправительницей и секретарем Энгельса, глубоко чтя его и понимая, как необходим этот человек всему миру. Нарушенный было смертью Елены Демут порядок, благодаря ее появлению, восстановился.

С самого утра в день рождения Генерала хлопала входная дверь. С почты доставляли десятки телеграмм и писем. В австрийском журнале «Социал-демократический ежемесячник» появилась статья Элеоноры Маркс-Эвелинг. Прочитав ее, Энгельс, чья скромность вошла в поговорку, осерчал не на шутку.

— Она выше всякой меры расхвалила меня...— досадовал он.— Верно только то, что борода у меня курьезно обращена в одну сторону.

Во всех социалистических газетах писали в этот день об Энгельсе. Чтобы обнять друга и руководителя всех революционных партий мира, в Лондон приехали Бебель, Либкнехт и Зингер. Они тотчас же получили прозвище трех волхвов. Кабинет Генерала был полон цветами и грудами подарков. Книги, письменные приборы, различные сувениры, нарядные адреса и, наконец, картины заняли все столы. Особенно хороши оказались жанровые полотна известного художника Рейнеке, поднесенные почитателем из Штутгарта. Энгельс, сам хорошо рисовавший и изучавший живопись, являлся тонким ценителем работ маслом, пастелью, углем и карандашом. Угодить ему было трудно. Однако подаренными произведениями Рейнеке он остался очень доволен. В них не было, по его мнению, никакой позы и все дышало подлинной жизнью.

Пир, как шутя называл Энгельс ужин в этот вечер, удался на славу. Луиза Каутская, Тусси и смышленая служанка достигли совершенства в приготовлении любимых Энгельсом блюд. Особенно вкусен был венский яблочный штрудель. Листы из теста, сделанные Луизой, казались тоньше папиросной бумаги, а начинка из яблок с изюмом напомнила всем благословенную Рейнландию.

Не хуже был и пудинг с коринкой. Шорлеммер и Лесснер отдали дань пиву, а Лафарг — густому бордо.

За едой было произнесено много тостов и зачитаны телеграммы с Востока и Запада. Растроганный Энгельс слушал их с улыбкой, но внезапно нахмурился, встал, поправил очки и сказал:

— Спасибо, друзья. Но истина прежде всего. Львиная доля тех почестей, которыми меня засыпали, принадлежит не мне, а Марксу. Никто лучше меня этого не знает. Разрешите мне поэтому почтить память Карла Маркса. Я только продолжатель его дела. Что же касается той небольшой доли, которую я могу без хвастовства отнести на свой счет, то я приложу все силы, чтобы быть достойным ее.

Русские революционеры также приветствовали Энгельса. Старый друг Энгельса, народник Лавров, прислал большое письмо с поздравлениями от себя и своих соотечественников. Плеханов, Засулич и другие женевские марксисты попытались высказать по телеграфу и в письмах свою преданность, преклонение и благодарность учителю и другу. Степняк сердечно обнял Генерала и не мог скрыть, как искренне и глубоко он счастлив, что узнал в своей жизни такого необыкновенного человека.

Когда молодежь принялась танцевать, Энгельс ласково положил руку на плечо стоявшего подле него русского:

— Что ж, дорогой Степняк. Вы молоды, поверьте, будущее щедро вознаградит вас за пережитое, но и мы, старики, кой-чем богаты. Чего только я уж не повидал на своем веку! Я, например, свидетель подъема, величия и падения не только Луи Бонапарта, но и Бисмарка. И не один, а много глиняных кумиров на моих глазах рассыпалось, превратившись в пыль. Хорошо бы дожить и до гибели нашего с вами общего врага — русского царизма. Это уже не за горами.

Прошел ноябрь. Энгельс не скоро закончил писать ответы на множество поздравительных писем от различных партий, газет и отдельных лиц. Выражая благодарность за лестное к нему отношение, он снова отмечал огромную роль Маркса в развитии международного рабочего движения, преуменьшая нередко свое значение.

Каждый день Энгельс диктовал Луизе Каутской или давал ей переписывать набело свои труды. Зрение его становилось все хуже. Два часа в день он занимался с

ней, как добросовестный учитель, химией, французским языком и латынью. После обеда наступал отдых, затем опять работа.

Перед сном, от 11 до 12 часов, Энгельс и его секретарша играли в карты. Раньше партнером Генерала была Ленхен. Монотонные карточные игры отвлекали его от серьезных мыслей и предотвращали бессонницу.

Когда хозяин дома уходил спать, Луиза еще долго занималась делами дома. На ней лежало, помимо секретарской работы, руководство всем хозяйством. Благодаря самоотверженности этой дельной, умной и отзывчивой женщины, несмотря на смерть Елены Демут, дни на Риджентс-парк двигались так же строго и размеренно, и Энгельса ничто не отрывало от его непрерывно увеличивающейся работы ученого и вождя.

Марксизм зарей поднялся над миром. В Забайкалье, в европейских странах, в Калифорнии и вплоть до Австралии, не страшась тюрем и виселиц, объединяясь в партии, боролись последователи учения Маркса и Энгельса.

После побега Бориса Ивушкина Анна Бах продолжала работать в сельской больнице в Арейском. Она была одновременно кастеляншей, сиделкой и фельдшером-самоучкой. Исчезновение врача, выехавшего с разрешения исправника в Красноярск за операционными инструментами и не вернувшегося обратно, всполошило полицейских. Сначала режим для поселенцев стал строже, но постепенно об Ивушкине позабыли. Ссыльные занимались ремеслами, учили детей, создали библиотеку, читали лекции крестьянам и сами занимались разными предметами. Анна в редкие свободные часы посещала Давыдовских, которые усиленно хлопотали в это время о разрешении выехать из Сибири. Девочки их подросли, и мать стремилась дать им основательное образование.

Село Арейское процветало. По воскресеньям местные богатеи вместе с представителями власти бессовестно запивали и дебоширили. Бойко торговал трактир на проселочном тракте, лихо проносились по улицам возки летом и саночки зимой.

Поздней осенью в больницу приплелся густо обросший по щекам и подбородку средних лет человек. Он пожаловался на нестерпимые боли в животе. Анна заставила его

обмыться в баньке, выдала исподнее белье и уложила на одну из свободных кроватей. Помня все, чему учил ее Ивушкин и заглянув на всякий случай в медицинский справочник, она решила напоить хворого касторкой, а позднее дать ему настоя из сухой черемухи. Оба лекарства отлично помогли.

— Слыхал я,— сказал ей выздоравливавший пациент,— что мучительней всего зубная боль, затем рези в животе, ну и ломота в голове тоже не легка. Сам я за всю жизнь никогда не болел. Даже в Алексеевском равелине, а уж какое там гиблое место, сами знаете. Плесень одна.

— Так вы ссыльный, свой брат, так сказать,— оживилась Анна.— Вы даже побывали в этом убийственном склепе. И долго там сидели?

— По правде сказать, я там не сидел, а служил.

Анна отшатнулась:

— Вы жандарм?

— Бывший. Я такой же политический ссыльный, как и вы. Слышали небось о деле шестидесяти восьми? Так вот я и есть один из тех унтер-офицеров. Не брезгуйте. Был связан с исполнительным комитетом «Народной воли». Передавал им записки и доставлял ответы. Учился шифру и, знаете, одолел эту премудрость. Что же вы с таким ужасом уставились на меня?

И Анна еще раз выслушала казавшуюся почти фантастической историю о суде над шестьюдесятью восемью жандармами, помогавшими Нечаеву выжить, связаться с народовольцами и готовившими его побег.

Нового знакомого Анны звали Федотом. Он умолчал, чтобы не показаться выхвалем, о том, как на свой небольшой заработок покупал заключенному еду, как заботился о нем.

— Этакий был человек особенный. Говорил, точно в душу нашу крестьянскую смотрел. Думы, чаяния народа постигал. Помню — не хотел я его слушать поначалу, так нет, заставил. Сущий был златоуст. Будто в одной со мной хате родился. Да, мужицкую долю он знал, а говорил, что родом городской. И когда нас судили, я не за себя болел, а за него. Без нас ему конец. Так оно и вышло. Сгноили, ироды, его в крепости. Без ножа зарезал его царь.

Федот часто захаживал к Анне. Тридцатипятилетний коренастый здоровяк работал в соседней деревне кузнецом

и жил в достатке. Анна начала учить его грамоте, особенно письму, в котором он был не силен. От природы сметливый, прилежный, Федот запоем читал и нетерпеливо тянулся к знаниям. Разбуженная душа солдата жаждала пищи для размышлений. И Анна радовалась тому, как быстро усваивал различные предметы ее случайный ученик. Она брала по выбору книги у Давыдовской, в сельской библиотеке, доставала их у других ссыльных. Бывший страж Алексеевского равелина удивлял ее трудолюбием и способностями к наукам. Анна нашла в нем вскоре преданного друга. Иное искреннее и глубокое чувство, зародившееся в сердце Федота, она решительно отвергала. С приближением весны Анна начала подумывать о свободе. Она была приговорена к вечному поселению. Спасти ее, вернуть к революционной работе мог только побег.

Вместе с Федотом однажды она отправилась в лес, чтобы запастись дровами для больницы. Мороз достигал сорока градусов. Под лучами солнца снег на лугу дивно блестел и казался то розовым, то синеватым. Заснеженные сосны высились скульптурными изваяниями, вызывая в памяти богатырей, вздыбленных коней, героев народных сказок, терема и зверей.

— Да ведь это ведьма ярится на лешего! — воскликала Анна.— А вот белый медведь!

Федот, не обладавший столь впечатлительным воображением, не видел того, что открывала его спутница в глухом таежном бору. Наконец они добрались до прогалины, где еще осенью навалены были баланы. Грузить их на сани оказалось нелегко, но Федот оправдал данное ему в селе прозвище Бовы-королевича. Дело спорилось, и скоро можно было трогаться в обратный путь. Анна, однако, задержала Федота неожиданным признанием, что собирается не позже конца мая отправиться на восток. На широком, свежем, курносом лице Федота появилась гримаса боли, затем недоумения и тревоги. Сам он был из Псковской губернии и мучительно тосковал по родителям — крестьянам, живущим бедно и трудно.

— Может, и вы со мной? — неуверенно спросила Анна, но тут же пожалела.

— Если б...— Федот не досказал. Анна догадалась. Он хотел сказать ей о том, что недостаточно учен и, главное, нелюбим. Молча они поехали в Арейское.

Когда вдали появились чуть видимые в сумерках купола и колокольня церкви, Федот заговорил:

— Я было хотел отговорить вас. Удастся ли уйти? Ведь вы женщина. Хотел, да раздумал. И решил — что в моей силе, все сделаю. Помогу, даже если голова за то долой. Не для такой жизни вы родились.

С этого дня, помимо усиленных занятий по русскому языку, арифметике и чтения различных запрещенных революционных книг, Анна и Федот принялись обсуждать тайный план.

Анна хорошо знала несчастливые побеги с Карийской каторги и рассказала Федоту, как политические каторжане решили вырваться на свободу с помощью подкопа длиной в десять саженей. Но сразу же они натолкнулись на слой вечной мерзлоты. Рыть пришлось по ночам, лежа на животе. За час работы удавалось углубить проход только на полвершка. Труд этот был поистине каторжный. Но жажда воли восстанавливала их силы. Надзиратели ежечасно могли обнаружить подкоп, и карийцы изменили первоначальный замысел. Неподалеку от тюремной стены находилась мастерская, крытая тесом. Решили бежать через пролом потолка. На работу заключенных приводили под конвоем. Но никто не проверял ящиков, стоявших под койками арестантов и служивших для личных вещей. В них-то товарищи перенесли в мастерскую беглецов. С крыши на землю они должны были спуститься по веревке. Нелегко оказалось усыпить бдительность часового, постоянно ходившего вдоль тюремной стены. Но и это препятствие преодолели. Первыми в ящиках вынесли Мышкина и Минакова, и ночью они благополучно выбрались на волю. На их постелях долго лежали чучела, которые обманывали стражу во время проверок. Однако позднее оба беглеца, как и четверо их товарищей, пытавшихся спастись с каторги, были пойманы и жестоко наказаны.

Бежать с вольного поселения казалось несравнимо проще, и Анна надеялась на успех. Сестра прислала ей достаточную сумму денег, а Федот, пользовавшийся, как отличный мастеровой, большими льготами у местного исправника, съездил в Красноярск и привез ткани, из которых Анна вместе с Давыдовской принялась шить себе различную одежду. Доверенные друзья по ссылке добыли

Анне фальшивый паспорт на имя купчихи Ляпуновой из Тюмени.

Близился день, который мог либо открыть Анне новые дали, либо же вернуть ее в тюремный каземат. В канун побега Анна была необычно весела и деятельна.

— Раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния, и желает искренне, всей душой, такое желание не может оказаться безуспешным. Это слова Петрарки,— сказала Давыдовская и обняла на прощание подругу.

Поздней ночью Федот на телеге увез Анну из Арейского. Врач из поселенцев объявил в селе, что его помощница занедужила и слегла. Нужно было скрывать исчезновение ссыльной как можно дольше. И это удалось.

Спустя несколько недель то на телеге, то пешком или пароходом, казавшаяся всем потешною и глуповатой госпожа Ляпунова благополучно добралась до Хабаровска.

Там у Анны Бах была явка, где ей должны были помочь. Предстояло брать самые трудные и опасные барьеры. Хозяин конспиративной квартиры оказался надежным бывалым человеком. Он посвятил Анну в свое прошлое. В шестидесятых годах, в подпольной типографии, он набрал одну из нашумевших бунтарских статей Писарева и за это поплатился несколькими годами жизни, получив каторгу. В течение нескольких десятилетий был он затем ссыльным поселенцем. Предприимчивый мастер на все руки, неуемный следопыт и старатель, он нашел в непроходимой чащобе, близ реки Лены, золотой прииск и стал управляющим золотопромышленной компании. Влиятельные акционеры своим ходатайством и поручительством добились возвращения ему всех прав. Но и разбогатев, бывший революционер не изменил своим взглядам и отдавал большую часть денег на тайную революционную пропаганду. Ему и была обязана Анна тем, что ее не обнаружила полиция, когда из Арейского в пограничные города поступили сведения о побеге.

В течение месяца Анна скрывалась в Хабаровске, покуда горячка поисков бежавшей с поселения государственной преступницы Бах не прошла.

Анна жила в изнуряющем ожидании. Не раз уже, как это было во Фрейбурге, ее надежды жестоко разбивались. Она готовила себя к худшему, к возвращению в острог. Так было уже со многими, тщетно пытавшимися спастись из заточения.

Будь что будет! Анна дерзнула. В ссылке она старалась приносить пользу нуждающимся в этом, но ее манила борьба, участие в большом революционном деле. Колебания в выборе путей давно для нее прошли. Раздумья в одиночном заключении, участие в карийском бунте, чудом сохранившаяся жизнь после того, как вместе с Сигидой и ее подругами и она приняла яд, беседы с Давыдовской, дружба с Ивушкиным и книги, как путеводные звезды, привели Анну к учению Маркса и Энгельса. Вера Засулич была права, советуя ей найти ответ на все сомнения у самой жизни.

Иногда по вечерам Анна выходила тайком погулять по незнакомым улицам. Хабаровск раскинулся на высоком и крутом утесе. Две омывающие его реки, Амур и Уссури, были могучи и неспокойны. Однако город напоминал Анне огромную казарму не только из-за однообразных казенных построек, но и потому, что его населяли в большинстве военные.

Один из нарядных, без меры украшенных лепными орнаментами особняков принадлежал управляющему водочными заводами Емельянову. Анна некогда переписывалась с ним, когда он находился в мужской каторжной тюрьме на Каре и слыл там отчаянным бунтарем, участником заговора на цареубийство.

Но по-разному складываются человеческие судьбы. Емельянов, как и хозяин всех водочных дальневосточных предприятий, бывший член «Черного передела», Пьянков, раскаялся, повинился и заслужил не только полное прощение, но и вошел в доверие генерал-губернатора и петербургских властей. Пьянков спаивал местных жителей, обменивая у них на водку пушнину, и богател вместе со своим управляющим. Предавшие славное свое прошлое революционеры слыли в Хабаровске людьми умными, образованными, полезными.

Анна много думала в своем вынужденном уединении о Пьянкове и подобных ему людях.

Революционный вихрь подобен буре, что проносится над землей, вздымает валы, испытывает на прочность скалы. Камешек, листик взлетает на миг к облакам и падает, чтобы исчезнуть навсегда в пыли или грязи. Волшебное круговращение! Мечта не для всех превращается в действие. Многие грезят всю жизнь, не вставая с лежака. Иные бросаются, как дети, к огню, обжигают кончики

пальцев и с тех пор боятся всего, что блестит. Другие избирают дорогу борьбы, считая ее путем к славе и процветанию. Разные бывают цели, а тропинки к ним схожие. Одних несправедливость толкает к правде, а иных — к кривде. На Каре позор телесного наказания, даже одна мысль о нем вели к смерти, но есть кнутолюбцы, для которых розга — просветительница. Лучшие, те, кто окрепнув в боях, ничего не страшатся, и в аду становятся ангелами.

Приближался день, когда Анну должны были переправить через границу. Сначала ей пришлось добраться вместе с верным единомышленником, под видом его жены, до Владивостока. Этот портовый малонаселенный городок навсегда запомнился ей залитым солнечными лучами, освеженным океаном. Города, как люди, настораживают либо располагают к себе, окрыляют или подавляют.

Наконец Анна очутилась на пароходе, идущем в Нагасаки. Когда на палубу вошли пограничные чиновники и начали проверку паспортов, она испытала в последний раз унизительное чувство страха, но документ ее, третья подделка со времени отъезда из Арейского, не вызвал никаких подозрений. Распростившись с тем, кого она сердечно назвала братом, Анна вошла в свою каюту, когда судно уже отчалило. После шести с лишним лет она вновь распоряжалась собой и была совсем свободна.

Берега России исчезли. Беглянка была вне опасности. Через пять дней пароход бросил якорь близ Нагасаки. Судно в Сан-Франциско отправлялось не скоро. Устроившись в гостинице, где вся прислуга говорила по-русски, Анна отправилась в город. Чистые, обильно поливаемые водой улицы были так узки, что по ним с трудом проезжали две запряженные людьми коляски. Все в этом порту, даже дома и буддийские храмы с изваяниями Сакья-Муни, казалось Анне хрупким, придуманным, как декорации. На всем была печать древней своеобычной культуры, вовсе не сходной с европейской.

Путешествие на огромном американском пароходе, в каюте третьего класса, оказалось мучительным. Дурно приготовленная и еще хуже сервированная пища, душное помещение на шесть мест в три яруса, узенький закуток для прогулок. Пассажиры первого класса имели бассейн, площадки для игр и просторную палубу.

Плавание длилось больше трех недель.

Один из прекраснейших городов земли, Гонолулу на Сандвичевых островах, в гавани которого двое суток простоял пароход, показался Анне созданием фантазии. Но из рассказов своих спутников она узнала, что после открытия этого архипелага прославленным путешественником Куком, за сто с небольшим лет господства выходцев из Соединенных Штатов на всех этих благодатных островах из четырехсот тысяч местных жителей осталось менее двадцати. Опустошительным вихрем явилась также и проказа, которую до появления американцев здесь не знали.

В Нью-Йорке, оглушившем и подавившем Анну стремительным движением экипажей, трамваев и потоком прохожих, она пробыла только несколько дней, торопясь в Ливерпуль.

Англия. В мечтах она видела себя на пороге дома Энгельса. Но, узнав, что Степняка-Кравчинского и его жены нет в Лондоне, она не набралась смелости сама отправиться к человеку, которого без малейших колебаний считала самым великим из живущих на земле и наиболее нужным для человечества. Так и не побывав на Риджентс-парк, Анна Бах отправилась дальше, в Женеву, откуда около семи лет назад пустилась в странствие по семи кругам ада.

— Анна! — всплеснула руками жена Плеханова. Истекшие годы резко изменили бывшую каторжанку, но они не прошли бесследно и для Розалии Марковны. Изнурительная работа врача, постоянная нехватка денег и заботы о часто хворающем муже и трех детях заметно состарили ее.— Милая Анна, вырвалась, бежала? Подвижница! Вот счастье. Какой сюрприз для всех наших!

Из соседней комнаты доносилась оживленная беседа.

— Александр Третий предпочитает скакать не на коне, а на кнуте. Это испытанный в России вид транспорта, но сейчас на нем уже далеко не уедешь.

Анна узнала резкий, властный голос Плеханова.

— Конечная станция близка,— вторглась в разговор Засулич.

— Внимание. Готовьтесь к радостной встрече. Виват! — объявила Розалия Марковна.

— Хлопцы, чудо! Да ведь это наша Анна! Наперекор стихиям... Ура!

— Нашего полку прибыло. Не так ли? — целуя Анну, спросила Засулич.

— Да,— многозначительно ответила Анна.

Мистер Джон Котсберри не любил вспоминать свое прошлое.

— Назад оборачиваются лишь те, у кого нет ничего впереди,— часто повторял он.

Котсберри долго жил в бедности, работая грузчиком в одном из вест-индских доков. Тогда он постоянно завидовал сытому коту Бэрри, благоденствующему в припортовом трактире Чарли Брауна. Но судьба Джона резко переменилась после победы докеров в стачке и создания профсоюза. Природа скроила Джона по-особому. Детина почти двухметрового роста, с широкими вислыми плечами и на редкость зычным голосом производил внушительное впечатление на рабочих. Его избрали секретарем, а затем и главой профессионального объединения. Он начал получать приглашения на обеды к парламентским воротилам и нравился им угловатостью жестов и мнимой смелостью грубоватых речей. Вскоре Котсберри купил себе домик и поместил сына в дорогой колледж. С этого времени Джон перестал хулить порядки, установленные в Англии консерваторами, не порицал более позора колониального угнетения, и если иногда подтягивал еще гимн чартистов, то затем обязательно пел с душой «Боже, спаси короля».

— Юлит и кружится, как веретено. Метит в пэры и, чего доброго, получит-таки титул,— поговаривали рабочие, поднявшие его силой своих голосующих рук.

— Что произошло с грузчиком Котсберри? — спрашивали у Элеоноры.— Куда делось его мужество, преданность рабочему делу?

— Так ведь он купил маленький коттедж, а мечтает о большом. К тому же ему хочется бывать при дворе,— отвечала с умной улыбкой дочь Маркса.

Она знала Джона другим. Он был тогда неустрашим и выносил с трибуны беспощадные приговоры существующему строю. Теперь он призывал к благоразумию и терпению, повторял изречения Библии, подражая церковным проповедникам, и предлагал мир между классами. Ко-

рыстолюбие его возрастало, по мере того как он становился зажиточнее. После долгого вдовства мистер Котсберри повел под венец дочь преуспевающего чиновника, немолодую женщину, весьма религиозную и ехидную, прозванную теми, кто ее знал, молящейся коброй.

Котсберри не был исключением, и это тревожило Тусси. Она наблюдала подобные перевоплощения среди тех, кто ступил на путь сговора с буржуа.

У Эвелингов были обширные знакомства среди рабочих и общественных деятелей, литераторов, артистов, ученых и учащихся, прогрессивных чиновников, сочувствующих социалистам, представителей среднего сословия.

Лондон кишмя кишел различными социальными и особенно религиозными сектами, насчитывавшими менее десятка адептов, а подчас вовлекших в свой мутный круговорот немало наивных неудовлетворенных душ.

В самом конце восьмидесятых и начале девяностых годов в английской столице появилась и привлекла к себе внимание русская дворянка, кузина видного государственного деятеля, обласканного Александром III, министра графа Витте, госпожа Блаватская, подписывающаяся псевдонимом: Радда-Бай. Она создала религиозно-мистическое теософическое общество, президентом которого стал американец Олькотт, личность столь же авантюристическая, как и его покровительница, чья биография напоминала бурную жизнь Калиостро.

Происходя по бабушке от древнего и знатного рода, Блаватская начала с того, что вышла замуж за эриванского вице-губернатора, бросила его и, сойдясь с капитаном английского судна, убежала с ним в Константинополь. Там она стала наездницей в цирке и вела разнузданный и полный всевозможных любовных приключений образ жизни. Пресытившись этим, она пленила одного из известнейших певцов, который гастролировал в турецкой столице, и, выйдя за него замуж, отправилась в турне по Европе.

Никогда серьезно не учившаяся музыке, она, однако, давала концерты и как пианистка пользовалась успехом в концертных залах городов мира.

В шестидесятых годах тридцатилетняя, жирная женщина, предпочитавшая всякой иной одежде замызганные капоты, с огромными ярко-голубыми, колючими глазами, рассказывающая на страницах газет о себе самые фан-

тастические истории, стала ученицей известнейшего спирита Юма. Внезапно она появилась в Белграде и стала там хормейстером капеллы короля Милана. Из Сербии Блаватская вернулась в Россию и в Тифлисе законодательствовала на светских вечерах, устраивая спиритические сеансы. Она заставляла вертеться столы и тарелки, вызывала духов и предсказывала будущее, ловко одурачивая всех, кто ей верил. Фельдмаршал Барятинский, наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков и вся их свита ночи напролет занимались спиритизмом. Последовательница талантливого шарлатана Юма переняла тайны многих фокусов и гипнотическую силу внушения, которой широко пользовалась. Сойдясь снова со своим вторым мужем, оперным певцом, Блаватская, к огорчению своих адептов, исчезла из Тифлиса. И снова эта странная женщина, чья демоническая энергия и воля были достойны удивления, начала кочевать по свету, меняя профессии.

В Одессе ее знали как владелицу фабрики чернил и цветочного магазина, в Англии и Франции — как выдающуюся музыкантшу и писательницу. Ее книги под псевдонимом Радда-Бай раскупались. Она отлично говорила на многих языках; обладая точным чувством поэзии, писала стихи и статьи о предмете, который едва знала. Окружив свою биографию густой завесой лжи, она лгала, глядя в глаза собеседнику, с такой искренностью, как будто никогда не отступала ни на шаг от правды. Ее влияние на людей, склонных к грубому мистицизму и не имеющих мужества осознать, что смерть заканчивает для них все, было огромным. Она убеждала слабых в их дальнейшем существовании за гробом, и они пытались верить в этот сладчайший утешительный обман.

Из России Блаватская, через Европу, отправилась в Египет. Недалеко от Александрии пароход, на котором она плыла, потонул. Не умевшая плавать спиритка была спасена мужем, который сам при этом погиб. Выйдя на берег без гроша, она скоро превосходно устроилась в Каире, но непоседливый нрав гнал ее дальше. В Индии она поселилась в Бенаресе и принялась за учение йогов. Вернувшись оттуда, Блаватская основала теософические общества в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Она попыталась хитро соединить несоединимое — науку с мистической, ею придуманной религией — и проповедовала откровение с помощью спиритизма как источника богопознания. Сре-

ди зажиточных англичан появилось немало ее поклонников.

Блаватская стала желанным гостем в высшем свете и небезуспешно попыталась влиять на политику через своих последователей. В России крайние реакционеры, такие, как Катков, превозносили новоявленную пророчицу, и все чаще в гостиных столичной знати собирались спириты, чтобы вертеть столы и вызывать на собеседование души давно умерших людей. Блаватская окружила себя фанатически преданными ей людьми. Однако хваставшаяся тем, что познала все тайны загробной жизни, могущественная как черт, она не сумела предугадать часа своей собственной смерти и скончалась в пору наивысших своих удач.

Ее преемницей стала в среде теософитов неистовая Анна Безант, которую Тусси знала с самой худшей стороны.

Энгельс горевал, что Мавр не дожил до зримых побед, одерживаемых в эти годы братьями по идее в Англии, Германии, Франции, России, Австро-Венгрии, где под знамена социал-демократии встали мадьяры, немцы, румыны, сербы и словаки, образовав крепкую ветвь Интернационала. Было чему радоваться. Мощное воинство двигалось на капиталистов, и полководец видел конечное сражение и торжество победы. Но, как всегда на войне, не все ладилось подчас и в самой рати.

Даже Август Бебель был склонен иногда поддаваться иллюзиям и надеяться на мирный союз пауков и мух. Жизнь высмеивала и топтала подобные мечты. Бебель быстро трезвел. Прямодушный и преданный рабочему движению, опытный политик и широкообразованный человек, он давно полюбился Энгельсу. Либкнехт тоже, как бы ни спотыкался и ни плутал, возвращался и действовал, как надлежало борцу из марксистского стана. Не то было с Каутским и Бернштейном.

Есть странная закономерность в поведении некоторых политических вожаков в истории революций. Подчас они меняются под воздействием мощных событий или сильной и одаренной личности, но только на время. Так опаленный огнем молнии песок становится иногда прозрачным стеклом, оставаясь очень хрупким.

Первое впечатление о Каутском сложилось у Энгельса и Маркса весьма неблагоприятное. Оба они тотчас же заметили его утомительное самомнение, которое всегда служит роковой помехой для настоящего, всеобъемлющего развития личности, его беспомощность в материалистической диалектике, лицемерие и душевную сухость.

— Прирожденный педант и схоласт, который, вместо того чтобы распутывать сложные вопросы, запутывает простые,— сказал Энгельс, узнав Каутского поближе и тревожась о том, куда может завести он доверившихся ему товарищей.

Редактор немецкой газеты «Социал-демократ», издававшейся в пору исключительного закона в Цюрихе, Эдуард Бернштейн некоторое время, особенно на расстоянии, тоже казался Энгельсу надежным марксистом с широким политическим кругозором. Но постепенно пришло разочарование. Коренастый и с виду мужественный, Бернштейн обладал плоскодонной расчетливой душой.

Самонадеянный и тщеславный, он старался по всякому поводу действовать помимо, а то и вопреки Энгельсу, называя это отстаиванием своей самостоятельности. Только умные, великодушные, чистосердечные люди берут большими пригоршнями и умеют ценить то, чем щедро делятся с ними личности более значительные. Чувство благодарности присуще немногим.

Одним из источников реформизма в германской социал-демократии было лассальянство, опасное тем еще, что предстояло принять новую программу партии.

Гениальное не теряет своего значения во времени. Зная это, Энгельс предложил опубликовать бессмертный труд Маркса «Критика Готской программы» в теоретическом журнале германской социал-демократии «Новое время». Этим он стремился добиться ясности и единства в коренных вопросах — о государстве, о диктатуре пролетариата, о буржуазной демократии.

«Она делает невозможной всякую половинчатость и фразерство в будущей программе»,— решительно думал он, подготавливая работу Маркса для журнала.

Маркс в «Критике Готской программы» вконец уничтожал иллюзии последователей давно умершего Лассаля, сблизившегося некогда с Бисмарком, и объяснял, что такое диктатура пролетариата и переход общества к коммунизму.

Но такой силы взрывной заряд таился в гневном и пророческом документе, что предложение Энгельса вызвало сопротивление у части колеблющихся руководителей партии.

Раскрылась истинная сущность Каутского и некоторых его единомышленников.

Только угроза Энгельса напечатать гениальный, провидческий труд Маркса в Вене принудила Каутского опубликовать его в редактируемом им журнале.

«В № 17 «Neue Zeit» появится нечто вроде бомбы,— писал Энгельс за океан другу Зорге,— критика Марксом проекта программы 1875 года. Ты будешь обрадован, но кое у кого в Германии это вызовет гнев и возмущение».

Так оно и случилось. Неумирающие слова Маркса вызвали панику и растерянность у одних, негодование у других. Но в самой партии работа Маркса была принята с большой радостью и одобрена социалистами многих стран.

Во всех передовых партиях мира Энгельс был признанным вождем, не менее дорогим и влиятельным, чем его покойный друг. Даже лютые враги отдавали должное его уму и таланту. И все же именно в родной Энгельсу немецкой социал-демократии попытались пересмотреть Марксово учение и восстановить культ Лассаля. Более того, журнал «Форвертс» напечатал статью, очевидно принадлежавшую перу Либкнехта, который, как это было уже не раз, подпав под влияние реформистов, невразумительно оповестил мир, что германские социалисты вовсе не марксисты и не лассальянцы, а просто социал-демократы. Защищая основы принятой в Готе программы, которую яростно уничтожил в своей «Критике» Маркс, автор статьи отстаивал воззрения, чуждые марксистской науке о революции.

Энгельс не удивлялся, когда обнаруживал приспособленчество, трусость, расчетливость в людях. Не всякому дано пронести по жизни чистый свет души. Быть верным идее трудно, когда она обрекает на опасности, унижения, безвестность, а то и гибель. Подобно Марксу, Энгельс любил трудности и препятствия. Встречая рискованный барьер на пути, оказавшись в неравной схватке на поле боя, как это часто бывало в пору революции 1848 года, перед головоломной стратегической задачей, в пылу спора

он ощущал прилив новых сил и рвался вперед, чтобы, все преодолев, победить.

Учение о научном социализме, которое вместе с Марксом он создал, нашло в нем не только творца, но и бдительного воина. Видя, что одной бомбы, столь мощной, как «Критика Готской программы», оказалось недостаточно, чтобы остановить сторонников реформизма, Энгельс послал новый снаряд, свое «Введение» к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции». В этой статье он разбивал сторонников суеверного почтения к буржуазному государству и властям предержащим, которое оказалось присущим не только буржуазии, но и отдельным рабочим. Энгельс подчеркнул, что государство — это машина для подавления одного класса другим и для демократической республики является, по сути, тем же, чем и для монархии. Соединенные Штаты служили тому ярким примером. Там, по мнению Энгельса, банды политических спекулянтов, попеременно забирая государственную власть, эксплуатируют ее ради грязных целей самым бессовестным образом.

Отступническим надеждам на то, что буржуазное государство постепенно врастет в социализм, Энгельс противопоставил судьбу Парижской коммуны.

«...рабочий класс,— писал он,— дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него, машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время».

Многочисленные товарищи по партии восторженно приветствовали выступления Энгельса, в то время как другие не скрывали своего раздражения. Это мало обеспокоило Энгельса. Он ощутил, что подобные булавочные уколы не способны пронзить его хорошо дубленную, выносливую кожу.

Энгельс, словно бессменный часовой, стоял на страже знамени, поднятого им и Марксом над миром. На всей планете горели революционные костры, и никто не мог потушить это пламя. На земле, вспоенной кровью невинных, быстро вырастают мстители. В России и Бельгии,

Италии и Венгрии каратели нападали на первомайские демонстрации, преследовали забастовщиков, бросали в тюрьмы социалистов.

Рабочие Соединенных Штатов Америки прислали несколько тысяч долларов бастовавшим печатникам Германии. Интернациональная помощь помогла французским пролетариям города Кармо добиться уступок от хозяев. Одиночество и обособленность рабочих навсегда кончились. Деяния Первого Интернационала, семена, брошенные им, густо взошли. Хотя французские поссибилисты, английские и бельгийские реформисты всячески пытались расколоть и повести за собой рабочее движение, им не удалось противостоять созыву Второго Международного социалистического рабочего конгресса.

Энгельс знал, что политическая борьба, как любое сражение, может внезапно обернуться разрушительным бедствием, старался сберечь силы своего воинства и добыть ему победу.

Видя, как ловко оппортунисты срывают невыгодную для них международную встречу рабочих и стремятся, как это было раньше, созвать свой особый съезд, Энгельс предложил слияние двух конгрессов на строго определенных условиях. Он был убежден, что колебания многих делегатов на таком форуме будут развеяны его единомышленниками. Энгельс отмечал, что если удастся объединиться, то на турнире идей французские марксисты легко докажут ошибочность взглядов поссибилистов.

Когда была достигнута договоренность о слиянии, Энгельс решил собрать на предстоящем конгрессе как можно больше сторонников учения Маркса.

В марте 1891 года появилось первое воззвание о созыве конгресса в Брюсселе, на который приглашались все, без исключения, рабочие и социалистические партии, объединения и группы.

Второе вече нового Интернационала открылось в тихом, благонравном Брюсселе светлым августовским утром. Представители пятнадцати стран, гости, журналисты не уместились в зале Народного дома. Пришлось перенести заседание в большее помещение. Руководитель французских поссибилистов Брусс не приехал, так как понял, что проиграл политическую игру, не явился из Англии и пронырливый Гайндман. Самой многолюдной была делегация Бельгии, но ее руководители, желавшие пра-

вительственных реформ, а не революционной борьбы, так и не осмелились выступить.

От России не было ни марксистов, ни народовольцев. В присланном докладе, написанном заболевшим и оставшимся поэтому в Женеве Плехановым, говорилось:

«Мы расчистили почву для научного социализма... Мы поставили себе обязанность покрыть всю Россию сетью рабочих обществ... До того момента всякое представительство русской социал-демократии было бы фиктивно».

На следующий конгресс русские товарищи обязались прислать представителей пролетарских организаций своей родины.

Цель Энгельса, поставленная перед единомышленниками, была четкой и ясной: конгресс, объединивший представителей различных рабочих организаций, должен дать отпор анархизму, остановить соглашательство, помочь профсоюзам и другим пролетарским обществам сделать шаг вперед к марксизму.

Энгельс был неистовым, страстным воителем за мир, против войн.

Искреннее международное сотрудничество европейских народов возможно, только когда каждый народ будет у себя дома полноправным хозяином,— утверждал он.

Жестокий спор на брюссельском конгрессе возник из-за того, как следует относиться к милитаризму. Настаивая на тесном международном общении рабочих, Либкнехт пылко возразил:

— Врагом немецких рабочих являются не французские рабочие, а немецкая буржуазия, врагом французских рабочих являются не немецкие и английские рабочие, а буржуазия их собственной страны.

Либкнехт предрек, что грядущая война будет губительна для всего мира и принесет неисчислимые бедствия.

— Пролетариат, который несет знамя культуры, должен позаботиться, чтобы помешать этому,— закончил он и тут же предложил решить купно, что только социалистический строй, уничтожив подавление человека человеком, сможет положить конец милитаризму и обеспечить мир между народами.

Брюссельский конгресс, несмотря на некоторые теоретические и практические просчеты, порадовал Энгельса.

— И принципиально и тактически мы одержали победу,— сказал он друзьям.— Европейские рабочие окончательно оставили позади период господства громкой фразы.

Еще раз на деле сказалась могучая сила атакующего марксистского слова.

Следующий конгресс Второго Интернационала намечено было созвать в 1893 году в Швейцарии. Энгельс намеревался сам побывать на нем. Он рассчитывал к этому времени закончить в основном обработку и опубликование всего литературного наследства Маркса.

Энгельс ежедневно просматривал десятки газет разных стран, отражавших как в зеркале бегущий день. Жизнь, запечатленная на листах бумаги, выраженная в слове, откладывалась первым пластом истории, пусть вчерне и неточно. Газета должна была заменить летописца земных деяний общества и отдельных людей.

Но пресса в руках врага — опасное оружие клеветы. И Энгельс не раз восставал против измышлений и небылиц, порочащих священные для него имена.

Однажды в газете «Дейли кроникл» появилось ядовитое клеветническое сообщение о семье Маркса, в котором утверждалось, что после падения Коммуны, когда Лафаргу угрожал арест, жена Маркса, чтобы спасти зятя и дать ему возможность бежать в Испанию, указала властям местонахождение оружия. Энгельс тотчас же выступил на страницах той же газеты с решительным и резким опровержением.

«Вся эта история с мнимым складом оружия — просто басня, сочиненная для того, чтобы очернить память женщины, которая в силу присущего ей благородства и самоотверженности была совершенно не способна на низкий поступок»,— писал он.

Не только память умерших, но и честь живых оберегал Энгельс.

— Маркс завещал мне заботиться о его детях так, как он заботился бы о них сам, и защищать их, насколько это в моих силах, от всякой клеветы,— заявлял он сурово.

Шли годы, но ничто не могло изменить в Энгельсе его отвращения ко всякого рода восхвалениям и всяким публичным проявлениям почитания.

Когда он узнал от своего секретаря Луизы Каутской, что певческий кружок членов Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих собирается по случаю дня его рождения устроить чествование, то отговорился необходимостью быть в другом месте и писал участникам хора:

«И Маркс и я всегда были против всяких публичных демонстраций, посвященных отдельным лицам; это допустимо разве только в том случае, когда таким путем может быть достигнута какая-нибудь значительная цель... те немногие годы, на которые я могу еще рассчитывать, и все те силы, которыми я еще располагаю, по-прежнему будут всецело посвящены великому делу, которому я служу вот уже почти пятьдесят лет,— делу международного пролетариата».

Чем старше человек, тем быстрее для него несется время. Наступил ноябрь 1891 года. Снова, как и в день семидесятилетия, волна благодарной и почтительной любви товарищей по партии докатилась к тихому дому, где жил Энгельс. Он принимал эту дань сердца людей только как почетный венок на могилу Маркса и думал, в великой скромности своей, о том, что пожинает славу, семена которой посеял человек более великий, нежели он.

Весной 1892 года Русанов прибыл в Лондон и тотчас же отправился к Энгельсу.

Его встретила Каутская и ввела в кабинет, где за столом, попивая из больших глиняных кружек пиво, сидело несколько мужчин, разговаривающих вперемежку по-немецки и по-английски. Луиза Каутская села у окна за круглым столом и принялась разбирать бумаги и письма, делая на них какие-то пометки.

Один из мужчин, с энергичным лицом, обрамленным седой большой бородой, поднялся с места, подошел к Русанову и крепко пожал его руку.

— Я Энгельс...— сказал он по-английски и спросил, на каком языке предпочитает говорить посетитель.

Неожиданно для самого себя Русанов, который не только не был марксистом, но даже враждовал с учением о пролетарской революции, почувствовал неодолимое желание высказать свое огромное почтение Энгельсу.

— Гражданин Энгельс,— сказал Русанов по-французски,— позвольте русскому социалисту выразить чувство искреннего восхищения человеком, который был достойным другом великого Маркса и который до сих пор является духовным главой социалистического Интернационала... Лично я еще в годы ранней молодости читал вашу работу о положении английского рабочего класса, и она произвела на меня сильнейшее впечатление, и с тех пор я, как и все социалисты в мире, с величайшим интересом прислушиваюсь к вашему мнению и знакомлюсь с каждой вашей новой книгой, как только она выходит... В вас я вижу живое продолжение, вижу воплощение Маркса.

Энгельс засмеялся и остановил Русанова резким жестом:

— Та-та-та, молодой товарищ! Полноте, к чему этот обмен любезностями между нами, социалистами? Нельзя ли проще? У вас горло должно было пересохнуть от этого ораторского упражнения... Присаживайтесь-ка к столу и промочите его вот этой кружкой пива.

Растерявшемуся Русанову пришлось подчиниться. Энгельс настойчиво расспрашивал его о голоде в России. В противоположность «политическим романтикам», как он назвал группу Лаврова, к которой примыкал и Русанов, он хвалил подлинно социалистическую, полезную деятельность Плеханова и его друзей.

— Для вас, русских,— заметил, между прочим, Энгельс,— политическая экономия — все еще абстрактная вещь, потому что до сих пор вы не были достаточно втянуты в водоворот промышленного развития, которое выбьет из вашей головы всякий отвлеченный взгляд на ход экономической жизни... Теперь это положение вещей меняется... Шестерня капитализма уже крепко врезалась местами в русскую экономику... Но вы в большинстве случаев не отказались еще от архаических понятий... Впрочем, повторяю, это не ваша вина, сознание отстает от бытия...

Энгельс интересовался распространением идей Маркса в России. Русанов рассказал ему о своем пути революционера.

— И однако, вы не с Плехановым! — с легким раздражением вставил Энгельс.

Расставаясь, Энгельс с шутливой серьезностью заговорил о том, что Русанов так и не постиг марксизма.

— Право, не поймешь вас, русских: у вас, должно быть, в мозгу перегородки. Тот же самый человек умен в одних вещах и ...— Энгельс примолк.

— Не стесняйтесь, гражданин. Совсем глуп в других. Не так ли? — закончил за него Русанов.

— И ровно ничего не соображает в других вещах, казалось бы, относящихся, однако, к той же самой области,— смягчил Энгельс.

Он читал множество русских книг. Отчет русского этнографа Штернберга об исследовании им общественного строя и семейных обычаев сахалинских гиляков настолько увлек его новизной, что он написал статью о существовании группового брака.

Но главным в жизни Энгельса осталось другое.

После полугодового перерыва на письменном его столе появились листы третьего тома «Капитала», который он заканчивал для печати.

Этой великой цели отдавал он мысли, чувства и время.

В эту пору Энгельса постигло еще одно большое горе. В Манчестере медленно умирал Карл Шорлеммер. Рак пожирал его тело. Таинственный, неодолимый, коварно подкрадывающийся к своей жертве недуг.

Две болезни — чахотка и злокачественная опухоль,— как два мифических коня смерти, вытаптывали землю. Но туберкулез был побежден гением безвестного до этого ученого Коха, который разгадал страшную сущность болезни. Смертоносный рак все еще оставался неразгаданным и самым грозным из врагов человечества. Энгельс познал силу этой болезни, потеряв многих дорогих ему людей.

«Неужели это парафины сгубили Карлушу?» — размышлял Энгельс в глубоком горе. После Елены Демут он терял еще одного незаменимого друга.

Шорлеммер принадлежал к поколению первых коммунистов, хотя был моложе Маркса и Энгельса. Если б оптимизм, трудолюбие, глубокий ум и талант могли продлевать человеческую жизнь, Шорлеммер жил бы более столетия. Только тяжкий недуг смог изгнать его из научной лаборатории.

Вернувшись из путешествия по Норвегии, ученый почувствовал себя настолько ослабевшим, что больше уже не мог приезжать в Лондон. Затем иссушающая хворь свалила его в постель. Ничто больше не радовало умирающего. Душа его искала одиночества. Он замкнулся в себе, затих. Рак вскоре убил его. Он лежал в гробу неузнаваемым. В несколько месяцев Шорлеммер как бы прошел сквозь десятки недожитых лет.

Узнав о смерти друга, Энгельс тотчас же отправился в Манчестер и принял участие в его похоронах... От имени правления Германской социал-демократической партии он возложил на его могилу венок с красными лентами. Затем Энгельс написал некролог, посвященный памяти выдающегося химика и верного партийного товарища.

Жизнь не давала вождю рабочих погружаться в скорбь. Она звала его к действию.

Для участия в Международном конгрессе горнорабочих в Лондон прибыла делегация немецких шахтеров и явилась на Риджентс-парк, чтобы повидаться с Энгельсом. Беседа была значительной и касалась положения немецких рабочих, их борьбы за экономические и политические права.

Лето — бурное время в Англии. Королевская семья тешится балами и раутами, высший свет подражает в этом двору, парламент до роспуска обсуждает предложения правительства, и обычно в стране начинается горячка избирательной кампании. Энгельс, внимательно наблюдая за ходом выборов в английскую палату общин, отмечал растущее влияние независимых рабочих депутатов. Их успех казался ему предвестником создания самостоятельной политической рабочей партии.

Борющийся мир был постоянно в поле зрения Энгельса. Датский социал-демократ сообщал ему, в каком состоянии рабочее движение на его родине. Итальянский революционер Лабриола подробно описал все, что относилось к подготовке Генуэзского учредительного съезда партии итальянских трудящихся. Энгельс сурово раскритиковал Каутского, который, в угоду примиренцам с буржуазным общественным строем, выбросил из статьи Эвелингов об итогах выборов в Англии, опубликованной в журнале «Новое время», разделы, обнажившие политические пороки фабианского общества.

Супругов Вебб и их приверженцев, по мнению Энгельса, объял жестокий страх перед грядущей пролетарской революцией, и они стремились предотвратить создание рабочей партии в Англии.

Марксисты Франции, Германии, Америки и России постоянно получали от своего руководителя и друга советы и помощь. По просьбе Лафарга Энгельс подсказал ему многое для выступления в палате депутатов. Как требовательный учитель, оценивал он выступления Бебеля, Либкнехта, Элеоноры и Эдуарда Эвелингов.

И, как обычно, дом на Риджентс-парк в воскресные дни был полон преданных Энгельсу людей. Приходил Степняк-Кравчинский, интересный собеседник и добрый спорщик. Его симпатии к народовольцам, обанкротившимся в России, вызывали не раз упреки Генерала, которому, однако, нравилось, что русский писатель, возражая, давал ему повод к хлестким отповедям и размышлениям вслух. После долгого перерыва к Энгельсу снова наведался Максим Максимович Ковалевский.

Одаренный русский социолог и ученый был коротко знаком когда-то и с Карлом Марксом. Тем более обрадовался Энгельс возможности отдаться священным воспоминаниям о тех, кого давно уже не было в живых, а также основательно выспросить приезжего о России.

Ковалевский еще больше располнел. Его низкий и звучный голос, даже когда он говорил шепотом, разносился по всем трем этажам дома.

— Сущая иерихонская труба, никак не гожусь я для конспирации, не вышел для этого ни комплекцией, ни речевым аппаратом,— шутил он сам над собой.

Его большое, как бы высеченное из дерева, по-своему красивое лицо впечатляло умным и добродушно-насмешливым выражением. Разносторонне образованный и на ходу подхватывающий высказанную кем-либо мысль, он был несколько легковесен в философских суждениях, но сохранял редкое свойство: никогда не подавляя собеседника, умел подтолкнуть его на глубинные обобщения. Сам Ковалевский тогда превращался в жадно внимающего слушателя.

Нельзя было в эту пору говорить о великой северной державе без того, чтобы не вспомнить о голоде, который мором обрушился на нее. Как средневековая чума, недород опустошал Россию. Гибли люди, разрушалось земле-

делие, падал скот, тощала земля без удобрения. И не было конца горю и бедствию народному. Начинался неизменный спутник неурожая — тиф. Помещики наживались, продавая по мародерским ценам голодающим крестьянам сухую ботву от картофеля. Разорялись крестьянские хозяйства, и одна беда тянула за собой другие.

На мрачном фоне голода в России ярче светилось протестующее слово смельчаков революционеров. Все духовно живое, лучшее сплачивалось в борьбе за низвержение царской тирании. Народники и марксисты решали вопрос о временном союзе и совместных действиях.

Вожаки рабочего движения в других странах внимательно наблюдали за всем происходящим в России и пытались способствовать такому сближению передовых революционных отрядов.

Одним из сторонников объединения был навестивший Энгельса Русанов, коротко знавший Лафаргов, Бебеля и Либкнехта. Его статьи под псевдонимом Сергеевский печатались в газете немецких социал-демократов «Форвертс».

Плеханов всегда казался Анне значительным, своеобычным и мудрым. Она старалась не упускать из виду ничего из написанного им, вслушивалась в каждое его слово, подолгу вникала в конечный смысл его исследований. Со времени одиночного заключения Анна считала, что у нее две идущие рядом жизни. Одна была сложна, громка, полна движения, действия, ощущений, другая глубока, тиха и как бы противостояла всем горестям, суетности, разочарованиям и утомлению. Это был ее заветный, необъятный мир мыслей, мечтаний, фантазий. Бескрайний простор невысказанных и, однако, живых, горящих слов. Внешнее существование несло ей ошибки, плутания; вторая жизнь, внутренняя, была ее добровольным судилищем, компасом, восстанавливала силы и уверенность в себе.

Ничто Анну больше не смущало. Одиночество навсегда потеряло над ней власть.

Придя к марксизму как к единственно правильной науке, Анна часто повторяла понравившиеся ей слова Лютера: «На этом я стою и не могу иначе».

Книги, музыка, природа, дружба с Верой Засулич раздували огонь ее дум и грез. Слушая Плеханова, глядя на его лицо, с годами все больше напоминавшее восточных мудрецов, она восхищалась его неразрушимой логикой, блеском и отточенностью фразы, глубиной философских открытий, последовательностью и ясностью мышления. Плеханов признался ей как-то, что мечтает поскорее воочию увидеть Энгельса, пожать руку, писавшую ему драгоценные строки.

— Великие люди — это начинатели. Они видят дальше других и желают сильнее других.— Говоря это, Плеханов откинул назад овальную голову, гордую и холеную.— Приближается десятилетие со дня преждевременной смерти Маркса,— продолжал он.— Подумать только, что Маркс мог бы еще жить, творить! Это был начинатель самый удивительный и великий из всех в этом бурном столетии. Мне посчастливилось, и я успел получить его советы, коснуться этого бездонного, неиссякаемого родника мыслей. Он и Энгельс выковали для нас могучее духовное оружие, и оно уже наносит тяжкие удары по врагу. Если социализм стал наукой, то этим мы обязаны Марксу, а также Энгельсу. Помню, как я был вдохновлен «Манифестом» и тотчас же решил его перевести... Теория Маркса, подобно ариадниной нити, вывела нас из лабиринта противоречий, в которых билась наша мысль под влиянием Бакунина...

— Но увидит ли все же наше поколение зарево пролетарской революции? — усомнилась Анна.

— Уверен, что да. Уверен,— отвечал не колеблясь Плеханов. Хворый, он был, однако, весьма трудолюбив. Книголюб, лектор, критик, ученый, действенный революционер, Плеханов умело развивал философские и политические положения марксизма, и его труды высоко оценивал Энгельс.

Но всему другому Плеханов предпочитал работу в тиши кабинета, за письменным столом. Отдав дань познанию и теории, он предался творчеству и науке революции. В глубине души осознав свое умственное превосходство и гордясь этим, был надменен и раздражался, когда ему перечили, не всегда подавлял вспыльчивость и гнев в общении с людьми.

С поручением от женевских марксистов к Геду и Лафаргу Анна отправилась в Париж, где надеялась пови-

дать друзей по ссылке. Клотильда встретила ее сообщением, что Борис в тюрьме. В день Первого мая правительственные войска жестоко расправились в городке Фурми с мирно шествовавшими демонстрантами. Девять молодых девушек и юношей были убиты наповал, десятки тяжелораненых увезены в больницу. Расстрел этот из края в край эхом пронесся по Франции. Возмущение и ужас обуяли граждан. Правительство прибегло к провокации, чтобы успокоить народ. Лжесвидетели сочинили небылицы. Лафарг, Борис и кое-кто из их соратников оказались под судом. Их обвинили в подстрекательстве к смуте.

Арест Лафарга и его товарищей взбудоражил умы. Процесс их стал заметным событием в стране.

На суде Лафарг, защищая партию и себя, превратил скамью подсудимых в трибуну для сверкающего умом, знаниями и отвагой доклада. Суд приговорил Лафарга и Бориса к году заключения. В течение нескольких дней, пока не была рассмотрена и утверждена кассационная жалоба, Лафарг объездил многие города Франции и выступал там на многолюдных собраниях. Его встречали как триумфатора. В Виньи зал, где он выступал, украсили гирляндами зелени и венками из роз. Рабочие бурно выражали возмущение приговором суда буржуазии. В знак протеста Лафарг был избран депутатом в палату депутатов от города Лилля. Вслед за этим его освободили из заключения. Вышел на свободу и Борис Ивушкин.

Анне очень хотелось познакомиться с Лафаргом и его женой, в которой сочетались редкая красота и женственность с рассудительностью, волей, политическим опытом и смелостью — всем тем, чем обычно сильны мужчины. Желание Анны сбылось как-то в июньский вечер. В зале одного из ресторанов, щедро украшенных позолотой, фресками на стенах, пышной, дорогой мебелью и хрусталем, собралось около двухсот человек. Праздновалось семидесятилетие Петра Лавровича Лаврова, славного русского бунтаря, участника борьбы за Коммуну, друга Маркса и Энгельса, человека ученого, своевольного и самоотверженного. Русские и польские студенты, молодые ученые, политические изгнанники из Болгарии, Румынии, Италии, видные журналисты и парламентарии собрались, чтобы чествовать друга и учителя. Банкет был отменно

хорош и, главное, нисколько не чопорен и не скучен. Все собравшиеся чувствовали себя вольготно и радостно. Они пришли сюда по зову сердца.

Первой была зачитана телеграмма из Лондона:

«Дорогой Лавров!

Завтра Вам минет семьдесят лет. Примите наши самые искренние поздравления. Да суждено Вам будет дожить до того дня, когда русское социально-революционное движение, которому Вы самоотверженно посвятили всю свою жизнь, победоносно водрузит свое знамя на развалинах царизма.

Ваши искренние друзья: *Фридрих Энгельс, Луиза Каутская, Элеонора Маркс-Эвелинг, доктор Эвелинг*».

Анна не отрывала глаз от четы Лафаргов. Ей нравилась их простота и доброжелательная сдержанность, то, что называется хорошим воспитанием, умением держать себя среди людей так, чтобы незаметно пробуждать в них лучшее, высокое.

Только второй дочери Маркса выпало большое счастье — любить и быть любимой достойным ее человеком. Муж ее был одним из самых талантливых и душевно цельных, воинствующих коммунистов своего времени.

— Лора, дочь моя,— по давнишней привычке то и дело обращался Поль к Лауре. Было что-то очень ласковое и почтительное в его взгляде, когда он смотрел на жену. Эти люди безгранично любили друг друга. Этого не скроешь.

«Их связывает чувство, единственное, очевидно первое и последнее во всей жизни»,— думала Анна о Лафаргах, которые оттого стали ей дороже и ближе.

Поль Лафарг, откинув серебристо-седые волнистые волосы и обведя блестящими, слегка навыкате глазами присутствующих, начал свою речь сначала негромко, постепенно, однако, повышая голос:

— Товарищи! С болью в душе, с краской стыда на лице я, француз, стою за этим торжественным застольем, где собралось много моих русских друзей. Они вызывают во мне воспоминания о Желябовых и Перовских, всех этих великих борцах не только за русский социализм, но, верьте мне, за социализм во всем мире! Нас ободряет зрелище сотен молодых образованных юношей и девушек,

окружающих маститого старца со столь мягким сердцем и столь непреклонного. Несмотря на свои семьдесят весен, он бодр душой, как и эти юноши, потому что, подобно им, полон веры в торжество идей, за которые погибли лучшие из лучших, самые прекрасные его соотечественники.

Лафарг горячо обнял юбиляра. Затем Лавров, испытывая то волнение, от которого человек становится крепче, веселее, моложе, обратился ко всем, кто согрел его искренней преданностью:

— Идите и боритесь, люди поколения конца девятнадцатого века. Идите и боритесь! И я верю! Вы придете когда-нибудь на могилы борцов прежних поколений, не доживших до победы своих идей, придете с красным знаменем в руках сказать им: мы, социалисты, ниспровергли абсолютизм в России.

Анна с Клотильдой побывали у Стены коммунаров.

На парижских площадях почти ничто не возвращает мысль к прошедшим былям, но кладбище Пер-Лашез, как музей и летопись, настойчиво твердит о них с мраморных надгробий, деревянных дощечек, насыпей безымянных могил.

«Аллея маршалов» нарядна и чванлива. Памятники, бюсты, статуи несоразмерно велики, облеплены большими и уродливыми цветами и орнаментами. Позы мраморных генералов неестественны и патетичны. Золотые надписи кратки: Гош... Массена... Ней...

Директория осуществила расчетливые мечты Лазаря Гоша, сына бедного пивовара, статного сержанта королевской гвардии, генерала и предателя Великой революции. В 28 лет он был богат, славен, победы его армии обеспечили ему дальнейшее возвышение. Даже генерал Бонапарт не мог сравниться с Гошем по силе влияния на фактическую игрушку их обоих — Директорию. Но внезапная болезнь и смерть удачливого генерала в 1797 году открыла Наполеону путь к короне.

Неподалеку от могилы Гоша полукруглый, громоздкий памятник маршалу Нею, сыну лотарингского бочара,— родословная, причинявшая немало огорчений герцогу Эльхингенскому, князю Московскому. Скульптору так и не удалось придать бюсту маршала соответствующее титулам выражение. Большеголовый унтер-офицер, свирепый, хитрый, тупо смотрит на собственную могилу.

Измены и приспособленчество не помогли Нею: Людовик XVII, которому вначале он служил, добиваясь отречения Наполеона, не простил ему перехода на сторону императора во время «Ста дней». Ней просчитался, надеясь, что Ватерлоо вернет Бонапарту французский трон. Смелый вояка, способный стратег и политический прохвост был расстрелян в декабре 1815 года.

Гробница Массены отличается особенной пышностью. Герцог Риволийский, князь Эслингский, талантливый тактик наполеоновской армии унаследовал от отца, мелкого виноторговца, скупость и сребролюбие. Эти свойства особенно проявились во время грабительского Итальянского похода, когда было чем поживиться.

В аллее, ведущей от последних отступников Великой революции — императорских маршалов — к героям Коммуны, склепы и гробницы прихотливы, как дамские моды. Каждое десятилетие украшало могилы на свой лад.

На стене, отделяющей лужайку от узкой, нищенской окраинной улички, густо развешаны венки, скрывающие неглубокие отверстия — следы пуль.

Стена коммунаров.

Солдаты Тьера расстреливали пленных, стоя на трупах павших в бою. Там, где валялась искалеченная пушка и лежал с разорванной штыком грудью старик коммунар, теперь склеп фабриканта, умершего от заворота кишок в мае 1871 года на пиру в честь победы кровавого генерала Галифе.

«А Стена коммунаров неподвластна времени и тлену. Она зовет нас к отмщению, зоркости, человеколюбию»,— подумала Анна.

Шел 1893 год. Всю зиму и весну Энгельс работал над рукописью третьего тома «Капитала». Истинно великое неисчерпаемо. Энгельс знал, что гениальный труд друга — чудесное произведение, способное вдохновить поэтов и художников. Могучее, стройное, возвышающее разум творение Маркса восхищало Энгельса, как музыка, как лучшие строфы Шекспира.

«Мозг исполина,— думал Энгельс об усопшем друге.— Есть ли область, куда бы не проникла его мысль? Маркс создал главное в экономике, политике, истории. Математика и литература, физика и статистика — все влекло к

себе Маркса, и ни к одному предмету науки и искусства нельзя отныне приблизиться, не вооружившись его методом. Он также первый дал в своих произведениях теорию систем — эту магистраль для движения современного миропознания».

О себе и своей огромной значимости для человечества Энгельс не думал. Его стесняло всесветное признание. Почести и признательность товарищей он хотел бы отдать тому, кого уже не было. Маркс, однако, жил не только в своих книгах, но и в огромной любви к нему, не гаснущей, как вечный огонь, в душе Энгельса.

Люди знали об этом. В десятую годовщину смерти Маркса они направляли телеграммы и послания с траурных собраний в дом на Риджентс-парк, 122.

К десятой годовщине смерти Маркса Фридрих Лесснер опубликовал свои воспоминания о нем и отнес Энгельсу на суд.

Суровый с виду, но в действительности мягкий и чуткий, особенно с близкими, портной не скрывал тревоги. Каков будет приговор Генерала его безыскусному, правдивому до педантизма, умному рассказу о былом? Он шел к Энгельсу, как оробевший школяр.

Переступив порог дома, в котором давно жил Энгельс, Лесснер невольно поискал глазами Ленхен Демут. Вспомнив, что ее уже нет, тяжело вздохнул, снял калоши, ватерпруф, отсыревшую от дождя шляпу, поставил, аккуратно сложив, большой черный зонт и, учтиво осведомившись о здоровье приветливой Луизы Каутской, прошел к камину в холле, чтобы немного отогреться и успокоиться, а главное, не принести с собой Генералу холода и сырости — этих, как выражался Лесснер, отца и матери лиходейки-инфлюэнцы. Услышав голос приятеля, Энгельс появился в дверях кабинета.

— Поздравляю тебя, старый дружище, ты превосходный мемуарист. То, что ты написал о Мавре, будет жить долго. Все очень просто, точно, нужно. У тебя, в чем я не сомневался, незаурядный ум и наблюдательность.

— Ладно, Генерал, говори не о моих достоинствах, а о том, кого я попытался в меру своих малых сил и знаний воспроизвести.

— Все хорошо. Ты обогнал меня, Фриц. Я ведь мечтаю написать большую биографию Мавра, но пока что не сделал ничего путного. Так, одни штриховые наброски.

— Пиши о себе. Вы с Мавром едины и неотделимы, как молния и гром.

Лесснер вошел в кабинет Энгельса и устроился у камина. На лице его появилась застенчивая, добрая улыбка.

— Тебе действительно пришлось по нутру мое писание?

— Когда мне что-либо не нравится, я не делаю скидок на дружбу. Ты написал, человече, лучше, чем это сделал бы кто-либо другой. Кроме метко подмеченных деталей, в твоих строках есть истинное чувство. Ты понимал, кем был Мавр для людей, и не пытался разыгрывать объективность, чтобы не прослыть пристрастным. Надо уметь воздавать должное гению. Не думай, что это легко. Напротив! Сейчас развелось много снобов, которые меряют людей по своему пигмейскому росту. Оплевывание великого они шумно объявляют нелицеприятностью.

— Мне кажется, Генерал, что жизнь людская похожа на морской канат с большими узлами,— сказал Лесснер, все еще поеживаясь.

— Не понимаю.

— Э, не мастак я говорить. Узел — это то значительное, хорошее и худое, что случается с нами в жизни. Его не развяжешь. У одних веревка длинная и много на ней перехватов, у других — короткая и вовсе не узловатая. Так-то! Поразмысли-ка.

Неожиданно — скорее про себя — заметил Энгельс:

— Да, между прочим, вышел чешский перевод «Коммунистического манифеста».

Лесснер с нежностью взял тонкую книжечку, изданную в Праге, и сказал с чувством:

— Завоевывает страну за страной. Скоро не останется на земле народа, который не знал бы, кто такие коммунисты, чего они хотят, не знал бы вас обоих.

Чтобы посетить могилу Маркса и повидать Энгельса, в Лондон приехали Лафарги и Бебель. В доме на Риджентс-парк они встретились с английским рабочим Джоном Бёрнсом, одним из быстро приобретающих известность деятелей рабочего движения. Вместе с Тусси он руководил стачкой лондонских докеров и выдвинулся в лидеры тред-юнионов. Юноша с виду, несмотря на тридцать пять лет, Бёрнс обладал изрядным опытом борьбы, деловитостью и напористостью. Тусси надеялась, что пролетарская косточка спасет Бёрнса от отступничества ради

выгоды и карьеры. В это время он только начал сближаться с влиятельными либералами. Лафарг, Бебель и Бёрнс были парламентариями, и Энгельс, присутствовавший на их встрече, сказал Лауре с удовлетворением:

— Не правда ли, Лер, в обмене мнениями этих видных деятелей не только рабочих партий, но одновременно депутатов трех высших органов своих стран есть символическое начало. Вот оно, наглядное, живое доказательство наших больших завоеваний. Могли ли мы мечтать об этом лет сорок назад? Недавно старина Гарни, этот неистовый чартист и старомодный путаник, но честнейшей души парень, напомнил мне, что со времени революции прошло черт знает сколько времени. Кажется, мы вчера только кричали: «Да здравствует республика!» И однако, с тех пор мы отметили столько разных годовщин, что начинаешь забывать эти полубуржуазные даты. Через пять лет будет уже полвека со времени наших сражений со всеми деспотами мира на вышке «Новой Рейнской газеты». Мы тогда восторгались республикой с маленькой буквы. Теперь она пишется во Франции с большой, а, как оказалось, ничего ровно не стоит. Буржуазная республика — всего лишь исторический этап, к тому же почти отживший. Так-то! Нам нужна пролетарская республика, коммунизм.

Лаура посетовала на то, что речи Лафарга в палате в последнее время не вызывают прежнего интереса.

— Мне кажется, Поля это обескураживает. Тем более что его выступления, по-моему, становятся все убедительнее. Он способен словом зажечь даже ледники на Монблане, а господа депутаты демонстративно зевают и перешептываются.

— Ерунда. Этим они демонстрируют свое мнимое могущество. Пигмеи и слепцы! Жизнь их опровергнет. Помнишь, как в Германии освистывали и гнали наших соратников, а теперь их в рейхстаге более тридцати и они господа положения. Спроси Бебеля. Он заявляет, что если бы социал-демократов было там сто, то есть четвертая часть всего состава, то рейхстаг перестал бы существовать. Главное, нам надо доказать единожды и навсегда, что наша партия — это и есть представитель подлинного социализма.

— Дорогой Генерал, если б ты только знал, как проходят мои дни! Поль появляется домой урывками, он стал

Летучим Голландцем. Я только и делаю, что упаковываю и распаковываю его котомку, как он мило называет свой дорожный баул. Приближается наша серебряная свадьба, и что же, вероятнее всего, эта небезразличная для нас дата, боюсь, застанет его в пути. Досадно, право, будет в такой день оказаться одной. Это все равно что поставить спектакль «Гамлет» без Гамлета.

— Ваша серебряная свадьба? Уже? Давно ли с Ленхен я купал тебя в ванночке, ты тогда еще не умела ходить!

— Увы, Генерал, мне почти пятьдесят.

— Этого не может, не должно быть. Не будем считать времени. Все это условно. Если я чувствую себя еще молодым, то ты тем более та же маленькая девчурка, которая, встречая меня, смотрела укоризненно на мои руки, ожидая леденцов. Жаль, что мы видимся теперь так редко. Как бы мы ни сопротивлялись, жизнь все равно грозит нам разлукой.

— Ты прав. Поль часто говорит мне: «Черт возьми, как мне не терпится скорее увидеть Генерала». Я тоже испытываю это чувство.

— Вспоминаю, что ваша с Полем свадьба была в апреле. Невеста выглядела исключительно красивой.

— После того как мы побывали в мэрии, ты повел нас всех завтракать в ресторан и там безобидно подшучивал надо мной. Я, однако, была так еще глупа, что внезапно расплакалась от твоих шуток, чем всех смутила.

— Сожалею, но я не знал тогда, что ты мимоза,— пошутил Энгельс.

— О, теперь я менее уязвима и, надеюсь, менее глупа.

Разговор продолжался в таком же веселом тоне, но вдруг Энгельс, всегда отдававший должное проницательному уму Лауры, спросил ее о молодом радикале Жоресе, чья популярность заметно возрастала в последнее время во Франции.

— Что тебе сказать,— ответила дочь Маркса,— это, несомненно, талантливый, острый полемист и оратор. У него репутация крупного философа, он ведь учился в Высшей нормальной школе, а затем преподавал философию в Тулузе. Недавно Жорес представил в Сорбонну диссертацию на латинском языке «О первых чертах немецкого социализма», которую очень расхвалили те,

кто ничего в ней не понял. Я терпеливо прочла этот опус, так как тема нам не безразлична.

— И что же ты обнаружила?

— Вряд ли можно встретить более путаный образец псевдофилософии где-либо еще на свете. Это явно не его сфера. Он не теоретик, а трибун и, вероятно, на этом поприще многого добьется.

Лафарги и Бебель недолго гостили в Лондоне. Едва они уехали, к Энгельсу с рекомендацией от Плеханова зашел русский литератор и переводчик Воден.

В Лозанне Алексей Михайлович Воден давал уроки математики и, живя более чем скудно, отложил немного денег, чтобы отправиться в Англию. Там, в Британском музее, он надеялся осуществить свою мечту — изучить философию. Получив от Плеханова письмо к Энгельсу, скромный учитель внезапно оробел. Как ему следует вести себя, о чем говорить с всемирно известным человеком, чтобы не опозорить себя невежеством? Плеханов сурово проэкзаменовал Водена по истории философии и по другим предметам, которых мог коснуться в беседе зачинатель научного коммунизма. Воден краснел, терялся, но отвечал в общем вполне удовлетворительно. Плеханов вошел в раж и был беспощаден. Слышавшая все Вера Засулич тщетно просила передышки для утомившегося ученика. Вопросы сыпались градом, хотя было уже далеко за полночь. Прудон, Фейербах, Штирнер, Бауэр, школа исследователей и критиков Библии, основанная в Тюбингене, были призваны, чтобы удостоверить, может ли молодой социал-демократ явиться на Риджентс-парк, держа высоко знамя русского революционного образования. Наконец Плеханов, похвалив Водена, напутствовал его в путь-дорогу.

В Лондоне Водену поначалу не повезло. В Гайд-парке, куда он пошел с вокзала, у него выкрали кошелек. Безденежье вынудило его отправиться в журнал «Свободная Россия», издаваемый на английском языке Степняком-Кравчинским. Там ему дали в кредит деньги и помогли снять дешевую комнату. Отправив письмо Плеханова Энгельсу по почте, Воден принялся ждать ответа, который не замедлил прийти. Подходя к дому, он еще раз повторил про себя то, что скажет. Менее всего ожидал русский социалист, что будет чувствовать себя просто и естественно перед Энгельсом. Но как только Воден увидел привет-

ливые глаза Энгельса, услышал его чуть глуховатый голос и ощутил пожатие большой, теплой ладони, как все в нем переменилось — заготовленные было слова выветрились из памяти и человек стал самим собой.

Воден стал бывать у Энгельса и за три месяца жизни на острове видел его более десяти раз. То было счастливое время в жизни двадцатитрехлетнего русского.

В первую же встречу Энгельс подробно расспросил гостя о Плеханове, Засулич и Лаврове, о котором отозвался с добродушной иронией.

Затем разговор перешел к России. Энгельс был убежден, что русским социал-демократам необходимо серьезно заниматься аграрным вопросом. Чем дольше длился разговор, тем яснее становилось Водену, что хотя и в очень тонкой форме, но он был все-таки подвергнут своеобразному экзамену и сдал его, очевидно, хорошо. Энгельс допустил молодого человека, вооружив его большой лупой, к рукописям Маркса и пригласил вскоре снова. В следующую встречу Воден рассказал Энгельсу о том, что Плеханов часто вынужден защищать марксизм от извращений и нападок народников. Улыбаясь, Энгельс ответил на отличном русском языке:

— Кто Плеханова обидит? Не обидит ли всякого сам Плеханов? — и добавил по-латыни: — Кто стал бы слушать, как Гракхи жалуются на мятеж?

Энгельс и Воден много говорили о Марксе и его трудах.

— Я желал бы,— заметил Энгельс живо,— чтобы русские, да и не только русские, не подбирали цитат из Маркса и моих сочинений, а мыслили самостоятельно. Только тогда, в этом именно смысле, слово «марксист» имеет право на существование.

Знакомство с Энгельсом неизмеримо обогатило Водена. Он никогда не встречал человека, столь заинтересованного в том, чтобы одарить других своими знаниями, открытиями и, главное, методом мышления. Энгельс, как и Маркс, не знал низменных чувств и был несказанно щедр. Он давал людям большими пригоршнями то, что дороже всего на свете,— плоды своего гениального мозга, творческий огонь своей души. Величие и благородство духа заставляло его заботиться о единомышленниках в трудные для них времена. Он, делая это тайно, много лет подряд деньгами помогал Беккеру, обеспечив его ста-

рость, поддержал великодушного коммунара поляка Врублевского и многих других, устремляясь к ним, едва узнавал, что они терпят бедствие.

Каждый, кто хоть раз встречался с Энгельсом, уносил с собой частицу его несметной сокровищницы духа.

Воден не мог надивиться разнообразию и обширности знаний Энгельса, его феноменальной памяти, когда он цитировал Лукреция и Цицерона, Диогена Лаэртского и Климента и без числа других великих мыслителей, ученых и поэтов земли.

Воден был приглашен на Риджентс-парк в вечер празднования Первого мая, отмечавшегося как большой, радостный праздник. В петлице пиджака хозяина дома, участвовавшего днем в демонстрации, не увядала большая красная гвоздика. Ароматный узорчатый цветок алел в смоляных волосах Тусси и на груди у всех прибывших на торжество социалистов. Подали пунцовый горячий глинтвейн, приготовленный с лимонной корочкой, корицей, ванилью и сахаром. Запах пряностей смешался с ароматом цветов в больших вазах. Тост следовал за тостом, и всем казалось, что небо над миром затянуто багровыми революционными стягами.

К концу ужина спели хором «Марсельезу» на французском языке.

Воден безотчетно вторил песне по-немецки. Услышав это, Энгельс, певший революционный гимн с большим воодушевлением, вдруг смолк и шепнул ему на ухо:

— Зачем вы бормочете эту лассальянскую подделку?

Незадолго до отъезда Водена из Лондона Энгельс сказал, говоря о России, что скоро в этой стране выдвинутся энергичные вожди.

Тусси нелегко жилось с мужем, но она не могла признаться себе в поражении, каким всегда становится неудача в любви. Первое и единственное женское чувство Тусси — ее любовь к Эвелингу с годами не ослабевала, хотя она не обманывалась в нем, знала все и прощала, как мать примиряется с пороками своего дитяти. Порывистая, страстная в привязанности и ненависти, Тусси не умела только одного: быть равнодушной! Крайне восприимчивая, справедливая и правдивая, младшая дочь Маркса вкладывала всю себя без остатка во все, что делала,

чем жила. Не только среди соратников и работниц, Тусси пользовалась симпатией также среди всех, кто узнавал ее ближе. Было у нее всегда много искренних друзей. С некоторыми из подруг юности, далеких от социальных битв, дороги ее позднее разошлись. Но каждый человек, не сделавший нам зла, даже недолго шедший рядом, несет в себе частицу и нашей жизни и связан с нами общими воспоминаниями.

Однажды, выходя из книжной лавки близ Британского музея, Тусси столкнулась лицом к лицу с молодой женщиной, с которой дружила в давно минувшие годы.

— Марианна, как давно мы не встречались!

— Дорогая Тусси. Ты мало изменилась. Все та же чернокудрая Титания, царица Ночи.

Взявшись за руки, приятельницы шли по улицам столицы. Тусси уговорила Марианну Комин зайти к ней выпить чашку чая.

Встреча возвратила ей многое из прошедшего. Даже поведение Тусси незаметно для нее изменилось. Она начала по-девичьи неудержимо смеяться, шутить. Мисс Комин была ей когда-то очень приятна своей умной наблюдательностью и, главное, неистовым поклонением Шекспиру, которого боготворила юная Тусси.

Подруги разожгли камин, уселись на мягком ковре, обхватили руками колени и принялись тихо беседовать о навсегда ушедших днях. На низком столике остывал горьковатый чай.

— Помнишь «Клуб Догберри»? Как это было увлекательно! Чаще всего мы собирались у вас на Мейтленд-парк, так как твои родители редко могли выходить из дому по вечерам, а они и мистер Энгельс были ведь тоже членами нашего общества.

— «Клуб Догберри»,—подавив вздох, заметила Тусси,— его нельзя забыть. Это ведь целая эпоха в моей жизни, и какая неповторимая! Шекспир и Эсхил! Как их любил Мавр! Но творцу Гамлета и Кориолана он отдавал все-таки предпочтение.

Камин отвлек внимание собеседниц. Шипя как фейерверк, гасло пламя. Тусси щипцами разгребла угли, и они вновь засияли. Вспомнив молодость, обе женщины долго молчали.

Шекспировские чтения в «Клубе Догберри», названном так в честь потешного персонажа комедии «Много

шума из ничего», устраивались раз в две недели. Вдохновителем и главным участником всегда бывала Тусси.

Несколько молодых актрис, драматургов, поэтов и почитателей стратфордского гения наслаждались бессмертными его творениями. Марианне Комин пришлось как-то читать одну из женских ролей в пьесе «Жизнь и смерть короля Джона», произведении, особенно ценимом Марксом. После нескольких часов, посвященных великому английскому драматургу, и легкой трапезы клубисты затевали игры. Наибольшим успехом у них пользовались постановки пантомим-шарад. Тогда начиналась веселая суматоха. Если это происходило в доме Маркса, Тусси и Ленхен опустошали ящики комодов и шкафов, доставая все, что требуется для костюмов в импровизированных живых картинах. Марианна запасалась углем, пудрой, ватой и румянами и превращалась в гримера и парикмахера.

— Помнишь, как мы показали всему обществу шараду — парад, пар, ад. Сначала Ленхен поставила на стол, на нашей сцене, дымящийся чайник. Зрители закричали — пар. Затем мы преобразились в чертей. Слово было разгадано раньше, чем ты устроила шествие с красным знаменем... Доктор Маркс лучше всех отгадывал шарады. Как сейчас, вижу его, одетого в черный плащ и мягкую фетровую шляпу, выходящим из дома. Ты, Тусси, показывая на окно, где мелькнула его тень, говорила многозначительно: «Мавр крадется, как настоящий конспиратор». Нам так хотелось таинственности. Мы часто сидели на ковре перед камином в вашей гостиной и беседовали в полутьме.

— Шепотом,— улыбнулась Тусси,— в полутьме не хочется говорить иначе.

И снова подруги прошлых лет замолкли. Жизнь их сложилась по-разному. Марианна жила монотонной, благополучной жизнью без особых потрясений и целей.

После долгого раздумья она сказала:

— Я тогда смутно представляла себе то место, которое занимал твой отец в мире. Не знала, что он держал в своих руках, как признанный вождь, нити социалистического движения. Но меня всегда тянуло в ваш дом. Он был исполнен особого обаяния, в укладе его все было не так, как у других.

— Да. Много замечательнейших людей посещали наш дом.

— Я сказала бы, что ваши посетители являли собой удивительное зрелище величайшего разнообразия. Правда, у них было большей частью одно отличительное свойство — они были, несомненно, бедны, носили потертые одежды и прохудившиеся сапоги, но все, как один, были интересные, особенные люди. И всех их у вас встречало такое гостеприимство и радушие, какого никогда и нигде я больше не наблюдала. Кстати, назови мне, пожалуйста, если помнишь еще, имя русского привлекательной внешности и ангельской кротости, о котором я слыхала от тебя как об отчаянном террористе. Он пытался взорвать царя. Мне кажется, он, этот молодой человек, был к тебе неравнодушен. Вспоминаю, что он восхитительно пел русские романсы.

— Это, верно, Лев Гартман. Он действительно участник покушения на коронованного деспота и спасся от виселицы благодаря удачному побегу,— ответила Тусси.— С ним к нам приходил также и народоволец Морозов.

Допоздна наслаждались Тусси и Марианна путешествием в былое. Только прошлое связывало их в настоящем. Они посмеялись опять над минувшими проказами и комическими случайностями. Припомнили, как однажды Женни Маркс, будучи в Париже, перепутала французские слова сходного звучания и вместо книги принесла домой фаршированного зайца. В другой раз Энгельс для племянницы по жене, Эллен-Пумпс, решил устроить вечеринку и пригласил Маркса:

— Ты придешь? Все они там будут,— сказал он, показывая на Марианну и других подруг Тусси.

— Нет,— ответил Маркс,— твои гости слишком уже взрослые люди.

— Слишком взрослые в семнадцать-то лет? — удивился Энгельс.

— Я люблю их маленькими, совсем маленькими,— пояснил его друг с нарочитой серьезностью.

— О, понимаю! В возрасте твоих внуков.

Случилось, Маркс побранил Марианну, когда она опоздала к обеду и этим задержала всех за столом.

— Что составляет величайшее благо человека? — спросил он ее гневно.— Время. А посмотрите, как оно растрачивается! Ваше собственное время — ну ладно, оно

для вас, очевидно, не имеет значения. Но время других людей... Какая тяжелая ответственность.

Когда Марианна ушла, Тусси, вспоминая минувшие годы, долго не могла успокоиться.

Дни для Энгельса пролетали с быстротой падающих звезд. Июль был на исходе. Энгельс собирался в долгий путь по разным европейским странам. Готовясь к отъезду, он приводил в порядок дела и писал завещание. Семьдесят три года заставляли его думать о неизбежном.

Трудно бывает жить, еще труднее умереть. Любя жизнь, следует учиться достойно встретить смерть, самого нежеланного из гостей.

Энгельс не опускал глаз ни перед какой опасностью, встречал ее с улыбкой.

Он не желал, чтобы переход в небытие застал его врасплох. Любовь к порядку никогда его не покидала. 29 июля 1893 года Энгельс написал завещание:

«Я, Фридрих Энгельс, настоящим аннулирую все мои прежние завещания и объявляю действительным это завещание. Я назначаю моих друзей Самюэла Мура, адвоката, Линкольнс-Инн, Эдуарда Бернштейна, журналиста, и Луизу Каутскую, проживающую в настоящее время в моем доме, моими *душеприказчиками* и завещаю каждому из них за его или ее хлопоты сумму в двести пятьдесят фунтов стерлингов. Я завещаю моему брату Герману имеющийся у меня написанный маслом портрет моего отца, а если вышеназванный брат умрет раньше меня, то его сыну Герману... Я завещаю Августу Бебелю из Берлина в Германской империи, члену германского рейхстага, и Паулю Зингеру из Берлина, также члену германского рейхстага, общую сумму в одну тысячу фунтов стерлингов, которую они или их преемник должны использовать для расходов по выборам в германский рейхстаг таких лиц, в такое время, в таком месте, которые упомянутые Август Бебель и Пауль Зингер или их преемник сочтут подходящими согласно их или его безусловному суждению...

Я распоряжаюсь, чтобы все литературные рукописи, написанные моим покойным другом Карлом Марксом, и все личные письма, написанные им или адресованные

ему, которые ко времени моей смерти будут находиться в моем владении или распоряжении, были бы переданы моими душеприказчиками Элеоноре Маркс-Эвелинг, младшей дочери вышеупомянутого Карла Маркса. Я завещаю упомянутым выше Августу Бебелю и Паулю Зингеру все книги, которые будут находиться ко дню моей смерти в моем владении или распоряжении, и все мои авторские права. Я завещаю вышеупомянутым Августу Бебелю и Эдуарду Бернштейну все рукописи, которые будут находиться ко дню моей смерти в моем владении или распоряжении (кроме указанных выше литературных рукописей Карла Маркса), и все письма (кроме упомянутых личных писем Карла Маркса).

Что касается остального моего имущества, то я распоряжаюсь разделить его на восемь равных частей. Три восьмых части завещаю Лауре Лафарг, Ле-Перрё, близ Парижа, Франция, старшей дочери упомянутого Карла Маркса и жене Поля Лафарга, члена французской палаты депутатов. Другие три восьмых части завещаю упомянутой Элеоноре Маркс-Эвелинг и, наконец, две восьмых — вышеупомянутой Луизе Каутской... В удостоверение чего я, вышеназванный Фридрих Энгельс, 29 июля 1893 г. подписал это мое завещание

Фридрих Энгельс».

Покончив с нотариусом и наиболее неотложными текущими делами, Энгельс собрался на родину. Накануне отъезда с обычной пунктуальностью поздравил Либкнехта и его жену с серебряной свадьбой.

«...Когда у кого-нибудь из нас, старых боевых товарищей,— писал он,— наступает такой торжественный день, то невольно на память приходят минувшие времена, минувшие битвы и бури, первые поражения, а затем и победы, весь пройденный бок о бок путь, и становится радостно, что на старости лет нам довелось уже не останавливаться у первой бреши — мы ведь давно перешли от обороны к общему наступлению,— вместе продвигаться вперед все в том же боевом строю. Да, старина, мы пережили вместе не одну бурю и, надо надеяться, не одну еще переживем и, если все пойдет хорошо, переживем и ту, которая хоть и не принесет нам окончательной победы, но

все же окончательно обеспечит ее. Голову, к счастью, мы оба еще можем держать высоко, сил у нас для нашего возраста тоже достаточно, так почему бы этому не случиться?»

Вскоре Энгельс приехал в Цюрих, который значительно вырос за последние годы. Встреча, оказанная вождю социалистов, была сердечной.

В празднично украшенном зале, обычно служившем для симфонических концертов, заседал 3-й Международный социалистический конгресс. Представители многих стран собрались на этот исторический съезд. В день его открытия по городу прошла со знаменами десятитысячная демонстрация рабочих и на площади состоялся митинг. Делегаты конгресса выступили под град рукоплесканий перед швейцарским народом. Социалисты Болгарии, Румынии, Сербии, США, Испании, Австрии, Венгрии, Польши, Франции, Германии, Англии братались друг с другом, пели на разных языках одни и те же песни. Конгресс начался, однако, острым столкновением марксистов с реформистами и сторонниками анархистов. Споры были ожесточенные, но разве не для разработки дальнейшей тактики в борьбе за идею собрались здесь эти люди? В столкновениях, конфликтах, честных признаниях всегда ковалась теоретическая мысль, выявлялась истина, находилось единственно правильное решение.

Спор на конгрессе был решен в пользу марксизма. Несколько анархистов и кое-кто из близких к ним демагогов из группы «молодых» пытались доказательства заменить тумаками и криком.

Конгресс занялся насущными вопросами жизни и труда пролетариев. Жарко обсуждали собравшиеся вопрос о том, что делать рабочим в случае войны. Одни предлагали протестовать всеобщей стачкой и отказом служить в армии. Другие надеялись, что братство трудящихся остановит любую бойню, затеянную капиталистами. Немцы объявили врагом человечества и подстрекателем к кровопролитию шовинизм. Большую речь произнес Плеханов. Как и все марксисты, он видел грозную опасность в революционном авантюризме, столь присущем анархистам и любителям левой фразы и демагогии.

Вера Засулич никогда не испытывала такого волнения. Наконец-то ей предстояло увидеть воочию Энгельса, с которым она давно переписывалась. От природы застенчивая, замкнутая, затаенно страстная, Вера Ивановна с радостью и беспокойством ожидала желанной встречи. Любовь духовная бывает сильнее всякой другой.

Энгельса Засулич не разочаровала. Он сразу понял, как сложен ее внутренний мир. Она была сильна и легко ранима в одно и то же время. И еще одна выдающаяся женщина, которую он хорошо знал по ее трудам, встретилась ему в Цюрихе.

Впервые Энгельс рукоплескал Кларе Цеткин, выступавшей с трибуны представительного собрания, когда она ратовала за права работниц. Вместе с Луизой Каутской она настаивала на вовлечении пролетарок в классовую борьбу, в профсоюзы и социалистические партии. Энгельс радовался, что в его воинстве столько незаурядных, душевно прекрасных женщин и мужчин.

В перерывах между заседаниями Энгельс с друзьями гулял по швейцарскому городу, катался на лодке по озеру, ездил в горы. Из гостиницы он перебрался на квартиру к дальней родственнице Анне Бейст, которую называл самой красивой старой дамой на свете, не лишенной к тому же остроумия, энергии и жизнерадостности.

Все эти качества он очень ценил.

За обедом у Бейст Энгельс иногда удовлетворял любопытство гостеприимной хозяйки и отвечал на ее расспросы о конгрессе.

— Что вам сказать? Женщин всегда интересуют, во-первых, женщины же. Так вот, на нашем съезде есть три-четыре русские с такими восхитительными глазами, от которых трудно оторваться. Моя любимица — венка Адельгейда Дворжак, работница из Вены. Она делает честь пролетариату своим на редкость очаровательным лицом, милыми манерами и умом.

Во время работы конгресса Энгельс на неделю отлучился, чтобы повидаться с братом, и затем вернулся обратно в Цюрих.

Подлинным триумфом конгресса явилось его выступление. Когда Энгельс, выйдя из-за стола президиума, подошел к трибуне, зал загудел, как море в шторм. Оратор произнес свою речь на трех языках: английском, французском и немецком.

— Граждане и гражданки! — начал он.

...Неожиданно блестящий прием, который вы мне оказали и которым я был глубоко тронут, я отношу не к себе лично, а принимаю его лишь как сотрудник великого человека, портрет которого висит вон там, вверху. (Речь идет о Марксе.) Прошло как раз пятьдесят лет с тех пор, как Маркс и я вступили в движение... С того времени социализм из маленьких сект развился в могучую партию, приводящую в трепет весь официальный мир. Маркс умер, но будь он теперь еще жив, не было бы ни одного человека в Европе и Америке, который мог бы с такой же законной гордостью оглянуться на дело своей жизни...

Речь Энгельса не была длинной. Под шквал рукоплесканий и овацию он объявил конгресс закрытым и провозгласил здравицу в честь международного пролетариата. Делегаты хором спели «Марсельезу».

Почти два месяца разъезжал Энгельс по Германии, Швейцарии и Австро-Венгрии. Всюду его ждали и встречали с тем же огромным восторженным чувством, которое нельзя внушить ни блеском власти и могущества, ни деньгами, а только действительными заслугами перед народом, осознавшим его неоспоримое величие сердца и ума.

В Вене на вечере, устроенном в его честь, ощутив любовь собравшихся, которая, как теплое течение, овевала его, Энгельс сказал:

— ...Моя лучшая награда — это вы! Наши товарищи есть всюду: в тюрьмах Сибири, на золотых приисках Калифорнии, вплоть до Австралии. Нет такой страны, нет такого крупного государства, где бы социал-демократия не была силой, с которой всем приходится считаться. Все, что делается во всем мире, делается с оглядкой на нас. Мы — великая держава, внушающая страх, держава, от которой зависит больше, чем от других великих держав. Вот чем я горжусь. Мы прожили не напрасно и можем с гордостью и с удовлетворением оглянуться на свои дела.

В Берлине, как и в Вене, Энгельса желали видеть многие тысячи рабочих, но он, всегда бежавший прочь от парадности и шумихи, ограничился выступлением на массовом собрании в помещении, а не на площади. Однако и там собралось около четырех тысяч человек.

Крайне смущенный грандиозностью оказываемого ему повсюду приема, Энгельс тяготился необходимостью выставлять себя напоказ. Ему казалось это нескромным, к тому же он издавна убедил себя, вопреки действительности, что из-за небольшого заикания не должен выступать с трибуны.

Слава сопутствовала ему отныне всюду; Энгельс считал, что она осложняет жизнь, требует суетной растраты времени и более пригодна для парламентских деятелей, митинговых трибунов, чем для него. Но люди искали великого гуманиста не из праздного любопытства или выгоды. Он стал им очень дорог и нужен.

Вернувшись после столь пышного триумфального путешествия домой, Энгельс набросился на груду дел, которые его ожидали. Ему шел семьдесят четвертый год, но мозг его был так же молод и плодотворен, как полстолетия назад. Успех движения, которому Энгельс посвятил себя, умножал его энергию.

Людская любовь и победное шествие идей окрыляют, поднимая скрытые резервы сил. Презирая старость и смерть, с еще большим вдохновением снова работал Энгельс. К нему то и дело прорывались корреспонденты газет, чтобы стенографически записать ответы на сложные, а подчас и коварные вопросы, шли письма со всех материков. Соратники ждали его советов и указаний.

Кроме румынского языка, он изучал болгарский и написал в болгарский журнал «Социал-демократ» еще до поездки в Германию о том, что требования интернационализма растут с каждым годом и социализм продвигается на Восток и Юго-Восток.

«Мы на Западе от души радуемся этим нашим юго-восточным форпостам на границе Азии, которые несут к берегам Черного и Эгейского морей развернутое Марксом знамя современного пролетариата — о, если бы Маркс сам дожил до этого...»

Жизнь подле Энгельса духовно обогатила Луизу Каутскую, она многое поняла в сложнейших перипетиях мировой экономики и политики. Личная жизнь ее также изменилась. Луиза обручилась с молодым немцем, дельным и вдумчивым врачом, лечившим всех обитателей Риджентс-парк. Не желая расставаться с обязанностями секретаря Энгельса, Луиза поставила доктору Фрейбергеру

условие отложить свадьбу на год. Но время это пронеслось стремительно. Энгельсу не легко было остаться одному и нарушить установившийся уклад, и Фрейбергеры согласились жить и впредь в одном с ним доме. Для этого они сняли другое, более вместительное помещение на той же улице, но в лучшей ее части. Адрес Энгельса изменился — Риджентс-парк, дом № 41. В подвальном помещении новой квартиры находилась кухня и маленькая комната, где жильцы любили завтракать. В первом этаже были столовая и гостиная, а на втором расположился Энгельс. В его кабинете с тремя окнами, выходящими в палисадник, стояли вдоль стен огромные книжные шкафы, полки, секретеры с многочисленными ящиками для бумаг. Обычный разительный порядок царствовал повсюду. На противоположной стороне лестничной клетки находилась спальня Энгельса. Убранство ее было простым и удобным.

Позади дома был довольно большой, по городским понятиям, садик с густым газоном, кустами боярышника и жасмина и несколькими вишневыми деревьями. Энгельс часто усаживался на скамье, любуясь травой и цветами. Здоровье его в самое последнее время заметно пошатнулось. Началось с затяжного бронхита, расстроился желудок. Фрейбергер требовал, чтобы его пациент соблюдал диету, носил постоянно фуфайку, не пил пива и считался в быту со своим преклонным возрастом. После долгого сопротивления Энгельс обещал врачу и его жене не относиться к себе с обычным легкомыслием.

— Друзья мои,— сказал он с притворным отчаянием,— сдаюсь. Когда на тебя из зеркала с явным презрением поглядывает все увеличивающаяся лысина, ты начинаешь понимать, что семьдесят четыре года не сорок. Увы, я разрываю с Эпикуром и перехожу к стоикам. Ничего не поделаешь. Но хорошее настроение я оставляю при себе в любом случае.

Дни Энгельса были сочтены. Но то, что он считал главным в своей жизни, было им сделано. Энгельс испытал счастье, бьющее через край, когда хочется петь и ничто не способно омрачать мыслей. В конце 1894 года третий том «Капитала» вышел наконец в свет. Еще раз Энгельс совершил великий подвиг во имя дружбы и человечества.

Анна была одной из тех русских женщин, которых на Цюрихском конгрессе дружески приветил Энгельс. Вместе с Верой Засулич шла она, не оборачиваясь, по терниям, густо усеявшим дорогу революционеров. Несколько раз, по фальшивым паспортам, ездила она в Россию с важными поручениями и возвращалась обратно. От нее первой услыхал Плеханов о брате казненного и чтимого среди борцов Александра Ульянова, юном Владимире.

— Это еще очень молодой, по всему видно, необыкновенный человек, эрудиции преогромнейшей и мыслит смело и глубоко. Отлично знает Маркса. Суждение мое об Ульянове не только от разума, хотя доводы мои неоспоримы, но и от чувства.

— Без чувства женщина ничего для себя не определяет,— улыбнулся Плеханов.— Впрочем, согласен, что большие люди никогда не оставляют наше сердце спокойным.

— Еще бы,— вмешалась Засулич,— когда я увидела в первый раз Энгельса, волна благодарной любви подхватила меня с такой силой, что, будучи от природы злейшим врагом всяческих сантиментов, я едва сдержалась, чтобы не поцеловать ему руку, не обнять его и, что самое нелепое, не заплакать. Узнав Генерала ближе, я вовсе не стыжусь этих чувств. Наоборот. Сам факт его существования облагораживает нас, очищает. Мысль о том, что скажет или подумает Энгельс, не раз удерживала меня от ошибки или дурного слова.

— Вернемся, однако, к юному марксисту из Казани или Питера. Я ведь, увы, скептик. Люблю сам убедиться.

— Ульяновы родом из Симбирска,— строго пояснила Анна.

— Это не имеет значения. Марксисты принадлежат всем трудящимся,— снова пошутил Плеханов.

— Не будем загадывать. Владимир Ульянов едет за границу и скоро повидается с тобой, Жорж. Я не сомневаюсь, что целостность его мировоззрения, знания и внутренний заряд воли посрамят-таки твое обычное недоверие к незнакомым людям.

— Пусть так и будет, дорогая Пифия. Кстати, Анна, сегодня счастливый день. Письмо от Энгельса. Не хочешь ли послушать, что пишет он о русском самодержце? Изволь.

«Николай, очевидно, хочет *подготовить* своих мужиков к свободе, подвергнув их принудительному воспитанию, так что для конституции созреет только грядущее поколение; вот еще новая формулировка для старого варианта: после нас хоть потоп! Но потоп этот, как дьявол в «Фаусте»...

А уж если дьявол революции схватил кого-либо за шиворот, так это Николая II».

— Не правда ли, блестяще, как, впрочем, всегда у Энгельса,— сказал Плеханов, бережно складывая письмо.

— И звучит пророчески,— задумчиво добавила Анна.

Вера Засулич и Анна Бах находились в Лондоне, когда недуг Энгельса стал грозным. Но больной продолжал работать. По просьбе Плеханова он занялся устройством лечения неведомо отчего чахнущей Засулич, и доктор Фрейбергер, осмотрев ее, прописал микстуру и пообещал вернуть прежнюю работоспособность.

Со времени приезда в Англию Засулич и Анна постоянно посещали Энгельса, не нуждаясь для этого в особых приглашениях. Луиза и Тусси относились к ним с полным доверием и симпатией. Все еще по воскресеньям в квартире Энгельса собиралось много разного люда, засиживавшегося подчас до глубокой ночи. За ужином хозяин дома по-прежнему рассказывал забавные истории, стараясь ничем не выявить своего дурного самочувствия. Как-то речь зашла о френологии, и Энгельс припомнил, как некий знаток черепных выпуклостей в Ярмуте, ощупав его голову, заявил, что он хороший делец, но лишен каких-либо способностей к изучению иноземных языков. Глубокомысленное заключение френолога вызвало тем более громкий смех всех присутствующих, что Энгельс беседовал в этот вечер не меньше чем с десятком людей различных национальностей на их родном языке.

Он увлекательно объяснил гостям причины и следствия все еще длящейся японо-китайской войны, пересказал содержание новой книги Лафарга «Происхождение и развитие собственности», дополнив это своими неожиданными соображениями, и поделился раздумьями о «Независимом театре» Ирвинга и Эллен Терри.

Обратившись к Анне, Засулич и Степняку, он произнес по-русски, без признака акцента:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

Энгельс декламировал на память Пушкина с подчеркнутым удовольствием. Его смолоду пленил пушкинский гений, так же как лира Лермонтова и проза Гоголя и Тургенева.

В тот же вечер, говоря о времени, проведенном в Брухе, как называлось место в Бармене, где он родился, Энгельс с удивлением разводил руками:

— Шестьдесят с лишним лет прошло с того дня, как я, начитавшись книг о древней истории, бегал по родительскому дому с фонарем в поисках человека и не нашел его тогда. Я ненавидел барменских филистеров и пугал отца своим свободомыслием. И вот прошло более шести десятилетий, а я не чувствую себя старым и не зову Мефистофеля, чтобы войти с ним в сделку, как одряхлевший Фауст. Да и есть ли она вообще, старость эта самая, у людей моложе ста лет? И под застывшей лавой бурлит вулкан.

Энгельс так и не дожил до увядания. Его постигла мука смертельной болезни, не оставляющей надежды на спасение, надежды, без которой человек подобен смертнику, ожидающему казни.

В мае, когда Энгельсу стало хуже, он понял, как ни хитрили с ним врачи, что его ждет. С обостренным вниманием изучал он на себе симптомы страшного недуга. Несильные боли пугали своей зловещей новизной. Никогда он таких не испытывал ранее. Какой-то подвижной комок внезапно мешал ему проглатывать твердую пищу. Энгельс быстро худел. Щеки его казались серыми, как туман. Тело стало очень легким, чувствительным к прикосновению воздуха, к холоду и теплу. Точно защитный слой кожи исшелушился и отпал.

«Неужели?..» — спросил себя Энгельс и перечел все, что было написано о злокачественных опухолях, вспомнил людей, погибших от этого палача.

Взяв в руки настольный календарь, он долго и медленно листал его, вопросительно глядя на числа. Которое же из них станет для него последним? Нечто похожее на

любопытство шевельнулось в душе больного. Смерть! Какова она?

Единственное, чего всегда, и для себя и для дорогих ему людей, страшился Энгельс, было ослабление интеллекта, постепенное разрушение не только тела, но и духа. Бессилие воли и разума — вот что казалось ему во много раз хуже небытия.

Сколь счастливы умирающие на ходу, падающие бездыханными, как дерево, сраженное молнией или сломленное шквальным ветром! Но судьба отказала Энгельсу в легкой кончине. Он должен был познать затянувшуюся агонию, как утонченно жестокую пытку.

«Что ж,— думал Энгельс,— надо уметь испить горькую чашу до дна с улыбкой, как пьют родное доброе рейнландское вино. Никто на земле не избавлен от испытания смертью. Ленхен сказала бы: двум смертям не бывать, одной не миновать».

Помня, что жаль не мертвых, а живых, Энгельс ничем не выдал себя перед друзьями, оставив им успокоительную надежду, что не знает, чем занедужил. С редким смирением выполнял он все предписания доктора Фрейбергера, добросовестно глотал порошки, пил настои и сносил различные втирания. Его никогда не оставляли дома одного и не утомляли заботой и тревожными расспросами.

Тусси, Луиза, Вера Засулич, Анна и другие сменялись на дежурстве. Однажды пришла и предложила Энгельсу почитать ему вслух жена Степняка, Фанни Марковна. Энгельс предпочел разговаривать с нею по-русски.

— Вот видите, сидя на этом кресле, Маркс писал «Капитал»,— сказал он ей, показывая на простое деревянное креслице, стоявшее у стены. Рядом стояло еще одно, громоздкое.

— А в этом кресле Мавр скончался.— Энгельс приподнял парусиновый чехол и дотронулся до полосатой обивки глубокого сиденья и спинки.— Фетишизм, не правда ли? И все же я всегда преисполнен благоговения, когда смотрю на этот предмет, который надолго пережил моего гениального друга.— Затем Энгельс, кутаясь в теплый халат, ослабевшими руками открыл ящик секретера и достал пачки писем, фотографии и карикатуры на Маркса.

Фанни Марковна поняла, что все мысли Энгельса сосредоточены на том, кого он любил в жизни превыше всего. Все лучшее жило в этом чувстве, даже какая-то отцовская гордость и преклонение.

Стемнело, и Энгельс зажег керосиновую лампу под зеленым козырьком. Жена Степняка, едва сдерживая слезы, смотрела на обострившиеся, незнакомые черты человека, которого когда-то видела румяным, моложавым, олицетворявшим цветущее здоровье. Ее успокаивала только прежняя живость Энгельса, его интерес ко всем событиям, происходящим в мире. На смену Фанни Марковне пришла Вера Засулич, затем Анна.

Человеку свойственно отгонять мысль о непоправимом, страшном бедствии. Анна не могла поверить, что Энгельс умирает, что его не станет, хотя не было больше никакой надежды.

«Никто не заменит Энгельса людям, как остались неповторимыми Маркс, Бетховен, Пушкин, Шекспир, Микеланджело. Человечество потеряло в них лучшее, что в веках создала природа. В Марксе и Энгельсе прообраз тех высот и глубин, которые может и должен обрести для себя человек. Они гордость творения, высший образец совершенства. Как обеднел мир, потеряв преждевременно Маркса, теперь смерть подбирается ко второму из титанов. Великое это горе».

И сердце Анны сжималось и ныло, но плакать она не могла.

Превозмогая нарастающую слабость, в часы, когда боли меньше его терзали, Энгельс готовил к изданию полное собрание Маркса и своих трудов. Он переписывался об этом с соратниками-немцами. Ему хотелось также опубликовать сборник ранних статей друга, печатавшихся более полустолетия назад.

Но силы его быстро таяли. В последний раз поехал он в сопровождении Фрейбергера и Луизы в Истборн, к морю. С большим трудом, тяжело опираясь на трость, отправился Энгельс на прогулку, которую совершал раньше не раз, посещая это селение в течение тридцати с лишним лет. У скалы, похожей на парус, выступающей из воды неподалеку от берега, он опустился на камень и задумался. Еще месяц-два, и, согласно его желанию, в этом месте будет опущен в море пепел, оставшийся после сожжения его тела. Энгельс представил себе неприметное зда-

ние крематория в Уокинге, близ Лондона, окруженное маленькой сосновой рощей. Огонь! Как он любил его! Жизнь, если она не вспышка молнии, не искра пламени, бессмысленна и тягостна. И Энгельс в последние месяцы бытия с еще большей ясностью чувствовал возле себя Маркса.

В Истборн приезжали все, кого особенно нежно любил умирающий. Лаура Лафарг, едва превозмогая отчаяние, старалась ничем не показать, что Энгельс обречен, а он, также ради ее покоя, притворялся убежденным в скором выздоровлении. Тусси собрала всю свою волю, чтобы улыбаться, шутить, строить планы на будущее, лишь бы Энгельс не узнал истины.

Сейчас они обе были склонны думать, что Энгельс уже тогда почувствовал себя смертельно больным, когда написал им полгода назад полное трогательной любви и заботы письмо.

«Дорогие мои девочки!

Я должен обратиться к вам с несколькими словами относительно моего завещания.

Во-первых, вы обнаружите, что я взял на себя смелость распорядиться всеми моими книгами, включая книги, полученные от вас после смерти Мавра, в пользу германской партии. В своей совокупности книги эти представляют столь уникальную и в то же время столь полную библиотеку по истории и теории современного социализма и по всем наукам, с которыми он связан, что было бы жаль, если бы она снова распалась. Хранить ее в одном месте и в то же время предоставить в распоряжение тех, кто хочет ею пользоваться,— таково желание, высказанное мне уже давно Бебелем и другими руководителями Германской социалистической партии, а так как они действительно представляются мне наилучшими для этой цели людьми, то я согласился. Надеюсь, что при этих обстоятельствах вы извините мой поступок и также дадите свое согласие.

Во-вторых, я неоднократно обсуждал с Сэмом Муром возможность позаботиться каким-нибудь образом в моем завещании о детях нашей дорогой Женни. К несчастью, этому препятствуют английские законы. Сделать это можно было бы только на почти невозможных условиях, при которых издержки с лихвой поглотили бы средства, пред-

назначенные для этой цели. Таким образом, я был вынужден отказаться от этого. Вместо этого я оставил каждой из вас *три* восьмых моего имущества за вычетом расходов по наследованию и т. д. Из них *две* восьмых предназначаются для вас самих, а третью восьмую каждая из вас должна хранить для детей Женни и использовать так, как сочтете наилучшим вы и опекун детей, Поль Лафарг. Таким образом, вы освобождаетесь от всякой ответственности по отношению к английским законам и можете поступать так, как велит вам ваше нравственное чувство и любовь к детям.

Деньги, которые я должен выплачивать детям в виде долей от доходов, получаемых за произведения Мавра, записаны в моей главной бухгалтерской книге и будут выплачиваться моими душеприказчиками той стороне, которая в соответствии с английскими законами будет официальным представителем детей.

А теперь прощайте, мои дорогие, дорогие девочки. Живите долго, будьте здоровы и энергичны и наслаждайтесь этим!

Фридрих Энгельс».

Смертельная болезнь набирала силу. У Энгельса пропал вовсе голос, он не мог есть и глотал только жидкую пищу. Его ожидала смерть от голода. Злокачественная болезнь проникала в здоровые ткани. Худоба его становилась устрашающей, кожа высохла. Почти недвижимого, его перевезли из Истборна в Лондон.

Приближающаяся кончина второго отца грозила для Тусси неоглядной бедой. Ей предстояло в личной жизни остаться один на один с Эвелингом. Энгельс был последней, единственной опорой в семье младшей дочери Маркса. Он заменил ей родителей, горячо любимую сестру Женнихен и, наконец, Елену Демут. Тусси любила Лауру, но у той было то, чего не имела она,— мир в душе, счастье в браке, преданность и верность Поля Лафарга.

«Не надо вторгаться в жизнь других, докучать им своими страданиями, мешать — это эгоизм»,— думала Тусси, замыкаясь и чувствуя себя раздавленной разочарованием в Эвелинге. Тоска подкрадывалась. Она пыталась обманывать себя мыслью, что муж ей не изменяет, не проматывает трудно зарабатываемые ею деньги и предан ей. Но действительность была безжалостной. И Тусси спрашива-

ла себя: стоит ли ей жить? Если б она могла спасти Энгельса ценой своей жизни! Тусси была человеком больших, крайних чувств, никогда не довольствовавшимся «золотой» серединой. Может быть, поэтому не могла она примириться с тем посредственным, мелким чувством, которое питал к ней Эвелинг. Тусси жаждала великих страстей и подвижничества. Не потому ли Шекспир был ей так дорог и понятен? Ей пылко хотелось счастья в любви, и мысль о смерти начала преследовать ее как мнимое спасение. Самоубийство нередко является следствием чрезмерной любви к жизни.

Страдая, Тусси находила отдохновение только в работе, которую не оставляла ни на один день. Она вернулась из хмурого промышленного Ноттингема, где выступала, агитируя за независимую рабочую партию, и пришла к Энгельсу, чтобы рассказать ему о своей поездке. Грустное зрелище открылось ей в затененной портьерой спальне; там терпко пахло лекарствами. В хрустальной вазе стоял букет синих и розовых колокольчиков, любимых цветов больного. Энгельс улыбнулся ставшими очень большими и по-прежнему яркими серыми глазами и жестом подозвал к себе Тусси. Говорить он больше не мог и взял аспидную доску с ночного столика. Вооружившись грифелем, он начал быстро писать вопрос за вопросом. Очень скоро Энгельс достиг того, чего хотел. Тусси оживилась и начала рассказывать ему обо всем, что видела и слышала.

Частым посетителем Энгельса был портной Фридрих Лесснер, последний из оставшихся его соратников по Союзу коммунистов. Энгельс смотрел на него с тем особым добрым чувством, какое испытывают друг к другу мужественные однополчане.

«Я хоронил Маркса, неужели же мне доведется пережить и тебя, Генерал?» — думал Лесснер, сжав широкие челюсти, чтобы не разрыдаться в это последнее свидание. Энгельс потянулся к аспидной доске, хотел что-то написать, но так и не взял грифель.

Слабость все увеличивалась. Кроме врача и сиделки, к умирающему никого не пускали. Его мучили голод, боли, удушье, но он еще боролся. Мысли, то легкие, убаюкивающие, то грузные, пригибающие к земле, то взметающие как буря, шумели в мозгу. Звуки и краски оглушали и слепили. Минутами он был во власти стихий, которые

так влекли его всегда. Огонь манил, валы моря поднимали к небу.

Энгельс насладился в мыслях встречей со всеми, по кому тосковал. Вспомнил запах волос своей матери, голоса Мери и Лиззи Бёрнс, смех Маркса, которого увидел как бы ожившим.

Отдыхая в раздумьях о будущем тех, кому отдал он всего себя, Энгельс представил себе их титаническую борьбу и победное шествие. Революция, самая мощная из стихий, стихия мысли, воли и борьбы, многое сметая, переделывала мир. Несчастные становились счастливыми, и радость звучала триумфально.

Иногда боль притупляла сознание, но Энгельс не уступал ей и сопротивлялся. Чтобы ослабить его мучения, врачи применили наркотики, но и в полудреме Энгельс не переставал думать. Припомнились ему слова Гете:

Богатство потерять — немного потерять,
Честь потерять — много потерять,
Мужество потерять — все потерять.

Всю жизнь Энгельс был бесстрашен, таким он встречал и свой конец.

В последний раз 5 августа 1895 года, в половине одиннадцатого вечера, Энгельс увидел свет мерцавшей у изголовья свечи. Часы глухо, равнодушно отмерили последние минуты его жизни. В глазах Энгельса вспыхнул огонь, и они закрылись навсегда.

Короткая сумеречная ночь прошла. С востока поднялось багровое, пылающее и всеозаряющее солнце.

1965

СОДЕРЖАНИЕ

Серебрякова Г. И.

С 32 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. Вершины жизни. Предшествие. Романы. М., «Худож. лит.», 1979. 815 с.

Роман «Вершины жизни» посвящен последним восемнадцати годам жизни и деятельности великого революционера и мыслителя К. Маркса. В романе рассказывается о времени окончания работы над «Капиталом», о детище Маркса — I Интернационале, о героических днях Парижской коммуны.

Роман «Предшествие» повествует о жизни Ф. Энгельса, продолжившего после смерти К. Маркса руководство революционной борьбой на всей планете.

С $\frac{70302-340}{028(01)-79}$ **подписное** **Р 2**

Галина Иосифовна Серебрякова

Собрание сочинений

том 4

Редактор В. Буланова
Художественный редактор С. Гераскевич
Технический редактор С. Ефимова
Корректоры Г. Володина и О. Нарепкова

ИБ № 1237

Сдано в набор 01.07.77. Подписано в печать 04.01.79. А00978. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 42,84 усл. печ. л. 45,13 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ 521. Цена 3 р. 20 к. Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26